

Р. А. Будагов

ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ О ЯЗЫКЕ

Учебное пособие для студентов
филологических факультетов,
университетов и пединститутов

3-е издание

Москва • 2002

УДК 80/81
ББК 81
Б90

Рекомендовано Ученым советом Литературного института им. М. Горького и кафедрой общего и русского языкознания филологического факультета (зав. кафедрой докт. филол. наук, проф. *Л.А. Новиков*) Российского университета дружбы народов

К печати книгу подготовила *А.А. Брагина*

Будагов Р.А.

Б90 Введение в науку о языке: Учебное пособие. — М.: Добросвет-2000, 2003. — 544 с.

ISBN 5–94119–015–8

Настоящее учебное пособие посвящено лингвистическим проблемам, но автор широко привлекает работы по философии, логике, психологии, показывает сложность ряда разбираемых им явлений и предлагает свой подход, свое освещение тех или иных фактов. Убедительно, предельно просто излагаются трудные для начинающих лингвистов вопросы, такие как связи грамматики с лексикой, абстракции реальных слов и реальных языков. В работе имеются предметный и именной указатели, лингвистическая карта мира. Книга написана живым и образным языком.

Предлагаемое учебное пособие будет интересно не только студентам-филологам, ученым-лингвистам, но и всем, стремящимся узнать природу, форму и пути развития языка.

**УДК 80/81
ББК 81**

© Р.А. Будагов, 2003 г.
© Оригинал-макет издательства
«Добросвет-2000», 2003 г.

ISBN 5–94119–015–8



ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Несколько слов к настоящему изданию</i>	5
<i>Предисловие ко второму изданию</i>	6
<i>Из предисловия к первому изданию</i>	7
<i>Глава I. Словарный состав языка</i>	9
1. Слово и его значение. Типы слов	11
2. Значение и употребление слова	28
3. Термины и терминология	33
4. Конкретные и абстрактные слова. Буквальные и фигуральные значения слов	40
5. Многозначность слова и проблема омонимов	50
6. Синонимы и антонимы	63
7. Внутренняя форма слова. Этимология и развитие значения слова	79
8. Неологизмы и архаизмы. Опыт их классификации	97
9. Явления табу. Эвфемизмы и их функции	115
10. Идиомы и фразеологические сочетания	122
11. Заимствования в лексике	132
12. Историческое и логическое в слове. Слово и понятие	147
13. Синхрония и диахрония. Язык и речь	167
<i>Глава II. Звуки речи</i>	173
1. Для чего изучают звуки речи	175
2. Звуки речи и условия их образования	180
3. Понятие фонемы	190
4. Взаимодействие звуков в речевом потоке	197
5. Ударение и интонация	205
6. О звуковых (фонетических) законах	217
7. Фонетика, графика, орфография и история письма	224
<i>Глава III. Грамматический строй языка</i>	231
1. Что изучает грамматика	233
2. Грамматика и лексика	236
3. Структура и формы слова	246
4. Грамматические средства	262
5. Грамматические категории	265
А. Категория рода	268

Б. Категория числа	278
В. Категория падежа	289
6. Части речи и члены предложения	303
7. Имена существительные и прилагательные	311
8. Местоимение	325
9. Глагол и его грамматические категории (времени, вида и наклонения)	336
10. Предложение и словосочетание	359
11. Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь	374
12. Предложение и суждение	379
13. Типологическая, или морфологическая, классификация языков	384
<i>Глава IV. Происхождение языка</i>	<i>397</i>
1. Постановка вопроса	399
2. Две концепции происхождения языка	400
3. Историческое освещение вопроса	414
4. Первобытное мышление. Роль жестов	423
<i>Глава V. Язык и языки</i>	<i>429</i>
1. Многообразие языков	431
2. Классификация языков по их происхождению. Сравнительно-исторический метод в языкознании	434
3. Литературные и национальные языки. Диалекты	453
4. Литературные языки и жаргоны	465
5. Взаимодействие языков	470
<i>Глава VI. Языковые стили</i>	<i>479</i>
1. Разговорный и письменный стили	481
2. Стиль художественной литературы и стиль научного изложения	489
3. Отношения между языковыми стилями	500
<i>Приложение</i>	
Лингвистическая карта мира	508
Генеалогическая (по происхождению) классификация языков ..	509
<i>Указатели</i>	
Предметный указатель	522
Именной указатель	536
а) на русском языке	536
б) на иностранных языках	542

*Несколько слов
к настоящему изданию*

Автор — Рубен Александрович Будагов (1910–2001) — готовил предлагаемое издание «Введения в науку о языке»: были беседы, актуальные замечания, пожелания. Кроме того, сохранились заметки на полях книги, иногда отсылки к текстам, интересным для анализа, иллюстраций. Все они учтены при подготовке книги к печати. В остальном текст с авторскими особенностями, манерой обращения к читателю полностью сохранен.

Любое учебное пособие (как и учебник вообще) требует от автора (это убеждение Р.А. Будагова) особой заботы о читателе. Учебный текст, конечно, обязан быть научным. Однако при этом он должен сохранять сложное двуединство: не быть строго научным, но и не стать просто научно-популярным.

Р.А. Будагов создавал *свой* учебник, одновременно читая лекции на первом курсе филологического факультета Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского), а затем и Московского университетов. И в устной, и в письменной форме изложения научных проблем Рубен Александрович не избегал дискуссионности, предлагая студентам с первых шагов размышлять, выбирать свою точку зрения. Автор полагал: дискуссия питает науку, стимулирует ее развитие. Его никогда не покидала и идея увлечь своих слушателей филологией, может быть, одной из самых человеческих и человеческих наук, которой он был предан всю свою жизнь.

А.А. Брагина

Предисловие ко второму изданию

Подобно первому, второе издание книги остается введением в науку о языке как гуманитарную дисциплину. Вопросы так называемой математической лингвистики выходят за пределы интересов и компетенции автора, а поэтому в работе, естественно, и не рассматриваются. Хотя содружество наук во второй половине XX в. является бесспорным и важным фактором, оно не должно вести ученого ни к опасному дилетантизму, ни к не менее опасной полунауке.

Еще важнее подчеркнуть другое. Языкознание как гуманитарная наука еще далеко не сказало своего «последнего слова». Более того, сферы науки о языке должны углубляться и расширяться не только в техническом, но и в гуманитарном направлении. Язык и общество, язык и культура, язык и мышление, язык и история, язык и литература — все это одновременно и традиционные и вечно новые области лингвистики. Они традиционны, так как ими прямо или косвенно занимаются сравнительно давно, но они и новы, поскольку их специальное и пристальное изучение еще только начинается.

Может возникнуть вопрос: почему в предлагаемом учебном пособии нет отдельных глав и разделов, посвященных перечисленным проблемам. Ответ на этот вопрос получить легко, если учесть, что весь материал книги рассматривается прежде всего с позиций названных проблем. О языке и мышлении, например, рассказывается и в главе о словарном составе языка, и в главе о грамматическом строе, и в разделе о литературных и национальных языках, и в разделе о языковых стилях, и т.д. То же следует сказать и об остальных проблемах, осмысление которых проходит через всю работу. Предметный указатель поможет читателю найти нужный материал.

Предлагаемая вниманию читателя книга поможет научить будущих филологов понимать сам язык во всем сложном многообразии его конкретных категорий и конкретных форм. От языкового материала к его осмыслению и обобщению — таков путь, пролагаемый в настоящей работе.

Текст книги значительно дополнен. Заново составлена библиография.

Автор выражает глубокую благодарность рецензентам первого издания — профессорам Г.С. Ахвледиани, С.Г. Бархударову и В.Н. Ярцевой, а также зарубежным рецензентам — К. Отобыку, Е. Сперантиа, В. Станке и др. Особо хочется поблагодарить Г. Михаилэ, переводчика на румынский язык «Введения в науку о языке», который не только отлично справился со своей задачей, но и внес в текст книги ряд поправок.

Москва, 1964

Из предисловия к первому изданию

Как и в прежних своих работах, автор рассматривает язык не как систему «условных знаков», а как средство, с помощью которого люди общаются друг с другом, выражают свои мысли и чувства. Автор глубоко убежден, что только такая постановка вопроса может быть научно плодотворной. Вне единства функции коммуникации и функции выражения мысли не может быть ни языка, ни науки о языке. Важнейшая проблема языкознания, проблема языка и мышления, не должна оставаться в тени. В предлагаемой работе делается попытка не просто «держать равновесие» между двумя важнейшими функциями языка — функцией общения и функцией выражения мышления, но и показать их постоянное и глубокое взаимодействие.

Автор сознает, насколько сложна та задача, которую он поставил перед собой. Декларативно очень легко признать связь коммуникативной функции языка с функцией языка, относящейся к выражению мышления. Гораздо сложнее показать эту связь на языковом материале. Вместе с тем изложение должно быть доступно студентам первого курса. Все же по мере сил и возможностей автора здесь, на протяжении всей книги, делается попытка осветить сущность и взаимодействие основных функций языка.

Автор убежден, что учебное пособие по языкознанию, как и любое другое пособие для студентов высших учебных заведений, не должно быть догматичным. Поэтому, последовательно проводя свою точку зрения по различным общим и специальным вопросам, он указывает и на другие точки зрения, существующие в науке. Этому служат и довольно многочисленные библиографические указания на русском и иностранных языках, которые содержатся в книге. Если студентам первого курса они будут недоступны, ими смогут воспользоваться студенты старших курсов и аспиранты¹.

Книга является лишь введением в науку о языке. Поэтому от нее нельзя требовать большего. В работе не все разделы изложены одинаково подробно. Кратко освещены, в частности, вопросы сравнительно-исторического языкознания. Эта последняя, важнейшая область, как показывает опыт преподавания курса «Введение в языкознание», нуждается в отдельном и особом введении. Автор стремился дать лишь самые необходимые сведения, на основе которых следует вести дальнейшее изучение разнообразной специальной литературы.

¹ Стремясь привести более обширные библиографические материалы, автор ссылается не только на классические произведения выдающихся лингвистов, но и на работы менее известных, а подчас даже и начинающих языковедов. Научная ценность приводимых в сносках и библиографии источников тем самым вовсе неодинакова. Необходимо, однако, помнить, что для науки существенно не только творчество крупных ученых, но и «массовая продукция» рядовых исследователей.

Есть два типа учебных пособий по языкознанию. В одних говорится понемногу почти о всех сторонах изучаемого предмета, в других сосредоточивается внимание на типичных и существенных факторах и тенденциях языка, но зато они изучаются не бегло, а более пристально, во всем их сложном многообразии: с точки зрения генезиса, развития, функционирования, стилистического использования и т.д. Предлагаемая работа стремится быть учебным пособием этого второго типа. Вместе с тем она преследует и общеобразовательные цели.

Когда книга, подобная этой, попадает в руки не начинающего студента, а уже сложившегося ученого, то автор оказывается в трудном положении. Ученый, имеющий определенные интересы, просматривает в такой общей работе лишь то, что его непосредственно интересует, не обращая никакого внимания на другие разделы, которые, быть может, больше удались автору. В книге же подобного характера известная неравномерность в освещении отдельных вопросов в какой-то степени неизбежна: она определяется сложностью науки о языке, а также личными склонностями составителя учебного пособия.

Автор стремился заинтересовать будущего специалиста, показать ему, насколько увлекательна наука, занимающаяся таким «орудием», без которого обычно не обходится ни один человек.

Книга возникла из лекций по курсу «Введение в языкознание», которые на протяжении многих лет автор читал сначала в Ленинградском, а затем в Московском государственном университете.

Москва, 1957

Глава I



СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ ЯЗЫКА





1. Слово и его значение. Типы слов

Слово — это важнейшая языковая категория. Когда среди широкой публики говорят о языке, то обычно думают прежде всего о словах, так как язык состоит из системы слов, «распадается» на слова, формируется в процессе взаимодействия слов. И хотя наука о языке наряду со словами изучает и другие разнообразные языковые категории и языковые явления, однако наиболее «естественной» категорией оказывается слово. Звук сам по себе обычно еще ничего не обозначает, морфема чаще всего не имеет самостоятельного значения, тогда как слово обычно что-то выражает или называет. Не случайно поэтому наше сознание обращается прежде всего к этой важнейшей языковой категории. И хотя слова родного языка кажутся «очевидными», их природа в действительности очень сложна и многообразна.

В одном старинном рассказе повествовалось о том, как некий мастерской случайно присутствовал на ученом диспуте астрономов о природе Млечного Пути. Мастерской очень заинтересовался тайной мироздания; когда диспут был окончен, он подошел к одному маститому ученому и сказал: «Не откажите мне в любезности ответить на вопрос. Я понимаю, как люди научились определять расстояние между звездами, как они вычислили их вес. Уяснили их физические свойства и познали многое другое, но скажите, пожалуйста, как люди узнали *названия* звезд и планет?» В этом рассказе хорошо подмечено, что для большинства людей вопрос о том, что обозначает то или иное слово, почему вещь или понятие называется так, а не иначе, представляется странным.

И в самом деле, что такое слово, как и что оно выражает, как определяется его значение (семантика), почему это значение меняется в ходе развития общества — вот некоторые из существенных проблем, требующих изучения.

Раздел языкознания, посвященный словарному составу языка (его лексике), называется *лексикологией*. В свою очередь специальный раздел лексикологии, в котором изучаются значения слов и причины изменения этих значений, именуется

*семасиологией*¹. Лексикология и семасиология самым тесным образом связаны между собой, немыслимы друг без друга. Вместе с тем семасиология, как более частная область, подчиняется лексикологии, изучающей разные стороны слова. В свою очередь семасиология, хотя и ограничивается только сферой значения слова, оказывается не просто одной из частей лексикологии, но ее важнейшим разделом, так как значение слова составляет «душу» самого слова.

Изучение словарного состава любого языка представляет большой интерес как с точки зрения чисто языковой, так и в связи с теми предметами, понятиями и явлениями, которые с помощью данных слов обозначаются.

Высокоразвитые языки, такие, например, как русский или польский, китайский или английский, располагают огромным словарем. Если собрать вместе слова одного из таких языков, то изучение их в известной мере поможет нам разобраться и в соответствующих вещах, явлениях и понятиях, которые выражаются при помощи данных слов. Лексика языка как бы хранит в себе разнообразие наших знаний об окружающем нас мире (об объективной действительности), о психической жизни самого человека.

Приступая, однако, к лингвистическому изучению слов, не следует забывать о специфике самих слов в отличие от тех вещей и понятий, которые обозначаются с их помощью. Лексикология и семасиология изучают слова, а не вещи и понятия, хотя между словами и понятиями существует самая тесная связь. И тем не менее такое разграничение совершенно необходимо. В противном случае лексикология превратилась бы в неопределенно универсальную науку, которая должна была бы изучать все явления окружающего нас мира.

«Предметность» нашего мышления «заслоняет» собой язык, отводит внимание человека как бы в сторону от языка. Эта особенность мышления обнаруживается уже в дошкольном возрасте. Когда пяти-шестилетним детям предложили сосчитать количество слов во фразе *В комнате стояло два стула и диван*, то

¹ От греческих слов *semasia* — «обозначение» и *logos* — «учение». Иногда семасиологию называют семантикой, но такое смещение названий нежелательно, так как слово *семантика* употребляется в смысле «значение» (семантика слова = значение слова). Наряду с семасиологией в лексикологии выделяется еще *лексикография*. В этой области специально изучаются принципы, на основе которых составляются различные словари.

ответы иногда бывали такими: «Три: два стула и диван». Дети считали вещи (три), а не слова (семь)¹.

Сколько слов родного языка мы знаем? Можно ли установить эту цифру? Это важный вопрос, хотя человеку, никогда над ним не размышлявшему, он может показаться странным. «Как, — подумает он, — разве речь идет об иностранном языке, разве я не понимаю *всех* слов своего родного языка?»

Обратимся к эксперименту. Раскроем «Рассказы охотника» М. Пришвина и прочтем начало «Анчара»:

«Люблю гончих, но терпеть не могу накликать в лесу, порскать, лазать по кустам... У меня было так: пушу, а сам — чай кипятить, не спешу даже, когда и подымет: пью чай, слушаю и, как пойму гон, перехватываю, становлюсь на место: раз! — и готово. Я так люблю»². Выпишем из этого отрывка такие слова и выражения, как *накликать в лесу, порскать, подымет* (что?), *пойму гон*, и задумаемся, что они означают. Ведь это все «простые слова», и встречаются они у писателя, который умеет удивительно просто и изящно излагать свои мысли и наблюдения. Между тем уже в небольшом отрывке четыре слова и словосочетания заставили нас задуматься.

Но продолжим наш эксперимент и вернемся к вопросу о том, как можно установить число известных нам слов родного языка и число слов неизвестных.

Раскроем для этого первые страницы популярного «Словаря русского языка» (1972) С.И. Ожегова. Здесь мы найдем следующие слова: *абажур, аббат, аббатство, аббревиатура, аберрация, абзац, абиссинцы, абитуриент, абонемент, абонент, абонировать, абонироваться, абордаж, абориген*...³ Такие слова из этого списка, как *аберрация* и *абориген*, окажутся неизвестными многим людям, различие между *абонемент* и *абонент* представится нечетким, а контуры таких понятий, как *аббатство* или *абиссинцы*, обрисуются не совсем ясно. Если теперь мы рассортируем эти слова так, что на одной стороне окажутся совершенно понятные, а на другой — слова, обозначающие недостаточно ясные или совсем неизвестные предметы и понятия, то для очень многих пропорция получится приблизительно следующая: из 14 слов лишь 8 будут понятны, остальные окажутся либо вовсе

¹ См.: Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма. М., 1950. С. 8.

² Пришвин М. Лесной хозяин. М., 1954. С. 235.

³ Правда, на букву *а* в русском языке много иностранных и интернациональных слов, но пример из рассказа М. Пришвина показывает, что трудности распространяются и на русские слова.

непонятными, либо недостаточно понятными наименованиями. Проведя такой же эксперимент 20–30 раз и раскрывая в разных местах этот словарь, мы можем установить по принципу среднеарифметического количество известных и неизвестных нам слов родного языка. Если же принять во внимание, что заключенных в нем слов 57 тысяч, то каждый сможет установить, каким словарным богатством он владеет, каков его активный и пассивный запас слов, каковы его общие познания¹.

Однако «Словарь» С.И. Ожегова включает отнюдь не все слова русского языка². В этом легко убедиться, сравнив, например, его первую же страницу с первой страницей «Толкового словаря живого великорусского языка» (1861–1868) В.И. Даля, где широко представлены народные и диалектные слова и выражения. Поэтому в первой же колонке первой страницы далевского «Словаря» читатель находит и такие, мало кому известные наименования, как *абаим, абанат, абраган, абевега* и т.д. Количество непонятных читателю слов быстро увеличивается. Если он присмотрится к каждому неизвестному ему слову, он поймет, насколько богат и разнообразен лексикон его родного языка. А это даст возможность всякому задуматься и над проблемой значения слова. Легко понять: чем образованнее человек, чем шире круг его научных, общественных, художественных интересов, тем обычно обширнее и его словарь.

Слово — это важнейшая «единица» языка, обозначающая явления действительности и психической жизни человека и обычно одинаково понимаемая коллективом людей, исторически между собой связанных и говорящих на одном языке³. Некоторые другие «единицы» языка (например, словосочетание, предложение) тоже должны соотноситься с действительностью и мышлением, но для слова подобная соотнесенность особенно характерна. Дело в том, что в свободном словосочетании или предложении отношение к действительности обычно как бы пре-

¹ *Активным* запасом называют слова, употребляемые человеком, а *пассивным* — слова, смысл которых говорящий понимает, но которые не встречаются в его собственной речи. Активный запас слов отдельного «среднего» человека невелик: «он едва ли превышает 10% всего словарного состава языка» (см.: Зиндер Л.Р. О лингвистической вероятности // Вопросы языкознания (в дальнейшем — ВЯ). 1958. № 2. С. 122).

² То же следует сказать и о других изданиях: Словарь русского языка: В 4 т. М., 1957–1961; Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л., 1948–1965.

³ Приведенное определение слова неполно. В дальнейшем изложении будут постепенно раскрыты многообразные особенности слова в его взаимоотношениях с другими категориями языка.

ломляется сквозь призму слова. Само же слово остается одной из наиболее сложных «единиц» языка.

Значение слова неотделимо от самого слова, так как значение отражает те самые явления действительности и психической жизни человека, которые обозначаются с помощью слов. Но как следует понимать в этом случае процесс отражения?

Хотя слова самым тесным образом связаны с теми предметами и явлениями, которые называются с их помощью, связь между предметами и словами оказывается связью лингвистической, а не физической. Современное *ружьё* уже очень мало похоже на *ружьё*, которым пользовались несколько столетий назад, тем не менее само слово не изменилось. При слове *пирожное* думают обычно о чем-то вкусном, хотя это «вкусное» относится к предмету, а отнюдь не к самому слову («вкусных» или «невкусных» слов не бывает)¹. Следовательно, связь между словами и предметами сложна, хотя и очевидна. Слова называют предметы и явления, но предметы и явления существуют независимо от слов. В значении слов лишь отражаются те предметы и явления, которые обозначаются данными словами. Поэтому *значением слова* можно назвать исторически образовавшуюся связь между звучанием слова и тем отображением предмета или явления, которое происходит в нашем сознании и находит свое выражение в самом слове².

Попытаемся более наглядно представить себе эти весьма сложные отношения.

Важнейшая особенность слова заключается в том, что, называя отдельные предметы или явления, оно вместе с тем обобщает. *Стол* или *книга*, *инструмент* или *самолет* могут называть и отдельные предметы, которые находятся перед нашими глазами, и всякие предметы, относящиеся ко всей данной категории. *Книга* — это одновременно и книга, которую, например, читает такой-то гражданин в такой-то момент, и всякая книга, книга вообще. Слово выступает в единстве общего и отдельного³.

Эта особенность слова очень важна для понимания тех обобщений, которые заключаются в языковых единицах, языковых категориях, языковых явлениях. Это и понятно. Никакая память

¹ Gardiner A. The Theory of Speech and Language. Oxford, 1932. P. 29.

² Ср.: Смирницкий А.И. Значение слова // ВЯ. 1955. № 2. С. 83.

³ Сказанное относится к большинству слов, за исключением тех, которые обозначают единичные предметы (*солнце*, *луна*) и имена собственные. Но способность этих слов подвергаться переносному осмыслению (например, *Пушкин — солнце русской поэзии*) говорит о том, что и эти слова в известной мере вовлекаются в общий процесс.

человека не в состоянии была бы выдержать бесчисленного количества единичных наименований. Поэтому слово, как по-своему и другие языковые единицы (фонемы, морфемы), в тенденции всегда стремится к обобщению. Это обобщение делается важнейшей особенностью слова и тем самым и всего языка (слово — первая и самая непосредственная единица языка).

Отмеченная особенность слова в известной степени проясняет и вопрос о том, как следует понимать отражение в значении слова предметов и явлений окружающего нас мира. Сама отвлеченность слова является своеобразным результатом того, что значение каждого слова обычно отражает совокупность разных признаков, свойственных всей массе предметов, именуемых *книгой*, *столом*, *инструментом*, *самолетом* и т.д. Следовательно, значение слова обычно связано не с одним данным предметом, не с одним данным явлением, а с совокупностью признаков целой категории предметов или целой категории явлений. Так, значение слова *книга* отражает признаки книги вообще, разных книг, подобно тому как значение слова *наука* отражает особенности различных явлений, связанных со сложным понятием науки. В этом смысле в слове, как и в языке вообще, «есть только общее». В этом же плане становится очевидным как отражаются в значении слова реальные предметы и явления окружающего нас мира.

Выражая общее, слова теснейшим образом связаны с понятиями. В свою очередь понятия формируются и развиваются в сознании человека под воздействием многообразных явлений окружающего нас мира. В конечном счете слова своеобразно взаимодействуют с предметами и явлениями действительности, которые находят свое отражение в языке, и прежде всего в словах. Это важнейшее положение материалистического языкознания будет развиваться на протяжении всей данной книги. Пока же подчеркнем, что широко распространенное положение, которое защищают многие представители, в особенности американского языкознания, согласно которому «слова суть символы мыслей, а не вещей», является односторонним, спорным¹. Ра-

¹ *Philbrick F.* Understanding English. An Introduction to Semantics. N.Y., 1942. P. 24. Это же положение проходит красной нитью через все построение известной книги: *Ogden C. and Richards J.* The Meaning of Meaning. N.Y., 1945 (имеется много изданий).

Заметим, что в некоторых направлениях структуралистической лингвистики (у нас и за рубежом) слово совсем перестало соотноситься с понятием. Оно односторонне рассматривается лишь как условный сигнал или код. Об этом подробнее см. раздел 12 настоящей главы.

зумеется, нельзя отождествлять слова ни с понятиями, ни тем более с вещами, но нельзя не видеть и того, что слова были бы невозможны не только без понятий, но и без вещей. Сложное и многообразное взаимодействие слов, понятий и «вещей» — одна из важнейших проблем семасиологии.

Вопрос о значении слова осложняется тем, что огромное количество слов может иметь не одно, а несколько значений.

Если мы обратились бы к кому-нибудь с вопросом, что означает, например, в современном русском языке такое слово, как *соль*, то ответ, по-видимому, последовал бы следующий: «Соль — это определенное химическое соединение и приправа к пище». Однако этими значениями никак не исчерпывается все содержание слова *соль*. Прослушав неопытного оратора, мы можем спросить у своего соседа: «В чем *соль* его выступления?» Здесь слово *соль* приобретает иной, переносный смысл, так что все предложение означает: в чем сущность, основной смысл его выступления? Оказывается, следовательно, что слово *соль* имеет значение не только «химического продукта», но и гораздо более общее значение — «сути, сущности, самого главного». Когда известному русскому актеру, современнику Пушкина, Каратыгину, отличавшемуся блестящим остроумием, однажды заметили, что какой-то новый писатель-рассказчик отнимает у него, Каратыгина, хлеб, так как своим блеском затмевает актера, отодвигает его на задний план, Каратыгин не смутился: «Ничего, — сказал он, — пусть он берет себе хлеб, лишь бы у меня осталась *соль*». В этом примере слово *соль* приобретает значение не только чего-то существенного, но и остроумного. Это последнее особенно ясно в таких пушкинских строках:

Вот крупной *солью* светской злости
Стал оживляться разговор¹.

Таким образом, в современном русском литературном языке слово *соль* имеет не менее четырех значений, причем первое и второе («химическое соединение» и «приправа к пище»), тесно связанные между собой, непосредственно примыкают друг к другу, подобно тому как третье и четвертое значения («нечто существенное» и «остроумие») также оказываются взаимно зависимыми, но развивают уже вторую, фигуральную линию значений слова *соль*. В слове оказывается как бы два центра —

¹ Пушкин А.С. Евгений Онегин. М., 1949. Гл. 8. Строфа XXIII (здесь и далее курсив во всех литературных примерах (кроме специально оговоренных) мой. — Р.Б.).

буквальный и фигуральный, каждый из которых в свою очередь состоит из двух значений¹.

Первоначально может показаться, что смысловая связь существует лишь внутри каждого из этих центров, но не между центрами: от «химического соединения» определенного типа легко перейти к «поваренной соли», т.е. к хлористому натрию, употребляемому в качестве приправы к пище. В то же время от того, «что придает особый смысл речи, разговору» («соль его выступления»), также нетрудно перейти к «остроумию» («соль анекдота»). Но как перейти от «химического соединения» к тому, «что придает особый смысл речи», т.е. от одного центра значений слова к другому центру его значений, от буквального смысла к фигуральному? В действительности и этот переход легко понять, даже не обращаясь в данном случае к истории. Когда кладут соль в пищу, последней придают особый вкус, делают ее не пресной. Каждый знает, что почти всякая пища без соли делается безвкусной. Соль — это не просто одна из составных частей пищи, а нечто значительно большее. Поэтому само слово *соль* легко приобретает переносные значения: это продукт, придающий пище особый вкус, без которого она почти не съедобна, и вместе с тем здесь развивается переносное значение слова — это нечто такое, что придает остроту уже не только пище, но и разговору, речи, рассказу и т.д. Но острота в веселом рассказе — это часто остроумие, поэтому и внутри фигурального смысла слова *соль* в свою очередь развиваются разные значения. Так оказывается возможным увидеть преимущество не только внутри каждого из двух смысловых центров слова *соль*, но и перебросить мостик между буквальным и фигуральным значениями слова².

Таким образом, сколь ни прихотливыми казались на первых порах различные значения слова *соль*, они оказываются не случайными: связь между ними очевидна. Слово *соль* в русском языке многозначно (полисеманлично).

Многозначность характерна для большинства слов самых разнообразных языков. Если сказать: «У него большой пись-

¹ В последующем изложении *значение, осмысление, смысл* употребляются как абсолютные синонимы, чтобы избежать утомительного повторения одних и тех же слов. Аналогично *лексема* равна *слову*. Чисто логическое разграничение между *значением* и *смыслом*, проведенное в свое время Фреге, в семасиологии до сих пор никем не было убедительно обосновано.

² Любопытно, что Н.Г. Чернышевский, изображая в романе «Что делать?» людей нового типа, называл их «соль соли земли» (Чернышевский Н.Г. Соч. Т. XI. М., 1939. С. 210).

менный *стол*» и «В этом санатории прекрасный *стол*» (в смысле «прекрасное питание»), то слово *стол* выступит в каждом из этих примеров в разных значениях. Ср.: «он, как *муж*, очень заботлив» и «замечательный *муж* древности» и т.д. Во французском языке *vert* — это не только «зеленый», но и «сырой», и «бодрый», и «резкий». В английском *bar* — это не только «брусок», но и «засов» и «преграда». В болгарском *залез* — это не только «заход солнца», но и «потеря авторитета» и т.д.

В связи с проблемой многозначности (полисемии) слова возникает сложный теоретический вопрос: как понимать многозначность слова?

Уже было подчеркнуто, что слово, как правило, имеет предметную отнесенность. Но если слово приобретает много значений, то как истолковывать в этом случае предметную отнесенность?

Некоторые выдающиеся лингвисты иногда склонны были отрицать многозначность слова. А.А. Потебня (1835–1891), например, считал, что каждое значение образует отдельное слово, поэтому, «где два значения, там два слова»¹. К этой точке зрения был близок и Л.В. Щерба (1880–1944), утверждавший, что слово может иметь лишь одно значение, и ссылавшийся при этом на «единство формы и содержания»: одно слово — одно значение — одна форма выражения данного значения².

Однако полисемия слова не нарушает «единства формы и содержания». Она нарушала бы это единство лишь при том условии, если «содержание слова» представляло бы собой статичную и неизменную «массу». В действительности же «содержание слова» (лучше говорить о его значении) — явление всецело историческое, постоянно изменяющееся и развивающееся. Поэтому ссылка на «единство формы и содержания» не может опровергнуть факта многозначности слова — факта, который, как будет показано далее, определяется самой природой лексики. Форма взаимодействует в языке не со статичным содержанием, а с содержанием развивающимся. До известной степени это

¹ Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. IV. М., 1941. С. 198. Потебня много раз повторял это положение: «Малейшее изменение в значении слова делает его другим словом» (Там же. Т. I. Харьков, 1888. С. 4). Четырехтомное классическое исследование Потебни «Из записок по русской грамматике» издавалось частями. Только первые два тома вышли при жизни автора (1-е изд. — 1874 г., 2-е изд. — 1888 г.), третий том был опубликован посмертно (1899), а четвертый появился лишь в 1941 г. В 1958 г. первые два тома были переизданы. В дальнейшем цитируются издания 1888, 1899 и 1941 гг.

² Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. I. Л., 1958. С. 78.

развивающееся содержание может находиться в пределах старой формы. В тех же случаях, когда содержание «уходит» очень далеко, происходит разрушение полисемии и образование омонимов (об этом см. в разделе об омонимах). Любопытно, что и Потемня и Щерба практически, в своих талантливых конкретных разысканиях, сами много сделали для изучения полисемии слова. «Русско-французский словарь» Л.В. Щербы прямо начинается заявлением автора о «многозначности и диалектичности слова» (из первой фразы «Предисловия» к этому словарю).

Предметную отнесенность в слове нельзя понимать узко. В проанализированном слове *соль* на предметную отнесенность слова как бы наслаиваются его фигуральные значения. Эти фигуральные значения не разрушают единства самого слова, но они осложняют его внутреннюю структуру, образуя полисемию. Фигуральные значения относятся к действительности как бы *через посредство прямого значения слова*, и тем самым они поддерживают известное единство разных значений в системе слова.

Итак, полисемию невозможно отрицать, так как она пронизывает лексику самых разнообразных языков — новых и старых.

Сравнивая многозначность одних и тех же слов в разных родственных языках, нельзя не заметить известной закономерности в развитии самой многозначности.

Чтобы лучше понять, например, связь двух основных значений слова *стол* в современном русском языке («определенный вид мебели» и «питание»), важно учесть, что греческое слово *трапеза* означает «стол». Проникнув в русский язык, слово *трапеза* стало передавать и «общий стол для приема пищи в монастыре», и «прием пищи за таким столом», «прием пищи» вообще. Но в древности стол часто представлял собой доску на ножках. Так стала развиваться другая линия значений: доска на ножках, круг из досок на ножках, блюдо круглое, которое ставилось на это приспособление. Не случайно поэтому латинское слово *discus* — «диск», «круг» стало означать в итальянском «стол» (*desco*). Так, развитие значений «стол» — «блюдо» — «еда» обнаруживается в разных родственных языках. История соответствующих вещей объясняет и историю соответствующих значений слова. Сходство в развитии вещей у разных народов могло определить и сходство в развитии значений соответствующих слов.

Латинское слово *contio* — «собрание» стало означать не только «собрание», но и «речь на собрании». Новое значение родилось из самого обычая произносить речи на собрании, на сходке. Но вот и средневековое латинское слово *harenga* (ср. готское

hrings — «круг») получило значение «собрания» и «речи на собрании» («собрание» это как бы «в круг собранные люди»). Перекочевав в романские языки и утратив значение «собрания», слово *harenga* стало означать только «речь», точнее, «торжественную речь» (отдаленная связь с собранием: не простая «речь», а «речь, произносимая на собрании», «торжественная речь»). Таковы: испанское слово *arenga* — «торжественная речь», французское *harangue* в том же значении и др.

Таким образом, если латинское слово *contio* в определенную историческую эпоху могло одновременно означать и «собрание» и «речь» (на собрании), то романские потомки позднелатинского слова *harenga*, отбросив значение «собрание», стали усиленно развивать значение «речь», ставшее в этих языках основным у данного слова. Следовательно, если в одном случае в пределах одного и того же языка обнаруживаются два разных значения слова, то в другом — сходные два значения оказываются в системе разных языков: одно значение слова в одном языке, другое — в другом или в других родственных языках. То, что в первом случае как бы стянуто в одном смысловом узле, во втором случае распалось. Но эти «распавшиеся» значения дают возможность лишь глубже понять всю закономерность развития значений, историческую преемственность в их формировании.

Следовательно, многозначность (полисемия) слова в одном языке имеет много общего с полисемией того же или аналогичного слова в других родственных языках. Это общее свидетельствует о закономерности развития самого значения слова, самой полисемии.

Однако наряду с общими элементами в многозначности слов разных родственных языков обычно имеются и черты самобытные, неповторимые, присущие только данному языку. Так как этот последний вопрос будет освещен впоследствии подробно, сейчас подчеркиваем лишь то, что следует из приведенных выше примеров.

Хотя связь разных значений в слове *стол* (и прежде всего значения «мебель» и значения «еда») обнаруживается в самых разных родственных языках, однако внутренняя группировка их и взаимодействие одних значений слова с другими оказываются в каждом языке глубоко своеобразными. Так, в русском языке *стол* никак не может иметь значения «доски», а, например, английское *table* это значение имеет. Еще больше национальное своеобразие языка обнаруживается в различных словосочетаниях данного слова с другими словами (см., например,

французское сочетание *table des matières* — «оглавление», немислимое по-русски, и т.д.), но ср. устаревшее *табель провиантский*, *табель о рангах* или современное *табель успеваемости* (учащихся), *табель-табеля* (для учета явки на работу).

Итак, различные типы полисемии слова, имея много общего между разными родственными языками, одновременно и отличаются друг от друга. Общее в этом плане объясняется закономерностями развития значений слов в связи с историей народов, носителей данных языков, а специфическое и «неповторимое» в семантике слова — результат тех своеобразных условий, в которых бытует слово в системе каждого языка.

Если многозначность характерна для большинства слов самых разнообразных языков, то как же люди, говорящие на одном языке, понимают друг друга? Как, произнося слова *стол* или *соль*, мы добиваемся понимания этих слов нашим собеседником именно в том их значении, какое разумеем? Другими словами, как же получается, что полисемия не мешает взаимному пониманию?

Контекст — словесное окружение, ситуация — всякий раз устраняет полисемию. Когда говорят о «соли выступления министра», никто не думает в этом случае о продукте, употребляемом в пищу, но когда пробуют суп, то *соль* — если ее положено много или мало — выступает в нашем сознании именно в этом последнем значении. Когда мы жалуемся на то, что наш *стол* слишком мал для занятий, то мы разумеем письменный стол; когда же советуем больному перейти на диетический *стол*, употребляем это слово уже в значении еды, питания. Когда говорят «критик со *вкусом*», имеют в виду критика с хорошим вкусом (например, театральный или музыкальный критик), а когда жалуется, что «мясо с *запахом*», разумеют плохой запах. Это не значит, что свежее мясо вовсе не имеет запаха, но этот запах мы считаем естественным и поэтому не обращаем на него внимания. Однако стоит только запаху напомнить о себе, отклониться от естественного, как мы вспоминаем о «запахе», имея в виду при этом плохой запах. Когда говорят «птица садится на *дерево*», мысленно представляют себе ветки дерева, когда же утверждают, что «*дерево* срублено», в нашем сознании выступают на передний план уже не ветки, а ствол дерева.

Таким образом, контекст, окружение, в которое попадает слово, придает ему точное значение. Как бы ни было многозначно слово, в тексте, в речевом потоке, в диалоге оно получает обычно совершенно определенное значение. Контекст устра-

няет полисемию слова, всякий раз реализуя его лишь в одном направлении.

В известных случаях контекст может и более резко столкнуть разные значения одного и того же слова.

В свое время в Ленинграде появились объявления Государственной филармонии: «Литературные вечера народного артиста СССР Василия Ивановича Качалова. 20 (вечером) и 21 (днем)». Получалась как будто бессмыслица: *вечер днем*. В действительности же здесь подряд даны оба значения, точнее, значение и употребление слова¹ *вечер*: 1) вечер как часть суток от конца дня до начала ночи и 2) вечер в значении вечернего концерта или просто концерта. «Два *вечера* Качалова», т.е. два концерта; *вечер* в этом контексте настолько отрывается от значения «часть суток от конца дня до начала ночи» и настолько приближается к вневременному значению «концерта», что слово иногда может уже относиться к любому времени дня. «Два вечера Качалова» само по себе не заключает ничего необычного, но «два вечера Качалова», из которых один происходит действительно *вечером*, а другой *днем*, вновь как бы возвращает *вечер* — концерт к *вечеру* — части суток и, сталкивая эти два смысла, образует несколько необычное и парадоксальное: вечер, происходящий днем. В то же время «вечер днем» становится возможным только в той степени, в какой во втором (концертном) значении слова *вечер* «выветривается» смысл «часть суток». В общем же в этом примере значение и употребления слова *вечер*, следуя друг за другом, образуют своеобразное столкновение буквального и фигурального смыслов слова.

Итак, как бы ни была сложна полисемия, все же контекст устраняет ее, выявляя всякий раз точное значение слова.

Обычно контекст понимается как фраза, в системе которой находится слово. Но это лишь простейший случай зависимости слова от контекста. Очень часто контекст-ситуация может захватить слово надолго, предопределяя его значение на протяжении всего повествования.

Внимательно просматривая, например, оглавление «Братьев Карамазовых» Достоевского, мы можем заметить следующее: книга первая называется «История одной семейки». Затем идут главы: I. «Федор Павлович Карамазов», II. «Первого сына спровадил», III. «Второй брак и вторые дети». IV. «Третий сын Алеша». Когда читаем название второй главы: «Первого

¹ Об употреблении в отличие от значения см. следующий раздел.

сына спровадил», то мы невольно воспринимаем его как бы *на фоне* названия и содержания первой главы. Если первая глава называлась «Федор Павлович Карамазов», то последующее несколько неопределенное название «Первого сына спровадил» кажется неопределенным (кто спровадил?) лишь до тех пор, пока мы мысленно не соотнесем это название с названием первой главы («Федор Павлович Карамазов»). Глагол во втором названии («спровадил») перекликается с существительными первого наименования («Федор Павлович Карамазов»), образуя единую смысловую цепь всего контекста, которую не разбивает материал, составляющий содержание всей первой главы. Соответственно этому и название третьей главы («Второй брак и вторые дети») через посредство второй примыкает к тому же субъекту первой главы («Федор Павлович Карамазов»). *Связь словно соединяет звенья.* Воздействие названия первой главы на смысл последующих названий становится определяющим. Подобное же построение мы обнаруживаем, например, в заголовках V, VI и VII глав четвертой книги этого же романа: V. «Надрыв в гостиной», VI. «Надрыв в избе», VII. «И на чистом воздухе». Последнее название («И на чистом воздухе») получает смысл лишь на фоне предшествующих наименований («Надрыв в гостиной», «Надрыв в избе»).

Аналогичные построения часто встречаются и у современных писателей.

Так, у В. Каверина в романе «Два капитана»: «Пишу доктору Ивану Ивановичу» (ч. 4, гл. 3), а затем «Получаю ответ» (ч. 4, гл. 4). «Получаю ответ» предполагает знакомство с предшествующим письмом к Ивану Ивановичу. Чаше же зависимость оказывается значительно сложнее, и название главы становится ясным лишь в связи со всем предшествующим повествованием: «Палочка, палочка, палочка, пятая, двадцатая, сотая...», или: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Таким образом, контекст не только определяет семантику (значение) слова в пределах одного предложения — это лишь простейший случай, но контекст одного словесного сочетания воздействует порой на семантику другого или даже других словесных сочетаний, предложений, периодов и даже целых глав, устанавливая или уточняя их смысл, их общее или частное значение.

Различие между «узким» и «широким» контекстом — это различие прежде всего *стилевое*: с узким контекстом чаще приходится иметь дело при анализе значения слов в общенародном языке, тогда как контекст широкий имеет наибольшее значение

в языке художественной литературы. Разграничение это, однако, осложняется тем, что в разговорной речи, которая широко опирается на ситуацию, широкий контекст также приобретает большое значение. И все же различие здесь сохраняется: в языке художественной литературы широкий контекст обычно умышленно создается писателями, тогда как в разговорной речи он определяется «естественно», условиями протекания самого диалога. На вопрос: «Он живет своим *пером*?» — ответ может последовать: «Да, *пером*». Но значение слова *перо* в ответе «Да, *пером*» раскрывается только на фоне контекста предшествующего вопроса («Он живет своим *пером*?»).

Типичным образцом «художественного контекста» может служить начало «Сверчка на печи» Диккенса, которое в переводе на русский язык звучит так: «Начал чайник! Не говорите мне о том, что сказала миссис Пирибингл. Мне лучше знать. Пусть миссис Пирибингл твердит хоть до скончания века, что она не ведает, кто начал первый, но я скажу, что начал чайник. Мне ли не знать! Начал чайник на целых пять минут раньше — по маленьким голландским часам с глянцевитым циферблатом, — чем застрекотал сверчок». Первое предложение «Начал чайник» (The kettle began it!) раскрывается лишь на фоне всего последующего абзаца. Неясность ближайшего контекста (что начал чайник?) умышленно создается автором, чтобы возбудить интерес читателя, ввести его в атмосферу поэтической таинственности повести.

Различные типы контекста, важные для понимания условий реализации того или иного значения слова, имеют неодинаковый удельный вес в разных стилях языка (см. гл. VI)¹.

Итак, многозначность слова определяется природой мышления, способностью человека обобщать явления окружающего нас мира. Словарь любого языка, даже самого богатого, все же не беспределен, тогда как конкретность опыта предела не знает. Поэтому, чтобы передать средствами языка эту беспредельную конкретность опыта, лексика должна расширяться не только количественно (число слов), но и качественно (группировка значений внутри слов, возникновение новых значений у старых слов и т.д.). Многозначность (полисемия) слова определяется и

¹ Попытка показать, как возникает в контексте одно значение и логически исключаются другие, была сделана в статье: *Колшанский Г.В.* О природе контекста // ВЯ. 1959. № 1. С. 47–50, а также в кн.: *Slama-Cazacu T.* Langage et contexte. Hague, 1961 (здесь приводится и обширная библиография по лингвистическим и психологическим вопросам контекста).

природой мышления и особенностями повседневного опыта человека. Она обусловлена, таким образом, двусторонне.

Еще в конце XX столетия французский филолог М. Бреаль писал, что «полисемия является одним из признаков цивилизации и отнюдь не приводит к смешению значений»¹. Сходные положения развивал и русский академик М.М. Покровский в монографии, опубликованной за год до появления книги Бреаля². В самом деле, если, например, русское существительное *ключ* означает не только «металлический стержень для отпира-ния и запира-ния замка», но, переносно, и то, что «служит для разгадки, для понимания чего-либо» (*ключ* к шифру, *ключ* к трагедии Шекспира), то подобная полисемия действительно является «признаком цивилизации»: человек с помощью конкретного, казалось бы, чисто предметного слова способен выразить и гораздо более отвлеченное понятие, нисколько их не смешивая. Известный датский лингвист О. Есперсен остроумно заметил, что язык, лишенный полисемии, превратился бы в «лингвистический ад» (*a linguistic hell*)³.

Вот почему, когда для целей машинного перевода или других нужд прикладной лингвистики отдельные значения одного слова рассматривают как разные слова, нужно иметь в виду, что подобные операции, допустимые для тех или иных целей, вместе с тем противоречат природе слова с его широкими обобщающими возможностями.

В заключение этого первого раздела остановимся на важном для всего последующего изложения вопросе о *типах слов*.

Какие слова изучаются в лексикологии и какие из слов относятся больше к грамматике?

Так как словарь языка находится в постоянном движении, а количество слов каждого развитого языка очень велико, то лексикология, чтобы разобраться во всем этом многообразии, стремится как-то сгруппировать слова языка, установить определенные типы. Лексиколог интересуется огромным количеством слов, а отнюдь не только редкими или особо «экзотическими» словами. Все дело в том, что «обычных» слов говорящие часто не замечают, а между тем именно они и составляют основную

¹ *Bréal M. Essai de sémantique. Paris, 1913. P. 143* (1-е изд. вышло в 1897 г.).

² См.: *Покровский М.М. Семасиологические исследования в области древних языков. М., 1896. С. 38 и сл. Перепечатаны в кн.: Покровский М.М. Избранные работы по языкознанию. М., 1959. С. 63–153.*

³ *Jespersen O. Mankind, Nation and Individual from a Linguistic Point of View. Oslo, 1925. P. 89.*

массу словарного состава всякого языка и поэтому являются главным объектом изучения в лексикологии.

Различают следующие типы слов: слова, непосредственно выражающие понятия, или так называемые «знаменательные»¹. К этому типу слов относятся имена существительные и прилагательные, глаголы и наречия. Слова данного типа прежде всего и больше всего изучаются в лексикологии и семасиологии, так как они являются наиболее самостоятельными. Этой широкой группе слов противостоит другая, образующая тип служебных слов. К ним относятся предлоги, союзы, артикли, частицы, вспомогательные глаголы, лишенные самостоятельного лексического значения, но имеющие значение грамматическое. Для этого типа слов характерно то, что они обычно передают не самостоятельные понятия, а отношения между словами, выражающими понятия. Таким образом, связь служебных слов с понятиями оказывается не прямой, а косвенной, через посредство других слов, связанных с понятиями. Служебные слова не могут существовать без слов самостоятельных, разнообразные отношения между которыми они выражают. Легко понять, что служебные слова, у которых грамматическое значение оказывается на первом плане, изучаются прежде всего в разделе грамматики.

Особое положение между двумя основными типами слов (самостоятельными и служебными) занимают три других возможных типа слов: слова местоименные, слова числительные и слова междометные.

В этих последних трех типах имеются признаки, сближающие их со словами «знаменательными», но имеются и другие признаки, напоминающие особенности слов служебных. К первым относится то, что местоимения, числительные и междометия могут употребляться как более самостоятельные слова по сравнению со словами служебными: «Он отправился в Москву»; «Увы! — воскликнула она»; «Сколько у вас книг? — Три». Ко вторым — то, что все три перечисленные типа слов чаще всего предполагают фон других, более самостоятельных слов, к которым они относятся: *он*, т.е. студент; *три*, т.е. три книги, и т.д. (см. об этом в разделе грамматики).

Таким образом, между двумя полярными типами слов — самостоятельными и служебными — размещаются другие возможные

¹ Лучше — самостоятельные. Термин «знаменательный» неудобен в том отношении, что создает неверное впечатление, что в языке имеются не только знаменательные, но и незнаменательные слова. В действительности все слова *по-своему* знаменательны. Подробнее об этом см. в 6-м разделе главы III.

типы, то приближающиеся к самостоятельным, то напоминающие слова служебные. Вместе с тем и эти слова сохраняют свою специфику, основанную на сочетании многих признаков. Как ни существенно различие между самостоятельными и служебными словами, различие это не исконное, а историческое: служебные слова могут возникать из слов самостоятельных, а эти последние — превращаться в слова служебные (см. гл. III).

Итак, в лексикологии изучаются разные типы слов. Семасиология же интересуется прежде всего словами самостоятельными, наиболее тесно связанными с понятиями¹.

2. Значение и употребление слова

Как бы ни были разнообразны значения слова, все они объективно присущи самому слову и обычно являются достоянием общенародного языка. Контекст может уточнять значение слова, выдвигать вперед одно или другое из многих его значений. В известных случаях контекст в состоянии и дальше развивать определенное значение слова. Так, слово *вкус*, как мы видели, в определенном контексте имеет значение «хорошего вкуса», «тонкого вкуса», и вместе с тем это последнее является отнюдь не только «контекстным», не только единичным, но и общим: оно вообще присуще слову *вкус*, является одним из значений данного слова («человек со *вкусом*»; «у него есть *вкус*»; «одеваться со *вкусом*»).

Но бывает и так, что в определенном контексте значение слова начинает развиваться в таком направлении, которое на данном этапе истории языка еще не превращается в одно из общих значений слова. Так, в приведенном примере со словом

¹ По общим вопросам лексикологии и семасиологии см.: *Резников Л.О.* Понятие и слово. Л., 1958; *Ахманова О.С.* Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957. С. 9–94; *Виноградов В.В.* Русский язык. М., 1947. С. 3–47; *Лафарг П.* Язык и революция. М., 1930; *Звегинцев В.А.* Семасиология. М., 1957. С. 8–47; *Курилович Е.Р.* Очерки по лингвистике. М., 1962. С. 237–250; *Уфимцева А.А.* Опыт изучения лексики как системы. М., 1962. Гл. 1; *Левковская К.А.* Теория слова, принципы ее построения и аспекты изучения лексического материала. М., 1962. С. 52–167; *Казанский Б.В.* В мире слов. Л., 1958. С. 31–162; *Кузнецова А.И.* Понятие семантической системы языка и методы ее исследования. М., 1963; *Будагов Р.А.* Сравнительно-семасиологические исследования. М., 1963. С. 3–34; Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962. С. 9–136; *Ullmann S.* The Principles of Semantics. 2 ed. Oxford, 1959. P. 258–299; *Guiraud P.* La sémantique. Paris, 1955; *Kronasser H.* Handbuch der Semasiologie. Heidelberg, 1952 (kap. 1, 3).

вечер (см. с. 23) можно обнаружить, что употребление данного слова в смысле «всякое представление» (а не только «вечернее представление или собрание») обычно настолько прочно ассоциируется с «вечерним временем», т.е. с буквальным значением слова («часть суток перед наступлением ночи»), что не дает возможности фигуральному осмыслению слова («вечернее представление или собрание») оторваться от его буквального значения и тем самым получить значение «представление или собрание» вообще, независимо от времени, независимо от части суток, когда данное «представление или собрание» протекает. Поэтому эпизоды с афишами (см. выше), когда слову *вечер* придается более общее значение «представления» вообще, являются фактами индивидуального *употребления* слова, пока не превратившимися в одно из общих значений слова *вечер*.

Вместе с тем, разграничивая значение, более общее и категориальное в слове, от употребления, более индивидуального и некатегориального, нельзя не видеть глубокого *взаимодействия* между ними¹. То, что рождается в отдельных контекстах и что в определенную эпоху не является еще обычным, в другую историческую эпоху может стать обычным и сделаться тем самым категориальным. Значение «питание», столь широко свойственное слову *стол* во многих языках, возникло первоначально как своеобразное употребление этого слова, однако впоследствии такое употребление послужило источником возникновения одного из новых значений самого слова *стол*. В каждом случае нужно исследовать причины, которые способствуют превращению употребления слова в его значение. В рассмотренном примере со словом *вечер* употребление последнего в смысле «представления вообще» оказывается как бы на грани между употреблением и значением самого слова. В ряде случаев процесс передвижения употребления слова в его значение может совершаться на наших глазах. Следует только внимательно следить за жизнью слова.

Употребление слова все же далеко не всегда превращается в его значение. В языке художественной литературы, как и в

¹ Ср. тонкое замечание Л.В. Щербы: «Здесь, как и везде в языке (в фонетике, в грамматике и в словаре)... ясны лишь крайние случаи. Промежуточные же в самом первоисточнике — в сознании говорящих — оказываются колеблющимися, неопределенными. Однако это неясное и колеблющееся и должно больше всего привлекать внимание лингвиста, так как здесь... мы присутствуем при эволюции языка» (*Щерба Л.В.* Некоторые выводы из моих диалектологических лужицких наблюдений. Пг., 1915. С. 1).

некоторых других языковых стилях, в которых особую функцию приобретает широкий контекст, употребление слова может достаточно отделиться от его значения.

В известной статье Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», которая сама является блестящим художественным произведением, слово *художественность*, например, употребляется в особом смысле. Описывая характер Шубина, одного из персонажей романа Тургенева «Накануне», Добролюбов отмечает его страстную, добрую и вместе с тем непостоянную натуру. Первоначально героиня романа Елена серьезно отнеслась к Шубину, но вскоре, по словам Добролюбова, «она увидела *художественность* этой натуры, увидела, что здесь все зависит от минуты, ничего нет постоянного и надежного»¹.

В этом контексте слово *художественность* употребляется явно необычно. Непостоянный в своих влечениях и симпатиях, художник Шубин сам становится олицетворением непостоянства. Вместе с тем и *художественность* его натуры выступает как признак не положительный, а отрицательный. Слово *художественность* в этом сложном контексте, навеянном всем содержанием предшествующего повествования и образом самого Шубина, употребляется в смысле «непостоянство» (*художественность* > увлеченность > непродолжительная увлеченность > непостоянство). Но такого значения слово *художественность* в русском языке не имеет. Оно лишь *употребляется* в смысле «непостоянство», и за пределами данного контекста этот смысл у данного слова исчезает. Употребление, не поддержанное другими аналогичными случаями, оказывается чисто контекстным и не перерастает в общее значение слова.

В конце XIX столетия у М. Горького в «Песне о Соколе» слово *безумство* осмыслялось как «исключительная смелость», «отвага», «бесстрашие».

Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!

Словари того времени, как и более поздний «Толковый словарь русского языка» (1935–1940) под ред. Д.Н. Ушакова, объясняют слово *безумство* иначе («то же, что и безумие», переносно «удаль, презрение к тому, что считается благоразумным»). На основе фигурального значения слова *безумство* («удаль» и пр.) в определенном контексте художественного целого рождалось новое употребле-

¹ Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. М., 1963. С. 112.

ние данного слова. Но *безумство* в смысле «отвага» так и осталось употреблением слова и не переросло в его значение¹.

В рассказе Чехова «Попрыгунья» легкомысленная Ольга Ивановна не понимала и не ценила своего доброго и трудолюбивого мужа Дымова. Все у Дымова и у его товарищей казалось Ольге Ивановне «вульгарным». Друг Дымова Коростелев представлялся ей смешным и «стриженным». И когда Ольга Ивановна разбила жизнь мужа, она стала опасаться, что Коростелев ее выдаст, что «стриженный понимает все». Само по себе прилагательное *стриженный*, как и причастие *стриженный*, вовсе не имеет отрицательного значения в русском языке. Напротив того, *стриженный* — это «с подстриженными волосами», следовательно, аккуратный человек. Но у «попрыгуньи» Ольги Ивановны свои понятия прекрасного и ужасного. Изящным и красивым ей кажется только вульгарный художник Рябовский, «с длинными кудрями и с голубыми глазами», и поэтому понятие «стриженный» ассоциируется в ее сознании с «ограниченным» Коростелевым. *Стриженный* для Ольги Ивановны делается синонимом *ограниченного*. Чехов дважды, и как бы невзначай, упоминает об этом. Особое восприятие «попрыгуньей» прилагательного *стриженный* используется художником для противопоставления высокого нравственного мира Дымова пошлым представлениям о внешней «красивости» у Ольги Ивановны. Прилагательное *стриженный* употребляется здесь особо, и это *употребление* не совпадает со *значением* данного прилагательного.

Иногда не только отдельные слова, но и целые словосочетания получают особое, индивидуально-контекстное осмысление.

В рассказе Чехова «Дама с собачкой» дается такая характеристика семейных отношений главного персонажа повествования — Гурова: «Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, *с темными бровями*, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах *ъ*, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома». Само по себе выражение *темные брови*, казалось бы, могло помочь писателю подчеркнуть красоту лица изображаемой женщины, а не ее непривлекательность. Но в данном контексте это выражение,

¹ Неразграничение значения и употребления слова приводит к недоразумениям.

этот штрих иначе располагает краски: на некрасивом лице мужеподобной женщины *темные брови* подчеркивают лишь ее неженственность и грубоватость. Этот смысл выражения *темные брови* оказывается здесь настолько органичным, настолько очевидным, что и впоследствии, уже совсем в другом месте рассказа, вновь возвращаясь к характеристике жены Гурова, которой были чужды и непонятны лирические раздумья мужа, Чехов лишь замечает: «жена только шевелила *темными бровями*». Писатель отходит от обычного смысла словосочетания (ср. «красавица с *темными бровями*»), переосмысливает его и иначе акцентирует. Однажды выступившие в отрицательной характеристике *темные брови* и в дальнейшем повествовании уже как бы сами по себе начинают оттенять не красоту лица, как обычно, а неязыщность и неодухотворенность. Эта контекстная семантика словосочетания тонко используется Чеховым: разрушая обычный смысл выражения и придавая ему новое значение, писатель создает запоминающийся образ.

Употребление отдельных слов и словосочетаний может иногда не совпадать с обычными значениями этих слов и словосочетаний.

Устанавливая сложные отношения, существующие между значением и употреблением слова, необходимо подчеркнуть зависимость последнего от первого. Подобно тому как отдельное и индивидуальное в языке всегда подчиняются общему и категориальному, подобно этому употребление слова зависит от его значения. Как бы ни казались с первого взгляда причудливыми различные случаи употребления слова, сами они вырастают из его значений, объективно присущих общенародному языку. Но в то время как некоторые случаи употребления слова перерастают в значения, другие так и остаются в сфере употребления.

Такое различие вполне понятно: специфика языка художественной литературы заключается, в частности, в том, что на основе индивидуального осмысления слова рождаются многие образы, с помощью которых наделяются живыми чертами персонажи. Так, например, создается образ на основе горьковского употребления слова *безумство*¹.

Следует признать слишком категоричной широко распространенную точку зрения, согласно которой лишь то употребление слова правильно и хорошо, которое перерастает впослед-

¹ Употребление слова в отличие от его значения может, разумеется, наблюдаться не только в языке художественной литературы, но и в других языковых стилях (о чем дальше).

ствии в значение. Такая точка зрения несостоятельна потому, что она не учитывает богатства языковых стилей (см. гл. VI). В определенных языковых стилях, например в особом стиле художественной литературы, употребление слова может и не перерасти в значение и тем не менее сохранять несомненную выразительную силу. Больше того, в известных случаях переход употребления в значение лишь ослабил бы выразительные возможности слова в данном контексте.

Хотя употребление слова сохраняет своеобразие в отличие от значения, оно оказывается фактором, зависимым от последнего¹.

3. Термины и терминология

Хотя многозначность широко пронизывает лексику самых разнообразных современных языков, однако в системе терминов полисемии обычно не наблюдается. *Термин* — это слово со строго определенным значением. Как правило, у термина бывает одно значение. Точнее говоря, термин стремится к однозначности (моносемии). Когда произносят такие термины, как *треугольник* или *бином*, то значение каждого из них оказывается единым независимо от контекста.

Многозначность того или иного термина воспринимается как недостаток и создает путаницу. Так, в русской технической литературе *бронзу* иногда определяют как «сплав меди с оловом», а иногда как «сплав меди с другими металлами», *амплитуду* понимают иногда как «полный размах колеблющегося тела», а иногда как «половину размаха колеблющегося тела» и т.д.² В технической терминологии подобная «многозначность» создает ряд практических неудобств, путаницу представлений, неясность в аргументации.

Следует различать поэтому многозначность слова в общенародном языке как явление вполне естественное и необходимое и многозначность термина как явление «неестественное», как результат небрежного отношения к специальному научному языку.

¹ Вместо разграничения терминов «значение» и «употребление» иногда говорят об «узуальном» (общем) и «окказиональном» (узкоконтекстном) значениях слова (см.: Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960. С. 94–98; Фельдман Н.И. Окказиональные слова и лексикография // ВЯ. 1957. № 4. С. 64–73).

² См.: Лотте Д.С. Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения научно-технических терминов // Изв. Академии наук СССР. Отд. техн. наук. 1940. № 7. С. 80–81.

Когда произносится слово *стол* в значении «питание» («в санатории хороший стол»), то другое значение этого же слова («вид мебели») либо совсем исключается из нашего сознания, либо, присутствуя в нем, все же нисколько не мешает восприятию слова в переносном смысле. Когда употребляют слово *вопрос* в смысле «обращение, требующее ответа» («задать кому-нибудь вопрос»), то не путают данного значения с другим значением этого же слова — «проблема, ждущая своего решения» («наболевший вопрос», «вопрос о топливе»). В общенародном языке одно значение слова обыкновенно не мешает другому, сосуществует с ним, ибо контекст, реализуя то одно, то другое значение, устраняет трудности.

Иначе оказывается с многозначностью в научной терминологии. Здесь разные значения термина обычно мешают друг другу, исключают друг друга, не допускают сосуществования. Если *амплитуда* — это «полный размах колеблющегося тела», то этот же термин не может одновременно означать «половины размаха колеблющегося тела», ибо сам по себе контекст в этом случае оказывается не в состоянии устранить одно из значений термина. Поэтому перед читателем или слушателем всякий раз будет возникать дилемма, о какой *амплитуде* идет речь. Создается не один термин *амплитуда* с двумя значениями, а два разных термина, условно выражающиеся одним и тем же словом *амплитуда*. Таким образом, в то время как в общенародном языке контекст, легко устраняя полисемию, делает слова однозначными и недвусмысленными, в научном и техническом языке контекст уже не в силах справиться с многозначностью. Многозначность устраняется здесь, так сказать, до контекста. Каждый термин получает одно значение, т.е. с самого начала он приобретает ту однозначность, к какой в общенародном языке слова приходят лишь в результате их реализации в контексте.

Если многозначность и встречается в отдельных терминах, то специалистами той или иной области знаний она всегда оценивается как недостаток. Поэтому сознательное упорядочение научной и технической терминологии является важной задачей.

Однозначность термина определяется еще и тем, что он находится не только в лексической системе языка, но и в системе понятий той или иной науки. Термин обусловлен, таким образом, двойко. *Фонема* — термин лингвистики, *азот* — термин химии, *ода* — термин поэтики, *рационализм* — термин философии и т.д. В нашу эпоху — время содружества наук — встречаются и такие термины, которые являются достоянием одновре-

менно многих наук, но в целом специализация терминов в пределах определенной научной дисциплины весьма характерна. Функционируя в пределах понятий определенной науки, термин вступает во взаимодействие с другими терминами-понятиями этой же науки и, таким образом, оказывается как бы в двойной системе отношений: общеязыковой и специально научной. Все это способствует развитию однозначности (моносемии) термина.

Термины имеют огромное значение. Точное знание того или иного явления природы или общества требует такого же точного знания его названия-термина. Наука порождает и соответствующие термины, но, порождая их, она сама продвигается вперед по мере установления точного смысла самих этих терминов. Так, представление об *инерции*, по-видимому, было известно уже предшественникам Галилея, однако только с того момента, когда Галилей дал этому явлению название *инерция*, было уточнено тем самым само представление об инерции и понятие вошло в научный обиход. Термин *промышленность*, введенный Карамзиным, помог отделить новое понятие от старого представления о *промысле* и тем уточнил новое понятие. Когда К. Маркс совершенно по-новому раскрыл понятие *прибавочной стоимости* (*Mehrwert*), как части стоимости, которая производится наемными рабочими сверх стоимости рабочей силы, тогда и политическая экономия приобрела иной характер. После того как Винер предложил в 1948 г. термин *кибернетика* для обозначения новой области человеческих знаний (учение об управляющих устройствах, о передаче и переработке с их помощью информации), вновь рожденный термин помог сплотить ученых вокруг науки, получившей общепринятое наименование.

В ряде случаев переход от догадки и научной гипотезы к точному знанию ускоряется при помощи установления соответствующего термина. Поэтому видные ученые, писатели и политические деятели так тщательно работают над научной терминологией.

Термин не только пассивно регистрирует понятие, но в свою очередь воздействует на это понятие, уточняет его, отделяет от смежных представлений.

Как же образуются термины? Они создаются обычно либо из уже существующих в литературном языке слов путем придания этим последним особого, дополнительного, терминологического значения (см. далее анализ слов *хрупкость* и *усталость*), либо из иноязычных, чаще всего интернациональных элементов лексики (например, *астрономия*, *биология*, *пирамида* и пр.).

Второй путь образования терминов оставим пока без комментариев (см. об этом раздел 11), но несколько задержимся на первом. Слово *хрупкость* в современном русском литературном языке — это так называемое «отвлеченное существительное к прилагательному *хрупкий*». *Хрупкий* же толкуется как «ломкий, непрочный, легко поддающийся разрушению, распадению на части». В переносном смысле *хрупкий* — «лишенный основательности, слишком нежный, слабый» («хрупкое здоровье»). Но вот в техническом языке слово *хрупкость* приобретает особое, специальное, терминологическое значение: «Хрупкость — способность материала разрушаться без заметной пластической деформации». Бесспорно, конечно, что это техническое значение *хрупкости* известным образом связано с основным значением слова («непрочность»), но вместе с тем и отличается от него («непрочность», «разрушение», но «без заметной пластической деформации»).

В ряде же случаев бывает так, что техническое осмысление общелитературного слова приобретает еще более специальное значение и дальше отходит от своего первоначального источника.

Так, *усталость* в литературном языке — это «чувство утомления, ослабление организма от работы, движений и пр.». *Усталость* в техническом значении — это «постепенное разрушение материала при воздействии большого числа повторно-переменных напряжений». В этом последнем случае *усталость* прорывает связь с представлением об утомлении и вступает в новый смысловой ряд. В подобных случаях термин, образовавшийся из общелитературного слова, оказывается уже своеобразным омонимом по отношению к своему источнику, т.е. теряет с ним связь.

«В лоции Черного моря, — пишет К. Паустовский, — сказано, что “зимой во время норд-остов берега Босфора покрыты густой *мрачностью*»”. Это — типичное морское выражение. Здесь вы ясно видите, как меняется смысловое значение слова. *Мрачность* на языке моряков означает совсем не то, что на нашем языке, — это не душевное настроение, а плотный, черный туман»¹.

Термины и слова общенародного языка находятся в постоянном взаимодействии.

Нельзя не заметить, что в тех случаях, когда разрабатываются новые области знания, потребность в новых терминах для обозначения новых предметов и явлений бывает особенно значительной. Так, в связи с появлением реактивных самолетов

¹ Паустовский К. Мой творческий опыт (как я работаю). М., 1934. С. 5.

появилось и множество новых специальных терминов. Приведем лишь один такой термин: *обдув* — «прибор, находящийся в реактивном самолете и служащий для того, чтобы на большой высоте обдуть кислородом лицо пассажира». *Обдув* — отглагольное образование от *обдуть*, возникшее из настоятельной потребности обозначить новый предмет, новое изобретение.

Каждая специальная область знания имеет свои специальные термины. Обычно мы даже и не подозреваем, как велика потребность в таких терминах. То, что неспециалисту кажется неважным, а поэтому и не требующим специального наименования, в действительности, с позиции данной области знаний, оказывается очень важным.

Вот, например, в специальной спортивной литературе описывается бег известного спортсмена, который устанавливает мировой рекорд на дистанции в десять километров. Сообщается, как этот спортсмен совершает рывки, позволяющие ему оторваться от опасного соперника. «Задний толчок спортсмен совершает образцово: *толчковая нога* полностью распрямлена. Все мышцы ноги включены в работу» (газета «Советский спорт»). В разговорном языке обычно нет надобности различать ногу *толчковую* и *нетолчковую*. Это различие неспециалисту кажется совершенно неважным. Между тем для данной области знаний, для правильного воспитания и правильной тренировки спортсмена-бегуна различие это представляется весьма существенным. Так возникает своеобразный, хотя и очень специальный, термин *толчковая нога* в отличие от ноги, которая толчка не совершает.

Термин — это слово в особой функции, слово, для которого характерна однозначность. Этой особенностью термина обусловлено и другое его свойство: *термин обычно лишен эмоциональной окраски*. Легко представить себе, с какой разнообразной экспрессией можно произносить такие повседневные слова, как *мама, замечательно, ужас, да, нет, восхитительно* и т.п. Но трудно представить себе, чтобы кто-либо произносил с особой экспрессией термины *треугольник, протон, тахикардия* или *подлежащее*. Разумеется, в особых, исключительных условиях термины тоже могут приобрести эмоциональную окраску («Ну и *тахикардия!*»), но эти исключительные условия лишь подтверждают правило: всякому термину обычно чужда эмоциональная окраска¹.

¹ В одноактном водевиле Чехова «Свадьба» акушерка Змеюкина восклицает: «Какие вы все противные скептики! Слышите? Дайте мне атмосферы!» Употребленный совершенно некстати термин *атмосфера* приобретает здесь не столько эмоциональное, сколько комическое звучание.

Чем больше слово приближается к термину, тем меньше оно подвержено эмоциональному воздействию — влиянию своеобразной интонации, с которой произносятся слова. И наоборот: чем менее подвержено слово процессу «терминологизации», чем более оно многозначно, тем больше — при прочих равных условиях — оно может подвергаться воздействию эмоциональной окраски.

В последнее время в нашей отечественной литературе, как и в зарубежном языкознании, не раз высказывалось мнение, согласно которому отличие термина от слова заключается в том, что термин непосредственно выражает понятие, тогда как значение слова может и не быть связанным с понятием. Однако язык есть средство общения и средство выражения мыслей, поэтому значение слова обычно в такой же степени передает понятие, как и термин. Отрицать последнее — значит видеть в языке лишь условную систему знаков, не имеющую отношения к мышлению.

Если возможно говорить в этом плане об отличии термина от слова, то только в том смысле, что связи термина с понятием часто выступают более прозрачно, чем связи неспециального слова с понятием. В этом последнем случае связь может осложняться, например, многозначностью слова.

Люди небезразличны к языку и пытаются создать в отдельных случаях свое особое понимание слов, в особенности терминов. Однако это ошибочное понимание отдельных терминов обычно не бывает долговечным.

Если точное знание терминов помогает нам глубже проникнуть в ту или иную специальную область знаний (нельзя заниматься математикой, не понимая математической терминологии, или лингвистикой — без терминологии лингвистической), то неправильное употребление терминов или ненужное нагромождение их только отделяет нас от науки, преграждает доступ к знанию.

Когда Чичиков попадает в кабинет к полковнику Кошкареву, то он обнаруживает там шеститомный труд под таким заглавием: «Предуготовительное вступление в область мышления. Теория общности, совокупности, сущности, и в применении к уразумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности». Высеивая подобное нагромождение ненужных «ученых» слов, бессмыслицу подобных словесных сцеплений, Гоголь восклицает: «...и черт знает, чего там не было!»¹.

¹ Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М., 1960. С. 442.

Иногда нагромождением «ученых» слов подчеркивается различие между «профанами» и «мужами» науки. Так, когда Санчо Панса справедливо замечает своему безумному господину во время одного из их приключений, что они отъехали от берега всего на несколько метров и что никакого «конца света» пока не видно, Дон Кихот со скорбным видом замечает: «Ты, Санчо, не знаешь, что такое большие круги, линии, параллели, зодиаки, эклиптики, полюсы, солнцестояние, равноденствие, планеты, знаки, точки пересечения и расположения светил в небесной и земной сферах. Вот если б ты все это знал... ты бы отдал себе полный отчет в том, сколько параллелей мы уже пересекли...»¹. Весь комизм положения заключается здесь в том, что читателю с самого начала ясно, насколько прав Санчо и насколько не прав безумный рыцарь. Поэтому все громкие «ученые» термины оказываются здесь совершенно ненужными и смешными, а попытки Дон Кихота в этой ситуации подчеркнуть превосходство ученого человека над неученым достигают лишь противоположного эффекта.

В наше время употребление искусственно выдуманных, а поэтому и ненужных терминов высмеял А. Макаренко.

Повествуя о бездарном инспекторе Шарине («Педагогическая поэма», ч. I, гл. 17), Макаренко пишет: «Он прекрасно усвоил несколько сот модных терминов и умел бесконечно низать пустые словесные трели, убежденный, что за ними скрываются педагогические и революционные ценности... “Локализованная система медико-педагогического воздействия на личность ребенка, поскольку она дифференцируется в учреждении социального воспитания, должна превалировать настолько, насколько она согласуется с естественными потребностями ребенка и насколько она выявляет творческие перспективы в развитии данной структуры — биологической, социальной и экономической...” Он в течение двух часов... давил собрание подобной ученой резиной»².

Нельзя не заметить, что и некоторые наши молодые исследователи, в том числе и лингвисты, нередко злоупотребляют

¹ *Сервантес*. Дон Кихот / Пер. Н. Любимова. Т. II. М., 1951. С. 236.

² Ср. иронические замечания А.И. Герцена о том, какое сильное впечатление оказывали латинские названия лекарств на губернаторшу: «Слыша латинские слова, сама губернаторша верила, что человек был бы жив» (*Герцен А.И.* Кто виноват? М., 1948. С. 29). К аналогичным заключениям приходит итальянский писатель А. Мандзони (роман «Обрученные», гл. 8), изображая воздействие на крестьян ученых терминов, употребляемых священником Абондио.

«давлением ученой резины». Чем больше непонятных и неожиданных терминов, думают они, тем эффективнее воздействие на непосвященных. Между тем подлинные ученые, мастера своего дела, стремятся писать ясно и просто. Разумеется, без терминов, как было показано, наука обойтись не может. Но у выдающихся и зрелых исследователей термины встречаются лишь там, где они действительно необходимы. Острые стрелы Сервантеса и Гоголя, Герцена и Макаренко, нацеленные на любителей ненужных терминов, поражают не только смешных или просто отрицательных персонажей прошлого, но и некоторых наших современников.

Следует, таким образом, различать нужное и ненужное употребление терминов, нужные и ненужные (искусственно придуманные) термины. Чем выше грамотность народа, тем более ему понятны широко распространенные в языке термины.

Итак, термин — это слово с особой функцией. Однозначность является важнейшей характерной особенностью термина¹.

4. Конкретные и абстрактные слова. Буквальные и фигуральные значения слов

Если сравнить такие слова, как *любовь, сожаление, страх, размышление, созерцание*, со словами *стол, нож, топор*, то легко заметить более абстрактный характер первых по сравнению со вторыми. Современный человек, говорящий на таких высоко развитых языках, как, например, русский, чешский, грузинский или английский, обычно не замечает различия между словами этих двух типов. Между тем во многих менее развитых языках еще не выработалась сложная система отвлеченных слов. Африканскому кафру гораздо легче сказать на своем языке о любви

¹ О термине и терминологии см.: *Лотте Д.С.* Основы построения научно-технической терминологии. М., 1961. С. 7–71; *Винокур Г.О.* О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Тр. МИФЛИ. Филологический факультет. 1939. Т. V. С. 3–54; *Баскаков Н.А.* Современное состояние терминологии в языках народов СССР. М., 1959. С. 1–27; *Реформатский А.А.* Что такое термин и терминология. М., 1959. С. 1–14; *Кауфман И.М.* Терминологические словари. М., 1961; *Savory Th.* The Language of Science. L., 1953 (опыт описания особенностей научного изложения); *Andrews E.* A History of Scientific English. N.Y., 1947 (ch. 1); *Татаринов В.А.* История отечественного терминоведения. М., 1995; *Его же.* Теория терминоведения. М., 1996.

«такого-то определенного человека к другому столь же определенному человеку», чем выразить понятие любви вообще. Ему легче рассказать о том, кого он видел, кто за кем наблюдал, чем определить общие значения таких слов, как *зрение*, *наблюдение*, *размышление*.

Недостаток в общих понятиях своеобразно компенсируется огромным многообразием конкретных наименований. У саамов, например, имеется до 20 слов для обозначения различных форм и сортов льда, 11 слов для передачи различных степеней холода, 41 слово для различных видов снега. Сознание обычно ориентируется на конкретные предметы и явления и лишь постепенно, в процессе своего исторического развития, овладевает более сложными и отвлеченными представлениями.

В этой связи любопытно, что в старом русском фольклоре почти не встречается загадок на родовые понятия, зато очень многочисленны загадки, основанные на видовых, частных наименованиях. Редки загадки на темы «растение», «животное» или «птица», но зато очень часто выступают конкретные предметы и понятия: «яблоня», «овца», «курица» и т.д. На вопрос «Что над нами вверх ногами?» ответ гласит: «Муха» (или «Таракан»), но отнюдь не «Насекомое». Видовые понятия преобладают здесь над родовыми, частные над общими, конкретные над абстрактными¹.

Интересно, что в «бытовой речи» мы тоже очень часто как бы «отталкиваемся» от частных представлений и конкретных ситуаций. Для ребенка *доброта* — это что-то «мамино», но и для взрослого человека, не привыкшего к строго научному мышлению, такие понятия, как, например, *сила*, могут прежде всего ассоциироваться с Иваном Ивановичем или Иваном Петровичем, который третьего дня один передвинул шкаф в кабинете («он сильный», «у него *сила*»), а понятия типа *бесконечность* лишь смутно связываются с ранее приобретенными знаниями: нечто из математики или нечто из философии. «Бытовая речь», таким образом, как бы стремится опереться на наглядные представления и на практический опыт, отталкиваясь от которых она может подняться и выше — к логическим и языковым обобщениям. Исторически все слова языка прошли этот путь, ибо во всяком отдельном есть общее, а общее выражается через отдельное.

Проблема развития абстрактных слов сводится к проблеме исторического развития языка. Различие между языками в этом плане является не исконным, не расовым, не «природным», а

¹ См.: Рыбникова М.А. Загадки. М.; Л., 1932. С. 15.

историческим. Языки, находящиеся на более высокой ступени общественного развития, располагают и более обширным словарем абстрактных понятий, тогда как языки, которые в условиях определенного общественного строя подавлялись, не получали письменности, располагают и меньшим запасом соответствующих отвлеченных слов. Однако стоит только создать благоприятные условия для развития «отсталого» языка — и он начинает быстро обогащаться абстрактными словами. Многочисленные случаи подобного развития можно наблюдать во многих языках.

Нельзя согласиться с теми учеными, которые различие между языками в этом плане связывают не столько с историческими условиями развития разных языков, сколько прежде всего с самой «природой» определенных языков и народов¹.

Развитие новых абстрактных слов не следует смешивать с развитием переносных (фигуральных) значений у ранее уже существовавших слов. Этот последний вопрос самым непосредственным образом примыкает к широкой проблеме многозначности слова. Уже в ранее проанализированном слове *соль* такие его значения, как «сущность» и «остроумие», так относятся к основному значению слова («определенный необходимый продукт»), как значения переносные к значению буквальному, исходному, основному. Фигуральное как бы надвигается на буквальное, сцепляется с ним. Переход от буквального к фигуральному в системе различных значений одного и того же слова обычно совершается легко в силу органической близости этих типов значений.

В самом деле, фигуральные значения пронизывают лексику общенародного языка. Говорят о *горлышке* бутылки и *ручке* кресла, восхищаются *говорящими* глазами, *сладкими* звуками и *бархатным* баритоном, вспоминают *седую* старину истории, а иногда даже едут *зайцем* в поезде. Могут быть *веские* доводы, но не «тяжелые», встречаются *холодные* люди при вполне нормальной температуре тела. У *бессердечного* человека бьется такое же сердце, как и у человека *сердечного*, доброго.

¹ Такова, например, точка зрения французского философа, этнографа и лингвиста Леви-Брюля (1857–1939) в кн.: *Леви-Брюль Л.* Первобытное мышление / Рус. пер. М., 1930. Необходимо, однако, подчеркнуть, что обширные материалы этой книги представляют бесспорный интерес для историка языка и мышления; см. также: *Боас Ф.* Ум первобытного человека / Рус. пер. М.; Л., 1926; *Валлон А.* От действия к мысли. Очерк сравнительной психологии / Рус. пер. М., 1956. С. 177–223; *Спиркин А.* Происхождение сознания. М., 1960. С. 314–467.

Подобного рода противопоставления с очевидностью доказывают, что прилагательные *веский*, *холодный*, *бессердечный* во всех этих случаях употребляются переносно (фигурально).

Как ни кажутся нам теперь такого рода переносные значения естественными, они возникли в процессе исторического развития языка. Чтобы убедиться в том, обратимся к фактам более древних индоевропейских языков, которые дают возможность наглядно проследить процесс формирования фигуральных значений слова.

Прилагательное *inanis* у старых латинских авторов, например у Плавта, имеет значение «пустой», «неимущий» (человек), тогда как впоследствии у этого прилагательного возникает фигуральное значение «тщетный» (например, у Вергилия). Глагол *ardere* — «пылать» у того же Плавта употребляется по отношению к факелу и по отношению к глазам человека. Позднее, однако, этот глагол приобрел фигуральное значение — «быть влюбленным в кого-либо»¹.

Процесс развития слова от буквального значения к фигуральному может быть и более сложным. В старом русском языке *красный* означало «красивый», «прекрасный», «светлый» (ср. *красна* девица). Для обозначения же красного цвета употреблялось другое прилагательное — *чървъчатый*, *чървлений*, *чърлений*². Впоследствии, в эпоху образования русского национального языка, прилагательное *красный* стало обозначать цвет. Позднее, во Франции, в связи с развитием революционного движения слово *красный* — *rouge* приобрело новое значение — «свободолюбивый», «революционный». Это последнее перешло в русский язык и явилось новой ступенью в развитии фигурального значения слова. От фигурального значения, известного уже старому языку (*красный* — «красивый»), слово устремляется как бы к более точному «предметному» значению (*красный* по отношению к цвету), с тем чтобы на основе этого значения вновь подняться к фигуральному осмыслению (*красный* — «революционный»).

Процесс развития фигурального значения или фигурального употребления слова может наблюдаться не только на протяжении

¹ См.: Тронский И.М. Очерки из истории латинского языка. М.; Л., 1953. С. 190.

² См.: Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. III. СПб., 6/г. С. 1558. Ср.: Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка. 2-е изд. М., 1954. С. 314.

целых веков формирования того или иного языка, но и на протяжении сравнительно небольшого периода времени.

Слово *мешок*: 1) небольшой мех для хранения сыпучих тел, 2)местилище для сыпучих тел (связь с *мехом* утрачивается). Но вот в годы Великой Отечественной войны возникло новое фигуральное значение у этого слова: *мешок* — «очень тесное окружение противника». Ср. также новое употребление глагола *утюжить* (наряду с прямым значением): *утюжить* окопы противника, *утюжить* гусеницами танка траншею противника (родилось в Великую Отечественную войну)¹.

В ряде случаев фигуральное значение слова настолько выдвигается вперед, что совсем заслоняет собой буквальное значение того же слова. Все употребляют существительное *химера* в значении «несбыточная и странная мечта», но уже мало кто помнит, что в древнегреческой мифологии *химера* — это «огнедышащее чудовище с львиной пастью, змеиным хвостом и козлым туловищем». Впрочем, в момент, когда осматривают знаменитый собор Парижской Богоматери или читают описание этого собора в романе В. Гюго («Собор Парижской Богоматери»), то вновь вспоминают о *химерах*, находящихся на стенах этого величественного здания. Фигуральное значение слова *химера* заслонило собой значение буквальное — «чудовище».

Таким образом, соотношение между буквальными и фигуральными значениями слова складывается в процессе развития словарного состава языка. Фигуральные значения, наслаиваясь на букральные, способствуют развитию полисемии слова. Все это расширяет выразительные возможности словарного состава языка в целом.

Фигуральное значение слова может: 1) стать рядом со значением буквальным, 2) способствовать дальнейшему движению различных значений слова, 3) оттеснить буквальное значение на задний план и т.д. В конкретной истории определенного языка и определенной группы слов приобретает большее значение тот или иной из отмеченных факторов.

Следует, однако, *строго различать переносные значения слов в общенародном языке от переносных употреблений, рождающихся в языке художественной литературы*. Разумеется, между этими типами переносных значений и употреблений есть и связи, но имеется и существенное различие.

¹ См.: *Кожин А.Н.* К вопросу о смысловом преобразовании слов в русском языке // Уч. зап. Московского областного пединститута. 1955. Т. XXXII. Вып. 2. С. 53 и сл.

В начале второй части романа Гончарова «Обрыв» читателю кажется, что слово *обрыв* фигурирует у автора в буквальном смысле: *обрыв* — «крутой откос, которым оканчивается сад в имении бабушки». Затем, однако, оказывается, что писатель придает этому слову и другой, гораздо более глубокий и общий смысл: *обрыв* в душе Веры, героини романа. Сложные искания Веры, ее любовь к Марку Волохову и отступление от правил патриархальной помещичьей морали, попытка найти новую жизнь и разочарование в любимом человеке — вот своеобразный переносный смысл *обрыва* — душевной драмы Веры. На протяжении всего романа, по мере развития основного идейного конфликта повествования, Гончаров как бы создает переносный смысл *обрыва*, который все время взаимодействует с буквальным значением слова — обрывом в саду у бабушки, где происходят встречи Веры с Марком и где как бы создаются условия для назревания душевной драмы героини, ее душевного «обрыва». Слово *обрыв* обычно не имеет данного переносного значения в современном русском языке, но это переносное употребление, созданное выдающимся мастером, живет на страницах его романа, органически входя в общий идейный замысел.

Очень своеобразно создавал переносные употребления слов и Гоголь. Вот как, например, развернуты у него различные осмысления слова *нос* в знаменитой повести под тем же названием. Персонаж повести «Нос» майор Ковалев заподозрил штаб-офицершу Подточину в колдовстве и объявил ее виновной в пропаже его носа. В письме к Подточиной Ковалев писал: «Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом Вы есть главные участницы... Внезапное его отделение с своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, как следствие волхований... Я с своей стороны почитаю долгом Вас предупредить: если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть... к покровительству законов». В ответ на это обращение Подточина написала: «Предупреждаю Вас, что я чиновника, о котором упоминаете Вы, никогда не принимала у себя в доме... Вы упоминаете еще о носе. Если Вы разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить Вас с носом, то есть дать Вам формальный отказ, то меня удивляет...»¹.

Гоголь тонко использует в этой повести различные значения слова *нос* и сочетания с этим словом. Ковалев пишет о своем

¹ Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. М., 1959. С. 65.

собственном носе, жалуясь, что он действительно остался без носа. Штаб-офицерша, однако, предполагает, что *остаться без носа* можно только в переносном смысле, а не буквально. Поэтому выражение *остаться без носа* связывается в ее сознании с существующим в русском языке идиоматическим (устойчивым) сочетанием *остаться с носом*. Переносное значение *остаться без носа* возникает под пером Подточиной по аналогии с действительно существующим переносным *остаться с носом* и кажется ей единственно возможным. Она не может предположить, что невероятные приключения майора Ковалева превращают выражение *остаться без носа* в буквальное, придают ему прямой, непереносный смысл. Штаб-офицерша продолжает толковать это выражение фигурально, в результате чего переписывающиеся стороны никак не могут понять друг друга: майор Ковалев скорбит о действительно потерянном носе, а Подточина старается обнаружить в этом выражении какой-то скрытый фигуральный смысл. Сталкивая разные значения и употребления слова, писатель достигает большой выразительности. Мир действительных и фантастических приключений этой повести как бы отражается в различных значениях слова *нос*, причем реальные, «естественные» события подсказывают фигуральное толкование выражения: *остался без носа* (аналогия *остался с носом*), тогда как фантазия автора допускает и другое, буквальное осмысление выражения: майор Ковалев в этом фантастическом плане повести действительно остается без носа. Следовательно, самый замысел повести, ее сложный идейный смысл обусловил и известную пестроту различных значений и употреблений слова *нос*.

Переносные употребления слов в языке художественной литературы самым тесным образом связаны со всей системой образности художественной литературы. Слово *нос* может и не иметь такого количества переносных употреблений в общенародном языке, какое оно приобретает в повести Гоголя, хотя эти переносные употребления в повести сами опираются на общенародные значения слова, вырастают из этих последних. Следовательно, отличие некоторых фигуральных употреблений слова в языке художественной литературы от переносных значений в общенародном языке заключается в том, что первые могут быть индивидуальными, тогда как вторые свойственны языку вообще. Связь же между ними определяется тем, что фигуральные употребления в языке художественной литературы вырастают из фигуральных значений слов общенародного языка и были бы немыслимы без этих последних.

Писатели иногда умышленно сближают буквальные и переносные значения слова, пользуясь этим в различных художественных целях.

«Они (города), — пишет Достоевский в самом начале введения к “Запискам из мертвого дома”, — обыкновенно весьма достаточно снабжены исправниками, заседателями и всем остальным субалтерным чином. Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло»¹. Фигуральное осмысление наречия *тепло* здесь контрастирует с буквальным значением существительного *холод*. Это *тепло* сразу заставляет насторожиться читателя: служить чрезвычайно *тепло* — «иметь тепленькое место (местечко)», «выгодное», «доходное».

«Гойе нравилось, — сообщает Л. Фейхтвангер, — что нарисованное им имеет двоякий смысл. Улыбаясь, смотрел он на дымящиеся факелы, ибо испанское слово *humear* — “дымиться” означает также “чваниться”, “важничать”»². Рисунок великого испанского художника Гойи, о котором рассказывает Фейхтвангер, изображает сатира, сидящего на земном шаре. Тут же нарисован человек, держащий на вытянутой руке другого человека — в парадном мундире, со множеством орденов и горящим париком. Испанский глагол *humear* выступает и в своем буквальном значении «дымиться» и в фигуральном — «важничать», передавая тем самым идею художника, осуждающего чванство. Взаимодействие фигурального значения глагола с его буквальным значением соответствует многоплановому замыслу рисунка. Если в предшествующем примере фигуральное значение одного слова сталкивалось с буквальным значением другого, то во фразе Фейхтвангера столкновение и взаимодействие буквального и переносного происходит в пределах одного слова.

К аналогичному взаимодействию буквальных и фигуральных значений слова в многообразных художественных целях прибегали разные писатели, в частности и в особенности Шекспир.

В самом начале «Гамлета» (I, 1) стоящий на часах Франциско обращается к подходящему в темноте Бернардо: «Стой и объяви себя» (*stand, and unfold yourself*). Но английское *unfold yourself* имеет не только переносное значение (*объяви себя* — «назови себя»), но и прямое («открой себя», «сообщи, друг ты или враг»). Когда умирающий король Иоанн («Король Джон», V, 7) говорит: «Я прошу холодного утешения» (*I beg cold comfort*), то «это

¹ Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М., 1956. С. 389.

² Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Пер. с нем. М., 1955. С. 473.

значит, во-первых, что король просит небольшого, хотя бы равнодушного участия к его страданиям; во-вторых, что он физически жаждет холода, так как внутренности его горят от принятого яда¹. Фигуральное и буквальное (прямое) значения прилагательного *cold* («равнодушный» и «холодный») сталкиваются, образуя сложное переплетение.

Замечательный фильм Чарли Чаплина «Огни большого города» оканчивается тем, что героиня фильма, слепая красавица, продащица цветов, прозрела после операции, которую ей сделали на средства, с большим трудом собранные бедным, бескорыстно ее любящим покровителем. И когда девушка впервые увидела своего жалкого и оборванного покровителя, она была изумлена. «Покровитель» же, которого исполняет Чаплин, только с грустью спросил у нее: «Вы теперь видите?», причем *видите* одновременно приобретает здесь два значения: «Ваши глаза теперь видят» и «Вы видите, какой я несчастный человек».

Если в обычных случаях контекст устраняет полисемию, то в известных условиях художественного контекста полисемия умышленно сохраняется. В этих случаях полисемия осмысливается очень своеобразно и воздействует на воображение читателя или зрителя².

Переносные значения слова, используемые в языке художественной литературы, в свою очередь являются исторической категорией. То, что кажется красивым в одну историческую эпоху или в одном языке, может оказаться необычным и не принятым в другую историческую эпоху или в другом языке. Так, в языке древнеиндийской поэзии выражение *походка слона* часто употреблялось фигурально в смысле «мягкая», «величественная походка». *Gajagamini* — «обладающая походкой слона» — до сих пор считается в индийской поэзии лучшим определением женщины с красивой («плавной») походкой³.

Древнеисландские скальды (поэты) X–XIII вв. часто прибегали к таким переносным смыслам, которые нам кажутся сейчас вычурными и условными. Словосочетание *лебедь пота шипа ран* означало у скальда X в. «ворона», так как *шип ран* — это

¹ Морозов М.М. Избранные статьи и переводы. М., 1954. С. 103–104.

² «Каждому знакомо ощущение, которое возникает при чтении всякого подлинно художественного текста: кажется, что в любой фразе сказано гораздо больше, чем непосредственно значится по смыслу слов. Может быть, с этого и начинается искусство» (Шеглов М. Реализм современной драмы // Литературная Москва. Сб. 2. М., 1956. С. 700).

³ См.: Баранников А.П. Изобразительные средства индийской поэзии. Л., 1947. С. 46.

«меч», *пот меча* — это «кровь», а *лебедь крови* — это «ворон»¹. Подобные переносные значения слова, к тому же осложненные метафорическим употреблением, кажутся теперь натянутыми и неестественными. Поэтому ранее было подчеркнуто, что категория образности в языке художественной литературы является такой же исторической категорией, как и переносные значения общенародного языка, хотя между этими двумя типами переносных значений имеется, как было показано, и глубокое различие.

Не следует, однако, думать, что язык художественной литературы всегда «наполнен» переносными значениями, всегда «пропитан» непрямыми значениями слова. Как ни характерны они для языка художественной литературы, прямые значения слова и в этом случае являются основными, наиболее распространенными. На их основе возникают значения не прямые (переносные). В знаменитом пушкинском:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем.

обычно даже не ощущают единственного фигурального значения всего этого стихотворения («любовь угасла»), так как фигуральность оказывается здесь общеязыковой, а все остальные слова выступают в своих прямых значениях.

«Мне не нравилось, — рассказывает Максим Горький о своем отрочестве, — как все они говорят; воспитанный на красивом языке бабушки и деда, я вначале не понимал такие соединения несоединимых слов, как “ужасно смешно”, “до смерти хочу есть”, “страшно весело”; мне казалось, что смешное не может быть ужасным, веселое — не страшно, и все люди едят вплоть до смерти. Я спрашивал их:

— Разве можно так говорить?

Они ругались:

— Какой учитель, скажите! Вот — нарвать уши...

Но и “нарвать уши” казалось мне неправильным: нарвать можно травы, цветов, орехов.

Они пытались доказать мне, что уши тоже можно рвать, но это не убеждало меня, и я с торжеством говорил:

— А, все-таки, уши-то не оторваны!»².

Итак, есть *два типа* переносных значений слова: переносные значения общенародного языка и переносные значения (чаще употребления) в языке художественной литературы. Оба

¹ См.: *Стеблин-Каменский М.И.* Исландская литература. Л., 1947. С. 11.

² *Горький М.* Соч. Т. XVI. М.; Л., 1933. С. 57.

типа переносных значений возникают на основе прямых значений слова. В свою очередь переносные значения и употребления в языке художественной литературы *подчиняются* переносным значениям общенародного языка и были бы невозможны без этих последних. Грани между двумя типами переносных значений исторически изменчивы и подвижны. В общенародном языке могут встречаться элементы художественной образности слова, точно так же как в языке художественной литературы часто выступают общеязыковые переносные значения слова. И все же, несмотря на постоянное и всестороннее взаимодействие, между двумя типами переносных значений слова сохраняется отмеченное различие¹.

5. Многозначность слова и проблема омонимов

Многозначность слова — настолько большая и многоплановая проблема, что самые разнообразные вопросы лексикологии так или иначе оказываются связанными с ней². В частности, с этой проблемой некоторыми своими сторонами соприкасается и проблема омонимии.

¹ Трудно согласиться с А.А. Потебней, который неоднократно утверждал, что «в развитии мысли и языка образное выражение древнее безобразного и всегда предполагается им» (*Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. III. М., 1899. С. 280*). В своих тонких и глубоких исследованиях Потебня исходил все же из ошибочного убеждения, широко распространенного в его время, согласно которому древний человек находился во власти «поэтического или мифического мышления». Однако, как бы ни было своеобразно мышление древнего человека, оно так же развивалось в процессе познания реального мира, как и мышление современного человека. Отдельные случаи первичности образных значений слов, разумеется, возможны, но они не дают оснований для общего вывода о первичности образных значений вообще. Ср. специальную работу А.А. Потебни «Мышление поэтическое и мифическое», впоследствии вошедшую в его кн.: *Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 398—530*. Из более поздней литературы см.: *Леонтьев А.А. Возникновение и первоначальное развитие языка. М., 1963*.

² У разных исследователей лексика нет единства в понимании места полисемии среди других проблем семасиологии. Приведем лишь один пример. Английский семасиолог Ульман, с одной стороны, утверждает, что «полисемия образует стержень семантического анализа» (*Ullmann S. The Principles of Semantics. 2 ed. Glasgow, 1959. P. 117*), а с другой — отрицает, что среди разных значений слова в определенную историческую эпоху и в определенном языке имеются основное или основные значения (*Ullmann S. Précis de sémantique française. Bern, 1952. P. 139*). Это отрицание делает неясным вопрос о том, вокруг *какого же именно центра* группируются различные значения многозначного слова, что соединяет их.

Омонимы — это слова, одинаковые по звучанию, но разные по своему значению. На первых порах может показаться, что разные по значению слова никак не могут иметь отношения к полисемии, которая группирует соприкасающиеся значения в пределах одного слова. При более же пристальном рассмотрении оказывается, что сами омонимы в ряде случаев возникают из полисемии, подвергшейся процессу разрушения.

Но омонимы могут возникнуть и в результате случайных звуковых совпадений. *Ключ*, которым отпирают дверь, и *ключ* — «родник» не имеют между собой ничего общего. *Град* — «город» и *град* — «явление природы», *коса* — «прическа» и *коса* — «земледельческое орудие» — все это слова, различающиеся современным значением и происхождением, но случайно совпавшие в своем звучании. Такие звуковые (фонетические) совпадения совершенно различных слов происходят потому, что в любом языке количество звуков сравнительно ограничено, тогда как слов бесконечно много. К тому же количество слов в языке непрерывно и постоянно увеличивается. Поэтому своеобразные «встречи», звуковые совпадения различных слов неизбежны, они наблюдаются в самых различных языках.

Омонимы могут быть разных типов. *Ключ* от замка и *ключ* — родник принадлежат к одной и той же части речи (имя существительное), тогда как *три* — числительное и *три* — повелительная форма от глагола *тереть* уже не имеют этого непосредственного грамматического соприкосновения между собой, принадлежат к разным частям речи. В этом последнем случае звуковое или графическое совпадение настолько условно, что ни у кого не возникает даже мысли о возможности смысловой связи между омонимами этой группы — омофонами, омографами. Грамматическая неоднородность подобных омонимов помогает понять и их лексическую обособленность, смысловую независимость, тогда как грамматическая однородность омонимов первого типа (принадлежащих к одной и той же части речи) иногда заставляет, как увидим, искать смысловую связь между словами, хотя в действительности этой связи часто не оказывается и в этом случае. Омонимы первого типа обычно называют *лексическими* (*ключ* и *ключ*), омонимы второго типа — *морфологическими* (*три* и *три*).

Как лексические, так и морфологические омонимы постоянно встречаются в самых разнообразных языках. Говорят об омонимии грамматических форм (например, омофоны, омографы: *тучи* — именительный падеж мн. числа и *тучи* — родительный

падеж ед. числа) и о более случайных омонимах типа *стекло* (имя существительное) и *стекло* (например, *стекло много воды*) и только омографы (звучание не совпадает) — *замок*, *замок*.

Особый и более сложный случай — это *лексико-грамматические* омонимы, часто встречающиеся в языках аналитического строя (см. с. 261). Лексико-грамматические омонимы создаются в процессе так называемой *конверсии*, когда данное слово переходит в другую часть речи без изменения своего морфологического состава. Например, в английском языке *look* — «смотреть» и *look* — «взгляд» являются омонимами, так как каждое из этих слов попадает в разные грамматические ряды (парадигмы): *look* как глагол спрягается, а *look* как существительное склоняется. В результате все «поведение» подобных слов в языке оказывается различным. Слова распределяются между разными частями речи и становятся тем самым разными словами.

Итак, омонимы бывают трех основных типов: лексические, морфологические и лексико-грамматические.

Приведем несколько литературных примеров, подтверждающих, что омонимы встречаются в языке достаточно часто.

Омонимы лексические:

«Разговор происходил у дверей с надписью «Отдел *приключений*». Андрей понимал истинный смысл этих слов, но, посмотрев на унылого сотрудника этого отдела, улыбнулся. А жаль, что действительно не существует на свете такого отдела увлекательных, волнующих *приключений*» (*Д. Гранин. Искатели*, гл. I). Писатель умышленно сблизает два лексических омонима: *приключение* — отглагольное существительное от *приключить* (например, *приключить электрический ток*, следовательно, *отдел приключений* — это отдел, где *приключают* токи, механизмы и пр.), и *приключение* — «случай, происшествие, увлекательное похождение». Герой романа сожалеет, что лишенным инициативы работникам «Отдела приключений» не хватит смелости, творческого воображения. Так встречаются два омонима — *приключение* и *приключение*.

«Однажды, — пишет И.С. Тургенев в «Пунине и Бабурине» (гл. 2), — я сидел у него в кабинете. — Петя, заговорил он вдруг, краснея, — я должен познакомить тебя с моей *Музой*. — С твоей *музой*... Разве я с нею не знаком... Новое стихотворение ты написал, что ли? — Ты меня не понимаешь, — возразил Тархов. Я познакомлю тебя с живой *музой*. — А! вот как!.. Вот, стой, кажется, это она идет сюда. — Послышался легкий стук проворных каблучков... и на пороге показалась девушка лет во-

семнадцати... — Пожалуйста, *Муза Павловна*, войдите». В этом случае собственное имя *Муза* фонетически совпадает с нарицательным *муза*, образуя омонимы¹.

Но если лексические омонимы подобного типа иногда умышленно сближаются писателями (эффект очевиден!), то *омонимы морфологические* встречаются в языке произвольнее.

«Здание было в два этажа, и над ним вверху надстроен был в две арки бельведер, где стоял *часовой*; большой *часовой* циферблат вделан был в крышу» (*Н.В. Гоголь*. Тарас Бульба, редакция 1842 г., гл. VI). *Часовой* — «тот, кто стоит на часах» (имя существительное) и *часовой* — прилагательное от существительного *час*, определение к существительному *циферблат*.

Еще чаще подобного рода морфологические омонимы возникают в поэтическом языке. В «Евгении Онегине» Пушкина:

Защитник вольности и *прав*
В сем случае совсем не *прав*.

И не заботился о *том*,
Какой у дочки тайный *том*...

И прерывал его меж *тем*
Разумный толк без пошлых *тем*.

Количество омонимов в языке станет еще большим, если мы привлечем к рассмотрению термины. Слово *бар* — «маленький ресторан» окажется омонимом по отношению к термину *бар* — «единица атмосферного давления». В свою очередь этот последний термин является омонимом к другому термину *бар* — «рабочая часть врубной машины, снабженная зубьями». Наконец, еще один омоним *бар* — «наносная мель в устьях рек». Все эти слова — омонимы по отношению друг к другу.

Омонимы часто встречаются в самых различных языках. Так, в английском: *bail* — «поручительство» и *bail* — «ведро», *ear* — «ухо» и *ear* — «колос»; во французском: *louer* — «нанимать» и *louer* — «хвалить», *point* — «точка» и *point* — «несколько»; в немецком: *Schauer* — «зритель» и *Schauer* — «приступ», *Fest* — «праздник» и *fest* — «крепкий» и т.д. Количество омонимов еще больше

¹ Различают *омонимы* (слова, одинаково звучащие) и *омографы* (слова, одинаково пишущиеся). Бывают случаи, когда омонимы не совпадают с омографами. Так, французские существительные *la mere* — «мать» и *la mer* — «море» являются омонимами (звучат одинаково), но не омографами, так как в орфографии эти два слова различаются. В русском языке омонимы чаще всего совпадают с омографами.

увеличится, если принять во внимание омонимы, основанные на одинаковом звучании слов при разной орфографии: таковы, например, частично уже приведенные в сноске французские слова *mer* — «море», *mere* — «мать» и *mairie* — «городской голова»; *ver* — «червь», *vert* — «зеленый» и *vair* — «беличий мех» и пр.

Как бы ни были различны отдельные значения многозначного слова, все же, как мы уже знаем, они всегда группируются вокруг одного смыслового стержня. От *соли* — «важного продукта питания» к *соли* — «сущности чего-либо» тянутся нити фигурального осмысления. Различные смыслы соотносены здесь с основным значением слова, являются его дальнейшим развитием.

Совсем иначе в системе омонимии. *Ключ* к двери и *ключ* — «родник» вовсе не имеют между собой смысловых точек соприкосновения, не являются результатом развития единого слова, а лишь случайно совпали между собой по звучанию. В этих случаях различие между омонимами и полисемией очевидно и не вызывает сомнений.

Как было уже отмечено, омонимы морфологические кажутся обычно более далекими друг от друга словами, чем омонимы лексические. Никому не придет в голову связывать существительное *стекло* с формой прошедшего времени от глагола *стекать* (*стекло много воды*), тогда как омонимы лексические часто нуждаются в разграничении. Чтобы слово *брак* со значением «женитьба» никогда не связывать с другим словом *брак* — со значением «вещь с изъяном», нужно не только понимать различные значения этих двух слов-омонимов, но и знать их различную этимологию: *брак* — «супружество» происходит от слова *братъ* («брат невесту в жены»), тогда как *брак* — «вещь с изъяном» — заимствовано из немецкого *brack* — «недостаток», «изъян», букв. «перелом».

Но омонимы вовсе не всегда являются словами, искони различившимися. Если бы это было так, то проблема омонимов не соприкасалась бы с проблемой полисемии. В действительности же омонимы не имеют никакого отношения к полисемии лишь в тех случаях, когда они образуются в результате случайных звуковых совпадений. К таким омонимам относится большинство морфологических и известная часть лексических омонимов.

Но омонимы могут возникать в языке не только путем звуковых совпадений, но и в результате *распада бывшей полисемии слова*. Омонимы этого типа теснейшим образом связаны с самим явлением многозначности слова.

Когда в просторечии иногда говорят *благодаря ему я сломал себе ногу*, то употребляют *благодаря* только как предлог, выражающий причину, следствие. В этом случае перестает ощущаться связь предлога *благодаря* с глаголом *благодарить*. Если бы связь эта всегда ощущалась, предложение типа *благодаря ему я сломал себе ногу* было бы совершенно невозможно (за что же человека благодарить?). Между тем *благодаря* — предлог и *благодаря* — деепричастие от глагола *благодарить* находились в несомненной открытой зависимости, как различные формы единого смыслового целого *благодарить*¹. Чем более часто, однако, *благодаря* стало употребляться как предлог, тем сильнее «выветривалось» его самостоятельное лексическое значение, тем отчетливее оно стало выступать как грамматический показатель следствия, лишенный своего независимого вещественного содержания, и тем дальше, следовательно, откалывалось *благодаря* — предлог от глагола *благодарить*. В результате некогда связанные между собой образования — деепричастие *благодаря* и предлог *благодаря* — распались, стали разными, не связанными между собой словами. Произошел распад полисемии (полный в просторечии и частичный в литературном языке, в системе которого *благодаря* — предлог еще не целиком порывает связи с глаголом *благодарить*) — некогда близкие между собой слова разошлись, образовав омонимы.

Каков бы ни был, однако, источник образования омонимов — случайные фонетические совпадения этимологически разных слов или распад былой полисемии, на определенном этапе развития языка омонимы обычно воспринимаются как разные слова, не связанные между собой по смыслу. Тому, кто говорит *благодаря ему я сломал себе ногу*, совершенно безразлично, что *благодаря* — предлог и *благодаря* — деепричастие некогда образовывали смысловое целое. Безразлично, ибо говорящий уже не ощущает этой связи. Больше того, именно в результате забывания или простого незнания, что эти два слова восходят к одному источнику, говорящий может построить фразу типа *благодаря ему я сломал себе ногу*. Поэтому омонимы типа *благодаря* — предлог и *благодаря* — деепричастие не отличаются в сознании говорящего от омонимов типа *ключ* от замка и *ключ* — «родник». Различие между этими двумя типами омонимов оказывается лишь

¹ В этих случаях *благодаря* употреблялось не с дательным падежом, как теперь, а с винительным. Например, в «Переводах» Карамзина, 1: «благодаря судьбу», у Аксакова в «Семейной хронике»: «Ей теперь, благодаря Бога, лучше...» (Чернышев В.И. Правильность и чистота русской речи. СПб., 1911. С. 171).

историческим и не всегда ощущается говорящими. Однако это историческое отличие омонимов типа *ключ* от омонимов типа *благодаря* весьма существенно. Если в первом случае (*ключ* от замка и *ключ* — «родник») между омонимами никогда и не было связи, то во втором (*благодаря* — деепричастие и *благодаря* — предлог) эта связь некогда была вполне реальной. Поэтому, как увидим, в известных случаях она все же может ощущаться и теперь.

Грань, отделяющая омонимы от полисемии, нередко бывает очень тонкой и подвижной. *Худой* в значении «тощий», «не полный» (*худой человек*) на наших глазах отделяется от *худой* в значении «плохой» (*худой мир лучше доброй ссоры*), хотя исторически здесь имелось одно слово с разными значениями. В старом русском языке *худыми людьми* именовали бедноту, так называемые «низшие слои» городского населения. Значение прилагательного *худой* стало развиваться в разных направлениях. В многообразном словоупотреблении прилагательное *худой* осмыслялось настолько неодинаково, что связь между разными значениями понемногу ослабевала. Стали созревать условия для разрыва смыслового целого. В результате толковые словари русского языка (в частности словарь, составленный С.И. Ожеговым¹) рассматривают различные значения прилагательного *худой* как значения, теперь уже не связанные между собой. *Худой* — «тощий» и *худой* — «плохой» начинают превращаться в разные слова, звучащие одинаково, т.е. в омонимы².

Проводя различие между полисемией и омонимами, возникшими в результате распада былой полисемии, не следует, на наш взгляд, слишком расширять сферу подобных омонимов за счет полисемии.

Как было показано, многозначность пронизывает огромное большинство слов самых разнообразных языков, причем различные значения одного и того же слова подчас могут сравнительно далеко удаляться друг от друга, не теряя все же связи между собой. Именно в той мере, в какой многозначность (полисемия) слова определяется природой самого слова, нельзя в каждом мало-мальски отделившемся значении слова видеть другое слово — омоним по отношению к «исконному» значению. Рассматривать каждое самостоятельное значение слова как осо-

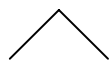
¹ Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1963.

² Иначе в более старом четырехтомном «Толковом словаре» (1935–1940) под ред. Д.Н. Ушакова, в котором различные значения прилагательного *худой* фиксируются в пределах полисемии этого слова.

бое, отдельное слово — значит не учитывать сложной природы самого слова¹.

Сказанное отнюдь не означает, что омонимы не могут образовываться путем распада былой полисемии. Примеры подобного рода образований известны самым разным языкам. Но для того, чтобы неодинаковые значения слова образовали омонимы, т.е. стали самостоятельными словами, следует проследить все их «поведение» в языке, которое подтверждало бы утрату былых семантических связей. Современный уступительный и противительный союз *хотя* уже бесспорно обособился от деепричастия глагола *хотеть*, от которого он когда-то образовался. Все «поведение» этих двух слов в языке (*хотя* — союз и *хотя* — деепричастие) подтверждает данное разделение². По-своему, но

¹ Справедливо подчеркивая, что одной из самых существенных проблем лексикологии и семасиологии является проблема многозначности (полисемии) слова и что поэтому нельзя слишком широко понимать омонимы, В.И. Абаев в интересной дискуссионной статье (ВЯ. 1957. № 3) разграничивает полисемию и омонимию с помощью таких схем:

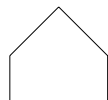


полисемия



омонимия

В первом случае разные значения слова связаны между собой, во втором — этой связи нет: параллельные линии, как известно, не пересекаются. Представляется, однако, что вторая схема относится лишь к тем омонимам, которые случайно совпали между собой. К другим же омонимам, формирующимся в языке в результате распада полисемии — важный процесс, тесно связанный с постоянным движением внутри самой полисемии, — схема эта не применима. Омонимы последнего типа определяются «смешанным» соотношением:



Сначала близость значений (одна историческая эпоха), затем, после постепенной утраты былой близости, самостоятельное развитие (другая историческая эпоха).

Вместе с тем В.И. Абаев справедливо замечает, что многие составители наших толковых и двуязычных словарей склонны — без всяких на то оснований — чуть ли не каждое самостоятельное значение слова рассматривать как омоним. Такая точка зрения затемняет историческую перспективу развития лексики, обедняет возможности языка, лишает слово присущей ему многоплановости.

² Ср., например: *Хотя он был глуп, он все же понял своего собеседника*, где *хотя* никак не может быть связанным с *хотеть*.

тоже совсем неодинаково «ведут себя» в родном языке английские слова типа *look* — «смотреть» и *look* — «взгляд». Грамматическое «поведение» их различно уже потому, что одно из этих слов является глаголом, а другое — существительным.

Значительно труднее разобраться в тех случаях, когда предстают омонимы типа *худой*. В подобных образованиях полисемия и омонимия настолько соприкасаются, что лишь углубленные исследования могут определить, произошел ли здесь разрыв смысловой цепи или не произошел.

В современном русском языке, как и во многих других языках, часто возникают спорные случаи: считать ли те или иные слова омонимами или рассматривать их в пределах одного слова, как явление полисемии. Другими словами: существует ли в современном языке смысловое взаимодействие между теми или иными значениями или не существует. Только всесторонний семантический и грамматический анализ выявит это важное лексическое соотношение. *Вид* — «наружность», «выражение лица» и *вид* — «местность», «перспектива», «пейзаж» при всем их различии составят разные значения одного и того же слова (полисемия), но *вид* как логико-философское понятие (то, что объединяет по сходству признаков ряд предметов и явлений и входит в состав другой, более общей категории — рода) и *вид* как лингвистическое понятие (грамматическая категория, обозначающая характер протекания глагольного действия), бесспорно, образуют омонимы (это разные термины).

Хотя омонимия существует в самых разнообразных языках, однако конкретные омонимы по разным языкам обычно не совпадают.

В русском языке *мир* — «вселенная» и *мир* — «спокойствие» (отсутствие войны, вражды) являются омонимами, тогда как в немецком (*die Welt, der Friede*), в английском (*world, peace*) и во французском языках (*le monde, la paix*) эти слова омонимами не являются. В свою очередь, например, немецкие омонимы *Schauer* — «зритель» и *Schauer* — «приступ» не оказываются омонимами в русском языке и т.д.

Переводя «Пиковую даму» Пушкина на французский язык, Мериме неправильно понял одно слово во фразе *Томский закурил трубку, затянулся и продолжал*. Французский писатель глагол *затянулся* истолковал как *затянул кушак* («затянул себе кушак»): *Томский закурил трубку, затянул кушак и продолжал*. Впоследствии на эту ошибку Мериме указал Лев Пушкин в бытность свою в Париже в 1851 г. Мериме очень огорчился и в

новом издании своего перевода исправил ошибку¹. Промах Мериме был обусловлен своеобразным омонимическим «столкновением» двух разных глаголов *затянуться*. Но это сближение столь непохожих друг на друга омонимов мог допустить только иностранец, так как для языкового сознания русского человека эти два омонима представляются совсем несходными.

Омонимы — это настолько широко распространенное явление в лексике, что было бы рискованно считать их «больными словами». Между тем такая точка зрения распространена в учебной и научной литературе². Защитники этой точки зрения рассуждают примерно так: язык дифференцирует слова, а омонимы в своем звучании совпадают, поэтому они противоречат дифференцирующей тенденции языка и являются необычными, неестественными, как бы больными словами (нездоровый нарост на здоровом «теле» языка)³.

Дифференцирующие тенденции в языке, действительно очень значительные, нельзя понимать упрощенно. Дифференциация может проходить в пределах одного слова и между разными словами, точно так же как она проходит в пределах одной грамматической категории и между разными категориями. Говорим же мы о дифференциации разных значений в пределах одного слова; так почему же нельзя обнаружить дифференциации разных слов в пределах одного звучания? Дифференциация не всегда затрагивает формы языка — она может проходить *внутри самих форм*, обуславливая полифункциональность и внутреннюю емкость

¹ Временник Пушкинской комиссии. 1939. № 4–5. С. 342.

² См., например: *Гвоздев А.Н.* Очерки по стилистике русского языка. М., 1955. С. 39; *Реформатский А.А.* Введение в языковедение. М., 1960. В этой последней книге читаем: «...омонимы во всех случаях — это досадное неразличение того, что должно различаться» (с. 65). Если признать подобное положение правильным, тогда невозможно объяснить, почему во многих языках омонимы исчисляются тысячами. Старый и неполный словарь омонимов одного только французского языка насчитывает 650 страниц (*Zlatogorski E.* Essai d'un dictionnaire des homonymes de la langue française. Paris, 1882). Что же это — 650 страниц «досадных неразличений»? См. более позднюю интересную лексикографическую работу: *Ахманова О.С.* Словарь омонимов русского языка. М., 1974; см. также: *Тышлер И.С.* Словарь омонимов английского языка. Саратов, 1963 (в словаре дается 810 омонимических «гнезд», в каждое из которых входит от 2 до 10 слов). Ошибочный взгляд на омонимы как на «больные слова» защищал французский диалектолог Жильерон.

³ Подобные рассуждения восходят к известному положению швейцарского языковеда Соссюра (1857–1913), который утверждал, что «в языке нет ничего, кроме различий» (*Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики / Рус. пер. М., 1933. С. 119). Эта же мысль еще более настойчиво защищается некоторыми современными структуралистами (см. об этом гл. III).

этих форм. Кроме того, как мы уже знаем, различие между словами не всегда может быть связано с различием в звучании данных слов еще и потому, что слов в языке бесконечно много, количество же звуков сравнительно ограничено.

Защитники взгляда на омонимы как на «больные слова» были бы правы только в том случае, если бы язык представлял собой математическую систему: одно слово — одно значение, одно звучание — одно слово. В действительности же язык складывается иначе, он имеет свою специфику, поэтому и омонимы являются вполне естественным и вполне закономерным явлением. К тому же принцип «одно слово — одно звучание» сделал бы язык весьма громоздким (количество лексем должно было бы неизмеримо возрасти), а слово — необъемным, «плоским», неподвижным. Как уже отмечалось, крупнейший датский лингвист О. Есперсен считал, что язык, лишенный полисемии слова, превратился бы для говорящих в «лингвистический ад».

Несмотря на чисто внешнюю заманчивость принципа «одно слово — одно звучание», по существу своему он не только ошибочен, но и невозможен. Практически язык обычно и не испытывает никаких неудобств от существования омонимов. Когда отпирают *ключом* дверь, то не думают при этом о *ключе* — «роднике»; когда же в жаркий летний день во время прогулки пьют ключевую воду, то *ключ* — «родник» исключает из сознания говорящего представление о *ключе*, при помощи которого запирают дверь комнаты, уходя на прогулку. Омонимы (*ключ* и *ключ*) нисколько не мешают друг другу. Контекст устраняет возможность смешения омонимов, как устраняет он и возможность смешения различных значений одного и того же слова.

Лишь в особых и сравнительно редких случаях омонимы могут мешать друг другу, сталкиваться между собой. Лингвисты избегают употреблять термин *диалектический* в значении «относящийся к диалекту», ибо *диалектический* воспринимается нами как философский термин (прилагательное от *диалектика*). Поэтому лингвисты стали говорить о *диалектных* или *диалектальных* явлениях, когда нужно образовать прилагательное от слова *диалект*¹. Следовательно, прилагательное *диалектический* от существительного *диалект* как бы «столкнулось» с другим прилагательным — *диалектический* от слова *диалектика*. В результате этого столкновения первое прилагательное вышло из употребления и уступило место другому — *диалектный* или *диалекталь-*

¹ Ср.: Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 127.

ный (относящийся к *диалекту*). «Столкновение» в данном случае происходит потому, что оба прилагательных имеют терминологический характер и оба они могут употребляться в одной области знания. Термин же всегда стремится к однозначности. В результате и происходит «столкновение омонимов».

В тех же случаях, когда омонимы, имеющие терминологический характер, употребляются в разных областях знания, их столкновения не наблюдается. Так, прилагательное *морфологический* в грамматическом значении является омонимом по отношению к прилагательному *морфологический* в ботаническом значении, однако оба термина-омонима не мешают друг другу, легко уживаются в языке¹.

Итак, омонимы могут «мешать» друг другу лишь в очень редких контекстах. Практически, однако, и в подобных случаях неудобство, вызываемое омонимами, оказывается временным, так как язык заблаговременно устраняет омонимы из тех сфер, где они неудобны. И, что особенно важно, омонимы глубоко проникают в общенародный язык, где, существуя, они никому не мешают.

Положение о том, что в общенародном языке омонимы обычно несколько не мешают и не вытесняют друг друга, может быть проиллюстрировано таким литературным примером. С.А. Сергеев-Ценский в своем историческом романе «Севастопольская страда» создает такой диалог между Николаем I и юнкером:

«—Откуда идешь так поздно? — спросил его царь.

— Из депа, ваше императорское величество! — громогласно ответил юнкер.

— Дурак!.. Разве “депо” склоняется! — крикнул царь.

— Все склоняется перед вашим императорским величеством! — еще громче гаркнул юнкер. Этот ответ понравился царю... Он вообще любил, когда перед ним склонялись...»².

Конечно, в этом случае совершенно очевидно, что перед нами два разных слова, два омонима: 1) *склоняться* (только *несов.*) — «изменяться по падежам», 2) *склоняться* — (совершенная форма

¹ Возможны случаи омонимии собственных имен, но только в результате явных недоразумений здесь происходят «столкновения». Так, в одну из книг известного русского библиографа XIX в. В.И. Межова работа французского географа Э. Реклю «Мои воспоминания о Галилее» (т.е. о северной части Палестины) попала в литературу о великом итальянском ученом XVI–XVII вв. *Галилее* (см.: *Берков П.Н.* Введение в технику литературоведческого исследования. М., 1956. С. 129).

² *Сергеев-Ценский С.А.* Севастопольская страда. Кн. I. Ч. 2. М., 1948. С. 159.

глагола *склониться*): «опускаться на колени», «нагибать», «склонять голову» — «склоняться в приветствии, перед кем-либо».

Почему этот разговор вызывает улыбку у читателя? Потому что здесь умышленно сталкиваются два омонима, которые обычно никогда не мешают друг другу. То, что подобные омонимы не «сталкиваются» в языке, показывает самый факт комического эффекта, который возникает в результате такого неожиданного сближения различных омонимов.

На этой же невозможности основана живописная игра различных омонимических каламбуров. Пушкин писал Плетневу в 1831 г.: «Взять жену без *состояния* — я в *состоянии*, но входить в долги для ее тряпок я не в *состоянии*»¹. У Козьмы Пруткова: «Приятно *поласкать* дитя или собаку, но всего необходимее *полоскать* рот»² (омонимы, различающиеся в орфографии). У С. Маршака в его переводах из Роберта Бернса:

У которых *есть*, что *есть*, — те подчас не могут *есть*,
 А другие могут *есть*, да сидят без хлеба.
 А у нас тут *есть*, что *есть*, да при этом *есть*, чем *есть*, —
 Значит, нам благодарить остается небо!³

Итак, омонимы — это столь же естественное явление языка, как и полисемия. Омонимы могут и не иметь отношения к полисемии (случайные звуковые встречи), но могут и самым непосредственным образом вырастать из полисемии (в случае ее распада). Эти два источника (звуковые совпадения и распад полисемии) являются двумя основными каналами, из которых образуются и по которым проходят омонимы. Все остальные возможные источники омонимов (например, омонимы, возникшие в результате различных заимствований) при всей их важности оказываются все же не столь глубокими по сравнению с двумя первыми.

Дело в том, что заимствованные слова обычно проникают в определенные эпохи, тогда как омонимы образуются постоянно. И хотя количественно омонимы, возникшие в результате заимствований, могут даже превышать в отдельных языках число омонимов, созданных из ресурсов родного языка, в качественном отношении омонимы этого последнего источника важнее сформировавшихся под иноземным воздействием, ибо внутреннее развитие языка обычно имеет большее значение, чем

¹ Пушкин А.С. Письма / Под ред. Л. Модзалевского. Т. III. М., 1935. С. 12.

² Прутков Козьма. Соч. М., 1949. С. 122.

³ Маршак С. Избранные стихи. М., 1949. С. 302.

развитие, определяемое извне. К тому же качественный критерий в языке существеннее критерия чисто количественного.

В русском языке, например, все же велико число омонимов, сформировавшихся благодаря заимствованиям: *лук* — «оружие» (русское) и *лук* — «растение» (германское), *балка* — «овраг» (тюркское) и *балка* — «бревно» (немецкое), *град* — «город» (старославянское) и *град* — «вид атмосферных осадков» (русское) и многие другие.

Таким образом, тождество звуковой формы еще не означает тождества содержания языковых единиц. Проблема сложнее. Содержание и форма в лексике, как и в языке вообще, образуют между собой не тождество, а единство. Это единство основано на сложных связях, не исключающих противоречий между составными частями самого единства. Этим обусловлено, в частности, и существование омонимов в самых разнообразных языках мира¹.

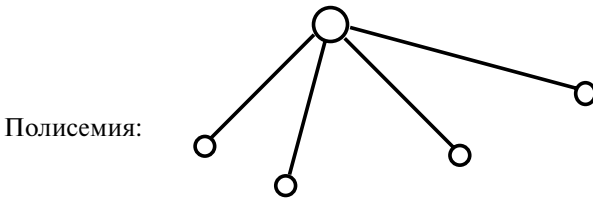
6. Синонимы и антонимы

К проблеме значения слова непосредственно примыкает и проблема синонимов. Хотя синонимы кажутся очень тривиальным понятием — все оперируют этим термином со школьной скамьи, — научный их анализ сопряжен с преодолением очень больших теоретических трудностей. В литературе о синонимах в разных языках существуют не только десятки пестрых классификаций, но и само понятие синонимов истолковывается весьма различно. Между тем практическая работа по составлению словарей синонимов, точно так же как и сравнительное изучение синонимов родственных языков, ведется во многих странах. Накоплен большой фактический материал, очень важный для уточнения самого понятия синонимов.

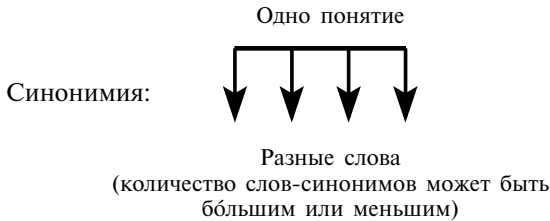
¹ Об омонимах см.: *Булаховский Л.А.* Из жизни омонимов // Русская речь. 1928. Вып. III. С. 47–60; *Виноградов В.В.* Об омонимии и смежных явлениях // ВЯ. 1960. № 5. С. 3–17. В этом же номере журнала материалы об омонимах (с. 68–88). Дискуссия об омонимах нашла свое отражение в «Лексикографическом сборнике». Вып. IV. М., 1960. С. 35–92. Здесь же опубликована статья Л.А. Новикова «К проблеме омонимии» (с. 93–102); см. также: *Кутина Л.Л.* Омонимы в толковых словарях русского языка // Лексикографический сборник. Вып. II. М., 1957. С. 54–65; *Trnka V.* Bemerkungen zur Homonymie // Travaux du cercle linguistique de Prague. 1931. IV. P. 152–155; *Godel R.* Homonymie et identité. Cahiers Ferdinand de Saussure. VII. Genève, 1948. P. 1–15. О диалектике омонимов *мир* и *мир* в «Войне и мире» Л. Толстого см.: *Билинкис Я.* О творчестве Л. Толстого. М., 1959. С. 225–279 (у Л. Толстого *мир*ь и *мир*ь).

Синонимы — это близкие по значению, но разно звучащие слова, выражающие оттенки одного понятия. Из этого рабочего определения следует, что все синонимы, будучи разными словами, всегда выражают — хотя и неодинаково — одно понятие. *Битва* и *сражение*, *глаз* и *око*, *прекрасный* и *прелестный*, *работать* и *творить* — каждые из этих двух слов синонимичны. Если полисемия раскрывает соотношение разных значений в пределах одного слова, то синонимы свидетельствуют о способности человека с помощью разных слов передавать оттенки одного понятия. Схематически сказанное может быть изображено так:

Основное значение слова в данную эпоху



Другие значения этого же слова
(количество разветвлений может быть разным)



Проблема синонимов самым тесным образом связана с тем, как и какими средствами человек выражает в языке понятие.

Необходимо подчеркнуть, что попытки определить синонимы независимо от их отношения к понятию (под флагом защиты специфики лексикологии!) спорны. В синонимах с особой ясностью обнаруживается связь слова и понятия. Недопустимо поэтому смешивать синонимы с вариантами одного и того же слова. Подобных вариантов в высокоразвитых языках обычно бывает немного, и они не передают оттенков понятия (ср. в русском *ноль* и *нуль*, *калоша* и *галoша*, *сослепа* и *сослепу* и др.), тогда как синонимов бесконечно много и они передают оттенки понятия. «Развитой литературный язык, — писал акад. Л.В. Щер-

ба, широко истолковывая синонимы, — представляет собой весьма сложную систему более или менее синонимических средств выражения, так или иначе соотнесенных друг с другом»¹. Было бы весьма странно, если эта система существовала бы «сама для себя», для простой «игры звучаний». В действительности назначение синонимов другое. Они служат «гибкости мысли» и способствуют более адекватному ее выражению в языке.

Когда-то Н. Абрамов писал в предисловии к своему лексикону: «Сопоставляя рядом слова, весьма мало отличающиеся по значению, словарь изощряет ум, приучает его к точному мышлению»². Это же подчеркивает и К. Бак, составитель большого сравнительно-исторического словаря синонимов основных индоевропейских языков, подзаголовком своей книги — «Материалы к истории идей»³. Проблема синонимов неразрывно связана с проблемой выражения понятий и оттенков понятий в языке.

Трудно согласиться с таким пониманием синонимов, согласно которому синонимами называют слова, «различные по форме, но тождественные по значению». При таком определении опускается главное, самое существенное в синонимах: синонимы обычно не могут иметь одинакового значения уже потому, что они выражают различные *оттенки понятия*. Случаи же полных (или так называемых «абсолютных») синонимов в языке встречаются сравнительно редко (ср., например, *лингвистика* и *языкознание*, *аэроплан* и *самолет*). Примеры этого рода нельзя отождествлять со всеми синонимами, так как для большинства синонимов в разных языках характерно то, что они не выступают как пассивные и безликие дублетные формы языка. Напротив, синонимы в языке активны. Они находятся на службе выразительных возможностей языка. Только на фоне этого главного типа синонимов могут быть осмыслены и все другие разновидности синонимов.

Лингвисты, определяющие синонимы как тождественные слова, попадают в странное положение. Они сначала признают тождественность синонимов, а затем заявляют, что практически в развитых языках тождественных синонимов почти не бывает⁴.

¹ Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. С. 121.

² Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. 3-е изд. СПб., 1911. С. IV.

³ Buck C. A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. A Contribution to the History of Ideas. Chicago, 1949.

⁴ В таком положении однажды оказался, например, Миттеран (*Mitterand H. Les mots français*. Paris, 1963. P. 75–77).

Эту поправку заставляют внести факты. Нельзя приветливую молодую *девушку* называть *девой*, не всякий *короткий* доклад представляется *куцым*, а *поучительная* история вовсе не всегда должна быть *назидательной*.

Основная функция синонимов может быть названа *дифференцирующей*, уточнительной. Эту функцию нужно признать ведущей почти для всех групп синонимов¹. Разумеется, дифференциация при этом может касаться разных сторон явления: способа выражения самого понятия, эмоционального тона, с которым передается это понятие, сферы распространения каждого из синонимов, соотношения между словом и синонимичным ему фразеологическим оборотом и т.д. Синонимы некоторых из этих групп не прямо, а косвенно связаны с оттенками передаваемого понятия.

В синонимах типа *мыслитель* — *философ* дифференциация затрагивает само понятие: *философ* — это прежде всего «специалист по философии», затем «мыслитель вообще», тогда как *мыслитель* чаще всего передает представление о человеке, который обладает даром глубокого и оригинального мышления независимо от своей непосредственной специальности (например, *музыкант-мыслитель*, *художник-мыслитель*). Следовательно, понятие в двух данных синонимах выражено неодинаково. Подобного рода синонимы могут быть названы *понятийными*.

Иная дифференцирующая тенденция обнаруживается в синонимах типа *глаза* — *очи*, *лицо* — *лик*, *лоб* — *чело*. В этих случаях различие определяется прежде всего тем, в каких языковых стилях употребляется тот или иной синоним. Легко понять, что слова *очи*, *лик*, *чело* являются достоянием прежде всего языка художественной литературы (а в пределах этого языкового стиля тяготеют, в частности, к поэтическому жанру), тогда как *глаза*, *лицо*, *лоб* имеют более широкую сферу распространения в общенародном языке. Вряд ли кто-либо, увидев у себя на лице царапину, мог бы воскликнуть: «Что это у меня на *лике*?», тогда как в пушкинском «Выходит Петр... *лик* его ужасен» слово *лик* оказывается вполне уместным.

¹ Кроме так называемых «абсолютных синонимов», хотя и здесь сохраняется (правда, едва уловимое и тонкое) различие между синонимами. Если один из «абсолютных синонимов» является иностранным словом, то он обычно отличается своим «ученым» колоритом (дифференцирующий признак): *правописание* — *орфография*, *летчик* — *авиатор*, *языковед* — *лингвист*. В этом случае дифференцирующая тенденция слабая, но она все же имеется.

Когда в «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (гл. VI) Гоголь называет *собрание* гостей у городского *ассамблеи*, то это умышленное смещение слов воспринимается как тонкий прием писателя¹.

Дифференцирующая тенденция в синонимах может определяться стремлением говорящего уточнить свою мысль, сделать ее более понятной для слушающего. *Наркоз* — это *усыпление*, *ассимиляция* в фонетике — это *уподобление* звуков. В подобных примерах обычно передают не оттенки понятия, а оттенки воздействия говорящего на слушателя, желание быть точнее понятым. *Ассимиляция* как бы раскрывается перед слушателем в своем синониме *уподобление*. Следовательно, если в синонимах первой группы (понятийных) дифференциация связана со способом выражения оттенков самого понятия, то в синонимах данной категории, нередко называемых абсолютными, разграничение обычно идет от говорящего к слушающему, от пишущего к читающему. Но и в этом случае по-своему, своеобразно проявляется дифференцирующая функция синонимов.

В тех же случаях, когда целые фразеологические сочетания или даже идиомы (см. раздел 10) оказываются синонимичными по отношению к отдельным словам (как и обратно, отдельные слова — синонимичными фразеологическим сочетаниям), дифференцирующая тенденция в этих синонимических рядах проявляется достаточно четко: *куры не клюют — много, то и дело — часто, не покладая рук — непрерывно* (без отдыха) и т.д.² Устойчивое словосочетание может быть более образным или более разговорным, чем соответствующее ему синонимичное слово, и уже этим определяется различие между ними. Дифференциация внутри подобных синонимических рядов, сохраняя свою специфику, может вместе с тем приближаться то к дифференциации стилевой, то к дифференциации понятийной.

Проблема синонимов часто осложняется многозначностью самих слов, образующих те или иные синонимические ряды, а также влиянием контекста и особенностями употребления слова.

¹ Впрочем, с лингвистической точки зрения *собрание* (родовое понятие) и *ассамблея* (видовое понятие) не синонимичны, синонимизация ситуативная, контекстная.

² Совокупность синонимичных друг другу слов образует *синонимический ряд*. Например: *большой, громадный, огромный, гигантский, исполинский, колоссальный*. Слово, наиболее употребительное в таком ряду и нейтральное по своей стилистической окраске, называется опорным или основным (в приведенной иллюстрации опорным является *большой*).

К тому значению прилагательного *крепкий*, которое раскрывается в сочетании *крепкий мороз*, синонимами будут *большой, сильный, жестокий*. Но к другому значению этого же прилагательного, которое выступает, например, в сочетании *крепкий фундамент*, синонимами окажутся уже иные прилагательные — *прочный, основательный*. Ср.: *крепкая дружба (верная, нерушимая), крепкий организм (здоровый, выносливый), крепкий сон (глубокий), крепкий лед (прочный)* и т.д.¹

Все рассмотренные синонимы при всем их разнообразии объединяются, во-первых, тем, что принадлежат к общенародному языку или к его отдельным стилям, и, во-вторых, тем, что приобретают в языке определенную — большую или меньшую — дифференцирующую функцию. Если дифференцирующая функция синонимов оказывается по преимуществу понятийной, то и синонимы приобретают *понятийный* (или *идеографический*) характер; если же дифференцирующая функция обнаруживается по преимуществу в речевой экспрессии или в стилевой «закрепленности» (слова, обычно не выходящие за пределы определенного языкового стиля), то такого рода синонимы можно назвать *стилевыми*. Разумеется, между этими двумя категориями синонимов существует постоянное взаимодействие. Грани, их разделяющие, являются не абсолютными, а относительными.

Несколько иную функцию в языке выполняют синонимы *стилистические*, которые не следует смешивать ни с синонимами понятийными, ни с синонимами стилевыми. Стилистические синонимы чаще всего возникают в языке художественной литературы. Сказанное, разумеется, не означает, что в языке поэзии и прозы не встречаются «обычные» синонимы. Но наряду с этими «обычными» синонимами в языке художественной литературы иногда образуются особые, «поэтические» синонимы, определяемые уже не только свойствами самого языка, но и своеобразием замысла того писателя, у которого подобные синонимы встречаются. Эта *двойная соотнесенность* стилистических синонимов — со свойствами языка и с художественным замыслом писателя — определяет отличие стилистических синонимов от синонимов общеязыковых.

Жуковский в своем известном переводе шиллеровской баллады «Кубок» (у Шиллера «Der Taucher» — «Водолаз») создал такие стилистические синонимы к понятию *бездна*:

¹ Ср.: *Фаворин В.К.* Синонимы в русском языке. Свердловск, 1953. С. 21.

«Так царь возгласил, и с высокой скалы, Висевшей над бездной морской, В пучину бездонной, зияющей мглы Он бросил свой кубок золотой... И он (молодой паж. — Р.Б.) подступает к наклону скалы и взор устремил в глубину... Из чрева пучины бежали валы... Пучина бунтует, пучина клокочет... Не море ль из моря извергнуться хочет... И грозно из пены седой Разинулось черною щелью жерло... И глубь застонала от грома и рева... Немало судов, закруженных волной, глотала ее глубина: Все мелкой назад вылетали щепой С ее неприступного дна... Из темного гроба, из пропасти влажной Спас душу живую красавец отважный... В бездонное влага его не умчала... И смутно все было внизу подо мной В пурпуровом сумраке там... Во чреве земли, глубоко Под звуком живым человеческого слова, Меж страшных жильцов подземелья немого...»

Бездна, пучина, мгла, глубина, чрево, жерло, глубь, неприступное дно, темный гроб, влажная пропасть, бездонное, то, что внизу подо мной, пурпуровый сумрак, то, что под звуком живым человеческого слова, подземелье немое — пятнадцать стилистических синонимов для понятия *бездна* в одной балладе. Смелчак должен рассказать царю о тайнах морской бездны. Эта бездна и привлекает его — ведь обещана чудесная награда! — и пугает его: смерть подстерегает в этой бездне. Захватывающее повествование раскрывает и перед читателем разные стороны морской бездны. Всю эту гамму оттенков поэт передает тонким подбором разнообразнейших стилистических синонимов.

Таким образом, стилистические синонимы помогают художнику передать общий идейный замысел произведения, оказываются важным звеном в цепи других изобразительных средств писателя.

Лишь немногие из перечисленных стилистических синонимов Жуковского являются одновременно и синонимами общезыковыми (например, *бездна, пропасть, пучина*). Большая же их часть относится к чисто поэтическим образованиям, которые могут быть названы стилистическими синонимами. Связь этих последних с общезыковыми синонимами (синонимами общенародного языка) проявляется в том, что стилистические синонимы сами обычно образуются на основе общезыковых (не случайно и в данном примере они частично совпадают), но выступают в языке художественной литературы как значительно более «свободный ряд», чем синонимы общезыковые. Ряд стилистических синонимов осложнен отмеченной выше двойной их

зависимостью не только от языка, но и от художественного замысла писателя, ситуации, контекста.

Если сравнить ряды стилистических синонимов с рядами общеязыковых, то первые, как правило, всегда будут более «вольными», чем вторые. Однако эта «вольность» определяется отнюдь не безразличием, не смешанностью и не диффузностью стилистических синонимов, а их своеобразной художественной функцией.

Путешествие и вояж, синонимичные в литературном языке (второе с тонким ироническим нюансом), в диалоге между Раскольниковым и Свидригайловым в «Преступлении и наказании» Достоевского получают совершенно особое осмысление. В сознании больного Свидригайлова, постоянно повторяемое *вояж*, становится синонимом *самоубийства*¹. Разумеется, в литературном языке *вояж* находится в другом ряду и никак не связано с самоубийством. Лишь особые условия весьма своеобразного художественного контекста могли направить существительное *вояж* в столь неожиданное смысловое русло. Вне этого контекста сейчас же расторгается возникшая ассоциация.

И все же разграничение общеязыковых синонимов и синонимов стилистических нельзя проводить резко. Между этими двумя типами синонимов существует такое же тесное взаимодействие, какое обнаруживается и в пределах самих общеязыковых синонимов, между синонимами понятийными и стилевыми.

К тому же классификация осложняется и тем, что общеязыковые синонимы в языке художественной литературы сами часто приобретают те свойства, которые характерны для стилистических синонимов.

А. Блок, намечая, как он будет работать над образом Гаэтана в пьесе «Роза и крест», записал: «Не *глаза*, а *очи*, не *волосы*, а *кудри*, не *рот*, а *уста*»². В этом случае общеязыковые синонимы, названные нами стилевыми (*глаза — очи*, *волосы — кудри*, *рот — уста*), выступают одновременно и как синонимы стилистические: противопоставляя данные синонимы, Блок создавал определенный поэтический образ (возникновение двойного плана у синонимов).

Синонимические взаимоотношения слов исторически изменчивы. Так, например, синонимическая группа *жаловать — награждать*, просуществовавшая вплоть до XX в., затем распалась,

¹ См.: Чирков Н.М. О стиле Достоевского. М., 1963. С. 34–36.

² Блок А. Соч. Т. 12. Л., 1936. С. 81.

так как глагол *жаловать* стал архаичным и теперь употребляется главным образом во фразеологическом обороте *прошу любить и жаловать*.

То, что общезыковые синонимы, и прежде всего понятийные, выявляют различные оттенки понятия, выраженного в языке, обуславливает неравномерность распространения синонимов в разных частях речи. Дифференцирующая функция синонимов уже сама по себе дает возможность ответить на вопрос, почему в любом языке синонимов больше всего в такой части речи, как имя прилагательное. Выступая главным образом в роли определения, прилагательное как раз и выявляет оттенки понятия, обычно выражаемого существительным, например *смелый, отважный, храбрый, мужественный, неустрашимый, доблестный, бесстрашный* и т.д. Синонимика однозначных (моносемантических) имен существительных уже менее богата. И это естественно. Каждое имя существительное, если оно моносеманлично, стремится к тому, чтобы выразить особое понятие. Еще меньше синонимов среди существительных-терминов. Напротив того, многозначные (полисемантические) имена существительные легко вступают в разные синонимические ряды. Так, существительное *ум* в значении «мыслительная способность, лежащая в основе целесообразной деятельности», синонимично существительному *разум*, тогда как то же существительное *ум*, характеризующее высокие интеллектуальные способности человека (он — блестящий *ум*), может вступить уже в другой синонимический ряд — *мыслитель, ученый, выдающийся человек*.

Большее или меньшее распространение синонимов среди той или иной части речи объясняется не только ее особенностями, но и основной дифференцирующей функцией самих синонимов.

Из всего изложенного очевидно, почему так называемая «взаимозаменяемость» не может служить общим доказательством синонимичности слов. Взаимозаменяемость допустима главным образом при абсолютных синонимах (сравнительно весьма редких). Например:

Он занимается *орфографией*
Он занимается *правописанием*

(взаимозаменяемость двух существительных-синонимов). В большинстве же случаев взаимозаменяемость исключается самой природой синонимов — их дифференцирующей силой. Не всякий *смелый поступок* можно назвать *геройским* и не всякие *глаза*

кажутся нам *очами*. Все это лишний раз обнаруживает нетождественность большинства синонимов развитого языка. Отсюда и постоянное взаимодействие между синонимами и оттенками понятия, которые они выражают. Эта же особенность синонимов придает языку ту силу и красоту, о которых пишут выдающиеся деятели национальной культуры. А если синонимы всегда были бы дублетами и механически «заменяли друг друга», они, разумеется, не могли бы являться чудесным выразительным средством нашей речи. Человек, пишущий на родном языке и по-настоящему любящий его, хорошо знает, что над синонимами надо упорно работать. Их неэквивалентность обусловлена тонкими семантическими нюансами.

В свое время известный лингвист С. Карцевский показал, что слово в системе лексики находится в двойном ряду перекрестных отношений — синонимических и омонимических. Когда, например, существительное *рыба* употребляется для обозначения человека (*флегматик*), то оно может создать омонимический ряд (*рыба* — живущее в воде позвоночное животное, *рыба* — флегматичный человек), но одновременно оно же расширяет и синонимический ряд (*флегматик*, *вялый человек*, *холодный человек*, *рыба*)¹.

Итак, существует два больших класса синонимов — синонимы общеязыковые и синонимы стилистические. В свою очередь, в рамках общеязыковых синонимов выделяются синонимы понятийные и синонимы стилевые. Между всеми этими типами синонимов существует не только различие, но и постоянное и всестороннее взаимодействие².

* * *

Наряду с синонимами большой интерес для лексикологии представляют и *антонимы*. Антонимами (греческое *anti* — «против» и *опота* — «имя») обычно называют слова с противополо-

¹ Travaux du cercle linguistique de Prague. 1929. I. P. 88–92.

² О синонимах см.: *Уемов А.И.* Проблема синонимов и современная логика // Логико-грамматические очерки. М., 1961. С. 26–48; *Фаворин В.К.* Синонимы в русском языке. Свердловск, 1953. С. 1–40; *Шапиро А.Б.* Некоторые вопросы теории синонимов // Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. 1955. Т. VIII. С. 69–87; *Балли Ш.* Французская стилистика. М., 1961. С. 128–168; *Галкина-Федорук Е.М., Горшкова К.В., Шанский Н.М.* Современный русский язык. Ч. I. М., 1962. С. 36–40.

Следует различать синонимы лексические, или собственно синонимы (о них шла речь в предшествующем разделе), и синонимы грамматические, которые относятся к грамматике (см.: *Ярцева В.Н.* О грамматических синонимах //

ложными по отношению друг к другу значениями: *правда* — *ложь*, *любить* — *ненавидеть*, *сильный* — *слабый* и т.д. Как ни просто приведенное определение, но и оно сопряжено с преодолением известных трудностей.

Как следует понимать противоположные значения?

Прежде всего очевидно, что не все слова могут иметь свои антонимы, а только те, которые выражают качественные понятия или имеют те или иные качественные признаки. Качество *сильного* (например, человека) легко противопоставить качеству *слабого*, но невозможно представить себе антонимы для таких существительных, как, например, *галстук* или *книга*, а также для таких относительных прилагательных, как *железный* или *медный*. Трудно сказать, какой цвет является «противоположным» цвету *зеленому* или что понимать под антонимом для прилагательного *железный*. В правилах уличного движения больших городов *зеленый* свет противопоставляется *красному*, тогда как *зеленый цвет* в живописи не может быть назван «противоположным» *красному*.

Иначе говоря, антонимы ограничиваются сферой тех слов, которые так или иначе, прямо или косвенно связаны с выражением качественных понятий. В этом плане антонимы отличаются от синонимов и от явлений полисемии, которые имеют гораздо больший радиус действия в языке¹.

Антонимичными могут быть, однако, не только разные слова, но и различные значения внутри одного и того же слова.

Романо-германская филология. Вып. 1. М., 1957. С. 5–33; *Сухотин В.П.* Из материалов по синтаксической синонимике русского языка // Исследования по синтаксису русского литературного языка. М., 1956. С. 5–47; см. также библиографию работ о синонимах: *Евгеньева А.П.* Проект словаря синонимов. М., 1964. С. 21–23).

К сожалению, у нас нет еще современного большого словаря синонимов русского языка. Выход такого словаря имел бы немаловажное значение для нашей культуры. (Двухтомный «Словарь синонимов русского языка» под руководством А.П. Евгеньевой вышел в 1970–1971 гг., а в 1976 г. на основе двухтомника издан однотомный «Словарь синонимов. Справочник».) Полезным учебным пособием является «Краткий словарь синонимов русского языка» В.Н. Клюевой (2-е изд. М., 1961).

¹ Еще в 1896 г. в своих «Семасиологических исследованиях в области древних языков» акад. М.М. Покровский писал: «Возможны такие случаи, когда наша мысль, употребляя одно слово для выражения известного представления, не нуждается в выражении представления противоположного: ср. оборот *смотреть свысока*, при котором нет оборота, противоположного по значению (ср. еще *легко на помине*). Мы, впрочем, только намечаем этот пункт, предоставляя его обработку будущим исследователям» (с. 33).

В латинском языке прилагательное *altus* — не только «высокий», но и «глубокий», *caecus* — не только «невидящий», но и «невидимый», *anxius* — не только «беспокойный», но и «причиняющий беспокойство». Глагол *tollere* передавал и такой процесс, как «поднимать», «возвышать», и такой противоположный процесс, как «устранять», «уничтожать», так что известную фразу Цицерона, направленную против будущего императора Октавия, — *tollendum esse Octavium* можно было при желании толковать и в смысле «Октавия следует возвысить» и в смысле «Октавия следует устранить».

В восточнославянских языках глагол *вонять* имеет значение «издавать дурной запах», а в западнославянских — «благоухать» (ср., например, в современном польском *wóń* — «благоухание», «аромат»). Нейтральное по отношению к характеру запаха значение *-вон-* легко обнаружить и в русском слове *благовоние* — «приятный запах», соответственно которому *зловоние* — «очень неприятный запах». Следовательно, в определенном морфемном окружении *-вон-* может приобретать противоположные значения. Польское *uroda* — «красавица» (ср., в частности, название известной варшавской косметической фабрики «Uroda» — «Красавица»), тогда как русское *урод* — «человек с безобразной внешностью». Проблема антонимических значений получает здесь межъязыковое осмысление.

А вот и ее внутриязыковое выражение. Русское *победа* — «боевой успех», «поражение противника», в переносном смысле «успех вообще» (в результате борьбы, труда) — этимологически связано со словом *беда*. В старинных значениях глагола *победить* — «разорить», «убить» — еще ощущалась связь с существительным *беда* («разорить», т.е. «причинить беду»). Постепенный отрыв слова *победа* от слова *беда* дает возможность проследить поляризацию значений: *поражение* — *успех*. Исторически это слово развивалось по пути антонимических значений.

Следовательно, противоположные значения слова выявляются не только в современном состоянии данных слов, но и в их историческом развитии.

Надо различать антонимичные значения, характеризующие некоторые слова в определенную эпоху существования языка (так называемый синхронный разрез языка), и антонимичные значения, лишь исторически устанавливаемые (так называемый диахронный разрез языка). В этом последнем случае антонимичные значения не сосуществуют в слове, а как бы возникают в нем в разные эпохи развития языка: одно или одни значения

в определенную эпоху, а другое или другие, противоположные первым, в более поздние периоды жизни языка.

В тех случаях, когда антонимичные значения складываются лишь в истории развития одного слова, они в современном языке часто антонимичными уже не являются. Слово *победа* в русском языке нашего времени антонимичных значений не имеет, так как первоначальный смысл слова теперь уже давно забыт.

Иногда отношения складываются так, что антонимичные значения, вполне реальные в синхронной системе одного языка, распадаются, когда слово проникает в другой родственный язык.

Существительное *tempestas* имело в латинском языке противоположные (антонимичные) значения: «погода» и «непогода» («буря»). В романских языках, возникших из латинского, это существительное стало развивать лишь одно из отмеченных значений — «непогода», «буря» (французское *tempête* — «буря», «шторм», итальянское *tempesta* — «ураган», «волнение»; испанское *tempestad* — «буря», «бедствие»). Тем самым в тех романских языках, в которых сохранилось данное латинское слово, оно утратило свои антонимичные значения. Вопрос о том, как происходит эта утрата в том или ином случае, точно так же как и проблема возникновения новых антонимичных значений, ранее не наблюдавшихся, относится уже к конкретной истории отдельных языков и отдельных слов.

Любопытно, что русское слово *погода* («состояние атмосферы в данной местности»), вообще говоря, не имеющее антонимичных значений, может приобрести таковые в отдельных контекстах или в просторечном словоупотреблении (следовательно, это уже не значение, а употребление слова). В выражении *ждать у моря погоды* слово *погода* осмысливается скорее как «хорошая погода» (ждать неопределенное количество времени, когда наступит хорошая погода), тогда как в выражении *на море погода поднялась* — *погода* истолковывается в противоположном направлении — «непогода», «ненастье». Ср. у Лермонтова в «Бэле»: «Ваше благородие, — сказал наконец один, — ведь мы нынче до Коби не доедем; не прикажете ли, покамест можно своротить налево? Вот там что-то на косогоре чернеется, — верно, сакли: там всегда-с проезжающие останавливаются в *погоду*». Очевидно, что в этом контексте *погода* означает «непогоду», «ненастье».

Следует, однако, различать антонимичные значения слова и случаи отдельных, контекстных, фразеологических, «индивидуальных» антонимичных осмыслений слова. Об антонимичных значениях слова в современном литературном языке можно

говорить лишь в первом случае, об антонимичном употреблении его — во втором.

Как и синонимы, как и любые другие средства языка, антонимы находятся в реальном языковом окружении. Так, если прилагательное *глухой* в его основном значении не имеет в русском языке слова-антонима (*имеющий хороший слух*), то в своих переносных значениях оно легко вступает в антонимичные отношения: *глухая улица* — *шумная (многолюдная) улица*, *глухой воротник* — *открытый воротник*. Следовательно, как и при установлении синонимических отношений, для анализа антонимов очень существенно, какое или какие из значений слова рассматриваются. Антонимические ряды осложняются, сталкиваясь с полисемией слова.

Стремясь осмыслить сложное и интересное явление антонимии, Гегель еще в 20-е гг. XIX столетия писал: «Многие из слов немецкого языка имеют ту особенность, что обладают не только различными, но и противоположными значениями, так что нельзя не усмотреть в этом даже некоторого умозрительного духа данного языка: мышлению может только доставлять радость, если оно наталкивается на такого рода слова и находит, что соединение противоположностей... выражено уже лексически в виде одного слова, имеющего противоположные значения»¹. Это положение Гегель иллюстрировал такими примерами: *aufheben* — «сберечь», «сохранить», но одновременно и «отменить», «положить конец»; *der Sinn* — «чувство» (эмоциональное), но одновременно и «смысл», «значение» (рациональное).

Гегель тонко и правильно подметил явление, но интерпретировал его, исходя из общих теоретических положений. «Борьбу противоположных начал» в слове Гегель не только не связывал с закономерностями исторического развития языка, но даже считал, что «диалектика слова» служит доказательством независимости мышления от реальной действительности, от человеческой практики. В «диалектике слова» Гегель видел проявление лишь «умозрительного духа» языка, и только. Язык и мышление как нечто «высшее» Гегель не связывал с материальными условиями их развития, рассматривал эти условия как нечто «низшее».

Между тем развитие противоположных значений в слове является и результатом исторического развития языка. Интересно, что уже Герцен, протестуя против бесправного и тяжелого положения крепостных крестьян в 40-х гг. XIX в., писал: «Разница

¹ Гегель. Наука логики // Соч. Т. V. М., 1937. С. 7.

между *дворянами* и *дворовыми* так же мала, как и между их названиями»¹. Герцену нужно было показать, что распространяемое реакционными писателями утверждение, будто крепостные люди «по природе своей лентяи и пьяницы», а дворяне «по природе благородны», является клеветой на народ и что в действительности все люди равны по рождению. Этот тезис о принципиальном равенстве людей «по природе» Герцен подкреплял и лингвистически: самое название *дворяне* восходит к тому же русскому слову *двор*, от которого произошло и слово *дворовые*. Некогда связанные между собой образования — *дворяне* и *дворовые* — стали в другую историческую эпоху противоположными, антонимическими словами. Но ср.: *двор* и *придворные* (при царском дворе). Синхрония (горизонтальный «разрез» языка) помогает понять диакронию (вертикальный «разрез» языка).

Если в противоположных значениях одного и того же слова Гегель видел лишь «диалектику духа», лишь игру абстрактных мыслительных категорий, то Герцен в этом же явлении языка стремился обнаружить противоречивую диалектику развивающихся общественных отношений.

Разумеется, не все антонимы обусловлены исторически так, как обусловлены *дворяне* и *дворовые*. Чисто лингвистические причины порой определяют развитие антонимов. Так, если в слове *благонный* не ощущается значения слова *вонь* («дурной запах»), а в слове *зловонный* ощущается, то следует подчеркнуть, что смысл первой части первого слова (*благо*) определяет все значение слова, своеобразно «облагораживая» вторую его часть и увлекая ее за собой, удерживает старое нейтральное значение — *вони* «запах».

Когда антонимы выступают как разные слова противоположного значения (*истинный* — *ложный*), тогда проблема антонимов в одном пункте сближается с проблемой синонимов, также опирающейся на анализ разных слов, связанных между собой семантически; когда же антонимы выступают как различные значения одного многозначного слова, тогда проблема антонимов сближается с проблемой полисемии.

Наличие антонимов и антонимичных значений в самых различных языках на разных этапах их исторического развития свидетельствует об огромной силе обобщений, которая заключается в слове. Когда говорят «о *глубокой* и *высокой* мысли писателя», «о *глубоком* и *высоком* замысле художника», то эти прилагательные и противоположны по своему значению, и вместе с тем

² Герцен А.И. Былое и думы. М., 1946. С. 18.

соприкасаются между собой в своеобразном контексте. В системе языка разные слова-антонимы, как и антонимичные значения одного слова, не только отталкиваются друг от друга, но и взаимодействуют друг с другом.

Большое значение приобретают антонимы в стилистике. Выразительные возможности антонимичных противопоставлений и даже столкновений широко используются самыми различными писателями. В языке художественной литературы антонимы тесно примыкают к стилистическому приему антитезы. Классическим образцом подобного антитезного построения является знаменитая клятва Демона в поэме Лермонтова:

Клянусь я *первым* днем творенья,
 Клянусь его *последним* днем,
 Клянусь позором *преступленья*
 И вечной *правды* торжеством,
 Клянуся *небом* я и *адам*,
 Земной святыней и тобой,
 Клянусь твоим *последним* взглядом,
 Твоею *первою* слезой...

 Клянусь *блаженством* и *страданьем*,
 Клянусь любовь мою.

Нетрудно заметить, однако, что в языке художественной литературы слова «антонимизируются» легче и свободнее, чем в общенародном языке. И это понятно: обрастая дополнительными тонкими оттенками значений, слова в контексте художественного повествования соприкасаются и отталкиваются несколько иначе, чем в повседневной речи. *Преступленья* и *правда* в общенародном языке не являются антонимами, но в данном художественном целом, на фоне других противопоставлений у Лермонтова, выстраиваются друг против друга и эти существительные. И подобно тому как синонимы в тексте художественной литературы «ведут себя» свободнее, чем в стиле «обычной» речи, подчиненной общеязыковой норме, так и антонимы: глубокая специфика художественной речи сказывается и здесь¹.

¹ Специальных исследований об антонимах все еще немного (к 1965 г.). См.: Ключева В.Н. Проблема антонимов // Уч. зап. 1-го Московского государственного пединститута иностранных языков. Т. IX. М., 1956. С. 75–85; Комиссаров В.Н. Проблема определения антонима // ВЯ. 1957. № 2. С. 49–58; Прохорова В.Н. О словах с противоположными значениями в русских говорах // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1961. № 1. С. 122–128; Abel C. Über den Gegensinn der Urworte // Abel C. Sprachwissenschaftliche Abhandlungen. Halle, 1885. S. 311–368.

7. Внутренняя форма слова. Этимология и развитие значения слова

Как же осуществляется в слове связь между значением и звучанием? Нетрудно заметить, что не все слова представляются нам одинаково мотивированными. *Пятьдесят* или *шестьдесят* без всякого труда осмысляются как состоящие из *пяти* и *десяти*, *шести* и *десяти*, тогда как *сорок* уже вызывает затруднения. Что кроется под звуковой оболочкой того или иного слова? Почему в одном языке *стол* называется *столом*, а в других — это *Tisch, table, mensa* и т.д.?

Анализируя такие слова, как *подснежник*, *подсолнечник* или *пятьдесят*, нельзя не обратить внимания на способ их образования. Эти слова, называя предметы и понятия, одновременно выражают точку зрения говорящего на эти понятия. *Подснежник*, по-видимому, поразил некогда человека своим ранним появлением весной, когда на полях еще лежит снег («под снегом»). Вот эта особенность подснежника и положена в основу самого названия: человек обратил внимание на одну особенность цветка и использовал ее для наименования самого цветка.

Но тот же *подснежник* может иметь и другие свойства и другие особенности: определенную форму, определенные цвет и запах, определенное назначение и т.д. Если в русском языке для названия *подснежника* был использован признак, связанный со временем появления этого цветка и его расположением, то в немецком тот же признак (снег) соединяется с представлением о форме цветка (*Schneeglöckchen* букв. «снежный колокольчик», связь со снегом, как и в русском, но с дополнительным представлением о форме, напоминающей форму колокольчика). В английском языке мы опять обнаруживаем связь названия подснежника со снегом, но в новой комбинации (*snowdrop* букв. «снежная капля»), а во французском представление о снеге, связанное с подснежником, получает дополнительную характеристику движения (*perce-neige* букв. «просверливающий снег», «пробивающийся через снег», т.е. цветок, прокладывающий себе дорогу к жизни через снег).

Как уже было замечено, не все слова кажутся нам одинаково мотивированными. По сравнению с такими, как *подснежник* или *пятьдесят*, слова типа *стол* или *капуста* кажутся немотивированными. Говорящему на современном русском языке может

быть и неясно, какова внутренняя структура таких, например, слов, как *сутки* или *брак* (в смысле «супружество»). Однако сравнительно простой исторический анализ раскрывает внутреннюю структуру, характер связи между первоначальным смыслом подобных слов и их внешним оформлением. Следует только сопоставить *брак* и *братъ*, чтобы понять первоначальное осмысление этого слова: «взять за себя», в диалектах *братъ-ся*, в украинском языке *побратися*, т.е. «сочетаться браком», «братъ к себе в дом», «жениться» или «выйти замуж». Точно так же легко обнаружить внутреннюю мотивировку и слова *сутки*: *су* или *со* обычно передает идею совместности, сочетания, соединения (ср. *супруг*, *сотоварищ*, *сосед*), а корень *тък* в старом языке означал «ткнуть» или «тыкать», «соткнуть». Таким образом, *сутки* осмыслялось первоначально как соединение дня и ночи, как нечто такое, когда день и ночь, соединяясь, образуют целое. Следовательно, слова, которые кажутся нам сейчас немотивированными, обнаруживают мотивировку в процессе своего исторического развития.

Слова всегда так или иначе мотивированы, только в одних случаях эта мотивировка лежит как бы на поверхности языка, а в других она осложнена целым рядом последующих — смысловых, грамматических и фонетических — напластований. Способ выражения понятия через слово, характер связи между звуковой оболочкой слова и его первоначальным содержанием и называется *внутренней формой слова*¹.

Фейербах формулирует следующее положение о природе названия: «Чувственное восприятие дает *предмет*, разум — *название* для него... Что же такое название? Отличительный знак, какой-нибудь бросающийся в глаза признак, который я делаю

¹ Нет никаких оснований возражать против понятия внутренней формы слова, как это делают некоторые лингвисты. То, что данное понятие в идеалистическом языкознании обосновывается ошибочно, не может служить причиной отказа от самого понятия и соответствующего ему термина. Ведь и многие другие важнейшие лингвистические понятия (например, значение слова, фонема и пр.) нередко истолковываются с разных позиций неубедительно, однако это не заставляет нас отказываться от данных понятий и данных терминов. Весь вопрос в том, как осмысляются те или другие понятия и термины. Поэтому едва ли целесообразно заменять общепринятый термин новым терминологическим словосочетанием («принцип избирательности»), как это делает Б.А. Серебрянников (Вопросы грамматического строя. М., 1955. С. 55). Нельзя также согласиться с безмерным расширением понятия внутренней формы слова, на котором настаивает вслед за Гумбольдтом Глинц (*Glinz H. Die innere Form des Deutschen. Eine neue deutsche Grammatik. Bern, 1952*).

представителем предмета, характеризующим предмет, чтобы представить его себе в его тотальности»¹.

Действительно, «бросающийся в глаза признак» лежит в основе многих названий, а следовательно, и слов. Птица *горихвостка* некогда поразила человека своим необычайно ярким, как бы горящим хвостом («бросающийся в глаза признак»: гори + хвост; ср. *сорвиголова*, *крутиус*). Этот поразивший человека признак и был положен в основу названия данной птицы. Разумеется, «бросающийся в глаза признак» предмета или явления вовсе не всегда оказывается таким эффектным, ярким. Он обычно бывает гораздо более «спокойным»: *подсвечник* — это «то, что находится *под свечой*», а *наперсток* — «то, что (надевается) *на перст*», т.е. на палец. Но и в подобных случаях обнаруживается определенный «бросающийся в глаза признак», определяющий название, формирующий слово.

Чтобы выявить своеобразие внутренней формы слова в каждом отдельном языке, очень полезно сравнить внутреннюю форму слова в одном языке с внутренней формой соответствующего слова в другом или других родственных языках. Сравнение поможет уяснить специфику слова в отдельном языке и покажет, как объединяются и чем отличаются друг от друга языки и в этом отношении.

Если в только что названном русском слове *наперсток* его внутренняя форма раскрывает то, что «на персте» (пальце), то немецкое сложное слово *Fingerhut* букв. означает «палец-шляпа» (здесь отсутствует значение *на*, на что-то). Если латинское слово *lex (legis)* — «закон» этимологически связано с глаголом *legere* — «собирать» («закон» = нечто собранное вместе), то русское слово *закон* (перегласовка в корне **чън* — **кон*) осложнено многозначностью предлога *за*, поэтому *за* в *закон* первоначально следует понимать или как в *за-прег*, т.е. предел, до которого можно идти, или же как в *за-чин*, т.е. начало порядка². Но в обоих случаях внутренняя форма слова в одном языке отличается — больше или меньше — от соответствующей внутренней формы в другом родственном языке.

¹ *Фейербах Л.* Собр. соч.: В 10 т. Т. IV. 1910. С. 195 — Ludwig Feuerbach's Sämtliche Werke. Bd IV. Darstellung, Entwicklung und Kritik der Leibnizschen Philosophie. Zur neueren Philosophie und ihrer Geschichte. Stuttgart, 1910. S. 195.

² См.: *Преображенский А.* Этимологический словарь русского языка. I. М., 1910. С. 241. Несколько иначе это слово объяснено в этимологическом словаре русского языка Фасмера: *Vasmer M.* Russisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1953. S. 439.

Последние примеры показывают, как подчас сложно бывает раскрыть внутреннюю форму слова.

Английское *butterfly* — «бабочка», кажется, отчетливо распадается на *butter* — «масло» и *fly* — «муха» («масленая муха»). В действительности, однако, вопрос оказывается более сложным. Одни исследователи считают, что *butterfly* получила свое название по цвету («муха желтая, как масло»), другие утверждают, что в названии *butterfly* отразилось древнее крестьянское поверье, согласно которому ведьмы, принимая вид бабочек, сосут молоко у коров (тогда *butterfly* = «масло + муха»: «муха, сосущая молоко-масло у коровы»)¹. Трудно сказать, какая из этих точек зрения является более правильной. Во всяком случае, чтобы ответить на данный вопрос, потребовалось бы специальное углубленное исследование².

Привлечение соответственных слов родственных языков помогает выяснить природу слова анализируемого языка. Русское слово *окорок* этимологически кажется неясным. Но стоит нам привлечь украинское *крок* — «шаг», болгарское *крак* — «нога», чтобы сразу оказалось более ясным и русское *окорок* — «часть туши — бедро, верхняя часть свиной или телячьей ноги». Слово *окорок* в других славянских языках оказывается связанным со словами, означающими *ногу* или *шаг*. Тем самым внутренняя форма самого слова *окорок* становится более ясной.

Слово *папироса* в русском языке восходит к польскому *papieros*, которое в свою очередь связано со словом *papier* — «бумага». Так как в польском языке существуют оба слова (*papieros* — «папироса» и *papier* — «бумага»), то связь между ними в известной степени ощущается, тогда как в русском языке слово *папироса* оказывается более «одиноким», а его этимологическая связь с латинским *papyros* (греч. *papuros*) — «папирус» в современном языке ничем не поддерживается. Поэтому внутренняя форма польского слова *papieros* является более прозрачной, чем внутренняя форма соответствующего русского *папироса*. Несходство определяется различием словообразовательных рядов, в которых находится слово в разных языках. Любопытно, что испанское *cigarro de papel* — «сигарета» букв. означает «сигара бумаги», «сигара из бумаги» (связь сигары с одним из материалов, из которого изготавливается сигара).

¹ Mc Knight G.H. English Words and their Background. N.Y.; L., 1931 (ch. XXII).

² Ср. замечание современного итальянского лингвиста: «Реальное происхождение какого-нибудь слова и этимологический образ, который это слово вызывает при его употреблении, могут быть совершенно различными» (*Пиццини В. Этимология / Рус. пер. М., 1956. С. 118*).

Внутренняя форма слова — явление настолько своеобразное, что может напоминать о себе не только в структуре отдельного слова, но и в структуре слова, входящего в словосочетание или особое выражение. Когда немец говорит *er ist in den fünfzigern* — «ему пошел шестой десяток (лет)», то он отталкивается от понятия «пятидесяти» (*fünfzig*), между тем как соответствующее русское выражение оказывается более «безжалостным» по отношению к возрасту человека (напоминает ему о *шестом* десятке).

Но во внутренней форме отдельных слов в различных языках обнаруживаются не только специфически самобытные способы выражения понятия в его звуковой оболочке (что само по себе важно), но и черты известного сходства в способах выражения понятия в различных языках. Уже в том, как передается, например, слово *подснежник* в разных языках, можно было проследить специфические особенности отдельных языков и общие признаки понятия. Не случайно и то, что птицу с маленьким хохолком на голове, как бы напоминающим столь же маленькую корону, уже римляне называли *regaliolus* — «царек» (от *rex* — «царь»). Аналогично назовет ее русский — *королек*, поляк — *krolik* (*król* — «король»), швед — *kungsfågel* — «птица-король», немец — *Zaunkönig* — «король забора», т.е. король, сидящий на заборе, итальянец — *reattino* — «маленький король» и т.д. Таким образом, одно и то же слово в разных языках часто передается так, что в нем можно обнаружить не только специфически *национальные* признаки, характерные для того или иного языка, но и более *общие* признаки, типичные для многих языков. Конечно, таких слов в каждом языке немного, но они важны для понимания проблемы внутренней формы слова.

Поэтому не правы те лингвисты, которые во внутренней форме слова видят одно из главных доказательств абсолютной замкнутости «национальных кругов» отдельных языков. В действительности языки и в этом отношении, как и во всех других случаях, не только различаются, но и взаимодействуют между собой.

* * *

Трудным является вопрос, относящийся к разграничению внутренней формы слова и его этимологии. *Этимология* — установление происхождения слова и его генетических связей с соответствующими словами других родственных языков — понятие более широкое, чем внутренняя форма слова. Для этой последней более существенна образная структура слова, тогда

как этимология охватывает все слова данного языка и более последовательно привлекает материалы других родственных языков.

Проблема внутренней формы слова подчиняется проблеме этимологии слова, как частное общему. Во внутренней форме слова первоначальное его значение обычно как бы вытекает из самой структуры слова. Структура слова четко обрисовывает его первоначальное значение. В этимологии же вообще эти связи могут быть и более сложными. Поэтому внутренняя форма слова является лишь частным, наиболее простым и наглядным типом этимологии и этимологического значения. Именно поэтому первоначальное изучение проблем этимологии удобнее начать с проблемы внутренней формы слова.

Подобные занятия, помимо чисто лингвистического интереса, имеют большое познавательное значение. Каждый с пользой для себя узнает, что, например, *трус* этимологически связано с *трясти*, *дошлый* — это тот, кто «до всего доходит», а *предмет* — это нечто «брошенное перед» нами («метать перед» — «перед метать», как и в латинском — *objectum*). Несколько неожиданно окажется, что *апломб* (из фр.) букв. означает «по свинцу», т.е. «по отвесу», а в переносном смысле — «хладнокровно», «излишне самоуверенно». *Мигрень* — из греческого — «полголовы» (в которой сосредоточена боль) и т.д.

Когда внутренняя форма слова кажется неясной, часто стремятся по-своему осмыслить ее, сделать более понятной.

«Не находите ли вы, — говорил Аркадий Кирсанов своей невесте, — что *ясень* по-русски очень хорошо назван: ни одно дерево так легко и *ясно* не сквозит в воздухе, как он». Катя подняла глаза кверху и промолвила: «Да»¹. Когда чеховский приказчик генерала Булдеева мучительно вспоминал «лошадиную фамилию», то он тоже своеобразно решал вопрос о внутренней форме фамилии акцизного Овсова (рассказ «Лошадиная фамилия»). Повествуя о своем тяжелом детстве, М. Горький писал: «Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья...

— Ну, говори, пожалуйста: Отче наш, иже еси...

И если я спрашивал: Что такое — яко же? — она, пугливо оглянувшись, советовала:

— Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: Отче наш... ...Ну?

Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слово «яко же» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его:

¹ Тургенев И.С. Отцы и дети, гл. 25.

— Яков же, я в коже...

Но бледная, словно тающая тетка терпеливо поправляла...

— Нет, ты говори просто: яко же...»¹

Непонятное «яко же» мальчик стремился переосмыслить, превращая его в понятные «Яков же», «я в коже».

Пути подхода нашего сознания к непонятным словам могут быть различными.

У Куприна в «Поединке» происходит такой разговор между подпоручиком Ромашовым и Александрой Петровной: «Unser, — повторил шепотом Ромашов... Унзер, унзер, унзер... — Что вы шепчете, Ромочка? — вдруг строго спросила Александра Петровна... — Какое смешное слово... — Отчего смешное? — Видите ли... — Он затруднялся, как объяснить свою мысль. — Если долго повторять какое-нибудь одно слово и вдумываться в него, то оно вдруг потеряет смысл... — Ах, знаю, знаю! — торопливо и радостно перебила его Шурочка... — Вот раньше, в детстве. Даже помню слово, какое меня особенно поражало: “может быть”... Мне все казалось, будто это какое-то коричнево-красноватое пятно с двумя хвостиками. Правда ведь? — Ромашов с нежностью поглядел на нее. — Как это странно, что у нас одни и те же мысли, — сказал он тихо. — А унзер, понимаете, это что-то высокое-высокое, что-то худошавое и с жалом. Вроде как какое-то длинное, тонкое насекомое, и очень злое. — Унзер? — Шурочка подняла голову и, прищурясь... старалась представить себе то, о чем говорил Ромашов. — Нет, погодите: это что-то зеленое, острое. Ну да, ну да, конечно же, — насекомое! Вроде кузнечика, только противнее и злее. Фу, какие мы с вами глупые, Ромочка!»²

¹ Горький М. Детство // Соч. Т. XVI. М.; Л., 1933. С. 22.

² Куприн А. Избранные произведения. Л., 1947. С. 83. Ср. у Б. Полевого в «Повести о настоящем человеке»: когда летчик Мересьев в тяжелом состоянии попадает в госпиталь, он знакомится там с замечательным человеком, тяжело раненым комиссаром Воробьевым. Чтобы научиться говорить по-немецки и не терять дорогого времени, Воробьев в госпитале изучал немецкий язык: «А знаете, хлопцы, — говорил он, обращаясь к товарищам, — как по-немецки цыпленок? Кюхельхен. Здорово. Кюхельхен, что-то эдакое маленькое, пушистое, нежное. А колокольчик, знаете, как? Глеклинг. Звонкое слово, верно?» (Полевой Б. Повесть о настоящем человеке. М., 1948. С. 91).

Но ошибочными могут быть и такие сближения, которые кажутся с первого взгляда вероятными. Так, этимологически слово *ясен* не связано с *ясно*, как думал тургеневский Аркадий. Ср. у М. Горького рассуждения Матвея Кожемякина: «Написав... он задумался о тайном смысле слов, порою неожиданно открывающих перед ним свои емкие души и странные связи друг с другом. Вспомнилось, как однажды слово *гнев* встало почему-то рядом со словом *огонь* и

В подобных случаях мысль человека идет уже по заведомо ошибочному пути, хотя и эти примеры по-своему показательны, как свидетельство стремления человека разобраться в характере разных наименований.

Мы уже знаем, что внутренняя форма слова выступает особенно ясно при сравнении разных языков между собой.

Один из главных персонажей «Саги о Форсайтах» Дж. Голсуорси, англичанин Сомс Форсайт, женится на француженке. От этого брака у него рождается дочь Флер, с детства привыкшая говорить на французском языке. В решительный момент, когда Флер должна была узнать семейную трагедию своего отца, между нею и отцом происходит такой разговор: «Почему ты не любишь своих родственников, папа? — спросила Флер. — С чего ты это взяла? — *Cela se voit*. — “Это себя видит” — ну и выражение! Прожив 20 лет с женой-француженкой, Сомс все еще недолюбливал ее язык: какой-то театральный»¹. При сравнении с родным языком французское выражение *Cela se voit* кажется Сомсу «неестественным». Он разбивает словосочетание, анализирует каждое слово в отдельности, переводит его буквально. Неприязнь к своим французским родственникам Сомс переносит и на французский язык. Особенность данного словосочетания, на которую он раньше не обращал никакого внимания, теперь приобретает для него смысл.

Иной характер имеют явления, получившие название «народной этимологии» (*volksetymologie*). Поясним их сначала на нескольких литературных примерах.

В четвертом томе «Войны и мира» (ч. 3, гл. 7) Петя Ростов, уже офицер в отряде Денисова, зовет молоденького французского барабанщика по имени Vincent Bosse, только что взятого в плен.

«— Bosse! Vincent! — прокричал Петя, остановясь у двери.

— Вам кого, сударь, надо? — сказал голос из темноты.

Петя отвечал, что того мальчика француза, которого взяли нынче.

— А! Весеннего? — сказал казак.

наполнило усталую в одиночестве душу угнетающей печалью. Гнев — соображал он — прогневаться, огневаться — вот он откуда, гнев — из огня! У кого огонь в душе горит, тот и гневен бывает. А я бывал ли гневен-то? Нет во мне огня, холодна душа моя, оттого все слова и мысли мои неживые какие-то и бескровные...» (*Горький М. Жизнь Матвея Кожемякина. М., 1937. С. 231–232*).

¹ Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах / Рус. пер. Т. 1. 1946. С. 639.

Имя его Vincent уже переделали казаки — в Весеннего, а мужики и солдаты — в Висеню. В обоих переделках это напоминание о весне сходилось с представлением о молоденьком мальчике.

— Он там у костра грелся. Эй, Висеня! Висеня! Весенний!»

«Слово *плутократия*, — писал Писарев в своей статье о Генрихе Гейне, — происходит от греческого слова *плутос*, которое значит *богатство*. Плутократией называется господство капитала. Но если читатель, увлекаясь обольстительным созвучием, захочет производить *плутократию* от русского слова *плут*, то смелая догадка будет неверна только в этимологическом отношении»¹.

В XVII в. русские солдаты слышали немецкое слово *profoss*. Этим словом называли человека, который «солдат в железы сажал» и приводил в исполнение приговоры о телесном наказании. Разумеется, в сознании русских солдат должность профоса ассоциировалась с чем-то унижительным и бесславным. Поэтому и не удивительно, что это непонятное слово, вызывая представление о человеке жестоком и вместе с тем ничтожном, быстро превратилось в *прохвост*, в слово, ярко оценочное и вместе с тем предельно ясное по своей внутренней форме. Непонятное *профос* трансформировалось таким образом в понятное *прохвост* не столько по случайному звуковому созвучию, сколько вследствие настойчивого, хотя обычно и не осознанного стремления своеобразно *оценить* должность профоса, а поэтому и по-новому осмыслить внутреннюю форму самого слова.

Разнообразные случаи «народной этимологии»² следует отличать от искусственных или умышленных переосмыслений первоначального значения слова. Когда слова переосмысляются по принципу «народной этимологии», говорящие совершенно

¹ Писарев Д.И. Соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1956. С. 217–218.

² См., например, у Лескова в патриотическом рассказе «Левша»: «А те лица, которым курьер *нимфозорию* сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный *мелкоскоп* и сейчас же в публицические ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие *клеветон* вышел» (изд. 1949, с. 26). Тульский неграмотный Левша оказывается, однако, очень изобретательным.

Об аналогичных явлениях в народном языке рассказывают и западноевропейские писатели. Когда в романе Сервантеса Санчо Панса сообщает Дон Кихоту о появлении необычайно ученого летописца по имени Cide Hamete Benengeli и объясняет своему господину, что нового ученого зовут так по причине его любви к баклажанам (по-испански *berenjena* «баклажан»), то Дон Кихот замечает: «Нет, Санчо, его зовут так потому, что по-арабски Cide значит господин» (ч. 2, гл. 2).

не сознают, что слова отклоняются от их «истинных» значений. Напротив, «отклоняющееся значение» представляется в этом случае истинным, единственно возможным. Говорящие обычно и не подозревают, что у слова может быть другое значение.

Очень существенно, что переосмысленные в народном языке слова иногда возвращаются в русский литературный язык уже в измененном виде. Сейчас произносят и пишут *свидетель* (от *видеть*), хотя в старом русском языке единственно правильным образованием считалось *сведетель* (т.е. тот, кто *ведает* — «знает»). Возникшее сначала в народном языке (слово *свидетель* казалось более понятным, чем книжное *сведетель*), новое образование проникло затем и в литературный язык, полностью вытеснив старое осмысление слова.

Подобного рода примеры показывают, во-первых, какое мощное воздействие оказывает народный язык на литературный и, во-вторых, насколько грани между народным и книжно-литературным осмыслением слова исторически подвижны и изменчивы, насколько они определяются общими условиями развития того или иного языка.

Случаи «народной этимологии» находятся в прямой зависимости от общей культуры народа, от степени проникновения грамотности в самые широкие слои общества. Чем выше культура народа, тем менее характерны для языка явления «народной этимологии». Ведь не случайно, что «народной этимологии» подвергаются чаще всего редкие, малопонятные слова, специальные термины. Чем шире трудные слова и термины распространяются вместе с книгой, лекцией, театром, радио, телевидением не только среди городского, но и среди сельского населения, тем больше сами эти слова и термины делаются понятными всему обществу, тем меньше они подвергаются переосмыслению по принципу «народной этимологии».

То, что между литературным и нелитературным осмыслением слова не всегда можно провести четкую линию разграничения, показывают своеобразные примеры «полународной этимологии». Это случаи такого осмысления значения слова, которые хотя и противоречат истинной этимологии, но широко бытуют среди людей, владеющих литературным языком. Например, слово *палисадник* часто понимается как «маленький садик»; при этом многие удивляются, почему это слово пишется через *а* («ведь это же половина сада!»). В действительности же первая часть слова *палисадник* связана с латинским существительным *palus* —

«столб», поэтому все слово означает «столб-садик», т.е. сад, огороженный столбами, а никак не маленький садик¹.

И все же, хотя между истинной этимологией слова и его неправильным осмыслением иногда нет четкой дифференциации, в каждую эпоху жизни языка *необходимо отличать правильное от неправильного*. Исторически неправильное (пример типа *свидетель*) может стать в другую эпоху вполне правильным. Но лингвист всегда обязан различать эти два «разреза» языка — горизонтальный и вертикальный, т.е. современный и исторический, и вместе с тем понимать их постоянное и непрерывное взаимодействие².

В наших условиях народному переосмыслению подвергаются иногда те слова, которые оказываются либо не оправданными общим контекстом, либо слишком искусственными и надуманными. Как отметил в другой связи поэт М. Исаковский³, в известной песне «По долинам и по взгорьям», состоящей из простых, точных и выразительных слов, есть, однако, такие строки, в которых автор текста — С. Алымов — допустил беспорядочный промах:

Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда.
Партизанские *атавы*
Занимали города.

Атава (или *отава*) — это трава, выросшая на месте скошенной в тот же год. Поэт этим образом хотел сказать, что партизанские

¹ Любопытные насмешки Байрона в «Дон Жуане» (песнь 6, строфа 55) над схоластическими и антинаучными этимологиями:

Престранные порой
Названия вещам даруют человеки:
Так *lucus* взят из *non lucendo*; от такой
Этимологии стыдливо клонишь веки!

(Пер. Г. Шенгели)

Латинское *lucus* «роща», *non lucendo* — «не светящийся» (в роще обычно бывает полутемно). Образец нелепого сопоставления по случайному частичному совпадению звучаний.

² В настоящее время все более широкое распространение получает такое истолкование «народной этимологии», согласно которому под данное понятие подводятся все случаи осмысления слов (не только в народном, но и в литературном языке), противостоящие научной этимологии. Все, что не согласуется с принципами научной этимологии, независимо от того, в какой социальной среде оно наблюдается, относится к «народной этимологии». Ср. споры по этому поводу: Bulletin de la Société de linguistique de Paris. Vol. 51. Fasc. 2. Paris, 1955. P. 77; Wartburg W. Einführung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft. 2. Aufl. bearbeitet / Von S. Ullmann. Tübingen, 1963.

³ См.: Исаковский М. О поэтическом мастерстве. М., 1952. С. 26.

отряды вырастали так же быстро, как и атава. Но образ получился очень искусственным. Мало кому известное слово *атава* не удержалось в песне, и эти строки стали петь иначе: «Партизанские *отряды* занимали города». Переосмысление *атавы* — *отряды* здесь вполне законно, оно вызвано совсем другими причинами, чем старое переосмысление такого типа, как, например, *пиджак* — *спинжак* (то, что надевается на *спину*). Если переосмысление последнего типа — результат неграмотности, результат незнания простых и необходимых слов, то переосмысление первого типа возникает как бессознательное стремление сделать слово более доходчивым, как непризнание действительно несколько искусственного поэтического образа. Следовательно, и «народная этимология» бывает различной.

Итак, *народная этимология* — это отдельные случаи переосмысления в народном языке непонятных слов с позиций понятных слов родного языка, или, другими словами, это сведение непонятого слова к слову понятному.

Занятия этимологией требуют обширных знаний и точной методики. Чтобы правильно установить этимологию слова того или иного языка, нужно знать историю этого языка, его фонетические и грамматические законы, необходимо понимать, в каких связях и отношениях находится данный язык с другими родственными языками, нужно владеть методом сравнительно-исторического изучения языка.

* * *

Занятия этимологией — как ее общими принципами, так и этимологиями отдельных слов — со всей очевидностью показывают, насколько далеко «уходит» слово в процессе своего длительного исторического развития.

В настоящее время существительное *предмет* уже почти ничего не имеет общего с чем-то «брошенным перед» нами, а существительное *апломб* окончательно утратило связь со словом *свинец*. Развитие мышления приводит к тому, что у человека возникает настоятельная потребность обращаться не только к конкретным, но и отвлеченным словам и понятиям. Все это, в свою очередь, способствует тому, что первоначальная этимология слова забывается. В самом слове развиваются разные значения, оно становится многоплановым. Происходит забвение первоначальной этимологии слова; внутренняя форма слова становится менее прозрачной.

Процесс *забвения первоначальной этимологии слова* в целом является закономерным и прогрессивным процессом, тесно связанным с развитием языка, со становлением сложных отвлеченных значений слова. Если бы человек и в настоящее время связывал существительное *предмет* с понятием «нечто брошенное перед», то он не смог бы употреблять данное существительное в таких многообразных значениях и таких сложных планах, как он это делает теперь. Следовательно, чем дальше «уходит» слово от своего первоначального, обычно очень наглядного и конкретного значения, тем большие возможности представляет оно нашему мышлению, тем многообразнее и сложнее делается само слово. В этом смысле процесс отхода слова от его первоначального значения, определенного этимологией, является процессом прогрессивным, вызванным развитием языка и мышления.

Полемизируя с Дюрингом, который считал возможным выводить все математические понятия непосредственно из головы, т.е. априорно, минуя практический опыт людей, Энгельс писал: «Понятия числа и фигуры взяты не откуда-нибудь, а только из действительного мира... Чистая математика имеет своим объектом пространственные формы и количественные отношения действительного мира, стало быть — весьма реальный материал. Тот факт, что этот материал принимает чрезвычайно абстрактную форму, может лишь слабо затушевать его происхождение из внешнего мира... Представления о линиях, поверхностях, углах, многоугольниках, кубах, шарах и т.д. — все они отвлечены от действительности, и нужна изрядная доза идеологической наивности, чтобы поверить математикам, будто первая линия получилась от движения точки в пространстве, первая поверхность от движения линии, первое тело — от движения поверхности и т.д. Даже язык восстает против этого. Математическая фигура трех измерений называется телом, *corpus solidum* по-латыни, следовательно — даже осязаемым телом, и, таким образом, она носит название, взятое отнюдь не из свободного воображения ума, а из грубой действительности»¹.

В этой связи очень интересно первоначальное чувственно-наглядное значение многих современных абстрактных слов.

Древнерусская мера измерения *пядь* сначала означала «расстояние между концами растянутых большого и указательного пальцев» (впоследствии 1/4 аршина). Немецкое *Raum*, имеющее сейчас абстрактное значение «пространство», первоначально

¹ Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 37, 39.

«свободное поле, подлежащее возделыванию», а английская мера измерения *foot* — «фут» одновременно имеет значение «ступня»; с ее помощью некогда измеряли землю. Латинское *deliberare*, как и французское *penser*, двигались в своем историческом развитии от «взвешивать» к «рассуждать» («рассуждать» рассматривалось в связи с бытовым смыслом «взвешивать»: «рассуждать» о чем-нибудь — это как бы «взвешивать» все особенности данной вещи или данного понятия), немецкое *begreifen* — «понимать» восходит к глаголу *greifen* — «хватать» («понятое» — это нечто «чувственно осознанное», «схваченное»).

Таким образом, те слова, которые во многих современных языках кажутся нам чисто абстрактными, не зависимыми от реальной действительности и практического опыта человека, исторически возникли именно из этого опыта и реальной действительности. Но, однажды возникнув, слова начинают развиваться, обобщать и изменять свое значение в ходе развития и изменения самой общественной практики человека. Отношения между словами и реальной действительностью становятся все сложнее и сложнее, слова впитывают в себя все новые значения. Если раньше, на более древнем этапе развития языка, в абстрактном понятии типа немецкого *der Raum* — «пространство» можно было легко обнаружить непосредственные связи его с реальной действительностью, так как само это понятие означало «свободное поле, подлежащее возделыванию», то теперь, на более высоком уровне развития языка, слово, получая более общее значение («пространство»), тем самым как бы порывает свои связи с той самой реальной действительностью, которая вдохнула жизнь в это слово, вызвала его к жизни.

Исторически развиваясь, многие слова языка приобретают сложные и отвлеченные значения. Эти значения уже не распадаются механически на сумму старых конкретных смыслов, а *входят в новый ряд*, начиная жить новой жизнью.

Ярко осветив историческую связь высшей математики с математикой элементарной, математикой практического опыта, Энгельс вместе с тем подчеркнул различие между ними. Математика элементарная «движется... внутри границ формальной логики...», для математики же высшей, оперирующей сложнейшими представлениями, необходима диалектика. Вот почему доказательства высшей математики, начиная с первых положений дифференциального исчисления, являются с точки зрения элементарной математики, строго говоря, неверными.

То же следует сказать и о языке, и о слове. С одной стороны, в генетическом плане очень важно подчеркнуть, что абстракт-

ные значения не являются продуктом «чистого разума», что они не выдуманы «игрой воображения», а возникли исторически, в процессе все более глубокого осмысления человеком окружающего его мира, а с другой — что сами отвлеченные слова, носители новых значений, достигнув на протяжении веков высокой ступени развития, постепенно вступают в новые языковые ряды, в новые отношения.

Протестуя против толкования слова *религия*, данного Фейербахом, Энгельс писал: «Слово *религия* происходит от *religare* и его первоначальное значение — *связь*. Следовательно, всякая взаимная связь двух людей есть религия... Словам приписывается не то значение, какое они получили путем исторического развития их действительного употребления, а то, какое они должны были бы иметь в силу своего происхождения»¹. Энгельс подчеркивает, что позднейшее значение слова *религия* порывает с его первоначальным осмыслением, поэтому стремление Фейербаха приписать современному слову, прошедшему сложный и очень длительный путь развития, его первоначальное значение является не чем иным, как «этимологическим фокусом».

В другой своей книге, замечая, что древнегреческое *basileus* «этимологически совершенно правильно переводить ...немецким словом “König”», Энгельс вместе с тем пишет: «...современному значению слова “König” (король) древнегреческое “басилей” совершенно не соответствует»². В древнегреческом *basileus* — это не только *царь*, как то можно было предположить на основе чисто этимологических соответствий, а *военачальник*³. Синхрония (горизонтальное состояние языка) вносит весьма важные поправки в диахронию (вертикальное состояние языка, т.е. его движение).

Итак, первоначальное значение слова и его позднейшие осмысления могут частично или совсем не совпадать. Это несоответствие очень существенно для понимания процесса развития значения слова. Но интерес к первоначальному его значению, к

¹ Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 293.

² Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 107.

³ Ср., однако, функциональные совпадения: *военачальник* — *князь* — *царь*... и закрепившееся толкование имени *Василий* — от греческого «царь». Латинское *basilicus*... из греческого языка — «царский», суффиксальное производное от «царь». Интересно сравнить и этимологию слова *вазилек* (мифолог.) из старославянского языка «змея, дракон», восходит к греческому «дракон», букв. «царский» или «царёк». Так назывался *дракон* из-за силы, которой он якобы обладал.

его этимологии дает возможность разобраться в сложном пути исторического движения слова.

Несовпадение — очень частое — между исходным и последующими осмыслениями слова определяется целым рядом причин как исторического, так и лингвистического характера. В первом случае меняется «вещь», или понятие, и соответственно слово «уходит» от своего первоначального значения. Во втором случае слово может, например, вступить в новые словообразовательные ряды и тем самым порвать со своим старым значением (см. с. 254 и сл.). Забвение этимологии слова (как и затемнение его внутренней формы) является результатом движения словарного состава языка, постепенного отвлечения слова от единичных предметов и явлений и развития многозначности и многоплановости слова. Всего этого язык не смог бы достигнуть, если бы каждое слово «закреплялось» за исходным значением, не изменялось, не порывало с первоначальными ассоциациями.

Слово «отрывается» от своей первоначальной внутренней формы даже тогда, когда последняя внешне остается без всяких изменений, сохраняет свою прозрачность. Теперь уже никто не думает о *стреле*, произнося глагол *стрелять*. Следовательно, когда говорят «пушки *стреляют*», *стрела* уже не ощущается в глаголе *стрелять*. Глагол *стрелять* «ушел вперед», порвал свои связи с первоначальным этимоном. Существительное *выстрел* ассоциируется в нашем сознании уже не со *стрелой*, а со звуком, порохом, пулей и т.д. Следовательно, прежде чем стало возможным такое словоупотребление, как *стрелять из пушки*, *стрелять из пулемета*, нужно было забыть внутреннюю форму глагола *стрелять*, его связь со *стрелой*.

Процесс этот двусторонний: забвение первоначального этимона способствует изменению значения слова, а изменившееся значение слова еще дальше отрывает его от исходной позиции, еще больше затемняет его внутреннюю форму. При этом забвение первоначального значения слова происходит не по каким-то случайным причинам, а определяется практическим опытом человека, особенностями языка как средства общения. Именно эти причины приводят не только к изменению внутренней формы слова, но в отдельных случаях и к некоторому столкновению первоначального значения слова с его последующим осмыслением.

«*Верх*, как всем известно, — сообщал Л. Толстой в “Поликушке”, — значит барский дом, хотя бы он и помещался *внизу*»¹. Это же подтверждает историк В. Ключевский: «Ходить с

¹ Толстой Л.Н. Соч. Т. II. М., 1928. С. 373.

докладами в думу боярскую значило “всходить с делами в *верх*”. Приемные и жилые покои дворца вообще назывались *верхом*¹. Следовательно, верх как что-то «высшее», руководящее, в котором жили социальные «верхи». Связь оказалась настолько прочной, что барские покои продолжали называться *верхом* даже в том случае, когда они располагались на нижнем этаже. Первоначальное значение слова было забыто, но его новое социальное осмысление сделалось настолько прочным, что слово продолжало долго функционировать в этом значении («барские покои»), несмотря на внутреннюю противоречивость такого словоупотребления. *Общественная функция слова* подчиняет себе его первоначальную внутреннюю форму. Разумеется, в современном русском языке *верх* — «барские покои» — это уже только историческое значение слова.

Лишь в отдельных, обычно очень немногочисленных случаях «прозрачность» внутренней формы слова может препятствовать его развитию, расширению его употребления.

Писатель Ф. Гладков справедливо протестовал против такого понимания существительного *окот*, при котором не считаются с его внутренней формой («окот скота»). Ф. Гладков считал, что только кошки *котятся*, а коровы *телятся* (отсюда *отёл*), овцы *ягнятся*, лошади *жеребятся*, свиньи *поросятся*, собаки *щенятся*. «Но, — продолжал писатель, — чтобы корова или овца *котились* (как то пишут в газетах и даже в рассказах, романах) — это достойно смеха»². Таким образом, хотя большинство слов развитых языков в своем историческом движении обычно далеко уходят от первоначального значения, которое некогда им было свойственно, однако в отдельных случаях это первоначальное значение может оказаться достаточно стойким и напоминать о себе в самом процессе словоупотребления.

В иных случаях писатель только намекает на внутреннюю форму слова, рассчитывая на сообразительность и осведомленность читателей. В «Евгении Онегине» (гл. 7, строфа XLV) Пушкин описывает некоторых представителей светского общества:

Иван Петрович так же глуп,
Семен Петрович так же скуп,
У Пелагеи Николавны
Все тот же друг мосье Финмуш,
И тот же шпиц, и тот же муж.

¹ *Ключевский В.* Курс русской истории. Т. II. Пг., 1919. С. 449. Ср. сформировавшееся в XX в. осмысление *там, наверху; кто выше*: «— Но все, мой друг, решаем, / увы, не мы с тобой. / — Ну, значит те, кто выше...» (*В. Казанцев*).

² *Гладков Ф.* О культуре речи // Новый мир. 1953. № 6. С. 233.

Финмуш, поданный как собственное имя, раскрывается в своей внутренней форме не перед всеми читателями. Но устойчивое французское словосочетание *fine touche* означает «тонкая бес-тия». На этом фоне и собственное имя *Финмуш* предстает во всей игре своих прозрачных намеков.

В языке художественной литературы внутренняя форма некоторых слов ощущается отчетливее, чем в повседневной жизни. Но сама внутренняя форма обычно трансформируется под воздействием фонетических и грамматических процессов (см. анализ слов *сутки*, *брак*). Эти процессы способствуют забвению первоначальной внутренней формы слова.

Вот почему, на мой взгляд, невозможна трактовка слова *в целом* как знака. Слово нельзя считать знаком предмета, так как в состав слова входит значение, основой которого является понятие, отражающее предмет. По этой же причине слово не может быть знаком понятия: внутреннюю, отнюдь не внешнюю, сторону слова уже составляет значение, связанное с понятием.

Слово есть единство звучания и значения. Звучание материально и выполняет по отношению к предмету функцию знака. Звучание выполняет эту функцию не непосредственно, а через значение, носителем которого является слово. Основой значения слова выступает понятие. Значение не есть что-то внешнее для слова; оно является его содержанием.

Внутренняя форма слова и — шире — его этимология существенны не только для понимания исторической природы лексики, но и для осмысления многообразных современных значений слов и их взаимоотношений друг с другом¹.

¹ Об этимологии см.: *Абаев В.И.* О принципах этимологического исследования // Вопросы методики сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков. М., 1956. С. 286–307; *Пизани В.* Этимология (история, проблемы, метод). М., 1956; *Булаховский Л.А.* Деэтимологизация в русском языке // Тр. Института языкознания АН СССР. I. М., 1949. С. 147–209; *Трубачев О.Н.* Принципы построения этимологических словарей славянских языков // ВЯ. 1957. № 5. С. 58–72; см. также: Этимологические исследования по русскому языку (выходят отдельными выпусками с 1960): *Zawadowski L.* Étymologie et valeur étymologique des mots // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. XIV. Kraków, 1955. S. 157–190; *Seche M.* Despre etimologia populara // Limba română. N 1. București, 1956. P. 25–35; *Malkiel I.* A Tentative Typology of Etymological Studies // International Journal of American Linguistics. N 1. Baltimore, 1957. P. 1–17; *Wandruszka M.* Etymologie und Philosophie // Etymologica. Walther von Wartburg zum 70. Geburtstag. Tübingen, 1958. S. 857–871; см. также словари: *Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В.* Краткий этимологический словарь русского языка. 2-е изд. М., 1971; Этимологический словарь русского языка / Под редакцией и ред. Н.М. Шанского (выходит отдельными выпусками с 1963); см. также: *Петровский Н.А.* Словарь личных имен. М., 1966; *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. и дополнения О.Н. Трубачева. М., 1964–1973.

8. Неологизмы и архаизмы. Опыт их классификации

Вопрос о новых и старых словах (неологизмах и архаизмах) первоначально кажется очень простым. Так как словарный состав языка постоянно развивается, пополняется и видоизменяется, то естественно, в нем образуются новые слова, тогда как известная часть старых слов становится ненужной. Однако как все это происходит? Как образуются новые слова? Как они могут быть классифицированы? Почему одни неологизмы делаются достоянием общенародного языка, а другие не выходят за пределы определенного языкового стиля — вот лишь некоторые вопросы, возникающие при изучении новых слов. Аналогичные проблемы могут быть поставлены и при анализе различных типов архаизмов.

Когда говорят о новых словах, необходимо прежде всего уточнить, как следует в этом случае понимать «новое».

Слова самых разнообразных языков находятся в известных системных отношениях. Русский глагол *обучать* можно связать не только с такими словами, как *обучение*, *обученный*, но и с такими глаголами, как *писать*, *кричать*, *заключать*, *надоедать*. Если в первом ряду (*обучать* — *обучение* — *обученный*) сближение строится по общей основе, то во втором глаголы объединяются только общностью инфинитивного окончания на *-ать*. В результате *обучать*, как и большинство других слов данного языка, попадает в *двойной ряд соответствий*, получает поддержку в системе самого языка¹.

Морфологически выдуманых неологизмов, которые строились бы вне подобных рядов (а в разных языках сами «ряды» бывают различны), в исторический период жизни языка обычно не наблюдается². Так, когда развитие русской авиации вызвало к жизни существительное *летчик*, то это новое в известный исторический период слово было новым именно в данном морфологическом оформлении, как данное слово, которого раньше не существовало, но морфологические части которого (корень *-лет-* и суффикс *-чик*) были известны русскому языку и

¹ Ср.: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Рус. пер. М., 1933. С. 122–123. О том, как образуют неологизмы дети, опираясь на подобный двойной ряд соответствий, хорошо показано в книге К. Чуковского «От двух до пяти» (М., 1955. С. 32 и сл.; работа выдержала множество изданий).

² Что касается доисторического периода жизни языка и так называемых «первых слов», то о них см. в гл. IV.

раньше. Слово *летчик* оказалось возможным, с одной стороны, потому, что корень *-лет-* встречается в *летать, подлетать, летающий, прилет*, а с другой — суффикс *-чик-* во многих существительных типа *разносчик, перебежчик, докладчик*. Следовательно, в самом неологизме есть как бы и новое и старое. При этом нельзя считать, что новым является только понятие, а старым — только его материальная оболочка. Новыми являются и понятие и слово, старыми — все предшествующие ресурсы языка, на основе которых выросло это новое слово (многочисленные слова с корнем *-лет-* и столь же многочисленные слова с суффиксом *-чик*).

Выдуманные слова в разных языках исчисляются буквально единицами. *Газ*¹, *кодак, фелибр* — этими словами почти исчерпывается список искусственно сочиненных слов во всех индоевропейских языках. Если же принять во внимание, что произвольность даже и этих трех-четырёх слов может быть взята под сомнение (слово *газ*, в частности, связывается с фламандским *geest* — «дух», т.е. «невесомая субстанция», по старинным представлениям), то окажется, что выдуманных слов в действительности почти вовсе не существует.

Новые слова образуются не искусственно, а *из ресурсов самого языка*. Как правило, потребность в создании неологизмов определяется общим развитием науки и культуры, прогрессом техники, особенностями общественного существования человека. Новые слова всегда проникают в словарный состав языка. Однако степень интенсивности этого проникновения в различные исторические периоды и в различных языках неодинакова.

¹ Изобретение слова *газ* (XVII в.) обычно приписывают голландцу медику Ван Гельмунту (1577–1644). «Индивидуальное» авторство закрепилось и за словами *лилипут* (*Свифт*. Путешествие Гулливера — 1726 г. — в стране Лилипутия); *утопия* — топоним, ставший именем нарицательным *утопия* (Томас Мор, XVI в. — отрицательная приставка *u + topos* «место»); *робот* (художник Иозеф Чапек — писатель Карел Чапек от *robota*). В близкое нам время своеобразным «полувыдуманным» словом является английское *nylon* — «нейлон» (особый вид искусственного синтетического волокна). Английская фирма, которая начала вырабатывать это волокно, выбрала слово *нейлон* из 350 названий, предложенных на конкурс. Слово показалось легко запоминающимся, созвучным другим названиям волокон (*cotton* — «хлопок» и *rayon* — «искусственный шелк») (см.: *Амосова Н.Н.* Этимологические основы словарного состава современного английского языка. М., 1956. С. 26). Наше *лавсан* вполне мотивированно. Это сокращение (аббревиатура) от названия «Лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук СССР» (см. об этом подробнее: *Брагина А.А.* Неологизмы в русском языке. М., 1973).

Можно указать, например, на эпоху Возрождения, когда под влиянием быстрых успехов знания и великих географических открытий во многие языки мира влился целый поток новых слов. Можно выделить XIX в. — «век пара и электричества», когда успешные научные открытия сопровождались столь же успешным словотворчеством. Можно особо остановиться на послереволюционной эпохе в России, когда новые общественные отношения вызвали к жизни и многие новые слова. *Колхоз* и *тракторист*, *новостройка* и *пятилетка* наряду с десятками и даже сотнями других неологизмов заметно расширили рамки старого русского лексикона. Следует отметить и эпоху современной науки и техники с их смелыми и неожиданными открытиями в самых разнообразных областях человеческого знания. В разделе о термине уже было отмечено большое общественное значение самого процесса формирования новых слов-терминов.

Потребность в создании новых слов обычно определяется самой жизнью. Академик Ферсман, рассказывая о своих путешествиях по Кольскому полуострову, в частности по озеру Имандра, с целью научных исследований, сообщает:

«Дружно гребли мы навстречу свежей волне, борясь с набегавшими валами.

— Как зовут этот скалистый наволок?¹ — спросили мы саами Архипова.

— Да как зовут, просто зовут — наволок.

— А вот следующий?

— Это еще наволок.

— А там дальше, вон со скалой у входа в губу?

— Еще, еще наволок. Ну, чего спрашиваете, нету имени у этих губ да наволоков, — говорил старый седой саами.

А наш географ что-то аккуратно записывал в книжку. Прошло два года. Из печати вышла большая прекрасная карта полярного озера Имандра со всеми озерами, губами и речушками. На месте западных изрезанных берегов красовались тонко выгравированные названия: «Просто наволок», от него «Еще наволок», а дальше «Еще-еще наволок». Через несколько страниц Ферсман продолжает: «Геохимики нашли около самого разъезда № 68 замечательное месторождение. Они говорят, что здесь

¹ *Наволок* — участок твердой земли, отделяющий озера друг от друга, т.е. земля, через которую надо *волочить* (отсюда и название *наволок*) лодку; мыс на озере.

открыты мировые руды титана, сотни миллионов тонн на одной маленькой горушке. Ну, значит, будут строить завод, фабрику, поселок. Даже неловко: мировые руды, а разъезд просто № 68. Так думает старый железнодорожник. Надо переименовать. Да опять эти минералоги будут смеяться... Не знаю. Да и жарко сегодня, не до крестин. Ну, просто Африка, Африканда какая-то! Разъезд был назван Африкандой, и по всему миру на сотнях языков, во всех минералогиях, во всех музеях стояло отныне гордое слово — Африканда, Кольский полуостров, СССР»¹.

Хотя сочетания типа «просто наволок» или «еще наволок» неологизмами в собственном смысле не являются (прежде всего это не слова, а условные сочетания слов), однако примеры эти интересны в другом плане. Они показывают, насколько сложно иногда бывает назвать тот или иной новый предмет (местность, территорию), то или иное новое понятие.

Конечно, «Еще наволок» или «Африканда» кажутся случайными наименованиями, но в самих этих «случайностях» много закономерного: по мере того как новые предметы, новые области, новые территории входили в сферу деятельности человека, он стремился найти для всех этих новых предметов соответствующие обозначения. Как бы ни было условно название «Еще наволок», однако оно дает возможность отличать данный наволок от другого, который стал называться «Просто наволок». Различая же объекты в самих названиях, человек перестает их путать и в практической своей деятельности, а следовательно, ему легче становится воздействовать на эти объекты. Так, если, с одной стороны, сама практика, сама деятельность человека вызывает к жизни новые предметы и понятия, то, с другой стороны, даже предварительное разграничение этих предметов и понятий в языке в свою очередь облегчает человеку обращение с ними в жизни, в процессе труда.

Создавая новый термин, как и новое слово, его так или иначе *мотивируют*. *Африканда* — это мотивированное название, хотя данная мотивировка совсем иная, чем мотивировка, например, термина *радиолокация* (*радио* + *locatio* — «размещение») — «метод обнаружения при помощи радиоволн невидимых в пространстве объектов». Конечно, для представления о радиолокации язык мог найти и другое наименование, но важно то, что это наименование, как и любое другое, должно быть так или иначе

¹ Ферман А. Воспоминания о камне. М., 1946. С. 123–124, 129.

мотивировано. Нельзя себе представить для понятия радиолокации бессмысленного сочетания выдуманных звуков.

Исключения типа *кодак* или *фелибр* лишь подтверждают правило, поскольку, во-первых, таких слов очень мало и, во-вторых, с лингвистической точки зрения они образованы необычно. Следовательно, обычные неологизмы оказываются мотивированными всей предшествующей языковой традицией, корневыми и словообразовательными ресурсами языка.

Неологизмы — понятие глубоко историческое. То, что нам кажется иногда не новым, в другую историческую эпоху могло быть новым и восприниматься как неологизм.

Слово *инерция* теперь известно каждому школьнику, но во времена Галилея (1564–1642) это существительное впервые стало проникать в целый ряд языков вместе с великим открытием силы инерции. Следовательно, в ту эпоху слово *инерция* было неологизмом. То же следует сказать о таких словах, как *промышленность*, *фотография*, *летчик*, *производственник*, *пятилетка*, и многих других, которые оказывались неологизмами для определенного исторического периода. Проникая в общенародный язык, такого рода неологизмы обычно получают настолько широкое распространение, что сравнительно быстро утрачивают свою новизну и начинают восприниматься как давно известные слова. Между тем историк языка не должен утрачивать исторической перспективы. Он обязан подходить к рассмотрению подобных явлений, учитывая особенности словарного состава того или иного языка в строго определенную эпоху.

Как же можно классифицировать различного рода неологизмы? Вопрос этот сложный. Он мало разработан в науке о языке.

По характеру самих неологизмов следует различать *неологизмы-слова* и *неологизмы по значению*. В первом случае речь идет о новых словах, во втором — лишь о новых значениях у слов, уже известных ранее.

Слова *производственник* или *пятилетка* появились в русском языке после 1917 г. Это неологизмы-слова, поскольку они в целом, как самостоятельные слова, оказались новыми в определенный исторический период жизни языка. Но если с этих же исторических позиций рассмотреть такие слова, как *национализация* или *самокритика*, то окажется, что они встречались в русском языке и до 1917 г. — первое в значении «передача частной собственности в собственность государства», второе главным образом в буквальном значении («критика своих ошибок»). По наблюдениям С.И. Ожегова эти слова получают новое —

соответствующее времени — значение преимущественно после 1917 г.: *самокритика* — «один из основных коммунистических методов в построении и развитии социалистического общества», *национализация* — «организация национальных по форме и социалистических по содержанию общественных учреждений в национальных республиках и областях».

Так ранее известные языку слова получили новые значения. Возникли неологизмы по значению¹.

Необходимо подчеркнуть, что неологизмы-слова и неологизмы по значению находятся между собой в постоянном и глубоком взаимодействии. То, что в один исторический период выступает как неологизм-слово, в другую эпоху может оказаться неологизмом по значению. Возвращаясь к приведенным примерам, следует подчеркнуть, что существительное *самокритика*, выступающее после 1917 г. прежде всего как неологизм по значению, было неологизмом-словом в начале XX столетия.

Каково бы ни было, однако, тесное взаимодействие между этими двумя типами неологизмов, между ними существует и отмеченное различие. Рассмотрим подробнее характер этого различия.

В словаре Академии наук 1847 г. у прилагательного *обязательный* отмечались два значения: «1) налагающий обязанность, например, *обязательное условие*, и 2) предупредительный, приятный, например, *обязательный прием, это весьма обязательный человек*». Соответственно наречие *обязательно* объяснялось как «любезно, с готовностью, предупредительно: *он обязательно предложил мне достать эту книгу*». Еще в 20-е гг. XX столетия известный юрист и литератор А.Ф. Кони (1844–1927) решительно протестовал против употребления *обязательно* в значении «непременно». Он считал невозможным сказать «я обязательно куплю себе новый портфель», так как, по его мнению, подобная фраза означает «я любезно куплю себе портфель»². У писателя Боборыкина в повести «Изменник» (80-е гг. XIX в.) происходит такой разговор аристократа Симцова с дочерью Натой:

«— Да знаешь что, отец, я думаю, мне не стоит поступать вольной слушательницей этих... бестужевских курсов.

— Почему же нет?

¹ О новых значениях у старых слов см.: *Matoré G. La méthode en lexicologie.* Paris, 1953. P. 41.

² Об этом примере см.: *Истрина Е.С. Нормы русского литературного языка и культура речи.* М.; Л., 1948. С. 24.

— Придется тратить время на такие лекции, которые я еще раз буду слушать, когда поступлю в медички.

— А разве ты это окончательно решила? — спросил Симцов.
— Обязательно!

И это слово “обязательно”, сделавшееся в Петербурге жаргонным словом даже у городских, неприятно резнуло его¹.

Итак, *обязательно* в значении «непременно» казалось необычным не только персонажу Боборыкина в конце XIX столетия, но и литератору Кони в более близкое нам время, после 1917 г. Между тем именно это «необычное» осмысление стало главным и основным значением наречия *обязательно*, тогда как его старое значение («любезно») сделалось малоупотребительным. Путь развития прилагательного *обязательный*, по-видимому, был таким: «налагающий обязанность» > «необходимый (для исполнения)» > «безусловный», «непременный». Соответственно переосмыслялось и наречие *обязательно*. Эти слова, известные русскому языку и раньше, получили с конца XIX столетия новые значения и могли быть названы неологизмами по значению.

Несмотря на известную относительность данного разграничения, все же можно различать *неологизмы-слова* (собственно неологизмы) и *неологизмы-значения* (новые значения у слов, ранее уже существовавших в языке).

Необходимо иметь в виду, что новое слово, проникая в язык, обычно широко взаимодействует с бытующими в нем словами. Проблема эта, отчасти затронутая в связи с вопросом о дифференциации синонимов, имеет непосредственное отношение и к неологизмам.

Когда фотография с конца XIX столетия стала в какой-то степени ограничивать сферу распространения портретов, то слово *фотография*, новое в тот период, своеобразно взаимодействовало с более старым словом *портрет*. В одном из последних рассказов Чехова «Невеста» (гл. 3), написанном в 1904 г., читаем: «Над диваном большой фотографический портрет отца Андрея в камилавке и в орденах». Словосочетание *фотографический портрет* очень знаменательно: еще не фотография, а фотографический портрет. Новое (*фотографический*) подается как бы на фоне старого (*портрет*), опирается на это старое. Но стоило неологизму *фотография* сделаться впоследствии общераспространенным словом, как словосочетание *фотографический портрет* стало неупотребительным. *Фотография* и еще позднее *фото*

¹ Боборыкин П.Д. Соч. Т. X. СПб., 1897. С. 205–206.

вытеснили несколько громоздкое *фотографический портрет*. В современном языке слова *портрет* и *фото* (фотография) уже строго дифференцированы, как дифференцированы обозначенные этими словами соответствующие понятия в самой жизни.

Возможно ли датировать появление в языке того или иного неологизма? Трудно. Правда, известно, например, что слово *промышленность* принадлежит Карамзину и что слово *социализм* — еще в очень неопределенном значении — впервые употребил в 30-х гг. XIX столетия французский социалист-утопист П. Леру¹. *Альтруизм* ввел в середине XIX в. О. Конт. *Лилипут* создано Свифтом (роман «Путешествия Гулливера», 1726 г.). *Импрессионизм* как термин живописи возник в 1874 г., когда художник К. Моне выставил свою картину, которая называлась «Impression» и изображала восходящее солнце (световые блики).

Термины датировать легче, так как они возникают обычно в связи с развитием той или иной области знания. В 1948 г. Н. Винер предложил назвать новую тогда науку об управляющих устройствах, о переработке и передаче с их помощью информации термином *кибернетика* (позаимствовав его у французского физика Ампера).

В ряде случаев термины можно датировать еще более точно. Чаще всего они образуются от уже существующих в языке слов (неологизмы по значению). 4 октября 1957 г., когда первый в мире советский искусственный спутник стал облетать вокруг Земли, эта дата оказалась и днем рождения термина *спутник*. Сейчас же он зазвучал и на других языках мира. Дальнейшие успехи науки и техники вызвали к жизни *лунник* (14 сентября 1959 г.). А когда 12 апреля 1961 г. советский человек впервые в мире совершил космический полет, то термины *космонавт* и *космодром* из чисто теоретических превратились в реальные обозначения реальных достижений науки и техники. 14 апреля 1961 г. газета «Известия» писала: «Сегодня в наш быт, в народный лексикон входит новое понятие — *космодром*. *Космодром* — это обширное хозяйство, сложное сооружение, обслуживаемое квалифицированным персоналом. Здесь подготавливаются к запуску космические корабли».

Значительно труднее датировать новые слова, не имеющие терминологического значения.

Достоевский считал, что ему удалось ввести в литературный язык глагол *стусеваться*, о чем он написал даже специальную

¹ По поводу слова *социализм* см.: Плеханов Г.В. Соч. Т. XVIII. М., 1925. С. 87.

статью «История глагола *стусеваться*», опубликовав ее в своем «Дневнике писателя» за 1877 г. «В литературе нашей, — писал здесь Достоевский, — есть одно слово: *стусеваться*, всеми употребляемое, хоть и не вчера родившееся, но довольно недавнее... Но во всей России есть один только человек, который знает точное происхождение этого слова. Этот человек — я... Появилось это слово в печати в первый раз 1 января 1846 года в “Отечественных записках” в повести моей “Двойник”... Мне в продолжение всей моей литературной деятельности *всего более* (курсив автора. — Р.Б.) нравилось в ней то, что и мне удалось ввести совсем новое словечко в русскую речь...»¹ Эти строки Достоевского дают возможность осветить еще один вопрос, важный для понимания природы нового слова.

Дело в том, что в подобных случаях неологизмов в собственном смысле не образуется. Если даже согласиться с Достоевским, что он впервые употребил в литературном языке глагол *стусеваться* в значении «незаметно уйти», «сойти на нет», то вопрос о том, существовало ли это слово раньше в других стилях русского языка (например, в разговорном), остается открытым. Если Достоевский только «ввел в литературный язык» то, что ранее существовало в разговорном стиле, то он еще не создал нового слова, а лишь *расширил сферу применения* существовавшего.

Уже Пушкин широко вводил в литературный язык народные и просторечные слова, не встречавшиеся до того времени в литературе. В «Медном всаднике», например:

Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей невмочь.

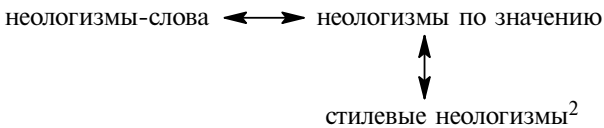
Дурь и *невмочь* оказываются вполне уместными, хотя до Пушкина такие слова в поэзии употреблять не полагалось. Подобные слова в эпоху Пушкина воспринимались как стилевые неологизмы, т.е. как слова, хорошо известные народному языку, но в литературе не встречавшиеся. Такие *стилевые неологизмы* (их

¹ Достоевский Ф.М. Соч. Т. XI. Изд. А. Маркса. С. 357–361. Как предполагал Достоевский, глагол *стусеваться* возник в классе Инженерного училища, где в молодости занимался будущий писатель. Достоевский связывал *стусеваться* с *стусевать* и *тушью*: «Все планы чертились и оттушевывались тушью, и все старались добиться умения хорошо стусевывать данную плоскость, с темного на светлое и на нет».

нельзя отождествлять со стилистическими, о которых речь пойдет далее) не следует смешивать с неологизмами в собственном смысле, т.е. со словами, которые впервые появляются в языке и до определенного периода не бывают известны ни одному языковому стилю¹.

Не все неологизмы тотчас же получают всеобщее признание. *Спутник* стало всенародным словом почти мгновенно. И это понятно. Исключительно важным было само событие, обозначенное этим словом. В других случаях со времени появления неологизма и до его всеобщего признания нередко проходят годы, а то и десятилетия. Прилагательное *романтический* (*romantique*), например, в новом значении (*романтический пейзаж*) было известно во Франции с конца XVIII в., но только в 1820–1830 гг. его стали употреблять по отношению к литературе (*романтическая литература*). Еще в 1822 г. молодой В. Гюго заключал это прилагательное в кавычки: оно казалось все еще не общепринятым. Потребовалось около 40 лет, чтобы слово вошло в литературный язык без всяких оговорок. Затем прилагательное *романтический* получило всеобщее признание.

Если до сих пор речь шла прежде всего об общеязыковых неологизмах (неологизмы-слова и неологизмы по значению), то теперь следует отделить от них стилевые неологизмы, новизна которых определяется не самими словами, а лишь их появлением в литературном языке, в частности и в особенности в языке художественной литературы. Таким образом, если первые два типа неологизмов отличаются друг от друга по своей природе (новое слово или новое значение у старого слова), то стилевые неологизмы, отграничиваясь от неологизмов-слов, соприкасаются в то же время с неологизмами по значению. Подобно последним, стилевые неологизмы могут проявиться первоначально лишь в определенном стиле языка, а затем уже распространиться шире. Если наглядно изобразить это перекрестное значение, то его можно представить в виде такой схемы:



¹ Закономерный процесс введения народных слов в литературный язык продолжается непрерывно (М. Шолохов, А. Твардовский и др.).

² Знак ↔ обозначает противопоставление при одновременном взаимодействии.

Но как быть с теми случаями, когда писатели не только расширяют сферу употребления уже существующих в языке слов, но и сами вводят новые слова? Ведь в языке художественной литературы встречаются не только стилевые неологизмы, но и неологизмы в собственном смысле. Знаменитые неологизмы Маяковского типа *пролетариатоводец*, *многопудье*, *людье*, *дрыгоножество* были действительно новыми словами. В отличие, однако, от стилевых неологизмов, т.е. слов, уже известных языку, но проникших затем и в литературную речь, такого рода неологизмы назовем *стилистическими*. Эти последние, как и неологизмы-слова, являются новыми словами в прямом смысле, однако в отличие от общеязыковых неологизмов-слов (типа *пятилетка*, *производственник*) стилистические неологизмы обычно не имеют широкого распространения и живут лишь в контексте данного художественного произведения. Постараемся ближе присмотреться к этому новому противопоставлению.

«Число воспитывающихся у нас, — писал Герцен в “Былом и думах”, — всегда было чрезвычайно мало; но те, которые воспитывались, получали не то чтоб объемистое воспитание, но довольно общее и гуманное; оно *очеловечивало* учеников всякий раз, когда принималось. Но человека-то именно и не нужно было ни для иерархической пирамиды, ни для преуспеяния помещичьего быта. Приходилось или снова *расчеловечиваться* — так толпа и делала, или приостановиться и спросить себя: “Да нужно ли непременно служить? Хорошо ли действительно быть помещиком?”»¹.

Расчеловечить (*расчеловечиться*) не является принятым словом русского языка, оно не включается в толковые лексиконы, не употребляется и в разговоре. Со времени его употребления Герценом прошло уже полтора века; оно не стало от этого более «обычным». И тем не менее в контексте данного художественного целого этот неологизм выразителен и точен. Он помогает замечательному художнику слова передать его глубокую мысль.

Но можно ли оценивать подобные неологизмы с точки зрения их большего или меньшего распространения? Нет, нельзя. Рассуждать так — значит не понимать специфики стилистических неологизмов. Именно как стилистические неологизмы они живут лишь в данном художественном построении или лишь у данного писателя. При анализе неологизмов подобного типа

¹ Герцен А.И. Былое и думы. М., 1946. С. 228.

нельзя выдвигать такие критерии, с позиций которых судят о неологизмах другого типа (общезыковых).

Стилистические неологизмы встречаются у самых различных писателей: «И все это большие, солидные люди, женатые, *детные*, хозяева огромных фабрик»¹, у Чехова — *каверзить* («каверзить друг против друга»), или у Блока — *безбурность* моря, у Пастернака — красноречье *храмлет* и т.д.²

В намеченном здесь новом противопоставлении — неологизмы-слова и стилистические неологизмы — необходимо подчеркнуть, что объединяет и что разделяет эти альтернирующие группы. Объединяет их принцип образования: в том и другом случае речь идет обычно о новых словах в буквальном смысле слова. Разъединяют же эти два типа неологизмов их неодинаковая функция в языке, их неодинаковые сферы распространения. Неологизмы-слова, или общезыковые неологизмы, функционируют, как правило, во всех сферах языка и имеют общезыковую номинативную функцию; стилистические же неологизмы, напротив того, употребляются лишь в языке художественной литературы, индивидуальны и по-своему неповторимы (свойственны лишь данному писателю или группе писателей).

Разумеется, проведенное разграничение не означает, что между указанными типами неологизмов нет постоянного и непосредственного взаимодействия. В известных случаях стилистические неологизмы превращаются в неологизмы общезыковые (неологизмы-слова). Такова, например, судьба щедринских неологизмов *головаляты*, *помпадуры*. И все же отмеченное различие между общезыковыми неологизмами (неологизмы-слова) и стилистическими сохраняет свою силу.

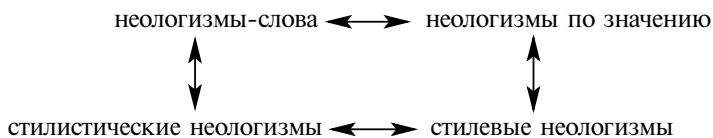
Когда читатели иногда спрашивают, почему тот или иной неологизм Маяковского не вошел в общенародный язык, то к стилистическим неологизмам поэта подходят с тех позиций, которые применимы лишь к оценке неологизмов общезыковых. Стилистические неологизмы сохраняют свою специфику именно в той мере, в какой они контекстно индивидуальны или во всяком случае не общераспространенны. В противном слу-

¹ Горький М. Дело Артамоновых. М., 1949. С. 177. Впрочем, прилагательное *детный* известно как областное слово.

² «Индивидуальность» стилистических неологизмов не противоречит тому, что некоторые из них могут «подхватываться» одновременно разными писателями. Трудности датировки неологизмов распространяются на все их виды. И все же стилистические неологизмы датировать легче, чем неологизмы общезыковые.

чае они перестают быть стилистическими неологизмами и превращаются в неологизмы общеязыковые (неологизмы-слова).

Теперь можно дополнить схему и изобразить ее так:



Проанализированные типы неологизмов объединяются уже тем, что образуются из ресурсов языка либо по законам его словообразовательных моделей, либо на основе развития полисемии слова. Между всеми основными *четырьмя типами неологизмов* наблюдается явление постоянного *взаимного проникновения*. Вместе с тем многообразие типов и форм неологизмов показывает, какими разнообразными путями происходит непрерывное пополнение и обогащение словарного состава языка¹.

* * *

Если неологизмы свидетельствуют о постоянном пополнении словарного состава языка, то *архаизмы* — устаревшие или устаревающие слова — показывают, что какое-то количество слов выбывает из языка, переходит из активного словарного состава в пассивный. Количество вновь появляющихся слов, как и количество новых значений, возникающих у старых слов, обычно превышает число слов и число отдельных значений слов, ставших архаичными. Следовательно, чаша весов, на которую падают лексические приобретения, обычно всегда перетягивает другую чашу весов, с которой как бы снимаются лексические единицы. Тем самым словарный состав языка непрерывно пополняется и обогащается.

Классификация различных типов архаизмов сопряжена с преодолением некоторых трудностей. Дело в том, что многие архаизмы, обозначая устаревшие предметы и понятия, оказываются совсем не архаичными в тех случаях, когда речь идет об

¹ Подобные разграничения естественны и для синонимов как следствие синонимизации неологизмов (разных типов), архаизмов. См. об этом подробнее: *Брагина А.А.* Синонимы в литературном языке. М., 1986 (синонимические отношения в лексике, незамкнутость синонимических рядов, синонимы стилевые и стилистические).

этих предметах и понятиях. Например, такие слова, как *кольчуга* или *конка*, являются архаизмами лишь в той степени, в какой современные солдаты не облачаются в кольчуги, а современные жители городов не ездят на конке. На смену *кольчуге* пришли новые средства защиты от вражеского оружия, на смену *конке* — новый транспорт, гораздо более удобный и эффективный.

Другой характер обнаруживается у архаизмов типа *лик* или *млат*, *град* или *доколе*¹. Слова эти стали устаревшими не потому, что соответствующие предметы или понятия перестали иметь значение в современной жизни (как в случае с архаизмами типа *кольчуга* или *конка*). Архаизмы второго типа (*лик*, *млат* и пр.) продолжают обозначать предметы, актуальные и для нашей современной жизни. Вопрос сводится лишь к тому, как эти слова обозначают данные предметы. Архаизмы подобного типа обычно *сосуществуют* с другими словами, обозначающими те же предметы: *лик* — *лицо*, *млат* — *молот*, *град* — *город* и т.д. Различие в этом случае сводится лишь к стилевой и вместе с тем к стилистической дифференциации. У Пушкина в «Полтаве»:

Но в искушеньях долгой кары
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий *млат*,
Дробя стекло, кует булат.

Архаичное *млат* получает здесь более «торжественное звучание», вполне подходящее к общему контексту. Следовательно, стилевой архаизм, т.е. архаизм, употребляющийся в определенном языковом стиле, получает в этом случае одновременно и стилистическую окраску (экспрессия торжественности). Тем самым среди архаизмов этого типа стилевой и стилистический признаки расположены друг к другу ближе, чем среди неологизмов.

Необходимо заметить, что архаизмы первого типа (*кольчуга*, *конка*), которые иногда называют «историзмами», встречаются во всех языках, тогда как архаизмы второго типа (*лик*, *млат*) определяются своеобразной историей лексики данного языка, ее историческими «пластами». В русском языке, в частности, наличие слов старославянского происхождения помогает провести дифференциацию типа *молот* — *млат*, тогда как в других языках, даже при наличии так называемых этимологических

¹ Необходимо, однако, иметь в виду, что архаизмы типа *лик* или *млат* не были нейтральными: они издавна выступали в стилистической функции.

дублетов (во французском, в английском), такая дифференциация может и не обнаруживаться, поскольку соответствующие пары слов воспринимаются как одинаково актуальные, неархаические (ср., например, французские *raide* — «негибкий», «крутой» и *rigide* — «негибкий», «жесткий», восходящие к одному источнику — латинскому *rigidus*).

Проведенное разграничение архаизмов определяется прежде всего характером предметов или понятий, которые с их помощью обозначаются. Если предмет или понятие в той или иной степени устарели, то и соответствующие им слова стали в той или иной степени архаичными (первый тип архаизмов). Если же архаизмы существуют параллельно с другими, не архаическими словами, обозначающими те же предметы и понятия, то такого рода архаизмы оказываются стилевыми или стилистическими (второй тип архаизмов).

Но архаизмы различаются и по другому, не менее важному признаку. Если только что проведенное разграничение основывалось прежде всего на истории предметов и понятий, выражаемых с помощью определенных слов (*кольчуга*, *конка*), то теперь обратимся к природе самих архаизмов как элементов словарного состава языка.

Подобно неологизмам, различаются архаизмы двух типов: *архаизмы-слова*, или подлинные архаизмы, и *архаизмы-значения*, или архаические значения у слов, которые сами по себе архаизмами не являются. Первый тип архаизмов обычно совпадает с «историзмами» (*кольчуга*, *конка*) и в особом анализе не нуждается. Напротив, второй тип более сложен и требует специального рассмотрения.

В «Демоне» Лермонтова читаем:

В последний раз Гудал садится
На белогривого коня,
И *поезд* тронулся.

О каком *поезде* идет здесь речь? Разумеется, не о железнодорожном составе. Существительное *поезд* имело тогда значение «ряд повозок, едущих друг за другом» (ср. *свадебный поезд*). Впоследствии изобретение паровоза и строительство железных дорог привели к тому, что новое значение слова *поезд* («железнодорожный состав») заметно выдвинулось вперед и заслонило собой старое осмысление существительного. Значение «ряд повозок, едущих друг за другом» стало архаичным, хотя само слово *поезд* не только не стало архаизмом, но, напротив того, в новом

своим значением («железнодорожный состав») превратилось в очень распространенное имя существительное. Возник архаизм по значению («ряд повозок, едущих друг за другом») у неархаичного слова *поезд*. Два значения слова как бы обменялись своими местами. Культурно-исторические причины подобного «обмена» в данном случае совершенно очевидны.

Новейшими толковыми словарями русского языка прилагательное *щепетильный* объясняется так: «до мелочей последовательный и принципиальный в отношении с кем-нибудь или по отношению к чему-нибудь». Но в первой главе «Евгения Онегина» читаем:

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный...

В этом случае *щепетильный* у Пушкина выступает в значении, уже явно архаичном для языка наших дней: «галантерейный, торгующий галантерейными товарами». Следовательно, и здесь приходится считаться с наличием архаичного значения у неархаичного слова, у прилагательного *щепетильный*.

В целом ряде языков слово *анекдот* (от греческого *anékdotá* — букв. «неизданные вещи») еще в XVIII и в первой половине XIX в. не имело современного значения. Оно осмыслялось как «событие». Поэтому серьезное исследование Вольтера о Петре Первом называлось «Анекдоты о Петре Великом»¹, психологический роман французского писателя Б. Констан «Адольф» (1816) вышел под названием «Анекдот, обнаруженный в бумагах неизвестного», наконец, свою раннюю политическую статью молодой К. Маркс поместил в цюрихских философских сборниках, которые назывались «Anekdoten»². Если мы будем судить о всех этих фактах с позиций современного значения слова *анекдот*, то ровно ничего не поймем. Значение «событие», бывшее в ряде языков основным значением слова *анекдот* еще в первой половине XIX в., в настоящее время является архаичным. И в этом случае мы оказываемся свидетелями архаичного значения у слова, которое само по себе архаичным никак не является³.

¹ См.: *Державин К.Н.* Вольтер. М., 1946. С. 197.

² Anekdoten zur neuesten deutschen Philosophie und Publizistik // Herausgegeben von Arnold Ruge. Erster und Zweiter Band. Zürich und Winterthur, 1843.

³ Ср. аналогичное развитие немецкого слова *Witz* — от философского значения «мудрость» в XVIII столетии до «шутки», «остроты» в настоящее время (см.: *Бах А.* История немецкого языка. М., 1956. С. 211).

Существительное *вратарь*, архаичное по форме (*врата*, а не *ворота*), с архаичным суффиксом *-арь* (ср. *пахарь*, *звонарь* и др.), вместе с тем совсем неархаично по своему значению и широко употребляется.

Что же способствует тому, что одни значения слова делаются архаичными, а другие выдвигаются вперед? В случае с различными значениями слова *поезд* такие причины оказались на поверхности: развитие техники определило в конце концов и перегруппировку значений слова. Однако не всегда импульсы, определяющие подобное лексическое движение, обнаруживаются так легко.

В 1778 г. Фонвизин писал своей сестре из Франции: «Хотя жена моя приехала сюда не так здорова, как из Монпелье выехала, но приписываю это дорожным беспокойствам... *Ласкаюсь*, что весна и воды будут ей полезны»¹. *Ласкаюсь* — «надеюсь». С другой стороны, наречие *ласково* у него же употребляется уже в современном значении: «Все они приняли меня очень *ласково* и на другой же день отдали визит»².

Так образовалась неоднородность словообразовательного ряда: наречие *ласково* употреблялось уже в современном значении, тогда как глагол *ласкаться* осмыслялся иначе. Впоследствии происходит выравнивание: более современное значение наречия помогает движению значений и внутри глагола. В этом случае не столько культурно-исторические предпосылки, сколько прежде всего внутренние смысловые связи между словами определяют развитие значения слова.

Процесс дифференциации синонимов может также привести к тому, что одно из значений слова, находящегося в определенном ряду синонимов, оказывается в конце концов архаичным.

У Пушкина *существенность* обычно употреблялась еще в значении «действительность», «реальность». «Но кипы ассигнаций, — читаем в “Дубровском”, — были у него в кармане и красноречиво твердили ему о *существенности* удивительного происшествия». Ср. в «Арапе Петра Великого»: «Воображение его восторжествовало над *существенностью*». В этом предложении *существенность* — «реальная действительность»³. В дальнейшем, по мере того как само слово *существенность* стало приобретать значение отвлеченного имени к прилагательному *существенный*, наметилась дифференциация между *действительность* и *существенность*.

¹ Фонвизин Д.И. Избранное. М., 1947. С. 230.

² Там же. С. 216.

³ Словарь языка Пушкина. Т. I–IV. М., 1956–1961.

Слово *действительность* начало употребляться в том значении, которое некогда было характерно для слова *существенность*. В результате произошла дифференциация синонимов, приведшая, в частности, к тому, что *существенность* в значении «реальность», «действительность» стало архаичным. Возникло архаичное значение у неархаичного слова в результате процесса дифференциации синонимов и стремления разграничить понятия.

Таким образом, архаичные значения у неархаичных слов могут возникать под воздействием *разных причин*. Одни из них более очевидны, другие скрыты в сложной системе самого языка.

Следовательно, по типу значений архаизмы бывают двух видов: архаизмы-слова, или собственно архаизмы, и архаизмы по значению, или архаичные значения у неархаичных слов.

Иногда бывает и так, что слово, непонятное и архаичное само по себе, продолжает жить в языке в системе того или иного фразеологического целого. Так, говорящий на современном русском языке уже не знает, что такое *зга*, но понимает выражение *не видно ни зги* — «совсем ничего не видно». Следовательно, слово *зга*, неясное само по себе, живет в определенном фразеологическом сочетании¹. То же следует сказать о выражении *сыр-бор загорелся*, т.е. то, из-за чего затеялось дело, начался переполох. Сейчас «схватывают» значение всего выражения в целом, но уже не употребляют *сыр-бор* само по себе, в смысле «сырой бор», «сырой хвойный лес». Толкователь русских крылатых выражений С. Максимов комментирует: «Нет для великоросса более сокрушительной беды, как если когда займется пожаром этот сырой бор и помрачится солнце, и потонет в непроглядном дыму вся его поднебесная красота... Следует посетовать на злоупотребление, допускаемое в разговорной речи, позволяющей себе уподобить людской пустяковый шум тому могучему и устрашающему, который подымает лесной богатырь (бор)»². Так отдельные, ставшие архаичными слова продолжают жить в некоторых устойчивых сочетаниях.

Итак, архаизмы бывают следующих типов: архаизмы-слова, архаизмы — отдельные значения слова, архаизмы-историзмы (частная разновидность архаизмов-слов) и, наконец, стилевые

¹ Имеются различные толкования выражения *не видно ни зги*. *Зга* — это и «мгла» и «искра». Поэтому *не видно ни зги* может означать «так темно, что не видно даже самой темноты», ничего не видно или «так темно, что не видно даже искры». Есть и другие объяснения (см.: *Михельсон М.* Опыт русской фразеологии. Т. I. С. 692).

² *Максимов С.* Крылатые слова. М., 1899. С. 38.

архаизмы. Не все эти типы так тесно взаимодействуют между собой, как соответствующие типы неологизмов. В стороне, в частности, оказываются стилевые архаизмы (*лик, млат*). Новое в языке более подвижно, чем старое, поэтому и неудивительно отмеченное различие между неологизмами и архаизмами.

Изучение архаизмов, как и изучение неологизмов, не сводится, таким образом, к простому механическому подсчету устаревших и вновь возникших в языке слов. Проблема эта сложна, так как затрагивает разные стороны словарного состава языка в его непрерывном развитии¹.

9. Явления табу. Эвфемизмы и их функции

Причины, вызывающие появление новых слов и определяющие изменение значения старых, хотя и разнообразны, но вполне поддаются научному изучению. Конечно, у разных народов, находящихся на разных этапах экономического, политического и культурного развития, могут существовать и дополнительные своеобразные условия, способствующие развитию словарного состава языка. В каждом случае приходится считаться с конкретной историей того или иного народа, с условиями его жизни. У так называемых первобытных народов, например, обновлению словаря очень способствовали явления табу.

Табу — это своеобразный запрет, налагаемый на различные слова и предметы. Как показали многочисленные исследования, многие племена и народы до сих пор верят, что между именем и человеком, носящим это имя, существует особая органическая связь. Некоторые жители чилийских островов убеждены, что если иностранец знает ваше имя, он может проделать

¹ О неологизмах и архаизмах см.: *Боровой Л.Я.* Путь слова. Очерки о старом и новом в языке русской советской литературы. 2-е изд. М., 1963 (1-е изд. М., 1960); *Земская Е.А.* Как делаются слова. М., 1963; *Шанский Н.М.* Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. М., 1959. С. 228–239; *Винокур Г.О.* Маяковский — новатор языка. М., 1943. Материалы по истории отдельных неологизмов советской эпохи можно найти в сб: Вопросы культуры речи. Вып. I. М., 1955; вып. II, 1959; вып. III, 1961; вып. IV, 1963; Лексикографический сборник. Вып. I–V. М., 1957–1962; см. также: *Лафарг П.* Язык и революция. М., 1930; *Балли Ш.* Французская стилистика. М., 1961. С. 103–111; *Riffaterre M.* La durée de la valeur stylistique du néologisme // The Romantic Review. 1953. N 4. P. 282–289; *Lippold E.* Die Gründe des Wortuntergangs. Erlangen, 1946. S. 1–42.

с вами все что угодно. Согласно очень древним представлениям, человек, произнося свое имя, отделяет от себя частицу самого себя, поэтому, если он много раз повторит свое имя, он худеет. Вот почему американские индейцы очень неохотно общаются свои имена европейцам. У кафров женщина не имеет права публично произносить имя мужа и часто становится запретным не только имя мужа, но и все те слова, в которых имеется хоть один слог, входящий в состав имени ее мужа или даже его родственников. В этом случае женщина вынуждена изобретать свои особые слова, свои особые неологизмы. У самых разнообразных племен существует табу на имена умерших. У многих туземных народов людей называют такими конкретными именами, как *ягуар*, *петух*, *дорога*, *курица*, *огонь* и др. После смерти человека, которого звали, например, *огонь* или *петух*, слова эти делались запретными, а для огня и петуха подыскивали новые наименования.

В результате такого рода табу словарь многих туземных языков непрерывно обновляется, находится в постоянном и своеобразном движении¹.

Бесспорно, конечно, что явление табу обусловлено определенными верованиями. Представление о том, что между предметом и его именем будто бы устанавливается такая же *физическая связь*, какая существует между человеком и его ногтями или волосами, отражало определенную ступень в развитии мышления и не могло пройти бесследно и для языка. Но табу делалось все более ограниченным явлением, по мере того как сами религиозные представления стали изменяться. Однако у многочисленных туземных народов явления табу широко распространены и теперь. В иных жизненных условиях явления табу, например, у некоторых северных народностей имеют уже явно пережиточный характер.

Необходимо, однако, заметить, что для исторического языкознания, для исторической лексикологии разных языков явления табу представляют бесспорный интерес, так как дают возможность разобраться в развитии отдельных слов, в своеобразных заменах одних слов другими.

«В славянских языках, — пишет французский лингвист А. Мейе (1866—1936), — как и в балтийских, германских и отчасти кельтских языках, нет древнего названия для зверя *медведь*, сохра-

¹ Ср. материалы в работе: *Weisgerber L. Die Stellung der Sprache im Aufbau der Gesamtkultur // Wörter und Sachen. XV. Heidelberg, 1933. S. 157.*

ненного большинством других индоевропейских языков. Оно было замещено различными словами (а в славянском языке словом *медвѣдь*), обозначающими “едок меда”. Это следствие словарного запрета: следуя обычаю, хорошо известному у многих народов, охотники избегали называть своим именем зверей, которых они преследуют; народы севера Европы, финны, как и индоевропейские племена, обозначают *медведя* различными определениями. Точно так же можно предположить, что древнее название *зайца*, встреча с которым служит дурным предзнаменованием, сохранившееся в славянском языке в неясной форме *zajěsь*, было произвольно заменено¹. То, что Н.Я. Марр склонен был преувеличивать и в ряде случаев ошибочно толковать явления табу, не может оправдать исключения этой проблемы из дальнейших языковых исследований. Между тем разыскания в этой области довольно часты в зарубежных науках². Раньше явления табу изучались у нас не только лингвистами, но и историками культуры, в частности Г.В. Плехановым в его известных работах о происхождении искусства³.

Своеобразные запреты на слова, которые встречаются среди культурных народов, определяются, однако, совсем другими причинами. Кто из нас не ощущал, что то или иное слово произнести неудобно, что его следует «смягчить», заменить другим? Не желая прямо оскорбить неумного человека, говорят о нем, что «он не изобретет пороха», а того, кто имеет привычку неточно излагать факты, поправляют: «не отклоняйтесь от истины». О пьяном человеке можно услышать, что «он навеселе», о нечистоплотном — «он неаккуратен» и т.д. Чеховская Соня в пьесе «Дядя Ваня» (действ. III, явл. 1) замечает: «Когда женщина некрасива, ей говорят: у вас прекрасные глаза, у вас прекрасные волосы». Легко понять, что в этом последнем случае «смягчение» вполне оправданно и, быть может, даже необходимо.

В романе современного английского писателя Дж. Брэйна «Room at the Top» (в русском переводе Т. Кудрявцевой — «Путь наверх») встречается такой эпизод в главе первой: интеллигентная хозяйка дома сдает комнату молодому человеку, которого она хочет принять как можно более приветливо.

«— Мы еще никогда не держали жильцов, — сказала миссис Томпсон. Она сделала еле уловимую паузу перед словом *жильцов*,

¹ *Meйе А.* Общеславянский язык / Пер. с фр. М., 1951. С. 400.

² См., например, обширную библиографию: *Havers W.* Neuere Literatur zur Sprachtabu. Wien, 1946.

³ См.: *Плеханов Г.В.* Искусство и литература. М., 1948. С. 111 и сл.

будто хотела заменить его более мягким, более неопределенным выражением:

— У нас никогда прежде не останавливались *молодые люди*; эта комната обычно пустовала. Я хочу, чтобы вы знали — комната целиком ваша».

Русское *жилец*, как и английское *lodger*, ни в каком «смягчении» обычно не нуждается. Но, как видим, в особом случае (его можно назвать контекстом-ситуацией) перечисленные существительные не вполне соответствуют чувствам говорящих. Логическая определенность слова *жилец* оказывается слишком резкой для эмоциональной «расплывчатости» переживаний одного из собеседников.

Какие же виды словесных «смягчений» (*эвфемизмов*) можно установить?

Следует различать эвфемизмы общелитературного языка и эвфемизмы различных жаргонов.

К первым относятся такие «смягчения», которые определяются стремлением говорящих не называть слишком «грубые» или не очень приятные слова (см., например, различные слова и словосочетания для обозначения старости: *почтенный возраст*, *преклонный возраст*, *в летах* и пр.); ко вторым мы обратимся далее.

Желание не называть вещи прямо своими именами может быть вызвано самыми различными причинами. Название, например, *танк* (английское *tank*) для военной машины возникло потому, что первые танки при перевозке их по железной дороге в целях секретности именовались в официальных документах «водяными баками для Месопотамии» (*water tanks for Mesopotamia*). *Танк* по-английски — «резервуар для жидкости». Итальянский писатель Мандзони (роман «Обрученные», гл. 15) сообщает, что в XVII в. в Италии арестованным перевязывали руки «особыми приспособлениями, которые в силу эвфемизма называются рукавичками» (по-итальянски ручные кандалы — *manichini*, что означает «рукавички» или «манжеты»). Такого рода эвфемизмы проникают в литературный язык и способствуют развитию его словарного состава: они расширяют полисемию, увеличивают количество омонимов и т.д.

Значительно более сложны эвфемизмы, определяемые условиями особого контекста или характером того лица, которое выражает свои мысли. Вот какой разговор ведет гоголевский Чичиков у Манилова по поводу умерших крестьян («Мертвые души», т. 1, гл. 2):

«— Я бы хотел купить крестьян, — сказал Чичиков...

— Как желаете вы купить крестьян: с землею или просто на вывод?..

— Я желаю иметь... *мертвых*, — заметил Чичиков.

— Как-с? Извините... я несколько туг на ухо...

—...Я желал бы знать, можете ли вы мне... уступить крестьян, *не живых в действительности*».

Как только Чичиков почувствовал, что прилагательное *мертвые* действует на Манилова слишком сильно, он сейчас же заменил его «смягчающим» словосочетанием *не живых в действительности*. В доме же Собакевича разговор произошел другой (гл. 5): «Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал души умершими, а только несуществующими».

«— Вам нужно *мертвых* душ? — спросил Собакевич без малейшего изумления...

— Да, — отвечал Чичиков и опять смягчил выражение, прибавивши: — *несуществующих*.

— Найдутся... — сказал Собакевич».

Положение здесь меняется: если в беседе с робким Маниловым Чичиков сам вначале произносит решающее для темы разговора слово *мертвые* и лишь затем смягчает его, то в кабинете Собакевича хозяин начинает с *мертвых* душ, а Чичикову только остается ослабить сильное впечатление от этого страшного прилагательного. Так различные эвфемистические замены определяются в этом случае сложной ситуацией, разным характером тех или иных действующих лиц, общим замыслом автора.

Иного характера эвфемизмы жаргонов. Так, в «Мертвых душах» читаем: «Дамы города N. отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенною осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: я высморкалась, я вспотела, я плюнула, а говорили: я облегчила себе нос, я обошлась посредством платка. Ни в коем случае нельзя было сказать: этот стакан... воняет... А говорили: этот стакан нехорошо ведет себя» (ч. 1, гл. 8).

Эвфемизмы этого своеобразного жаргона среднепоместного русского дворянства середины XIX в. отличаются от эвфемизмов общелитературного языка тем, что употребляются не только по отношению к таким предметам и понятиям, точные названия которых произнести иногда действительно неудобно (см. выше *старость* или сообщение больному о том, какой тяжелой болезнью он страдает). К эвфемизмам жаргонов прибегают

тогда, когда, казалось бы, в них нет никакой надобности. «Нехорошо ведущий себя стакан» показывает, как далеко может зайти это уродливое искажение, эта боязнь точного слова, это стремление «смягчить» то, что ни в каком «смягчении» не нуждается.

Известно, что на основе различного рода эвфемистических жаргонов развивались даже отдельные недолговечные литературные направления в разных странах: эвфуизм в XVI столетии в Англии (от имени Эвфуэса, героя романа Лили), маринизм в XVII столетии в Италии (от имени итальянского поэта Марино), гонгоризм в Испании (от имени испанского поэта начала XVII в. Гонгоры) и особенно прециозная литература XVII столетия во Франции¹. Необходимо также иметь в виду, что под воздействием поэтики подобных литературных направлений попадали иногда и некоторые великие писатели (хотя и ненадолго). Так, в начале трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (акт I, сцена 5) Ромео на балу у Капулетти спрашивает слугу: «Кто эта дама, которая *обогащает* руку того рыцаря?» (...*enrich* the hand of yonder knight), т.е. «кто эта дама, чьей рукой почтен тот рыцарь». Дама не просто опирается на руку рыцаря, а «делает руку рыцаря более богатой», «обогащает» ее.

Попытки создать особый поэтический язык и искусственно отделить его от общенародного языка не могли в конце концов не окончиться неудачей, хотя такого рода попытки производились в разных странах и в разное время. Подобные искусственные поэтические «языки» опирались, в частности, на широкое употребление различного рода эвфемизмов. Но если такие эвфемизмы обычно обусловлены особенностями самой поэтики определенного литературного направления, то встречаются и другие эвфемизмы, которые служат говорящим для того, чтобы умышленно исказить смысл сообщения (по принципу французского дипломата начала XIX в. Талейрана: «Язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли»).

В 1813 г., во время бегства остатков наполеоновской армии из России, один русский журналист посмеивался над хитростью отступающих французов: «Французы, — писал он, — на-

¹ См. насмешки Мольера над так называемыми жеманницами в его комедии «Смешные жеманницы»: двое знатных молодых дворян отвергнуты дочерью и племянницей богатого буржуа Горжибюса. Девушки находят, что молодые люди изыскиваются недостаточно изысканно. Тогда молодые люди обучают своих лакеев искусству произносить пышные фразы, и эти последние покоряют сердца девушек.

зывают малые остатки своих полков “кадрами”. “Кадр” означает “рама”. Следовательно, те, коим сие выражение еще ново, сочтут, что в раме есть и картина. Но русские в картинах знатоки. Они французам оставили одни изломанные рамы»¹.

При помощи своеобразного эвфемизма *кадр* французы стремились обмануть государственных деятелей различных стран, создать впечатление, будто у них еще имеется боеспособная армия, тогда как в действительности разбитые завоеватели, оборванные и голодные, просто бежали из России.

Уже в XVII в. канцлер шведского государства А. Оксеншерн, используя латинское изречение, говорил, что настоящий дипломат всегда должен иметь в своем распоряжении двух рабынь — симуляцию и диссимуляцию: «Симулируется то, чего нет, а то, что есть на самом деле, диссимируется» (*simulantur quae non sunt, quae sunt vero dissimulantur*)².

Р. Юнг в своей книге об американских ученых-атомниках сообщает, что, секретно работая над атомной бомбой в годы Второй мировой войны, ученые в целях все той же секретности называли будущую бомбу *изделием*: «сработает ли изделие?»³.

Хотя природа различных эвфемизмов неодинакова, следует все же подчеркнуть, что в самих эвфемизмах уже таится опасность превращения их в ложь. Поэтому надо уметь отделять эвфемизмы общелитературного языка (например, *он в почтенном возрасте* вместо *он стар*) и эвфемизмы художественной речи как своеобразное средство характеристики (ср. приведенные выше слова чеховской Сони о красоте женщины) от эвфемизмов, которые служат умышленному искажению мысли, от эвфемизмов, распространенных в искусственно созданных стилях художественной литературы (различного рода прециозная литература). Таковы вместе с тем *основные типы эвфемизмов*.

Еще значительнее различие, существующее между эвфемизмами и явлениями табу, которые часто неправомерно смешиваются. Табу, как мы видели, предполагает особое мировоззрение, исходящее из убеждения, что имеется физическая связь между предметом и словом, которое этот предмет обозначает. Между тем для более развитого мышления очевидно, что слово — это известного рода сложная абстракция, связь которой с

¹ Черных П.Я. Русский язык в 1812 г. // Уч. зап. Ярославского педагогического института. 1947. Вып. IX. С. 7.

² История дипломатии / Под ред. акад. В.П. Потемкина. Т. III. 1945. С. 702.

³ См.: Юнг Р. Ярче тысячи солнц. Повествование об ученых-атомниках / Рус. пер. М., 1961. С. 167.

предметом устанавливается исторически и лингвистически, но никак не физически. Если для индейца существует табу на те или иные слова, то это потому, что он опасается страшных последствий, мести «злого духа». Если же современный более развитый человек справедливо считает для себя невозможным произнести вслух какое-нибудь слишком откровенное, слишком реалистическое «бытовое» слово и заменяет его другим, «смягченным» (эвфемизм первого типа, или подлинный эвфемизм), то он поступает так уже по совершенно другим мотивам. Конечно, слово не может вызвать никакого «духа», но оно может оказать на слушателя совсем не то воздействие, к какому стремится говорящий. Этим обусловлены эвфемизмы как стилистическое средство. Отсюда же второе существенное отличие эвфемизмов от табу: в последнем обычно нет стилистического плана, его генезис — в истории мышления.

Так различаются табу и эвфемизмы, и так намечается известная возможность классификации типов эвфемизмов¹.

10. Идиомы и фразеологические сочетания

Изучая лексику, нельзя не обратить внимания, что одни слова оказываются более свободными, чем другие. Прилагательное *красивый*, например, может вступать во взаимодействие с самыми различными именами существительными (*красивый человек, красивый дом, красивый проект, красивый замысел, красивый закат* и пр.), тогда как *щекотливый* в переносном значении ограничено несколькими словосочетаниями (*щекотливый вопрос, щекотливое положение, щекотливое дело*). Уже такого рода простые наблюдения показывают, что одни слова более свободны в своем движении в языке, другие более связаны, более ограничены в своих возможностях.

В еще большей степени «связанным» оказывается слово в так называемых идиомах или идиоматических сочетаниях: *давать себе труд, как пить дать, ума не приложу, то и дело, не*

¹ О табу и эвфемизмах см.: Зеленин Д.К. Табу слов у народов Восточной Европы и Средней Азии. Ч. I. Запреты на охоте и иных промыслах. Л., 1929; Фрээр Дж. Золотая ветвь / Рус. пер. Вып. 2 («Табу — запреты»). М., 1928; Трубачев О.Н. Из истории табуистических названий // Вопросы славянского языкознания. Вып. 3. М., 1958. С. 120–126. Литература на иностранных языках о табу и эвфемизмах указана в справочнике: Havers W. Neuere Literatur zur Sprachtabu. Wien, 1946. Из последующих работ можно назвать кн.: Guérios R. Tabus lingüísticos. Rio de Janeiro, 1956.

видно ни зги, набить руку, середь бела дня и т.д. Это такие неразложимые фразеологические сочетания, смысл которых определяется всем целым. В такого рода сочетаниях отдельные слова обычно теряют свою самостоятельность, выступают не сами по себе, а лишь как звенья более сложного целого. В самом деле, в выражении *как пить дать* нет ни значения глагола *пить*, ни значения глагола *дать*, тогда как все вместе словосочетание понимается в смысле «непреренно», «навверняка».

В каждом языке есть свои неразложимые словосочетания. Болгарин скажет *излизам на главá* — букв. «выхожу на голову», т.е. «справляюсь с чем-либо»; мысль о крепком сне француз передаст выражением *dormir sur les deux oreilles* — букв. «спать на два уха», а немец при помощи словосочетания *einen Affen haben* — букв. «иметь обезьяну» — сообщит о том, что кто-то навеселе. Ср. украинское *спáсти на ум* — букв. «упасть на ум», т.е. «взбрести на ум»; французское *être dans ses petits souliers* — букв. «быть в своих маленьких башмаках», т.е. «быть в затруднительном положении»; английское *pen name* — букв. «перо имя», т.е. «литературный псевдоним», или *to wear one's heart on one's sleeve* — букв. «носить сердце на рукаве», т.е. «быть откровенным», «искренним», «с душой нараспашку». Вот такого рода неразложимые устойчивые словосочетания, характерные для данного языка (в отличие от других языков), называются *идиомами* или *идиоматическими выражениями*.

Даже и близкие по значению идиомы приобретают в разных языках своеобразные оттенки и своеобразное построение: одну и ту же общую мысль русский выразит идиомой *с глазу на глаз*, француз *tête à tête* (букв. «голова с головой»), англичанин — *face to face* (букв. «лицо к лицу»), немец — *unter vier Augen* (букв. «между четырех глаз»). Общим здесь будет самый принцип неразложимых сочетаний, а также то, что каждый из названных языков кладет в основу этого выражения по одной из однородных примет обоих собеседников, ведущих разговор наедине между собой. Но русский при этом упоминает о *глазе*, француз — о *голове*, англичанин — о *лице*, а немец — о *четыреx глазах*. Можно утверждать, что сознательно никто не выделяет при этом никаких особых признаков, ибо идиома воспринимается прежде всего как целое, как нечто имеющее единое значение.

Одно свойство идиомы — ее неразложимость, невыводимость отдельных слов из значения целого — непосредственно обуславливает и другие ее свойства, в частности образный характер.

Когда предупреждают несерьезного человека, чтобы он не «говорил вздор», то еще не употребляют идиомы, когда же у Грибоедова в «Горе от ума» Чацкий останавливает враля и болтуна Репетилова замечанием «довольно *вздор молоть*» (действ. IV, явл. 4), то экспрессивная образность выражения наряду с другими признаками способствует созданию идиомы. В этом же плане воспринимаются как идиомы *пороть вздор*, *пороть* или *нести дичь* (например, у Крылова: «такую *дичь несет*, что уши вянут»). Такой же образный характер имеют и приведенные выше идиомы *с глазу на глаз*, *tête à tête*, *face to face*, *unter vier Augen* и т.д.

Все эти свойства идиомы (неразложимость и невыводимость отдельных слов из значения целого, образность) определяют еще одну ее особенность: идиома обычно непереводаима буквально на другой язык. В этом мы уже имели возможность убедиться, сравнивая с русской идиомой *с глазу на глаз* соответствующие идиомы на французском, английском и немецком языках. В перечисленных языках есть свои идиомы, передающие ту же идею, но *с глазу на глаз* буквально нельзя перевести ни на один из названных (как и многих других) языков.

Когда Пушкин в «Евгении Онегине» (гл. 4, строфа 47) умышленно буквально перевел французскую идиому *entre chien et loup*, обозначающую «в сумерки» (т.е. в такое время, когда собаку нельзя отличить от волка: «между собакой и волком»), то он стремился извлечь из этого перевода совсем новый образ:

Люблю я дружеские враки
И дружеский бокал вина
Порою той, что названа
Пора меж волка и собаки,
А почему, не вижу я...

Пушкин сознательно разложил французскую идиому, лишил ее целостного значения и тем самым создал совсем не идиоматическое выражение. Он как бы раскрыл внутреннюю форму идиомы другого языка. Стоило только обратить внимание на значение отдельных слов — и идиома, предполагающая невыводимость целого из значения отдельных слов, распалась.

Совсем иначе получается в тех случаях, когда при переводе с одного языка на другой идиому разлагают на части не сознательно (как в приведенном примере поступил Пушкин), а вследствие недостаточного знания иностранного языка или просто по недосмотру. Так, в русском переводе комедии классика румынской литературы XIX в. Караджале «Потерянное письмо»

идиома *a îmbăta cu apă rece* — «обманывать» переведена букв. — «поить холодной водой»¹. В румынском языке это словосочетание неразложимо. Поэтому при буквальном переводе по составным частям на другой язык оно распалось и перестало существовать как идиома. Этим самым был искажен смысл текста.

Ф. Энгельс, подчеркивая, как важно переводчику владеть особенностями идиоматических сочетаний обоих языков — языка-подлинника и языка, на который подлинник переводится, отметил ошибку одного лондонского корреспондента немецкой газеты «*Kölnische Zeitung*»: английское идиоматическое выражение *to catch a crab*, означающее «неудачно погрузить весло в воду», было переведено корреспондентом вследствие недостаточных познаний букв. — «поймать краба», что и привело к комическому эффекту. Одного из таких неопытных переводчиков Энгельс и назвал мастером «ловить крабов»².

Итак, непереводаемость идиом с одного языка на другой тесно связана с основными свойствами самих идиом: неразложимостью, невыводимостью элементов из значения целого, своеобразной образностью³.

В отличие от идиом, или фразеологических сращений, фразеологические сочетания значительно более подвижны, менее замкнуты. В идиоматическом выражении обычно нельзя представлять отдельные слова, прибавлять или отнимать от них что-либо. Идиома *с глазу на глаз* не поддается перестановкам (нельзя, например, сказать «на глаз с глазу»), не допускает никаких прибавлений (нельзя сказать «с черного или карего глазу на глаз»), тогда как фразеологические сочетания типа *буря в стакане воды* или *разжигать страсти* обычно допускают и то и другое (можно сказать, например, «настоящая буря в стакане воды» или «страсти разжигать до предела»). И фразеологические сочетания, так же как и идиомы, обнаруживают стремление к образованию целостных смыслов, но в отличие от идиом первые не доводят этого стремления до конца: они как бы останавливаются на полпути, создают такие соединения, которые легко

¹ Караджале И. Избранные произведения / Пер. с рум. М., 1951. С. 43.

² См.: Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве. М., 1957. С. 85–86.

³ Когда говорят о непереводаемости идиом, имеют в виду лишь их буквальную непереводаемость. Разумеется, однако, переводчик может подыскать соответствующие средства на другом языке, чтобы передать смысл идиомы. При этом чаще всего идиома одного языка либо передается другой идиомой того языка, на который переводят (*с глазу на глаз* — *tête à tête*), либо выражается с помощью неидиоматического словосочетания или простого слова (*лора меж волка и собаки* = *сумерки*).

распадаются на отдельные слова и внутри которых слова не теряют своей большей или меньшей самостоятельности.

В идиоме *лезть на рожон* второй компонент сам по себе непонятен, он раскрывается лишь в процессе известного анализа (см. ниже), тогда как во фразеологическом сочетании *разжигать страсти* каждое слово сохраняет свою самостоятельность. Фразеологические сочетания действуют силой своих отдельных элементов и общим смыслом сочетания, тогда как идиома приобретает прежде всего смысл целого. Вот почему идиомы одного языка очень часто не переводимы дословно на другой язык, тогда как фразеологические сочетания транспонируются сравнительно легко.

Как ни существенно различие между идиомами и фразеологическими сочетаниями, нельзя не учитывать постоянного воздействия их друг на друга и известную относительность граней, разделяющих их. Идиома так же объединяет слова, как объединяет их и фразеологическое сочетание. Вопрос, однако, сводится к тому, насколько слова, входящие в то или иное из этих объединений, теряют свою самостоятельность в системе целого. В идиомах эта утрата полная, во фразеологических сочетаниях — лишь частичная.

Осмысляя идиому как нечто целое, говорящие обычно не задумываются над значениями ее отдельных частей. Между тем в некоторых случаях значения частей могут быть раскрыты исторически, и тогда фразеологическое сращение (идиома) временно распадается.

Просторечная идиома *на какой рожон* означает «зачем?», «для чего?». Выражение кажется неразложимым. Но вот устанавливаем, что устаревшее слово *рожон* — это «острый кол, укрепленный в наклонном положении». Тогда становится понятным и фразеологическое сращение *лезть на рожон*, т.е. предпринимать действия, обреченные на неудачу и сулящие неприятности. Следовательно, стоило только разобраться в одном из элементов фразеологического сращения, как вся идиома в целом стала приобретать внутреннюю мотивировку, проясняться. Уяснив, что значит *лезть на рожон*, легко можно понять и мотивировку других сочетаний с этим словом: *против рожна, на какой рожон* и т.д. Но, приобретая мотивировку и распадаясь на части, идиома перестает существовать как идиома, она превращается во фразеологическое сочетание с прозрачными составными частями.

Когда Райский Гончарова жаловался бабушке на свою судьбу, она ему заметила: «— Не говори этого никогда!.. Несчастный!.. А чем, позволь узнать? Здоров, умен... Чего еще: *рожна*, что ли, надо? — Марфинька засмеялась, и Райский с нею. — Что это значит, *рожон*? — А то, что человек не чувствует счастья, коли нет *рожна*, — сказала она, глядя на него через очки. — Надо его ударить бревном по голове, тогда он и узнает, что счастье было и какое оно плохонькое ни есть, а все лучше бревна. — Вот что, практическая мудрость, — подумал он»¹. Это толкование неожиданно раскрывает дополнительные оттенки различных сочетаний со словом *рожон*. Обычно стоит только человеку задуматься над смыслом фразеологического целого, как он часто начинает добираться (правильно или неправильно — это уже другой вопрос) до внутренней мотивировки всего выражения или его составных частей. Нечто подобное происходит и с раскрытием внутренней формы слова, которая в случае неправильной ее трактовки приводит к «народной этимологии», но которая и не перестает от этого быть своеобразно осмысленной (см. с. 86 и сл.).

Идиома *подложить свинью* — «устроить большую неприятность кому-нибудь» осмысляется исторически. Старинная военная техника знала различные построения войск: клином, кабаном, кабаньей головой, свиной и т.д. В такого рода боевой порядок войска выстраивались для пролома рядов неприятеля². Впоследствии *подложить свинью* постепенно приобрело переносное значение.

Здесь необходимо подчеркнуть различие между синхронией и диахронией. То, что неразложимо с синхронной (современной) точки зрения, может оказаться разложимым диахронно (исторически). Лингвист обязан различать эти планы, в противном случае он рискует приписать современному состоянию языка особенности его прошлого функционирования и тем самым исказить общую картину. Для людей, говорящих по-русски и не имеющих специального филологического образования, идиомы обычно воспринимаются как целое и не распадаются на составные части, хотя исторически целое могло слагаться из отдельных единиц. Синхрония вносит тем самым существенные поправки в диахронию.

¹ Гончаров И.А. Обрыв. М., 1946. С. 144.

² См.: Михельсон М. Опыт русской фразеологии. Т. II. С. 224.

Писатели иногда сознательно разлагают идиомы на составные части. В этом случае внимание читателя сосредоточивается на внутренней форме самой идиомы.

Когда говорят *ставить точки над (на) i* в смысле «не оставлять ничего недосказанным», то не думают ни о точках, ни о букве *i*, когда же Герцен пишет «ставить огромные точки на крошечные *i*» или «видя это, он поставил точку на *i*, притом на самое опасное *i*»¹, то читатель замечает и «точки» и букву *i*. Тем самым идиома распадается, так как она оказывается разложимой. Как только части идиомы стали самостоятельно значимыми, так перестала существовать и идиома, сохраняющая свою силу и функцию только как целое. Но при разложении идиомы удается «обыграть» ее части. Так рождались, в частности, герценовские фразы с «огромными точками» и «опасными *i*»².

Когда Мопассан в романе «Монт-Ориоль» рассказывает о конкуренции двух врачей (ч. 1, гл. 1), он, набрасывая портрет одного из них, сообщает, что волосы врача были с проседью (французская идиома *poivre et sel* — «с проседью», букв. «перец и соль»). Соперник же этого врача, разлагая идиому *poivre et sel*, считал, что волосы его противника были *poivre et sale* — «с перцем и грязью». *Sale* вместо *sel* полностью разрушает идиому.

Иногда разложение идиомы происходит бессознательно. Здесь, в свою очередь, могут наблюдаться самые разнообразные случаи. Один из них ранее уже был проанализирован в связи с переводом идиомы с одного языка на другой. Совсем иная картина наблюдается при бессознательном разложении идиомы родного языка. В этом случае процесс вызывается самим родным языком говорящего, недостаточное владение которым (при общей малограмотности) определяет разложение идиомы.

Когда гоголевский Подколесин говорит *сбоку припеку* (вместо *сбоку припека*), то деформация идиомы здесь улавливается лишь опытным слухом³. Иначе поступает более развязный, но

¹ Герцен А.И. Былое и думы. С. 280 и 629.

² Ср. у Маяковского :

Она
из мухи делает слона
и после
продает слоновую кость.
(Соч. Т. II. М., 1939. С. 147)

³ Подколесин. Ну, да как же ты хочешь, не говоря прежде ни о чем, вдруг сказать сбоку припеку: «Сударыня, давайте я на вас женюсь!» (Гоголь Н.В. Женидьба, действ. II, явл. XVI).

не более грамотный капитан Копейкин («Мертвые души», т. I, гл. 10), собираясь *кутнуть во всю лопатку*. В этом предложении уже мало что остается от идиомы (*удирать*) *во все лопатки*.

Аналогичная деформация может наблюдаться и во фразеологических сочетаниях.

Гоголь, сообщая о том, как любил Чичиков поесть, замечает: «Не один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений, заложенных и незаложенных, со всеми улучшениями *на иностранную и русскую ногу*, с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки...» («Мертвые души», т. I, гл. 4) (фразеологическое сочетание *на широкую ногу*). От разрушенного и своеобразно «сдвинутого», вставленного в совершенно новый контекст фразеологического сочетания *на широкую ногу* остается лишь начальная и конечная часть фразеологической рамки *на... ногу*, куда вставляются новые слова, образуя новое (уже не фразеологическое) сочетание — *на иностранную и русскую ногу*.

Иной характер имеют деформации, проникающие в общенародный язык. Их специфика — в самом факторе всеобщего распространения.

И в этом случае деформации могут подвергаться не только идиомы, но и различного рода устойчивые речения, фразеологические сочетания и даже пословицы. Как показал известный тонкий знаток русского языка В.И. Чернышев, выражение «голод не тетка» кажется непонятным, пока в известном сборнике И. Снегирева¹ мы не прочтем: «Голод не тетка, пирожка не подсунет». Своеобразное выражение «Будь жена хоть коса, лишь бы золотые рога» представляется загадочным, пока мы не исправим «испорченное» *коса* на слово *коза*, после чего замечание о золотых рогах становится совершенно прозрачным².

Так как здесь был затронут вопрос о «разного рода устойчивых сочетаниях», то следует подчеркнуть, что все они отличаются от идиоматических выражений тем, что в той или иной степени сохраняют самостоятельность своих отдельных компонентов. Чем более очевидна эта самостоятельность, тем дальше устойчивое словосочетание от идиомы, и обратно: чем больше утрачивают отдельные компоненты словосочетания свою

¹ Русские народные пословицы и притчи. М., 1848.

² См.: Чернышев В.И. Разыскания и замечания о некоторых русских выражениях // Доклады и сообщения Института русского языка. Вып. 1. М., 1948. С. 5 и сл.

самостоятельность, тем больше все устойчивое словосочетание приближается к идиоме. Однако, чтобы стать идиомой, устойчивое словосочетание должно полностью утратить самостоятельность своих слагаемых.

Пословицы и поговорки тоже оказывают воздействие своим целостным значением, но отдельные слова, в них входящие, при этом обычно не утрачивают своей самостоятельности (см., например, пословицы типа «Неспроста и неспуста слово молвится и до веку не сломится»). Что касается крылатых слов, то, приближаясь по своему характеру к пословицам и поговоркам, они обычно имеют определенный литературный или исторический источник: *человек в футляре* (рассказ Чехова), *дым отечества нам сладок и приятен* (слова Чацкого из комедии Грибоедова) и т.д. Встречаются и интернациональные крылатые слова: *яблоко раздора* (из греческой мифологии), *перейти Рубикон* (из истории эпохи Юлия Цезаря), *жребий брошен* (слова, приписываемые Юлию Цезарю при переходе Рубикона) и т.д.¹

Итак, в отличие от других, в большей или меньшей степени устойчивых речений, *идиома характеризуется*: 1) неразложимостью на отдельные слова; 2) невыводимостью целого из значения частей; 3) образным осмыслением всего целого; 4) непереводимостью — в буквальном смысле — на другие языки. Все эти признаки идиомы взаимно обусловлены и непосредственно между собой связаны².

Неразложимость идиомы — продукт исторического развития языка. Идиома, как было показано, не искони неразложима. Занимаясь происхождением разных идиоматических выражений в разных языках, можно обнаружить, как постепенно складывалось единство подобных словосочетаний.

Интересно, что между разными эпохами жизни одного языка, как и между разными языками, наблюдается в этом плане немало расхождений.

¹ Объяснение этих и подобных им крылатых слов см. в кн.: *Ашукин Н.С., Ашукина М.Г.* Крылатые слова. М., 1955, а также в известной работе *Büchmann G.* Geflügelte Worte. Berlin, 1926 (много изданий, начиная с 1864 г.).

² Идиома не отделима от понятия словосочетания, поэтому нельзя соглашаться с теми лингвистами, которые говорят об идиоматичности отдельного слова. Такое словоупотребление вносит путаницу во всю проблему идиоматики (в частности, приводит к смешению идиомы с образным употреблением отдельного слова). При перечислении типичных признаков идиомы не следует начинать с ее непереводимости: понятие непереводимости основывается на сравнении одного языка с другими, характеристику же идиомы, как и других лингвистических категорий, следует начинать с ее *внутренних признаков* в системе изучаемого языка.

Комментаторы Шекспира, например, уже давно обратили внимание, что очень многие идиомы, обычно не разложимые в современном английском языке, то и дело расчленились в устах персонажей Шекспира. Когда Яго говорит: «Если бы я носил сердце на рукаве, мое сердце расклевали бы галки» («Отелло», действ. I, явл. I), то будущее английское идиоматическое выражение здесь еще только формируется (*to wear one's heart on one's sleeve* — «носить сердце на рукаве», т.е. «душа нараспашку»), а поэтому легко расчленивается и буквально осмысливается говорящим. Приходится сожалеть, что эта интересная проблема мало изучена. Целостность идиомы — это целостность, сложившаяся в процессе развития языка, его словарного состава. Будущие исследователи, по-видимому, обнаружат, что характер целостности идиомы в разных языках тоже не всегда одинаков¹.

Нельзя, однако, не отметить и сходства идиоматических выражений в разных языках, хотя каждый язык по-своему реализует ту или иную идиому.

Русский скажет *одет с иголки*, француз — *être tiré à quatre épingles* — букв. «быть натянутым на четыре булавки», а румын — *ca scos din cutie* — букв. «как вытщенный из ящика». Во всех названных трех языках национальная форма выражения сходной идеи (представление о чрезмерно аккуратно одетом человеке) оказывается существенно различной. Но в то же время нельзя не понимать, что и в идиоматических выражениях, как и во внутренней форме слова, как и во многих других особенностях языка, между языками обнаруживаются *не только расхождения, но и схождения* (само стремление идиоматически передать одно и то же понятие).

Изучая расхождения в идиоматике разных языков, существенно не забывать при этом и известную структурную общность между языками, в первую очередь между родственными языками (см. например, приведенные русское *взбрести на ум* и украинское *спасти на ум, спасти на думку* — букв. «упасть на ум»).

¹ Материалы для английской идиоматики и фразеологии см. в словаре А.В. Кунина (Англо-русский фразеологический словарь. М., 1955), для немецкой — в словаре Л.Э. Биновича (Немецко-русский фразеологический словарь. М., 1956), для французской — в словаре под ред. Я.И. Рецкера (Французско-русский фразеологический словарь. М., 1963). Для русского языка большую ценность сохраняет вышедший в начале XX столетия двухтомный словарь М. Михельсона «Русская мысль и речь» (б/г); см.: *Бабкин А.М., Шендецов В.В.* Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода: В 2 т. М.; Л., 1966 (2-е изд. Л., 1981–1987).

Эта общность может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от исторических условий развития языков. В идиомах общность легче всего обнаружить в целостных значениях, тогда как способ выражения этих значений в разных языках обычно оказывается самым различным. Здесь, как и во внутренней форме слова, проявляются огромное богатство и разнообразие различных национальных языковых средств, определяемых законами развития каждого языка. Нельзя видеть в идиомах либо только дифференциальные (различительные), либо только интегральные (общие) языковые признаки. Следует исходить из глубоко-го единства общего и отдельного¹.

11. Заимствования в лексике

В лексике каждого языка обнаруживается немало заимствованных слов. Эти последние очень разнообразны как по своему составу, так и по степени проникновения в тот язык, которым они заимствуются. Из всех «единиц» языка — фонетических, грамматических, лексических — слова обычно наиболее легко заимствуются вследствие их общей подвижности. Однако в словарном составе любого языка есть, как мы уже знаем, разные «пласты», разные категории слов, которые заимствуются неодинаково. Проблема заимствований в лексике имеет и общий аспект и частный, обусловленный своеобразными взаимоотношениями между разными языками.

Большее или меньшее количество заимствованных слов в том или ином языке объясняется исторически. В лексике современного корейского языка насчитывается до 75% слов китайского происхождения². Очень великого количество слов

¹ Об идиомах и фразеологических сочетаниях см.: *Виноградов В.В.* Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины // Тр. юбилейной сессии ЛГУ. Филологические науки. Л., 1946. С. 45–69; *Его же.* Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // А.А. Шахматов. М., 1947. С. 339–364; *Ожегов С.И.* О структуре фразеологии // Лексикографический сборник. Вып. 2. 1957. С. 31–53; *Шведова Н.Ю.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960. С. 269–362; *Шанский Н.М.* Фразеология современного русского языка. М., 1963 (библиография. С. 149–152); *Амосова Н.Н.* Основы английской фразеологии. Л., 1963. С. 3–57; *Балли Ш.* Французская стилистика. М., 1961. С. 89–111; *Касарес Х.* Введение в современную лексикографию. М., 1958. С. 219–256; *Frei H.* Qu'est-ce qu'un dictionnaire de phrases. Cahiers F. de Saussure. I. Genève, 1941. P. 13–56; Proceedings of Seventh Congress of Linguists. L., 1956. P. 77–89.

² См.: *Холодович А.А.* Строй корейского языка. Л., 1938. С. 15.

романского происхождения в современном английском языке. Широко проникли арабские слова в язык персидский. Имеется немало германских заимствований в языке финском и т.д. Во всех подобных случаях *конкретная история* языков в связи с взаимоотношениями между народами помогает понять, почему именно данный язык оказал воздействие на другой и чем объясняется широта этого воздействия. Смешанный характер лексики отдельных языков еще не обуславливает смешанного состава языков, так как специфика каждого языка определяется не только лексикой, но и фонетикой и грамматикой. Смешанные языки — явление редкое, смешанная же лексика — явление гораздо более частое.

Наиболее простой тип заимствований определяется характером самих заимствованных предметов и понятий. В этом случае заимствованные слова либо проникают в другой язык вместе с заимствованными предметами и понятиями, либо создаются в одном языке по аналогии с соответствующими словами в другом. Таковы были многочисленные заимствования в латинском языке из греческого.

Здесь преобладали так называемые структурные заимствования — кальки. По образцу греческого слова *atom* в связи с необходимостью передать это же понятие на другом языке было создано латинское слово *individuum* — букв. «неделимое» (уже в наше время атом оказался разделенным и название вступило в противоречие с этимологией). В другой исторический период, в эпоху Возрождения в Италии (XIV—XVI вв.), под воздействием бурного развития науки, техники и искусства многие итальянские слова попадают в европейские языки вместе с соответствующими предметами и понятиями. Таковы *банк* (итальянское *banca*), *бюллетень* (итальянское *bulletino*), *кабинет* (итальянское *cabinetto*), *эскадрон* (итальянское *squadrone*), *сонет* (итальянское *connetto*), *солдат* (итальянское *soldato*), *газета* (итальянское *gazzetta*) и др. В нашу эпоху из русского в другие языки мира вместе с новыми понятиями проникают такие слова, как *новостройка*, *спутник*, *космонавт* и др. В свою очередь русская лексика издавна заимствовала такие слова, как *тетрадь*, *лохань*, *сахар*, а позднее — *демократия*, *прогресс*, *социализм* и многие другие.

Заимствования, однако, обусловлены не только необходимостью назвать новые предметы или понятия. Бывает и так, что заимствованные слова не приносят с собой новых понятий, а сосуществуют в языке с другими словами, которые уже раньше

выражали аналогичные понятия. В этом случае между заимствованными и более старыми словами лишь постепенно устанавливаются синонимические отношения. Таковы, например, заимствования в русском языке из языка старославянского. Ср. *младость* (старославянское) — *молодость* (русское), *глас* (старославянское) — *голос* (русское), *глава* (старославянское) — *голова* (русское), *храм* (старославянское) — *хоромы* (русское), *воскресение* (старославянское) — *воскресенье* (русское) и т.д. Таковы и многие поздние заимствования из латинского языка в языке французском (так называемые «ученые слова»): *rigide* — «жесткий» на фоне более раннего *raide* — «негибкий», *fragile* — «хрупкий» и более раннее *frêle* (в близком значении) — «ломкий», «хрупкий» и разнообразные другие слова¹.

Не связаны с новыми понятиями и такие поздние заимствования в русском языке, как *мораль* (ср. *нравственность*), *компромисс* (ср. *соглашение*), *дифференциация* (ср. *разграничение*), *детерминатив* (ср. *определитель*).

Аналогичные примеры в разных языках свидетельствуют, что заимствованные слова проникают в другой язык не только с новой вещью или новым понятием — тип заимствований, остающийся все же наиболее типичным для многих языков и многих эпох, но и по разным другим причинам — в связи с потребностью дифференцировать уже существующие слова и понятия, в связи с тенденцией к частичной интернационализации лексики.

Как демонстрировал в свое время Л.П. Якубинский, язык, который заимствует слова из другого языка, обычно не остается пассивным, он как бы протягивает свои щупальца для того, чтобы взять для себя то, что ему нужно в данный исторический период, причем нужды языка могут быть самыми разнообразными². Соотношение «заимствованное слово — заимствованная вещь или понятие» осложняется и по другим причинам.

Анализируя такого рода заимствования, как *телефон*, *телеграф*, *автомобиль*, легко убедиться, что греческая или латинская основа подобных слов (*телефон*: греч. *tele* «далеко» + *phone* «звук», т.е. «звук на далекое расстояние»; *автомобиль*: греч. *autos* «сам» + лат. *mobilis* «подвижный», т.е. «самдвигающийся») не дает, однако, никаких оснований для того, чтобы считать понятия, выражаемые с помощью данных слов, такими же старыми, как

¹ Подобные примеры показывают, что некоторые слова могут заимствоваться языком дважды, обычно в разные исторические эпохи.

² См.: Якубинский Л.П. Несколько замечаний о словарном заимствовании // Язык и литература. Т. I. Вып. 1–2. Л., 1926. С. 2 и сл.

эти древнегреческие и древнелатинские основы. Всякому ясно, что в древней Греции и древнем Риме не было и не могло быть ни телефонов, ни автомобилей. Тем не менее корни этих слов древнегреческие и древнелатинские.

Объясняется это сравнительно просто: когда для великих изобретений конца XIX в. (телефона, телеграфа, автомобиля и пр.), так же как и для замечательных открытий XX в. (в области радиотехники, кибернетики, космического пространства и т.д.), понадобились новые слова, чтобы назвать соответствующие явления и понятия, то обратились, в частности, и к древним классическим языкам, как к *источнику*, из которого в силу традиции черпают морфемы для создания научных терминов преимущественно международного характера. Понятно, что такого рода заимствования не связаны с заимствованием вещей или понятий. Эти заимствования показывают, что при создании терминов сознательное использование языковых ресурсов некоторых древних языков имеет большое значение¹.

Подобные заимствования могут быть названы «чисто языковыми» в отличие от культурно-исторических заимствований, проанализированных раньше.

Таковы некоторые из причин, осложняющих соотношение «заимствованное слово — заимствованная вещь или понятие».

Отмеченные осложнения можно понять, если иметь в виду, что новое в языке чаще всего выступает в единстве со старым. И подобно тому, как неологизмами могут быть не только новые слова в собственном смысле, но и старые в новых значениях (неологизмы-значения), так и заимствования, выражая новые понятия, вырастают из старых языковых ресурсов, в частности из ресурсов международных культурных языков.

Не существует общепринятой классификации заимствованных слов в разных языках. Помимо разграничения заимствований, обусловленных или прямо не обусловленных вещью или понятием, укажем еще на следующие факторы.

По источнику различаются прямые и косвенные заимствования. В первом случае слова проникают непосредственно из одного языка в другой, во втором — слова одного языка через

¹ Список элементов международной греко-латинской терминологии см. в отличном очерке Н.В. Юшманова: *Юшманов Н.В.* Грамматика иностранных слов. Приложение к «Словарю иностранных слов». М., 1937. К сожалению, из других изданий этого словаря очерк Н.В. Юшманова исключен; см. также рецензию Б.В. Казанского на позднее издание «Словаря иностранных слов» (ВЯ. 1956. № 4. С. 118–122).

посредство другого попадают в третий язык. Так, в разное время через Польшу проникли в русский язык многие западноевропейские слова, в частности немецкие *винт, рама, тарелка, шнур, крахмал* и др.¹ Слово *кóмпас* с ударением на первом слоге попало к нам из голландского, тогда как то же слово с ударением на втором слоге *компа́с* — так говорят моряки — прошло через французскую языковую сферу и получило характерное для французского языка окончательное ударение. С этой точки зрения маршруты движения заимствованных слов очень интересны.

В Италии, особенно в Венеции, давно было известно популярное собственное имя *Панталеоне*. Венецианцы, которые обычно носили широкие брюки, также стали называться этим же именем — *панталеоне*. Впоследствии французы, заимствовав слово у итальянцев в конце XVIII в., не только придали ему совсем нарицательный характер, но и стали так называть брюки, которые носили персонажи венецианского театра. Позднее это название перешло на всякие брюки. В этом, совсем новом значении слово не только вновь вернулось в итальянский язык (*pantaloni* — «брюки»), но и проникло в другие языки². Пушкин шутливо жаловался в «Евгений Огениге» (I, XXVI):

Но *панталоны*, фрак, жилет —
Все этих слов на русском нет.

Таким образом, для заимствованного слова очень существенно, *какую языковую среду оно проходит*. В известных случаях нельзя понять значения заимствованного слова, если не проследить маршрута его движения, если не знать, какие изменения оно могло претерпеть, проникая из одного языка через посредство другого в язык третий или даже четвертый, пятый и т.д. В этом смысл разграничения прямых и косвенных заимствований.

Не менее существенна и другая особенность заимствованных слов: их *состав*.

Если сравнить такие заимствованные слова в русском языке, как, с одной стороны, *аудиенция*, а с другой — *надеж*, то иноземный характер первого слова сравнительно легко устанавливается, тогда как второе обычно кажется исконно русским. Действительно, грамматический термин *надеж* является русским словом по своему «материалу», однако структура этого слова

¹ См.: *Огиенко И.И.* Иноземные элементы в русском языке. Киев, 1915. С. 69.

² *Pianigiani O.* Vocabolario etimologico della lingua italiana. Milano, 1942. P. 970.

заимствована. Термин этот точно так же образован от глагола *падать* (согласно представлениям античных грамматиков это то, что «падает», т.е. отклоняется, как бы «отпадает» от основной формы имени), как латинское *casus* — «падеж» от глагола *cadere* — «падать». Следовательно, русский по своей материальной основе термин *падеж* является зависимым от соответствующего латинского слова по своей структуре, по своему оформлению.

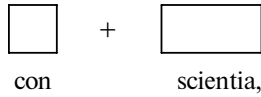
Кальки — особый вид заимствований. Обычно это слова, формирующиеся по образцу структуры соответствующих иностранных слов, но не заимствующие их материальной основы. Так, когда немец говорит *Fünffahrplan* — букв. «пять год план», а поляк — *pięciolatka* — букв. «пять годы», а испанец — *plan quinquenal* — «план пятилетний», то каждый из них выражает идею пятилетнего плана ресурсами своего языка. Однако во всех языках структура этого слова в большей или меньшей степени оказывается предопределенной структурой соответствующих русских слов и выражений — *пятилетка*, *пятилетний план*. На многие языки мира калькированы такие русские слова и устойчивые словосочетания, как *отличник*, *производственник*, *самокритика* и многие другие.

Иногда встречаются не только структурные, но и смысловые кальки, так как копироваться могут и структура и значение слова.

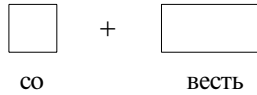
Появившееся в XIX столетии в ряде европейских языков, в том числе и в русском, новое значение *левого* в смысле «революционного» и *правого* в смысле «консервативного», «реакционного» было скалькировано первоначально с соответствующих французских слов *gauche* — «левый» и *droit* — «правый». Новое значение этих последних слов возникло в эпоху французской буржуазной революции 1789–1794 гг.: во время правительственных заседаний в Конвенте более прогрессивная тогда партия монтаньяров сидела на левой стороне, а более консервативная партия жирондистов — на правой. С тех пор понятие *левого* стало ассоциироваться с понятием передового, революционного, а *правого* — с понятием консервативного, реакционного.

Необходимо, однако, заметить, что смысловые кальки — явление сравнительно редкое и почти совсем не изученное. Поэтому, когда говорят о кальках, имеют в виду прежде всего структурные заимствования. Для того чтобы появилась калька с одного языка в другом, должна существовать *потребность* в распространении тех понятий, которые с помощью таких образований передаются сначала только в одном или немногих языках. Термин

калька — структурное совпадение. Если представить себе, что латинское слово *conscientia* — «совесть» можно условно воспроизвести в виде структуры



то соответствующее русское слово *совесть* (калька с *conscientia*) структурно должно совпасть со своим латинским прототипом:



Хотя калька — это прежде всего структурное заимствование, но в самой структуре взаимодействуют смысловые и формальные элементы. Известное русское выражение *он (она) не в своей тарелке* (Фамусов говорит Чацкому в «Горе от ума»: «Любезнейший, ты не в своей тарелке») является результатом точного копирования французского выражения *il n'est pas dans son assiette*. Хотя структура словосочетания здесь точно соблюдена, однако смысловые пропорции нарушены: *assiette* по-французски не только «тарелка», но и «положение», «расположение», «расположение духа», «настроение». Поэтому все выражение означает «он не в настроении». Неправильный перевод — результат того, что структурные особенности словосочетания не приведены в соответствие со смысловым движением слов, с их многозначностью. Все это показывает, что кальки, в особенности кальки фразеологические, будучи прежде всего *структурным типом* заимствования, *взаимодействуют*, однако, *со смыслом* тех слов, построение которых они копируют¹.

Итак, в одних случаях могут заимствоваться сами слова, в других — лишь их структура, которая наполняется материалом родного языка.

Наконец, *по степени проникновения* в живую ткань языка (ассимиляции) заимствования могут быть укоренившимися и неукоренившимися (так называемыми варваризмами).

¹ Утратив связи с *настроением*, выражение *не в своей тарелке* в системе русского языка приобрело тем самым идиоматический характер.

Это различие резко бросается в глаза, если сравнить в русском языке, с одной стороны, такие глубоко укоренившиеся заимствования, как *доска*, *капуста*, *сахар*, *тарелка*, а с другой — такие, совсем не укоренившиеся заимствования, как *суггестивный* — «внушающий какие-либо представления» или *сатисфакция* — «удовлетворение». Разумеется, между этими полярными типами размещается множество промежуточных групп, часть из которых приближается к укоренившимся, другая — к неукоренившимся заимствованиям. Для того же, чтобы понять, почему одни заимствования укоренились, а другие оказались инородным телом, нужно иметь в виду, *какую функцию* в языке выполняют те или иные заимствования. Как общее правило, можно считать: чем более значительна функция заимствованного слова (введение в язык нового понятия, установление смысловой дифференциации между заимствованным словом и словом, ранее существовавшим в языке и пр.), тем обычно прочнее оно входит в словарный состав заимствующего языка¹.

К этому же вопросу о степени ассимиляции заимствований в языке относится и разграничение иноземных слов на *иностранные* и *интернациональные*. К первым в русском языке причисляют такие слова, как, например, *аспект* или *дефект*, ко вторым — такие, как *цивилизация*, *социализм*, *демократия*, *культура*, *философия* и т.д.

Уже Белинский правильно заметил: «Если вошедшее в какой-нибудь язык иностранное слово заменится собственным того языка словом — иностранное выходит из употребления. Так исчезли из русского языка иностранные слова: *виктория* вместо *победа*, *презент* вместо *подарок*»². И только действительно нужные иноязычные слова прочно входят в состав родного языка. Поэтому следует различать иностранные и интернациональные слова, а в пределах иностранных — укоренившиеся и неукоренившиеся, нужные и ненужные заимствования.

Как было отмечено, заимствованные слова в системе того языка, в который они проникают, не остаются пассивными. Напротив, отрываясь от родной почвы, слова начинают развиваться в среде другого языка и часто далеко отходят от своих первоначальных значений.

¹ В немецкой лексикологии существует удобное терминологическое разграничение: *Lehnwort* — это укоренившееся лексическое заимствование, тогда как *Fremdwort* — это такое слово, иноземный отпечаток которого обычно ощущается говорящими.

² Белинский В.Г. Соч. Т. VI. Изд. Венгерова, 1903. С. 545.

В русском языке существительное *галантерея* уже ничего не имеет общего с прилагательным *галантный*, между тем как во французском, из которого это слово проникло к нам, они были между собой связаны. Теперь уже мало кто понимает, что *галантерея* — это «предметы, которых требует любезность» (ср. *галантный*). В другой языковой среде слово *галантерея* получило новое осмысление («мелкие принадлежности туалета»).

Англосаксонское слово *cnif* (современное английское слово *knife*) означало «нож». Проникнув же во французский язык, оно получило более специальное значение — «перочинный нож» (*canif*). Любопытно, что своеобразную окраску того языка, в который попадают, получают не только иностранные, но и интернациональные слова. Хотя существительное *интеллигенция* иноземного происхождения (латинское *intelligens* — *intelligentis*), однако в русском языке, начиная со второй половины XIX столетия и особенно в наше время, слово это приобрело специфическое значение. Последнее становится очевидным при сравнении с западноевропейскими языками, в которых в аналогичных случаях обычно употребляются слова *интеллигенты*, *люди интеллигентного труда* (английское *intellectuals*, французское *intellectuels*, итальянское *intelletuali*, румынское *intelectualii* и др.). Существительное же *интеллигенция* в своем собирательном значении до самого последнего времени не было известно западноевропейским языкам. Тем самым интернациональное по своему происхождению слово *интеллигенция* вместе с тем особенно типично именно для русского языка¹.

Существительное *газета* восходит к французскому *gazette*, которое в свою очередь было заимствовано из итальянского *gazzetta* (первоначально венецианская *мелкая монета*, от греческого *gāza* «сокровище», за которую можно было сначала прочесть газету, а затем ее купить, позднее и сама *газета*). Слово *газета*, некогда живое в итальянском и французском, теперь почти совсем не употребляется в этих языках. Оно сделалось архаичным и было вытеснено *журналом* (французское *journal*, итальянское *giornale*). Француз скажет *j'ai lu dans le*

¹ Еще в 60-х гг. XIX в. один из персонажей рассказа Тургенева «Странная история» иронизировал по поводу слова *интеллигенция*: «"...Послезавтра в дворянском собрании большой бал. Советую съездить: здесь не без красавиц. Ну, и всю нашу *интеллигенцию* вы увидите". Мой знакомый, как человек некогда обучавшийся в университете, любил употреблять выражения ученые» (курсив Тургенева) (Собр. соч. Т. 7. М., 1955. С. 216).

journal — «я прочитал в газете» (а не журнале, как то можно было бы предположить по чисто внешнему созвучию). *Журнал* в русском имеет иное значение (периодическое издание в виде книги). В свою очередь, для выражения понятия *журнал* французский язык обращается к другому слову — *revue*, хорошо известному теперь и в русском (*ревью*), однако в специальном осмыслении («эстрадное представление, состоящее из отдельных номеров»). *Revue* — это, собственно, «обзор». Во французском оно получило двойное семантическое развитие, приведшее к формированию омонимов: *revue* — «обзор», затем «журнал, помещающий обзоры» (научные, международные, литературные и пр.), и *revue* — «эстрадное обозрение». В русском же *ревью* приобрело лишь второе осмысление («эстрадное обозрение»), а для первого используется другое заимствованное слово — *журнал*.

Слова *газета*, *журнал*, *ревью* вошли у нас в русло иного семантического движения, чем соответствующие им эквиваленты во французском. В результате русское *газета* корреспондирует с французским *журнал* (*journal*), а русское *журнал* — с французским *ревью* (*revue*). Тем самым весь ряд слов в двух языках оказался совсем различным.

В синхронной системе разных языков интернациональные слова далеко не всегда бывают семантически равнозначными. По-русски *карта* — это прежде всего «географическая карта», французское *carte* — в первую очередь «билет», английское *card* — «игральная карта», испанское *carta* — «письмо», тогда как итальянское *carta* в основном своем значении «бумага». Разумеется, перечисленные существительные могут семантически прикасаться в своих вторых и третьих осмыслениях (например, в значении «игральная карта»), но основные современные (синхронные) значения этого интернационального слова в разных языках совсем не одинаковы. И такие случаи в интернациональной терминологии нередки. Они создают своеобразные «ловушки» переводчику: *карту* одного языка хочется перевести *картой* же другого языка, но их семантическая разнородность этого сделать не позволяет.

Таким образом, интернациональные слова не только интернациональны, но в системе каждого языка, получая дополнительные смысловые обертоны, они и национальны. Лишь строго научные интернациональные термины стремятся к межъязыковой однозначности.

* * *

Национальный колорит, который получают слова одного языка на почве другого, может быть самым разнообразным. Он обнаруживается не только в изменении значения заимствованных слов, в их специфичной языковой адаптации, но и в тонких стилистических, а иногда и социальных оттенках.

Уже Шекспир устами Течстона («Как вам угодно», V, I) заметил, что в английском языке с помощью заимствованных из французского слов называются вещи и понятия придворного обихода, тогда как «грубый мужицкий язык» обращается к словам исконным, родным, всем понятным.

Еще более настойчиво эту же мысль развивал Вальтер Скотт в первой главе своего известного исторического романа «Айвенго». Персонаж романа Вамба сопоставляет слова английского происхождения (*swine* — «свинья», *ox* — «бык», *calf* — «теленоч», *sheep* — «овца») со словами нормано-французского происхождения, обозначающими мясо животных. Оно подается на стол господам: *pork* — «свинина» (французское *porc*), *beef* — «говядина» (французское *boeuf*), *veal* — «телятина» (французское *veau*), *mutton* — «баранина» (французское *mouton*). Вамба заключает: животные, за которыми ухаживают крепостные, имеют названия англосаксонского (германского) происхождения, а блюда, которые приготавливаются из мяса этих животных и предназначаются господам, приобретают нормано-французские наименования. В ту историческую эпоху слова иноземного происхождения получали тем самым своеобразную окраску. Впоследствии, однако, эти слова настолько были усвоены английским языком, что утратили тот колорит, который бросался в глаза в период проникновения нормано-французских слов в английский язык. Однако подобные слова все же сохраняют своеобразные стилистические нюансы и до настоящего времени.

Таким образом, заимствованные слова подвергаются очень разнообразным изменениям в *системе* языка, в который попадают. Они не остаются пассивными и продолжают развиваться на почве другого языка. Проникнув в иной язык, они делаются достоянием его словарного состава и живут в тех конкретных исторических условиях, которые определяют лексику языка в целом.

Как бы ни была глубока ассимиляция заимствованных слов в системе языка, в который они проникли, эти слова все же часто сохраняют признаки, говорящие об их происхождении.

Так, слова старославянского языка лишены полногласия, характерного для русских слов, ср. *глас* — *голос*, *младость* — *молодость*, *глава* — *голова* и др. Слова, пришедшие к нам из тюркских языков, отличаются другим признаком: они сохраняют так называемую гармонию гласных, характерную для тюркских языков вообще. При гармонии гласных один гласный звук уподобляет себе последующие гласные на протяжении всего слова: *аркан*, *кибитка*, *амбар*, *сундук*, *чекмень* и т.д.

Итак, заимствованные слова различаются: 1) по степени связи с заимствованными вещами и понятиями, 2) по источнику — прямому или косвенному, из которого слова заимствуются, 3) по составу (заимствованные слова и структурные заимствования), 4) по степени проникновения и характеру ассимиляции в новой языковой среде, 5) по своеобразию смысловых изменений, которым подвергаются заимствования в системе другого языка¹.

Нельзя не заметить, что для исторической лексикологии особенно существенна классификация заимствованных слов по их источнику и составу, тогда как для лексикологии того или иного современного языка большее значение приобретают такие признаки, как степень ассимиляции заимствованных слов и их место в словарном составе языка.

Как же относятся к заимствованным словам различные писатели и общественные деятели? В каких случаях заимствования принимаются и в каких против них организовываются целые походы, их стремятся изгнать из языка, их предают анафеме?

Встречаются *различные типы пуризма*, как и различные пуристы. Обычно так называют лингвистов, выступающих и отдельно, и от имени различных лингвистических объединений против всяких иностранных слов в родном языке, за его «очищение». Нельзя ни безоговорочно поддерживать всяких пуристов и всякое пуристическое движение, ни, наоборот, целиком их отвергать, объявляя всякое обоснование чистоты родной речи мероприятием реакционным. Следует подходить к этому вопросу конкретно-исторически, тщательно анализировать то или иное пуристическое движение, рассматривать, против чего или кого оно направлено, к чему и как оно стремится. В ряде случаев в истории разных языков пуристическое движение, действительно, было реакционным, но в других случаях, в частности в

¹ Здесь не исчерпаны все возможные разграничения, а указаны лишь важнейшие.

истории русского литературного языка, оно превращалось иногда в закономерный протест против злоупотреблений ненужными иностранными словами.

Конечно, когда адмирал Шишков в начале XIX в. выступил с проектом «очищения» русского языка¹, предлагая заменить слово *галоши* на *мокроступы*, *тротуар* — на *топталнице*, *бильярдный кий* — на *шаротык*, *фортепьяно* — на *тихогромы* и т.д., он не различал иностранных и интернациональных слов, укоренившихся и неукоренившихся, нужных и ненужных заимствований. Это с одной стороны. С другой стороны, Шишков отрицал и самобытность русского языка, доказывая, будто русский язык ничем не отличается от языка церковнославянского. Поэтому Шишков ориентировался на слова церковнославянского происхождения. Вместе с тем он отвергал не только *галоши* и *тротуар*, но и такие слова, как *культура*, *прогресс*, *демократия*.

Шишков подчеркивал, что он выступает против новых слов вообще, так как язык нужно «установить», сделать его «прозрачным». Но он и его последователи не замечали, что, предлагая ввести в литературный язык *топталнице* вместо *тротуара*, *тихогромы* вместо *фортепьяно*, *шаротык* вместо *бильярдного кия* и многие другие нововведения, они сами выступали своеобразными защитниками неологизмов. Отвергая уже тогда широко распространенные неологизмы иноземного происхождения, Шишков и его последователи по существу защищали другие неологизмы. Их протест против общераспространенных и нужных иностранных слов был не протестом против неологизмов вообще, а лишь протестом против определенного типа неологизмов иностранного происхождения. Так пуристы сами оказывались смелыми изобретателями новых слов.

Несмотря на то, что в деятельности Шишкова были положительные стороны (внимание к родному языку), пуризм такого типа все же не способствовал развитию русского языка. Вот почему против пуристической доктрины Шишкова выступали уже Пушкин и Белинский². В «Евгении Онегине», в частности, намекая на Шишкова, Пушкин писал (I, XXVI):

А вижу я, винось пред вами,
 Что уж и так мой бедный слог
 Пестреть гораздо б меньше мог
 Иноплеменными словами,

¹ См.: Шишков А.С. Рассуждение о старом и новом слоге. 1803.

² В Германии против пуриста Кампе (1746–1818) выступали Гёте и Шиллер.

Хоть и заглядывал я встарь
В Академический Словарь.

С другой стороны, в 40-х гг. XIX столетия революционер и социалист-утопист М.В. Буташевич-Петрашевский (1821–1866) выпускает под псевдонимом Н. Кириллов «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в русский язык» (СПб., 1845), в котором в условиях николаевской цензуры, определяя и защищая такие по форме «иностраннные», а по существу интернациональные слова, как *демократия*, *конституция*, *нация* и т.д., проводит свои социалистические идеи. Таким образом, в известных исторических условиях ориентация на определенный тип иностранных слов оказалась гораздо более прогрессивной, чем славянофильская позиция Шишкова¹.

Однако эти положения все же нельзя абсолютизировать. Следует иметь в виду, с каких позиций и какие иностранные слова определяются и защищаются. Позиция Петрашевского в его «Словаре» была революционной, ибо и в отборе иностранных слов и в их истолковании редактор и его сотрудники излагали передовые идеи того времени о природе и обществе.

Но совсем другое значение имели иностранные слова в языке известной части русского дворянства начала XIX в., речь которого справедливо высмеивал уже Нарезный в своем «Российском Жиль-Блазе» (1814): «Вместо того чтобы сказать, как прежде: “Матушка, мне пора накрывать на стол, уже батюшка пришел с гумна”, она говорила: “Ma chère maman! Я имею думать, что уже время ставить на стол куверты на пять персон, ра-а́ изволил возвратить из вояжа, во время которого изволил он осмотреть хозяйственные заведения касательно хлебопашества”».

Блестящей пародией на такого рода речь является и знаменитый разговор дамы приятной во всех отношениях с дамой просто приятной в девятой главе первого тома «Мертвых душ» Гоголя: «Не мешает заметить, что в разговор обеих дам вмешивалось очень много иностранных слов и целиком иногда длинные французские фразы. Но как ни исполнен автор благоговения к таким спасительным пользам, которые приносит французский язык России, как ни исполнен благоговения к похвальному обычаю нашего высшего общества, изъясняющегося на нем во все

¹ И недаром «Словарь» Петрашевского после выхода первых двух выпусков был запрещен и изъят из употребления. О слове *демократия*, например, в «Словаре» можно было прочесть, что это «такая система управления государством, где каждый гражданин участвует в рассмотрении и решении дел всей нации».

часы дня, конечно, из глубокого чувства любви к отчизне, но при всем том никак не решается внести фразу какого бы то ни было чуждого языка в сию русскую свою поэму. И так, станем рассуждать по-русски». В дальнейшем пародия Гоголя делается еще более злой, ибо «русский язык» двух дам оказывается «русским» с их точки зрения, т.е. «языком» французско-нижегородским: «Как, неужели он (Чичиков) и протопопше *строил куры?* (ср. французское *faire la cour* — “ухаживать”)... Словом *скандалюзу* наделал ужасного (французское *scandaleux* — “постыдный”): вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричат, никто никого не понимает, — ну, просто, *орпер, орпер, орпер!*.. (французское *horreur* — “ужас”). Я не могу, однако же, понять только того, — сказала просто приятная дама, — как Чичиков, будучи человек заезжий, мог решиться на такой отважный *пассаж*... (французское *passage* — “переход”, “переправа”; здесь двойное искажение, ибо *passage* не означает “поступок”). Ну, можно ли было предполагать... что он произведет такой странный *марш* в свете?» (французское *marche* — «ходьба», «движение вперед», «походное движение»).

Поэтому, если протест против иностранных слов, которые защищал Петрашевский, объединил реакционные силы эпохи, то протест против «французско-нижегородского языка» известной части дворянства XIX в. объединил всех передовых мыслителей.

И в наши дни вопрос о чистоте и богатстве русского языка и борьбе с ненужными иностранными словами приобретает большое общественное значение. Только что было подчеркнуто, насколько важно уметь распознавать различные типы пуризма, насколько бывает различной его социальная и идейная устремленность. Но в том случае, когда пуризм оказывается необходимым и прогрессивным явлением, он, собственно, перестает быть пуризмом и превращается в важнейшее общественное движение за обоснование и дальнейшее развитие своей национальной культуры, возможностей и богатств своего родного языка.

Как ни велика роль заимствованных слов в лексике самых разнообразных языков, все же нельзя считать, что иноземные ресурсы являются основным источником пополнения словарного состава языка. В предшествующих разделах была сделана попытка показать, что лексика развивается прежде всего за счет *внутренних ресурсов языка*, за счет непрерывного движения и смыслового обогащения уже существующих слов, за счет сло-

вопроизводства и словообразования. Заимствования — это лишь один из источников пополнения словарного состава языка. При всей своей важности он не должен заслонять от исследователя другие, еще более значительные и глубокие источники, постоянно обогащающие лексику того или иного языка¹.

12. Историческое и логическое в слове. Слово и понятие

В смысловой структуре слова обычно различаются: 1) основное значение, наиболее распространенное и употребительное; 2) другие значения, менее распространенные, но нередко не менее важные, чем основное; 3) экспрессивно-эмоциональные оттенки, связанные с тем или иным из значений слова, но наблюдаемые не у всех лексем. За пределами смысловой структуры слова оказываются случаи частных контекстных его осмыслений, когда слово может получить особый оттенок, чаще всего для него нехарактерный, но иногда возникающий в определенной, конкретной ситуации (см. с. 29). Границы смысловой структуры слова исторически изменчивы и подвижны.

Вопрос о том, в какой степени чувственно-экспрессивные элементы слова входят в состав его значения, разными лингвистами освещается неодинаково. Некоторые филологи целиком выводят чувственно-экспрессивные элементы слова за пределы его значения и тем самым обедняют смысловую структуру слова.

Аргументация этих ученых обычно строится на соображениях такого рода. Когда Гаев в пьесе Чехова «Вишневый сад», обращаясь к шкафу, восклицает «Дорогой и многоуважаемый шкаф!»,

¹ О заимствованных словах см.: *Якубинский Л.П.* Несколько замечаний о словарном заимствовании // *Язык и литература*. Т. I. Вып. 1–2. Л., 1926. С. 2–10; *Акуленко В.В.* Об интернациональных словах в современном русском языке // Уч. зап. Харківського ун-ту. Тр. філолог. фак. 1958. Т. 6. С. 90–102; *Маковский М.М.* К проблеме так называемой интернациональной лексики // *ВЯ*. 1960. № 1. С. 44–51; *Шахрай О.Б.* К проблеме классификации заимствованной лексики // *ВЯ*. 1961. № 2. С. 53–58; *Левковская К.А.* Лексикология немецкого языка. М., 1956. С. 73–96; *Derooy L.* L'emprunt linguistique. Paris, 1956 (дана обширная библиография — с. 348–425); *Weinreich U.* Languages in Contact. Findings and Problems. N.Y., 1953 (библиография — с. 123–146; приводится 658 названий); 2 ed. 1963; *Bloomfield L.* Language. N.Y., 1933 (ch. 25–27); *Richter E.* Fremdwortkunde. Leipzig, 1919; *Mackenzie F.* Les relations de l'Angleterre et de la France d'après le vocabulaire. I–II. Paris, 1939; *Mihailă G.* Imprumuturi vechi subslavă în limbă română. București, 1960. P. 5–18, 279–286.

то разнообразное и сложное эмоциональное содержание, которое чеховский персонаж вкладывает в данное существительное, никакого отношения к значению самого слова *шкаф* как единицы словарного состава русского языка не имеет¹. Все это, разумеется, верно. Но сторонники подобных рассуждений не различают разных видов чувственного познания. «Произносящий или воспринимающий слова *любовь, нежность, злоба* и т.д., конечно, может совсем не испытывать этих чувств непосредственно, но соответствующие эмоциональные оттенки подобных чувств входят в состав значения названных слов... Чувства тоже могут воспроизводиться в сознании. Без таких эмоциональных представлений истинное значение приведенных слов не могло бы быть понято, так же как чувственное содержание слов *красный, зеленый* и т.д. остается неизвестным слепорожденному»².

Говоря о том, что чувственно-экспрессивные элементы входят в состав значения слова, следует иметь в виду не непосредственные конкретные «эмоциональные ситуации», а *обобщенные категории*. Ведь и основное значение слова в отличие от частных случаев его употребления в единичных контекстах (например, в некоторых переосмыслениях у писателей) предполагает известную степень обобщенности. В примере со словом *шкаф* в устах Гаева речь идет как раз о непосредственном эмоциональном переживании, которое, разумеется, к значению слова отношения не имеет. Поэтому примеры подобного рода не могут поставить под сомнение ту существенную функцию, которую выполняют чувственно-экспрессивные элементы как обобщенные категории в смысловой структуре самых разнообразных слов.

Значение слова самым тесным образом связано с понятием, однако их нельзя отождествлять, так как первое — категория языковая, а второе — категория логическая. Язык — общественное явление. Поэтому его законы, в частности законы, определяющие развитие слова, подчиняются историческим условиям развития языка. Вместе с тем слово, выражая понятие, постоянно взаимодействует с логическими категориями мышления. Так возникает проблема исторического и логического в языке, которую в данном разделе попытаемся рассмотреть применительно к слову.

Начнем с иллюстраций.

¹ Пример из кн.: *Звегинцев В.А.* Семасиология. М., 1957. С. 170.

² *Резников Л.О.* Понятие и слово. Л., 1958. С. 77.

Латинское *calx* означает не только «известь», но и «цель», «финиш». С чисто логической точки зрения невозможно понять такую полисемию слова. Между тем, обращаясь к истории данного слова, устанавливаем: в древности на ристалищах мета ставилась известью. К цели, на которую ставилась известковая отметка, стремились состязающиеся бегуны. Кто достигал знака, сделанного известью, достигал тем самым финиша. Поэтому со временем слово, обозначающее «известь», приобрело новые значения — «цель», «финиш». Следовательно, *история слова объясняет нам логику перехода значений*, путь, определивший полисемию слова. Логическое как бы подчиняется историческому. Историческое определяет логическое.

Русское слово *позор* в «Толковом словаре» Даля осмыслялось прежде всего как «зрелище, что представляется взору». В этом своем значении слово *позор* употреблялось еще в первой половине XIX в. Так, у поэта Баратынского в стихотворении «Последняя смерть» (1827):

Величествен и грустен был *позор*
Пустынных вод, лесов, долин и гор.

В этом двустишье *позор* имеет значение «зрелище»: «позор вод, лесов, долин и гор», к тому же еще «величественный» (т.е. «величественное зрелище», «величественный вид»). Новое, современное значение слова *позор* («бесчестье», «постыдное положение»), по-видимому, родилось из словосочетания *позорный столб* — первоначально столб, к которому выставлялись преступники на позор, т.е. для всеобщего обозрения¹. Легко понять, что такое пребывание у столба стало все более восприниматься как постыдное, поэтому и само слово *позор*, утратив свои старые прозрачные этимологические связи, стало обозначать не зрелище, а «постыдное положение».

В отличие от предшествующего случая (латинское слово *calx*) в этом примере история слова определяется не только и даже не столько историей соответствующих вещей и понятий, сколько прежде всего своеобразием употребления слова в определенных словосочетаниях («позорный столб»). Эти условия могли послужить толчком, определившим дальнейшее развитие значения слова, его глубокое качественное изменение. Следовательно, и

¹ См.: *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка / Под ред. И.А. Бодуэна де Куртена. 4-е изд. Т. III. СПб.; М., 1912. С. 600. Ср.: *Уразов И.* Почему мы так говорим. М., 1956. С. 44.

в этом случае логические связи между значениями «зрелище» — «постыдное положение» были обусловлены конкретными языковыми условиями функционирования слова. Логическое в слове существует не «вообще», а в определенной языковой среде. В этом смысле можно утверждать, что с лингвистической точки зрения логическое — очень важное само по себе — преломляется сквозь призму системы языка.

Немецкое слово *billig* означает «справедливый», «подходящий»¹, однако в современном языке оно больше всего употребляется в значении «дешевый». Как предположил еще акад. М.М. Покровский², новое значение прилагательного *billig* выработалось синтаксическим путем, из словосочетания *billiger Preis* — букв. «справедливая, подходящая цена», а затем уже «дешевая цена», т.е. доступная, приемлемая для многих. И в данном явлении логическое развитие значения слова (справедливый > дешевый) было своеобразно предопределено характером языкового употребления слова, его жизнью в системе языка.

Наконец, еще один пример. Итальянское существительное *arte* в средние века означало не только «искусство», но и «ремесло» (в современном языке это последнее значение встречается преимущественно во множественном числе: *arti meccaniche* — «ручные ремесла»). Но в производном образовании *artigiano* — «ремесленник» вперед выступает понятие о человеке, который занимается ремеслом. Значение «ремесла», ослабленное в одном слове (*arte*), может не только не ослабевать в другом звене определенного словообразовательного ряда (*artigiano*), но даже составлять его основное содержание («ремесленник»).

Аналогичную судьбу имело и такое итальянское существительное, как *tagliapietra*, которое до XV в. включительно означало не только «каменотес», но и «архитектор». Состояние науки и техники в ту историческую эпоху объясняет нам эту своеобразную полисемию.

Но вот возникает вопрос: почему слово *arte* — «искусство» постепенно лишается своего «ремесленного» значения, тогда как *artigiano* утверждается именно в этом направлении? Если с логической точки зрения еще можно понять полисемию типа «искусство» — «ремесло», то труднее объяснить, *в каких словах* язык

¹ Kluge F., Götz A. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 15 Aufl. Berlin, 1951.

² Семасиологические исследования в области древних языков. М., 1896. С. 94.

отказывается от подобной полисемии и в каких случаях ее сохраняет. Лишь конкретные условия употребления слова в лексической системе определенного языка могут помочь разобраться в этом вопросе. Логические предпосылки, очень важные сами по себе, находят свое выражение, преломляясь через лексическую среду языка.

Попытаемся с точки зрения взаимоотношения логических, исторических и языковых моментов подойти к таким традиционным понятиям семасиологии, как расширение и сужение значения слова.

Уже давно было замечено, что не только слова изменяют свои значения в процессе развития языка, но и понятия могут приобрести новые наименования в ходе развития человеческих знаний. Французский лингвист Вандриес в своей книге о языке разграничил эти явления уже в названии двух глав раздела о слове: «Как изменяется значение слов» и «Как понятия меняют свои названия»¹. В действительности положение может быть еще более сложным. Современные представления о *вселенной* или *химии*, об *атоме* или *кровообращении* далеко шагнули вперед по сравнению с теми представлениями, которые связывались с данными словами сто лет тому назад, хотя сами слова непосредственно не изменились. Что же здесь произошло?

Еще в 70-х гг. XIX столетия замечательный русский лингвист Потевня предложил разграничить *ближайшие и дальнейшие значения слова*². Под ближайшим значением слова Потевня разумел такое значение, которое обычно всеми понимается и фиксируется в толковых словарях. Дальнейшее же значение слово приобретает в тех специальных научных или профессиональных областях, к которым оно часто относится.

Слово *дерево*, например, в его ближайшем значении осмысляется как «многолетнее растение с твердым стволом и отходящими от него ветвями», тогда как с ботанической точки зрения такое понимание *дерева* явно недостаточно. При перечислении всевозможных чисто ботанических признаков дерева³ переходят от ближайшего к дальнейшему значению слова *дерево*. То

¹ См.: Вандриес Ж. Язык. Лингвистическое введение в историю / Рус. пер. М., 1937. С. 181 и 199. Аналогичное разделение у А. Мейе (*Linguistique historique et linguistique générale*. 2 éd. Paris, 1926. P. 241).

² См.: Потевня А.А. Из записок по русской грамматике. 2-е изд. Харьков, 1888. С. 8.

³ Например, его надземных стеблевых и подземных корневых частей, особенностей различных классов деревьев — однодольных, двудольных и т.д.

же самое наблюдается с такими словами, как *причина* (общее и философское значения), *механизм*, *жизнь*, *погода*, *земля*, *цветок*, *атом*, *электричество*, *движение*, и огромным количеством других самых разнообразных слов.

Если в действительности не различались бы ближайшее и дальнейшее значения слова¹, то язык не смог бы выполнять своей функции общения и выражения мысли: ботаник, произнося слово *дерево*, думал бы об одном, а неботаник — совсем о другом. Практически же ботаник, глубже осмысляя, что такое *дерево*, чем неботаник, вместе с тем всегда может понять этого последнего именно потому, что в языке существуют ближайшие, понятные всем значения слов. Ближайшие значения слова — это та основа, которая обеспечивает взаимное понимание всех людей, говорящих на данном языке, независимо от их непосредственной специальности и профессионального подхода к «вещам». Разумеется, языковед, рассматривая значения различных слов, может быть компетентным только в области их ближайших значений. В противном случае языковед превратился бы в «науку наук», в своеобразную универсальную область знаний, в которой рассматриваются достижения всех специальностей, всех научных дисциплин.

Языковед, исследуя слова и причины изменения их значений, анализирует, как правило, именно ближайшие значения слов, так как изменение дальнейших значений относится к компетенции тех специальных наук, к которым принадлежат соответствующие слова и термины.

Но здесь необходимо сделать одну важную оговорку. Было бы ошибочно считать, что изменения дальнейшего значения слова никак не отражаются на существе его ближайшего значения, как и обратно, что ближайшее значение слова будто бы совсем автономно по отношению к его дальнейшему значению. В действительности сферы этих двух типов значений постоянно взаимодействуют. Для ближайшего значения слова *дерево* совсем не безразличны те научные представления (дальнейшее значение) о самой вещи (дереве), которые складываются у огромного большинства людей на основе хотя бы их школьных навыков. И все же, несмотря на отмеченное взаимодействие,

¹ Сами термины «ближайшее значение», «дальнейшее значение» впоследствии приняты не были, хотя Потебня глубоко обосновал различие между ними. Ср. с этим «определение имен» и «определение вещей» в современной логике: *Серриус Ш.* Опыт исследования значения логики / Рус. пер. М., 1948. С. 161; *Рубинштейн С.Л.* О мышлении и путях его исследования. М., 1958. С. 25–55.

различие между ближайшим и дальнейшим значениями слова вытекает из самой «природы вещей».

Именно это различие должно объяснить нам, почему многие изменения, происходящие с вещами и понятиями, находят лишь косвенное выражение в лексике. Так, современные *самолеты* совсем не похожи на те примитивные, еще очень беспомощные в техническом отношении сооружения, которые стали появляться в разных странах в начале нынешнего столетия. И тем не менее слово *самолет* как слово в целом не изменило своего значения («летательный аппарат тяжелее воздуха, с несущими плоскостями»). То же можно сказать и о многих других словах. Язык, несмотря на постоянные трансформации в разных его сферах, устойчив и понятен не одному поколению.

Однако во многих случаях история вещей и понятий не может не найти своего отражения в языке. Это прежде всего явления, обычно относимые к различным типам *расширения*, *сужения* и *переноса* значений под воздействием соответствующих изменений в вещах и понятиях. Сначала рассмотрим примеры, а затем попытаемся их критически осмыслить.

Вернемся к глаголу *стрелять*. Теперь он означает в русском языке не столько «выпускать стрелу», сколько «производить выстрелы». Успехи разнообразного огнестрельного оружия не прошли мимо ближайшего значения самого глагола *стрелять*. Глагол *приземляться* в эпоху космических полетов стал относиться не только к Земле, но, например, и к Луне («скоро человек *приземлится* к Луне», возможно и «*прилунится*»).

Слово *накануне* означало первоначально «время перед праздником, когда поется *канон*». Затем связь с первоначальным понятием (канон) была утрачена, *накануне* стало означать «время перед всяким праздником», а затем и «всякий предшествующий день» или «состояние, предшествующее чему-либо ожидаемому». Название тургеневского романа «Накануне» — на основе общезыкового значения — уже приобретает символическое осмысление: накануне новой жизни, накануне появления «новых людей».

Слово *каникулы* ранее означало время, когда солнце находилось ближе к созвездию Пса (латинское *canicula* — уменьшительное к *canis* «пес»), т.е. с 22 июля по 23 августа по исчислению древних ученых — период жары, «собачьи дни». Этим словом обозначается летний перерыв в учебных занятиях, а впоследствии и всякий — зимний, весенний, летний — перерыв в учебных занятиях. Связь с периодом созвездия Пса и

здесь оказалась забытой, слово получило более общее, более «широкое», менее специализированное значение.

Сравнивая последние два примера (*накануне, каникулы*) с первыми (*стрелять, приземляться*), нельзя не заметить, что импульсы, определившие расширение значения столь разных слов, оказались различными. В глаголах *стрелять* и *приземляться* действительная история «вещей» (изобретение огнестрельного оружия, проникновение человека в космос) сыграла важную роль в изменении значений самих слов. В существительных же *накануне* и *каникулы* движущая сила, определившая расширение их значений, была иной, так как эти слова выражают не вещи (в широком смысле), а понятия. Потребность же передать в языке такие понятия, которые относились бы не к ограниченному кругу (например, «перерыв в занятиях во время, когда солнце находится ближе к созвездию Пса» — по поверию древних — источнику жары), а к более широкой категории явлений («всякий перерыв в занятиях, в работе»), определяет в конечном счете и движение самого значения подобных слов. А так как стремление к обобщению значений наряду с тенденцией к конкретизации заложено в самой природе слова, то расширение его значения под влиянием потребности в «широких понятиях» становится очевидным.

Сами того не замечая, в своей повседневной речи говорящие то и дело прибегают к таким «расширенным» значениям слова. Но в этих случаях речь идет уже не об историческом процессе развития значения, а о его своеобразном переносном употреблении.

Говорят не только *идет человек*, но и *идет дождь, идут часы, идут года*. Употребляют слово *суд* не только в смысле «здание суда», но и «органа правосудия», а под *головой* разумеют не только *голову человека*, но и *голову* шагающей на демонстрации *колонны*. Уже отмечалось, что на этом же явлении расширения значения слова основаны всевозможные случаи его фигурального осмысления.

Обратное явление — *сужение значения слова* — также встречается в истории различных языков. При этом возможны два основных типа сужения значений: собственное историческое и профессиональное, техническое. Так, в современном русском языке слово *квас* означает определенный сорт напитка, изготовляемого обычно из солода, воды и различных сортов хлеба. В старом языке слово *квас* имело гораздо более широкое значение — «кислота вообще» (ср. остаток этого значения в выраже-

нии *яблоко с кваском*, т.е. «с кислинкой»). В современном языке прилагательное *червонный* употребляется только в выражении *червонное золото*, т.е. чистое золото, имеющее красноватый оттенок. Связь с названием особой породы червя — *coccus ilicis*, из которого добывалась пурпурно-красная краска, теперь уже совсем утрачена. Но еще в первой половине XIX в. прилагательное *червонный* могло иметь и более широкое значение — «красный», «алый вообще», независимо от отношения к золоту. Так, у Лермонтова в «Тамбовской казначейше»:

И скоро ль ментиков *червонных*
Приветный блеск увижу я...

Иной характер носит сужение профессиональное или техническое, которое предопределяется спецификой той или иной области знания. Когда лингвист употребляет слово *предложение*, то он имеет в виду грамматическое предложение, а не то, «что предлагается выбору, вниманию, что предложено на обсуждение, рассмотрение» и т.д. Когда физиолог пишет о *доминанте* как об очаге возбуждения в центральной нервной системе, то он обычно отвлекается от более общего значения этого термина, существующего в литературном языке (*доминанта* — «основной признак чего-либо, главная мысль, идея»).

Каждый из этих двух типов сужения — исторический и профессионально-технический — в свою очередь может быть подразделен на два подтипа: на сужение, приводящее к полной утрате связи с предшествующим более широким значением, и на сужение, сохраняющее те или иные связи с предыдущим осмыслением слова. Так, если из только что приведенных примеров слово *квас* обычно уже не сохраняет связи с «кислотой» вообще (говорят даже «сладкий квас»), то слово *червонный* в выражении *червонное золото* в большей степени опирается на предшествующее значение «ярко-красный», т.е. «чисто красного цвета», «чистого цвета», «чистого блеска». Если *предложение* в смысле «грамматическое предложение» оказывается уже лишь омонимом по отношению к *предложению* — «то, что предлагается», то *доминанта* в языке физиолога сохраняет известную связь с *доминантой* общего значения.

Итак, следует различать сужение значения слова историческое и профессиональное, а в пределах каждого из этих подразделений возможно усмотреть разную степень «отрыва» нового, суженного смысла от старого, более широкого значения.

Процесс сужения значения слова часто приводит к тонкому разграничению понятий. Слово *ветхий*, например, еще в конце XVIII и начале XIX в. могло означать «старый», «существующий с давних времен», т.е. соответствовать латинскому *vetus, vetulus* — «старый», «староватый». Так, в журнале «Трутень» за 1769 г. читаем: «Я не мог надивиться, с каким искусством продавец по *ветхому*, а купец по новому законам друг друга обманывали. По «ветхому закону», т.е. по закону, существующему давно, по старому закону, который противопоставляется здесь новому закону. К середине XIX в. слово *ветхий* приобретает уже другое значение. Это не «старый» в нейтральном смысле слова («существующий давно»), а «старый» в смысле «близкий к разрушению» (о строениях, мебели и пр.), «крайне изношенный, разрушившийся во времени, истлевший» (об одежде, бумаге и пр.), «дряхлый, обессиленный от старости» (о человеке). Например: «Дом был до того *ветх*, что ежеминутно грозил развалиться» (М.Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина); «Двор был тесный; всюду, наваливаясь друг на друга, торчали вкривь и вкось *ветхие* службы...» (М. Горький. Хозяин).

Легко заметить, что в современном языке слово *ветхий* означает уже не столько «старый», сколько «изношенный, близкий к разрушению, дряхлый». Чисто временное осмысление «ветхий» — «старый» теперь уже оказывается невозможным. Сейчас не говорят *ветхое искусство* в смысле «старое искусство», а *ветхий человек* если и соединяется с представлением о старом человеке, то обязательно с дополнительным оттенком: «дряхлый».

Различные случаи сужения и расширения значений особенно наглядно выступают в исторической семасиологии родственных языков.

Слово *веко* (< *вѣко*) во многих славянских языках до сих пор имеет значение «крышка»: словенское *vŕhka* — «крышка», «подъемная дверь»; чешское *víko* — «крышка», «покрышка»; польское *wieko* — «покрышка». Между тем в русском языке, в котором *веко* долго сохраняло общеславянское значение «крышка», «покрышка»¹, значение слова затем «сузилось», специализировалось и теперь осмысляется не как «покрышка» вообще, а как своеобразная «покрышка глаза» («кожица, закрывающая глазное яблоко»).

¹ См.: Черных П.Я. Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период. М., 1956. С. 166.

Латинский глагол *pecare* означал «лишать жизни», «убивать», а во французском языке он, «сузившись», приобрел значение «топить» (*noyer*), т.е. «лишать жизни» не вообще, а определенным способом: «топить кого-то».

Возможно и сравнительно-историческое расширение значения слова. Латинское существительное *passer, passeris* значит «воробей». Некоторые романские языки, восприняв это слово и развив его дальше, образовали существительное с гораздо более «широким» значением: румынское *pasăre*, как и испанское *pajara* — «птица» (не видовое, а родовое понятие). Существительное же *воробей* же передается в этих языках с помощью других слов: румынское *vrăbie*, испанское *gorrión*.

Исторические причины, приводящие к сужению и расширению значения слов, сложны и многообразны. Укажем пока на такой момент, как перенос названия одного предмета на другой по сходству функции, на явления так называемых *функциональных переходов*. Начнем рассмотрение материала с традиционного примера (чего в других случаях мы стремились не делать).

Широко известно, что некогда писали птичьими перьями и эти перья, естественно, назывались перьями. Затем, когда появились более совершенные металлические «перья» и птичьими перьями перестали писать, старое название *перо* перешло на новый предмет — на металлическую изогнутую пластинку. Почему же кусочек металла стали называть пером? Ведь металлическое перо совсем не похоже на гусиное перо. Перенос значения определился не случайными причинами. Изогнутая металлическая пластинка стала *выполнять ту же функцию*, которую некогда выполняло гусиное перо. Вот это единство функций и определило переход названий. Человека нисколько не смущало, что маленький кусочек металла совсем не походил на гусиное перо. Важнее было другое: функциональное назначение нового предмета. Выходя из употребления в качестве орудия письма, гусиное перо передало свое название новому, впервые появившемуся предмету.

Связь металлического пера с гусиным оказалась настолько забытой, что теперь, когда авторам исторических сочинений нужно напомнить своим читателям, как писали в старину, они это подчеркивают обычно при помощи прилагательного *гусиный*. Так, например, неоднократно поступает А. Толстой в романе «Петр Первый»: «Украинец осторожно обмакивал *гусиное перо...*», «на полу были разбросаны листы бумаги, книги, *гусиные перья*», «большая рука Петра, державшая *гусиное перышко*,

осторожно проводила линии»¹ и т.д. А Толстой мог прямо упомянуть о перьях, и это само по себе означало бы «гусиные перья» — в ту эпоху металлических перьев не существовало, но тогда не всякий читатель вспомнил бы, о каких перьях идет речь, и тем самым историческая обстановка не была бы полностью восстановлена. Таким образом, если первоначально *перо* как орудие письма означало только «гусиное» или какое-нибудь другое птичье перо (например, «лебединое») и поэтому в этом своем значении не нуждалось ни в какой «опоре» на прилагательные *гусиный* или *лебединый*, то впоследствии металлическое перо настолько вытеснило перо гусиное в его былой функции письма, что восстановление этой старой функции теперь уже происходит при помощи своеобразного напоминания-характеристики — *гусиное перо*.

В выражении *вечное перо* намечаются новые функциональные переходы: *вечное перо* не только совсем не похоже на *птичье перо*, но не напоминает уже и обычного («простого») металлического пера, однако единство функций (служить для писания) предопределяет процесс дальнейшего перехода названий.

Сейчас не задумываются, почему *обои*, которыми теперь вовсе не *обивают* квартиры, а только оклеивают, называются все же *обоями* (от глагола *обивать*). Исторический анализ и здесь оказывается нелишним. Некогда *обои* действительно приготавлились из материи, которой и *обивали* комнату. Так, у Пушкина в «Евгении Онегине» (гл. 2, строфа II):

Везде высокие покои,
В гостиной *штофные* обои.

Затем на смену дорогой материи (штофные, т.е. из материи) пришла дешевая бумага. И хотя бумагой уже не обивают комнаты, а лишь оклеивают, функциональное единство между обоями из материи и обоями из бумаги определило переход старого названия на новый предмет.

Переход названия одного предмета на другой по сходству функций отмечался К. Марксом в «Капитале»: «С развитием богатства менее благородный металл вытесняется из своей функции меры стоимости более благородным: медь вытесняется серебром, серебро — золотом... Но когда золото вытеснило серебро в качестве меры стоимости, это же самое название стало применяться к количеству золота, составляющему, быть может,

¹ Толстой А. Петр Первый. М., 1947. С. 405, 444, 549.

1/15 фунта... Фунт как денежное название и фунт как обычное весовое название данного количества золота теперь разделились»¹. В глубокой древности, еще до появления денег, человек часто обменивал различные предметы на скот. Скот служил своеобразным мерилем стоимости других предметов. За более редкие и дорогие предметы давали больше скота, за менее нужные и менее редкие — меньше. Скот служил человеку не только пищей и тягловой силой, но и своеобразной разменной монетой. Вот почему впоследствии, в связи с появлением денег, название скота (латинское *pecus*) во многих языках перешло на название денег (латинское *pecunia*). Деньги в собственном смысле этого слова вытеснили скот в его «разменной функции» и как бы перетянули на себя старое название скота (отсюда связь *pecus* — «скот» и *pecunia* — «деньги»). Но слово *скот* в значении «деньги» еще употреблялось в древнерусском языке: «начаша *скот* собирати от мужа по 4 куны, от старост по 10 гривен, а от бояр по 18 гривен»².

Таким образом, функциональные переходы — это такое изменение значения слова, когда название одного предмета переносится на другой или другие, если эти последние начинают выполнять функцию первого.

Функциональные переходы объясняют, как мы видели, ряд явлений в истории слов различных языков. Когда, например, сейчас в наручные часы вставляют для большей прочности «стекло» из пластмассы, то, хотя эта прозрачная пластинка из пластмассы «стеклом» собственно не является, ее продолжают именовать *стеклом*, основываясь на сходстве назначения пластинки и стекла, ранее вставлявшегося в часы. Когда мощность двигателя измеряется *лошадиными силами*, то здесь наблюдается аналогичное явление: *мотор* вытесняет *лошадь* в ее основной «тягловой функции», но, вытесняя, заимствует ее название для обозначения своей мощности (например, «мотор или машина в 500 лошадиных сил»).

В связи с тем что Н.Я. Марр в свое время иногда спорно истолковывал явления функциональных переходов, у нас опростачливо часто отказываются от изучения этого интересного процесса. Между тем «переходы значений», определяемые «функциональными переходами» в самих вещах окружающего нас мира,

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 109.

² Материалы для терминологического словаря древней России / Сост. Г.Е. Кочин. 1937. С. 327; Лунс Ю. Происхождение вещей. Из истории культуры человечества. М., 1954. С. 208–230.

в понятиях, которыми оперирует наша логика и наше мышление, не могут быть взяты под сомнение. *Стремление связать историю слов с историей вещей и понятий не подвергается в своей основе сомнению*, не следует лишь допускать, чтобы эта материалистическая интерпретация слов превращалась в интерпретацию вульгарно-социологическую. В этом последнем повинна, однако, не теория, а ее истолкователи.

Нельзя не отметить, что в 10-х и 20-х гг. XX столетия существовало даже особое направление в лексикологии — изучение «вещей и слов» (*Wörter und Sachen*), которое возглавлялось таким крупным австрийским лингвистом, как Г. Шухардт (1842–1927). Это научное направление, много сделавшее для исследования слов в связи с историей вещей, к сожалению, имеет немного сторонников. Интерес к слову как «к структурной единице языка» заслоняет и отодвигает на задний план интерес к слову как средству выражения в языке предметов и явлений окружающего нас мира.

Как же следует понимать «расширение» и «сужение» значения слова, явления функциональных переходов? Отчасти ответ уже был дан. Обратим теперь внимание на другие приметы.

Решительно возражая против дюринговского понимания диалектики, Энгельс писал: «Само собой разумеется, что я ничего еще не говорю о том *особом* процессе развития, который прodelывает, например, ячменное зерно от своего прорастания до отмирания плодоносного растения, когда говорю, что это — отрицание отрицания. Ведь отрицанием отрицания является также и интегральное исчисление. Значит, ограничиваясь этим общим утверждением, я мог бы утверждать такую бессмыслицу, что процесс жизни ячменного стебля есть интегральное исчисление или, если хотите, социализм. Именно такого рода бессмыслицу метафизики постоянно приписывают диалектике». И далее: «С одним знанием того, что ячменный стебель и исчисление бесконечно малых охватываются понятием “отрицание отрицания”, я не смогу ни успешно выращивать ячмень, ни дифференцировать и интегрировать, точно так же, как знание одних только законов зависимости тонов от размеров струн не дает еще мне умения играть на скрипке»¹.

Точно так же можно сказать, что одного указания на процесс сужения или расширения значений явно недостаточно для того, чтобы понять все своеобразие и все последствия в том или ином частном случае сужения или расширения.

¹ Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 145, 146.

Расширение значения слова *стрелять* было обусловлено другими причинами, чем расширение таких слов, как *накануне* или *каникулы*. В свою очередь расширение значения такого существительного, как *поединок*, определялось опять-таки иными мотивами. *Поединок* — первоначально «единоборство», «сражение один на один», затем представление о двух сражающихся сторонах, подсказанное образом *двух* противников. Новое восприятие слова определяет и его дальнейшие переносные, более широкие значения: *поединок* → «прения», «спор», «диспут вообще»¹.

Если расширение значения глагола *стрелять* было обусловлено развитием техники, то расширение значения существительного *поединок* определялось характером восприятия образа сражающихся противников в разные эпохи. Другими словами, если для того, чтобы понять причины расширения значения глагола *стрелять*, нужно в известной степени как бы выйти за пределы самого языка, обратиться к истории техники, к истории огнестрельного оружия (расширение значения глагола *стрелять* определяется одновременно функциональным переходом названий), то для того, чтобы разобраться в истории осмысления существительного *поединок*, в расширении его значения, нет надобности выходить не только за пределы языка, но в известной мере и за пределы данного слова, его внутренней формы. Таким образом, когда говорят о расширении значения того или иного слова (или сужении, или функциональном переходе значений), то определяют *лишь самые общие условия*, в которых протекает процесс его исторического развития. Задача историка языка заключается в том, чтобы разобраться в различных типах того или иного явления.

И ячменный колос, и исчисление бесконечно малых охватывается понятием отрицания отрицания. Однако природа этих явлений различна. Применяя это положение к нашему материалу, можно сказать, что сужение, расширение и перенос по функции могут наблюдаться в истории самых различных языков и самых различных слов. Исследователь должен раскрыть многообразие этих случаев, осмыслить их конкретно-исторически, показать, какие *более непосредственные причины* определяют то или иное развитие слова.

Логическое в языке находится в зависимости от исторического.

¹ См.: Булаховский Л.А. Деэтимологизация в русском языке // Тр. Института русского языка Академии наук СССР. 1949. Т. I. С. 206.

Как ни важны сами по себе такие категории, как сужение и расширение, перенос по функции, они все же многого не объясняют в конкретной истории слов того или иного языка. Отмеченные *категории, логические в своей основе, как бы преломляются сквозь историческую призму языка* и только тогда оказывают свое воздействие на движение слов.

В свое время Дармстетер (1846–1888) в талантливо написанной книге «Жизнь слов» — работе, которая вызвала впоследствии большое количество других сочинений, утверждал, что слова развиваются по определенным логическим схемам и категориям, в значительной степени общим для всех времен и всех языков¹. Новейшая зарубежная (и отчасти отечественная) семасиология, резко отталкиваясь от устаревших представлений, готова выплеснуть из ванны вместе с водой и ребенка: логическое в слове отрицается и изгоняется². Между тем слишком прямолинейная, подчас не учитывающая чисто языковой специфики слова схема Дармстетера вовсе не означает, что логические моменты в слове вообще не существенны. И в этом случае вопрос сводится к тому, чтобы по возможности правильно разобраться в соотношении логического, исторического и языкового в слове.

Логические категории не могут не пронизывать язык — прямо и скрыто — уже потому, что язык — средство выражения нашего мышления. Это, как мы видели, ясно выступает в слове. Это не менее ясно проявится, как увидим, и в грамматике. Вместе с тем логическое в языке не может быть правильно понято без учета исторической природы языка. Логическое и историческое переплетаются в слове, как и в языке вообще.

После всего сказанного следует еще раз вернуться к вопросу о соотношении значения слова и понятия.

Значение слова — это исторически образовавшаяся связь между звучанием слова и тем отображением предмета или явления, которое происходит в нашем сознании. Что же касается *поня-*

¹ См.: Darmesteter A. La vie des mots. Paris, 1887. Раньше, чем Дармстетер, попытку применить к семасиологии формально-логические схемы в психологической интерпретации сделал в 1880 г. Г. Пауль в «Prinzipien der Sprachgeschichte» (Пауль Г. Принципы истории языка // Рус. пер. М., 1960. С. 93–127). Интересные соображения по этому вопросу были высказаны в свое время Н. Крушевским в его книге «Очерк науки о языке» (Казань, 1883. С. 64–69).

² См., например, материалы седьмого всемирного конгресса лингвистов: Proceedings of Seventh Congress of Linguists (1–6 September, 1952). L., 1956. P. 41, 237. Здесь изложены разные точки зрения по данному вопросу; см. также: Карнап Р. Значение и необходимость (исследование по семантике и модальной логике). М., 1959. С. 27–113.

тия, то это мысль о предмете, выделяющая в нем общие и наиболее существенные признаки¹. Понятия — общечеловеческая категория, хотя и зависящая от степени развития мышления разных народов. Значение слова, напротив того, прежде всего категория данного языка, обычно существующая лишь в пределах его системы. Несовпадение значений слов в разных языках особенно наглядно обнаруживается при применении метода, который может быть назван методом «наложения слов» (выражающих одно и то же понятие) друг на друга.

Сравним, например, слово *земля* в разных языках: русское *земля*, английское *land*, немецкое *land*, французское *terre*, испанское *tierra*. Наряду с тем, что все эти слова передают в перечисленных языках одно и то же понятие «земля», характер значений и их группировка внутри этого многозначного слова в разных языках будут различными. В русском данное слово наряду с другими смыслами имеет значение «твердая поверхность», в английском — «государство», в немецком — «страна», во французском — «владение», в испанском — «население страны». В одном из языков то или иное значение употребляется чаще, в другом — реже. Своеобразие подобных расхождений особенно ярко выявляется в различных словосочетаниях и выражениях.

«Многогранность слова, — писал акад. Л.В. Щерба, — особенно ярко выступает при сравнении разных языков друг с другом, так как благодаря различиям исторических условий их развития она никогда в них не совпадает... По-русски мы скажем с небольшими оттенками *хороший человек, прекрасный человек*, по-французски — только *un excellent homme (un homme bon будет добрый человек)*; *хороший мальчик* будет или *un excellent garçon*, или *un garçon bien sage* (в смысле «паинька»), но *хороший ученик* — *un bon élève*; по-русски *хорошая погода*, тогда как по-французски *un bon temps pour la chasse* значит *благоприятная* погода для охоты. Примеры можно умножать до бесконечности².

В другой своей работе Л.В. Щерба приводил такой пример³: ни в немецком, ни во французском языках нет слова *кипяток*.

¹ См.: Асмус В.Ф. Логика. М., 1947. С. 32. В отличие от понятия, которое основывается на наиболее существенных признаках предмета или явления, внутренняя форма слова может покоиться на признаках более случайных, «боковых», периферийных по отношению к значению самого слова (см. с. 74 и сл.).

² Щерба Л.В. Предисловие // Щерба Л.В., Матусевич М.И. Русско-французский словарь. 4-е изд. М., 1955. С. 4.

³ См.: Щерба Л.В. Об общеобразовательном значении иностранных языков // Вопросы педагогики. 1926. № 1. С. 101; Федоров А.В. Введение в теорию перевода. М. 1958. С. 125–134.

Значит ли это, что немцы и французы не знают данного понятия? Такой вывод был бы преждевременен. Дело в том, что различными словосочетаниями (например, *heisses Wasser, kochendes, siedendes Wasser* у немцев, *eau chaude, eau bouillante* у французов) можно передать то же понятие, которое в русском языке выражается с помощью отдельного слова *кипяток*. Следовательно, дело не в отсутствии понятия, а в том, *какими языковыми средствами* оно передается в том или ином языке.

Русское существительное *человек* обычно переводится на английский как *man*, но выражение *она хороший человек* следует передать *she is a good person* (или *woman* — «женщина»), так как в английском слове *man* центральным значением является «человек мужского пола». Между тем русское существительное *человек* может относиться к представителям обоего пола.

В английском и французском языках (такова же картина в немецком) бытуют особые слова для обозначения *кисти руки* — *hand* и *main*, тем самым в этих языках для понятия *рука* имеется по два слова: английские *arm* — «рука» (от кисти до плеча) и *hand* — «рука» (кисть руки) и соответственно французские *bras* и *main* в таком же разграничении. Русский язык эти два понятия различает не с помощью двух слов, как английский и французский, а с помощью *слова (рука)* и *словосочетания (кисть руки)* или с помощью более широкого употребления самого слова *рука* (ср.: «Он взял ребенка на *руки*», «у этого пианиста необычайная пластика *рук*»: первое слово *руки* в смысле «от кистей до плеч», второе — *руки* предполагает как раз «кисти и пальцы рук»). Таких примеров, подтверждающих, что одни и те же понятия в разных языках получают совсем не одинаковое выражение, можно привести очень много¹.

Биограф Гёте Эккерман так передает свой разговор с автором «Фауста» относительно значения немецкого слова *Geist* сравнительно с французским существительным *esprit*.

«Французское *esprit*, — сказал Гёте, — близко к тому, что мы, немцы, называем *Witz* — “остроумие”. Слово *Geist* по-французски лучше всего, пожалуй, было бы передать двумя словами: *esprit* — “ум” и *âme* — “душа”. Этому последнему понятию присущ характер продуктивности, которого лишено французское *esprit*.

¹ См. также: Дульзон А.П. К вопросу о связи языка и мышления // ВЯ. 1956. № 3. С. 82.

— Вольтер, — сказал я (Эккерман. — *Р.Б.*), — обладал тем, что по-немецки надо было бы назвать *Geist*. И так как французское *esprit* для этого недостаточно, то как выразили бы это французы?

— На этот крайний случай они употребили бы выражение *génie* — “гений”, — сказал Гёте¹.

В 1867 г. И.С. Тургенев писал А. Голицыну: «Согласен, что заглавие *Fumée* (“Дым”) невозможно по-французски... А что бы Вы сказали относительно *Incertitude*? (“нерешительность”. — *Р.Б.*) или *Entre le Passé et l'Avenir*? (“между прошлым и будущим”. — *Р.Б.*) или *Sans Rivage*? (“без берега”. — *Р.Б.*)²». В русском существительном *дым* сильнее представлены его переносные осмысления, чем во французском *fumée*, поэтому уже при переводе, казалось бы, очень простого названия тургеневского романа на французский язык возникают разнообразные трудности. Чтобы устранить их сразу, сам Тургенев предлагал образцы, казалось бы, «вольных», но семантически глубоких истолкований.

И все же лексика одного языка не только отличается от лексики других языков, но и взаимодействует с нею. Как видно было на примере со словом *кипяток*, нельзя делать широких заключений на основе наличия или отсутствия отдельных слов в том или ином языке. Если нет в языке данного слова, то соответствующее понятие может быть выражено другими средствами: словосочетанием, новым значением старого слова и т.д. Нельзя, однако, считать, что за словами «ничего не стоит», что слова ни с чем не соотносятся вне языка, не выражают понятий, которые вырабатываются у человека в тесной связи с историей самих слов. Думать так — значит отказаться от точки зрения на язык как на средство общения и средство выражения понятий, формируемых в процессе познания человеком окружающего его объективного мира.

Значение слова теснейшим образом связано с понятием, но ему не тождественно. Оно постоянно взаимодействует с понятием и вместе с тем отличается от него. Именно это отличие приводит к тому, что значение слова изучается наукой о языке, тогда как понятие является объектом иной научной дисциплины — логики.

¹ Эккерман И. Разговоры с Гёте / Рус. пер. М., 1934. С. 582.

² Русские писатели о переводе. Л., 1960. С. 285; а также см.: Хохряков П. Язык и психология. Казань, 1889. С. 57–102.

* * *

Проблемы лексикологии и семасиологии изучены в целом значительно меньше, чем, например, проблемы фонетики и морфологии. Несмотря на наличие большого количества общих и специальных исследований по лексикологии и семасиологии, вопросы метода в этих областях языкознания до сих пор остаются гораздо более спорными и менее ясными, чем в сфере фонетики и морфологии. Отчасти это объясняется тем, что лексикология и семасиология в значительно большей степени соприкасаются с другими областями знаний (например, историей, логикой, психологией, социологией, философией, терминологией различных научных дисциплин и т.д.), чем фонетика или морфология. Не случайно поэтому стремление многих современных исследователей лексикологии и семасиологии обосновать собственно лингвистический аспект при изучении этих важных разделов языкознания¹.

Вместе с тем другие научные направления, напротив того, стремятся поставить лексикологию и семасиологию на службу то психологии², то социологии³, то истории понятий⁴, то, наконец, математике⁵. Однако, только *разграничив* эти области, можно уяснить истинное *взаимодействие* между ними.

Несомненно, в науке о языке лексикология и семасиология должны изучаться с лингвистической точки зрения (иначе эти области не принадлежали бы языкознанию), но это не означает, что лингвиста не должен интересовать вопрос о том, как слово выражает понятие и в какой степени в словарном составе языка отражаются наши знания об окружающем нас мире. Только правильно разграничив разные сферы знаний и разные науки, можно затем попытаться ответить и на эти трудные вопросы. А подобные вопросы были и остаются важнейшими для всех тех лингвистов, которые отказываются видеть в языке «замкнутую в себе структуру» и для которых язык есть прежде всего средство выражения мыслей и чувств говорящих, орудие общения. К сожалению, многие языковеды, отграничив лексикологию и

¹ См., например: *Смирницкий А.И.* Значение слова // ВЯ. 1955. № 2. С. 79; *Ullmann S.* The Principles of Semantics. 2 ed. Oxford, 1959. P. 1–42; *Guiraud P.* La sémantique. Paris, 1955. P. 5.

² *Kronasser H.* Handbuch der semasiologie. Heidelberg, 1952. S. 10.

³ *Matoré G.* La méthode en lexicologie. Paris, 1953. P. 65.

⁴ *Trier J.* Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Heidelberg, 1931. S. 3.

⁵ См.: *Карпан Р.* Значение и необходимость. М., 1959. С. 27–119.

семасиологию от других смежных дисциплин, под флагом защиты «специфики языка» отказываются от постановки проблемы слова и понятия, исторического и логического в слове, не изучают процесса отражения в словарном составе языка наших знаний об окружающем нас мире и т.д. Между тем вопросы эти получают первостепенное значение и для учения о слове.

О том, какой смысл имеет тщательное изучение словарного состава любого национального языка, прекрасно сказано у А. Франса (1844–1924), писателя огромной культуры и блестящего стилистического мастерства: «Словарь — это вселенная, расположенная в алфавитном порядке... Вот словарь французского языка... Подумайте, что на этой тысяче или тысяче двухстах страницах запечатлен гений народа, его мысли, радости, труды и страдания наших предков и наши собственные, памятники общественной и частной жизни... Подумайте, что каждому слову лексикона соответствует мысль или чувство, которые были мыслью и чувством бесчисленного множества существ. Подумайте, что все эти слова, собранные вместе, есть творение души, плоти и крови нашей родины и всего человечества»¹.

Слово — это кратчайшее самостоятельное сложное историческое единство материального (звуки, «формы») и идеального (значение)².

13. Синхрония и диахрония. Язык и речь

На протяжении всего предшествующего изложения неоднократно отмечалось различие между состоянием языка в определенную эпоху (синхрония) и его постоянным историческим

¹ Франс А. Книги и люди. Литературные очерки / Пер. В. Азова. М., 1923. С. 67–68 (первоисточник: *France A. Nouveau dictionnaire par A. Gasier // La vie littéraire. Paris, 1888. 7 oct.*).

² О слове и понятии см.: Резников Л.О. Понятие и слово. Л., 1958. С. 5–25; *Его же*. Неопозитивистская гносеология и знаковая теория языка // Вопросы философии. 1962. № 2. С. 99–109; Штофф В.А. Гносеологические функции модели // Вопросы философии. 1961. № 2. С. 53–65; Шафф А. Введение в семантику. М., 1963. С. 167–217; Так В.Г. Некоторые общие семантические особенности французского слова в сравнении с русским // Лексикографический сборник. Вып. IV. М., 1960. С. 15–28; *Zeichen und System der Sprache. Bd 1. Berlin. 1961; Bd II, 1962* (суждения самых различных лингвистов о слове, понятии и знаке); Engler R. Théorie et critique d'un principe saussurien: l'arbitraire du signe, Cahiers Ferdinand de Saussure. N 19. Genève, 1962. P. 5–65 (в статье подробно освещается история вопроса о так называемых «знаковых функциях» слова).

движением и развитием (диахрония). Различие это весьма существенно, и его следует правильно понимать.

Употребляя, например, предлог *около* («сядь *около* меня»; «остановись *около* дома»), говорящие на русском языке теперь уже не связывают этот предлог с существительным *коло* — «круг», которое до сих пор бытует в диалектах. Между тем именно *коло* лежит в основе современного предлога *около* (*коло* плюс приставка *о*; из *коло* возникло и *колесо* с помощью суффикса *-ес-*). При неразличении синхронии и диахронии можно было бы утверждать, что современный предлог *около* означает «вокруг» (ср. *коло* — «круг»). Но как тогда понять выражение «сядь *около* меня»? Ведь говорящий не предлагает в этом случае расположиться вокруг него. Он просит лишь оказаться рядом с ним.

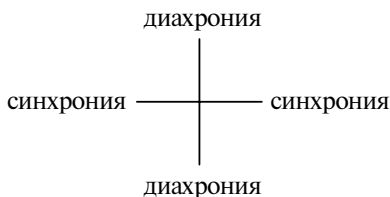
Ясно, что современное синхронное значение предлога *около* теперь уже не совпадает с его прошлым диахронным осмыслением. Следовательно, различать синхронию и диахронию совершенно необходимо. В противном случае одному состоянию языка можно приписать то, что некогда было свойственно его другому состоянию. А это не может не привести к тем или иным искажениям. Представим себе педагога, который иностранцу, изучающему русский язык, сообщил бы, что предлог *около* означает прежде всего «вокруг». В этом случае ученик никогда бы не понял смысла предложений типа «сядь *около* меня».

И все же синхрония и диахрония не только различаются, но и взаимодействуют друг с другом. Как предлог *около* теперь утратил всякую связь с *кругом* (синхрония «оторвалась» от диахронии), но как наречие *около* еще может ассоциироваться с *вокруг* (синхрония опирается на диахронию): «мы жили на берегу моря одни, и *около* никого не было».

Проблема дифференциации синхронии и диахронии так же, как и проблема взаимодействия между ними, принадлежит к труднейшим областям науки о языке. Имеются самые разнообразные их толкования. Некоторые лингвисты, проводя разделение синхронии и диахронии, склонны вообще не видеть между ними никакого взаимодействия. Такую точку зрения невозможно признать правильной: язык, будучи историческим явлением, находится в состоянии постоянного и непрерывного развития. Поэтому и «дыхание» диахронии не может не ощущаться в самой синхронии. Хотя в каждую историческую эпоху синхронию можно временно отделить от диахронии, лингвист не имеет права забывать о другом — об их постоянном и непрерывном контакте.

те. Это разграничение и взаимодействие синхронии и диахронии уже освещалось на конкретном материале при анализе полисемии, омонимии, неологизмов, антонимов, этимологии и т.д. О синхронии и диахронии еще будет идти речь в главах о звуках речи и о грамматическом строе.

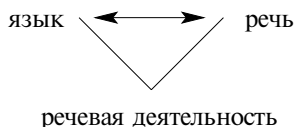
Уже Соссюр в своем «Курсе общей лингвистики» (1-е изд. 1916 г.) так графически передал различие между синхронией и диахронией:



Швейцарскому лингвисту казалось, что линии здесь только противопоставлены. Еще в большей степени эту же «разнонаправленность» линий подчеркивают крайние представители современного структурализма. Между тем даже на рисунке Соссюра «разнонаправленность» линий не исключает точки их взаимного пересечения. В реальной же жизни различных языков подобные пересечения многочисленны и не менее важны, чем пункты расхождений. Именно поэтому филологи обязаны уметь и различать синхронию и диахронию и понимать их постоянное историческое взаимодействие.

* * *

К проблеме синхронии и диахронии непосредственно примыкает и другая проблема, также связанная с именем Соссюра и широко обсуждаемая в науке нашего времени. Имеем в виду разграничение языка и речи. В упомянутом «Курсе общей лингвистики» Соссюр противопоставил три понятия — *язык*, *речь* и *речевую деятельность*. Он предложил схему:



Речь в трактовке Соссюра — это нечто индивидуальное (речь отдельных людей), язык, напротив того, представлялся ученому «коллективным сознанием», сферой таких коммуникативных отношений, которые являются обязательными для всех представителей данного народа. Речевая деятельность объединяет язык и речь. Соссюр считал, что главная задача лингвистики должна сводиться к изучению языка, где устраняется все случайное и остается лишь наиболее общее и категориальное. Поэтому, разграничив язык, речь и речевую деятельность, ученый стремился ярче оттенить особенности языка как абстрактной системы отношений¹.

За пятьдесят лет², прошедших после того, когда Соссюр изложил эту доктрину, возникли десятки ее истолкований. Одни лингвисты продолжали подчеркивать значения языка, другие, напротив того, признавали реальность лишь речи (то, что дано непосредственно, — речь отдельных людей). Возникли острые споры о том, какие лингвистические единицы относятся к языку и какие — к речи. Стали утверждать, что единицы, легко воспроизводимые по принципу постоянства своих типичных моделей (фонемы, морфемы, слова), относятся к языку, единицы же, не опирающиеся на подобные типичные модели и индивидуально более разнообразные (например, предложения), относятся к речи и в языке не встречаются.

Споры эти помогли преодолеть односторонность тех или иных утверждений. Лингвистические единицы нельзя разделить между языком и речью. В языке, как объекте науки, должны изучаться в равной степени все лингвистические единицы: предложения и их типы в такой же мере, как слова, морфемы, фонемы и т.д. Различие между языком и речью надо искать в другом. Язык, как общее, имеет разные формы своего выражения и проявления. Вот эти различные формы выражения и проявления языка и могут относиться к сфере речи.

Поясним на примере. В нашу эпоху бурного развития различных видов общения (радио, телевидение, кино, публичная речь, массовое распространение газет, журналов, брошюр, книг и пр.) язык выступает то в одном, то в другом обличье. Он не перестает от этого быть языком. Он лишь всякий раз приобре-

¹ См.: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933. С. 39–43.

² О сходствах и различиях толкований Соссюра в XX в. см.: Слюсарева Н.А. Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. М., 1975.

тают некоторые дополнительные свойства. Они-то и изучаются в речи.

Известно, что пишут не так, как говорят. Но и говорят не всегда одинаково. Всякий, выступавший, например, по телевидению, знает, как трудно мысленно создать себе собеседника, да еще в виде многомиллионной аудитории, если перед тобой только «пустое» пространство. Между тем диалог обычно протекает иначе, чем монолог. Вот все это и создает предпосылки для разграничения языка и речи.

В предшествующих разделах намечались сходные градации. В определенных условиях общения Герцен мог убедительно говорить о *расчеловечении* людей, хотя это слово общим достоянием русского языка и тогда не являлось. В совершенно другом контексте общения *атомная бомба* могла называться *изделием*, хотя в самом языке такая связь так и не установилась. Здесь мы оказываемся в сфере речи, а не языка. Речь — это не только нечто индивидуальное. К ней относится все то, что вызывается данной коммуникативной ситуацией и может сойти на нет в другой коммуникативной ситуации. Хотя сама дифференциация разговорной и письменной речи, как и других языковых стилей, относится к области языка и является вполне объективной (см. об этом гл. VI), в процессе коммуникации могут возникнуть и такие частные явления, которые оказываются менее типовыми и «прочными» и относятся уже не к сфере языка, а к сфере речи.

Но язык и речь не только различаются. Они немислимы друг без друга. Нельзя изучать «чистую» речь, постоянно не «оглядываясь» на язык, на почве которого вырастает сама эта речь. Вместе с тем нельзя отсекаать и речь во всем неисчислимом богатстве ее манифестаций, не обеднив само понятие языка. А.И. Смирницкий в «Синтаксисе английского языка» был близок к истине, когда отграничивал речь как возможный материал исследования от языка как непосредственного предмета лингвистики¹. Язык и речь органически связаны между собой. Поэтому в дальнейшем изложении *речь* употребляется не только как термин, но и как синоним к слову *язык*.

Дифференциация языка и речи не находится в стороне от дифференциации синхронии и диахронии. Это взаимно обусловленные разграничения. Категории, возникшие в речи, могут

¹ См.: Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. М., 1957. С. 13.

перейти или не перейти затем в язык, подобно тому как категории, формирующиеся в процессе диахронии, могут либо проникнуть в синхронную систему языка и частично изменить ее отношения, либо отмереть вместе с другими элементами языка¹.

¹ О синхронии и диахронии, о языке и речи см.: О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков. М., 1960. С. 5–63; *Жирмунский В.М.* О синхронии и диахронии в языкознании // ВЯ. 1958. № 5. С. 43–52; *Кодухов В.И.* Методы лингвистического анализа. Л., 1963 (разделы о синхронии и диахронии); *Косеру Э.* Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. Вып. 3. М., 1963. С. 143–343; *Ахманова О.С.* и *Микаэлян Г.Б.* Современные синтаксические теории. М., 1963. С. 50–91 (обзор различных теорий о языке и речи); *Соловьева А.К.* Проблемы индивидуального говорения // ВЯ. 1962. № 3. С. 93–106; *Ebeling C.L.* Linguistic Units. 2 ed. The Hague, 1962. P. 15–101; *Sommerfelt A.* Diachronic and Synchronic Aspects of Language. The Hague, 1962.

Глава II



ЗВУКИ РЕЧИ





1. Для чего изучают звуки речи

Мы постоянно слышим звучащую вокруг нас речь. Когда говорят о языке, обычно имеют в виду прежде всего звучащую речь, способность человека произносить артикулированные звуки, которые образуют слова. Более того, всевозможные «незвучащие» виды языка — письмо, внутренняя речь и пр. — вторичны по отношению к звучащей речи, они были бы невозможны без языка, на котором люди говорят и который они слышат.

Это и понятно, так как с помощью языка человек общается с другими людьми и выражает свои мысли и чувства. Выражение же и общение происходят прежде всего с помощью звучащей речи. В этом легко убедиться на основе повседневного опыта: можно ничего, например, не писать в течение дня или даже многих дней, но невозможно представить себе человека, живущего в обществе, который обходился бы без речи. Что касается неграмотных людей, то у них это «преобладание» звучащего языка превращается в его исключительное господство. Впоследствии мы познакомимся и с тем явлением, когда и у грамотных «незвучащие» виды языка сами во многом опираются на речь звучащую.

По образному выражению Маркса и Энгельса, «на “духе” с самого начала лежит проклятие — быть “отягощенным” материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков — словом, в виде языка»¹. Поэтому каждый язык изучается во всем многообразии и своеобразии его звуковой системы.

Многие слышат речь и понимают сказанное, но не обращают внимания на так называемые детали. Между тем и «детали» звучащей речи весьма существенны, не говоря уже об огромном общественном значении искусства правильного произношения на том или ином языке (орфоэпии).

В пьесе «Пигмалион» английского драматурга Б. Шоу главный герой Генри Хиггинс, знакомясь с неизвестными ему людьми, после первых же слов беседы с ними безошибочно определял, откуда они родом, из какой области Англии, из какого города и даже из какой части большого города. Простак считали

¹ Маркс К., Энгельс Ф. *Немецкая идеология* // Соч. Т. 3. С. 29.

Хиггинса волшебником. В действительности он был только хорошим фонетистом. Хиггинс прекрасно разбирался в звуковой системе английского языка и на основе точного и тонкого понимания этой системы быстро улавливал различные оттенки в произношении, определяемые местным многообразием самого общенародного языка.

В новелле французского писателя П. Мериме «Кармен» так изображается сцена знакомства автора-рассказчика с Хосе: «...Я наблюдал за своим проводником и за незнакомцем. Незнакомец, все так же молча, порывлся у себя в кармане, достал огниво и поспешил высечь для меня огонь... Закурив, я выбрал лучшую из оставшихся у меня сигар и спросил его, курит ли он.

— Да, сеньор, — ответил он.

То были первые слова, которые он произнес, и я заметил, что *s* он произносит не по-андалузски, из чего я заключил, что это путешественник, как и я, только что не археолог». Это место Мериме снабдил примечанием: «Андалузцы произносят *s* с придыханием, так что смешивают его с мягким *s* и *z*, которые испанцы выговаривают как английское *th*. По одному лишь слову *señor* — “сеньор” можно узнать андалузца»¹.

Итак, по характеру произношения одного слова и даже одного звука в слове опытное ухо автора отличает жителя Андалузии — южной части Испании — от жителей центра и севера этой страны. Точно так же при знакомстве с Кармен рассказчик быстро догадывается, откуда родом его героиня.

Что же представляют собой звуки речи? Звуки речи — это не только особые единицы языка, но и способ существования всякого языка. Самые разнообразные языковые явления прямо или косвенно имеют отношение к звукам речи². Но звуковая сторона языка сохраняет и свои специфические особенности, поэтому вполне правомерен особый раздел языкознания — учение о звуках речи (фонетика).

Хотя фонетика и составляет особый раздел языкознания, она вместе с тем самым тесным образом связана с лексикой и грамматикой. И это вполне понятно, так как фонетические процессы происходят в слове, а слово в свою очередь связано с грамматикой. Когда в русском языке рассматривают такие звуковые явления, как, например, чередование звуков типа *друг* — *дру-зья* — *дружба* (*г—з—ж*) или *кулак* — *кулачок* (*к—ч*), то эти фонетические процессы имеют вместе с тем лексическое и грам-

¹ Мериме П. Кармен / Пер. М. Лозинского. М., 1954. Гл. I.

² Несколько особое положение занимает орфография, хотя в ряде случаев и она находится в зависимости от звучащей речи (см. об этом далее).

матическое значения: образуются новые слова и наблюдается так называемая внутренняя флексия.

Теоретическое значение фонетики очень велико. Помимо уже отмеченной роли звуков как средства существования языка, фонетика важна в истории языка, в этимологических и грамматических исследованиях, в определении родства языков. Не зная фонетических соответствий в истории конкретного языка, нельзя установить происхождения отдельных слов, их связи со словами родственных языков и т.д. Практическое значение фонетики не менее велико, в особенности для правильного произношения звуков родного языка, для изучения иностранных языков, для понимания ряда специфических особенностей поэтического языка и т.д.

Фонетика одного языка, как правило, не похожа на фонетику другого или других языков. Поэтому уже сама звучащая речь как бы отделяет один язык от другого. Наивному сознанию часто кажется, что только звуки его родного языка являются «нормальными», звуки же других языков — это что-то причудливое. Уже Сумароков в своей комедии «Приданое обманом» (1765) высмеял такое отношение к иностранным языкам. Персонаж этой комедии, недалекий и забавный Салидар, утверждает, что иностранцы «еще и волшебству учат, а это еще и кражи хуже».

«Какому волшебству?» — спрашивает его Мирсан. — «Как же это не волшебство!» — отвечает Салидар. — «Иностранец иноземцу побормочет: бара, бара, бара! А тот ему сам на то: бара, бара, бара, и друг друга разумеют. От чево ето? Да не только большие, да и маленькие лет по пяти ребята бормочут. Для чего же я их не разумею?» Мирсан: «Для того, что ты их языка не знаешь: у тебя свой язык, а у них свой». Салидар: «У всех языки одинаковые: и у них такие же, как у нас». Мирсан: «Я говорю о наречии». Салидар: «Какое у них наречие! Бормотанье одно»».

Понимание «законности» звуков чужой речи исторически возникает не сразу. Между тем изучение своеобразия и особенностей звуков каждого языка имеет огромное значение для науки. Как ни своеобразна фонетика каждого языка, между родственными языками существует множество звуковых соприкосновений, звуковых переходов, звуковых закономерностей. Зная русское слово *дом*, легко понять украинское *дiм*, зная русский глагол *сведать*, легко понять и украинский глагол *з'їдати*, как и обратно.

Хотя система звуков в каждом языке специфична, существует немало таких фонетических явлений, которые оказываются общими в самых разнообразных языках. Именно это общее в

языках мира дает возможность построить общую фонетику, которая отличается от частной фонетики (фонетики отдельного языка) тем, что опирается на особенности разных языков, исследуются звуки речи, присущие многим языкам.

Точки соприкосновения между разными языками позволяют обосновать общую классификацию звуков речи, хотя в каждом отдельном языке подобная классификация уточняется и конкретизируется.

Нормы произношения в пределах определенного развитого языка обычно бывают едиными. Конечно, произношение в тех или иных диалектах может отличаться от произношения в литературном языке, но эти отклонения имеют свои исторические причины и должны быть истолкованы в истории соответствующего языка. Что же касается произношения, типичного для жаргонов, то оно характеризует речь лишь небольших социальных прослоек общества и обычно не относится к общелитературному языку. Отклонения от этих единых норм литературного произношения и то, что говорящие ощущают эти отклонения как нечто ненормальное, лишь подтверждают наличие единых норм в том или ином развитом литературном языке.

В свое время Тургенев в романе «Отцы и дети» изобразил, как известно, барина-аристократа Павла Кирсанова с его «принсипами» и разночинца Базарова с его «прынцыпами». Вот что писал по этому поводу в 1863 г. журнал «Заноза» в редакционной статье своего первого номера: «“Заноза”, как всякий серьезный современный журнал, желающий принять посильное участие в разработке вопросов, занимающих наше общество, не может не заявить предварительно тех начал, под знаменем которых она намерена выступать на поприще общественной деятельности. В этом отношении как самое общество наше, так и журналистика представляют нам три пути, сообразно трем видам убеждений: людей и журналов с *принципами*, *принсипами* и *прынцыпами*. Но так как нам случалось замечать, что люди и журналы с *прынцыпами*, когда дело касается до собственных их интересов, весьма нередко образуются в людей и журналы с *принсипами* и обратно, то мы и предпочитаем пристроиться к категории, неизменно остающейся верною самой себе, к категории людей и журналов с *принципами*»¹.

Литературной нормой уже в тургеневское время было *принципы* (с колебанием в ударении: *принципы* и *принципы*), тогда

¹ Лемке М. Очерки по истории цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904. С. 166.

как в различных жаргонах бытовали *принсіпы* (с подчеркнuto французским прононсом) и *прынцыпы* (с подчеркнuto «славянским» *ы*). То или иное произношение этого слова в своеобразных жаргонах воспринималось как отклонение от единой национальной произносительной нормы, которая хотя и сама претерпевает известные изменения, но в своей тенденции всегда стремится к единству и устойчивости.

Значительно позднее, уже в XX в., С. Волконский так характеризовал некоторые типы манерного произношения:

«У нас есть трагически-бытовой тон на *ы*: *А ты, быярин, зны-ешь ли...* Этот весь в гортани. А то есть тон элегической непринужденности — на *э*: *Здрэствуйте, дэрэгой Ивэн Ивэнович...* Этот говор весь в челюстях. Есть тон барышни-жеманницы — на *у*: *Ну чту это такуе...* Этот весь на губах»¹.

Произносительные нормы диалектов (см. гл. V) могут во многом не совпадать с литературными нормами. Но отклонения от литературной произносительной нормы иногда объясняются и недостаточным владением литературным языком, недостаточной грамотностью и общей культурой говорящего. Так, когда в «Мартине Идене» Дж. Лондона бедный матрос, грубоватый, но честный и искренний Мартин впервые входит в гостиную богатой и знатной Руфи Морз, его будущей невесты, последняя сейчас же определяет необразованность Мартина по его произношению:

«— Этот... Свинбэрн, — начал Мартин...

— Кто?

— Свинбэрн, — повторил он, — поэт.

— Суинберн, — поправила она его.

— Да, он самый, — проговорил он, снова покраснев»².

И подобно тому как человек не рождается со знанием языка (хотя способность к речи заложена в самой природе человека), а овладевает его богатством постепенно, углубляя свои общие познания, так и над произносительными нормами каждый должен трудиться, совершенствуя и шлифуя не только свою письменную речь, но и устную. Об этом говорят все великие мастера слова.

Таким образом, изучать звуки речи можно с разными целями — теоретическими и практическими. Специалисты в тех или иных областях знания обычно изучают звуки речи определенного языка с практической целью (например, при усвоении какого-нибудь иностранного языка). Для филологов проблема

¹ Волконский С. Выразительное слово. СПб., 1913. С. 55.

² Лондон Дж. Мартин Иден / Рус. пер. М., 1948. С. 9 (Чарльз Суинберн — известный английский поэт (1837–1909)).

звуков речи приобретает не только практическую, но и теоретическую ценность. Поэтому нам и предстоит, хотя бы кратко, разобраться в основных особенностях звуков речи.

Звуки речи изучаются с разных сторон: 1) с физической, когда рассматривают производство, передачу и восприятие самих звуков; 2) с физиологической, когда изучают устройство речевого аппарата человека и физиологические условия образования тех или иных звуков; 3) с лингвистической, когда анализируют звуки как своеобразные единицы языка и устанавливают систему звуков, характерную для определенного языка или для языков. Хотя лингвиста, естественно, больше всего интересует лингвистический аспект звуков речи, он не может пройти мимо физических и физиологических условий образования самих звуков¹.

2. Звуки речи и условия их образования

Одно из самых замечательных открытий науки о языке второй половины XIX в. может быть кратко сформулировано так: установление отличий звуков от букв, с помощью которых эти звуки изображаются. Данное положение сейчас кажется простой аксиомой, однако для своего времени это открытие имело огромное значение и привело к дальнейшим важным выводам и обобщениям. Еще великие основоположники сравнительно-исторического языкознания XIX столетия — Ф. Бопп (1791–1867), Р. Раск (1787–1832), А. Востоков (1791–1864) — часто смешивали звуки и буквы, не умели сформулировать сущность различия между ними. И только во второй половине XIX столетия разграничение это получило всеобщее и бесспорное признание.

С точки зрения повседневного нашего опыта может показаться даже странным, почему буквы, которые фиксируют звуки, вместе с тем оказываются совсем иным образованием.

Наш повседневный опыт, отчасти поддержанный школьными воспоминаниями, то и дело приводит к смешению звуков и букв. Часто, например, ошибочно ставят в один ряд в русском

¹ Сказанное отнюдь не означает, что фонетика относится к естественнонаучным дисциплинам. Звуки речи, как увидим, не отделимы от языка, который является общественным явлением. Любопытно, что еще во второй половине XIX в. известный немецкий фонетист Э. Зиверс свою книгу «Основы физиологии звуков» («Grundzüge der Lautphysiologie») в последующих изданиях выпускал под названием «Основы фонетики» («Grundzüge der Phonetik»). См. его предисловие к этой книге (1885).

языке *а* и *я*, хотя *я* является только буквой, тогда как *а* — звуком и буквой.

Хотя и по другому поводу, но справедливо К. Маркс подчеркивал, что научные понятия нельзя отождествлять с представлениями, которые возникают у нас на основе повседневного опыта. Обычно думают, пояснял свою мысль К. Маркс, будто прибыль получают оттого, что товары продаются не по своим стоимостям, а с накидкой. В действительности это совсем не так. Общая прибыль возникает именно потому, что товары продаются по их действительной стоимости.

«Это кажется парадоксальным, — замечает Маркс по данному поводу, — противоречащим повседневному опыту. Но парадоксально и то, что земля движется вокруг солнца и что вода состоит из двух легко воспламеняющихся газов. Научные истины всегда парадоксальны, если судить на основании *повседневного опыта, который улавливает лишь обманчивую видимость вещей*»¹ (курсив мой. — Р.Б.). Парадоксальным на первый взгляд кажется и то, что природа звуков совсем иная, чем природа букв, хотя звуки и буквы в языке соотносительны.

Обратимся к простейшему эксперименту. В словах *вода* и *водный* первая гласная буква одна и та же (*о*), хотя звуки различны: в первом слове мы слышим звук *а* (произносят *вада*), во втором — звук *о* (*водный*). В словах *чай* и *пять*, напротив того, буквы различны (*а* и *я*), хотя звук один и тот же. Известные сочетания звуков часто передаются настолько условно, что из самих букв невозможно извлечь никаких указаний на входящие в их состав звуки; таково, например, *ться* (*учиться, лечиться*), произносимое как *цѣь*. Следовательно, одна буква может соответствовать разным звукам, а разные звуки могут передаваться одной и той же буквой.

В большинстве алфавитов западноевропейских языков 26 букв, в арабском — 28, в русском — 32 (33, если считать и *ѣ*). Между тем звуков в языке гораздо больше. Но подобно тому как с помощью семи нот в музыке выражаются самые сложные сочетания музыкальных звуков, так с помощью сравнительно ограниченного количества букв в алфавитах различных языков передаются многообразные звуки речи.

Всякий звук — результат колебаний определенной физической среды. Эти колебания перемещаются по воздуху звуковыми волнами и воспринимаются аппаратом, в котором возникают такие же колебания, как и в самом источнике звука. Звуки речи

¹ Маркс К. Заработная плата, цена и прибыль // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 16. С. 131.

являются важнейшей разновидностью звуков вообще. При производстве звуков речи звуковые волны образуются в результате колебаний голосовых связок. Источник звуков речи — речевой аппарат человека, воспринимающий аппарат — ухо человека.

С точки зрения порождаемого ими слухового впечатления (акустики) звуки речи различаются по их *силе*, *высоте* и *тембровой окраске*. Сила звука зависит от амплитуды колеблющегося тела, высота звука определяется частотой подобных колебаний, тогда как тембровая окраска — результат действия так называемых обертонов, позволяющих слышать «голоса» не только различных людей, но и различных инструментов. При образовании звука одинаковой силы и высоты легко отличают «голос» рояля от «голоса» скрипки или «голоса» фагота.

Легкие, сжимаясь наподобие мехов, выталкивают находящийся в них воздух¹. Через дыхательное горло воздушный столб попадает в гортань. Здесь имеются голосовая щель и голосовые связки (см. рис.). Последние одним концом прикреплены к щитовидному хрящу (кадыку), а другим — к подвижным черпаловидным хрящикам, движения которых то сближают голосовые связки, то их разъединяют. Когда воздушный поток приводит голосовые связки в периодические колебания, тогда возникает музыкальный звук (голос). В тех же случаях, когда голосовая щель не создает преграды для воздушного потока, выходящего из легких, голосовые связки не подвергаются колебаниям и голоса не возникает. Но слышится при этом шум.

В той или иной степени шум всегда сопровождает голос, однако голос преобладает над шумом при произнесении гласных (откуда и их название: гласные — звуки с голосом) и некоторых согласных. При образовании большинства согласных звуков шум доминирует над голосом. Исключение — сонорные согласные (например, *н*, *р*), в которых превалирует голос и которые тем самым приближаются к гласным. В остальных согласных либо шумы преобладают над голосом (например, в звонких согласных типа *д*, *б*, *г*), либо голос вовсе отсутствует и согласные образуются шумами (например, глухие согласные типа *т*, *п*, *к*).

В зависимости от того, какое положение занимает так называемая нёбная занавеска (мягкое нёбо), воздушный поток, выходя из гортани, может попасть в полость носа или миновать ее. Когда нёбная занавеска (мягкое нёбо) плотно прилегает к задней стенке зева, то воздушный поток не может попасть в полость носа. В тех же случаях, когда нёбная занавеска опущена, то про-

¹ См.: *Винокур Г.О.* Русское сценическое произношение. М., 1948. С. 32–40.

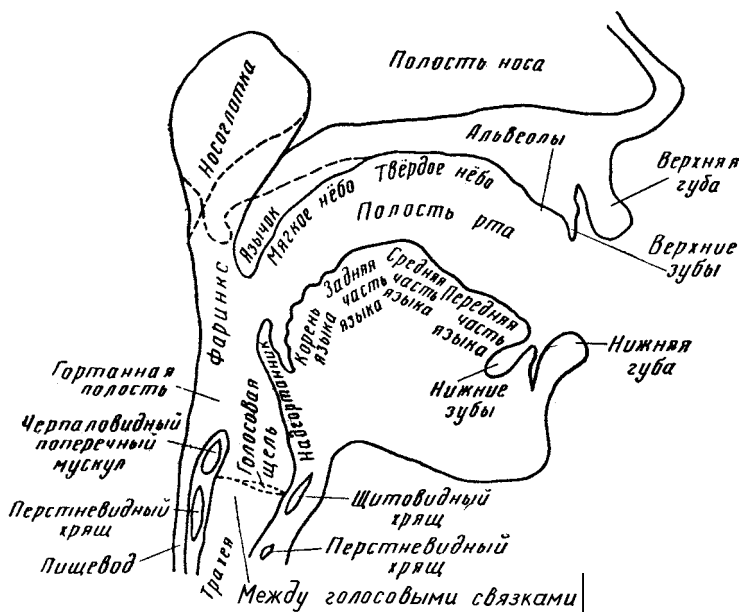
ход в полость носа оказывается открытым. Полость носа становится резонатором, и звуки приобретают носовую окраску. В русском языке такими звуками являются *м*, *н*. В других языках их больше (например, во французском, португальском, польском).

Основной «лабораторией», в которой формируются звуки речи, является полость рта. Именно здесь расположен один из важнейших активных органов речи — язык. Полость рта служит одновременно и основным резонатором звуков речи.

Активные органы речи производят те или иные движения, необходимые для образования звуков, и имеют тем самым особо важное значение для их формирования. К активным органам речи относятся: голосовые связки, корень, спинка и кончик языка и, наконец, губы. *Пассивные органы речи* не производят самостоятельной работы при звукообразовании и выполняют лишь вспомогательную роль. К пассивным органам речи, в частности, относятся: твердое нёбо, так называемые альвеолы (находятся перед передней частью твердого нёба) и зубы.

При произнесении некоторых звуков активные органы могут не принимать непосредственного участия. Они переходят тем самым на положение пассивных органов речи.

Расположение органов речи показано на рисунке.



Как было уже замечено, отличие гласных от согласных заключается в том, что при образовании гласных голос преобладает над шумом, тогда как при образовании большинства согласных (за исключением сонорных) соотношение оказывается противоположным: шум доминирует над голосом.

Как же классифицируются гласные? Существуют разные системы их классификации¹. Здесь мы укажем лишь на главнейшие признаки, которые составляют основу любой классификации.

Признаки эти перекрестные: классификация гласных, как и классификация согласных, опирается на целую систему взаимно дополняющих и уточняющих друг друга признаков.

Гласные различаются по *подъему языка*. При *нижнем* подъеме раствор рта оказывается наибольшим, при *верхнем* — наименьшим. *Средний* подъем, как это явствует из самого названия, располагается между нижним и верхним. Различие в подобных подъемах в русском языке хорошо иллюстрируется поочередным произнесением гласных звуков *а* (нижний подъем), *и* (верхний подъем), *о* (средний подъем). Проводя разграничение гласных по подъему, нужно постоянно учитывать, что никаких резких границ между разными подъемами не существует: от самого нижнего гласного к самому верхнему идет непрерывный ряд.

Гласные различаются затем по артикуляции языка относительно нёба, т.е. в зависимости от того, какая часть языка движется к той или иной части нёба. Так как на нёбе отмечают переднюю, среднюю и заднюю части, то соответственно и гласные различаются *переднего ряда* (передняя часть языка поднимается к границе между передним и средним нёбом), *среднего ряда* (средняя часть языка поднимается к среднему нёбу) и, наконец, *заднего ряда* (задняя часть языка движется к границе между средним и задним — мягким — нёбом). Так, например, в русском языке *и* — переднего ряда, *а* — среднего или средне-заднего ряда, *о* — заднего ряда.

Как между подъемами, так и между рядами гласных нет резких различий: ряды так же незаметно переходят друг в друга, как и подъемы. Поэтому при экспериментальном установлении отмеченных различий необходимо правильно поставить опыт и терпеливо тренироваться.

¹ См.: *Аванесов Р.И.* Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956. С. 88 и сл.; *Матусевич М.И.* Введение в общую фонетику. 2-е изд. Л., 1948. С. 53; *Кондратьев А.* Звуки и знаки. 2-е изд. М., 1978; *Ladefoged P.* The Classification of Vowels, *Lingua* // *International Review of General Linguistics*. Vol. 2. Amsterdam, 1956. P. 113–128.

Гласные различаются далее по степени участия губ при произнесении гласных. Те из них, которые образуются при активном участии (выпячивании) губ, называются губными (лабиализованными). Все остальные гласные именуются негубными (нелабиализованными). Различие между лабиализованными и нелабиализованными гласными легко обнаруживается при сравнении *о* и *у*, с одной стороны (выпячивание губ), *а* и *и* — с другой (выпячивания губ не наблюдается).

Сравнивая классификацию гласных по подъему языка, по артикуляции языка относительно нёба и по участию или неучастию губ, нельзя не обнаружить взаимодействия всех этих признаков в самой классификации гласных. Один и тот же гласный попадает в разные пересечения: он характеризуется и по подъему, и по артикуляции, и по участию или неучастию губ. В разных языках система гласных различна. В русском языке, например, нет гласного *й*, столь часто встречающегося в языках немецком и французском.

Лишь после ознакомления с классификацией гласных можно подойти к сложному вопросу об их определении. Дело в том, что наличие голоса в гласных, существенное само по себе, еще не определяет гласных как специфических звуков речи, ибо, во-первых, голос присущ и сонорным согласным, а во-вторых, наряду с голосом в гласных имеются и шумы. Несостоятельно и традиционное представление о гласных как слогообразующих звуках (в противоположность согласным, которые таковыми не являются), так как слогообразующими звуками могут быть те же сонорные согласные. Поэтому для правильного определения гласных приходится, по-видимому, выйти за пределы простых звуков и обратить внимание на то, как ведут себя эти простые звуки в системе различных слогов данного языка.

Тогда окажется, что *гласные* — это такие звуки, которые в сочетании с другими всегда образуют вершину слога. Что касается *согласных*, к которым теперь переходим, то это такие звуки, которые в сочетании с гласными являются неслогообразующими¹.

Так выход за пределы простых звуков по направлению к их сочетаниям усиливает позицию исследователя, определяющего гласные и согласные.

Как и классификация гласных, классификация согласных основывается на целом ряде обусловленных признаков.

Прежде всего согласные различаются в зависимости от того, какого рода преграды для воздушного потока, идущего из легких,

¹ Ср.: Зиндер Л.Р. Общая фонетика. Л., 1960. С. 106 и сл.

образуют органы речи, в частности язык, губы, нёбо и верхние зубы¹. Если органы речи оказываются сомкнутыми, то воздушная струя размыкает их. В результате возникают *смычные*, или *взрывные*, согласные. Каждый, отчетливо артикулируя звуки *t* или *n*, легко может услышать своеобразный взрыв, сопровождающий эти согласные.

В тех же случаях, когда органы речи не сомкнуты, а только сближены, между ними остается щель. В эту щель проходит воздушная струя, образуется характерное трение воздуха, а возникающие при этом шуме согласные звуки получают название *щелевых* (от слова *щель*) или *фрикативных* (от латинского глагола *fricare* — «тереть», так как воздух как бы трется в щели в неплотно сближенных органах речи). Стоит только произнести звуки типа *s*, *v*, чтобы убедиться в характере щелевых (фрикативных) согласных. В отличие от взрывных, которые артикулируются мгновенно, щелевые согласные легко протягиваются (*c...c...c*)

В различных языках встречаются еще и такие согласные, которые соединяют в себе особенности взрывных с особенностями щелевых согласных. Подобные звуки как бы начинаются с взрывного элемента и оканчиваются элементом щелевым. Называются они *аффрикатами*. Русская аффриката *ц* состоит из *t* (взрывной) и *s* (щелевой), аффриката *ч* — из *t* (взрывной) и *ш* (щелевой). Аффрикаты встречаются в английском (*George* — «Георгий»), немецком (*deutsch* — «немецкий»), итальянском (*giorno* — «день») и многих других языках.

Если первый ряд различий в области согласных определяется характером преград, стоящих на пути воздушного потока, идущего из легких, то второй ряд различий связан с деятельностью активных органов речи — языка и губ. Соответственно этому новому ряду различий согласные делятся на *язычные* и *губные*. Когда в язычных артикуляциях участвует передняя часть языка, возникают *переднеязычные* согласные. Возможны также *среднеязычные* и *заднеязычные* согласные.

¹ Единственная группа согласных, которая образуется без струи воздуха, проходящей через речевой аппарат, — это группа так называемых шелкающих согласных, имеющаяся в некоторых языках Африки. Артикуляция этих согласных для представителей других языков сопряжена с немалыми трудностями. Вот как описывают усвоение этих согласных звуков чешские инженеры, путешественники и полиглоты И. Ганзелка и М. Зикмунд в своей книге «Африка грез и действительности» (Рус. пер. Т. III. М., 1956. С. 114): «В кафрском языке первым из этих интересных звуков, которые англичане называют *click sounds*, является *s*. Но только это *s* не имеет ничего общего с нашим. Попробуйте произнести шелкающий звук, как если бы вы чему-то удивлялись, посасывайте языком, прижатым к передним верхним зубам и к нёбу. Мы шелкали наперобой. Шелкание требует виртуозного исполнения».

Разделение проводится и дальше: среди переднеязычных согласных различают *зубные* (например, *t*) и *альвеолярные* (например, *ш*). При артикуляции среднеязычных согласных средняя часть спинки языка поднимается и сближается с твердым нёбом (например, немецкий так называемый *ich-Laut* в словах типа *ich* — «я», *Recht* — «право»). При артикуляции заднеязычных аналогичное движение прodelывает задняя часть языка, сближающаяся с мягким нёбом. К заднеязычным относятся русские *к, г, х*.

Несколько особое положение занимают дрожащие согласные, например *p*, при котором дрожит язычок мягкого нёба или кончик языка. В разных языках *p* может быть разноударным.

Кроме язычных, к группе согласных звуков обычно относят и согласные губные, которые могут быть *губно-губными* (билабиальными, например русское *п*) или *губно-зубными* (например, *в*). Различие между губно-губными и губно-зубными легко обнаруживается экспериментально: для этого нужно лишь поочередно произнести несколько раз русские звуки *п* и *в*.

Третий ряд различий в системе согласных звуков создается так называемой *палатализацией* (от лат. *palatum* — «твердое нёбо»). Палатализация, или «мягкость», — это результат поднятия (обычно дополнительно к основной артикуляции) средней части спинки языка к твердому нёбу. Палатализироваться, или «смягчаться», могут любые согласные, кроме среднеязычных. Различие между палатализированными (мягкими) и непалатализированными (твердыми) согласными отчетливо обнаруживается при сравнении начальных согласных в словах *пел* (палатализованное *п*) и *пол* (непалатализованное *п*), *тем* и *том*, *вёл* и *вол* или конечных согласных в словах *был* и *был'*, *спор* и *спор'* (знак ' означает смягчение). Если дополнительная артикуляция производится не к твердому, а к мягкому (заднему) нёбу (обычно с помощью задней части спинки языка), то такой звук называется *веляризованным* (от лат. *velum palati* — «нёбная занавеска»).

В русском языке твердый *л* является веляризованным звуком в отличие от мягкого *л*, который выступает как палатализированный звук: ср. начальный *л* в словах *лоб* (веляризованный) и *лето* (палатализированный). Во многих европейских языках, например в английском, немецком и французском, *л* обычно не бывает ни таким веляризованным, ни таким палатализированным, как русский твердый и мягкий звук *л*. Поэтому русский человек, не знающий иностранных языков, обычно произносит слова типа *алло* (при телефонном звонке в значении «слушаю») с более веляризованным *л*, чем это следует по нормам французской фонетики (слово заимствовано из французского языка).

Итак, согласные различаются:

- 1) по участию или неучастию голоса (сонорные, звонкие, глухие; в большинстве согласных шум преобладает над голосом);
- 2) по характеру преграды в полости рта и по способу ее преодоления (взрывные, фрикативные и аффрикаты);
- 3) по характеру работы активных органов речи (переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные, губные);
- 4) по участию или неучастию полости носа (носовые и чистые);
- 5) по дополнительной среднеязычной артикуляции или ее отсутствию (палатализованные и непалатализованные, или мягкие и твердые согласные)¹.

Таковы в общих чертах условия образования звуков речи.

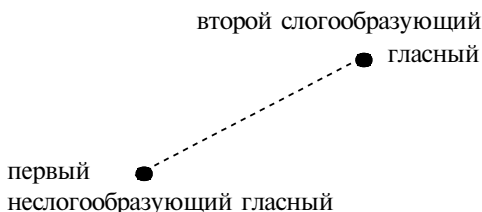
Звуки речи бывают не только простыми, но и сложными. Уже упоминались сложные звуки в системе согласных (в русском языке — это *ц* и *ч*). Сложные звуки бывают и в системе гласных. Это прежде всего дифтонги. *Дифтонги* образуются при соединении двух гласных в одном слоге.

Истинный дифтонг предполагает такое соединение гласных, в системе которого оба звука являются в одинаковой степени слогообразующими. Однако практически такие дифтонги встречаются очень редко (они имеются в латышском языке). Обычно же в различных языках существуют дифтонги, называемые ложными. В ложных дифтонгах один из гласных более выделяется, чем другой. Один гласный является слогообразующим, стоит как бы на вершине слога, а другой оказывается менее напряженным и лишь «дополняет» первый звук. При этом ложные дифтонги бывают *нисходящими* (падающими) и *восходящими*. В нисходящих дифтонгах первый гласный более напряжен, чем второй. Слогообразующим является первый звук. Сюда относятся немецкие дифтонги типа *ei*, *eu* в словах *mein* — «мой», *heute* — «сегодня». Рисунок нисходящих (падающих) дифтонгов может быть представлен так:



¹ См.: *Винокур Г.* Русское сценическое произношение. С. 40.

В дифтонгах восходящих второй гласный более напряжен, чем первый. Второй гласный оказывается слогообразующим. Сюда относятся дифтонги типа румынского *ie* в слове *mière* — «мед»). Рисунок восходящих дифтонгов может быть представлен так:



Следовательно, если в истинных дифтонгах обе вершины одинаковы, то в ложных всегда выделяется одна из вершин, которая и оказывается слогообразующим звуком.

Говорящий обычно не замечает, что дифтонг — сложный звук, так как фонетически дифтонг воспринимается как единое образование. В действительности же внутри дифтонга происходит своеобразное внутреннее движение, внутреннее взаимодействие звуков. Взаимодействие звуков вообще имеет огромное значение в фонетике.

Дифтонги часто встречаются в английском языке: *smoke* (произносится smouk) — «дым», *about* (эбáут) — «кругом», *take* (teik) — «брать», *voice* (vóis) — «голос», *now* (naw) — «теперь». Для этого же языка характерны и трифтонги — сочетание трех гласных в одном слове: *desire* (dizáiэ) — «желание» (трифтонг áíэ), *flower* (flauэ) — «цветок» (трифтонг auэ), *lower* (louэ) — «низший» (трифтонг ouэ) и т.д. В современном русском литературном произношении дифтонги и трифтонги не наблюдаются¹.

¹ О звуках речи и общей фонетике см.: *Зиндер Л.Р.* Общая фонетика. Л., 1960 (библиография на русском и иностранных языках на с. 326–331); *Реформатский А.А.* Введение в языковедение. М., 1960. С. 121–132, 172–185 (глава «Фонетика»); *Аванесов Р.И.* Фонетика русского литературного языка. М., 1956; *Жинкин Н.И.* Механизмы речи. М., 1958. Гл. 4 и 5; *Винокур Г.О.* Русское сценическое произношение. М., 1948; *Malmberg B.* La phonétique. Paris, 1958 (библиография на с. 134–135); *Dieth E.* Vademekum der Phonetik. Bern, 1950; *Vietor W.* Kleine Phonetik des deutschen, englischen und französischen. 12 Aufl. Leipzig, 1926 (сравнительная фонетика немецкого, английского и французского языков); *Grammont M.* Traité de phonétique. Paris, 1950; *Аванесов Р.И.* Русское литературное произношение. М., 1972.

3. Понятие фонемы

Как ни существенны сами по себе звуки речи, не все они имеют одинаковое значение в фонетической системе того или иного языка. Некоторые звуки речи, важные для одного языка, могут иметь второстепенное значение для другого, как и наоборот: то, что находится как бы на периферии одного языка, выдвигается в центр фонетической системы другого языка. При поверхностном изучении неизвестного иностранного языка иногда создается ошибочное впечатление, что звуки этого языка повторяют звуки нашего родного языка плюс или минус несколько отдельных звуков. В действительности дело обстоит совсем иначе: обычно почти все звуки другого языка имеют те или иные особенности (часто не сразу уловимые), которые превращают фонетическую систему каждого языка в самостоятельную и своеобразную систему. Очень специфична и так называемая *артикуляционная база* каждого языка — совокупность речевых двигательных (артикуляционных) тенденций, характерных для данного языка. Проведем такой эксперимент: протянем звук *a* в слове *маленький* и произнесем его как *мааленький*. Смысл слова от этого не изменится. Но вот протянем тот же звук *a* в немецком слове *Stadt* — «город» и произнесем его как *Staat*. Смысл слова изменится — *Staat* означает «государство». Оказывается, не всегда и не во всяком языке изменение того или иного звука приводит к изменению смысла слова: в русском языке краткое или долгое *a* более или менее безразлично, напротив того, в немецком языке это различие в произношении *a* приводит к различию в смысле.

То же следует сказать, например, и о чешском языке, в котором противопоставление краткого и долгого *a* имеет смысло-различительное значение: *pas* — «паспорт», но *pás* с долгим *a* означает «пояс».

Аналогичное различие между долгими и краткими гласными существует и в английском языке: *lip* — «губа» имеет краткое *i*, но *leap* — «прыжок» (*ea* произносится как *i*) — долгое *i*. Обобщая эти наблюдения, можно сказать, что если для одних языков краткость и долгота гласных имеет различительное (фонологическое) значение, то для других в силу особенностей их звуковой системы краткость и долгота гласных не создает этих различий и, следовательно, не имеет различительного значения.

Но здесь возникает новый вопрос: что означает различительная или смысло-различительная функция звука?

Если сравнить два русских слова *точка* и *дочка*, то следует признать, что эти слова различаются: 1) по своему значению, 2) по своему происхождению. А если сравнить *пол* и *пел*, то различие коснется не только значения, происхождения, но и грамматической формы. Но среди дифференциальных признаков, отличающих одно слово от другого, имеется и признак, относящийся к звукам: в слове *точка* начальный согласный оказывается глухим, а в слове *дочка* — звонким. Следовательно, когда говорят о различительной или смысловоразличительной функции звука, следует иметь в виду, что подобная функция всегда находится в *ряду других средств*, отличающих одно слово от другого в системе языка.

Не все звуки речи имеют одинаковый удельный вес в языке. Различают звуки речи и фонемы.

Фонема — это кратчайшая звуковая единица в составе слова и морфемы, служащая для образования и различения самих слов и морфем¹.

Понятия фонемы и звука речи не всегда совпадают: фонема может состоять не только из одного звука, но и из двух (например, в дифтонгах) и даже из трех (в трифтонгах). В свою очередь, две фонемы звучат иногда как один звук, например в слове *детский*, где звук *ц* объединяет последнюю фонему корня *т* и первую фонему *с* морфемы *ский*. Несмотря на эту сложность, фонема остается кратчайшей звуковой единицей в составе слова и морфемы, так как ее нельзя разделить, не нарушая всей фонологической системы языка.

Теорию фонемы на материале различных языков стали разрабатывать русские ученые начиная с конца 70-х гг. XIX столетия (Бодуэн де Куртенэ, Крушевский и их ученики). С начала 10-х гг. XX в. этими вопросами успешно занялся акад. Л.В. Щерба, а затем Е.Д. Поливанов, В.А. Богородицкий, Н.Ф. Яковлев и др. Лишь позднее теория фонемы получила широкое распространение в зарубежной лингвистике².

Теория фонемы принадлежит к сложнейшим проблемам современного языкознания. Поэтому неудивительно, что она

¹ См.: *Аванесов Р.И.* Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956. С. 13 и сл.

² Высокая оценка работ русских ученых в области фонологии дана Н.С. Трубецким в его кн.: *Grundzüge der Phonologie*. Praha, 1939. S. 8 (*Трубецкой Н.С.* Основы фонологии. М., 1960. С. 11), и в ст.: *La phonologie actuelle // Journal de Psychologie*. Paris, 1933. XXX. P. 223. В этой статье, в частности, показано, что Бодуэн пришел к открытию фонемы независимо от Ф. де Соссюра. То же признает и Д. Джоунз (*The Phoneme: its Nature and Use*. Cambridge, 1950. P. VI).

освещается весьма неодинаково в различных направлениях науки о языке.

То, что объединяет одних лингвистов, то разъединяет других. Различие в понимании фонемы, кратко говоря, сводится к следующему: фонемы самым непосредственным образом связаны со звуками речи, являются материальными единицами языка. Поэтому фонология, изучающая фонемы, и фонетика, изучающая звуки речи, оказались не двумя различными дисциплинами, а лишь двумя аспектами единого целого¹. Поэтому нельзя согласиться с теми учеными, которые видят в фонеме лишь ее дифференциальные функции, но отказываются признать ее материальность.

В этом столкновении двух различных точек зрения на фонему нельзя не обнаружить более глубоких расхождений: одни ученые считают, что в языке имеются только отношения, тогда как то, что стоит за этими отношениями, от нас будто бы скрыто. Другие считают, что отношения передают реальные значения.

Поэтому и в языке реальны не только отношения, но и то, что оказывается за этими отношениями, что выражается с помощью этих отношений.

Фонемы так же материальны, как и звуки речи. Если это положение объединяет определенную часть лингвистов, то по вопросу о том, как следует понимать позитивные и дифференциальные признаки фонемы, возникли различные точки зрения.

Л.В. Щерба всегда считал, что фонема непосредственно связана со смыслом слова². Действительно, трудно представить себе, чтобы такая важнейшая единица языка, как фонема, находилась в стороне от основной функции самого слова. Однако, как показывают новейшие исследования, фонема не прямо различает значения слов, а через посредство самих этих слов.

Поясним данное положение. Возвращаясь к приведенному выше примеру *точка — дочка*, можно утверждать, что эти слова дифференцируются прежде всего по своему лексическому значению, затем по своему происхождению. Фонемы же *т* и *д*, различая звуковую оболочку слов через посредство самих этих слов, лишь способствуют дифференциации. Следовательно, лек-

¹ См.: *Щерба Л.В.* Очередные проблемы языкознания // Изв. АН СССР. Отделение литературы и языка. 1945. Т. IV. Вып. V. С. 185–186. Статья перепечатана в кн.: *Щерба Л.В.* Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. I. Л., 1958. С. 5–24.

² См.: *Щерба Л.В.* Очередные проблемы языкознания. С. 185; см. также: *Штибер З.* Теория фонем И.А. Бодуэна де Куртенэ в современном языкознании // ВЯ. 1955. № 4. С. 89 и сл.

сическое значение в языке прямо связано со словом, как лексической единицей языка, и лишь косвенно с фонемой, как единицей фонологической системы языка¹.

Не учитывать этих тонких различий — значит не учитывать специфики фонетики в отличие от специфики лексики. Но нельзя согласиться и с теми учеными, которые склонны вообще не связывать фонему со смысловыми тенденциями языка.

Согласно этой точке зрения фонемы различают только звуковые оболочки слов, которые будто бы не имеют никакого отношения к самим словам. Между тем слово — это единство значения и способа выражения данного значения, поэтому звуковая оболочка слова не может быть безразлична для самого слова.

Итак, фонемы дифференцируют смысл слов не непосредственно, а через посредство звуковой оболочки самих слов: различая звуковую оболочку слов, фонемы тем самым способствуют их дифференциации. Звуковая оболочка слов не отделима от самих слов, как не отделимо выражение лица человека от самого человека.

Смыслоразличительное (фонологическое) значение в системе гласных могут иметь не только долгие и краткие, но и открытые и закрытые звуки (см., например, во французском *près* — «около», где *e* открытое, и *pré* — «луг», где *e* закрытое). В системе согласных большое значение имеет различие между глухими и звонкими: *нить* — *бить* (*n* — глухой, *b* — звонкий), *тьнь* — *день* (*t* — глухой, *d* — звонкий), *кость* — *гость* (*k* — глухой, *g* — звонкий), *шар* — *жар* (*ш* — глухой, *ж* — звонкий) и т.д. Различие между этими согласными через посредство звуковой оболочки слова используется наряду с другими средствами для дифференциации смысла слов.

Иногда бывает и так, что один и тот же фонологический признак по-разному реализуется в языках мира, имеет как бы неодинаковую доминанту. Различие по степени звонкости согласных наблюдается и в русском языке (*точка* — *дочка*) и в корейском языке (*pata* — «получать», *pada* — «море»), но для корейского языкового восприятия степень звонкости согласных не так существенна, как для русского, ибо кореец противопоставляет *t—d* не столько по степени их звонкости, сколько по степени напряжения мускулов (*t* более напряжено, чем *d*). Поэтому фонологическая доминанта в корейском языке оказывается иной, чем в русском.

¹ Следует все время помнить, что фонемы находятся в ряду других средств, дифференцирующих слова.

Не менее трудный теоретический вопрос (наряду с проблемой смыслоразличительной функции фонемы) возникает и тогда, когда следует осмыслить соотношение разных сторон в самих фонемах: в какой степени фонемы способствуют созданию фонологической системы языка (позитивные особенности фонем) и в какой — фонемы выполняют лишь своеобразные «негативные» функции, т.е. служат различительным тенденциям языка.

Исходя из положения (швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра), согласно которому «в языке не существует ничего, кроме различий»¹, многие современные зарубежные фонологи считают, что фонемы только подтверждают этот общий закон языка. С такой точкой зрения решительно нельзя согласиться по только что изложенным соображениям.

Как ни существенны и ни глубоко различительные тенденции в языке, сам язык не может состоять только из различий, как не может и сводиться к одним только отношениям. Чтобы различать, нужна *материя*, которая подлежит расчленению и различению, подобно тому как существование языковых отношений подразумевает определенное содержание, которое выражается в этих отношениях и с помощью этих отношений.

Фонемы прежде всего образуют вполне реальную фонологическую систему языка. Так, в русском языке имеется 39 фонем, в английском — 40, во французском — 35, в финском — 30, в корейском — 39, а в абхазском — 71 фонема. Сами эти фонемы формируют фонологическую систему языка, как звуки речи — систему фонетическую. Задача исследователя каждого конкретного языка заключается в том, чтобы разобраться, какие именно фонемы и как образуют конкретную языковую систему. Что же касается различительных функций фонем, то эти функции производны от самой реальной языковой системы и были бы невозможны без этой последней. Различительные тенденции в языке, в частности в фонологии, не могли бы существовать, *если бы не было того, что подлежит различению* (звуков речи, морфем, слов, словосочетаний, предложений).

Не следует забывать, что не все фонемы языка попарно противопоставлены (как, например, *t—d, c—z, n—b* и пр.). Могут существовать и непарные, как бы «замкнутые» фонемы (например, согласная фонема *j* в русском языке). В языке, однако, эти «замкнутые» фонемы находят свое место в системе².

¹ Об этом см. в связи с проблемой омонимов гл. I.

² По сравнению с согласными фонемами гласные фонемы гораздо менее четко укладываются в парные противопоставления.

Природа парных, противопоставленных друг другу фонем тоже не исчерпывается различительными функциями. Чтобы фонемы могли противостоять в языке, они должны не только отличаться друг от друга, но и тяготеть друг к другу в системе языка. Взрывные согласные типа *т* и *д* дифференцированы: первый из них является глухим, а второй — звонким. Но вместе с тем этим согласные и связаны между собой: оба они являются согласными взрывными и зубными. Если по одной линии (глухость—звонкость) данные фонемы в русском языке противопоставлены (различительные признаки фонем), то по другой линии (характеру преграды и месту образования) эти же фонемы сближены (общие или интегральные признаки фонем). Следовательно, и в этом случае язык не оперирует «только различиями». Сами различия были бы невозможны, если между разными фонемами не было бы многочисленных точек соприкосновения.

В своих «Основах фонологии» Н.С. Трубецкой со свойственной ему образностью выражения замечает, что «нельзя противопоставлять чернильницу и свободу воли», так как они не имеют никакого «основания для сравнения». Нельзя противопоставлять и фонемы, не обладающие подобным «основанием для сравнения»¹.

Фонемы существуют в языке в составе слов и морфем. Однако функции фонем обнаруживаются не везде и не всегда достаточно отчетливо. Они зависят от того, какую *позицию* занимает та или иная фонема в составе слова или морфемы. Различают *сильные* и *слабые* позиции фонем. В сильных позициях фонема отчетливо показывает все свои возможности, в слабых же, напротив того, благоприятных условий для выявления своих признаков фонема не получает.

В начальном положении, например, фонемы *т* и *д* отчетливо противопоставлены в русском языке: *том—дом, точка—дочка* (сильная позиция). Иначе оказывается в конце слов, так как звонкий согласный в исходе слова оглушается: *род* звучит как *рот* и тем самым противопоставления звонкого *д* глухому *т* в этом случае нет (слабая позиция). Происходит своеобразная *нейтрализация* фонем: в слабой позиции ослабевают те возможности фонемы, которые в сильной проявляются с большей отчетливостью. Создается впечатление, что фонемы в подобных случаях как бы исчезают, оказываются нереальными.

В действительности фонемы никуда не исчезают, так как они неразрывно связаны со звуками речи. Все объясняется тем, что

¹ Трубецкой Н.С. Основы фонологии. М., 1960. С. 75.

многообразные свойства фонем различно проявляются в различных позициях. Здесь и обнаруживается то, что уже было отмечено: фонемы имеют не только различительные, но и общие признаки. Поэтому, когда ослабляются одни свойства фонем, усиливаются другие их свойства. Подвижность фонем и их полифункциональность вовсе не означают, что фонемы нематериальны. Эта последняя точка зрения на фонему несостоятельна.

Когда фонема, позиционно видоизменяясь, совпадает с другой фонемой, то эта ее новая форма, совпадающая с другой фонемой, называется *вариантом* первой фонемы. Возвращаясь к только что приведенному примеру, можно сказать, что звонкая фонема *д*, оглушаясь в конце слова (*род* > *рот*) и изменяясь в *т*, выступает как вариант фонемы *д*.

Несколько иначе оказывается в тех случаях, когда фонема, позиционно видоизменяясь, не совпадает, однако, с другой фонемой. В этом случае создается лишь *вариация* данной фонемы, выступающая как разновидность этой последней. Так, в словах *мыл* и *мил* различие между звуками *и* и *ы* не самостоятельно, оно целиком обусловлено твердостью или мягкостью предшествующей согласной фонемы *м*: после мягкой согласной фонема *и* произносится в своем основном виде (*мил*), после твердой та же фонема выступает в виде своей вариации *ы* (*мыл*). Звук *ы* оказывается не самостоятельной фонемой в русском языке, а вариацией фонемы *и*. Иными словами, в определенных позициях фонема *и* может выступать в виде *ы*; звук *ы* включается в фонему *и*.

Варианты и вариации фонем только подтверждают тот очевидный факт, что фонемы самым тесным образом связаны со звуками речи и существуют в звуковой системе языка. Фонемы конкретного языка невозможно изучать вне тех разнообразных позиций, в которых сами они функционируют в языке.

Если фонема проявляется в определенных разновидностях, то каждая из этих разновидностей обусловлена строго определенными фонетическими условиями. Согласная фонема *г*, например, произносится в русском языке как звонкий твердый звук в положении перед гласными фонемами заднего и среднего ряда (*нагá, съпагá, нóгу*), тогда как перед гласными фонемами переднего ряда та же фонема смягчается *г'* (*наг'и́, дуг'и́, наг'э́*). Еще иначе звучит фонема *г* в конце слова, где она произносится как глухой твердый звук *к* (*но́к, сапóк*).

Различие между глухими и звонкими согласными является фонетическим, но оно принимает фонологический характер в противопоставлениях типа *шар—жар, том—дом, пел—бел*. Все это

свидетельствует о глубоких внутренних связях, всегда существующих между фонетическим и фонологическим аспектами языка.

Итак, фонемы 1) являются важнейшими звуковыми единицами в составе слов и морфем; 2) они самым тесным образом связаны со звуками речи; 3) их смыслоразличительная функция проявляется в том, что, дифференцируя звуковую оболочку слова, они тем самым способствуют наряду с другими факторами дифференциации слов; 4) противостоя друг другу по одним своим признакам, фонемы сближаются и соприкасаются по другим своим признакам; 5) фонемы существуют в системе языка, поэтому их изучение предполагает тщательное исследование всех фонетических условий, в которых те или иные фонемы встречаются¹.

4. Взаимодействие звуков в речевом потоке

Подобно тому как в лексике изучаются не только отдельные слова, но и система слов, различные виды лексических соединений — свободные и устойчивые сочетания, так и в фонетике исследуются природа и свойства не только отдельных звуков, но и самые различные случаи их взаимодействия. В процессе подобного взаимодействия порой теряются границы между звуками, как теряются границы и между словами в непрерывном потоке речи.

Композитор С. Прокофьев рассказывал, что в возрасте пяти—шести лет он стал сочинять свои первые музыкальные пьесы. Однажды он принес своей матери — отличной пианистке —opus, названный «рапсодией Листа». На вопрос изумленной матери, почему это «рапсодия Листа», выяснилось, что юный музыкант считал словосочетание «рапсодия Листа» неразложимым, подобно тому как неразложимым ему представлялось выражение «соната-фантазия».

В самом начале своего романа «Госпожа Бовари» Г. Флобер, повествуя о детских годах будущего мужа героини, так передает сцену первого появления в школе маленького Шарля Бовари:

«— Встаньте, — заметил учитель, — и скажите, как ваша фамилия.

¹ О фонеме см.: *Щерба Л.В.* Фонетика французского языка. М., 1955. Гл. I; *Трубецкой Н.С.* Основы фонологии. М., 1960. С. 7–98; *Аванесов Р.И.* Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956. С. 12–40; *Кузнецов П.С.* Об основных положениях фонологии // ВЯ. 1959. № 2. С. 28–35; *Глисон Г.* Введение в дескриптивную лингвистику / Рус. пер. М., 1959. С. 224–240; *Мартинне А.* Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960. С. 27–59; Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962. С. 173–390; *Jakobson R. and Halle M.* Fundamentals of Language. The Hague, 1956. P. 3–54.

Новичок, запинаясь, пробормотал что-то совершенно неразборчивое.

— Повторите!

Снова послышалось бормотанье, заглушенное хохотом и улюлюканьем всего класса.

— Громче! — закричал учитель.

И тогда новичок, широко разинув рот... завопил: *Шарбовари!* ...Учитель с трудом разобрал слова *Шарль Бовари*.

Но если между словами границы перестают быть четко обозначенными лишь в быстрой или в невнятной речи (см. гл. VI), то между звуками аналогичные явления оказываются естественными и наблюдаются постоянно: звуки формируют языковые единства более высокого уровня (морфемы, слова, словосочетания) в тесном взаимодействии с другими звуками.

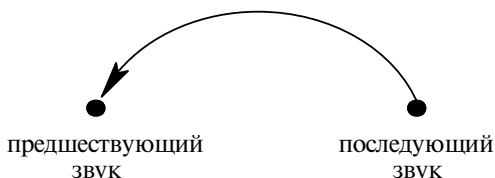
Человек, не привыкший анализировать звуки речи, вряд ли сможет определить, что звук *ц* сложный (слитное сочетание *т + с*), а звук *ш* простой. Между тем такого рода элементарный анализ совершенно необходим для обоснования принципов научной фонетики, для понимания особенностей звукового строя речи.

Из самых разнообразных случаев взаимодействия звуков в речевом потоке рассмотрим наиболее типичные — ассимиляцию и диссимиляцию.

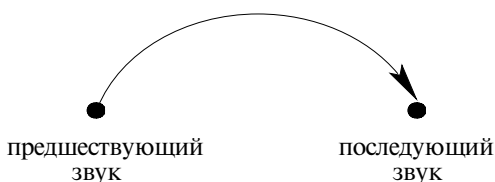
Ассимиляция — это артикуляционное и акустическое сближение (уподобление) звуков. Когда мы пишем *отдать*, но произносим *аддать*, то последующий звук *д*, уподобляя себе предшествующий *т*, создает ассимиляцию. Ассимиляция может быть полной, когда один из звуков целиком уподобляет себе другой (*аддать*), или частичной, когда один из звуков лишь частично приближает к себе другой, но полностью не сливается с ним. В русском языке слово *ложка* произносится как *лошка*, так как глухой согласный *к*, воздействуя на предшествующий ему звонкий *ж*, превращает этот последний в глухой *ш*. Здесь образуется не полная, а лишь частичная ассимиляция звуков, т.е. не полное их уподобление друг другу, а лишь частичное сближение (звуки *ш* и *к* различны, но вместе с тем и связаны между собой общим признаком глухости). Следовательно, по степени уподобления ассимиляция бывает *полной* и *частичной*.

Анализ различных типов ассимиляции дает возможность установить и различный характер движения самих уподобляемых звуков. Ассимиляция бывает *прогрессивная*, если предшествующий звук воздействует на последующий, и *регрессивная*, если последующий звук воздействует на предшествующий. В приведенном глаголе *аддать* (отдать) ассимиляция регрессивная, так

как последующий звук *d* уподобляет предшествующий *m*. То же следует сказать об ассимиляции типа *лошка*, хотя регрессивная ассимиляция в этом случае будет, как уже отмечалось, неполная. Схематически регрессивную ассимиляцию можно представить так:



Прогрессивная ассимиляция встречается значительно реже, чем регрессивная. Так, немецкое существительное *Zimmer* — «комната» образовалось из старого слова *Zimber*: предшествующее *m* уподобило себе последующее *b*, образовав два одинаковых звука. В некоторых русских диалектах до сих пор кое-где бытует форма *чучье* (чутье), некогда отмеченная Тургеневым («Живые мощи»)¹. В этом случае также происходит прогрессивная ассимиляция: предшествующее *ч* уподобляет себе последующее *т*, хотя эти звуки и не находятся рядом (их отделяет гласный *у*). Схема прогрессивной ассимиляции может быть изображена так:



Своеобразный вид прогрессивной ассимиляции встречается в тюркских языках. Это так называемая гармония гласных (*сингармонизм*). Сингармонизм приводит к ассимиляции гласных во всем слове. Вот несколько примеров из ойротского языка тюркской группы: *карагай* (сосна), где первый гласный *a* обуславливает наличие всех остальных *a*, *емеген* (женщина) — первый гласный *e* определяет появление последующих *e*. Эта гармония в свою очередь может быть полной или частичной, но во всяком случае, если в первом слоге данного слова имеется гласный заднего ряда, то в

¹ В словах охотника Ермолая («Записки охотника», гл. 23): «Нельзя сегодня охотиться. Собакам *чучье* заливает, ружья осекаются» (слово *чучье* выделено Тургеневым).

следующих слогах должны быть гласные только заднего ряда; если же в первом слоге имеется гласный переднего ряда, то и в последующих слогах окажутся гласные только переднего ряда, и т.д.

Как видим, ассимиляции подвергаются не только соседние звуки, но и те, которые отделены друг от друга в слове другими звуками.

Когда из древнерусской формы *топерь* образовалась современная *теперь*, то регрессивная ассимиляция этого рода захватила уже не смежные, не рядом стоящие звуки ('э уподобило себе о). Несмежный характер имеет и ассимиляция при гармонии гласных в тюркских языках. Таким образом, при внимательном анализе ассимиляции в разных языках можно обнаружить ряд ее признаков: какие звуки ассимилируются (смежные или несмежные), каково направление движения ассимилируемых звуков (регрессивное или прогрессивное), наконец, какова степень ассимиляции (полная или только частичная). Вновь возвращаясь к проанализированным примерам, можно сказать, что в *аддать* (*отдать*) ассимиляция полная, смежная, регрессивная, а в диалектной форме *чучье* (*чутье*) ассимиляция полная, несмежная, прогрессивная и т.д.

Будучи явлением фонетическим, ассимиляция имеет отношение, однако, не только к звучащей речи. Возникая в устной речи в процессе произношения звуков, она часто отражается и в орфографии, вытесняя ранее бытовавшие в ней написания.

Так оказалось с русским *теперь* (старая форма *топерь* сохранилась лишь в некоторых диалектах), с немецким *Zimmer* (старая форма *Zimber* утрачена); так происходит в случаях сингармонизма гласных в тюркских языках (явление это закрепляется и в письме) и т.д. Если ассимиляция типа *чучье* свойственна только диалектам, если ассимиляция типа *аддать* (отдать) возможна только в произношении, то ассимиляция типа *теперь*, образовавшаяся в истории языка, сейчас уже и не ощущается как ассимиляция, закрепившись в письме и прочно войдя в язык как единственно возможная форма данного слова. Ср. также *рассориться* из старого *разсориться*, *иммиграция*, хотя этимологически следовало бы *инмиграция* (латинский префикс *in* означает «в», «внутри»), и многие другие.

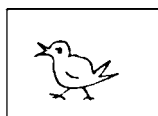
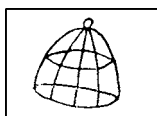
Причины возникновения ассимиляции объясняются взаимодействием звуков в речевом потоке. Артикуляционно близкие друг к другу звуки могут сближаться в еще большей степени. При регрессивной ассимиляции артикуляция звука наступает несколько раньше, чем это ей «полагается». Когда мы произносим слово *отдать*, то артикуляция *д* возникает уже на том месте, на котором

теоретическим мы должны были произнести *m*. Но, возникшая раньше времени, артикуляция *d* как бы заполняет собой все «пространство» — и свое и стоящего перед ним звука, образуя *addat*.

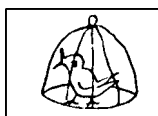
При прогрессивной ассимиляции происходит иное явление. Звук, который должен был отзвучать и уступить место другому, продолжает слышаться и там, где по нормам письменного языка следовало ожидать уже другой звук. Когда немецкое существительное *Zimmer* (комната) вытесняет старую форму *Zimber*, то губно-губной носовой звук *m*, возникнув, продолжает звучать и там, где следовало ожидать другой губно-губной, но уже неносовой звук *b*. Но этот звук не возникает, так как *m*, продолжая звучать, уподобляет себе последующий звук в самый момент его зарождения, следовательно, с определенного момента вовсе не дает ему возможности образоваться.

Если прибегнуть к сравнению, которое, впрочем, как и всякое сравнение, очень условно, то можно представить себе следующее: когда слушают музыкальную мелодию, то часто находятся во власти предшествующей музыкальной фразы даже тогда, когда последующая уже наступает. Впрочем, природа звучащей речи и музыкальной мелодии различна — звуки речи «красивы» прежде всего в той степени, в какой они участвуют в образовании слов, звуки же музыки сами создают гармонию и мелодию. Однако все же сравнение, обнаруживая глубокое различие речи и музыки, показывает и другое — принцип выделения одних звуков и оттеснения других, принцип *взаимодействия звуков* в самом широком смысле.

Для понимания природы ассимиляции звуков можно провести и другое сравнение. В оптике известно, как «набегают» друг на друга два рисунка, если их быстро вращать по кругу. Представим два отдельных рисунка на двух сторонах белого листа: на одной стороне изображение клетки, на другой — птицы.



Если быстро вращать этот лист, то птица окажется в клетке:



Нечто подобное — хотя не следует забывать, что это только отдаленная и образная аналогия — происходит и в звуковом потоке речи, в котором одни звуки уподобляются себе другие.

С ассимиляцией обычно связываются явления *диссимиляции*. Так называют случаи расподобления звуков. Когда в некоторых русских диалектах говорят *лесора* вместо *рессора*, то два одинаковых несмежных звука *р* здесь расподобляются, образуя *л* и *р*. Последующее *р* как бы отталкивает от себя предшествующее (диссимиляция несмежная регрессивная). Ср. название одной главы в «Педагогической поэме» Макаренко (ч. 1, гл. 9) — «Есть еще *лыцари* на Украине» (*рыцари* > *лыцари*). Сюда же относится и форма *Личард* (т.е. *Ричард*), встречающаяся в речи Смердякова в «Братьях Карамазовых» Достоевского.

В одной из сцен решительного объяснения Анны Карениной с мужем («Анна Каренина», ч. 4, гл. IV) последний никак не может произнести слово *перестрадал* и после долгих усилий выговаривает наконец *пелестрадал*. Л. Толстой тонко использует эту неожиданную диссимиляцию ($p + p > л + p$): Анне вдруг стало жалко Каренина.

Когда в разговорной речи слышим *транвай* вместо *трамвай*, то и здесь происходит диссимиляция, но смежная: два губно-губных звука (*м* и *в*) расподобляются, образуя переднеязычный *н* и губно-губной *в*. Следовательно, диссимилироваться могут как совершенно одинаковые звуки (например *р* и *р* в примере *рессора*), так и близкие по артикуляции, но все же неодинаковые звуки (например, *м* и *в* в слове *трамвай*).

Как и ассимиляция, диссимиляция различается прогрессивная и регрессивная, смежная и несмежная. Диссимиляция иногда отражается в литературном языке, в письменной форме речи. Современное *верблюд* образовалось из старой формы *вельблюд* в результате регрессивной диссимиляции двух *л*. Современное *февраль* возникло в результате прогрессивной диссимиляции из старого *феврарь* (латинское *februarius*).

К диссимиляции тесно примыкают случаи так называемой метатезы (перестановки) смежных и несмежных звуков внутри слова. Современное русское слово *тарелка* образовалось из старой формы *талерка* путем метатезы *л* и *р*: *р* заняло место *л*, а *л* соответственно передвинулось на место *р*. Хотя одна и та же метатеза может иногда наблюдаться сразу в нескольких родственных языках, но она чаще характеризует один язык. Так, в белорусском языке сохраняется старая последовательность звуков *л* и *р* в слове *талерка*. То же следует сказать о польском *talercz*, о немецком *Teller* (тарелка).

На почве диссимиляции происходят разнообразные фонетические явления, в частности случаи так называемой *гаплогии* (поглощения слога). Древнее образование *близорок* означало «зорок на близкое расстояние», т.е. «не видящий далеко». Но вследствие столкновения двух одинаковых слогов *зо-зо*, один из них был вытеснен, в результате чего образовалось *близорок*. Но *близорок* стало непонятным, ибо уже не распалось в сознании на такие четкие элементы, как *близорок*. В слове *близорок* обе составные части легко осмыслились, в образовавшемся же новом слове *близорок* последний элемент *рок* стал непонятным и сделал тем самым непонятным все слово. Тогда в результате так называемой «народной этимологии» непонятное *близорок* было переосмыслено и превратилось в *близрук*, т.е. «видящий не дальше своих рук», следовательно, «не видящий далеко». Слово порвало с понятием *зоркости* (но ср. *дальнозоркий*, где эта связь сохранилась) и сблизилось с представлением о *руке*.

Так, казалось бы, совершенно внешнее по отношению к смысловым связям явление гаплогии может иметь немаловажные последствия для самой семантики слова. В случаях *траги/ко/комедия* > *трагикомедия*, *минера/ло/логия* > *минералогия*, несмотря на выпадение слога, смысловая связь между компонентами слов не была нарушена.

Необходимо, однако, заметить, что соотношение фонетических и семантических процессов в самом взаимодействии звуков может быть и более сложным по сравнению с приведенными примерами. Русское слово *свадьба* связано со словами *сват*, *сватать*. Поэтому теоретически можно было ожидать, что существительное *свадьба* будет иметь форму *сватьба* (ср., например, чешское *svatba*). Но в действительности вместо *сватьба* в русском языке оказалось слово *свадьба*, которое возникло в результате регрессивной ассимиляции: последующий звонкий согласный *б* уподобил себе предшествующий глухой *т*, изменив его в звонкий. Тем самым ассимиляция оторвала существительное *свадьба* от его этимологических родичей — *сват*, *сватать*.

Таким образом, ассимиляция, как и другие фонетические процессы, может осложнить этимологические и семантические связи между словами. Подобные осложнения часто приводят к разнообразным последствиям: отдельные слова выпадают из прямой этимологической цепи родственных образований.

Различные явления взаимодействия звуков имеют большое значение для понимания многообразных особенностей «жизни» языка, внутренних тенденций его развития.

Звуки обычно образуют *слоги*. Проблема слога, при всей своей кажущейся простоте, в действительности относится к очень сложным проблемам общей и специальной фонетики. Ученые придерживаются разных взглядов на природу слога.

Так как вопрос о слогоделении является основным для понимания природы самого слога, то наиболее правильной теорией слога представляется та, которая успешнее решает именно вопрос о слогоделении.

Основные положения, на которых строится истолкование слогоделения в нашей отечественной литературе, сводятся либо к выделению мышечного напряжения в так называемых фазах артикуляции согласных (Л.В. Щерба), либо к установлению нарастания и ослабления звучности (Р.И. Аванесов). Принципы эти по существу лишь дополняют друг друга. «Слогораздел проходит через пункт минимальной спайки звуков»¹.

Наше школьное представление о слоге осложняется еще и по другим причинам. Дело в том, что слоги образуются не только гласными звуками или сочетанием гласных и согласных, но и согласными звуками.

В живом произношении обычно слышится не *И-ва-нов-на*, а *И-ва-н-на*, в котором согласный *н* образует самостоятельный слог. Мы говорим не *в са-мом деле*, а *фса-м деле*: здесь согласный *м* формирует отдельный слог и т.д. В чешском языке сонорные согласные *р* и *л* постоянно и закономерно образуют самостоятельные слоги: ср. чешские *vlk* (волк), *krk* (шея) и многие другие. Следовательно, то, что в русском языке встречается sporadически, в чешском получает широкое развитие.

Возвращаясь к сложному вопросу о слогоделении, необходимо подчеркнуть, что «минимальная спайка звуков» в разных языках зависит от разных условий. В русском языке, например, такие условия определяются законом восходящей звучности. Сущность этого закона состоит в том, что в пределах слога звуки располагаются от наименее звучного к наиболее звучному. Сочетания согласных между гласными в слове могут поэтому занимать неодинаковое положение по отношению к самому слогоразделу.

Приведем только два примера.

Если имеется сочетание шумного согласного² с сонорным в интервокальном положении (между гласными), то это сочетание примыкает к последующему слогу: *р'и/брó* (ребро).

¹ Трахтеров А.Л. Основные вопросы теории слога и его определения // ВЯ. 1956. № 6. С. 22.

² Шумными называются все согласные, за исключением сонорных.

Если же имеется сочетание сонорного согласного с последующим шумным, то слогораздел проходит внутри данного сочетания звуков: *сту/д'ён/ты* (сочетание согласных *нт* оказалось разделенным между двумя слогами).

Таким образом, условия «минимальной спайки звуков», определяющие слогораздел, в свою очередь зависят от конкретных форм взаимодействия гласных и согласных в речевом потоке. Если сам принцип минимальной спайки звуков в определенных фонетических условиях имеет общелингвистическое значение, то условия, в которых осуществляется этот закон в разных языках, зависят от их конкретного фонетического материала¹.

5. Ударение и интонация

Когда произносят слова, словосочетания и предложения, то трудно себе представить поток речи, который не членился бы с помощью различного рода ударений. В многообразных языках мира наблюдаются неодинаковые виды ударений.

Обычно выделяют ударение *силовое* (или динамическое), *музыкальное* и так называемое *смешанное*. Силовое, или динамическое, ударение основано на выделении одного слога в слове среди других большей силой звука. В свою очередь сила звука зависит, как известно, от амплитуды колеблющегося тела вообще, а в данном случае — голосовых связок. Силовое ударение имеется в русском языке: *кóмната, погóда, красóта*. Музыкальное ударение выделяет слог уже не силой звука, а его высотой. Высота же звука определяется частотой колебаний голосовых связок.

Так, в сербско-хорватском языке от слов *нос, град* дательный падеж будет *нóсу, грáду* (нисходящий тон), а местный — разновидность предложного падежа — *носу́, граду́* (восходящий тон). В истории некоторых языков, например латинского, наблюдается переход от музыкального к силовому ударению. Наконец, смешанное ударение представлено в тех многочисленных языках,

¹ О взаимодействии звуков, помимо общих работ по фонетике и фонологии, приведенных в предшествующих двух разделах, см.: *Трахтеров А.Л.* Основные вопросы теории слога и его определение // ВЯ. 1956. № 6. С. 15–32; *Смирницкий А.И.* Фонетическая транскрипция и звуковые типы // Вестн. Моск. ун-та. 1948. № 7. С. 19–30; *Конечна Г.* Ассимиляция и диссимиляция // ВЯ. 1958. № 3. С. 90–95; *Мальмберг Б.* Проблема метода в синхронной фонетике // Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962. С. 340–388; *Hála B.* Slabika, její podstata a vývoj. Praha, 1956; *Forchhammar I.* Zur Silbentheorie // Indo-germanische Forschungen. 1956. N 2. S. 102–112; *Posner R.* Consonantal Dissimilation in the Romance Languages. Oxford, 1961. P. 1–34 (общие предпосылки диссимиляции согласных).

в которых имеются элементы силового и элементы музыкального ударения (например, в немецком).

Но можно подойти к ударению и с другой стороны. В некоторых языках, например в русском, ударение может падать и на первый слог (*вѣрoвание*), и на второй (*рабóта*), и на последний (*главáръ*) и т.д. Такое ударение называется *свободным*. Но существуют языки, в которых ударение всегда падает на определенный слог в слове: либо на последний, либо на второй от конца, либо на какой-либо другой, но определенный слог. Так, в польском языке оно всегда находится на втором слоге от конца, во французском — на последнем. Такое ударение называется *связанным* или *несвободным*.

Организирующая роль ударения очень велика в языке. Различные типы ударения присущи слову и выполняют разные грамматические и семантические функции. Ударение может способствовать дифференциации слов по смыслу, т.е. выступать в своей семантической функции¹: *зámок* — *замóк*; *мúка* — *мукá*; *óрган* — *оргáн*; *áтлас* — *атлáс*; *крédит* — *кредíт*; *пóдать* — *подáть* (разные части речи); *пíща* — *пищá* (деепричастие); *плáчу* (от *плакать*) — *плачú* (от *платить*); *крóю* (от *крыть*) — *кроú* (от *кроить*) и т.д.² Ср. то же явление в болгарском языке: *пáра* (пар) и *парá* (монета), *рóден* (родной) и *родén* (рожденный) и т.д.

У Маяковского в стихотворении «Юбилейное» есть такие строки:

Тúшу
вперед стремя,
я
с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.

Если на первом и третьем словах этого отрывка поставить другое ударение, то возникает бессмыслица, хотя сами по себе, взятые вне данного контекста, слова эти могут иметь и другое ударение — *тушú* (от глагола *тушить*) и *стрéмя* (существительное). Следовательно, хотя в языке и может быть дифференциация внут-

¹ Здесь следует помнить то, что раньше уже было сказано о дифференцирующих признаках фонемы: слова различаются прежде всего по своему значению и происхождению. Ударение же может являться лишь одним из дополнительных средств, способствующих различению слов.

² Случаи так называемого факультативного ударения, когда допускаются два разных ударения без дифференциации слов по значению, сравнительно редки в русском языке (ср. *мышление* и *мышлénие*).

ри каждой пары: *ту́шу* — *тушу́*, *стрéмя* — *стремя́*, однако в данном случае эти ударения возможны только в определенной расстановке: *тушу́* вперед *стремя́*. Ср. у А. Толстого в «Петре Первом»: «*Де́ла* в приказе Большого дворца было много, а *делá* путаные»¹. У А. Безыменского в эпиграмме «Многим журналам»:

...Ваши принципы просты:
 Вы очень любите
 острóты,
 Но вы боитесь
 остроты́.

В некоторых из этих примеров ударение уже выполняет грамматическую функцию — способствует дифференциации частей речи или грамматических категорий. Эта последняя функция ударения характерна для такого языка, как английский: ср. *сómbine* — «комбинат» (имя существительное с ударением на первом слоге); *combíne* — «объединять» (глагол с ударением на втором слоге); *réfúse* — «отбросы» (имя существительное с ударением на первом слоге), *refúse* — «отказывать» (глагол с ударением на втором слоге) и многие другие.

Ударение способствует дифференциации частей речи и в русском языке. Так, в приведенных примерах *пи́ща* (существительное) и *пищá* (деепричастие), *ту́шу* (косвенный падеж существительного) и *тушу́* (личная форма глагола) уже наблюдалось грамматическое различие между частями речи.

Ударение не всегда является столь заметным дифференциальным признаком, как в данных примерах. Чаше оно выступает лишь как один из факторов, выражающих различие между грамматическими категориями, которое оформляется прежде всего флексией: *кóлокол* — *колоколá*, *горá* — *гóры* (различие между единственным и множественным числом передано флексией и ударением), *труд* — *трудá*, *стол* — *столá*, *пикнiк* — *пикникá* (различие между именительным и родительным падежами выражено флексией и ударением).

Но, помимо ударения в слове (словесного ударения), отмечают также ударение *фразовое* и ударение *логическое*. Слова в предложении образуют известное единство, в системе которого части (отдельные слова) в какой-то степени подчиняются целому (предложению).

В некоторых языках фразовое ударение приобретает особо важное значение. Это относится прежде всего к языкам аналитическим и языкам корневым (см. гл. III). Во французском

¹ Толстой А. Петр Первый. М., 1947. С. 359.

(аналитическом) языке простое предложение типа *je ne sais pas* — «я не знаю» произносится с одним фразовым ударением на последнем слове.

В отличие от фразового ударения, которое определяется характером фонетического и грамматического строя языка, логическое ударение возникает под воздействием других причин — намерений говорящего. Когда по-русски произносят предложение типа *сегодня хорошая погода*, то в нем можно обнаружить и отдельные ударения на каждом слове, и общее фразовое ударение, которое подчиняет себе ударения на отдельных словах. Но, помимо этого, говорящий часто подчеркивает с помощью ударения то или иное слово предложения, специально выделяя или *сегодня*, или *погода*, или *хорошая*.

Таким образом, если самый принцип группировки слов в предложении определен характером фразового ударения в языке, то различная реализация этого ударения находится в зависимости от смысловых устремлений говорящего.

Сложное соотношение словесного, фразового и логического ударения особенно ярко обнаруживается в ритмическом членении стихотворного текста. В статье «Как делать стихи» Маяковский отмечал¹, как часто ошибочно читают стихи, в которых фразовое ударение не совпадает с ритмическим членением стиха. Строки А.К. Толстого:

Шибанов молчал. Из пронзенной ноги
Кровь алым струилась током

иногда читают: *Шибанов молчал из пронзенной ноги*, подчиняя стихотворной строке фразовое и логическое ударение. В действительности же стихотворная строка не совпадает с фразовым и логическим ударением. После глагола *молчал* следует сделать паузу, хотя стихотворная строка «тянет» неопытного чтеца к слову *ноги*. Возникает несовпадение стихотворного и логического членения текста.

То же следует сказать, например, и о знаменитых пушкинских стихах («Борис Годунов», сцена у фонтана), в которых Самозванец, оскорбленный Мариной, замечает:

Царевич я. Довольно. Стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться.

Наречие *довольно* здесь должно иметь отчетливое самостоятельное ударение и самостоятельную паузу, без которых смысл

¹ См.: Маяковский В. Соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1951. С. 234.

стиха изменится. Если прочитать *довольно стыдно мне* с одним фразовым ударением, если лишить наречие *довольно* самостоятельного фразового ударения, оно приобретет другой смысл и будет выражать не гнев, а смущение — *довольно стыдно мне*, т.е. «несколько стыдно мне». Так соотношения словесного, фразового и логического ударений, разное истолкование их взаимодействия меняют и общий смысл стиха. В этом случае, в частности, для сохранения замысла поэта нельзя допустить, чтобы одно фразовое ударение поглотило другое фразовое ударение на наречии *довольно*, выступающем в роли предложения.

В ответе Марины Самозванцу образуется сходное соотношение между словесным и фразовым ударением:

Постой, царевич. Наконец
Я слышу речь не мальчика, но мужа.

После слова *царевич* должна быть отчетливая пауза. Слово *наконец* ни в коем случае не должно быть отнесено к первому предложению: оно целиком относится к последующему. Это явление, известное в поэтике под названием enjambement (перенос, букв. «перешагивание» слов через строчку в стихе), важно и в плане соотношения и взаимодействия между собой различных типов ударения. Если *наконец* примыкало бы к первому предложению, то смысл получился бы другой: *наконец постой*, следовательно, оттенок властного приказания Марины, уверенной в слепой и беззаветной любви к ней Самозванца, пропал бы совершенно.

В 1827 г. в заметках на полях стихотворений Батюшкова Пушкин к стихам поэта

И гордый ум не победит
Любви, холодными словами

сделал такое краткое, но многозначительное и тонкое замечание: «Смысл выходит — холодными словами любви — запятая не поможет»¹. Действительно, прилагательное *холодный* относится у Батюшкова к *словам* («холодные слова»), но привычное для романтической поэзии той эпохи сочетание *слова любви* оказывается неразрывным и не дает возможности прилагательному *холодный* войти в непосредственное соприкосновение с существительным *словами*. Так возникает неожиданное для самого поэта значение *холодные слова любви*, хотя Батюшков говорит лишь о *холодных словах* гордого ума, которым не победить

¹ Пушкин А.С. Соч. Т. VII. М.; Л., 1949. С. 578.

любви, и, конечно, «пламенной любви». В действительности же возникает представление не о «пламенной», а о «холодной любви» — противоположное значение вследствие неразрывности самого лексического комплекса *слова любви*, который и «тянет за собой» прилагательное *холодный*.

В этом случае возникает другая картина: стихотворная строка *любви холодными словами*, как бы сводя на нет значение запятой после слова *любви*, начинает образовывать единство, противоречащее логическому членению предложения и замыслу поэта. Запятой оказывается недостаточно, чтобы создать новое членение: гордому уму не победить любви при помощи холодных слов. Здесь тоже образуется своеобразное столкновение словесного, фразового и ритмического ударения. Промах Батюшкова приводит к тому, что ритмическое членение начинает подчинять себе ударение логическое и приводит тем самым к искажению замысла самого поэта.

В фонетике различают *проклитики* и *энклитики*. Проклитика — это безударное слово, стоящее впереди слова, имеющего ударение, и образующее с этим последним известное ритмическое единство (например, *подо мной* с единым ударением на втором слове). Энклитика — это тоже безударное слово, но стоящее после слова, имеющего ударение, и также образующее с этим последним известное ритмическое целое. В пушкинской «Зимней дороге»:

Что-*то* слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска,

первое *то* будет в положении энклитики, тогда как последующие два *то* приобретают самостоятельное ударение и энклитиками уже не являются.

Классификация типов ударения в разных языках представляет известные трудности, так как сами эти типы очень многообразны.

Можно противопоставлять языки со связанным ударением языкам с ударением свободным, но возможно положить в основу и совсем другой признак, различая языки с ударением силовым, музыкальным и смешанным. Классификация осложняется, когда учитывают ударение не только в слове, но и в таких единствах, как словосочетание и предложение. В большинстве случаев, однако, классификация по одному признаку лишь дополняет классификацию по другому признаку, делая ее объемной, перекрестной.

Еще более существенно другое: имеется известная *связь между различными типами ударения и их функциями*. Чтобы ударение могло способствовать дифференциации слов (*кредит* — *кредит*) или грамматических форм (*гора* — *горы*), оно должно быть свободным или относительно свободным, иначе не могла бы проявиться его смысловоразличительная функция. Следовательно, одно явление в системе ударения оказывается обусловленным другим явлением. К сожалению, вопрос о взаимосвязи разных признаков в системе самого ударения исследован очень мало. Между тем он представляет большой интерес.

* * *

Звучащая речь предполагает не только определенную систему акцентуации (понятие более широкое, чем ударение¹), но и определенный тип интонации.

Интонация — это ритмико-мелодический рисунок речи. С чисто лингвистической точки зрения в языках следует различать два основных типа интонации. При интонации первого типа меняется самый смысл слова, его основное значение. Интонация этого рода свойственна таким языкам, как китайский, японский и др. Так, в японском языке слово *su* может иметь значение «гнезда» или «уксуса» в зависимости от характера интонации. Слово *hi* — «день» и «огонь», слово *ku* — «девять» и «грусть» и т.д. В этих случаях интонация более или менее резко меняет значение слова и выступает как важнейший фактор в системе языка².

Интонация второго типа имеет менее самостоятельное значение, чем интонация первого типа. Интонация второго типа придает слову лишь дополнительное значение, обычно резко не меняющее его смысла, как и смысла предложения. Такая интонация свойственна индоевропейским языкам. Так, по-русски можно произнести с различной интонацией, например, слово *день* (кто-то встал утром, убедился, что уже день, и произнес это слово категорически) или даже *день!* и вопросительно-сомнительное *день?* — в смысле *разве день? разве уже наступил день?* — и т.д. То же следует сказать об интонации словосочетания и предложения, хотя оттенки в этом последнем случае бывают значительно более многообразными.

¹ Акцентуация языка как научное понятие включает в себя не только учение об ударении, но и учение о тоне, о котором см.: *Марузо Ж.* Словарь лингвистических терминов. М., 1960. С. 311–312.

² Ср.: *Колпакчи Е.М.* Опыт семантического анализа в области японского языка // Уч. зап. ЛГУ. Серия востоковедных наук. 1949. № 98. Вып. 1. С. 79–91.

Иногда и в индоевропейских языках интонация может резко изменить значение слова или даже целого предложения, но эти случаи либо встречаются значительно реже, чем в языках типа китайского или японского, либо обуславливаются особыми причинами контекстно-стилистического характера. Таких же примеров, чтобы с помощью интонации слово со значением, например, *гнездо* превратилось в другое слово со значением *уксус*, индоевропейские языки не знают.

Представим себе, что мы заметили на улице упавшего в грязь человека. Если этот человек был нашим недоброжелателем, мы можем воскликнуть: *Ну и чистый!* В подобном случае, во всей данной ситуации слово *чистый* как бы приобретает противоположное значение — «грязный» (ср. крыловское «Откуда умная бредешь ты, голова?»). Интонация и своеобразная ситуация придают здесь слову совершенно другое значение¹.

Но все же это явно особое осмысление слова в данной ситуации, а не общее свойство языка — превращать при помощи интонации слова с одним значением в слова совсем другого значения.

Следовательно, хотя подобные случаи превращения не исключаются в индоевропейских языках, они все же для них не характерны, не типичны. Это не общее объективное свойство интонации данных языков, а частные, стилистические случаи контекстной семантики слова. Напротив того, в языках типа китайского и японского интонация объективно, как определенное грамматическое и семантическое средство, способна резко менять семантику и грамматические особенности слова и предложения.

Так как всякое слово произносится с известной интонацией, а говорящий может к ней прибавить свою собственную, дополнительную интонацию, то следует различать *объективное* и *субъективное* в интонации таких, например, языков, как русский, в интонации других славянских и других индоевропейских языков. Интонация слова *чистый* в только что разобранным примере окажется интонацией субъективной, хотя самому прилагательному *чистый* свойственна и объективная интонация, т.е. интонация, с которой произносится данное прилагательное в относительно нейтральном контексте².

¹ См.: *Балли Ш.* Французская стилистика. М., 1961. С. 116. «Я сделался настоящим мастером, — свидетельствует другой автор, — только тогда, когда научился говорить *иди сюда* с 15–20 оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса. И тогда я не боялся, что кто-то ко мне не пойдет или не почувствует того, что нужно» (*Макаренко А.С.* Избранные педагогические произведения. М., 1945. С. 206).

² Ср.: *Всеволодский-Гернгросс В.* Теория русской речевой интонации. М., 1922. С. 12.

Интонация взаимодействует с другими факторами языка — лексическими и грамматическими.

Как отметил Пешковский¹, вопросительная интонация все более повышается, делается все более сильной и напряженной, по мере того как мы будем сравнивать между собой следующие три предложения:

Читал ли ты книгу?

Читал ты книгу?

Ты читал книгу?

В первом случае вопрос передается не только интонационно, но и при помощи частицы *ли*, а также порядком слов (глагол на первом месте). Во втором предложении вопросительная интонация должна быть несколько усилена, ибо здесь уже отсутствует вопросительная частица *ли*, которая помогает передать вопрос в первом предложении, хотя и сохраняется второй помощник интонации — инверсированный порядок слов (глагол продолжает оставаться на первом месте). Наконец, в третьем случае интонация вопроса еще больше повышается, так как в этом предложении у нее уже не оказывается и второго помощника (порядка слов): вопрос передается только интонацией. Таким образом, *чем больше помощников* — лексических (частица *ли*) и грамматических (порядок слов) — бывает у интонации, *тем слабее сама интонация*: оттенки смысла передаются сразу несколькими средствами. Напротив того, чем меньше помощников оказывается у интонации, чем меньше у нее шансов опереться на другие возможности языка, тем напряженнее бывает и интонация, сама справляющаяся с выражением оттенков мысли.

Взаимодействие интонации с другими языковыми средствами, показанное А.М. Пешковским на примере одного языка, может получить и сравнительно-лингвистическое истолкование.

То, что в одном языке передается интонацией, в других выражается с помощью лексики или синтаксиса (иногда одновременно и лексикой, и синтаксисом). По-русски, например, как и по-немецки, можно интонационно выделить любое слово.

Ты это сделал?

Ты это сделал?

Ты это сделал?

Das hast du getan?

Das hast du getan? И т.д.

¹ См.: Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 6-е изд. М., 1938. С. 75.

Подобный эксперимент невозможно произвести по-французски. Для того чтобы передать отмеченные различия, француз должен изменить все синтаксическое построение предложения:

Toi, tu as fait ça?
 C'est toi qui as fait ça?
 Ça, tu l'as fait, toi? И пр.

В подобных предложениях француз с помощью изменения синтаксической конструкции выражает примерно то же, что русский или немец передают, лишь прибегая к выделению того или иного слова. Интонационные средства одного языка (русского или немецкого) здесь функционально сближаются с чисто синтаксическими средствами другого языка (французского). Отмеченная особенность французского языка, в свою очередь, не случайна. Она обусловлена наличием в нем ярко выраженного фразового ударения, о котором речь шла раньше. Именно это фразовое ударение, подавляя и подчиняя себе ударение на отдельных словах, не позволяет французам интонационно выделять отдельные слова в предложении.

Таким образом, особенности интонации оказываются обусловленными типами ударения, характерными для тех или иных языков.

О национальном своеобразии построения фразы рассказывает известный американский писатель М. Уилсон, неоднократно бывавший в Москве и изучавший русский язык:

«Русские обычно повышают голос на конце фразы (так казалось М. Уилсону. — Р.Б.). Мы, американцы, тоже делаем это, но лишь тогда, когда нам доведется рассердиться. Я, например, задавал через переводчика вопрос: *Читал ли мой советский собеседник такую-то книгу?* На английском он бы ответил просто — *yes* или *no*. В Москве же отвечали так — *Да, читал*. Прямой перевод этой фразы на английский звучит резко, даже вызывающе. Если в Америке на вопрос отвечают теми же словами, это выглядит примерно так — *Да, читал, ну, и что вы мне сделаете за это?»*¹.

Если значение интонации очень велико в языке вообще, то в разговорном стиле и в языке художественной литературы оно увеличивается еще больше (в каждом случае по-своему).

Вот, например, эмоциональные интонации восклицаний и вопросов в одной строфе у Пушкина в «Евгении Онегине» (7, XLI):

— Княжна, mon ange! — Pachtette! — Алина! —
 Кто б мог подумать? Как давно!

¹ Уилсон М. Как я обходился без переводчика // Огонек. 1960. № 36. С. 17.

Надолго ль? Милая! Кузина!
 Садись — как это мудрено!

 Кузина, помнишь Грандисона?
 — Как, Грандисон?... а, Грандисон!
 Да, помню, помню. Где же он?

Здесь живой диалог, переданный интонационно. Если снять эти интонации разговорной речи, то вся строфа разрушится, превратится в набор вялых и не всегда понятных слов. Но вот совсем другая интонация в пушкинской «Сказке о попе и о работнике его Балде»:

Жил был *поп*,
 Толоконный *лоб*,
 Пошел поп по *базару*
 Посмотреть кой-какого *товару*.

Здесь каждая строка представляет собой известное целое с интонационным выделением последнего слова строки.

В известном рассказе А. Франса «Кренкебиль» бедный продавец, старик зеленщик, бродит по улицам Парижа в надежде выручить несколько су за овощи, которые он возит в своей маленькой тележке. Но вот недовольный полицейский, которому показалось, будто бы зеленщик нарушает правила уличного движения, решает своеобразно щегольнуть своей властью. Он неожиданно заявляет, что продавец оскорбил его, представителя властей, выкрикнув «Смерть коровам!» (*Mort aux vaches*) — бранное выражение, направленное против полицейских. Пораженный зеленщик, не произносивший этих слов, смог лишь в смущении сказать: «Я сказал “Смерть коровам!” Я?»

Но полицейскому только этого и надо было. Он сделал вид, что не слышит *интонации вопроса* в устах продавца овощей, и теперь решительно утверждает, будто «Смерть коровам!» произнес именно зеленщик. Последующая драма разыгрывается стремительно. Старика продавца арестовывают и сажают в тюрьму «за оскорбление властей». Произнесенное с *другой интонацией* выражение «Смерть коровам!» приобретает зловещий смысл. На суде продавца допрашивают:

«— Так вы признаете, что сказали “Смерть коровам!”?»

— Я сказал “Смерть коровам!” потому, что господин полицейский сказал “Смерть коровам!”. Тогда и я сказал “Смерть коровам!”».

Он хотел объяснить, но, удивленный и пораженный таким незаслуженным обвинением... он лишь повторил: «Смерть коровам!», как если бы сказал: «Я? Разве я ругался? С чего вы взяли?»

Правосудие оказалось глухим к неумелым разъяснениям старого зеленщика. Выражение *смерть коровам*, произнесенное с различной интонацией, приобрело важное значение в центральном эпизоде, мастерски рассказанном в «Кренкебиле».

В момент развязки трагедии Шекспира «Отелло» ее герой требует, чтобы Дездемона вернула его утерянный платок. При этом Отелло трижды повторяет слово *платок*. Станиславский по этому поводу замечает, что первый раз артист, играющий Отелло, должен произнести это слово «на мольбе» (он умоляет Дездемону вернуть ему платок, и он еще надеется, что произошла какая-то ошибка), второй раз — «на предупреждении», наконец, в третий раз — «на определенности» (Отелло уже требует). Интонация и в этом случае приобретает огромное значение для правильного раскрытия сложного образа самого Отелло¹.

Горький в своих воспоминаниях о Есенине рассказывает об огромном впечатлении от авторской декламации стихотворной драмы «Пугачев».

«Совершенно изумительно прочитал Есенин вопрос Пугачева, трижды повторенный:

Вы с ума сошли?

— громко и гневно, затем тише, но еще горячее:

Вы с ума сошли?

И наконец совсем тихо, задыхаясь, в отчаянии:

Вы с ума сошли?

Кто сказал вам, что мы уничтожены?»²

Интонация, очень существенная для языка вообще, получает особое осмысление в языке художественной литературы. Это дополнительное осмысление интонации в языке писателей определяется спецификой языка художественной литературы с ее широкой и глубокой образностью. Вместе с тем интонация очень важна и в разговорной речи, которую трудно себе представить вне подвижных и многообразных форм интонационного членения речевого потока³. Интонация своеобразно выражается и в

¹ См.: Станиславский К.С. Режиссерский план «Отелло». М., 1945. С. 31–37.

² Горький М. Литературные портреты. М., 1963. С. 408.

³ А.Н. Гвоздев сравнивает такие два предложения: «За тем камнем (упала) подстреленная утка» и «Затем (камнем упала) подстреленная утка» (Гвоздев А.Н. О фонологических средствах русского языка. М., 1949. С. 112).

письме с помощью знаков препинания, сигнализирующих, как следует произносить то или иное предложение¹. Наконец, овладение всеми тонкостями интонации особенно важно для людей, которым постоянно приходится выступать публично².

6. О звуковых (фонетических) законах

Фонетические процессы развиваются в языке закономерно. Поэтому уже с эпохи зарождения сравнительно-исторического метода в языкознании в 20-х гг. XIX в. стали говорить о регулярности звуковых изменений. Но понятие звукового (фонетического) закона в науке установилось не сразу, и вплоть до настоящего времени имеются различные взгляды на природу звуковых изменений.

Фонетические законы — это регулярные соответствия звуков на разных этапах развития одного языка или между родственными языками (например, между языками славянскими, романскими, германскими, кельтскими или между индоевропейскими языками в целом, между тюркскими языками в целом и т.д.). Но об определенной фонетической закономерности можно говорить не только тогда, когда язык или языки рассматриваются в их историческом развитии, но и в тех случаях, когда изучается их современное (синхронное) состояние.

¹ Любопытно, что в некоторых языках, например в испанском, такие интонационные сигналы, как вопросительный и восклицательный знаки, ставятся не только в конце, но и в начале соответствующих предложений, как бы заранее предупреждая читателя, с какой интонацией нужно произнести данное предложение. Например: *¡Esto es un libro!* — «Это действительная книга!» *¿Está el libro en la mesa?* — «На столе ли книга?» Попытку истолкования этих «начальных сигналов» в связи с историей испанской культуры см. в кн.: *Spitzer L. Stilstudien*. I. München, 1928. S. 25.

² Об ударении и интонации см.: *Пешковский А.М.* Интонация и грамматика // Избранные труды. М., 1959. С. 177–191; *Попов П.С.* О логическом ударении // ВЯ. 1961. № 3. С. 87–97; *Бельский А.В.* Интонация как средство детерминирования и предсказания // Исследования по синтаксису русского литературного языка. М., 1956. С. 188–199; *Бернштейн С.И.* Материалы для библиографии по вопросам фразовой интонации // Экспериментальная фонетика и психология в обучении иностранному языку. Т. I. М., 1940. С. 327–343. Более поздняя библиография дана в кн.: *Артемов В.А.* Экспериментальная фонетика. М., 1956. С. 216–223; *Поливанов Е.Д.* Введение в языкознание для востоковедных вузов. Л., 1928 (раздел об ударении на с. 120–140); *Kurylowicz J. L'accentuation des langues indoeuropéennes*. Kraków, 1952.

Полезным практическим словарем-справочником является: Русское литературное произношение и ударение / Под ред. Р.И. Аванесова и С.И. Ожегова. М., 1959 и последующие издания.

В русском языке, например, существует закон оглушения парных звонких согласных в конце слова; такие слова, как *нож*, *воз*, *под*, произносятся *нош*, *вос*, *пот*, поскольку по законам русской фонетики звонкие согласные *ж*, *з*, *д* и другие парные по глухости-звонкости в конце слова не могут произноситься иначе. Совсем иная картина наблюдается, например, во французском языке, где конечные звонкие согласные не оглушаются: *rose* — «роза» произносится как *ро*: *з*, но ни в коем случае как *рос*. Ближе к французскому в этом отношении английский язык, хотя некоторые конечные звонкие шумные согласные, например, *d*, *v*, звучат в конце английских слов как полувзвонкие¹.

Но о фонетических законах чаще всего говорят тогда, когда обнаруживают регулярность звуковых изменений на разных этапах развития языка или ряда родственных языков.

Носовые гласные *o*, *e* (в старославянской графике — *ѡ*, *ѣ*) еще до появления первых памятников изменились в русском языке соответственно в *у*, *ѣ*: старославянское *мѣка* — русское *мука*, старославянское *рѣка* — русское *рука*, старославянское *лѣкъ* — русское *лук*, старославянское *рѣдъ* — русское *ряд*, старославянское *пѣть* — русское *пять* и т.д. Так устанавливается общая закономерность соответствий между носовыми *o*, *e* и носовыми *у*, *ѣ* в истории русского языка.

Согласный звук *d* чередуется в русском языке с *ж* (*видеть* — *вижу*), в старославянском — с *жд* (*вижда*), в польском с *дз* (*widzę*).

Если сравнить русское слово *зима*, чешское *zima*, болгарское *зима*, польское *zima*, то легко заметить общность их фонетических оснований. Ср. также русское *лето*, старославянское *лѣто*, болгарское *лято*, сербское *лѣто*, польское *lato*; русское *рыба*, болгарское *риба*, польское *ryba* и т.д.

В истории германских языков известен закон так называемого передвижения согласных, разработанный еще Я. Гриммом (1785—1863), согласно которому древнеиндоевропейским взрывным глухим согласным в германских языках всегда соответствуют глухие фрикативные: латинское *pater* («отец») — немецкое *Vater*, латинское *cornu* («рог») — древнеисландское *hornu*, латинское *pecus* («скот») — готское *fihu*.

В истории латинского и развивавшихся из него романских языков произошло всеобщее изменение количественного признака гласных (долгота и краткость) в качественный (открытость и закрытость). В результате этого перехода латинским дол-

¹ См.: Торсуев Г.П. Обучение английскому произношению. М., 1956. С. 111.

гим гласным стали соответствовать в романских языках закрытые звуки, а латинским кратким гласным — открытые звуки. Можно привести многочисленные примеры закономерных переходов звуков и из истории других языков.

Установление фонетических соответствий имеет большое значение для понимания родства языков и закономерностей развития их звукового строя. Внешнее сходство между словами разных языков само по себе обманчиво.

Так, немецкое *Feuer* — «огонь» и французское *feu* в том же значении, несмотря на сходство, совершенно различны по своему происхождению. Напротив того, латинское *ego* — «я» и французское *je*, несмотря на отсутствие внешнего сходства, связаны между собой по происхождению.

Румынское прилагательное *tare* — «сильный» внешне не очень похоже на латинское местоимение *talis* — «такой», тем не менее первое возникло из второго. Семантическое развитие определилось здесь словосочетаниями типа *такой крепкий, такой сильный*, а затем и просто *сильный*. Фонетическая трансформация была обусловлена переходом интервокального (между гласными) *l* в *r*.

Фонетические законы и обнаруживают общность там, где она действительно имеется, одновременно опровергая мнимую общность между словами, где она исторически или лингвистически невозможна.

Внешнее сходство между словами так же обманчиво, как и внешнее сходство между людьми; нередко два человека, не находящиеся между собой в родстве, бывают похожи друг на друга, тогда как непосредственные и близкие родственники (братья, сестры) иногда мало чем напоминают друг друга.

Как ни велико значение фонетических законов для изучения истории определенных языков, следует все же помнить, что они далеко не всемогущи: они подвержены многочисленным осложнениям и объясняют не все факты из истории родственных языков.

Формулируя языковые законы, в частности фонетические, исследователь не может учесть всего многообразия отдельных фактов, он поневоле вынужден в известной степени отвлекаться от индивидуальных случаев. Закон не может охватить всего богатства явлений. Но он, улавливая и фиксируя главное, помогает понять тенденции развития.

Исследователь должен считаться с семантикой сопоставляемых слов, чтобы во взаимодействии смысла и звучания слова

искать подлинные, подчас очень сложные причины фонетических изменений. «Идеальными» являются такие случаи, когда и семантика и фонетика (фонетические соответствия) подтверждают правильность исторического развития тех или иных слов.

Так, латинское слово *pater* — «отец» и его соответствия в итальянском (*padre*) и французском (*père*) языках полностью отвечают обоим критериям — семантическому и фонетическому.

Соотношения между этими словами не вызывают осложнений; смысловая связь между ними предельно ясна, звуковые изменения строго закономерны (*a* под ударением в итальянском не изменяется, а во французском в так называемой открытой позиции переходит в *e*; *t* в положении между гласными озвончается в первом случае и выпадает во втором).

Совсем другое обнаруживается при сравнении санскритского (древнеиндийского) местоимения *ahám* — «я» и греческого *ego* — «я». Не подлежит сомнению, что эти слова родственные, хотя фонетические соответствия между ними не вполне закономерны; санскритское *h* предполагает так называемую звонкую аспирату, что в греческом должно было дать χ (хи), а не γ (гамму)¹.

Устанавливая родственные образования в истории разных языков, лингвист обязан учитывать оба фактора — семантический и фонетический. Не проверив семантического развития фонетическими соответствиями, можно допустить произвольное толкование. В этом огромное значение фонетических соответствий и фонетических законов. Но вместе с тем нельзя опираться только на фонетические соответствия, не учитывая, какие слова и в каком значении сближаются или разъединяются. Если семантика без фонетики может обмануть, то фонетика без семантики лишена перспективы.

Понимание закона в области фонетики менялось в истории языкознания. В 70-х гг. XIX столетия школа так называемых младограмматиков считала, что фонетические законы действуют «со слепой необходимостью», подобно силам природы. Впоследствии противники младограмматиков Бодуэн де Куртенэ (1845–1929) в России и Польше, Шухардт (1842–1927) в Австрии и другие готовы были «расшатать» фонетические законы, объявить их простой условностью².

¹ См.: Пизани В. Этимология / Рус. пер. М., 1956. С. 91.

² Необходимо заметить, что и Бодуэн, и Шухардт, выступая против упрощенного понимания фонетических законов, сами много сделали для более глубокого истолкования их сущности.

Между тем ни те, ни другие не были правы. Фонетические законы нельзя отождествлять с законами природы, ибо язык — общественно-историческое явление. Вместе с тем нельзя и предполагать, как это делают некоторые современные лингвисты, что язык как общественное явление вообще не подвержен действию строгих закономерностей.

Язык как общественное явление, сохраняя свою специфику, имеет и свои закономерности в процессе исторического развития и синхронного функционирования. Но нужно правильно осмыслять подобные закономерности. Фонетические законы нельзя понимать как простые математические формулы.

Поясим примером. Во всех севернорусских говорах отвердение конечного *m* в 3-м лице единственного и множественного числа произошло фонетическим путем (он *носит*, они *носят*). «Но это отвердение не распространилось на окончание инфинитива под влиянием задерживающей аналогии со стороны форм на *ти* (*нести*, *нести*), оно не распространилось на окончание именительного единственного числа таких слов, как *нить*, *мать*, под влиянием форм склонения, где мягкая согласная была защищена гласною»¹.

В фонетике одна закономерность может столкнуться с другой или другими закономерностями, звуковой закон может быть нарушен по аналогии. Если в именительном падеже слова *нить* последний согласный звук не защищен гласным, то в косвенном падеже *нити* согласный *m* уже защищен гласным *и*. Эта же защита сохраняется и в других косвенных падежах. В результате и именительный падеж *нить* как бы вовлекается во всю парадигму (образец склонения) со смягченным согласным. Поэтому отвердения *m* не происходит и в именительном падеже *нить*. Следовательно, если бы именительный падеж *нить* рассматривался вне парадигмы всего склонения, сам по себе, изолированно, мы могли бы ожидать отвердения согласного. Но этого отвердения не происходит под воздействием косвенных падежей, где согласный *m* находится уже в других фонетических условиях. Своеобразное столкновение разных фонетических тенденций и приводит к осложнению общего фонетического закона.

¹ Шахматов А.А. Очерк современного русского литературного языка. 3-е изд. М., 1936. С. 79. Для других языков разнообразные материалы аналогичного характера можно найти в двухтомной монографии: Horn W. Laut und Leben: Englische Lautgeschichte der neueren Zeit (1400 bis 1950). I, II. Berlin, 1954.

Как это ни кажется парадоксальным с первого взгляда, а исключения из одного фонетического закона лишь подтверждают наличие в языке других законов, которые во взаимодействии друг с другом создают строгую, хотя и очень сложную общую закономерность языкового развития¹.

Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника всегда равен сумме квадратов двух катетов. Этот геометрический закон имеет абсолютное значение: он будет верен всегда и везде, независимо, например, от того, окажется ли рядом с данным треугольником другие треугольники, произнесут ли слово *треугольник* очень отчетливо (так называемым полным стилем) или неотчетливо, скороговоркой и т.д.

Между тем фонетический закон зависит от многих условий. Соседство одного звука с другим может изменить направление развития первого звука, в быстром произношении звуки часто образуют несколько иные комбинации, чем в произношении, четко артикулированном, и т.д. И тем не менее строгие звуковые законы в языке существуют, хотя они сложны и определяются общественным характером языка, особенностями его развития и функционирования. Специфика языка отражается и в специфике его звуковых законов.

Природа фонетических изменений еще недостаточно изучена в науке. Попытки объяснить причины фонетических изменений влиянием климата, стремлением человека «к более удобным артикуляциям» должны быть признаны несостоятельными. То, что в одном языке кажется «неудобной» артикуляцией, то в другом представляется вполне удобной. Каждый, кто когда-либо изучал фонетику неродного ему языка, знает, что звуки чужого языка часто кажутся нам «неудобными» лишь потому, что они нам непривычны².

Звуки речи не могут «выводиться» из социально-экономических условий жизни общества. «Едва ли удастся кому-нибудь, — писал Ф. Энгельс, — не сделавшись смешным... объяснить эконо-

¹ О том, что означают для ученого исключения из закона, совсем в другой связи и по другому поводу хорошо сказано в романе Д. Гранина «Искатели»: «Наука имеет свои странности. Сначала исследователь ценит те явления, которые связываются законом, но когда закон установлен, то исследователь начинает ценить исключения из него, так как только они обещают ему нечто новое» (гл. 25).

² В истории отдельных языков, впрочем, возможны случаи, когда звуки, артикуляционно более сложные, вытесняются звуками, артикуляционно более простыми (см.: *Мартине А.* Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960. С. 126–198).

номически происхождение верхненемецкого передвижения согласных...»¹

Причины фонетических изменений нужно искать не вне языка, а в нем самом, во внутренних тенденциях его развития. Разные области языка по-разному обусловлены исторически. В то время как лексика, словарный состав языка, чаще всего непосредственно реагирует на изменения в жизни самого общества, изменения в области фонетики опосредствованны и сложны. Развитие одних звуков может произойти под влиянием трансформации других звуков, под влиянием грамматических и лексических процессов. Разумеется, фонетическая система всякого языка, связанная с его лексической и грамматической системами, в конечном счете тоже оказывается обусловленной исторически, но эта обусловленность многоплановая.

Нельзя не обратить внимания, что некоторые фонетические изменения, которые трудно объяснить, не выходя за пределы самой фонетики, могут быть осмыслены на фоне более широких лексических или синтаксических явлений языка.

В период XIII–XV столетий старые французские дифтонги стали превращаться в монофтонги (простые гласные). Объяснить подобное явление на почве самой фонетики трудно. Но если заметить, что в этот же период истории французского языка стало развиваться фразовое ударение, группируя вокруг слова под ударением другие слова без ударения, то станет ясным и первое явление — монофтонгизация дифтонгов. Дифтонги возникали почти только под ударением, следовательно, уменьшение количества ударений на отдельных словах в предложении не могло не способствовать уменьшению дифтонгов и их превращению в монофтонги. Так фонетическое явление обуславливалось характером синтаксического членения предложения.

Изучение звуковых (фонетических) законов имеет не только общетеоретическое, но и практическое значение. Без знания фонетических законов той или иной группы родственных языков невозможно заниматься теоретической фонетикой и грамматикой, этимологиями слов, а следовательно, и историей их значений. Звуковые законы языков — ключ к истории языков.

Звуковые законы отдельных или родственных языков не следует смешивать с общеязыковыми фонетическими свойствами,

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Избранные письма. М., 1953. С. 423.

характерными для многих языков мира. К таким общим свойствам относится, например, принцип разграничения гласных и согласных звуков, явления ассимиляции и диссимиляции звуков и т.д.¹

Однако эти общие фонетические свойства, очень важные сами по себе, сравнительно редко соприкасаются со специальными трансформациями звуков, которые обнаруживаются в одной группе родственных языков в отличие от другой или других групп родственных языков. Когда говорят о фонетических законах, обычно имеют в виду звуковые переходы в области языков, связанных между собой единством происхождения².

7. Фонетика, графика, орфография и история письма

Как уже отмечалось, разграничение звуков и букв явилось важнейшим открытием языкознания XIX столетия. Разграничение это определяет сферу фонетики, с одной стороны, и сферу графики и орфографии — с другой.

Графика — понятие более широкое, чем орфография. В графике рассматривается отношение букв к звуковому составу языка. Здесь устанавливаются как значение отдельных букв, так и способы их своеобразного чтения. В алфавитах разных языков буквы могут быть одинаковыми, но чтение их — различным. Буква *в*, например, в русском языке обозначает звук *в* (*вата*, *ворон*), а во французском, английском, немецком — звук *б* (французское *bas*, английское *black*, немецкое *Bank*); буква *с* в русском письме обозначает звук *с* (*сам*, *сени*), в английском — *к* (*cold*) и *с* (*city*) и во французском — *к* (*cour*) и *с* (*cent*). Сходные буквы в графике различных языков получают неодинаковое отражение.

В отличие от графики орфография интересуется лишь правилами правописания, действующими в данном языке.

¹ О фонетических процессах в языках мира независимо от их родства см. статьи разных авторов в сб.: Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962. С. 173–390.

² О звуковых законах см.: *Зиндер Л. П.* О звуковых изменениях // ВЯ. 1957. № 1. С. 67–77; *Абаев В. И.* О фонетическом законе // Язык и мышление. I. Л., 1933. С. 1–14; Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962. С. 173–390; *Wechsler E.* Gibt es Lautgesetze? Halle, 1900 (здесь дана подробная история вопроса о звуковых законах на протяжении XIX столетия); *Schuchardt H.* Brevier. Halle, 1928. P. 51–107; *Rosetti A.* Studii lingvistice. București, 1955. P. 6–17; *Schogt H. G.* La notion de loi dans la phonétique historique // Lingua. 1961. N 1. P. 79–92.

Обычно различают три основных принципа орфографии: фонетический, морфологический (или этимолого-морфологический) и исторический (или традиционный).

При *фонетическом принципе* орфография слова и его произношение совпадают (например, в русском языке *стол, пол*). По подсчетам М.Н. Петерсона, в русском языке около 63% написаний фонетического характера и 37% нефонетического. И все же русская орфография сложна¹.

Морфологический (фонематический) принцип написания определяется грамматическим составом слова, его связью с другими словами (общие морфемы с чередующимися фонемами в сильных и слабых позициях). Пишут *воз*, а не «вос», как произносят, ибо *воз* — *возить*. Пишут *вода*, а не «вада», как произносят, ибо *о* обнаруживается в *воды, вóдный* и т.д. Ср. в немецком сравнительная степень от *alt* (старый) — *älter*, а не «*elter*».

Исторический принцип в орфографии — это случаи таких написаний, которые определяются особенностями происхождения слов. Если по-русски пишут *цирк*, а не «цырк», как произносят, то соответствующее латинское слово *circus* объясняет нам написание. Если англичанин прилагательное *right* — «прямой» произносит так («райт»), что две буквы (*gh*) оказываются только на письме, а француз наречие *beaucoup* — «много» произносит как «боку», то только историческое прошлое этих слов может в известной степени объяснить резкое расхождение между орфографией и орфоэпией (правильным произношением) данных слов.

Обычно во многих современных языках все три основных принципа орфографии сосуществуют, хотя один из них часто имеет ведущее значение. В русском языке написания по историческому принципу имеют сравнительно небольшой удельный вес. В таких же языках, как английский и французский, вследствие своеобразия их развития исторический принцип написания весьма важен.

Было бы серьезной ошибкой считать, что только письменная форма речи существенна, а нормы устной речи — менее твердые и более подвижные — особого интереса не представляют. Это не так. Нормы живой звучащей речи имеют огромное значение для языка, для нашей повседневной речевой практики.

Уже как-то было остроумно замечено, что орфография — это только фотография слова, оригинал которого — звучащее слово. Однако, разграничивая звук и букву, звучащую речь и

¹ Вопросы русской орфографии. М., 1964; *Панов М.В.* И все-таки она хорошая (рассказ о русской орфографии). М., 1964.

орфографию, следует понимать и взаимодействие между ними. В свою очередь, и орфография очень важна для самой звучащей речи. Орфография имеет большое нормализующее значение для языка, помогает установить его нормы. Единые же письменные нормы необходимы языку, как всеобщему средству общения всех людей общества, говорящих на данном языке.

Следует заметить, что некоторые фонетисты, в том числе и очень видные, склонны недооценивать значение орфографии. Между тем, хотя графика и орфография вторичны по отношению к звучащей речи, их роль в общей системе языка велика.

Так как фонетический принцип в орфографии очень многих современных языков распространен недостаточно, то орфография прямо не соответствует фонетике языка — звуки и буквы не совпадают. Поэтому в тех случаях, когда с той или иной целью хотят дать такую запись, которая соответствовала бы произношению и в которой не имелось бы расхождений между написанием и произношением, прибегают к так называемой *фонетической транскрипции*. Последняя необходима для изучения различных языков, для более глубокого понимания особенностей звуков родного языка, для исправления неправильного их произношения и т.д.

Вот образец транскрипции русского предложения: «Повадился ко мне на подоконник летать желторотый молодой грачонок» (М. Пришвин) — *Павáд'илсѣ ка-мн'э нѣ-пѣдакѣн'ик л'э"тáт' жѣлтарѣтѣ мѣладѣи грáч'ѣнк.*

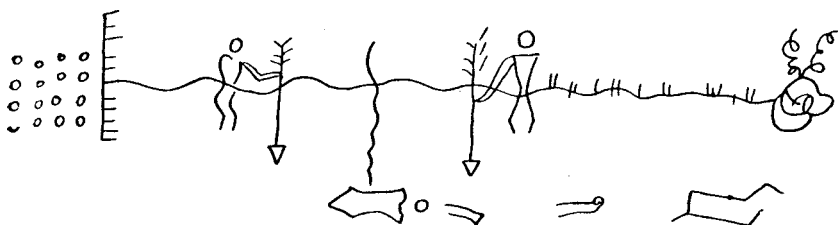
При сравнении фонетической транскрипции с обычным орфографическим написанием легко убедиться в различии между ними¹.

История письма — это процесс длительных и сложных исканий. Вопрос о том, как передать свои мысли на письме, волновал человека еще в глубокой древности. Но к современному алфавитному письму люди пришли не сразу. Наиболее древним было письмо *рисуночное* (*никтографическое*). Человек на различных предметах рисовал то, что хотел передать другому. Чтобы сообщить, например, понятие *человек*, нужно было нарисовать человека. Для передачи предложения *я ушел на охоту* рисовали человека, лес и зверей. Разумеется, такой способ письма был еще очень примитивен, он не мог выразить абстрактных понятий.

¹ О других типах транскрипции см.: *Аванесов Р.И.* Фонетика русского литературного языка. М., 1956. С. 213–237; см. также кн.: *Бодуэн де Куртенэ И.А.* Об отношении русского письма к русскому языку. СПб., 1912. С. 66–76.



Пиктография доисторического человека (пещерная надпись в Испании)



Описание военного похода одного индейского племени


















Идеографическое, или *иероглифическое*, письмо уже основывается не на рисунке, а лишь на передаче символа предмета¹. Теперь уже достаточно было начертить одну палочку, чтобы она означала человека. Своеобразные отдельные остатки идеографического письма встречаются иногда и у нас в быту: очки на вывеске могут означать оптическую мастерскую, трубка — табачный магазин, указательный палец — вход, череп — опасно для жизни и т.д.

Символика идеографического письма издавна позволяла использовать его для различных нужд криптографии (тайного письма). А расшифровка, нередко весьма сложная, различных видов криптографии служила темой для многочисленных детективных романов и рассказов, особенно после «Золотого жука» американского писателя Эдгара По (1809—1849). Криптография применялась, однако, и с более практическими целями. Во время Второй мировой войны, в частности, английская и немецкая разведки широко пользовались сложными системами тайного письма².

Иероглифическое письмо получило развитие в таких языках, как китайский, японский, египетский и др.

¹ Иное понимание идеографики см. в работе: *Истрин В.А.* Развитие письма. М., 1961. С. 74 и сл.

² См. об этом, например, в кн.: *Захариас З.* Секретные миссии / Рус. пер. М., 1959. С. 121—122.

	<i>Сражение</i>		<i>Смерть</i>		<i>Мать</i>
	<i>Ходить</i>		<i>Ветер</i>		<i>Сын</i>
	<i>Египет</i>		<i>Видеть</i>		<i>Царь</i>
	<i>День</i>		<i>Писать</i>		<i>Бдительность</i>
	<i>Ночь</i>				<i>Правосудие</i>
	<i>Месяц</i>		<i>Резать</i>		<i>Год</i>

Идеографическое письмо египтян

Поиски более простого письма все время продолжались. В ассиро-вавилонской клинописи, возникшей первоначально на основе идеографического письма (примерно 1000–600 гг. до нашей эры), стало постепенно развиваться письмо *слоговое* (*силлабическое*). Но и слоговое письмо было еще очень громоздким, оно основывалось на членении слова на слоги. Лишь создание современного буквенного письма открыло широкие возможности для быстрой и простой передачи мыслей. *Буквенное письмо* (иначе называемое *звуковым*) уже не знает тех затруднений, которые в большей или меньшей степени были свойственны всем предшествующим видам письма; буквенное письмо с одинаковой простотой передает как конкретные, так и абстрактные представления, как отдельные слова, так и целые предложения, целые периоды.

История письма развивается отнюдь не прямолинейно. Идеографическо-иероглифическое письмо до сих пор распространено во многих высокоразвитых языках (китайском, японском и др.). Однако все же можно утверждать, что письмо, как и системы грамматик (впрочем, каждая область по-своему, очень своеобразно), развивалось от более конкретных и чувственно-

наглядных форм к более абстрактным и обобщенным способам изложения. Современное буквенное письмо, утратив тысячи сложнейших знаков идеографического письма, не только проще, но вместе с тем и отвлеченнее. Если некогда в названии букв семитических языков существовала связь с идеограммами известных предметов (буква *б*, например, означала *бет*, т.е. «дом», буква *м* — *мем*, т.е. «воду», буква *р* — *рош*, т.е. «голову», и т.д.), то постепенно эта связь была совершенно утрачена. Когда сейчас ставят на бумаге букву *б* или букву *м*, или любую другую букву алфавита, то ни прямо, ни отдаленно эти буквы уже не означают для нас никаких конкретных предметов, а являются лишь техническим средством письма. Как и в грамматике, в истории письма развиваются отвлеченные обозначения, играющие важную роль в общем прогрессе человеческого языка.

Если неграмотный взрослый человек начинает обучаться письму и если он наделен к тому же живым и восприимчивым умом, то абстрактный характер букв современного письма невольно поражает его воображение. Это великолепно было показано М. Горьким в книге «Мои университеты». Писатель рассказал, как в молодости он обучил грамоте одного такого любознательного человека:

«Учился он усердно... и очень хорошо удивлялся: бывало во время урока вдруг встанет, возьмет с полки книгу, высоко подняв брови, с натугой прочтет две—три строки и, покраснев, смотрит на меня, изумленно говоря:

— Читаю ведь!..

...Несколько раз он вполголоса, осторожно спрашивал:

— Объясни же мне, брат, как же это выходит все-таки? Глядит человек на эти черточки, а они складываются в слова, и я знаю их — слова живые, наши! Как я это знаю? Никто мне их не шепчет? *Ежели бы это картинки были, ну тогда понятно.* А здесь как будто самые мысли напечатаны — как это?..

— Колдовство, — говорил он, вздыхая, и рассматривал страницы книги на свет»¹.

Большой интерес представляет вопрос о том, в какой зависимости находятся различные виды письма от характера грамматического и лексического строя языка. Ответ на этот вопрос

¹ Горький М. Избранные сочинения. М., 1946. С. 522. Об аналогичном воздействии письма на психику умного, но неграмотного взрослого человека подробно рассказывает польская писательница Э. Ожешко в повести «Хам» (гл. 2).

может быть дан только в той общей форме, которая была намечена выше: прогресс письма самым тесным образом связан с общим развитием и совершенствованием языка. Вместе с тем и письменность оказывает известное воздействие на язык, способствуя выработке общеязыковых норм.

Фонетика, как уже подчеркивалось, тесно связана не только с лексикой, но и с грамматикой, к рассмотрению которой теперь и переходим¹.

¹ Об истории письма см.: *Черепнин Л.В.* Русская палеография. М., 1956; *Истрин В.А.* Развитие письма. М., 1961; *Юшманов Н.В.* Проблема названий букв латинского алфавита // Язык и мышление. Т. IX. Л., 1940. С. 65–84; *Шампольон Ж.* О египетском иероглифическом алфавите / Рус. пер. М., 1950 (особенно с. 98–241, где рассказана история дешифровки египетских иероглифов); *Кнорозов Ю.В.* Система письма древних майя. М., 1955; *Диринджер Д.* Алфавит. Ключ к истории человечества. М., 1963.

Увлекательный рассказ о рукописях и об искусстве их прочтения можно найти в блестящей книге И.Ю. Крачковского: *Крачковский И.Ю.* Над арабскими рукописями. 3-е изд. М., 1948; см. также: *Cohen M.* La grande invention de l'écriture et son évolution. I. II. III. Paris, 1958; *Angelo P.* Storia della scrittura. Roma, 1953; *Jensen H.* Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart. 2 Aufl. Hamburg, 1958.

Глава III



ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ ЯЗЫКА





1. Что изучает грамматика

Когда в повседневной жизни говорят о грамматике какого-нибудь языка, то очень часто смешивают ее с орфографией или даже «граммотой». Грамматика русского языка — рассуждают неспециалисты — это правила, определяющие, когда пишется мягкий знак и когда он не пишется, когда следует поставить два *n* и когда не следует. Между тем в действительности грамматика занимается другими проблемами, и хотя вопрос о правильном и неправильном написании ее очень интересует, он решается ею попутно, в связи с теми большими теоретическими проблемами, которые в первую очередь исследуются в грамматике¹.

Школьная грамматика поневоле все свое внимание устремляет только на практическую, прикладную сторону предмета, ибо ей нужно прежде всего научить учащихся правильно говорить и писать на родном языке. Научная грамматика начинает с того, к чему приходит школьная грамматика. Это ни в коем случае не означает, однако, что научная грамматика не интересуется практическими вопросами лингвистики, но это означает, что наряду с такими практическими вопросами она ставит и решает важнейшие теоретические проблемы, относящиеся к специфике грамматического строя разных языков, к происхождению, развитию и системе грамматических категорий. Больше того, можно утверждать, что в свете этих теоретических проблем грамматике практические вопросы орфографии и орфоэпии могут быть лучше поняты и по-настоящему осмыслены. В этом отношении теория и практика неразрывно связаны в самой системе научной грамматики².

¹ Следует иметь в виду, что слово *грамматика* употребляется как в смысле учения о грамматике, так и в смысле грамматического строя языка, т.е. грамматического строя слова, словосочетания и предложения.

² Тонкий знаток русского языка А.М. Пешковский (1878–1933) был склонен слишком резко противопоставлять школьную грамматику как грамматику «ненаучную» грамматике научной. По его мнению, в большинстве случаев научное изучение предмета лишь развивает и углубляет знакомство с этим предметом, полученное в школе. Иначе в грамматике. «Здесь научное знакомство с предметом потрясает основы школьного, изучающему приходится переучиваться»

В свое время В.Г. Белинский совершенно правильно отметил, что одного так называемого инстинктивного и бессознательного знания грамматики явно недостаточно, ибо «грамматика есть логика, философия языка», поэтому «нет никакого сомнения, что когда к инстинктивной способности хорошо говорить или писать присоединяется теоретическое знание языка, — сила способности удвоется, утраится»¹. Вместе с тем Белинский подчеркивал, что «грамматика не дает правил языку, а извлекает правила из языка. Общее незнание этих правил, т.е. правил грамматики, вредит языку народа, делая его неопределенным и подчиняя произволу личностей: тут всякий молодец говорит и пишет на свой образец»².

Теория языка невозможна без сознательного отношения к языку как орудию общения и средству выражения мысли. Это же следует сказать и о теории грамматики.

В своей «Науке логики» Гегель писал: «Касательно общеобразовательного значения логики... я сделаю замечание, что эта наука, подобно грамматике, выступает в двух видах и сообразно с этим имеет двоякого рода ценность. Она представляет собой одно для того, кто впервые приступает к ней и вообще к наукам, и нечто другое для того, кто возвращается к ней от них. Тот, кто только начинает знакомиться с грамматикой, находит в ее формах и законах сухие абстракции, случайные правила... Напротив, кто владеет вполне каким-нибудь языком и вместе с тем знает также и другие языки, которые он сопоставляет с первыми, только тот и может почувствовать дух и образование народа в грамматике его языка; те же правила и формы имеют для него теперь наполненную содержанием живую ценность»³.

Действительно, нельзя не согласиться, что грамматика во всем своем громадном значении раскрывается не сразу и что ее «сухие абстракции» оказываются живыми категориями языка только для тех, кто умеет правильно их анализировать, привлекая для сравнения данные других языков и проникая в существо самих грамматических абстракций.

Теоретическое значение грамматики прекрасно понимали выдающиеся писатели, ученые и философы разных стран и народов.

(*Пешковский А.* Школьная и научная грамматика. 3-е изд. М., 1922. С. 45). Между тем «в идеале» всякая хорошая школьная грамматика точно так же должна строиться на научных основаниях, как и грамматика теоретическая. Различие — лишь в степени трудности и в объеме излагаемого материала.

¹ Белинский В.Г. Соч. Т. IV. М., 1900. С. 759.

² Там же. С. 760.

³ Гегель. Наука логики // Соч. Т. V. М., 1937. С. 37.

Ломоносов решил посвятить себя науке и искусству, после того как изучил «Граматику» Смотрицкого. В своем философском сочинении «О человеке, о его смертности и бессмертии» Радищев касается вопроса о существовании грамматики. Пушкин всю жизнь собирает материалы для русской грамматики и стремится осмыслить ее общие закономерности. Молодой Чернышевский пишет специальную статью о словообразовании в русском языке.

На рубеже между средними веками и новым временем Данте создает специальный трактат по философии языка и грамматике — «О народном красноречии». Ломоносов, Радищев, Пушкин, Белинский, Чернышевский и Горький в России, Панини и Вараручи в древней Индии, Платон и Аристотель в древней Греции, Данте и Вико в Италии, Алишер Навои в Узбекистане, Бэкон и Локк в Англии, Лейбниц и Гердер в Германии, Декарт и Дидро во Франции, Хачатур Абовян в Армении — вот лишь некоторые имена самых различных по своему мировоззрению крупных писателей, ученых и философов, которые много занимались вопросами грамматики наряду с общими проблемами языка.

Иногда думают, что грамматика — это лишь плод мысли человека, размышляющего о языке, а не сам язык. Между тем в действительности грамматика (наряду со словами и звуками речи) и составляет язык. Почему, однако, наивному сознанию кажется, что слова — это все, тогда как грамматика заключает в себе лишь какие-то «частности», «подробности формы»? Чтобы разобраться, как складывается такое ошибочное представление, обратимся к эксперименту.

Рассмотрим такой пример. Что может означать мысль, выраженная таким рядом слов: *идти, в, из, за, с, университет, книги*? Она может означать *идти в университет с книгами, идти из университета с книгами, идти в университет за книгами* и т.д. Следовательно, мысль, выраженная простым рядом слов, между которыми грамматические отношения не выявлены, оказывается неясной. Хотя отдельные слова и ясны¹, но грамматическая взаимосвязь между ними непередана, а поэтому неясным становится и то, что собственно хочет сказать говорящий или пишущий.

Важная роль разнообразных грамматических связей в предложении становится еще более очевидной, если мы усложним эксперимент.

¹ Слова же ясны потому, что сами по себе они грамматически оформлены. Грамматика изучает грамматический состав отдельных слов, грамматические отношения между словами, грамматические отношения внутри словосочетаний и между словосочетаниями, грамматические отношения внутри предложения и между предложениями.

Рассмотрим такой, более разнообразный ряд слов: *мы, чувствовать, что, солдат, задевать, за, живой, Таня, и, что, грозить, опасность*. Если в первом случае еще можно было приблизительно догадаться, что означают слова, вместе взятые, то в последнем случае трудно даже приблизительно установить возможные типы связи слов между собой. Но вот открываем рассказ М. Горького «Двадцать шесть и одна» и читаем: «Мы чувствовали, что солдат задет за живое и что Тане грозит опасность».

Следовательно, для того чтобы выразить мысль, следует не только разобраться в семантике отдельных слов, но и понять, в какие связи между собой они вступают в самом процессе выражения мысли. Мысль наша как бы облекается в определенную форму. Различные грамматические *типы связи слов* в словосочетании и предложении, как и *типы грамматического оформления самих слов*, либо употребляющихся самостоятельно, либо входящих в словосочетания и предложения, и изучаются в грамматике¹.

2. Грамматика и лексика

Как же грамматика «организует» лексику? Взаимодействие грамматики и лексики наблюдается постоянно, но вопрос о том, как следует правильно понимать характер подобного взаимодействия, относится к трудным областям общей теории языка. Сравнение грамматики с геометрией, к которому одно время обращались, должно быть признано малоудачным.

Грамматика оперирует абстрактными категориями. Когда говорят, что имя существительное выражает предметность в широком смысле, то само по себе понятие предметности объеди-

¹ Из литературы по общим вопросам грамматики (подобные исследования многочисленны; они выражают разные концепции авторов и порой резко отличаются друг от друга) см.: *Щерба Л.В.* Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. I. Л., 1958. С. 5–24 (статья «Очередные проблемы языковедения»); *Виноградов В.В.* Русский язык (грамматическое учение о слове). М., 1947. С. 3–47; *Его же.* Введение ко второму тому «Грамматики русского языка». М., 1960. С. 5–120; *Сланский В.* Грамматика — как она есть и как должна бы быть (пять научных бесед). СПб., 1887; *Сенур Э.* Язык. Введение в изучение речи / Рус. пер. М., 1934 (гл. 4 «Грамматические процессы» и гл. 5 «Грамматические понятия»); *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958. С. 15–61; *Хомский Н.* Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962. С. 412–527; *Bloomfield L.* Language. N.Y., 1933 (гл. 10 «Грамматические формы» и гл. 14 «Морфологические типы»); *Brunot F.* La pensée et la langue. Paris, 1936. P. 3–38 (общие принципы изучения грамматики); *Холодович А.А.* Опыт теории подклассов слов // ВЯ. 1960. № 1. С. 32–43.

няет и такие слова, как *стол* и *стул*, и такие, как *созерцание*, *мироздание*, *наука*, и такие, как *процесс*, *бег*, *победа* и т.д. Все это бесспорно. Однако, когда со ссылкой на устное замечание акад. Л.В. Щербы говорят, что «глокая куздра штеко будланула бокра» является «прекрасной русской фразой», то здесь происходит недоразумение. Подобное сочетание искусственных звуковых комплексов к языку не относится прежде всего потому, что язык, для того чтобы быть языком, всегда должен являться средством общения и средством выражения мысли. Подобная же «фраза» этой функции не выполняет и выполнять не может, а поэтому к языку и не относится¹.

Что передает эта «фраза»? Что можно в ней обнаружить?

В ней можно обнаружить, что *куздра* — «подлежащее», *глокая* — «определение к подлежащему», *будланула* — «сказуемое», *бокра* — «объект сказуемого». При более пристальном анализе раскрываются и другие грамматические признаки отдельных элементов этого условного целого (например, род «подлежащего» *куздра*, вид «сказуемого» *будланула* и др.). Пример этот свидетельствует о том, что грамматические понятия, в частности понятия членов предложения, частей речи, грамматических категорий, в какой-то степени можно искусственно изолировать от реальных слов данного языка и, изолировав, более отчетливо представить себе то, что в языке является грамматикой в отличие от лексики или фонетики. Такое отделение в известной мере помогает понять специфику грамматики и ее своеобразных категорий в отличие от специфики лексики, от специфики отдельных слов. Как и в других науках, временная изоляция одного явления от неразрывно связанных с ним других явлений до известной степени облегчает осмысление природы первого явления. В этом, и только в этом, смысл подобного эксперимента.

Можно ли, однако, на этом основании сделать вывод, что «глокая куздра...» является «фразой русского языка»? Ни в коем случае.

Подобные сочетания звуков лишь имитируют члены предложения и некоторые грамматические категории. Но *грамматика оперирует не всякими абстракциями, а абстракциями реальных слов и реальных языков*. Не учитывая этого, можно прийти к тому заключению, что грамматика равняется геометрии или астрономии,

¹ В талантливо написанной, интересной книге для детей старшего возраста Л.В. Успенского «Слово о словах» (1-е изд. 1954; 5-е изд. 1962) пример с *глокой куздрой* был популяризирован. Но то, что трудно и, быть может, нельзя объяснить детям, должно быть правильно осмыслено студентами-филологами.

так как эти науки тоже оперируют абстракциями. Между тем абстракции грамматики отвлечены от реальных слов того или иного языка или тех или иных языков. Язык — это не только грамматика, но грамматика в неразрывном единстве с лексикой и фонетикой. Поэтому отвлечение грамматического от лексического и фонетического, как и лексического — от грамматического и фонетического, фонетического — от лексического и грамматического, возможное для целей изучения разных сторон языка, не должно, однако, дезориентировать исследователя: часть не только не следует, но и невозможно принять за целое.

«Глокая куздра...» представляется «фразой русского языка» лишь тем лингвистам, которые считают, что грамматика оперирует только отношениями. Между тем грамматика оперирует не только отношениями, но и значениями. В этом плане отличие грамматики от лексики обнаруживается не в том, что лексика — сфера значений, а грамматика — сфера отношений, как часто считают, а в том, что в лексике категория значения оказывается на первом месте, а категория отношения — на ее более далеком фоне, тогда как в грамматике обычно сначала обнаруживается («ощущается») категория отношения и лишь затем категория значения. В свою очередь, категория значения в грамматике не совпадает с категорией значения в лексике. То же следует сказать и о категории отношения.

С лексической точки зрения слово *стол* осмысляется прежде всего как слово, имеющее определенное значение. С позиции же грамматики слово *стол* — имя существительное именительного падежа, мужского рода, единственного числа. В дальнейшем будет показано, что подобные грамматические отношения, под которые могут быть «подведены» многочисленные другие слова русского языка, сами заключают в себе категории значений (связь грамматики с мышлением)¹.

Одно из важных отличий грамматического значения от значения лексического заключается в том, что первое соотносится с логическими понятиями, но не соотносится непосредственно с предметами реальной действительности, тогда как второе всегда имеет и ту и другую соотношенность. Слово *дерево*, например, в его лексическом значении не только связано с логическим представлением о предмете, относящемся к флоре, но и с определенным деревом или деревьями, которые имеет в виду говорящий. Даже в тех случаях, когда говорящий и не подразумевает

¹ Следует заметить, что категория значения совершенно неправомерно исключается из сферы грамматики очень многими представителями современного языкознания.

никакого конкретного дерева, представление о дереве как определенном растении всегда «стоит» за словом *дерево* как лексической единицей. Иначе в грамматическом значении. То же слово *дерево* как имя существительное осмысливается нами прежде всего в своем категориальном значении предметности в отличие, например, от значения качественности (имена прилагательные), действия или состояния (глаголы) и т.д. Стоит только перейти от категориального грамматического значения к значению непосредственной предметности, чтобы «спуститься» от грамматического значения к значению лексическому.

Сказанное нисколько не противоречит тому, что любое слово обобщает. В лексике обобщение всегда связано с обобщением предметов или явлений. В грамматике же обобщение основывается прежде всего на определенных категориях, которые взаимодействуют — прямо или косвенно — с категориями логики. Грамматическая категория числа, например, не имеет непосредственной предметной соотнесенности и проявляется в самых различных частях речи (в именах существительных и прилагательных, в глаголах, в местоимениях и т.д.). Но грамматическая категория числа тесно связана с логическим представлением о числе, хотя и не совпадает с этим последним.

Грамматика не только отличается от лексики, но и постоянно взаимодействует с нею.

Взаимодействие грамматики и лексики обуславливается целым рядом причин, в частности тем, что «грамматика не дает правил языку, а извлекает правила из языка» (В.Г. Белинский). Извлекать же правила из языка грамматика может лишь в том случае, если она действительно организует реальные языковые единицы (слова), которые действительно существуют в языке, а не условные «слова» (вроде «глокая куздра»), которые образованы лишь по подобию реальных слов, но таковыми не являются.

Больше того, выдуманные «слова» могут «существовать» лишь на фоне реально имеющих в языке слов. *Они вторичны по отношению к действительным словам.*

Следовательно, отвлечение с условными словами возможно только на основе реальных слов.

То, что грамматика не безразлична к словам, следует и из того, что отнюдь не всякое слово она может соединить с любым другим словом данного языка. Анализ синонимов, в частности, показал (гл. I), что прилагательное *крепкий* в выражении *крепкий мороз* синонимично прилагательным *большой*, *сильный*, *жесточкий*, тогда как то же прилагательное *крепкий* в выражении *крепкий краситель* уже несинонимично прилагательным *большой*

или *жестокий* (невозможно сказать «жестокый краситель»), но приобретает новые синонимы — *стойкий*, *прочный* (*прочный краситель*). *Крепкое слово* — это «верное, нерушимое слово», между тем как *крепкое словцо* — это «только бранное, нехорошее слово». Следовательно, грамматика, устанавливая грамматические отношения между словами, не механически объединяет их. Она не безразлична к тем *реальным* смысловым связям, которые существуют между словами в данном языке.

Разумеется, единый грамматический тип (образец) сочетания прилагательного и существительного обычно «вмещает» в свою конструкцию различные по своей индивидуальной лексической семантике слова (грамматика всегда в той или иной степени обобщает), но, обобщая, грамматика «оглядывается» на слова, отвергая одни из них и принимая другие. Пример же с «глокой куздрой», основанный на полном и абсолютном отречении от действительных слов языка, не показывает тем самым подлинного существа грамматики; последняя и возвышается над отдельными словами и постоянно с ними считается.

Выдуманное словосочетание «глокая куздра» или даже целое предложение типа «Глокая куздра будланула...» *лишено двойного отношения* (к грамматике и к лексике), без которого не может быть языка.

Такие понятия, как имя существительное или имя прилагательное, глагол или наречие, являются понятиями прежде всего грамматическими, а затем лексическими, но наряду с ними грамматика оперирует и такими понятиями, которые характерны прежде всего для лексики, а затем для грамматики. В пределах имен существительных выделяются, например, собирательные имена (*студенчество*, *крестьянство*), а в пределах прилагательных — качественные имена (*большой*, *красивый*). Между тем *собирательность*, *качественность* — это уже элементы словарного состава языка. Через посредство подобного рода категорий — еще одно связующее звено! — грамматика входит в лексику, а лексика проникает в систему грамматики.

Такого рода вторичные грамматические значения (собирательность, качественность, единичность, частичность и пр.) еще крепче связывают грамматику и лексику¹.

Имеется весьма существенное различие между абстракциями математики и абстракциями грамматики. Хотя исторически математика возникла из практических нужд человека, которым она служит и сейчас, однако современной математике безразлично,

¹ Ср.: *Иванова И.П.* К вопросу о типах грамматического значения // Вестн. ЛГУ. Сер. истории, языка и литературы. 1956. Вып. 1. № 2. С. 105 и сл.

какими единицами она оперирует; ей безразлично, будут ли складываться или умножаться несколько картофелин, или книг, или автомобилей, или просто условных единиц, для того чтобы получить искомое. Иначе в языке. Грамматике отнюдь не безразлично, *какие слова* она оформляет. Разумеется, под одну грамматическую категорию могут подводиться разные слова. Но в языке всегда оказываются и другие, внешне, казалось бы, аналогичные слова, которые противостоят и даже противоречат данной категории. Лексический материал не только осложняет грамматику, но и взаимодействует с нею.

Но если грамматика взаимодействует с лексикой в плане синхронном, то в еще большей степени и еще глубже эта связь с лексикой раскрывается тогда, когда категории грамматики рассматриваются исторически. Как будет показано в последующем изложении, сами грамматические форманты разных языков (в частности, суффиксы, префиксы) часто восходят к самостоятельным словам в прошлом. То, что на одном этапе развития языка выступает как грамматическое, некогда могло быть лексическим. Следовательно, при всем различии грамматического и лексического у них может быть общий источник происхождения.

Следует внести поправку и в другое широко распространенное мнение, согласно которому грамматика оперирует только абстракциями, а лексика — только конкретными единицами языка. Разумеется, характер грамматических обобщений отличается от обобщений в лексике. Но уже известно (с. 40–50), что в самой лексике встречаются не только конкретные, но и самые абстрактные слова. В свою очередь, в грамматике имеются обобщения не только очень широкие (например, категория падежа), но и гораздо более частные и дробные (например, понятие «творительного падежа сравнения» по отношению к творительному падежу или падежу вообще) (с. 289 и сл.). Дело не столько в конкретности лексики и в абстрактности грамматики, сколько в специфичности тех категорий, которыми оперирует грамматика в отличие от лексики. Очерченное выше различие в соотношении категорий значения и отношения составляет одну из важных особенностей каждой области¹.

¹ Отмечая историческое движение в грамматике от конкретного к абстрактному, нельзя забывать и другого — движения от абстрактного к конкретному. Это последнее движение в логике называется восхождением. Основываясь на абстракциях, познание вновь возвращается к конкретному, но уже как к сложному синтезу многочисленных определений. В грамматике процесс движения от абстрактного к конкретному — вопрос, почти совсем не изученный, — не менее важен, чем процесс первичного развития.

Положение о том, что грамматика не может не считаться с категорией значения, разумеется, отнюдь не означает, что грамматика должна раствориться в самом содержании высказываемой мысли. Такое заключение было бы совершенно неправильным. Оно повернуло бы нас назад, к тем временам, когда не умели изучать своеобразие языковых категорий, когда язык отождествляли с самим высказыванием, а грамматику — с формальной логикой. Но, устанавливая специфику грамматики, нельзя забывать и другого: грамматика передает не «чистые отношения», а отношения, существующие в языке как средство общения и выражения нашей мысли. Так возникает проблема *значения и отношения*, одинаково существенная как для лексики, так и для грамматики.

Молодой Жюльен Сорель, герой романа Стендаля «Красное и черное», приговоренный к смертной казни, перед самой своей смертью размышляет (гл. 72):

«— Как странно! Глагол *гильотинировать* нельзя спрягать во всех временах: можно сказать *я буду гильотинирован*, но невозможно констатировать *я был гильотинирован*».

То, что казалось странным Сорелю, легко объясняется лингвистически. Грамматические абстракции (в приведенном примере — типы времен) не могут не считаться с тем лексическим материалом, который они обобщают по определенным категориям. Семантика глагола *гильотинировать* не позволяет ему оказаться в 1-м лице прошедшего времени пассивной формы. Грамматика и в этом случае взаимодействует с лексикой.

* * *

Грамматика связана не только с лексикой, но и шире — с мышлением человека. Как конкретнее представить себе это важнейшее положение? Ведь в зависимости от того, как решается данная проблема, в лингвистике различаются разные направления — от формального, для которого грамматика представляется сферой «чистых отношений», до антиформального направления, рассматривающего форму в неразрывном единстве с тем, что она выражает.

Вопрос этот будет подробно рассмотрен в дальнейшем, в разных разделах главы о грамматике, сейчас же ограничимся анализом лишь одного явления.

По-древнерусски можно было сказать: рубить *топором*, ехать *волами*, защищаться *щитом*, защищаться *ночью*. В Лаврентьев-

ской летописи (XIV в.) одна женщина рассказывает другой, как ее муж в единоборстве оказался побежденным мужем этой последней: «да аще твой муж ударить моим...» Творительный падеж в орудийном значении («ударить *моим мужем*») в современном языке в этом случае невозможен. Вполне употребительны сочетания слов типа «ударить *топором* или *бревном*», но неупотребительны сочетания типа «ударить *мужем*».

Присматриваясь к такого рода выражениям, нельзя не заметить, что современный язык уже не допускает не только словосочетаний типа «ударить *мужем*», но и словосочетаний типа «поехать *конем*», «защищаться *ночью*» (в смысле «под покровом ночи»). Вместо одной возможности древнего языка — «пахать *сохой*», «пахать *волами*» — постепенно возникают две возможности в новом языке: «пахать *сохой*» (соответственно «пахать *трактором*»), с одной стороны, и «пахать *на волах*» — с другой. На смену беспредложному сочетанию приходит сочетание с предлогом, которое сосуществует со старым падежным образованием. Вместо одной возможности старого языка возникают большие грамматические возможности в новом языке. Ср. старое «вышел *дверью*» и новое «вышел *в дверь*», «вышел *через дверь*» и т.д.¹

Нельзя не заметить, что подобные грамматические изменения в истории русского языка не были случайными, они оказались обусловленными соответствующими потребностями мысли. Новый язык дифференцирует то, что в старом языке, по-видимому, еще не нуждалось в дифференциации².

Но если в русском языке предложные сочетания слов, несколько потеснив сочетания падежные, не только не вытеснили эти последние, но даже укрепили их в определенной сфере употребления (дифференциация падежей и предлогов уточнила функцию каждого из этих грамматических средств), то в истории других языков картина оказалась иной.

¹ Ср.: Ломтев Т. П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. М., 1956. С. 212–230.

² Сказанное отнюдь не значит, что в древних языках многие категории сшивались, как часто ошибочно утверждают. В каждую эпоху жизни языка есть свои особенности в разграничении грамматических категорий. Вопрос сводится к тому, что с позиции современных языковых норм многие нормы старого языка представляются недифференцированными, хотя для своего времени и своей эпохи они не казались таковыми. Иначе и быть не может: язык всегда является средством общения и средством выражения мысли, поэтому он не может допустить смешения важнейших категорий. Осложнение возникает оттого, что сам язык развивается вместе с совершенствованием мышления.

В латинском разговорном языке эпохи империи предложные конструкции все более и более стали оттеснять на задний план падежные конструкции письменного языка. На смену старой письменной норме, например *scripsi matri* — «я написал матери» (где *matri* — дательный падеж от *mater* — «мать»), явилось новое предложное словосочетание *scripsi ad matre (m)*, где аналогичные грамматические отношения стали выражаться прежде всего предлогом. Впоследствии в истории большей части романских языков имя существительное лишилось всех форм падежного словоизменения, а грамматические отношения стали передаваться прежде всего предлогами и порядком слов.

Если сравнить данный процесс в истории латинского и романских языков с только что проанализированным процессом в истории русского языка (хотя хронологически они относятся к разным эпохам), то следует отметить как то, что сближает их, так и то, что их разделяет. Сближает эти процессы в истории разных языков стремление уточнить падежную конструкцию с помощью предлога («вышел в дверь», «*scripsi ad matre (m)*»), тогда как разъединяет — направление движения (в одних языках, например романских, предлоги полностью вытесняют старые падежи, а в других, например в русском, широкое развитие предлогов сосуществует в современном языке со столь же широко представленной системой падежей). В этом последнем случае развитие выражается в уточнении соотношения между падежами и предлогами и в частичном расширении сферы предлогов, между тем как в первом случае (в большинстве романских языков) развитие предлогов приводит к полному вытеснению старых падежей в системе имен существительных и прилагательных.

Совсем другая картина раскрывается в истории финно-угорских языков. В сравнительной грамматике этих языков принято считать, что в эпоху наибольшей близости между финно-угорскими языками в каждом из них было не больше 5–6 падежей, тогда как в современных финском и эстонском языках насчитывается по 14 падежей, а в венгерском — даже 22 падежа.

История этих языков показывает, что стремление уточнить связи и отношения между словами привело в упомянутых языках не к сокращению, а к увеличению числа падежей¹. Каждый

¹ См.: Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка / Рус. пер. Ч. I. М., 1953. С. 84 и сл. Необходимо отметить, что некоторые специалисты называют падежи в финно-угорских языках «прилепами имени» (Балаша И. Венгерский язык / Рус. пер. М., 1951. С. 287).

падеж, приобретая более точные очертания и отграничиваясь от новых падежей, тем самым успешнее стал справляться со своей основной задачей. То, что в одних индоевропейских языках теперь передается только предлогами, а в других — сочетанием предлогов и падежей, в языках финно-угорских нашло свое выражение прежде всего в росте количества самих падежей, в их более строгой дифференциации и отчасти во взаимодействии падежей с так называемыми послелогоми. Больше того, многие послелогои, примкнув к именам, образовали новые падежи в финно-угорских языках.

Таким образом, вопрос о соотношении падежей и предлогов в истории разных языков решается по-разному. Однако, каковы бы ни были результаты процесса, — вытеснение падежей за счет расширения предлогов, расширение предлогов при одновременном укреплении падежей, расширение самих падежей и т.д. — импульсы, определяющие подобный процесс в разных языках, *во многом оказываются сходными*. Потребности мышления, стремление более адекватно выразить то, что раньше передавалось менее адекватно, — вот то, что определяет сходный процесс в разных языках, хотя грамматические результаты подобного процесса в неродственных и даже родственных языках могут быть весьма различными.

Возвращаясь к вопросу о том, чем занимается грамматика, следует подчеркнуть, что в грамматике изучается: 1) структура слова; 2) структура словосочетания и 3) структура предложения.

Грамматика интересуется не только отношениями между словами, но и отношениями внутри слова, не только отношениями между словосочетаниями, но и отношениями внутри словосочетаний. То же следует сказать и о предложении: в грамматике изучается не только его структура, но и связи, существующие между различными типами предложений. Чтобы разобраться во всех этих грамматических единствах, нужно начать с вопроса о грамматической структуре слова¹.

¹ О соотношении грамматики и лексики см.: *Выготский Л.С.* Мышление и речь. М., 1934. С. 260—318 (книга эта вошла в его «Избранные психологические исследования», опубликованные посмертно в 1956 г.); *Горский Д.П.* Вопросы абстракции и образования понятий. М., 1961. С. 142—156; *Воронцова Г.Н.* О лексическом характере глагола в английском языке // Иностранные языки. 1948. № 1. С. 19—31; *Abel C.* Über die Verbindung zwischen Lexicon und Grammatik // Sprachwissenschaftliche Abhandlungen. Halle, 1885. S. 243—282; *Zawadowski L.* Correspondances de lexique et identités grammaticales // Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego. XII. Kraków, 1953. S. 24—54; *Vossler K.* Einführung ins Vulgärlatein. München, 1954. S. 105—115.

3. Структура и формы слова

На какие же элементы распадается слово с грамматической точки зрения? Как увидим впоследствии, в разных языках эти элементы могут быть неодинаковыми. Обратимся к фактам прежде всего русского языка.

Уже со школьной скамьи нам известны такие понятия, как *корень*, *аффиксы* (префиксы, суффиксы, инфиксы) и *флексия* (иначе *окончание*). *Аффиксы* являются своеобразными *морфемами*, т.е. отдельными, грамматически значимыми частями слова. Они служат не только для образования слов и уточнения их смысла, но и для выражения отношений между словами.

Корень — это основная смысловая часть слова без аффиксов. *Суффикс* — это морфема, обычно стоящая после корня, но перед флексией и служащая для образования слов и грамматических категорий (например, *летчик*, где суффикс *-чик* и уточняет корень и оформляет его одновременно, выражая также грамматическую категорию рода). *Префикс* — морфема, стоящая перед корнем и имеющая те же функции, что и суффикс (*подход*, *написать*). *Инфикс* — морфема, вставляемая внутрь корня слова при словообразовании и словоизменении. В латинском языке по сравнению с перфектом *findi* — «я наколол» (от глагола *findere* — «колоть») в настоящем времени возникает инфикс *-n-*: *findo* — «я колю». *Флексия*, или *окончание*, — это морфема, изменяющая форму слова в зависимости от его роли в предложении (*книга*, «но у него нет *книги*»). Наконец, *аффиксы* в целом — это все морфологические части слова (кроме корня и флексии), реализующие семантику корня и принимающие участие в образовании слов и грамматических категорий. Корень вместе с аффиксами образует *основу* слова.

Необходимо, однако, заметить, что только что приведенное традиционное понимание морфем нуждается в существенном уточнении и исправлении.

Место морфемы в слове не является основным отличием одной морфемы от другой. Больше того, различие в месте морфемы само является следствием других, более глубоких разграничений. Достаточно, например, сказать, что префиксы формируют прежде всего глаголы, а суффиксы — имена, чтобы убедиться в том, что между разными морфемами есть более существенное различие, чем позиция их в слове. Каждая морфема обычно имеет свое *назначение* в системе грамматики, хотя могут быть морфемы, одновременно встречающиеся в разных частях речи. Функ-

ция морфемы тесно связана с ее грамматическим значением и в основном определяется этим последним.

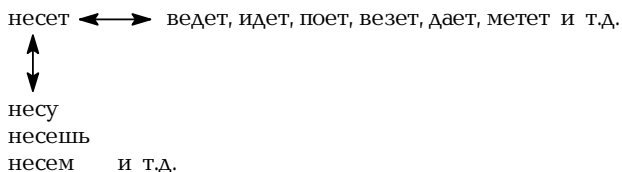
Грамматическая природа морфем очень сложна и многообразна.

Горизонтальный ряд, опирающийся на определенную совокупность или инвентарь единиц, часто называют *парадигматическим* или ассоциативным, тогда как вертикальный ряд, требующий известных правил соединения этих единиц в речевой цепи, обычно именуют *синтагматическим*. Понятия парадигматического (ассоциативного) и синтагматического рядов или планов получили дальнейшее распространение в грамматических исследованиях.

В таких языках, как русский или латинский, в качестве названия употребляется не основа, а именительный падеж, который обычно отличается от основы и тем более от корня слова. А это означает, что уже в самом названии слово выступает в известном грамматическом одеянии. *Творец, творчество, творение* имеют общий корень *твор*, но каждое из этих слов оказывается в грамматически оформленном виде и отличается от корня. *Творец* и *творчество* не совпадают с корнем *твор*, они приобретают свои специфические грамматические признаки (в частности, суффиксы *-ец* и *(че) тво*). Если же к этому прибавить, что слово *творец* и слово *творчество*, как и другие слова русского языка, обычно имеют и свои признаки рода, числа и падежа, то станет ясно, что в грамматически оформленном виде выступает не только предложение, но и слово. В тех же языках, в которых слово имеет немногочисленные морфологические признаки, как, например, в китайском языке, грамматическое оформление его осуществляется главным образом синтаксически — особым местом в предложении, ударением, интонацией, ритмом и пр.

Следовательно, грамматика не есть что-то внешнее по отношению к содержанию слова, а органически связана с этим содержанием. Суффикс *-ец*, превращая корень *твор* в слово *творец*, не только уточняет самый корень, но и участвует в создании того смысла, который мы вкладываем в слово *творец*. Грамматика и лексика образуют своеобразное единство во всех языках, хотя оно по-разному реализуется в различных языках в зависимости от их национальной специфики.

Изучая морфемы, нельзя не заметить, что они находятся в системных отношениях. Сравним такие два ряда — горизонтальный и вертикальный:



Слово *несет* как бы опирается на два ряда грамматических соответствий, которые поддерживают его, делают его представителем именно данной грамматической системы русского языка. Если окончание 3-го лица единственного числа *-ет* не повторялось бы во множестве других глаголов (*ведет, идет* и пр.), оно не смогло бы выделиться и обобщиться, сделаться общим показателем данной категории. Вместе с тем, если *несет* не входило бы в ряд парадигмы (*несу — несешь — несет* и пр.), оно не смогло бы восприниматься как 3-е лицо единственного числа в отличие от 1-го и 2-го, в отличие от множественного числа.

Каждая форма слова, в особенности в языках флективных, которые располагают многообразными флексиями, вступает в своеобразные ряды грамматических соответствий. Сила этих соответствий настолько велика, что, не зная формы какого-либо слова, по аналогии с подобными же формами других слов ее легко устанавливают.

Представим себе, что иностранец затрудняется образовать форму 3-го лица единственного числа настоящего времени, например, от глагола *нести*. Но если ему уже знакомы соответствия типа *нести — несет, везти — везет*, то по аналогии с ними он образует *нести — несет*. Формула аналогии такова (еще более она применима к продуктивному спряжению):

$$\frac{\text{нести}}{\text{несет}} = \frac{\text{нести}}{x}$$

Легко понять, что x в этом случае равняется *несет*¹. Разумеется, по аналогии образуют формы слов не только иностранцы, но и люди, для которых данный язык является родным. Образования эти производятся подчас бессознательно для самих говорящих. Когда водитель трамвая или автобуса, отправляя вагон или машину, иногда восклицает «*местов больше нет*», то нелитературная форма *местов* (вместо литературной *мест*) возникает по анало-

¹ См.: *Соссюр Ф. де*. Курс общей лингвистики. М., 1933. С. 152–153; *Палуль Г.* Принципы истории языка. М., 1960. С. 128–152 (глава об аналогии). Несколько иначе вопрос освещается в кн.: *Глисон Г.* Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959. С. 91–106 (глава о морфеме).

гии с существующими в языке образованиями родительного падежа множественного числа типа *домов, столов, отцов* и т.д.

Следует различать два основных типа аналогических образований (два типа аналогии).

Одна форма может вытеснить другую в процессе своеобразной борьбы, опираясь на сходные другие образования. Так, в русском языке именительный падеж множественного числа типа *профессора* возник в наше время по аналогии с *дома, города, доктора* и пр. и вытеснил старую форму *профессоры*. Задача конкретной теории и истории отдельного языка или группы родственных языков заключается в том, чтобы по возможности объяснить, как и почему одна форма побеждает другую.

Аналогия второго типа несколько иная: в этом случае речь идет о том, как форма нового слова (обычно неологизма) возникает по образцу уже существующих форм прежних слов (по их моделям). Множественное число именительного падежа такого слова, как *вертолет*, которое оказалось новым в русском языке 30-х гг. XX в., образуется по типу множественного числа на *и (ы)*: *вертолет — вертолёт(ы)*, а не по типу множественного числа на *а (я)*. Наличие ударения на последнем слоге этого слова (*вертолёт*) определяет выбор первого типа множественного числа, а не второго (ср. аналогичное ударение на конечном слоге в словах *инженёр, офицёр* и соответствующие формы множественного числа *инженёры, офицёры*).

Аналогия была бы невозможна, если бы структура слова не поддерживалась системными отношениями в грамматике. Эти отношения одновременно помогают нашей памяти при изучении грамматики того или иного языка. Грамматика обобщает свои категории именно потому, что сами они закономерно повторяются, и, повторяясь, выкристаллизовываются в своих отвлеченных грамматических значениях¹.

¹ Будучи явлением по преимуществу морфологическим, аналогия известна и в синтаксисе. Здесь, однако, она чаще выступает в ином облике — в виде так называемых *контаминаций*. Когда по аналогии с выражениями *играть роль* и *иметь значение* в нелитературном языке иногда возникает ошибочное соединение слов *играть значение*, то подобное образование основывается на смешении (контаминации) двух названных выражений: глагол *играть* первого словосочетания соединяется с существительным *значение* второго словосочетания, образуя новое соединение слов, в данном случае ошибочное. Иногда же контаминация совершается и в сфере литературного языка. Контаминация может наблюдаться и в морфологии. Ср., например, такое образование, как *всемогущественный*, в результате контаминации *всемогущий* и *могущественный*. Другие материалы подобного рода см. в полезном, тщательно составленном словаре-справочнике «Правильность русской речи. Трудные случаи современного словоупотребления» (М., 1962; составители Л.П. Крысин и Л.И. Скворцов, редактор С.И. Ожегов).

Возвращаясь к структуре слова, следует отметить, что аффиксы обычно имеют более абстрактное значение, чем корень слова. Корень *твор*, упомянутый раньше, уже сам по себе может вызывать различные ассоциации со словами *творить*, *творец*, *творчество* и пр. Корень *лет* — со словами *летать*, *летчик*, *подлетать*, *полет*, *прилет* и множеством других. Больше того, корень, как известно, иногда просто совпадает со словом и имеет самостоятельное значение: *стол*, *дом*. Иначе воспринимаются аффиксы. Суффиксы, префиксы, инфиксы сами по себе не имеют в большинстве случаев самостоятельных значений в новых языках. Когда производят суффиксы *-ец* или *-ств-о*, у нас еще не возникает никаких непосредственных лексических «рядов», никаких конкретных лексических значений. Только в единстве с корнем слова эти суффиксы вырисовываются более отчетливо: *-ец* — это *борец*, *творец*, *купец*, *храбрец*, *певец* и т.д.; *-ств-о* — это *творчество*, *мастерство*, *юношество* и многие другие.

Значит ли сказанное, что такие аффиксы, как суффиксы и префиксы, вообще не имеют никакого значения? Отнюдь нет. Они имеют специфически грамматическое значение.

Рассмотрим грамматическое значение отдельных суффиксов. Сам по себе суффикс *-ец*, как отмечалось, не имеет самостоятельного значения. Однако, внимательно изучая слова, которые оформляются при помощи этого суффикса, можно сделать важные наблюдения. *Ярославец*, *красавец*, *вузовец*, *владелец*, *страдалец*, *просвещенец*, *ленивец*, *творец*, *купец*, *певец*, *чтец* и т.д.¹, как ни различны и ни пестры сами по себе эти слова по своей семантике, они все же имеют и известные точки грамматического соприкосновения: все они означают определенное лицо, и все они сходным образом оформлены. Это своеобразное и абстрактное значение (существительное лица или действующего лица — *nomina agentis*) достигается единством суффиксального окончания. Иначе: суффикс *-ец* имеет в современном русском языке значение лица или действующего лица. Следовательно, здесь не единичное лексическое значение, а грамматическое. *Ярославец* — это житель Ярославля, *купец* — это представитель определенного социального общества, *певец* — это профессия лица, *ленивец* — это характеристика лица. Но во всех этих случаях, несмотря на их лексическое многообразие, над ними как бы возвышается более общее грамматическое значение: суще-

¹ В современном языке эти образования от имен существительных продуктивны (*ярославец*), а от глаголов и имен прилагательных непродуктивны (*чтец*, *гордец*).

ствительное действующего лица¹. Грамматическое значение, *отвлекаясь от конкретных слов* и возвышаясь над ними, вместе с тем своеобразно *объединяет* и классифицирует эти последние в широких грамматических рамках.

Как ни глубоко отличие аффиксов от слов в современной системе таких языков, как индоевропейские, между ними в историческом плане имеются не только различия, но и точки соприкосновения.

Немецкий суффикс *-heit* (например, *Schönheit* — «красота», *Weisheit* — «мудрость») в старом немецком языке был самостоятельным существительным со значением «способ», «вид», «образ», так что первоначально такое сложное существительное, как *Schönheit*, обозначало букв. «образ (или вид) красивый». К самостоятельному слову восходит и немецкий суффикс *-schaft* (например, *Gesellschaft* — «общество», *Bruderschaft* — «братство»), который именовал некогда «свойство», «состояние», «качество». Самостоятельным словом являлся и префикс *voll-* (*vollkommen* — «законченный», *vollbringen* — «совершать»), восходящий к наречию *voll* (полностью) и т.д.

Во всех романских языках (кроме румынского) наречное окончание *mente* или *ment* восходит к латинскому существительному *mens, mentis*, некогда означавшему «ум», «намерение». Но уже в поздней латыни выражение типа *bona mente factum* (букв. «сделанное добрым умом») приобрело смысл — «сделанное добрым образом», т.е. стало передавать так называемое инструментальное (орудийное) значение. В дальнейшем в истории романских языков это значение *mente* постепенно превратилось в значение наречного грамматического форманта, так что современное испанское *elegantemente* просто означает «изящно», современное итальянское *fortemente* — «сильно», современное французское *clairement* — «ясно» и т.д. Следовательно, грамматический формант (суффикс) исторически восходит здесь к самостоятельному слову, к имени существительному.

Романский суффикс *-ade* (*orangeade* — «апельсиновый напиток», *citronnade* — «лимонный напиток») превратился в американском варианте английского языка в самостоятельное слово. У продавцов спрашивают: Have you some *ade*? — «Есть ли у вас какой-нибудь *прохладительный напиток* (что-нибудь прохладительное)?» Или ср.: *кворум* — из латинского *quorum* (*praesentia*

¹ Другие значения суффикса *-ец* (наименования предметов по качеству, по материалу, по действию, например *резец, гостинец, ларец, сырец, холодец* и др.) в современном языке непродуктивны.

sufficit) — «которых (присутствие достаточно)» через немецкое *Quorum*, французское, английский *quorum*.

Историческая связь грамматических формантов с самостоятельными словами, очевидная в языках индоевропейских, выступает еще более наглядно в некоторых других языках, относящихся к иным языковым семьям.

Например, в венгерском языке (финно-угорская семья языков) многие самостоятельные слова впоследствии превратились в окончания (флексии). В одном из древнейших памятников венгерского языка, в «Надгробной речи» (XIII в.), встречаются построения типа *vi lát belé*, современное *világba* — «в мир», где *belé* представляет собой слово *bél*, букв. означающее «кишка», «сердцевина», «внутренность». Это самостоятельное слово впоследствии превратилось в падежное окончание имени существительного или, как считают другие исследователи, в так называемый послелог¹. Следовательно, не только аффиксы, но и флексии исторически могут восходить к самостоятельным словам.

Показательна в этом отношении наряду с историей многих аффиксов и флексий и история отдельных служебных частей речи. Эти последние, выполняя в современном языке по преимуществу грамматическую функцию, исторически часто восходят к самостоятельным частям речи. Ранее уже была очерчена история предлога *благодаря* (гл. I); не менее интересно возникновение таких предлогов, как *под* из существительного *под* — «низ, дно русской печи», *около* из существительного *коло* (в старом языке «круг», «колесо»). Впрочем, *около* может быть не только предлогом, но и наречием. Совершенно прозрачна связь таких предлогов, как *вследствие*, *в течение*, с именами существительными, т.е. с самостоятельными словами. Французский предлог *chez* — «у» возник из латинского существительного *casa* — «дом», немецкий предлог *trotz* — «несмотря на» явно связан с существительным *Trotz* — «упорство», «упрямство».

Таким образом, история многих суффиксов, префиксов, как и история предлогов, а равно и других «грамматизованных» частей речи, показывает, что грамматические абстракции не сразу возникли в языке, что различные грамматические форманты постепенно развивались от лексически индивидуальных значений к общим грамматическим категориям. Грамматическое

¹ См.: Балашша Й. Венгерский язык. М., 1951. С. 288. Для языков иного грамматического строя см.: Sommerfelt A. La langue et la société. Oslo, 1938. Здесь дается интересный анализ архаичного языка одного из древнейших австралийских племен аранта.

значение того или иного аффикса или того или ного предлога, часто восходя к лексически самостоятельным словам, освещает тем самым путь исторического возникновения абстрактных и служебных категорий в грамматике.

Как ни существенна историческая связь между морфемами, с одной стороны, и самостоятельными словами — с другой, в грамматической системе отдельно взятого языка, рассмотренного синхронно, морфемы и самостоятельные слова обычно разграничены достаточно четко. И это вполне понятно, так как морфемы относятся к грамматике, а слова — прежде всего к лексике. Лексика же и грамматика, при всей их внутренней взаимной обусловленности, всегда сохраняют свою специфику.

В индоевропейских языках слова, ставшие морфемами, обычно совсем утрачивают свои былые связи с лексическими значениями. Больше того, грамматические функции морфем начинают отрицать лексическую индивидуальность значения слова. В этом обнаруживается своеобразная закономерность языкового развития: на более высоком его этапе возникает новое качество, отрицающее качество предшествующее.

Более сложным оказывается соотношение между служебными словами и словами самостоятельными.

Рассмотрим два латинских словосочетания: *liber de Petri* — «книга Петра» и *post domum* — «за домом», «позади дома». Предлог *de* приобрел чисто грамматическое значение; в данном случае вместе с окончанием имени он выражает родительный падеж (ср., впрочем, другие, более «лексические» значения предлога *de* — «согласно», «по»: *de mea sentential* — «согласно моему мнению»; «во время», «в течение»: *de tertia vigilla* — «в третью смену», «во время третьей смены» и т.д.). Напротив того, предлог *post* одновременно является и предлогом и наречием (*anno post* — «год спустя»). Как наречие, *post* сохраняет самостоятельное значение: «позади», «после», «позже», «впоследствии».

Нечто подобное можно сказать и о сравнительном анализе таких русских предлогов, как, с одной стороны, *вследствие*, *впоследствии*, в которых связь с самостоятельными словами *следовать*, *следствие*, *последовать*, *последствие* очевидна, и, с другой стороны — о таких, как *под* или *около*, в которых аналогичная связь уже утрачена. Следовательно, в последнем случае грамматизация предлогов произошла бóльшая, чем в первом.

В отличие от простых, непрямых слов, слова производные всегда двусоставны или многосоставны.

По сравнению, например, с *нести* глагол *разнести* выступает как производный (с приставкой *раз-*). Морфологическое членение слова всегда опирается на те системные отношения в грамматике, о которых уже говорилось. Чтобы существительное *рамка* расчленить на *рам* + *ка*, необходимо: 1) чтобы корень *рам* был известен и другим словам (*рама*, *подрамник*, *обрамление*); 2) чтобы суффикс *-к-а* повторялся в других существительных (*руч-ка*, *нож-ка*, *шей-ка*); 3) чтобы значение корня *рам* в слове *рамка* было тем же, что и значение этого же корня в словах *рама*, *подрамник*, *обрамление* и т.д.¹ То, что морфологический анализ слова невозможен без точного понимания подвижной структуры слова, может быть проиллюстрировано следующим примером.

В словах *барин*, *барыня*, *барич*, *барский*, *барство* выделяется общий корень *бар*. Но слово *барышня* можно отнести к перечисленному ряду слов только в том случае, если понимать данное слово в старом значении «незамужняя дочь барина или барыни» (ср. у Пушкина в «Евгении Онегине», V, 4: «Служанки со всего двора / Про *барышень* своих гадали»). Но вот в начале XX столетия с развитием телефонной связи появилось новое выражение, вскоре затем исчезнувшее, «телефонная *барышня*» — телефонистка. Основа этого слова оказалась непроизводной. *Барышня* в значении «телефонистка» уже не вступает в словообразовательный ряд слов типа *барин*, *барыня* и пр., так как перестает означать «дочь барина или барыни».

Таким образом, структура слова исторически изменчива, и, чтобы правильно ее анализировать, нужно понимать широкие связи слова со всей грамматической системой языка определенной исторической эпохи.

Грамматическое членение слова, как видно из подобных примеров, отнюдь не безразлично к его значению. Всегда сохраняя *своеобразие*, грамматика вместе с тем постоянно взаимодействует с лексикой, как и лексика с грамматикой. Это взаимодействие может быть обнаружено в самых разнообразных грамматических процессах, в частности в явлениях так называемого опрощения и переразложения².

¹ См.: Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию // Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 419–442. Ср. иную точку зрения и полемику с Г. Винокуром в статье А.И. Смирницкого: Смирницкий А.И. Некоторые замечания о принципах морфологического анализа основ // Докл. и сообщения филологического факультета МГУ. 1948. Вып. 5. С. 21–26.

² Вслед за В.А. Богородицким следует различать *опрощение* как грамматический термин и *опрощѣние* в нетерминологическом значении (Богородицкий В.А. Общий курс русской грамматики. 5-е изд. М., 1935. С. 99 и сл.).

Опрощение — грамматический процесс, приводящий к тому, что слово со сложным морфологическим составом утрачивает самостоятельное значение своих отдельных частей и воспринимается как неразложимое. Так, слово *вкус* в современном русском языке уже не распадается на *в* + *кус*. Между тем в старом языке оно ощущалось как составное (ср. *кус-ать*, *кус-ок*). Точно так же в глаголе *забыть за* уже не воспринимается как префикс, и этот глагол рассматривается как неразложимый. Именно поэтому к нему легко присоединяются новые префиксы. Так возникает *перезабыть*.

Слово *кольцо* теперь также не представляется составным, поскольку старое *коло* в значении «колесо» не сохранилось. Вот почему *кольцо*, ранее являвшееся уменьшительным образованием от *коло*, утратило свою уменьшительность и вместе с нею и свою двусоставность.

С процессом опрощения тесно связано и явление *переразложения*, т.е. изменение соотношения между различными морфемами внутри слова на разных этапах развития языка.

Переразложение наблюдается, например, в склонении существительного *жена*. Формы *женам*, *женами*, *женах* раньше разлагались на основу и флексию не так, как в современном языке, ибо в старых формах *а* принадлежало основе: *жена-м*, *жена-ми*, *жена-х*. Но вследствие того что гласный *а* повторялся перед окончаниями и всех других слов этого склонения (*нога-м*, *рука-м*), звук этот обобщился для всего склонения и отошел от основы к флексии. Произошло расширение флексии за счет основы. Следовательно, грани между основой и флексией, как и грани между отдельными морфемами, исторически изменчивы и подвижны.

Явления опрощения и переразложения определяются особенностями развития грамматики. Вместе с тем они часто бывают связаны и с развитием лексики.

Если попытаться установить, когда слово *вкус* могло перестать восприниматься в сознании говорящего как двусоставное (*в* + *кус*), как связанное со словами *кусок*, *кусать*, то следует иметь в виду, что процесс этот произошел, по-видимому, тогда, когда наряду с буквальным значением («ощущение, возникающее при раздражении слизистой оболочки языка растворимыми веществами; качество пищи, оцениваемое по производимым ею ощущениям») у слова *вкус* стали все более и более развиваться переносные значения: «чувство изящного, склонность, любовь к чему-нибудь, пристрастие». Это стало способствовать

все большему отрыву слова *вкус* от существительного *кусок* и глагола *кушать*, ибо в переносных значениях уже совсем не оказалось той связи с исходным значением слова, которая еще ощущалась — правда, тоже в очень ослабленном виде — в буквальном употреблении («качество пищи» определяется при «кусании»; но «склонность» или «чувство изящного» уже никакого отношения к «кусанию» не имеют). Следовательно, семантическое развитие, которое претерпело слово *вкус*, отразилось на его структуре, как и обратно: морфологическое опрощение слова способствовало дальнейшему его смысловому движению по пути фигурального осмысления.

Так или иначе, но еще в начале XIX в. славянофил Шишков в своем «Рассуждении о старом и новом слоге» резко возражал против употребления слова *вкус* в переносных значениях, видя в них влияние французских словосочетаний с существительным *goût* (*un goût fin* — «тонкий вкус»). Несмотря на протесты Шишкова, фигуральное осмысление слова *вкус* получило широкое распространение к началу XIX столетия¹.

Итак, морфологический процесс опрощения слова может находиться под известным воздействием процесса его семантического развития. Следовательно, «автономность» морфологической структуры слова, о которой часто говорят сторонники чисто формального понимания грамматических процессов, является весьма относительной.

Когда исчезло старое русское слово *коло* — «колесо», «круг», то образованное от него уменьшительное *кольцо* (ср. *слово* — *словцо*) перестало восприниматься как уменьшительное, ибо *кольцо* уже не могло морфологически соотноситься с несуществующим словом *коло* и тем самым не могло ощущаться как составное. Следовательно, лексический процесс — утрата одного слова — привел к морфологическим последствиям, к явлению опрощения.

С чисто формальной точки зрения соотношения между *дочь* — *дочка* и *нить* — *нитка* кажутся одинаковыми. Более пристальный анализ раскрывает существенные различия между ними: *нить* не имеет свободного значения в современном русском языке и встречается лишь в устойчивых и немногочисленных выражениях, как например *путеводная нить*, *ариаднина нить*, *красной нитью*. Следовательно, внешне очень сходные отношения (*дочь* — *дочка* и *нить* — *нитка*) внутренне несходны: *нитка* употребляется в языке по существу независимо от *нити*, поэтому первое сло-

¹ Словарь современного русского литературного языка. Т. 2. М., 1951. С. 423–424.

во и не воспринимается как уменьшительное образование от второго. Между тем *дочка* — производное уменьшительное от *дочь*.

Иногда соотношение между производными и непроизводными словами складывается еще сложнее.

Существительное *машинка* — уменьшительное образование от слова *машина*. Но когда появились *пишущие машинки*, последнее имя существительное стало употребляться самостоятельно безотносительно к *машине*. Так, в начале XX столетия в подобных случаях говорили *пишущая машина*, а не *машинка*. В рассказе В. Вересаева «На высоте» читаем: «Но ведь сама же ты сейчас только упрекала меня, что я будто бы говорю с тобою только о кофе и пишущих *машинах*». Чем больше, однако, пишущие *машины* входили в быт, тем в большей степени возникала необходимость в лексической дифференциации новых и старых предметов. *Машинка* стала обозначать пишущую машину. В языке возникли новые омонимы: *машинка* — уменьшительное образование к *машина* и *машинка* — особый прибор для перепечатаывания бумаг, рукописей и пр. В этом последнем случае *машинка* уже не воспринимается как уменьшительная форма (самые крупные пишущие машинки называются все же *машинками*, а не *машинами*) и не оказывается тем самым производным.

И в этом случае грамматический процесс опрощения состава слова взаимодействует с процессом семантической дифференциации слов.

XXI в. с компьютерами и принтерами отодвигает слово *машинки* «пишущие машинки — машины» в историзмы.

Если сравнить суффикс *-th* в английском слове *depth* — «глубина» с суффиксом *-ness* в слове *goodness* — «доброта», то нельзя не заметить, что второй из них гораздо отчетливее выделяется в слове, чем первый. Суффикс *-th* теперь уже кажется не отделимым от существительного *depth*. Все это слово подверглось процессу опрощения. Желая определить различие между подобными двумя типами слов, Э. Сепир писал о них со свойственной ему образностью: «Наш ум требует точки опоры. Если он не может опереться на отдельные словообразующие элементы, он тем решительнее стремится охватить все слово в целом»¹. Процесс опрощения своеобразно влияет на то, как говорящие воспринимают слово.

Разнообразные изменения, совершающиеся в структуре слова, во многом обусловлены и грамматической системой языка в

¹ Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи / Рус. пер. 1934. С. 103.

целом и *развитием*, которое претерпевает сама эта система. Вместе с тем изменения, происходящие в структуре слова, не могут не зависеть от различных особенностей (в том числе и лексических) тех слов, в пределах которых совершаются данные грамматические трансформации.

В языках флективных различаются процессы *формообразования* и процессы *словообразования*. В первом случае речь идет о неодинаковых формах одного и того же слова (например, *дом*, родительный падеж *дома*; *говорю* — 1-е лицо, *говорит* — 3-е лицо и т.д.), во втором возникают разные слова, непосредственно связанные между собой грамматически (например, типами суффиксов: *учитель* — *учительство*, префиксов: *рубить* — *разрубить* и т.д.).

Изучение различных форм одного и того же слова ставит перед лингвистом много сложных теоретических вопросов: в каком отношении друг к другу находятся различные формы слова, имеются ли в языке главные (основные) и производные формы слова, как выражается наша мысль в зависимости от тех или иных форм и т.д. Многие языковеды XX в., справедливо подчеркивая сосуществование разных форм слова в языке, неправомерно отказываются от постановки вопроса о главных и производных формах слова. Между тем эта проблема, как мы сейчас увидим, имеет большое теоретическое значение.

«Нельзя говорить, — писал Бодуэн де Куртенэ, — что известная форма данного слова служит первоисточником для всех остальных и в них переходит. Разные формы известного слова не образуются одна от другой, а просто сосуществуют. Конечно, между ними устанавливается взаимная психическая связь, и они друг друга обуславливают, но с одинаковым правом мы можем говорить, что форма *вода* переходит в форму *воду*, как и наоборот, форма *воду* — в форму *вода*»¹. Аналогичные мысли развивали и другие видные лингвисты, в частности француз А. Мейе, подчеркивавший, что «в латинском языке не было одного слова *волк*, а лишь совокупность форм: *lupus* (им. падеж), *lure* (зват. падеж), *lupum* (вин. падеж), *lupi* (род. падеж), *lupo* (отложительный падеж), причем ни одна из этих пяти форм не была исходной для других, так же как не было исходных форм для образования множественного числа»². Еще более резко аналогичные

¹ Бодуэн де Куртенэ И.А. Рецензия на кн.: Чернышев В. Законы и правила русского произношения // Изв. Отделения рус. яз. и словесности. 1907. Т. XII. Кн. 2. С. 795.

² Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании / Рус. пер. М., 1954. С. 79–80.

положения развиваются в работах представителей современной структуралистической лингвистики.

Хотя в подобных суждениях правильно подчеркивается связь разных форм слова внутри парадигмы склонения (в других случаях — спряжения), в целом нельзя согласиться с такой постановкой вопроса.

Разумеется, сравнивая различные падежные формы между собой, нельзя считать, что одни из них «переходят» в другие в школьном смысле этого слова. Все формы слова, имеющиеся в данном языке, действительно сосуществуют в нем, они должны изучаться в грамматике. И все же древние мыслители были по-своему правы, называя падежи «падежами» (при всей условности самого термина, с. 33): косвенные падежи имени были бы немислимы, если бы они не воспринимались на фоне прямого падежа. Прямой падеж более независим, он ближе к «чистому названию», его номинативная функция воспринимается отчетливее, чем соответствующие функции косвенных падежей¹. Хотя группировка косвенных падежей в разных языках, имеющих падежи, и различна, однако вопрос о соотношении более зависимых падежей и падежей более самостоятельных очень существен для грамматики. Другими словами, для грамматики важна не только категория отношения, но и категория значения, то, что стоит за грамматическими отношениями, что выражается при помощи этих отношений.

Нельзя согласиться с тем, что форма *вода* и форма *воде* «одинаково переходят друг в друга». Они неодинаковы уже потому, что форма *воде* в большей степени предполагает как бы «исходную» форму *вода*, чем наоборот. Именно поэтому число косвенных падежей в языках может быть очень различным, тогда как «прямой падеж», или «общий», или «исходный» («основной падеж»), обычно всегда имеется в индоевропейских языках, обладающих надежной системой.

Насколько свободна или несвободна определенная грамматическая форма, весьма существенно для понимания того, что и как эта форма выражает. В аналитических языках, лишенных падежей или имеющих два–три падежа, эта проблема решается иначе: сочетания с предлогом окажутся здесь производными образованиями от самого слова. В целом сочетания с предлогом в аналитических языках так относятся к отдельному слову,

¹ Хотя именительный падеж может выступать и в других функциях, например в функции предиката («Иванов — добрый мой приятель», где «добрый мой приятель» — предикат), но его основная функция назывная (об основных или первичных функциях членов предложения см. далее).

как форма слова во флективных языках к именительному падежу данного слова. И в том и в другом случае, однако, сохраняется специфика грамматического образования.

Существует два основных истолкования проблемы формы слова: одно из них может быть названо чисто морфологическим, другое — морфо-синтактико-фразеологическим. В первом случае формы слова усматриваются лишь в тех случаях и в тех языках, в которых имеются процессы формообразования (*стол — стола, иду — идешь*). Во втором случае формы слов понимаются шире; английский глагол *stand up* — «встать» состоит из двух элементов, но второй из них, служебный (*up*), выступает как своеобразный оформитель первого, самостоятельного (*stand*). *Stand up* не является морфологической формой глагола *stand*, какой оказывается форма *стола* по отношению к форме *стол*. Соотношение между *stand* — «стоять» и *stand up* — «встать» сложнее, чем отношение между *стол* и *стола*. В английском примере нет морфологических форм слова, зато выступают вперед формы синтактико-фразеологические.

Морфо-синтактико-фразеологическое понимание форм слова имеет то преимущество по сравнению с чисто морфологическим истолкованием, что может быть применимо к языкам самого различного грамматического строя. Между тем чисто морфологическая точка зрения оправдывает себя лишь в приложении к языкам флективным. Лингвисту же приходится анализировать языки разного грамматического строя, поэтому он должен истолковывать форму слов с позиций разных языков. В противном случае пришлось бы признать, что нет общего понятия *формы слова* как лингвистического понятия и что для каждого языка нужно вырабатывать свои термины.

Как ни специфичны формы слова в разных языках, нельзя, однако, отказываться от важнейших общелингвистических понятий. Как увидим далее, не существует языков, в которых слова так или иначе не были бы грамматически оформлены. Поэтому формы слова следует понимать широко, учитывая особенности многообразных языков мира.

Сказанное отнюдь не означает что между морфологическими и синтактико-фразеологическими (или лексико-фразеологическими, как их иногда называют) формами слов нет существенного различия. Различие между ними так же значительно, как значительно различие между *морфологией*, изучающей структуру слова, правила и законы изменения слов, и *синтаксисом*, в котором исследуются различные типы сочетания слов, отношения между словами в словосочетании и предложении, наконец,

предложение как целое. Соотношение между морфологией и синтаксисом в разных языках различно; сфера синтаксиса, например, может расширяться за счет сферы морфологии (в языках английском, китайском и др.). Подобно этому, совсем не одинаковым оказывается и соотношение между морфологическими и синтактико-фразеологическими формами слова в многообразных языках мира.

Выходя за пределы структуры и форм слова и обращаясь к словообразованию, отметим лишь один специфичный тип морфо-синтаксического словообразования, существенный в связи со всем предшествующим изложением и характерный главным образом для аналитических языков. Имеем в виду конверсию.

Английские существительное *love* — «любовь» и глагол *love* — «любить» являются разными словами, а не формами одного слова, так как они: 1) оказываются разными частями речи и, следовательно, выражают разные понятия; 2) входят в систему неодинаковых парадигм (глагол *love* спрягается — процесс, которому не может подвергаться существительное *love*); 3) вступают (как следствие второго положения) в сочетание с другими словами, качественно неоднородными (*they love* — «они любят», но невозможно *they love* — «они любовь», хотя вполне допустимо *their love* — «их любовь»).

Конверсия, следовательно, — способ образования одного слова от другого (или от его основы), при котором главную роль играют разные парадигматические отношения и сочетаемость (неоднородная) каждого из анализируемых слов¹.

¹ О структуре и формах слова, о словообразовании см.: *Пешковский А.М.* Понятие отдельного слова // Сборник статей. Л., 1925. С. 122–140; *Виноградов В.В.* О формах слова // Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1944. № 1. С. 31–41; *Жирмунский В.М.* О границах слова // ВЯ. 1961. № 3. С. 3–21; Морфологическая структура слова в языках разных типов. М., 1963; *Старинин В.П.* Структура семитского слова. М., 1963. С. 3–18; *Рождественский Ю.В.* Понятие формы слова в истории грамматики китайского языка. М., 1958. С. 3–52; *Жлуктенко Ю.А.* О так называемых «сложных глаголах» типа *stand up* в современном английском языке // ВЯ. 1954. № 5. С. 103–113 (ср. также статью этого же автора в связи с полемикой вокруг понятия конверсии: ВЯ. 1958. № 5. С. 53–63); *Зиновьев В.Н.* Проблемы теории словообразования в современной польской лингвистической литературе // Уч. зап. Горьковского ун-та. Сер. историко-филологическая. 1961. Вып. 52. С. 351–367; *Арутюнова Н.Д.* Очерки по словообразованию в современном испанском языке. М., 1961. С. 3–21; *Степанова М.Д., Чернышева И.И.* Лексикология современного немецкого языка. М., 1962. С. 62–75; *Marchand H.* Phonology, Morphology and Wordformation // Neuphilologische Mitteilungen. 1951. N 3–4. P. 1–20; *Milewski T.* The Conception of the Word in the Languages of North American Natives // Lingua Posnaniensis. 1951. N 3. P. 248–268.

4. Грамматические средства

До сих пор речь шла о структуре и формах слова. Как же передаются отношения между словами?

Подробно этот вопрос освещается далее в разных грамматических разделах (в частности, о типологической классификации языков), сейчас же кратко рассмотрим лишь важнейшие из морфологических и синтаксических средств, при помощи которых в разных языках устанавливаются и выражаются разнообразные отношения между словами.

1. *Флексия*. В предложении *книга Петра* легко заметить, что связь между словами достигается при помощи флексии (*Петр — Петра*). Так же эта связь выражалась и в латинском языке (*liber Petri*), так она выражается и во многих современных языках — чешском, польском, украинском и др. Вместе с тем в некоторых языках флексия может выступать не только в конце слова, но и внутри его (внутренняя флексия). Так, прошедшее время от глагола *geben* — «давать» немец образует при помощи внутренней флексии — *gab*, а англичанин множественное число от таких имен существительных, как *foot* — «нога», передает также при помощи внутренней флексии — *feet* — «ноги» (ср. наряду с этим обычный тип образования множественного числа без внутренней флексии: *boot* — «ботинок», *boots* — «ботинки»). В некоторых языках, например в арабском, флексия может оказаться даже в начале слова. Так, арабский глагол *qtl* — «убивать» в перфекте имеет *qatala*, а в имперфекте *yaqtula*. Все же следует подчеркнуть, что наиболее типичной и распространенной является конечная флексия. Поэтому о тех языках, для которых конечная флексия типична, говорят как о языках флективных, о тех же языках, для которых она не типична, — как о языках нефлективных.

2. *Предлог*. Наряду с флексией выступает и предлог. Болгарин скажет *вълните на Янтра* — «волны Янтры», следовательно, выразит связь между двумя существительными не при помощи флексии, как в русском языке, а при помощи предлога *на*. Точно так же при помощи предлога передаст связь и англичанин (ср. *the leg of the table* — «ножка стола», где грамматическая зависимость передана при помощи предлога *of*) и француз (ср. *le livre de Pierre* — «книга Петра», где предлог *de* скрепляет слова, создавая словосочетание). В некоторых языках предлоги не предшествуют имени, а следуют за ним и поэтому называются *пос-*

лелогами. Иногда бывает и так, что лишь некоторые предлоги следуют за именем, тогда как остальные обычно ему предшествуют. Так, в латинском языке, в котором предлоги обычно предшествуют имени, лишь два предлога (*causa* — «по причине», «ради» и *gratia* — «для») ставятся по большей части за родительным падежом имени: *timoris causa* — «вследствие страха», букв. «страха вследствие», «страха по причине».

3. *Порядок слов.* В тех языках, в которых нет форм словоизменения (или их мало) и слово в прямом и косвенных падежах обычно сохраняет одну и ту же форму, порядок слов выступает как очень важный синтаксический фактор. В английском, например, в предложении *the man killed a tiger* — «человек убил тигра» подлежащее (*man*) отличается от дополнения (*tiger*) только тем, что стоит на первом месте, а дополнение — на последнем. Если же поставить дополнение (объект) на место подлежащего (субъекта), то все предложение приобретет противоположный смысл: *the tiger killed the man* — «тигр убил человека». В процессе этой перестановки ни *man*, ни *tiger* не подвергаются никаким формальным изменениям. Они только обмениваются местами, и смысл предложения становится совершенно другим. Следовательно, порядок слов выступает здесь в роли важного синтаксического фактора.

Аналогичную синтаксическую функцию порядок слов выполняет в столь различных языках, как китайский, французский, болгарский. Для русского языка, напротив того, предложения типа *мать любит дочь*, в которых различие субъекта и объекта определяется только местом каждого из них в предложении, не характерны и встречаются сравнительно редко. Разнообразие морфологических форм русского языка приводит к тому, что синтаксические отношения выражаются в нем прежде всего флексиями. Порядок же слов приобретает для него не столько синтаксическое, сколько стилистическое значения (т.е. передает обычно не субъектно-объектные отношения в предложении — связи подлежащего, сказуемого и дополнения, а лишь добавочные смысловые оттенки).

4. *Ударение.* Уже отмечалось (гл. II), какое большое значение для языка имеет ударение. Здесь только подчеркнем, что в ряде случаев ударение выражает также грамматические связи между словами. Так, в русском языке *ру́ки* — это именительный падеж множественного числа от слова *рукá*, тогда как *рукí* — родительный падеж единственного числа от того же

слова. Следовательно, грамматическая категория числа и грамматическая категория падежа переданы здесь при помощи ударения (*рукí* — *ру́ки*). В таких языках, в которых ударение бывает разных типов, грамматическая дифференциация слов может зависеть также и от того, какое из этих возможных ударений падает на то или иное слово, на тот или иной слог. Так, в греческом языке «острое» ударение означает более высокую ноту (отсюда и его название — «острое»), «тяжелое» — более низкую ноту, «облегченное» ударение предполагает, что на первой части слога повышение голоса больше, чем на второй. Эти типы ударения используются не только фонетически, но и грамматически.

5. *Интонация*. В зависимости от того, как мы скажем: *студенты внимательны* с интонацией утверждения или *студенты внимательны?* с интонацией вопроса, меняется и предложение — его смысл, его грамматическое оформление. Следовательно, важная категория вопроса передается здесь при помощи интонации. В разделе фонетики уже говорилось об общей роли интонации (гл. II), сейчас только отметим, что значение ее особенно велико в таких языках, как китайский, грамматические отношения которого выражаются преимущественно синтаксически. В китайском языке имеется четыре типа тона (в некоторых диалектах число их доходит до пяти), причем это разнообразие тонов используется лексически (для дифференциации слов) и синтаксически (для дифференциации грамматических отношений).

6. *Инкорпорация*. В некоторых языках, например в чукотско-корякской группе и во многих языках американских индейцев, существует особое грамматическое построение, обычно называемое инкорпорацией. Инкорпорацию характеризует то, что «дополнение входит в глагол, сливаясь с ним, образует новое сложное слово; определение входит в пределы слова»¹. Так, в чукотском языке *ti-vala-nto-a'k* — «я вытащил нож», где *ti* — префикс 1-го лица единственного числа, *vala* — основа слова «нож», *nto* — основа глагола «вынимать», *a'k* — суффикс, передающий прошедшее время и 1-е лицо единственного числа. Следовательно, если переводить буквально, вся фраза строится как бы по такому теоретическому типу: «я — нож — вынимать» (основа от этого глагола) — в прошедшем времени, в 1-м лице,

¹ Богораз В.Г. Материалы по языку азиатских эскимосов. М., 1949. С. 60; см. также: Скорик П.Я. Грамматика чукотского языка. Ч. I. М.; Л., 1961. С. 93–111.

в единственном числе. Но, разумеется, это лишь условное отвлечение от реального языкового восприятия, для которого такое предложение вовсе не кажется искусственным. Инкорпорация основана прежде всего на тесной связи (нерасчлененности) дополнения и глагола¹.

Как ни важны для грамматики связи, существующие между словами, она интересуется не только этими связями, но и грамматическим построением самого слова. В зависимости от типов построения слова, в зависимости от его структуры определяются многие другие особенности грамматики, в частности характер словосочетаний и предложений².

5. Грамматические категории

В грамматике наряду с морфемой важнейшим является понятие грамматической категории. *Грамматическая категория* — это грамматическое значение обобщенного характера, присущее словам или сочетаниям слов в предложении и вместе с тем отвлеченное от конкретных значений самих этих слов. В существительном *хлеб*, например, нетрудно обнаружить такие грамматические категории, как категория числа (единственное), категория рода (мужской), категория падежа (именительный).

Обобщенный характер грамматической категории проявляется в том, что под категорию единственного числа, например, подводятся самые разнообразные слова: существительные *хлеб, книга, колесо, человек*, прилагательные *большой, сильный, разумный*, глаголы *делаю, строю, пишу* и пр. Под категорию мужского рода — тоже самые разнообразные слова: существительные *хлеб, карандаш, дом, разум, трактор*, прилагательные *большой, сильный, радостный, красивый*, глаголы *делал, строил, писал* и т.д. Легко заметить, что одно и то же слово может характеризоваться разными грамматическими категориями в зависимости от того, к какой части речи оно относится.

¹ Необходимо заметить, что в последние годы высказывались разные взгляды на природу инкорпорации. Некоторые лингвисты склонны отождествлять инкорпорацию с явлением так называемого примыкания. В защиту инкорпорации выступил Е.А. Крейнович: *Крейнович Е.А.* Об инкорпорировании в нивхском языке // ВЯ. 1958. № 6. С. 21–33. Другая точка зрения: *Панфилов В.З.* Грамматика нивхского языка. Ч. I. М.; Л., 1962. С. 137.

² О грамматических средствах см. книги и статьи, приводимые в разделе «Что изучает грамматика».

В русском языке имени существительному свойственны грамматические категории числа, рода и падежа, а глаголу — числа, времени, вида, наклонения, залога, лица и рода. Категории числа и рода повторяются и в той и в другой части речи, тогда как категория падежа присуща специально именам, категория времени или вида — глаголам. В других языках соотношения между грамматическими категориями и частями речи складываются несколько иначе: глагольные формы, например, могут склоняться, а имена существительные — не знать падежных различий.

Грамматические категории имеют в языке определенную форму выражения. В языках, в той или иной степени располагающих флексиями, грамматические категории обычно выражаются определенными морфологическими средствами, в языках же, совсем не располагающих флексиями, грамматические категории могут передаваться синтаксическими средствами.

Академик А.А. Шахматов в своем обширном и интересном «Синтаксисе русского языка» определял грамматическую категорию как «представление об отношении (к другим представлениям), сопутствующее основному значению, вызываемому словом»¹. Так, в слове *домá* он усматривал основное вещественное значение (*дом*) плюс представление о множественности; в слове *дом* — то же вещественное значение плюс представление о мужском роде и т.д. Нужно сказать, что при таком понимании грамматической категории оказывается недостаточно подчеркнутым единство смыслового и грамматического аспектов слова. Как будет показано, грамматическая категория не только сопутствует основному вещественному значению слова, но и взаимодействует с ним. В слове обычно обнаруживается сразу несколько грамматических категорий, что делает всю проблему отношений между грамматическими категориями и значением слова очень сложной.

Грамматические категории не могут существовать сами по себе, вне определенных группировок слов. Эти группировки обычно выступают в языке как части речи. Так возникает проблема взаимодействия частей речи и грамматических категорий. Если подобное взаимодействие обнаруживается в самых разнообразных языках, то характер его, а также способ выражения определенной грамматической категории в том или ином языке обуславливаются грамматической спецификой данного языка.

¹ Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. Л., 1941. С. 420.

Заимствованные слова типа *кекс* или *рельс* являются в русском языке именами существительными единственного числа. Между тем в английском, из которого проникли к нам эти слова, они в данной своей форме выступают как имена существительные множественного числа: английские слова *cakes* и *rails* означают «кексы» и «рельсы» (единственное число *cake* и *rail* — без конечной флексии множественного числа *s*). В отличие от английского языка в русском конечная флексия *s* не служит формой выражения множественного числа имен существительных; поэтому для образования множественного числа русский язык применяет свои национальные грамматические средства, которые употребляются по отношению и к другим многочисленным словам. Так возникают в русском языке свои формы образования грамматической категории множественного числа — *кексы*, *рельсы* (ср. *всходы*, *провода*, *воды*, *шведы*, *пианисты* и пр.). Следовательно, грамматическая категория множественного числа имен существительных в русском и английском языках оказывается общей, а способы ее морфологического выражения различны.

Приведенный пример показывает, что грамматические категории настолько специфичны в системе каждого языка, что заимствованные слова, проникая в другой язык, обычно подчиняются законам формирования грамматических категорий того языка, в который они проникают¹.

Лингвисты немало обсуждали сложную природу грамматических категорий. Стремясь разместить все многообразие грамматических категорий по определенным моделям, некоторые исследователи подчеркивали принцип *противопоставления* по значению двух «взаимоисключающих» друг друга рядов, например единственного и множественного числа, изъявительного и сослагательного наклонения и т.д. Но в такие двучленные противоположные ряды не могут выстроиться все грамматические категории. Даже если считать только основные времена — настоящее, прошедшее и будущее, их все же оказывается три, а не два. Во многих языках количество падежей (а падеж — тоже грамматическая категория) достигает цифры 8, а за пределами индоевропейской группы — иногда и цифры 20. Грамматические категории далеко не всегда укладываются в

¹ Лишь в сравнительно немногих случаях иностранные слова не подчиняются такому общему закону. Так, в русском литературном языке существительные типа *пальто*, *депо* не склоняются, хотя народный язык не считается с этим правилом.

противостоящие друг другу двучленные универсальные модели. Тем больший интерес представляет изучение их многообразных типов.

А. Категория рода

Рассмотрим теперь некоторые из грамматических категорий¹. Начнем с наиболее отвлеченной из них — с категории *грамматического рода*. Категория грамматического рода, или шире — категория именного класса, распространена в самых разнообразных языках мира.

Ни у кого не вызывает сомнения, почему в русском языке такое имя существительное, как *мужчина*, мужского рода, а такое, как *женщина*, женского. Но почему *год*, *город*, *сыр* мужского рода, *стена*, *весна*, *колбаса* женского, *небо*, *лето*, *поле* среднего — это уже гораздо менее очевидно. В самом деле, что выражает грамматическая категория рода? Во всех ли языках она имеется? Всегда ли наблюдается подразделение внутри категории рода на мужской, женский и средний род? Вот далеко не полный ряд вопросов, возникающих уже при первом приближении к этой проблеме.

Оказывается, однако, что проблема осложняется еще и тем, что грамматическая категория рода даже в тех языках, в которых она отчетливо выражена, очень часто не совпадает по языкам. Так, русский скажет, что *ложка* женского рода, поляк с ним согласится (*łyżka* тоже женского рода), а немец нет, ибо по-немецки *ложка* мужского рода (*der Löffel*). Русский будет утверждать, что стул мужского рода, а испанец станет настаивать на женском (*la silla*). Русский ни на минуту не сомневается, что такое слово, как *часовой*, во всяком случае должно быть мужского рода. Поэтому ему покажется невероятным утверждение француза, что *часовой* женского рода (*la sentinelle*). Не менее странным может представиться и то, что для дифференциации по роду столь обычных животных, как *козел* и *коза*, англичанин

¹ О грамматических категориях см.: *Поспелов Н.С.* Соотношение между грамматическими категориями и частями речи в современном русском языке // ВЯ. 1953. № 6. С. 53–67; *Штелинг Д.А.* О неоднородности грамматических категорий // ВЯ. 1959. № 1. С. 55–64; *Исаченко А.В.* О грамматическом значении // ВЯ. 1961. № 1. С. 28–43; *Головин Б.Н.* Заметки о грамматическом значении // ВЯ. 1962. № 2. С. 29–37 (полемика с А.В. Исаченко и Д.А. Штелингом по вопросу о возможности двучленного противопоставления грамматических категорий).

вынужден прибегнуть к местоимениям и сказать буквально так: *он козел (he-goat)* и *она козел (she-goat)*. Положение осложняется еще и тем, что встречаются языки, имеющие общий род (мужской и женский) для отдельных существительных, например в русских словах *сирота, книгоноша, плакса, лакомка, тихоня* и др. В иных же языках широко распространены существительные обоюдного рода, сохраняющие (например, в румынском языке) в единственном числе признаки мужского рода, а во множественном числе — женского. Наконец, в ряде языков — в финском, армянском и др. — грамматическая категория рода вовсе отсутствует. Таким образом, проблема грамматической категории рода в действительности оказывается значительно более сложной, чем это кажется с первого взгляда.

Необходимо, однако, заметить, что несовпадение по языкам в большинстве случаев относится к неодушевленным предметам и названиям. Такие случаи, как женский род существительного *часовой* во французском языке или средний род таких существительных, как *женщина (das Weib)* или *девушка (das Mädchen)* в немецком, сравнительно редки. Народный язык не считается с этими условностями и придает подобным существительным ту форму рода, которая подсказывается реальным содержанием самих этих слов: женский род таким существительным, как *женщина* и *девушка*, и мужской — таким, как *часовой*. К тому же сами эти условности в литературном языке иногда сравнительно просто объясняются исторически. В немецком языке слово *Frauenzimmer* в старую эпоху означало «женскую половину дома» и лишь позднее приобрело новый смысл — «женщина». Само по себе «половина дома» — неодушевленное понятие, которое и могло иметь признак среднего рода, перешедший затем и на название женщины. Ф. Энгельс, имея в виду древнюю афинскую семью, писал: «У Эврипида жена обозначается словом *oikurema*, как вещь для работы по хозяйству (слово это среднего рода), и для афинянина она действительно была, помимо деторождения, не чем иным, как старшей служанкой»¹.

Таким образом, историческое прошлое многих слов, обозначающих одушевленные понятия, может объяснить нам, как в последующей истории этих слов образовалось противоречие между их содержанием и признаками грамматического рода.

¹ Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 67.

Для живых существ способы дифференциации внутри самой грамматической категории рода в разных языках многообразны. Укажем на некоторые из них:

- 1) с помощью особых окончаний (обычно от мужского рода): *гость* — *гостья*, *супруг* — *супруга* или особых суффиксов: *актер* — *актриса*, *медведь* — *медведица*;
- 2) с помощью разных слов (так называемая гетеронимия): *отец* — *мать*, *брат* — *сестра*, *бык* — *корова*; немецкое *Vater* — «отец», *Mutter* — «мать»; французское *père* — *mère*; английское *father* — *mother*; санскритское *pitar* — *matar*;
- 3) с помощью особых вспомогательных слов: английское *he-goat* — «козел», букв. «он козел», и *she-goat* — «коза», букв. «она козел»; немецкое *ein männlicher Adler* — «орел», букв. «мужской орел», и *ein weiblicher Adler* — «орлица», «самка-орел»; португальское *lebre macho* — букв. «заяц-самец» и *lebre fêmea* — «заяц-самка»;
- 4) с помощью лишь контекстного уточнения: *кит*, *белка*, *обезьяна*, *сорока*, *акула*, *бегемот* (и самцы и самки)¹.

Преобладание того или иного из перечисленных способов дифференциации родовых различий в разных языках в значительной мере зависит от строя языка. Для флективных языков характерны больше всего первый и четвертый способы, в аналитических наряду с первым способом встречаются и остальные.

Необходимо, однако, подчеркнуть, что если одушевленные понятия в большинстве случаев все же естественно распределяются между мужским и женским родом, то слова среднего рода значительно осложняют всю проблему. Она становится еще сложнее, если привлечь материал неиндоевропейских языков.

В некоторых языках Восточной Африки есть особая категория для предметов и явлений, выражающих идею чего-то «большого и сильного» (например, *дерева* и *слона*), и особая категория для предметов и явлений, выражающих идею чего-то «маленького и слабого» (например, *мышь* и *травы*). Во многих языках Дагестана имеется общая, но и своеобразная для каждого именного класса категория. «В аварском языке, например, — пишет исследователь дагестанских языков, — все существительные делятся на три класса. К первому классу относятся названия мужчин (*отец*, *сын* и т.д.), ко второму —

¹ См.: Немировский М.Я. Способы обозначения пола в языках мира // Памяти акад. Н.Я. Марра. М., 1938. С. 224; см. также: Брагина А.А. Наблюдения над категорией рода в русском языке // ВЯ. 1981. № 5. С. 68–78.

названия женщин (*мать, дочь* и т.д.), а к третьему — названия животных, неодушевленных предметов, абстрактных понятий (*собака, дом, дерево, работа* и т.д.)... В разных дагестанских языках число именных классов различно. Наименьшее число классов в табасаранском языке — два: разумные (*отец, мать*) и неразумные (*собака, дом*). В лакском и даргинском, а также во многих бесписьменных языках четыре класса. В таком случае принцип распределения имен по классам в основном состоит в том, что к первому классу относятся имена существительные разумные мужского пола, ко второму — женского, к третьему — названия животных, к четвертому — названия неодушевленных существительных. Но отступлений от этого принципа много»¹.

Категория грамматического рода в разных языках выступает по-разному. В одних она сохраняет большие связи с родовой классификацией имен, в других (например, в дагестанских языках) она приобретает гораздо более широкое значение именной классификации вообще. Истоки этой категории уходят в глубокую древность.

Именная классификация, по-видимому, возникла в связи с тем, что древний человек своеобразно членил и группировал окружающие его предметы. Помимо того, что он мог различать существа мужского и существа женского рода, древний человек мог прибавлять к этой группировке многочисленные другие группировки предметов, существ и понятий по признаку их одушевленности и неодушевленности, размеров и степени важности, «разумности» и «неразумности», конкретности и абстрактности и т.д. Вот почему до сих пор во многих языках именная классификация одновременно основывается как бы на *разных принципах*: родовая классификация пересекается классификацией по признаку одушевленности или неодушевленности, «разумности» и «неразумности» и пр. Таковы, по-видимому, исторические истоки сложной именной классификации и ее частной разновидности — классификации по признаку рода².

Деление имен по признаку так называемого одушевленного и неодушевленного класса можно обнаружить и в грамматических построениях многих европейских языков. Так, мы говорим по-русски *он позвал брата* (у существительных одушевленных с

¹ Бокарев Е.А. Краткие сведения о языках Дагестана. Махачкала, 1949. С. 14.

² Ср.: Specht F. Der Ursprung der indogermanischen Deklination, Neudruck. Göttingen, 1947. S. 307, 335. Об этой книге см.: Пизани В. Общее и индоевропейское языкознание // Общее и индоевропейское языкознание. М., 1956. С. 144–153.

основой на согласный винительный падеж — *брата* — совпадает с родительным), но *он раздавил стекло* (у существительных неодушевленных винительный падеж — *стекло* — совпадает уже не с родительным, а с именительным падежом). И в испанском языке конструкция с одушевленными именами отличается от конструкции с неодушевленными именами: *la madre ama a la hija* — «мать любит дочь» — предложение с предлогом *a*, но *la madre ama el libro* — «мать любит книгу» — те же грамматические отношения уже выражены без предлога, ибо существительное *книга* является неодушевленным.

В своем последующем длительном развитии именная классификация претерпела очень существенные изменения. Конкретные показатели при имени приобретали все большую грамматическую отвлеченность. В результате сложного развития, не все этапы которого возможно последовательно проследить, так как они уходят в очень глубокую древность, во многих современных языках образовалась чисто отвлеченная система именных признаков, отвлеченная категория грамматического рода.

Как было замечено, эта категория обычно (хотя и не всегда) прозрачна в таких случаях, когда анализируется род имен существительных типа *мужчина* или *женщина*, *бык* или *корова*, *петух* или *курица*. Но она сейчас же осложняется и приобретает несколько условное *грамматическое* значение в тех случаях, когда в современных языках анализируют имена неодушевленных или пытаются осмыслить природу среднего рода. Все попытки истолковать род таких имен исходя из их «общественно-хозяйственной функции» нельзя не признать попытками вульгарно-социологическими. Содержание неодушевленных имен существительных теперь не нуждается ни в какой родовой характеристике, однако грамматически эта характеристика является для имени все же совершенно обязательной во многих языках, что и приводит к своеобразному конфликту между вещественным содержанием имени и его родовым грамматическим показателем. В языке в силу большой устойчивости грамматической формы и ее отвлеченности подобный конфликт может долго сохраняться, ибо говорящий обычно не замечает его¹.

Но если с чисто исторической точки зрения категория грамматического рода в таких языках, как русский (а это же относится и к другим индоевропейским языкам), имеет уже в изве-

¹ Говорят, например, *Солнце восходит* и *Солнце заходит*, хотя прекрасно понимают, что Солнце никуда не «ходит» и что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли.

стной степени пережиточный характер, то морфологическое, синтаксическое и стилистическое значение этой категории очень велико и в новых языках. Вместе с тем в той своей части, в какой категория грамматического рода совпадает с представлением о мужском и женском «начале» в природе, сама классификация продолжает поддерживаться реальными жизненными различиями.

Морфологическое значение категории рода особенно ощущимо в языках, богатых флексиями. Стоит только нарушить согласование имен, чтобы она напомнила о себе со всей резкостью. Сама невозможность сочетаний типа «большая дом» или «хороший погода» определяется наличием категории рода у имен русского языка. И хотя эта категория обнаруживается в подобных случаях синтаксически (в словосочетаниях), ее значение для структуры языка тем самым только отчетливее обрисовывается. В языках, менее богатых флексиями, категория грамматического рода не всегда выражается так рельефно, как в языках флективных. Этим, в частности, определяется отличие в данном плане аналитического английского языка от флективного русского.

Дифференциация по признаку грамматического рода часто бывает сложной и многообразной. Так, в русском языке различие *ткач* — *ткачиха*, *учитель* — *учительница* проходит в пределах одной и той же профессии: мужчина *ткач* делает то же, что и женщина *ткачиха*. Одну и ту же профессию имеют и *учитель* и *учительница*. Но дифференциация *доктор* — *докторша*, *профессор* — *профессорша*, *аптекарь* — *аптекариша* проходит уже по другой линии; *докторша* — это не женщина-врач, а жена доктора, *профессорша* — не женщина-профессор, а жена профессора. Вот почему говорят *профессор Иванова*, а не *профессорша Иванова*. *Профессорша* явно «занято» другим значением, приобретает «семейное» осмысление. *Профессорша* в значении «женщина-профессор» звучит несколько иронически. Так, у В. Пановой в «Кружилихе» (гл. 1): «Вчера Листопад говорил по телефону с *профессоршей*. *Профессорша* сказала, что Рябухин еще не раз вернется на операционный стол, потому что возни с осколками, застрявшими в его голени, хватит лет на двадцать...» А в рассказе Чехова «Аптекарьша» речь идет именно о жене аптекаря: «Все давно уснуло. Не спит только молодая жена провизора Черномордика»¹.

¹ Ср. у А. Макаренко: «*Козырь* (собственное имя. — Р.Б.) сделался общим любимцем колонистов... *Козыриха* (его жена. — Р.Б.) появлялась в колонии всегда с криком... требуя возвращения мужа к семейному очагу» (Макаренко А. Педагогическая поэма. Ч. I. Гл. 7).

Таким образом, если различие типа *учитель* — *учительница* — это различие по полу в пределах одной профессии, то различие типа *профессор* — *профессорша* относится уже не столько к профессии, сколько к семье. Совсем иной тип разграничения намечается в таких словах, как *машинист* и *машинистка*. Противопоставление по полу и здесь сохраняется, хотя слова эти оказываются уже совсем иными: *машинист* — это механик, управляющий ходом машины, тогда как *машинистка* — это обычно женщина, работающая на пишущей машинке.

Как же выразится категория женского рода в тех, например, случаях, когда по той или иной причине особой формы для нее в языке не оказывается? В этих случаях контекст и ситуация приобретают особо важное значение. *Заслуженный деятель науки* или *заслуженный деятель искусств* могут относиться не только к мужчине, но и к женщине. Двусмыслицы обычно не образуются, ибо контекст и ситуация всякий раз подсказывают, о ком идет речь. Выражение *заслуженный деятель искусств Иванова* основано не на морфологическом, а на особом, «смысловом согласовании».

Не случайно, например, что, когда произносят такие слова, как *дитя* или *ребенок*, половое различие обычно не имеет еще такого значения, какое оно приобретает при противопоставлении *мальчика* и *девочки* и в еще большей степени — *мужчины* и *женщины* (наблюдения А.А. Шахматова). Но, как правильно заметил еще Потебня, «о том, имеет ли род смысл, можно судить по тем случаям, где мысли дана возможность на нем сосредоточиться»¹, например по произведениям художественной литературы, по произведениям поэтическим.

В самом деле, обратимся к некоторым таким литературным примерам, чтобы лучше понять, какие *реальные* представления поддерживают категорию рода и дают, в частности, возможность писателям и сказителям использовать ее в определенном замысле. Начнем с народной «Песни о рябине»:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая *рябина*,
Головой склоняясь
До самого тына?
А через дорогу
За рекой широкой
Так же одиноко

¹ Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. III. М., 1899. С. 616.

Дуб стоит высокий.
Как бы мне, рябине,
К дубу перебраться,
Я б тогда не стала
Гнуться и качаться ...

Легко заметить, что женский род существительного *рябина* и мужской род *дуба* дают возможность создать необходимое в этом случае противопоставление, проходящее через всю песню и органически входящее в ее основной замысел (*рябина*, тоскующая по *дубу*, и *дуб*, любящий *рябину*).

А вот совсем другой случай из «Анны Карениной» Л. Толстого. Левин в доме Щербачких. После обеда все встают, выходят в гостиную. Левин очень хочет пойти за Кити, но из приличия остается среди мужчин, все время следя глазами за Кити. Он взволнован и счастлив. «Разговор зашел об общине, в которой Песцов видел какое-то особенное начало... Левин был несогласен ни с Песцовым, ни с братом... Но он говорил с ними, стараясь только помирить их и смягчить их возражения. Он несколько не интересовался тем, что он сам говорил, еще менее тем, что они говорили, но только желал одного: чтобы им и всем было хорошо и приятно. Он знал теперь то, что одно важно. И это *одно* (т.е. Кити. — Р.Б.) *было* сначала там, в гостиной, а затем *стало* подвигаться и *остановилось* у двери. Он... не мог не обернуться. *Она* стояла в дверях... и смотрела на него» (ч. IV, гл. XIII). В сознании влюбленного Левина образ Кити ассоциируется с чем-то «важным». Это *одно*, «важное», оказывается Кити. «Важное» — среднего рода, вот почему на время этих размышлений Левина понятие «важное» как бы сливается с Кити, распространяя и на нее свой средний род: *одно, было, стало, остановилось*. Но затем Левин забывает о «важном». Так опять возникает: «*Она* стояла... и смотрела на него». Следовательно, тонкими переходами от женского рода к среднему, а от среднего опять к женскому Толстой передает сложный мир переживаний своего героя, который видит в своей любви событие особой важности и значения.

Или в романе Гончарова «Обломов». Когда Ольга стала женой Штольца, она часто вспоминала свои прежние годы. «— Как я счастлива! — твердила Ольга тихо, любуясь своей жизнью, и в минуту такого сознания иногда впадала в задумчивость... *Странен человек!* Чем счастье *ее* было полнее, тем она становилась задумчивее...» (ч. IV, гл. 8). *Ее* относится к Ольге

как бы через «голову» существительного *человек*: человек этот — Ольга. Поэтому и счастье оказывается не *его* (человека), а *ее* (Ольги).

Возможности *сосредоточиться* на грамматической категории рода имеются в разных языках, располагающих этой категорией. Однако сами особенности отдельных языков определяют своеобразие средств ее выделения. Так, в немецком языке, где *камни* характеризуются мужским родом, а *растения* обычно женским родом, персонификация с помощью рода менее заметна, чем, например, в английском, в котором все вещи ассоциируются с *it*, а поэтому персонификация вещей или животных с помощью «он» или «она» оказывается гораздо заметнее, чем в языке немецком¹.

Сосредоточиться на грамматической категории рода возможно и тогда, когда при переводе с одного языка на другой происходят изменения внутри самой категории. Подобные изменения обычно проходят незамеченными, и только в случаях персонификации неодушевленных предметов или при наличии одушевленных существ эти изменения дают о себе знать и своеобразно осмысляются в языке художественной литературы.

Остановимся в этой связи на двух известных в литературе примерах, но попытаемся прокомментировать их соотносительно.

Изящное и в то же время полное глубокого смысла стихотворение Г. Гейне об одинокой пихте, растущей на севере и тоскующей по южной пальме (*Ein Fichtenbaum steht einsam...*), было великолепно переведено Лермонтовым («На севере диком стоит одиноко / На голой вершине сосна...»). При переводе, однако, тональность стихотворения изменилась, так как в немецком языке пихта — существительное мужского рода (*ein Fichtenbaum*)², а пальма — женского (*die Palme*). Противопоставление по роду двух существительных, персонифицированных у Гейне, было снято Лермонтовым, так как и *сосна* и *пальма* в русском языке относятся к женскому роду. В результате все стихотворение у Лермонтова, прекрасное по-своему, получило, однако, более абстрактное значение, чем у Гейне, так как противопоставле-

¹ См.: *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958. С. 275 (в главе «Пол и род» приводятся интересные факты из разных языков).

² Мужской род этого слова определяется его вторым элементом (*der Baum* — «дерево»), тогда как *die Fichte* женского рода. По-видимому, Гейне употребил сложное слово *der Fichtenbaum* вместо простого *die Fichte* именно для того, чтобы создать противопоставление по роду с последующим существительным *die Palme*.

ние мужского и женского начала, отчетливо выраженное в немецком оригинале, не сохранилось в русском переводе (*сосна* на севере грезит во сне о прекрасной *пальме* — о родстве душ)¹.

Совсем иное отношение сложилось при переводе Крыловым знаменитой басни Лафонтена «*La cigale et la fourmi*» (у Крылова «Стрекоза и Муравей»). В этом случае в оригинале оба существительных относятся к женскому роду (по-французски и «кузнечик» и «муравей» женского рода), тогда как Крылов, заменив кузнечика стрекозой, создал противопоставление, отсутствующее у французского автора: мужское трудолюбие *муравья* (*муравей* — мужского рода) оттеняется женским легкомыслием *стрекозы* (*стрекоза* — женского рода). В этом примере оригинал оказался абстрактнее перевода. В русском тексте возникло новое осмысление старой темы о трудолюбивых и ленивых². Таким образом, если в восьмистишье Гейне проводилось противопоставление мужского и женского рода, а в переводе Лермонтова оно было снято, то в случае с Лафонтеном и Крыловым отношение оказалось обратным: у Крылова возникло противопоставление по признаку пола, которое отсутствовало у французского баснописца.

Так грамматическая категория рода, сама по себе, казалось бы, «не осязаемая», не только «оживает» в определенных условиях, но и определяет характер целого повествования³.

Итак, следует отличать функции грамматической категории рода в общенародном языке от особых случаев ее осмысления в стиле художественной литературы, когда мысли предоставляется особая возможность сосредоточиться на этой категории и

¹ Ср.: *Щерба Л.В.* Опыты лингвистического толкования стихотворений // Советское языкознание. Т. 2. Л., 1936. С. 129; *Выготский Л.С.* Мышление и речь. М., 1934. С. 273.

² Хотя кузнечик оказался у Крылова стрекозой, тем не менее эта последняя сохранила все признаки кузнечика (попрыгунья, пела). В действительности стрекоза не прыгает и не поет. Крылов частично отходит от старой темы, но частично и сохраняет ее. Об этом см. заметку: *Плотникова-Робинсон В.А.* Стрекоза или кузнечик? // Лексикографический сборник. 1958. Вып. 3. С. 133–138.

³ В известном стихотворении французского поэта XIX столетия Сюлли-Прюдома «Разбитая ваза» («*Le vase brisé*») есть тонкое, как бы пунктиром намеченное противопоставление мужского и женского рода: *ваза* по-французски мужского рода (*le vase*), а *вербена*, умирающая в этой вазе, женского. Поэт Апухтин в своем переводе этого стихотворения заменил слово *вербена* словом *цветок*, чтобы сохранить родовое противопоставление (*ваза* — она, *цветок* — он, тогда как при *вербене* получилось бы два имени женского рода):

«Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный...»

когда в результате этого она приобретает особый (дополнительный) оттенок.

В современных общенародных языках категория рода обычно имеет отвлеченное грамматическое значение. Для русского языка нашего времени мужской род таких имен существительных, как, например, *стол* или *лом* или женский таких, как *ложка* или *тарелка*, — это уже известная условность, но условность, имеющая большое грамматическое значение. В этих случаях категорию рода легче обнаружить тогда, когда исходят не из отдельно взятого слова, а из целого словосочетания. Значение грамматической категории рода для такого языка, как русский, обнаруживается, в частности, в обязательности и строгости согласований (морфологическое значение категории рода).

Так грамматическая категория рода, возникнув в глубокой древности, поднялась в процессе длительного развития на высокую ступень отвлеченного грамматического значения. Вместе с тем эта категория не теряет и своей конкретной выразительности, когда мысли удается на ней сосредоточиться¹.

Б. Категория числа

В отличие от категории рода грамматическая *категория числа* оказывается гораздо более прозрачной и более универсальной. Человек издавна различал один предмет и много предметов, и это различие не могло не найти своего выражения и в языке. Большинство имен существительных в самых разнообразных языках может мыслиться в единственном числе и во множественном.

То же следует сказать и о многих других частях речи: прилагательных, местоимениях, глаголах. *Стол* и *столы*, *делаю* и *делаем* — подобного рода различия в числе, хотя и по-разному

¹ О грамматической категории рода см.: *Потебня А.А.* Из записок по русской грамматике. Т. III (раздел «Грамматический род»). С. 579–638; *Бодуэн де Куртене И.А.* О связи грамматического рода с мирозерцанием и настроением людей // Журнал министерства народного просвещения. 1900. С. 367–370; *Малаховский В.А.* Вопрос о происхождении рода в современной лингвистике // Уч. зап. Куйбышевского пединститута. 1948. Вып. 9. С. 161–174; *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958. С. 263–284; *Rohlf's G.* Genusprobleme // Indogermanische Forschungen. Berlin, 1954. Bd 61. N 2–3. S. 136–200. О происхождении категории рода см. исследование венгерского лингвиста: *Fodor I.* The Origin of Grammatical Gender // Lingua. 1959. N 1. P. 1–41; N 2. P. 186–214.

выраженные, оказываются совершенно естественными для разных языков мира¹.

И это понятно. Представление о числе настолько органично связано с числовыми разграничениями самих предметов и явлений окружающего нас мира, а также действий и поступков, что материальные истоки грамматической категории числа не могут быть взяты под сомнение. Трудность проблемы, однако, заключается в том, что в современных высокоразвитых языках категория числа, как и большинство других грамматических категорий, получила настолько отвлеченное значение, что ее исторические корни, находясь под глубоким слоем последующих языковых напластований, не видны при внешнем осмотре. В самом деле, *завод — заводы, студент — студенты, швед — шведы, жена — жены, товар — товары, музыкант — музыканты* — эти и подобные им имена существительные, самые различные по своему лексическому значению, образуют множественное число одинаково. Такого рода наблюдения создают впечатление, что «механизм» образования множественного числа в том или ином языке не имеет никакого отношения к категории числа, к той категории, которая имеется в мышлении человека и которая выработалась в процессе осмысления окружающего нас мира. Между тем в действительности это не так. Грамматическая категория числа, сохраняя свою специфику и не совпадая с логической категорией числа, вместе с тем тесно с ней связана. Сама же логическая категория числа исторически вобрала в себя все многообразие конкретных множеств, конкретных числовых различий.

Как ни абстрактна категория числа в таких современных языках, как, например, русский, нельзя не обратить внимания, что и в настоящее время эта категория взаимодействует с определенным лексическим значением тех слов, через посредство которых она выражается.

¹ При всем широком распространении категории числа она неодинаково отчетливо передается в языках мира. Ссылаясь на специальные так называемые количественные слова в китайском, некоторые лингвисты отрицают число как грамматическую категорию в этом языке (см., например: *Глисон Г.* Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959. С. 204–205). Между тем крупнейшие советские синологи (Е.Д. Поливанов, А.А. Драгунов и др.) считали вполне возможным говорить о категории числа в китайском языке (как и о многих других грамматических категориях), хотя и подчеркивали специфичность ее выражения (см.: *Иванов А.И., Поливанов Е.Д.* Грамматика современного китайского языка. М., 1930 (раздел «Образование множественного числа». С. 214–221)). История вопроса дана в кн.: *Рождественский Ю.В.* Понятие формы слова в истории грамматики китайского языка. М., 1958. С. 93–137.

Рассмотрим имена существительные. Некоторые из них могут иметь, например, собирательное значение (*дичь, зелень, крестьянство, детвора, белье, листва*), и от этих имен существительных множественное число обычно не образуется. Следовательно, грамматическая категория числа, как бы возвышаясь над отдельными именами и объединяя их, вместе с тем не безразлична к семантике этих имен; множественное число, в частности, не образуется в тех случаях, в которых *значение имен не позволяет его образовать*. Таким образом, грамматическое множество, как грамматическая категория, своеобразно взаимодействует с лексическими группами слов и через их посредство с предметами и явлениями окружающего мира.

Не случаен и тот факт, что во многих современных языках, более архаичных по своей структуре, чем языки индоевропейские, до сих пор сохраняются различные типы конкретного множественного числа.

Так, в одном из распространенных языков современной Африки, в языке хауса, множественное число, наряду со способом образования при помощи суффиксов, очень часто формируется конкретным путем — с помощью полного или частичного удвоения слова:

iri — «сорт» — *iri-iri* — «сорта»
chiwo — «боль» — *chiwe-chiwe* — «боли»
dabara — «совет» — *dabarbara* — «советы»¹.

Немало существует и таких языков, например у некоторых австралийских племен, которые формируют множественное число с помощью слова «много»: *шкура + много = шкуры, заяц + много = зайцы* и т.д. Разумеется, между этими примерами конкретного множества и «конкретным множеством» русского языка имеется качественное различие, однако здесь существенно подчеркнуть, что как бы ни были многообразны пути становления отвлеченного множества в разных языках, само понятие множества оформилось в результате своеобразного отражения и преломления в языке идеи конкретного множества.

Хотя понятие множества шире понятия множественного числа, между ними существует взаимодействие, определяемое взаимодействием логического и грамматического в языке.

Решительно отвергая мнение Дюринга, считавшего, будто бы «чистая математика» имеет дело только с «продуктами своего

¹ См.: *Ольдерогге Д.А.* Язык хауса. Краткий очерк грамматики, хрестоматия и словарь. Л., 1954. С. 21.

собственного творчества», Энгельс писал: «Понятия числа и фигуры взяты не откуда-нибудь, а только из действительного мира»¹. То же следует сказать — с учетом языковой специфики — не только о категории числа, но и о такой части речи, как числительное. История числительных помогает понять более сложную и более отвлеченную категорию грамматического числа.

В разделе лексики уже сообщалось о возникновении таких названий, как древнерусская мера измерения *пядь* или английская мера *foot* (букв. «ступня»). Числительное *сорок*, как предполагают некоторые ученые, является так называемым мужским вариантом слова *сорока*. В свою очередь, от этого последнего могло образоваться производное *сорочка*, которое приобрело ряд значений, в том числе и значение «мешка». В такого рода мешок обычно укладывалось четыре десятка беличьих или собольих шкурок, необходимых для шубы. В повести А.К. Толстого «Князь Серебряный» (гл. IX) царь Иван, желая сделать молодого Скуратова опричником, обещает ему выдать «три сорока соболей на шубу» — на особо богатую шубу.

Впоследствии слово *сорок* стало употребляться как единица измерения, а затем получило значение 40².

Рассказывая о Галлии и Германии в первом веке до нашей эры, Цезарь писал в своих «Записках о галльской войне» (кн. 6, гл. XXV): «Геркинский лес тянется в ширину *на девять дней пути* для хорошего пешехода; иначе определить его размеры невозможно, так как германцы не знают мер протяжения». Из этого замечания явствует, что древние германцы измеряли пространство «днями ходьбы». Впоследствии из подобных практических потребностей возникли меры протяжения, своеобразные единицы счета. Такого рода многочисленные свидетельства древних писателей дают возможность проследить истоки образования различных названий, относящихся к единицам измерения и счета³.

Само понятие десятичного счета, лежащее в основе современной системы счета десятками, установилось не сразу. Различные языки до сих пор сохранили остатки более старой системы,

¹ Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 37.

² Ср.: Vasmer M. Russisches Etymologisches Wörterbuch. Bd II. Heidelberg, 1955. S. 698.

³ Впрочем, старый примитивный счет уже наряду с современным еще долго держится и в более позднее время. Ср. у А.Н. Толстого: «Но взамен вокруг Азова быть русской земле *на десять дней верхового пути*» (Толстой А.Н. Петр Первый. Кн. 2. Гл. 4).

в основе которой могло быть и пять, и двадцать, и др. Современное французское *quatre-vingts* — «восемьдесят» (букв. «четыре двадцать», четыре раза по двадцать) красноречиво свидетельствует об этом. Описывая жизнь северного народа — чукчей, писатель Т. Семушкин рассказывает:

«Это были учителя... Их внимание привлекло грамматическое образование числительных в чукотском языке. — Смотрите, ребята, это очень интересное словообразование! — сказал учитель Скориков. — По-моему, у них в основе счета не десятка, а пятерка. — Не может быть! — усомнился Дворкин. — Видишь: один — *иннень*, десять — *мынгиткен*, одиннадцать — *мынгиткен иннень пароль*. Ясно, что десять в основе. — Ты дальше гляди! — горячо возразил Скориков. Пятнадцать — *кильхинкен*, шестнадцать — *кильхинкен иннень пароль*. О чем это свидетельствует? — Мне тоже кажется, что в основе пятерка, — вмешался Кузьма Дозорный. Разгорелся горячий спор» (Семушкин Т. Алитет уходит в горы, кн. 2, ч. I, гл. 3.).

Приведенные материалы показывают, что современная система счета установилась не сразу, а в процессе длительного исторического развития мышления человека. То же следует сказать и о грамматической категории числа, хотя ее реальные истоки обнаруживаются не так легко, как в системе счетных единиц.

Чтобы понять, как взаимодействует отвлеченная грамматическая категория числа со значениями тех слов, числовое значение которых она выражает, присмотримся, какие осложнения встречаются на пути основного противопоставления единственного и множественного числа. В одних только индоевропейских языках таких осложнений может быть немало. Вот некоторые из них:

1. Наличие у ряда существительных уже известного нам так называемого *собирательного значения*. В современном русском языке к таким существительным относятся *крестьянство*, *студенчество*, *листва*, *братва*, *белье*, *зелень* и многие другие. Семантика подобных существительных нарушает абстрактное противопоставление единственного и множественного числа, создавая особые «подзначения» внутри более общей категории числа и приближая ее тем самым к более конкретному значению определенных групп существительных, имеющих в отличие от других имен собирательные значения.

Взаимодействие собирательного значения со значением единственного и множественного числа может быть неодинаковым

в разных языках. Обычно собирательное значение является своеобразной разновидностью значения единственного числа.

Латинское слово типа *folia* — «листва» первоначально представляло множественное число от единственного среднего рода — *folium* — «лист». Но *folia* — «листва» воспринималось не столько как множественное число, сколько как единственное особого качества — единственное собирательное («листва шумит», а не «листва шумят»). Поэтому в дальнейшей истории латинского языка в связи с распадом среднего рода существительные этого типа стали осмысляться как слова единственного числа женского рода собирательного значения. Следовательно, множественное число в морфологическом отношении (*folia*) в определенную историческую эпоху начало восприниматься как единственное число в семантическом отношении (единственное число собирательного значения).

Так, собирательное значение, оказываясь как бы внутри более общего и широкого противопоставления единственного и множественного числа и постоянно взаимодействуя с этими последними, не только осложняет категорию числа, но и приближает ее к реальным лексическим группам слов¹.

Но если в грамматическом отношении собирательное значение свойственно лишь определенному кругу имен существительных, то в стилистическом плане в таком значении могут употребляться самые разнообразные существительные. Так, у Лермонтова («Бородино»):

Изведал *враг* в тот день немало,
Что значит русский бой удалый...

У Короленко («Слепой музыкант», гл. 1, IX): «В Малороссии и Польше для аистов ставят высокие столбы и надевают на них старые колеса, на которых *птица* завивает гнездо». Существительные *враг* и *птица* в грамматическом отношении не имеют собирательного значения, тогда как в стилистическом употреблении в данных контекстах они получают подобное осмысление. Следует различать эти неодинаковые планы, как различают значение и употребление слова в лексике (гл. I).

2. Второе осложнение в системе единственного и множественного числа — наличие так называемого *двойственного числа* в

¹ «Собирательность» имеет отношение не только к единственному числу, но и ко множественному. Ср. *холода́, морозы́*, где «идея множественности как бы потонула в идее собирательности» (Овсяников-Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка. 2-е изд. СПб., 1912. С. 16).

некоторых древних и новых языках. Двойственное число является одним из свидетельств того, что сама грамматическая категория числа в своем отвлеченном значении вырабатывалась постепенно, в процессе своеобразного преодоления сопротивления конкретного лексического материала. Двойственное число предполагает наличие в языке особой морфологической формы, отличной как от формы единственного, так и от формы множественного числа и употребляющейся при обозначении двух предметов или явлений.

Двойственное число было известно, в частности, древнегреческому и древнерусскому языкам. В современном русском языке остатки двойственного числа могут быть обнаружены в таких морфологических различиях, как, например, «два *дома*», но «пять или десять *домов*». И в том и в другом случае существительное *дом* находится не в единственном числе, но в первом случае — это остатки двойственного числа («два *дома*» с ударением в старом языке на последнем слоге существительного), во втором — множественное число. В новом языке, в котором двойственное число перестало быть живой морфологической категорией, различие окончаний «два *дома*» и «пять *домов*» утратило свою дифференцирующую функцию.

Постепенно развитие абстрактного мышления приводит к тому, что старое двойственное число приобретает пережиточный характер. Человеку становится ясно, что и понятие о двух предметах и понятие о многих предметах относятся к категории множественности. «Два» — это так же «не один» предмет, как «не один» предмет и представление о «пяти», «десяти» и т.д. Если на древнем этапе развития мышления двойственное число как бы замыкало ряд множественности ближайшим конкретным множеством — представлением о двух предметах, то постепенное устранение двойственного числа свидетельствовало о крепнущей силе мышления, о выработке общего представления о множественности¹.

Вместе с тем системный характер грамматической категории числа обнаруживается в том, что единственное число предполагает наличие множественного, а множественное — наличие единственного.

¹ В отдельных высокоразвитых языках, например в литовском, двойственное число может сохраняться пережиточно. В этих случаях оно несколько не препятствует выражению абстрактного множества (см.: *Тронский И.М.* К семантике множественного числа в греческом и латинском языках // Уч. зап. ЛГУ. Сер. филол. наук. Вып. 10. 1946. С. 54 и сл.)

3. Третьим осложнением в системе числа являются такие случаи, когда те или иные существительные не имеют особых форм множественности или когда, наоборот, существительные употребляются только во множественном числе (так называемые *singularia* и *pluralia tantum*). *Большинство* и *меньшинство*, *пролетариат* и *буржуазия* и многие другие слова встречаются обычно в единственном числе, однако семантика этих слов такова, что дает им возможность в самом контексте передавать и «числовые значения». Семантика этих слов как бы перекрывает различие единственного и множественного числа. То же следует сказать и о существительных, употребляющихся только во множественном числе (*ворота*, *очки*, *весы* и пр.). Для существительных этого рода контекст имеет особо важное значение.

Возвращаясь к вопросу о соотношении между основным противопоставлением единственного и множественного числа и различного рода осложнениями внутри этого противопоставления, нельзя не заметить, что отмеченные осложнения, число которых при привлечении различных языков могло бы быть увеличено, показывают, как постепенно формировалось отвлеченное значение грамматической категории числа. Не существует языков, в которых «механизм» выражения категории числа так или иначе не находился бы в зависимости от различных лексических групп, через посредство которых действует сам этот «механизм».

Ранее уже отмечалось, что сравнение абстракции в геометрии с абстракцией в языке неудачно. На определенном этапе отвлечения от реальных предметов и явлений геометр или математик часто производят математические операции с совершенно условными единицами. Как говорит один из исследователей, математик может «образовать множество, членами которого являются Карл Великий, луна и число 13»¹. Не то, как мы видели, в языке. Разумеется, и здесь абстракция нередко поднимается на высокую ступень обобщения, но это обобщение обычно в большей или меньшей степени связано с особенностями тех слов, которые объединяются данной грамматической категорией.

¹ Греллинг К. Теория множеств. М., 1935. С. 6. Не следует, однако, забывать, что исторически и в математике абстракции развивались на основе опыта, практики. Ср., например, замечание великого русского математика Н.И. Лобачевского: «Все математические начала, которые думают произвести из самого разума, независимо от вещей мира, останутся бесполезными для математики, а часто даже и не оправдываемы ею» (Материалы для биографии Н.И. Лобачевского / Собрал и редактировал Л.Б. Модзалевский. М., 1948. С. 204).

Именно поэтому, например, не все имена существительные могут иметь множественное число, и только определенные по своей семантике слова получают грамматическое значение собирательности. Различие *типов абстракции* в языке и в математике (соответственно и в геометрии) определяется *спецификой* каждого объекта, спецификой языка как средства общения и выражения нашей мысли.

Несмотря на отмеченное различие, грамматическая категория числа выступает в современных развитых языках как средство высокой абстракции. Объединяя по типу окончания множественного числа столь различные слова, как, например, *шелка́, докторá, борта́, тормозá, городá* и пр., говорящий отвлекается от того, что семантика отдельных слов, входящих в этот тип множественного числа, очень различна. *Городá* и *докторá* — это совсем различные по своему значению слова, однако они объединяются определенным типом грамматического образования множественного числа (тип на *a* или *я*). И все же если не в отдельных словах, то в отдельных группах слов удастся обнаружить связь между грамматикой и лексикой.

Понятие множественного числа или, шире, понятие множественности относится к самым разнообразным предметам и явлениям. Отсюда и тенденция к объединению самих типов грамматического образования множественного числа. Если практический опыт человека сталкивал его с разнообразными *частными* случаями множественности (множество камней, множество птиц, множество звезд, множество людей и т.д.), то, по мере того как человек приобретал способность отвлекаться от отдельных случаев частной множественности, у него все в большей степени созревала идея *отвлеченной* множественности, которая должна была сформироваться и в языке (в грамматике). Мышление, определяясь практической деятельностью человека, в свою очередь оказывает воздействие на практику.

Так, исторически отвлекаясь от частного и единичного, в языке постепенно зреет категория абстрактного числа, абстрактной единичности и абстрактной множественности. Современное единственное и множественное число в грамматике самых разнообразных высокоразвитых языков и является продуктом этого сложного развития.

Понятие числа в грамматике не только отличается от понятия числа в логике, но и взаимодействует с этим последним. Единственное число, в частности, передает и понятие одного предмета и понятие предмета вообще (*дом, книга*), а множе-

ственное, выражая множественность, обычно вовсе не указывает на точное число упоминаемых предметов (*домá, книги* — неизвестно, сколько именно домов и сколько именно книг). *Человек* — это не только *данный* человек, Иван или Петр, но и человек вообще. Суждение *человек смертен* передает одновременно и то, что *каждый* человек смертен, и то, что *все* люди смертны. Когда говорят *на площади было много людей*, прибегают ко множественному числу (*люди*), но не указывают при этом точного числа: 100, 200 и т.д. Эти осложнения лишь подтверждают важную диалектическую особенность языка — способность языка выражать общее и отдельное одновременно.

В современных индоевропейских языках противопоставление и связь единственного и множественного числа являются основным стержнем, формирующим категорию грамматического числа.

А.М. Пешковский тонко заметил, что в тех случаях, когда множественное число обычно не образуется, например от слов *мука́* или *уха́*, но когда почему-либо нам нужно искусственно его образовать, «мы скорее скажем *му́ки, у́хи* (в смысле разных сортов *муки* и разных видов *ухи*), чем *муки́, ухи́*, инстинктивно стремясь отличить этим способом множественное число от единственного»¹. Противопоставление и связь единичности и множественности *перекрывают* другие возможные противопоставления и связи между единственным числом и собирательным, между двойственным и множественным числом и т.д. Вместе с тем само абстрактное противопоставление единственного и множественного числа, непрерывно взаимодействуя с различного рода частными множествами, обнаруживает закон другого постоянного взаимодействия — грамматики и лексики².

Этот последний важнейший общий закон языка в системе грамматической категории числа обнаруживается не только в отмеченных взаимоотношениях, но и в ряде частных явлений, например в том, что в разных языках отдельные формы множественного числа имеют совсем иное лексическое значение, чем

¹ Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938. С. 51.

² А. Потебня в своей статье «Значение множественного числа в русском языке» («Филологические записки» за 1887 и 1888 гг.) устанавливает следующие подразделения: множественное число гиперболическое, множественное число единичных вещей, множественное число делимого вещества, множественное число места, множественное число времени, множественное число состояния; см. также: *Wackernagel J. Vorlesungen über Syntax*. I. Basel, 1920. S. 73–105 (глава о категории числа в индоевропейских языках).

формы единственного числа (лексико-семантическое использование грамматической категории).

Латинское слово *littera* — «буква» во множественном числе (*litterae*) означает «письменность», *impedimentum* — «препятствие», во множественном числе (*impedimenta*) — «обоз», «багаж». Немецкое существительное *die Truppe* — «труппа актеров», а во множественном числе (*die Truppen*) — «отряд», «войско». Французское *le mémoire* — «диссертация», но во множественном числе (*les mémoires*) — «мемуары», «воспоминания». Иногда в языке имеются две формы множественного числа, из которых одна близка по смыслу к единственному, а другая от него удаляется в большей или меньшей степени. Итальянское *gesto* — «жест» — *gesti* — «жесты», но *gesta* — «деяния». Румынское *ochiu* — «глаз» — *ochi* — «глаза», но *ochiuri* — «яичница-глазунья» и т.д.

Чтобы правильно употреблять категорию числа, как и другие грамматические категории, нужно понимать, что в ней относится к языковой норме и что — к частным случаям различных стилистических контекстов.

Известны отдельные случаи отклонения от обычного употребления единственного и множественного числа, определяемые разнообразными потребностями стилистической и бытовой экспрессии.

Так, когда мать, радуясь тому, что ее ребенок хорошо выпался после болезни, восклицает: «Сегодня *мы* хорошо поспали!» — то данная «множественность» (*мы*) может оказаться очень условной, если сама мать провела при этом тревожную и бессонную ночь. Известны также особые случаи применения множественного числа для выражения вежливости и скромности или уверенности и твердости в устах оратора, писателя, ученого («мы предполагаем», «мы считаем», «мы приходим к следующему заключению» и т.д.). Наконец, множественное число в функции единственного, как и обратно — единственное число в функции множественного, может выступать иногда просто как результат недостаточной грамотности говорящего или пишущего, как результат неумения разобраться в подлинных отношениях окружающей действительности, в фактах, в ситуации. Когда гоголевский почтмейстер рассказывает свою «Повесть о капитане Копейкине» (Гоголь. Мертвые души, т. 1, гл. X), то автор сообщает: «После кампании двенадцатого года, *сударь ты мой*, — так начал почтмейстер, несмотря на то, что в комнате сидел не один сударь, а целых шестеро...» Подобные нарушения литературной нормы употребления грамматической категории числа и

то, что человек, хорошо владеющий литературным языком, остро воспринимает эти отклонения и оценивает их отрицательно, лишней раз свидетельствует, насколько связана категория числа с реальными жизненными представлениями человека о единичности и множественности.

Категория числа, возникнув из жизненных потребностей человека, претерпела ряд осложнений и в грамматике языка получила сложное отвлеченное значение. И все же по сравнению с грамматической категорией рода категория числа представляется гораздо более «прозрачной», ибо исторические причины, вызвавшие ее к жизни, очевидны и все последующее ее развитие может быть достаточно тщательно прослежено. Кроме того, сама категория числа, несмотря на всю ее сложность, оказалась гораздо более целостной, чем категория рода, в которой родовые признаки как бы сплелись и перепутались с разнообразными другими признаками имени, переросли в многообразную именную классификацию. С другой стороны, по сравнению с грамматической категорией рода, относящейся прежде всего к именам, категория числа гораздо более универсальна: она охватывает не только имена существительные и прилагательные, но и местоимения, глаголы и т.д. Сама семантика грамматической категории числа обуславливает ее широкое распространение, так как представление о числе в равной мере относится и к имени и к глаголу¹.

В. Категория падежа

Падеж — это форма имени, выражающая отношение данного имени к другим словам в словосочетании или предложении. Стоит только сравнить именительный падеж существительного *стол* с родительным *стола*, чтобы убедиться, в чем заключается внешнее выражение падежных отношений.

По сравнению со всеми остальными падежами именительный представляется более свободным, более независимым. Поэтому не случайно, что именительный (прямой) падеж оказывается в основе названий предметов или понятий — *стол*, *дом*,

¹ См. серию статей разных авторов о категории числа в языках мира: Уч. зап. Ленинградского государственного университета. Сер. филологических наук. 1946. Вып. 10. С. 15–135; *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958 (главы 14 и 15 посвящены числу); *Беке О.* Zur Geschichte des uralischen und indoeuropäischen Dualis // Acta Antiqua. Budapest, 1957. Vol. V. P. 1–19; Etude linguistique. Le problème de nombre // Bullétin de la Faculté des lettres de Université de Strasbourg. 1965. Bd 6.

книга, наука. Напротив того, остальные (косвенные) падежи выступают как более зависимые, менее самостоятельные образования. Форма родительного падежа существительного *стола* предполагает отношение к другим словам в словосочетании или предложении. Эта форма несамостоятельного положения имени: можно сказать «ножки *стола*» или «в этой комнате нет *стола*», но нельзя сказать только *стола* (что *стола*?).

Именно поэтому именительный падеж одни ученые называют независимым (Пешковский), другие — нулевым (Карцевский), третьи — падежом, лишенным особых признаков (Якобсон). Функция именительного падежа прежде всего назывная, тогда как функция косвенных падежей сводится к выражению многообразных отношений между словами. Но так как косвенных падежей обычно бывает много (разумеется, лишь в языках, обладающих падежами), то при определении падежа выражение отношения кладется в основу самой этой грамматической категории.

Падеж, однако, — это не всякая форма имени и не всякое окончание имени. Когда сравнивают *стол* — *стола*, то форма *стола* имеет определенное окончание, но оно не создает особого падежа, отличного от падежа формы *стол*. Эти формы являются формами одного и того же именительного падежа, только одна из них выступает в единственном числе, а другая — во множественном. Следовательно, падеж — это не всякое окончание имени, а особое окончание, предполагающее *единство* формы и определенного значения.

Анализируя родительный падеж *стола* в сочетании *поверхность стола*, легко заметить, что падеж передает отношение одного имени к другому. Анализируя выражение *грести веслом*, можно обнаружить отношение имени к глаголу.

Чтобы ответить на вопрос о числе падежей в определенном языке, следует исходить не из одного какого-нибудь типа склонения, а из всех типов склонения, имеющих в языке. Слово *ночь* в различных падежах имеет только три разные формы в русском языке (*ночь, ночи, ночью*), хотя само это слово склоняется по парадигме шести падежей современного русского языка. Это объясняется тем, что в других типах склонения имена существительные приобретают уже не три, а обычно пять различных форм в зависимости от падежа (*стол, стола, столу, столу, столе*), хотя совпадение отдельных форм, относящихся к различным падежам, и здесь не исключается (именительный падеж *стол*, винительный падеж тоже *стол*). Следовательно, три формы слова *ночь* (*ночь, ночи, ночью*) должны рассматриваться

на фоне пяти форм слова *стол*. В этом обнаруживается *системный* характер языка: один тип склонения имени существительного невозможно понять вне других типов склонения той же части речи в том же языке.

В тех индоевропейских языках, в которых имя существительное имеет падежи, совпадение отдельных форм, принадлежащих к разным падежам, в неодинаковых парадигмах бывает различным.

Так, в русском языке в склонении образца *стол* совпадают именительный и винительный падежи (*стол — стол*), а образца *вол* (одушевленное имя) — родительный и винительный падежи (*волá — волá*). В первом склонении латинского классического языка формы родительного и дательного падежей единственного числа совпадают (например, *terrae — «земли»* и *terrae — «земле»*), но формы этих же падежей не совпадают во множественном числе того же типа склонения (родительный падеж *terrarum*, дательный *terries*), не говоря уже о несовпадении этих форм за пределами данного склонения в других типах склонения (например, родительный падеж *horti — «сада»*, дательный падеж *horto — «саду»*).

Чтобы установить своеобразие и количество падежей, необходимо исходить не из одного какого-нибудь типа склонения, а из всех типов склонения, имеющих в языке и охватывающих данную часть речи (в наших примерах — имя существительное). Если формы разных падежей, совпадая в одних типах склонения, не совпадают в других, то они тем самым существуют в языке как различные формы имени, подобно тому как нулевая флексия (например, родительный падеж множественного числа *мест*) на фоне других, ненулевых флексий (родительный падеж множественного числа *столов*), бытующих в данном языке, считается в грамматике флексией, тем более что в приведенных ранее примерах неразличение форм в одной парадигме сопровождается различением форм в другой парадигме.

Роль *нулевой флексии* можно пояснить таким образным сравнением из области лексики: четвертый палец на руке, между средним и мизинцем, называют *безымянным*, т.е. «не имеющим имени». Но это «нулевое название» в системе обозначений других пальцев, которые получают названия (*большой, указательный, средний, мизинец*), тоже воспринимается как своеобразное название (*безымянный*). Следовательно, палец, по существу не имеющий имени (*без имени > безымянный*), в ряду других пальцев с вполне определенными именами сам воспринимается как

носитель столь же определенного имени (*безымянный* тем самым перестает распадаться на составные части). В свое время А.М. Пешковский проводил другое сравнение: *бесхвостые обезьяны* в ряду с *хвостатыми обезьянами* могут классифицироваться по разным признакам, в том числе и по «хвостовому», хотя у первых его нет вовсе. Так возникает проблема *нулевого показателя* далеко за пределами грамматики. Она опирается на понятие ряда и системы в соответствующей области знаний.

Можно ли, однако, слишком расширить принцип системности в языке? Можно ли на том основании, что, например, местоимения склоняются, сделать вывод, что склоняются и имена существительные? Ответ должен последовать отрицательный.

Если при установлении системы склонения имен существительных следует исходить из всех типов их склонения в данном языке, то это не означает, что возможно выровнять разные части речи и утверждать, что если существительные в определенном языке склоняются и имеют определенное количество падежей, то так же должны склоняться, например, прилагательные или местоимения. Рассуждать так — значило бы превратить принцип системности языка в принцип тождества разных частей речи, в принцип, приводящий к отрицанию специфики каждой части речи.

Материал разных языков показывает, что склонение, наблюдаемое в одной части речи, может отсутствовать в другой. В этом последнем случае вперед выступают другие грамматические средства, прежде всего предлоги.

Так, в большинстве романских языков имена существительные и прилагательные не склоняются, тогда как местоимения склоняются (ср., например, французские личные атонные местоимения типа *je* — «я», но *те* — «меня»). В английском языке склоняются существительные и местоимения, но не склоняются прилагательные.

Но тут возникает новая серия вопросов. Как же может имя существительное не склоняться, т.е. не иметь падежей, если падеж, как мы видели, это форма имени, выражающая его отношение к другим словам в словосочетании или предложении? Разве могут быть языки, в которых не выражается подобного отношения?

Разумеется, языков, в которых так или иначе не передавалось бы грамматическое отношение имени к другим словам в предложении, не существует. Весь вопрос в том, *какими средствами* это достигается. Падеж — категория морфологическая. Поэтому лишь в тех языках, в которых существуют *формы слово-*

изменения (типа русского *стол, стола, столом* и пр.), могут существовать и падежи. Когда же французы говорят *nous sommes à la maison* — «мы дома», то они при этом никак не изменяют форму слова *maison*, которое в любых сочетаниях с другими словами формально не изменяется. В подобных случаях, следовательно, функцию, которую в одних языках выполняют падежи, в других берут на себя иные грамматические средства, в частности предлоги (*à, de* и др.).

Но существуют не только падежные и беспадежные языки и даже не только такие языки, которые сохраняют падежи в местоимениях и не сохраняют их в существительных и прилагательных. В действительности встречаются и языки, которые имеют всего два или три падежа. В подобных языках отношение имени к другим словам в предложении передается в одних случаях падежами, в других предлогами, а иногда и теми и другими средствами одновременно¹.

В английском языке, например, у имен существительных имеется лишь два падежа — общий с нулевым окончанием и притяжательный (так называемый саксонский родительный), выраженный окончанием *-’s* (например, *brother’s room* — «комната брата»). Если же принять во внимание, что значение принадлежности может быть передано в английском языке не только с помощью родительного падежа, но и с помощью предлога (*the room of my brother* — «комната моего брата»), причем существительное *brother* — «брат» в этом последнем случае морфологически никак не изменяется, то станет ясно, что удельный вес падежей в современном английском языке невелик по сравнению с удельным весом предлогов. Общему падежу с нулевым окончанием противостоит только родительный саксонский. Так как никакие другие падежи общему падежу не противостоят (а падежи, как мы видели, могут существовать только в противопоставлении и во взаимном «отталкивании» друг от друга), то общий падеж становится в английском языке господствующим. Его оттеняет только родительный².

Поэтому английский язык относят к языкам двухпадежным, хотя эти падежи, будучи резко неравными по объему (общий падеж встречается очень часто, а родительный саксонский сравнительно редко и имеет частное значение), приводят к тому,

¹ Разумеется, одновременность действия падежей и предлогов не исключается и во многопадежных языках (ср. русское *в комнате, со смехом* и пр.).

² О падежах в английском языке имеются разные точки зрения. Об этом см.: *Ильиш Б.А.* Современный английский язык. 2-е изд. М., 1948. С. 93–108.

что система предлогов оказывается в этом языке на первом плане, а падежи на втором¹. Наряду с предлогами в таких языках, как английский, повышается роль порядка слов как средства дифференциации грамматических отношений.

В разделе о порядке слов (с. 263) в предложении типа *Ann sees Pete* — «Анна видит Петра» слова *Ann* и *Pete* не имеют никаких морфологических показателей, которые отличали бы прямой падеж от косвенного. Если переставить эти слова (*Pete sees Ann*), то получится «Петр видит Анну», хотя никаким морфологическим изменениям данные имена не подверглись. Аналитические средства (предлоги, отмеченные выше, и порядок слов) заслоняют собой флективные (падежные) средства в системе английского языка.

В некоторых языках грамматические отношения складываются так, что позволяют говорить о склонении местоимений при отсутствии склонения имен существительных и прилагательных. Такая картина наблюдается, например, во французском языке. Аналогичные отношения обнаруживаются в языке болгарском, где личные местоимения различаются по трем падежам (именительный, винительный и дательный), тогда как отношения имен существительных к другим словам передаются с помощью предлогов. Ср. *майка* — «мать», *на майка* — «матери» (с предлогом *на*)².

Таким образом, проблема соотношения падежей и предлогов сводится не только к противопоставлению «чисто падежных» и «чисто предложных» языков, но и к учету различного рода смешанных языковых типов, в которых имеются и первые и вторые грамматические средства. Проблема осложняется еще и тем, что существуют языки, сохраняющие падежи в одной части речи и вытесняющие их из сферы другой или других частей речи. Наконец, как было ранее показано в другой связи, в истории одних языков падежи оттесняются предлогами, а в истории других, напротив того, падежи не только не оттесняются, но увеличиваются в своем числе и укрепляются в своих значениях. Выбор того или иного пути определяется всей историей данного языка, его связями с другими родственными языками, своеобразием его грамматической типологии.

¹ Если в русском языке предлоги лишь уточняют значение падежа (*в* столе, у стола; *о* доме, *на* доме), то в английском они являются основным выражением отношения имени к другим словам в предложении.

² О падежах в болгарском языке см.: Краткие сообщения Института славяноведения Академии наук СССР. Вып. 10. М., 1953 (доклады С.Б. Бернштейна и Е.В. Чешко).

Можно ли провести знак равенства между падежами и предлогами? Нет, нельзя.

Лишь с чисто внешней точки зрения создается впечатление, что падежи и предлоги образуют тождество. Между тем более пристальный анализ обнаруживает, что при всей близости синтаксических функций падежей и предлогов их морфологическая природа различна. Различие это обнаруживается в следующем.

1. Один предлог может соответствовать разным падежам, а один падеж — разным предлогам. Французское *je suis à Rome* — «я в Риме» соответствует латинскому *Romae sum* (существительное *Romae* в так называемом местном падеже), а *je vais à Rome* — «я иду в Рим» — *Romam eo* (существительное *Romam* в винительном падеже). Следовательно, одна и та же предложная конструкция с *à* в одном языке порой соответствует разным падежам в другом (в нашем примере местному и винительному).

2. Предлоги более подвижны, чем падежи. Падеж неотделим от имени, которое он оформляет флексией, тогда как предлог иногда может удаляться от имени, к которому он относится. Латинское *ad ripam Rhodani* и *ad Rhodani ripam* — «к берегу Родоса» и «к Родоса берегу». Большая независимость предлога по сравнению с флексией падежа создает тонкие различия между этими грамматическими средствами.

3. Один предлог может соответствовать целой цепочке падежей, одинаковые предложные конструкции — разным флективным образованиям. Испанское аналитическое (предложное) словосочетание типа *este mes de grata transición* — «этот месяц благодатного перехода» показывает, что один предлог (*de*) относится к двум косвенным падежам флективного языка («благодатного перехода»). Французское *le livre de Pierre* — «книга Петра», но *la ville de Paris* — «город Париж» (а не «город Парижа») и т.д.¹

Но есть еще одно различие между языками, располагающими падежами, и языками, не знающими падежей и падежных различий. Уже в самом термине *падеж* (калька с латинского *casus*, в свою очередь восходящего к греческому слову *ptosis*) раскрываются представления античных грамматистов о том, что падежи имени являются формами как бы «отпадающими» (*падеж* от *падать*) от основной формы имени. Такой основной формой имени представлялся именительный падеж, как независимый, как падеж названий. Как еще ни наивны были эти старинные воззрения, они все же верно улавливали особое положение

¹ Ср.: Панфилов Е.Д. К вопросу о так называемом аналитическом склонении // ВЯ. 1954. № 1. С. 50.

именительного падежа, намечали правильное разграничение зависимых падежей и падежа относительно независимого.

Отмеченные различия между падежами и предлогами показывают, что нельзя проводить знака равенства между морфологическими и синтаксическими средствами языка. Выполняя сходные грамматические функции (выражение отношений имени к другим словам в словосочетании и предложении), падежи и предлоги реализуют свою миссию разными средствами. Различие это существенно для грамматики, так как оно является одним из главных дифференцирующих признаков, отличающих языки флективные (преобладание падежей) от языков аналитических (преобладание предлогов). Не видеть и не понимать этих различий — значит считать, что во всех языках существуют универсальные категории и отсутствуют специфические для данного языка грамматические средства. В действительности в каждом языке имеется и то и другое: и общее, сближающее его с другими языками, и частное, свое, особенное, составляющее его специфику.

То, что само соотношение падежей и предлогов в разных языках оказывается неодинаковым, позволяет не только выделить аналитические и флективные языковые типы, но и обнаружить в каждом из них многочисленные подгруппы.

Хотя падеж, как мы видели, является категорией морфологической, однако «морфологичность» этой категории нельзя понимать узко, поскольку падежи, как и предлоги, раскрывают сложные синтаксические отношения между разными словами. В этом плане падежи и предлоги взаимодействуют.

Очень существен синтаксический аспект морфологической категории падежа в тех языках, в которых падежей мало (например, в английском, болгарском, румынском). В этих языках каждый падеж особенно многофункционален, поэтому значения падежей раскрываются здесь прежде всего синтаксически, во взаимодействии с другими грамматическими средствами языка, в частности, с предлогами. Но лишь установив особенности каждого из этих средств, можно показать разнообразные формы контакта между падежами и предлогами¹.

¹ Вряд ли можно согласиться с теми лингвистами, которые предлагают компромиссное решение вопроса: абстрактные предлоги типа латинского *de*, французских *de* и *à* считать способными выражать «аналитические падежи», а остальные, более конкретные предлоги с падежами не связывать (см.: *Курилович Е. Очерки по лингвистике*. М., 1962. С. 175–203). Различие между падежами и предлогами глубже, чем различие между абстрактными и конкретными предлогами, поэтому первое различие отодвигает на задний план (хотя и не снимает его) различие второе.

Как мы уже знаем, в истории отдельных языков, как и в истории языков родственных, соотношение между падежами, предлогами и порядком слов может постепенно меняться. То, в частности, что в одну эпоху выражалось падежами, в другую эпоху может быть передано предлогами, и обратно.

Во времена Пушкина и Лермонтова «говорить украинским языком» считалось обычным построением. В «Тамани» у Лермонтова читаем: «Слепой говорил со мной *малороссийским наречием*, а теперь изъяснялся чисто по-русски». Сейчас мы скажем иначе: «говорить *на украинском языке*», «говорить *на польском языке*» и т.д. Ранее уже была сделана попытка указать на некоторые причины аналогичных преобразований.

Значение падежа часто бывает очень широким. В современном русском языке, как известно, шесть падежей. Именительный падеж называется прямым, все остальные — косвенными. Так как отношения, которые связывают имя существительное с другими словами, с другими частями речи в системе словосочетания или предложения, многообразны, то понятно, почему значение каждого падежа оказывается в свою очередь также многообразным.

Рассмотрим такие значения творительного падежа: «он известил меня *письмом*» и «*доблестью* солдат отечество спасено». В первом случае творительный падеж имеет орудийное (инструментальное) значение («при помощи письма», «посредством письма»), во втором — причинное («вследствие, по причине доблести солдат»). Различие это определяется характером самих предложений, семантикой отдельных словосочетаний. Но вместе с тем грамматическая категория падежа, в известной степени завися от семантики тех или иных словосочетаний, как бы возвышается над этими словосочетаниями, приобретает и *общее* значение. В приведенных примерах, несмотря на наличие своеобразных внутренних подгрупп в каждом случае (в одном — орудийное значение, в другом — причинное), имеется вместе с тем и общее значение творительного падежа и для первого и для второго предложения. Это общее значение определяется близостью смыслов («посредством письма» и «по причине», как бы «при помощи доблести») и общностью грамматического построения (*письмом*, *доблестью*). Грамматическая категория одновременно и зависит от семантики отдельных словосочетаний и возвышается над ними.

А. Пешковский как-то правильно обратил внимание на известное грамматическое различие между примерами типа «он убивается *пикадором*» и «он закаляется *кинжалом*»¹.

¹ Ср.: Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938. С. 132.

В первом примере внешне орудийная форма *пикадором* не создает, однако, значения орудийности — «посредством пикадора». «Он убивается посредством пикадора» — вообще невозможно. Форма *пикадором* в своей «орудийности» оказывается гораздо слабее орудийного значения сочетания «посредством пикадора». Все предложение «он убивается пикадором» в гораздо большей степени приближается к значению «его убивает пикадор», чем «он убивается посредством пикадора». Творительный падеж *пикадором* логически движется здесь к значению именительного падежа *пикадор*. Другое соотношение складывается в примере с кинжалом. Здесь орудийное значение выражается тем же творительным падежом (*кинжалом*), что и в первом случае (*пикадором*). Но если там творительный падеж как бы стремился превратиться в именительный («*пикадор* его убивает»), то здесь этого вовсе не происходит. Предложение «он закалывается кинжалом» действительно означает «он закалывает себя *посредством* кинжала», где творительный падеж несколько не приближается к именительному и сохраняет свое строго орудийное значение.

Семантика одного слова (*кинжал*) легко допускает его вхождение в синтаксическую структуру выражения страдательного залога: кинжал, орудие действия, естественно передается через морфологическую форму орудийности; семантика другого слова (*пикадор*) не так легко входит в ту же морфологическую схему страдательного залога, ибо это слово в смысловом плане сохраняет за собой активное агентное значение и скорее само «требует жертвы», чем становится пассивным орудием действия¹. Грамматическая схема творительного падежа, наполняясь разным лексико-семантическим содержанием и вступая во взаимодействие с этим содержанием, получает различное осмысление.

И все же нужно сказать, что и в этом случае грамматическая форма падежа, как бы *преодолевая сопротивление индивидуальных лексических значений*, поднимается над ними, приобретает более общее грамматическое значение. Все же и форма *пикадором*, как она ни отличается по значению от формы *кинжалом* и как она ни стремится к именительному падежу, оказывается все же формой творительного падежа. Единая абстрактно-грамма-

¹ Разумеется, и здесь большое значение приобретает грамматическое различие между одушевленными (*пикадор*) и неодушевленными (*кинжал*) словами, а также то, что в первом случае (*он убивается пикадором*) глаголу присуще значение страдательного залога, а во втором (*он закалывается кинжалом*) — возвратно-среднего.

тическая категория творительного падежа иногда дробится на различные подзначения (творительный падеж орудийности, творительный причины, творительный ограничения, творительный сравнения и т.д.), но *дробится не бесконечно*, а так, что позволяет установить хотя и более частные, но все же грамматически типизирующие, обобщающие индивидуальные случаи закономерности. Творительный падеж причины или творительный орудийный — это уже менее емкие, но зато более точно очерченные в своих контурах категории, входящие в состав более обширной, но зато менее четко обрисованной общей категории творительного падежа, в свою очередь составляющей лишь частный случай еще более общего представления о падеже вообще.

Так грамматические категории, взаимодействуя с многообразными лексическими словосочетаниями, дробятся на более частные категории, которые в свою очередь обогащают общие категории, придают им большую подвижность.

Вопрос о том, как понимать значение того или иного падежа, часто связан с некоторыми историческими представлениями.

В «Слове о полку Игореве», например, читаем (в точном переводе на современный язык): «На седьмом веке Трояновом кинул Всеслав жребий о девице, ему милой. Тот клюками оперся о коня и скакнул к городу Киеву и коснулся древком золотого стола киевского. Скакнул от них лютым зверем в полночь из Белгорода, повис в синем облаке, поутру же вонзил секиры, — отворил ворота Нову-городу, расшиб славу Ярославову, скакнул *волком* до Немиги от Дудуток» (последние слова в подлиннике: «скачи *влькомъ* до Немиги с Дудутокъ»). Возникает вопрос: какова здесь семантика творительного падежа *влькомъ* (*волком*)? Выступает ли этот творительный как падеж «превращения» или только как падеж сравнения?¹ Другими словами, допускает ли рассказчик, что Всеслав *превратился* в волка, стал оборотнем (ср. в переводе Майкова: «проскочил оттуда серым волком»; в переводе Югова: «волком скакнул»), или речь идет лишь о простом сравнении («скакнул *как* волк»)? Сама по себе форма творительного падежа едина и для того и для другого случая. Следовательно, весь вопрос в том, какое историческое содержание скрыто за этой формой. В этом случае ближайшее контекстное окружение недостаточно для того, чтобы ответить на этот вопрос. Нужно выйти за пределы одного предложения,

¹ См.: *Потебня А.А.* Из записок по русской грамматике. Ч. II. Харьков, 1888. С. 502.

поставить перед собой более общий вопрос о характере всего повествования, о взглядах Всеслава, о том, насколько точка зрения автора «Слова» совпадает с рассуждениями Всеслава, и т.д.

Разумеется, не во всех случаях можно проделать подобный анализ. Да и само по себе предложение не всегда нуждается в такого рода анализе. Так, в выражении «первый блин *комом*» нам сравнительно безразлично, как понимать творительный падеж *комом* — как падеж превращения или только как падеж сравнения. Безразлично потому, что семантика слова *ком* не нуждается в этом уточнении: *блин*, который превратился в *ком*, — это в общем то же, что и *блин*, напоминающий *ком*. Иного характера предложение о Всеславе, который скакал *волком*. Здесь анализ творительного падежа дает возможность лучше понять характер самого текста, создает более широкую перспективу.

Третий случай можно обнаружить в старинной пословице «Грех да напасть *бороною* ходят», где из двух интересующих нас сейчас видов творительного падежа (сравнения и превращения) явно выступает вперед значение творительного сравнения: «грех» и «напасть» сравниваются с бороной, которая задевает одних, но минует других, подобно тому (сравнение) как зубья бороны при первом прохождении взрыхляют землю по одной полосе и оставляют ее нетронутой по другой. Здесь творительный падеж *бороною* воспринимается как творительный сравнения, ибо неизвестно, чтобы в старинных народных повериях «грех и напасть представлялись бы именно бороною»¹.

Таким образом, если проанализировать лишь два значения творительного падежа — сравнения и превращения, то определение того или иного из этих значений возможно в ряде случаев только на основе глубокого анализа содержания всего предложения. Но вместе с тем и здесь проявляется общий закон грамматики и ее категорий: как ни различны подзначения творительного в словах *волком*, *комом*, *бороною*, все они объединяются единым общим значением этого падежа вообще. Это общее отвлеченное значение, взаимодействуя с частными подзначениями, вместе с тем возвышается над ними. Поэтому можно говорить о творительном падеже вообще, не уточняя, какое именно подзначение этого падежа имеется в виду. Говорящий обычно и не замечает этих подзначений, проходит мимо них. Отвлечен-

¹ Там же. С. 502–503. Ср. с этим латинское *metus hostium*, которое может означать и «страх врагов» (*genetivus subjectivus*) и «страх перед врагами» (*genetivus objectivus*) в зависимости от контекста.

ная категория творительного падежа дает возможность как бы устранять вопрос о подзначениях в системе определенного падежа, хотя сама эта отвлеченная категория — результат исторического развития языка.

Поэтому нельзя согласиться с теми лингвистами, которые, ссылаясь на многообразие функций каждого падежа, склонны вообще отрицать его общее значение¹.

В действительности многообразие падежных функций не снимает вопроса об общем значении каждого падежа, подобно тому как многообразие способов употребления слова обнаруживает связь конкретных случаев его осмысления с основным значением в данную историческую эпоху (гл. I).

При всем многообразии ранее проанализированных функций творительного падежа в русском языке (причем указаны были далеко не все подзначения этого падежа) все же можно утверждать, что *основным его значением* является значение инструментальное, подобно тому как винительный падеж — это прежде всего падеж прямого объекта, родительный — определительный, именительный — назывной (номинативный) и т.д. В соотношении общего и частных значений падежа обнаруживается закон языка, его способность передавать общее и отдельное не только в слове, но и в грамматической категории.

Вот почему число падежей в различных языках, имеющих эту грамматическую категорию, различно.

В русском языке их шесть (если не считать звательного и старинного местного падежа), в немецком четыре, а во многих языках, например, Дагестана их значительно больше. Это объясняется тем, что в этих последних языках наряду с «обычными» падежами существуют многочисленные так называемые местные падежи, обозначающие различные положения предмета в пространстве. Так, в лакском языке особый падеж обозначает нахождение в чем-либо (*к̆ватлуву* — «в доме»), позади чего-нибудь (*к̆ватлух* — «за домом»), на чем-либо (*к̆ватлуй* — «на доме»), под чем-либо (*к̆ватлулу* — «под домом»). По-видимому,

¹ А.А. Потебня, дав глубокий анализ «конкретных значений творительного падежа», отрицал как общее значение падежа, так и общее значение слова (отрицание общего значения слова Потебня переносил и в область грамматики). С других позиций обоснование общего значения для каждого падежа (именительного, родительного, дательного, винительного) проводится в ст.: *Jakobson R. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre // Travaux du cercle linguistique de Prague. 1936. N 6. P. 240–288.* Иначе трактует вопрос А.В. Исаченко (см.: *Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Морфология. Ч. 1. Братислава, 1954. С. 127–144.*)

свыше двух десятков падежей насчитывается в аварском языке, в котором местный падеж может выражать и объект, и так называемый объект понуждения, и различные косвенно-дополнительные значения и т.д.¹

Несовпадение количества падежей в разных языках объясняется тем, что многие падежи отличаются многозначностью, которая в одних языках выражается посредством одного падежа, а в других — посредством двух или нескольких. Так, можно грамматически объединить выражение различных положений предмета в пространстве в значении одного местного падежа, но можно и разделить семантику этого единого падежа на ряд более дробных локальных значений, как то наблюдается во многих дагестанских языках. Часто бывает и так, что в формально единой категории падежа по существу оказывается несколько различных значений в зависимости от семантики самого имени, самого словосочетания. Вспомним, творительный падеж *волком* может быть несколько иным, чем творительный *комом*.

Падежная система разных неродственных языков очень специфична и во многом различна.

Не во всех языках категория грамматического падежа поднимается на одинаковую ступень абстракции. В русском языке эта категория гораздо более отвлеченная, чем, например, в аварском. И все же и в русском, как свидетельствуют проанализированные примеры, грамматическая категория падежа взаимодействует с определенными группами лексических значений слова.

Падежи в каждом языке, где они бытуют, образуют строгую систему, отдельные части которой зависят друг от друга и обуславливают друг друга. Объем каждого падежа, его большая или меньшая дробность зависят от того, какие падежи находятся рядом с ним.

Древнегреческий язык имел только пять падежей, он не знал творительного. Но хорошо известно, что в дательном падеже греческого языка исторически слились дательный в собственном смысле с падежами местным и орудийным², в результате чего объем греческого дательного оказался шире объема дательных в тех языках, в которых рядом с дательным стояли и местный и орудийный падежи (как, например, в архаическом латинском языке).

¹ См.: Услар П.К. Лакский язык. Тифлис, 1890; *Его же*. Аварский язык. Тифлис, 1889.

² См.: Шантрен П. Историческая морфология греческого языка / Рус. пер. М., 1953. С. 15.

Итак, *падеж* — это не просто форма имени, а единство формы и значения¹. Между языками, располагающими падежной системой, есть много общего. Вместе с тем характер и группировка падежей в каждом языке своеобразны. Хотя принципиальное равноправие всех средств выражения грамматических отношений не подлежит сомнению, следует иметь в виду, что разные языки на тех или иных этапах своего исторического развития различно используют эти средства в связи с потребностями мышления, коммуникации².

6. Части речи и члены предложения

Части речи — это лексико-грамматические группы слов, отличающиеся друг от друга: а) определенным значением, б) определенными морфологическими или синтаксическими признаками, в) теми или иными грамматическими категориями, г) синтаксическими функциями в составе словосочетаний и предложений. В языках флективных части речи различаются также типами формообразования и словообразования. Части речи передают не только отношения между словами, но и отношение говорящего к действительности.

Трудность определения частей речи и установления признаков, их характеризующих, заключается в том, что, во-первых, в языках разного грамматического строя признаки эти будут различны, а во-вторых, разные части речи в одном и том же языке имеют свои особенности.

В русском языке, например, морфологические признаки частей речи имеют решающее значение и выявляются обычно очень

¹ Многие лингвисты рассматривают падеж только как форму имени. Наиболее последовательно эту точку зрения защищал шведский лингвист А. Норейн (*Noreen A. Einführung in die wissenschaftliche Betrachtung der Sprache. Halle, 1923. S. 339*), различавший «казусы» (падежи как форма) и «статусы» (падежное значение). «Казусы» Норейн считал возможным изучать независимо от «статусов».

² О категории падежа см.: Грамматика русского языка. М., 1960. С. 118–130; Творительный падеж в славянских языках. М., 1958. С. 5–40 (вводная статья С.Б. Бернштейна об изучении падежей в славянских языках); *Нетушил И.В. Этюды и материалы для научного синтаксиса латинского языка. Т. 2 («О падежах»)*. Харьков, 1885; *Курилович Е. Проблема классификации падежей // Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962. С. 175–203; Jakobson R. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre // Travaux du cercle linguistique de Prague. 1936. N 6. S. 240–288; Hjelmslev L. La catégorie de cas. Etude de grammaire générale. Vol. VI. Copenhagen, 1935; Vol. II. 1937 (в первом томе этой монографии дается обзор различных теорий падежа).*

просто и отчетливо. *Шелк* и *шелковый* явно различаются как существительное и прилагательное. Иначе оказывается в таком языке, как английский, в котором морфологическое разграничение имен существительных и прилагательных представлено не так четко, как в русском. *Silk* — «шелк» является существительным, но в словосочетании *silk dress* — «шелковое платье» оно выступает уже как прилагательное. Чтобы понять, как это происходит, нужно разобраться в своеобразии грамматического строя разных языков, о чем речь будет идти во всем последующем изложении.

Выходя за пределы языков индоевропейских и обращаясь, например, к тюркским языкам, нельзя не заметить, что в них синтаксические критерии разграничения частей речи приобретают большее значение, чем в языках индоевропейских. В татарском языке *күк* — «синий» и *күк* — «небо» (синева), *qapm* — «старый» и вместе с тем *qapm* — «старик». Внутри каждой пары этих слов различия очень существенны, хотя морфологически они не выражены. Тем самым синтаксический фактор дифференциации подобных слов (наряду с лексическим) приобретает большее значение¹.

Тюркологам известно употребление существительных взамен недостающих в тюркских языках относительных прилагательных. Поэтому словосочетание типа *городской Совет* передается в этих языках двумя существительными (*город* + *Совет*), причем определяемое *Совет* снабжается так называемым аффиксом принадлежности².

Таким образом, удельный вес перечисленных выше признаков, которые отличают одни части речи от других, в различных языках неодинаков.

Можно утверждать, что все эти признаки имеют значение для языков самого различного грамматического строя. Вопрос сводится, однако, к тому, какой из этих признаков является ведущим. Выдвижение одного из них определяется своеобразием грамматического строя этих языков. Так, отсутствие форм словоизменения в таком языке, как китайский, приво-

¹ См.: *Богородицкий В.А.* Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками. Казань, 1953. С. 140.

² Сказанное отнюдь не означает, что в тюркских языках морфологические критерии разграничения частей речи не имеют значения. Но наряду с ними синтаксические средства становятся очень существенными (см.: *Баскаков Н.А.* Структура слова и части речи в тюркских языках // Советское востоковедение. 1957. № 1. С. 77 и сл.).

дит к тому, что важный для других языков фактор разграничения частей речи с помощью словоизменения (например, в русском) в китайском не существует. Соответственно в этом языке увеличивается роль синтаксических критериев разграничения частей речи.

Именно поэтому большинство исследователей современного китайского языка считает, что, несмотря на известную ограниченность чисто морфологических средств этого языка, в нем имеются части речи. Такое утверждение было бы невозможно, если части речи в китайском языке не имели бы вместе с тем своих формальных признаков выражения. Исследования А.А. Драгунова, Н.И. Конрада и других специалистов показали, что такие формальные признаки (например, суффиксы, грамматические категории и разные морфологические форманты) китайские слова имеют¹. Вопрос, следовательно, сводится не к тому, нужны ли какие-то морфологические показатели для выделения в языке частей речи (они, безусловно, необходимы), а к тому, в каком соотношении с другими признаками частей речи они находятся. Подобное соотношение в языках неодинакового грамматического строя различно.

Итак, выделение и разграничение частей речи в разных языках определяется своеобразием грамматического строя соответствующих языков.

Специфика частей речи определяется, однако, не только многообразием грамматической структуры различных языков, но и внутренней неоднородностью частей речи в одном языке. Не случайно разграничивают *самостоятельные* (знаменательные) части речи и части речи *служебные*². К первым относят, например, существительные, прилагательные, глаголы, наречия, числительные, ко вторым — предлоги, союзы, местоимения и т.д.

Если присмотреться более внимательно к этим двум рядам внутри частей речи, нельзя не заметить, что в разряде

¹ См.: Драгунов А.А. Исследования по грамматике современного китайского языка. М., 1952. С. 15–27; Солнцев В.М. Типологические свойства изолирующих языков. XXVI Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР. М., 1963. С. 1–11.

² Термин «знаменательный» представляется в этом случае менее удачным, чем «самостоятельный», так как он создает впечатление, что другие части речи незначительны. В действительности все части речи по-своему знаменательны. Весь вопрос в том, какая это знаменательность. Поэтому правильнее разграничивать самостоятельные и служебные части речи, а не знаменательные и служебные (разумеется, противопоставление знаменательных и незначительных частей речи по изложенным соображениям невозможно).

самостоятельных частей речи более отчетливо различаются лексические и грамматические признаки (недаром части речи определяются как «лексико-грамматические группы слов»), чем во втором разряде слов. В самом деле, существительное *стол* выражает предметность и характеризуется в русском языке грамматическими признаками рода, числа и падежа. Напротив, в такой служебной части речи, как, например, предлог, значение самой части речи и ее грамматические функции слиты в единое и неразложимое целое: значение предлога *в* («внутри чего-нибудь») и определяет его грамматические функции (при глаголах, обозначающих движение, в сочетаниях с существительными и пр.). В свою очередь грамматические функции предлога *в* уточняют его значение¹.

Итак, перечисленные в самом начале этого раздела признаки, выявляющие части речи и разграничивающие их, относятся друг к другу неодинаково не только в зависимости от грамматического строя того или иного языка, но и в зависимости от характера тех или иных частей речи в каждом языке. В самостоятельных частях речи подобные признаки выделяются обычно отчетливее, чем в частях речи служебных. В этих последних значения и функции сливаются в единое целое².

Еще более сложен вопрос о соотношении логического и грамматического элементов в системе частей речи. Не подлежит сомнению, что разграничения частей речи и логические разграничения таких понятий, как субстанция (имена существительные), качество и отношения (имена прилагательные), действие и состояние (глаголы) и т.д., — это процессы, не только отличающиеся друг от друга, но и имеющие известные точки соприкосновения. Конечно, логическое представление о субстанции совсем не то же самое, что грамматическое понятие предметности, точно так же как логическое действие не совпадает с действием грамматическим. Достаточно, например, не забывать, что предметность с грамматической точки зрения может распространяться не только на действительно предметные имена суще-

¹ Некоторые лингвисты разграничивают *части речи* и *частицы речи*, или просто *частицы*, к которым и относят служебные части речи. О частицах см.: *Виноградов В.В.* Русский язык. М., 1947. С. 663 и сл. В связи с отрицанием *не* см.: *Валимова Г.В.* Деепричастные конструкции в современном русском языке // Уч. зап. Ростовского-на-Дону госпединститута. Ф-т языка и литературы. 1940. Т. II.

² О трудностях разграничения частей речи в тех языках, морфологические средства которых недостаточно развиты, говорят многие исследователи (см., например, главу о полинезийских языках в сб.: *Народы Австралии и Океании*. М., 1956. С. 565).

ствительные (*книга стекло*), но и на имена совсем не «предметные» (*мысль, действие*), что невозможно с логической позиции.

В чем же тогда обнаруживается соприкосновение между частями речи и логическими категориями, образующимися в процессе познания окружающего нас мира?

Оно обнаруживается в том, что наше мышление, вырабатывая логические категории, органически соотносит их с категориями языка, с частями речи. Эта соотнесенность, проникая сквозь очень своеобразную призму грамматической системы данного языка, не может не получить специфического выражения в каждом языке. Именно поэтому, как ни глубоко своеобразны части речи в разных языках, как ни различны их число и их характер, они имеются во всех языках мира.

Интерпретация соотношения логического и грамматического начал в самой системе частей речи разных языков имеет очень длинную историю. Здесь укажем лишь на то, что некогда были склонны отождествлять части речи с логическими категориями. Эта точка зрения была популярной не только в XVIII в., но и в первой половине XIX столетия. Она оказалась несостоятельной, так как ее сторонники не учитывали ни многообразия языков, ни специфики грамматики в отличие от логики. Поэтому не удивительно, что во второй половине XIX в. эта точка зрения была подвергнута во многом справедливой критике (работы Штейнталя¹, Потебни² и др.).

Нельзя, однако, не отметить, что изгнание логики из грамматики стало проводиться слишком прямолинейно и безоговорочно. Вместе с водой из ванны оказался выплеснутым и ребенок. Американский лингвист Л. Блумфилд (1887–1949) в своей книге о языке так и писал, что не существует никакого соответствия между частями речи, логическими категориями и предметами реального мира³. Это положение на разные лады повторяется многими лингвистами и философами. Под предлогом защиты специфики грамматики отрицается объективность существования самих частей речи⁴.

В этом смысле показательна позиция другого американского лингвиста — Э. Сепира (1884–1939). Тщательное и длительное

¹ *Steinthal H. Grammatik, Logik und Psychologie, ihre Prinzipien und ihr Verhältnis zu einander.* Berlin, 1885 (особенно с. 216–224).

² См.: *Потебня А.А.* Из записок по русской грамматике. Харьков, 1888. С. 60–63.

³ *Bloomfield L. Language.* N.Y., 1933. P. 271–272.

⁴ Тезис Блумфилда настойчиво повторяется, например, Глисоном (см.: *Глисон Г.* Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959. С. 141).

изучение разнообразных индейских языков Америки привело его к убеждению, что части речи в этих языках мало похожи на части речи в языках европейских. Сепир одно время тоже был склонен взять под сомнение объективность существования частей речи. И все же пристальный анализ языковых фактов не позволил Сепиру (в отличие от Блумфилда и других ученых) сделать этот вывод. Сепир приходит к другому заключению. Он считает, что основные части речи, прежде всего имя и глагол, имеются во всех языках, ибо «нельзя забывать, что содержанием речи являются в конце концов суждения»¹.

Трудно согласиться с тем, что части речи будто бы не имеют никакого отношения ни к логическим категориям, ни к осмыслению окружающего нас мира. Больше того, выделить части речи было бы невозможно, если бы наше мышление не различало таких, например, категорий, как предметность, движение, состояние, качество, отношение и т.д. В этом смысле можно утверждать, что грамматические категории всегда взаимодействуют с категориями логики, возникающими в процессе познания действительности.

Как справедливо отмечал совсем в другой связи и по другому поводу австрийский лингвист Г. Шухардт, полное изгнание логики из грамматики, быть может, и облегчило бы путь сложных исканий в науке, но нисколько не продвинуло бы ее вперед². *Части речи объективно существуют в языке.* Вместе с тем в каждом языке, в особенности в языках разного грамматического строя, они приобретают свои, очень важные особенности. Сложная задача, стоящая перед исследователем всякого языка, заключается в том, чтобы показать, как складывались части речи исторически и как взаимодействуют они между собой в грамматической системе современного языка.

Являясь лексико-грамматическими группами или разрядами слов, части речи должны осмысляться не на основе только одного какого-нибудь критерия, например морфологического, а на основе *ряда критериев* в их взаимодействии и взаимосвязи. Таковы критерии: лексический, или семасиологический, морфологический и синтаксический. Их взаимосвязь при осмысле-

¹ Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи / Рус. пер. М., 1934. С. 93.

² «Многие лингвисты считают, что языкознанию нет никакого дела до логики, и они подчеркивают это с такой радостью, как будто у них вместе с логикой свалился с сердца тяжелый камень» (*Schuchart H. Brevier, Ein Vademecum der allgemeinen Sprachwissenschaft. Halle, 1928. S. 322.*)

нии частей речи определяется не эклектическим приципом «всего понемногу», а самой *природой частей речи* как лексико-грамматических групп слов, выявляемых в языке прежде всего с помощью морфологии, а затем и синтаксиса. Многообразие форм проявления частей речи в разных языках обуславливает широту понимания грамматических критериев (морфологического и синтаксического) при определении частей речи в тех или иных языках. В этом отношении части речи отличаются от таких грамматических категорий, как, например, категория падежа, которая, будучи грамматической, а не лексико-грамматической категорией, должна определяться с морфологической точки зрения. К тому же отсутствие грамматической категории падежа в том или ином языке легко компенсируется другой категорией, например предлогом, тогда как отсутствие основных частей речи трудно компенсировать. По-видимому, этим объясняется всеобщность основных (самостоятельных) частей речи.

Синтаксис связывает части речи с членами предложения. *Члены предложения* — это синтаксические категории, возникающие в предложении на основе взаимодействия слов и словосочетаний и отражающие отношения между элементами предложения. Чтобы понять, в чем различие между частями речи и членами предложения, остановимся на простом примере.

Имени существительному в системе частей речи соответствует подлежащее в системе членов предложения, глаголу в системе частей речи — сказуемое в системе членов предложения, прилагательному — определение и т.д. Но вместе с тем подлежащее может выступать не только в форме имени существительного («*Отец* воспитывает сына»), но и в форме местоимения («*Он* воспитывает сына») или в форме других частей речи («*Эти чуть-чуть* начинались незаметно»). То же следует сказать и о сказуемом, которое выражается не только глаголом («*Правда побеждает* всегда»), но и сочетанием личной формы глагола с инфинитивом («*Но за нее не всяк умеет* *взяться*». — *Крылов*), именем существительным («*Грушницкий — юнкер*». — *Лермонтов*), именем прилагательным («*Богаты* мы, едва из колыбели, / *Ошибками* отцов и поздним их умом...». — *Лермонтов*) и т.д.

Следовательно, части речи в системе предложения не просто повторяют себя, но подвергаются известной трансформации, определяемой особенностями самого предложения. Как ни глубока связь между именем существительным и подлежащим,

понятия эти соотносительны, но не идентичны. То же следует сказать и о взаимодействии между глаголом и сказуемым, прилагательным и определением и т.д. Различие между природой слова и природой предложения обуславливает и различие между частями речи и членами предложения.

Но не следует забывать и о постоянной связи, всегда сохраняющейся между частями речи и членами предложения. Хотя подлежащее может выступать в предложении не только в виде существительного, но и в виде других частей речи, однако именно существительное в функции подлежащего выступает в своей *первичной синтаксической функции*, по отношению к которой все остальные синтаксические функции существительного (в роли сказуемого, дополнения, обстоятельства и пр.) будут восприниматься как вторичные. Точно так же можно сказать, что сказуемое — это первичная функция глагола, хотя последний может встречаться не только в функции сказуемого, а следовательно, имеет и вторичные синтаксические функции. Именно поэтому и прилагательное — это прежде всего определение, как наречие — прежде всего обстоятельство и т.д.

Различия между *первичными* и *вторичными синтаксическими функциями* основных частей речи существуют в языке объективно, обнаруживая закономерные связи морфологии и синтаксиса. Разграничение этих функций в синтаксисе столь же необходимо, сколь необходимо установление основных и производных форм в любой морфологической парадигме.

Части речи и члены предложения и отличаются друг от друга и взаимодействуют между собой. Трудности, возникающие при изучении частей речи, как и членов предложения, ни в коем случае не могут оправдать скептического, а иногда и иронического отношения некоторых лингвистов как к той, так и другой проблеме.

Перейдем теперь к рассмотрению отдельных частей речи¹.

¹ О частях речи и членах предложения см.: *Щерба Л.В.* О частях речи в русском языке // *Щерба Л.В.* Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 63–84; *Мещанинов И.И.* Члены предложения и части речи. М.; Л., 1945. С. 21–103; *Савченко А.Н.* Части речи и категории мышления. Ростов-на-Дону, 1959. С. 50–67; *Севортян Э.В.* К проблеме частей речи в тюркских языках // Вопросы грамматического строя. М., 1955. С. 188–225; *Солнцев В.М.* Проблема частей речи в китайском языке // ВЯ. 1956. № 5. С. 22–37; *Magnusson R.* Studies in the Theory of the Parts of Speech. Lund, 1954. P. 2–25; Proceedings of the Seventh Congress of Linguists. L., 1956. P. 29–34 (резюме дискуссии о частях речи).

7. Имена существительные и прилагательные

Имя существительное уже было подробно проанализировано в связи с грамматическими категориями рода, числа и падежа. Остается лишь сделать несколько общих замечаний. *Имя существительное* — это часть речи, выражающая предметность в широком смысле. В русском языке предметность имени существительного передается в формах рода, числа и падежа. В других языках грамматические категории имени могут быть иными или частично иными, в зависимости от характера грамматического строя языка в целом.

Имя существительное называет и выражает не только предметы, но и действия, состояния, понятия. Достаточно сопоставить такие слова, как *камень, стол, книга*, с такими, как *бег, полет, движение*, и, наконец, с такими, как *радость, знание, мышление* или *созерцание*, чтобы убедиться, насколько широк семантический диапазон имени существительного. Именно поэтому имена существительные следует связывать с предметностью, а не только с предметами.

Имена существительные имеют огромное значение, так как в них особенно отчетливо обнаруживается очень важная номинативная функция языка: человек называет окружающие его явления, и эти названия закрепляются в языке прежде всего и больше всего в именах существительных¹. Не случайно, что наибольшее количество терминов любой науки оказываются именами существительными. Не случайно и то, что существительные (наряду с глаголами) становятся наиболее самостоятельной частью речи.

Вместе с тем имеются языки, в которых существительные вместе с прилагательными образуют еще единую, недостаточно расчлененную категорию имени вообще. Вопрос о том, как «имя вообще» исторически расчленилось на существительные и прилагательные, представляет большой интерес.

Понятия качества и отношения, которые теперь легко передаются при помощи имени прилагательного (например, *большой, зеленый, железный*), вовсе не сразу получили свою современную форму выражения. Во многих древних языках, как и в

¹ А.Н. Гвоздев в своей книге «Формирование у ребенка грамматического строя русского языка» свидетельствует, что «существительные появляются в речи ребенка в числе первых слов» (ч. 2. М., 1949. С. 58).

некоторых современных, эти понятия передаются простым соположением имен существительных.

Некогда говорили *трава-зелень* или *зелень-трава* в смысле *зеленая трава*, *камень-стена* означало *каменная стена*, *свет-вода* — *светлая вода* и т.д. Сочетание типа *зелень-трава* в значении *зеленая трава* показывает, как соположением двух имен существительных выражалось в древних языках представление о качестве. Постепенно, однако, по мере того как человек все более осознавал, что одно из существительных в подобных сочетаниях зависит от другого (в нашем примере *зелень* от *травы*), в этом зависимом существительном (*зелень*) все более и более ослабевала идея предметности и возрастала идея качественности¹. Пока каждое из существительных *зелень-трава* воспринималось как более или менее равноправное по отношению к другому, одинаково «предметному», до тех пор нельзя еще было говорить о способности человека выражать абстрактную идею качества. Но по мере того как человек все более убеждался в том, что не все предметы окружающего мира одинаково самостоятельны, одинаково «предметны», что одни имена существительные могут служить лишь для той или иной характеристики других имен существительных, старое представление об одинаковой самостоятельности имен в сочетаниях типа *зелень-трава* стало постепенно расшатываться. *Зелень* — это не такой же «предмет», как *трава*, а характеристика травы, указание на определенное состояние, на определенное качество. Так *из наблюдений над самой действительностью* человек пришел к пониманию качества и отношения.

Разумеется, понятия качества и отношения возникли не сразу. Прежде чем сделать обобщение, выделить абстрактный признак (в нашем случае *зеленый* или *зеленая*), человек должен был неоднократно видеть и сравнивать между собой различные предметы зеленого цвета: *зеленая трава*, *зеленые листья*, *зеленый горох*, *зеленая ящерица* и т.д. Сравнивая между собой различные предметы, различные объекты окружающего его мира, человек стал выделять общий всем этим объектам признак — *зеленый* — и тем самым научился отделять его, а также качество и отношение от тех непосредственных единичных предметов, с которыми раньше эти признаки, качества и отношения мыслились неразрывно. Приобретение в процессе практики умения отвлекать

¹ См.: *Потебня А.А.* Из записок по русской грамматике. Т. III. М., 1899. С. 43 и сл. (глава «Происхождение имени прилагательного»).

признаки от единичных предметов свидетельствовало о крепнувшей силе разума и означало большой шаг вперед в истории развития мышления человека.

Эти постепенные изменения — ослабление предметности первого имени (*зелень*) и рост в нем признака качества — приводят в конце концов к созданию новой части речи — *имени прилагательного*. Вместо старого типа *зелень-трава* возникает новый — *зеленая трава*.

То, что на самых древних этапах развития индоевропейских языков еще не было оформлено различие между существительными и прилагательными, подтверждается и тем, что современные прилагательные некогда склонялись так же, как и существительные. В древних индоевропейских флективных языках имелось два типа склонения: именное (общее для существительных и прилагательных) и местоименное. Развитие особого, отличного от имен существительных склонения прилагательных произошло значительно позднее. Таково «сильное» склонение прилагательных в германских языках. Ср., например, немецкое склонение прилагательных: *gut-es Metall*, *gut-en Metall*, *gut-er Metall*, *gut-es Metall*¹.

Зависимость прилагательных от существительных обнаруживается в ряде фактов, относящихся к тем или иным эпохам развития различных языков. Русское качественное прилагательное *крутой* соответствует в литовском языке существительному *krantas*, означающему «берег» (по-видимому, «крутой берег»). Подобное смысловое соответствие подтверждается другими параллелями из индоевропейских языков: русское *берег*, немецкое *Berg* — «гора», французское *berge* — «крутой берег» (реки) и т.д.

Следует строго различать такие древние эпохи в развитии языков, когда еще не произошла дифференциация между существительными и прилагательными, и такие периоды, когда эта дифференциация давно совершилась, но старое положение вещей еще наблюдается эпизодически либо как пережиток былого, либо как стилистическое явление.

Подобый в современном русском языке является прилагательным и означает «испеченный на *поду* русской печи» (*подовые* пироги, *подовые* пряники). Но еще в XVIII в. это слово могло употребляться как существительное.

¹ См.: Жирмунский В.М. Происхождение категории прилагательных в индоевропейских языках в сравнительно-грамматическом освещении // Изв. Академии наук СССР. ОЛЯ. 1946. Вып. 3. С. 188; см. также: Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке. М., 1975.

У Фонвизина в «Недоросле» (I, 4):

«Простак ов. Помнится, друг мой, ты что-то скушать изволил.

Митрофан. Да что! Солонины ломтика три, да *подовых* не помню пять, не помню шесть».

Прилагательные могут субстантивироваться без помощи каких-либо окончаний: *портной* (мастер), *серый* (волк), *чубарый* (конь), *косой* (заяц), *косолапый* (медведь) и др. В современном немецком языке следы былой близости между существительными и прилагательными обнаруживаются в сложных словах типа *Schuhriemen* — «башмачный ремень» (букв. «башмак-ремень»), *Fussbrett* — «ножная доска» (букв. «нога-доска»). Однако в целом и современный русский и современный немецкий языки проводят уже достаточно четкую дифференциацию между существительными и прилагательными.

Сущность процесса рождения имени прилагательного заключается прежде всего в том, что создается особая часть речи, специально передающая идею качества и отношения. Что касается грамматических отличий прилагательного от существительного (вопрос сам по себе важный), то следует учитывать, что в одних языках эти отличия носят преимущественно морфологический характер, а в других — синтаксический. Так, в русском языке прилагательное *холодный* морфологически отчетливо отделяется от существительного *холод*, а в английском прилагательное *cold* — «холодный», морфологически ничем не отличаясь от существительного *cold* — «холод»¹, отделяется от него синтаксически, в системе словосочетания или предложения (*a cold day* — «холодный день», здесь *cold* — прилагательное, но *in the cold* — букв. «в холоде», переносно «в одиночестве»; здесь *cold* — существительное).

Таким образом, грамматическая форма, дифференцирующая имя существительное и имя прилагательное в различных языках, может быть различной. В одних языках для этого используется по преимуществу морфология, в других — различные средства синтаксиса (место в словосочетании, ударение, интонация и пр.). Но и в том и в другом случае обнаруживается известное завоевание мышления человека, его способность абстрактно передавать качества, признаки, отношения. И в том и в другом

¹ Впрочем, следует иметь в виду, что у этих двух слов разные парадигмы, т.е. разные образцы склонения: существительное *cold* во множественном числе получает *s*, которого не получает прилагательное *cold*, но последнее может иметь формы степеней сравнения и т.д.

случае прилагательное по-своему отделяется от существительного, причем отделяется не только по смыслу, но и материально (морфологически или синтаксически). Историческая точка зрения на язык помогает понять происхождение данных частей речи.

Основная функция современных прилагательных — это функция определительная (атрибутивная). Поэтому представляет несомненный интерес вопрос о том, как она развивалась.

В современном русском языке прилагательные могут выступать не только в атрибутивной функции (*великий* город), но и в предикативной, как часть сказуемого (предиката) — «город *велик*». В этом последнем случае прилагательное оказывается обычно в краткой форме в отличие от полной в атрибутивном употреблении. Древнерусский язык еще не знал отмеченной дифференциации. Краткие формы прилагательных могли иметь не только предикативную, но и атрибутивную функцию: «*великъ* страх и тьма бысть» (I Новг. лет., под 1124 г.), «не бысть снѣга *велика* ни *ясна* дни и до марта» (там же, 1145 г.). «*Великъ* страх» употребляется здесь как современное «*великий* страх»¹.

Но вот постепенно от кратких форм прилагательных стали образовываться полные формы путем прибавления к первым указательных местоимений (*и, я, е*):

добръ-**и**
добра-**я**
добро-**е**

В языке возникли тем самым категория определенности (прилагательные полной формы) и категория неопределенности (прилагательные краткой формы). Прилагательные полной формы начали передавать категорию определенности потому, что, вобрав в себя указательные местоимения, они тем самым стали точнее определять («указывать») те существительные, к которым они относятся. Прилагательные краткой формы, не обладая этими «указательными» (детерминативными) возможностями, превратились в средство выражения категории неопределенности².

¹ См.: Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М., 1953. С. 209.

² Полные (сложные) прилагательные поэтому назывались еще «местоименные» или «членные». Название «членные» объяснялось функциональным сходством местоимений с определенным членом-артиклем (ср. с определенными артиклями в немецком или французском языках: *der, die, das... le, la...*). Указательные местоимения (*и, я, е*) означали определенность носителя признака, например, в сочетании «добръ + и (> добрый) человек» — «этот, данный, уже известный нам добрый человек», «добра + я жена» — «эта, данная, уже известная нам добрая жена».

Однако, как это интересно показал Л.П. Якубинский¹, категория определенности и неопределенности, едва возникнув, стала неустойчивой. Дело в том, что категория определенности передавалась известными морфологическими показателями, а признаком категории неопределенности оказалось лишь отсутствие этих показателей. Подобное противопоставление морфологических показателей и показателей нулевых, возможное в других случаях (ср. понятие нулевой флексии), оказалось недостаточным в тот исторический период, когда категория определенности и неопределенности еще не окрепла, была слабой. В результате эта категория распалась, не получив опоры в самой грамматической системе языка.

Различие кратких и полных форм прилагательных было использовано в языке иначе. Краткие формы, превратившись в часть предиката, приобрели предикативную функцию (город *велик*), тогда как полные стали определять существительные — приобрели атрибутивную функцию (*великий* город).

Языковое развитие не сразу пошло по тому руслу, которое, казалось, наметилось раньше. И это понятно. Движение внутри грамматических категорий и частей речи не сразу выходит на ту большую дорогу, которая определяет общее развитие языка. В отдельные периоды жизни языка движение это может быть направлено как бы в сторону, чтобы затем вновь вернуться на центральный путь развития, характерный для данного языка. В языке никто не может заранее определить путь многовекового развития. Лишь практика людей, говорящих на нем, определяет направление языкового движения. Это последнее очень сложно, оно знает не только подъемы, но и своеобразные падения, хотя в целом поступательное развитие языка совершенно очевидно.

В то время как в одних индоевропейских языках, располагающих категорией определенного и неопределенного артикля (например, во французском и немецком), категория определенности и неопределенности получила тем самым широкое распространение (ср. французское *le cheval* — «эта лошадь», «данная лошадь», «лошадь, о которой говорят», но *un cheval* — «лошадь», «лошадь вообще», «некая лошадь»), в русском языке оказалось иначе. Здесь едва наметившаяся категория определенности и неопределенности не получила поддержки в грамматической системе языка и поэтому быстро распалась. Но вперед выступило другое разграничение — кратких и полных форм

¹ См.: Якубинский Л.П. История древнерусского языка. М., 1953. С. 213.

прилагательных со свойственными им предикативными и атрибутивными функциями. На основе синтаксической категории определенности-неопределенности возникло морфологическое различие между краткими и полными формами прилагательных.

«Недостатки» русских прилагательных в одном плане (слабость категории определенности-неопределенности) компенсируются развитием и богатством возможностей в другом плане (сила категории предикативности и атрибутивности). В этом обнаруживается своеобразный *общий закон языка*: слабые позиции в одной сфере нейтрализуются сильными позициями в другой. В этом же проявляется и национальное своеобразие грамматики разных языков: в каждом из них отмеченный процесс протекает по-своему.

Как было отмечено, в некоторых современных языках прилагательное морфологически не отличается от существительного. В языках так называемой самодийской группы определение совсем не знает грамматического согласования с определяемым, степени сравнения могут образовываться от именной основы, по смыслу допускающей подобные образования.

В английском языке широко распространен тип атрибутивного употребления имени существительного в функции прилагательного: *cannon-ball* — «пушечное ядро», букв. «пушка-мяч»; *candle-light* — «искусственное освещение», букв. «свеча-свет»; *case-law* — «судебный прецедент», букв. «дело-закон» и т.д. Различие, однако, заключается в том, что в английском языке наряду с синтаксическим способом выражения имени прилагательного существуют и морфологически образованные прилагательные (*wooden* — «деревянный», при *wood* — «лес», «древесина»; *golden* — «золотой», при *gold* — «золото»), тогда как в языках самодийской группы прилагательные отличаются от существительных только по своей синтаксической функции в системе словосочетания или даже целого предложения.

Более отчетливо отделяется прилагательное от существительного в языках флективных. Этим языкам, помимо атрибутивного употребления существительного, известен и второй путь образования прилагательных от родительного падежа одного из имен существительных: *улица Пушкина* > *Пушкинская улица*, *сочинение Лермонтова* > *лермонтовское сочинение*.

Следует, однако, заметить, что и в этом случае никак нельзя абсолютизировать большую или меньшую формальную обособленность прилагательного в разных языках. Как уже отмечалось, морфологические и синтаксические средства выражения

в языке принципиально равноправны, хотя и сохраняют — каждое из этих средств в отдельности — свою специфику. Эта специфика, в частности, выражается в том, что смысловая зависимость прилагательного от существительного в разных языках передается по-разному; в языках, в которых прилагательное морфологически не отличается от существительного, зависимость эта обнаруживается по контексту, по смыслу одного из существительных и всего словосочетания в целом; в тех же языках, в которых прилагательное отличается от существительного не только функционально, но и по форме (морфологически), его зависимость от существительного обнаруживается не только в контексте, но и в самом оформлении прилагательного.

Необходимо подчеркнуть, что в тех современных языках, в которых прилагательное морфологически не отличается от существительного (как, например, в языках самодийской группы), люди, говорящие на этих языках, вполне различают предметность и качественность, но выражают эти различия по-своему, своеобразно. Поэтому, когда подчеркивают, что человек некогда не умел выражать идею абстрактной качественности, имеют в виду эпоху очень глубокой древности, когда грамматический строй языка был еще примитивным. Различие же между современными языками сводится к *своеобразию способа выражения качественности*, к своеобразию внутренних отношений между существительными и прилагательными. Соответственно этому и способы внутренней дифференциации между существительными и прилагательными в разных языках различны.

Зависимость прилагательного от существительного удобнее проследить в тех языках, в которых категория прилагательного обособилась от существительного не только синтаксически, но и морфологически. Не говорят «большая стол» или «большие стол», так как смысловые и грамматические особенности самого существительного *стол* определяют соответствующие особенности и прилагательного *большой* (согласование в роде, числе и падеже).

Более сложные случаи согласования прилагательного с существительным, встречающиеся в языке художественной литературы и основанные на различных случаях перекрестного взаимодействия имени и определения, дают возможность передать тонкие оттенки отношений.

Так, у К. Федина в описании Саратова в 1919 г. («Необыкновенное лето», гл. 11) читаем: «В садике наискосок Липок толпа любителей, в поздние сумерки, подковой окружив эстраду, слу-

шала поредевший после войны симфонический оркестрик и наблюдала за извивами худосочного дирижера — городской знаменитости, прямоволосой, как Лист, и черно-синей, как Паганини». Здесь прилагательное *прямоволосой* женского рода, хотя *дирижер* мужского рода, ибо в группу этих двух слов вторгается третье — *знаменитость* — женского рода, которое как бы разрывает грамматическую связь между первыми двумя словами и определяет новое согласование: *знаменитость прямоволосая*. Однако дальнейшие имена — *Лист* и *Паганини* — вновь оказываются существительными мужского рода, и, казалось бы, они-то и должны были изменить согласование последующего прилагательного (*черно-синей*), перевести его в мужской род (*черно-синий*). Однако этого не случилось. Существительное *знаменитость* в сложном словосочетании стало по замыслу автора основным, определив тем самым все последующее согласование. И так как *знаменитость* женского рода, то отсюда женский род не только у первого прилагательного (*прямоволосая*), но и у второго (*черно-синяя*). Сравнения (*как Лист, как Паганини*) отошли тем самым на задний план, а вперед выступило представление о дирижере как *городской знаменитости*.

Как было уже подчеркнуто, при историческом равноправии морфологического и синтаксического средств выражения прилагательного, каждое из этих средств сохраняет свою специфику. Так, согласование прилагательного с существительным в роде, числе и падеже в языках флективных дает возможность передать дополнительные оттенки связи между этими частями речи. В языках же, в которых прилагательное отличается от существительного прежде всего по своему синтаксическому употреблению, по месту в предложении, специфика его выражения может проявляться иначе.

Английский язык, например, иногда нанизывает на одно имя ряд других, причем имена, стоящие впереди, временно приобретают тем самым функцию имен прилагательных: *a pretty silk dress* — «прелестное шелковое платье», *a humped stone bridge* — «горбатый каменный мост» и т.д. В этих случаях *silk* — «шелк» временно получает значение прилагательного «шелковый», а *stone* — «камень» — значение прилагательного «каменный».

Такое своеобразное нанизывание одних имен на другие для выражения разнообразных определительных значений возможно в таких языках, как английский, но очень редко встречается в таких, как, например, русский, в котором различие между существительными и прилагательными морфологически обозначено

гораздо рельефнее. Поэтому передача определения с помощью имени существительного или сочетания ряда имен в современном русском языке встречается сравнительно редко и приобретает стилистически подчеркнутое значение. Так, например, у М. Шолохова («Тихий Дон», кн. 2, ч. 4, гл. 13): «...далекие, *акварельно-чистого рисунка* контуры берез».

Следовательно, то, что в одном языке является грамматическим «шаблоном» выражения, в другом предстает как стилистически «свежее» построение. Грамматические различия между языками определяют и различия в восприятии подобных конструкций.

Таким образом, отделившись от имени существительного лишь на определенном этапе своего развития, прилагательное и теперь сохраняет с существительным многообразные связи.

Прилагательные обычно бывают двух типов — *качественные* и *относительные*. От качественных прилагательных образуются степени сравнения, ибо качество в предмете или явлении может заключаться в большей или меньшей степени; от относительных же прилагательных степени сравнения не образуются, ибо отношение не мыслится качественно, оно либо дано, либо нет (*прошлогодний* или *железный*: вполне понятно, что нельзя сказать «прошлогоднее» или «железнее»).

Некоторые прилагательные могут оказаться на стыке выражения качества и отношения в зависимости от того, какое из возможных их значений имеется в виду. Так, в словосочетании *золотые прииски* прилагательное *золотой* выступает как относительное, но в *золотые кудри* это прилагательное приобретает качественное значение, ибо цвет волос человека (их качество) может меняться в зависимости от возраста, переживаний и т.д.

Напротив того, если на тех или иных *золотых приисках* в ходе разработки золота становится больше или меньше, то сами прииски не делаются от этого «более или менее золотыми», а становятся лишь более или менее ценными, более или менее доходными, более или менее богатыми¹.

Следовательно, для классификации имен прилагательных на качественные и относительные очень важна сама их семантика. И в этом случае устанавливается общая закономерность для всяких грамматических категорий, для всяких частей речи: они и опираются на лексические значения и возвышаются над ними, отвлекаются от них. Это отвлечение, в частности, особенно на-

¹ Ср.: *Виноградов В.В.* Русский язык. М., 1947. С. 203 и сл.

глядно проявляется в тех случаях, когда степени сравнения распространяются и на относительные прилагательные (ср. у Маяковского: «И моя любовь к тебе расцветает *романнее и романнее*»)¹, и даже на имена существительные («он более ребенок, чем я думал»).

Человек не сразу научился выражать абстрактные качества (представления о разном количестве того или иного качества, присущего или приписываемого предмету), а поэтому и не сразу овладел абстрактным механизмом степеней сравнения. Но чем больше человеку приходилось в процессе его трудовой деятельности сопоставлять и сравнивать предметы, определять разную степень их прочности, упругости, выносливости и т.д., тем легче ему стало впоследствии переносить эти сравнения и сопоставления на круг абстрактных категорий и говорить о большей или меньшей степени наличия качества не только в предметах, но и в понятиях типа *красивый, добрый, смелый, мужественный*. В процессе длительного развития языка и мышления постепенно выработывалась современная система степеней сравнения.

В ряде древних языков (как, впрочем, и в некоторых современных) степени сравнения могли выражаться простым *повторением* определения (так называемая *редупликация*): *большой-большой* в смысле «очень большой»; *маленький-маленький* в смысле «очень маленький» и т.д. (ср. стилистическое использование этой конструкции у Л. Толстого в «Анне Карениной»²: «*Быстрые-быстрые* легкие шаги застучали по паркету»).

Однако по мере того как человек стал передавать все более тонкие оттенки качества, этот способ выражения переставал его удовлетворять: двойное повторение должно было превратиться в повторение многократное, так как в пределах каждой степени

¹ Обычно в подобных случаях относительные прилагательные употребляются в переносном значении. «*Деревянный* стол» — прилагательное относительное, но «*деревянное* лицо» — качественное. В этом последнем словосочетании *деревянный* употребляется переносно и может иметь степени сравнения.

² Ср. в рассказах В.В. Вересаева: «После утреннего разговора Ордынцев опять стал с нею *нежен-нежен*» («На высоте», гл. IV); «Как будто бы кто-то, втайне давно любимый, неожиданно наклонился к ней и *тихо-тихо* прошептал: — Зорька! Люблю!» («Состязание», гл. IV).

Иногда, в особых случаях, степени сравнения могут передаваться и интонацией. Ср. у К. Симонова: «Ну, как там? — спросил Сабуров... — Трудно, — сказал полковник. — Трудно... — И в третий раз шепотом повторил: — Трудно, — словно нечего было добавить к этому исчерпывающему все слову. И если первое трудно означало просто трудно, а второе — очень трудно, то третье трудно, сказанное шепотом, значило — страшно трудно, дозарезу» («Дни и ночи», гл. II).

могли быть свои оттенки значений (например, превосходная степень относительная — *очень большой* и абсолютная — *самый большой*). Таким образом, теоретически тип *большой-большой* должен был превратиться в *большой-большой-большой* или даже в *большой-большой-большой-большой* и т.д. Разумеется, такое решение вопроса не могло удовлетворить человека, и удвоение как средство выражения грамматических и лексических значений оказалось впоследствии во многих языках вытесненным¹.

В большинстве современных языков степени сравнения передаются либо *флективно*, при помощи окончаний, либо *лексически (аналитически)*, при помощи особых «усилительных» слов. Так, русский скажет *красивый — красивее — красивейший*, а француз: *joli — plus joli — le plus joli*; аналогично болгарин: *хубав — по-хубав — най-хубав*. В первом случае прилагательное изменяется флективно, во втором само оно остается без изменений, но в сравнительной и превосходной степенях к нему прибавляются соответствующие более или менее самостоятельные слова (во французском *plus, le plus*, в болгарском *по-, най-*).

Особым типом образования степеней сравнения является так называемый *супплетивный* способ (от латинского *suppleo* — «пополняю»); в этом случае прилагательное «заменяется» совсем другим словом в процессе образования степеней сравнения. Так, в русском языке *хороший — лучший — наилучший*, т.е. сравнительная степень (*лучший*) отличается от положительной (*хороший*) не особой флексией и не особым вспомогательным словом, а всем своим составом, тем, что одно слово, означающее положительную степень, заменяется другим, означающим сравнительную степень. Супплетивные степени сравнения бытуют во многих языках. Ср., например: латинское *bonus* — «хороший», *melior* — «лучший», *optimus* — «наилучший»; французское *bon* — «хороший», *meilleur* — «лучший», *le meilleur* — «наилучший»; немецкое *gut* — «хороший», *besser* — «лучший», *best* — «наилучший»; английское *good* — «хороший», *better* — «лучший», *best* — «наилучший».

Супплетивные образования в самых разнообразных языках свидетельствуют о том, что человек не сразу научился выражать количественные различия внутри качественных характеристик. *Лучший* в глубокой древности воспринималось, по-видимому, как особое качество, непосредственно не связанное с *хороший*.

¹ Материалы из разных языков см. в работе: *Немировский М.Я.* Удвоение как «архиахический» способ слово- и формообразования. Ереван, 1945. С. 127–171.

Качество (характеристика) *хороший* еще не мыслилось в движении, в развитии. Между тем, для того чтобы *лучший* понималось как сравнительная степень к *хороший*, само прилагательное *хороший* должно было представляться в развитии (более хороший — менее хороший и т.д.). Поэтому и супплетивность исторически следует понимать не как «замену» одних прилагательных другими, а как известную «разорванность» грамматического ряда, внутреннее единство которого было, по-видимому, осмыслено лишь впоследствии.

Интересно отметить, что и те немногие супплетивы, которые сохранились в ряде новых языков, подверглись существенным изменениям. Такие древние языки, как греческий и латинский, как бы проводили двойную «смену» положительной степени; сравнительная степень представляла собой новое образование по сравнению с положительной, тогда как превосходная в свою очередь внешне не походила ни на положительную, ни на сравнительную. Так, латинское *bonus* — «хороший», *melior* — «лучший», *optimus* — «наилучший». Иначе оказалось в истории новых языков, в системе которых обнаруживаем уже не две, а лишь одну «замену»: сравнительная степень (*лучший*), отличаясь от положительной (*хороший*) по своему корневому составу, уже не отличается по этому признаку от превосходной (*наилучший*, *самый лучший*). Так, супплетивные образования начинают взаимодействовать и смешиваться с аналитическим типом образования степеней сравнения, дающим возможность привести в известное соответствие смысл и форму в системе супплетивных степеней сравнения. Чем больше в сознании человека росло и крепло умение рассматривать качество в движении, в развитии, тем менее старое представление об изолированных качествах могло находить себе поддержку в грамматически «разорванных» рядах супплетивных образований. Супплетивы обычно приобретают пережиточный характер¹.

На первый план выступает понимание степеней сравнения как средства выражения количественных различий внутри единого

¹ Нужно заметить, что супплетивы мало изучены. Не исключена возможность, что некоторые из них являются результатом не последующих схождения (конвергенций) различных корней, а результатом действия фонетических изменений, обусловивших дальнейшие расхождения (дивергенции) первоначально единого корня. Супплетивы, или супплетивные образования, известны не только в степенях сравнения, но и в падежных образованиях (*я — меня*), в разграничениях по роду (*мужчина — женщина*), по числу (*человек — люди*), по времени (*иду — шел*) и т.д. Ср.: *Osthoff H. Vom Suppletivwesen der indogermanischen sprachen. Heidelberg, 1899.*

качества. Весь ряд степеней сравнения теперь мыслится как более целостный, более связанный.

Как было показано, связи прилагательного с существительным и существительного с прилагательным глубоки и разнообразны¹.

Возможность или невозможность применения того или иного прилагательного к тому или иному существительному определяется как семантикой каждого из них, так и семантикой всего словосочетания. Говорят *часовой мастер*, но нельзя сказать *деревянный мастер*, ибо в первом случае прилагательное имеет значение «относящийся к часам, как к определенному прибору, определенному механизму» (*часовой мастер* = *часовых дел мастер*), во втором же прилагательное не получает значения «относящийся к дереву», а продолжает сохранять свое основное значение «сделанный из дерева». Поэтому и все данное словосочетание становится невозможным. Значение «сделанный из дерева» оказывается настолько «сильным», настолько основным для данного прилагательного (ср. также *железный*, *каменный* и пр.), что исключает осмысление «относящийся к дереву». Зато в этом прилагательном иногда развивается переносное значение: *деревянный* — «неподвижный», «тупой», «маловыразительный» (*деревянное* лицо). Если бы так оказалось и со словосочетанием *деревянный мастер*, то оно получило бы совсем другое значение — «плохой мастер».

Таким образом, возможность или невозможность отнесения того или иного прилагательного к тому или иному существительному определяется реальными языковыми отношениями, семантикой слова и всего словосочетания в целом. Следует устанавливать эти связи, анализируя конкретные языковые отношения между существительными и прилагательными в том или ином языке, на том или ином этапе его исторического развития.

Вместе с тем и здесь, хотя отдельные случаи сочетаний существительных и прилагательных во многом зависят от семантики самих этих слов, *типы* таких сочетаний, отвлекаясь от частных случаев, приобретают общий характер. Можно говорить о зако-

¹ Этим объясняется, между прочим, та легкость, с какой в современном литературном языке происходит субстантивация прилагательных. См., например, в изящном маленьком рассказе И.А. Бунина «Ворон»: «...я был поражен: точно солнце засияло в нашей прежде столь мрачной квартире, — всю ее озарило присутствие той юной, *легконогой*, что только что сменила няньку восьмилетней Лили...» *Юная, легконогая* — героиня этого маленького рассказа Елена Николаевна.

номерности сочетаний с существительными всех качественных прилагательных или всех относительных прилагательных. Можно говорить о закономерности образования степеней сравнения для всех качественных прилагательных и т.д.

Таким образом, возникнув из имени существительного, прилагательное в самых разнообразных языках мира получает широкое развитие¹.

8. Местоимение

Местоимение — очень своеобразная часть речи. К *местоимениям* относят такие лексико-грамматические группы слов, которые указывают на лица, предметы и их признаки, но не называют их. *Я* или *тот* на кого-то или что-то указывают, но вместе с тем остаются неизвестными имена лиц или предметов, к которым относятся упомянутые местоимения. Тем самым местоимения приобретают отвлеченный характер.

В науке представление о местоимениях как о совершенно особой части речи образовалось в значительной степени оттого, что местоимения объединяют в один класс грамматические признаки, которые в отдельности свойственны самым разнообразным частям речи. Личные местоимения употребляются параллельно с именами существительными (например, *я — человек*), притяжательные — с прилагательными (например, *мой — хороший*), а количественные — с числительными (например, *сколько — пять*). В разных языках имеются местоименные числительные, местоименные наречия и т.д. В результате в категории местоимений, как в фокусе, пересекаются и проявляются свойства разных частей речи.

¹ О существительных и прилагательных см.: *Шахматов А.А.* Синтаксис русского языка. М., 1941. С. 435–460, 490–494; *Пешковский А.М.* Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956. С. 85–119; *Виноградов В.В.* Русский язык. М., 1947. С. 48–57, 182–202. В историческом (диахронном) освещении применительно к разным индоевропейским языкам см.: *Бенвенист Э.* Индоевропейское именное словообразование. М., 1955 (особенно с. 178–204); см. также: *Кацнельсон С.Д.* Историко-грамматические исследования. М.; Л., 1949. С. 141–261 (глава о происхождении прилагательных); *Толстой Н.И.* Значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке // Вопросы славянского языкознания. Вып. 2. 1957. С. 43–122; *Грунин Т.И.* Имя прилагательное в тюркских языках // ВЯ. 1955. № 4. С. 55–64; *Яковлев Н.Ф.* Грамматика литературного кабардино-черкесского языка. М.; Л., 1948. С. 111–117; *Brunot F.* La pensée et la langue. Paris, 1936. P. 135–169.

Наряду с традиционными местоименными разрядами — местоимениями личными, возвратными, притяжательными, указательными, вопросительными, неопределенными и другими — некоторые лингвисты обнаруживают в русском языке такие местоимения, как обобщительные (*всякий, любой*), совокупные (*весь, целый*), выделительные (*сам, иной, другой*), вопросительно-относительные (*кто, что, который, чей*), отрицательные (*никто, ничто, некого, нечего*).

Пестрота смысловых групп в системе местоимений, значительная уже в пределах одного языка, увеличивается по мере привлечения материала других языков. Во французском языке иногда выделяют особую группу местоимений-детерминативов (определителей), объединяющую целый ряд «обычных» местоименных разрядов (притяжательных, указательных и др.); *mes livres et mes cahiers* — «мои книги и тетради». В английском — группу взаимных местоимений: *each other* — «друг друга»; в румынском — группу местоимений, передающих идентичность: *acelasi* — «тот же самый» и т.д.

Каждая из традиционных местоименных групп в свою очередь может иметь внутренние членения. Так, в системе указательных местоимений уже античные грамматисты различали собственно указательные, т.е. такие, которые как бы предвещают предмет или понятие, еще не названное («*этот* будет большим...»), и указательно-анафорические, т.е. такие, которые обращены «назад», подчеркивая и повторяя то, что было ранее уже упомянуто («предмет *тот*, который лежит перед вами»)¹.

Таким образом, местоимения, указывая (но не называя) на различные лица, предметы и их самые разнообразные признаки, оказываются связанными со многими частями речи, прежде всего с существительными, прилагательными, числительными.

В местоимениях широко развита «заменяющая» функция: личные местоимения могут выступать вместо существительных (*он* — друг — недруг — родственник и т.д.), притяжательные и указательные — вместо прилагательных (*моя* книга — *та* книга — *хорошая* книга), количественные местоимения — вместо числительных. Эта «заменяющая» функция местоимений еще сильнее развита в языках аналитических, в частности во французском и английском. Так, английское местоимение *it* (по происхождению оно является местоимением 3-го лица единственного числа среднего рода) может указывать на все, что не

¹ *Wackernagel J. Vorlesungen über Syntax. II. Basel, 1928. S. 84.*

обозначает понятия лица, его «указательные» и «заменяющие» функции очень широки¹.

Отмеченные особенности местоимений обуславливают их грамматическую специфику: они приобретают очень большое значение как средство связи между разными частями речи. Поэтому синтаксическая роль местоимений в языках очень существенна.

Своеобразие местоимений обнаруживается также и в том, что многие традиционные грамматические категории приобретают особое значение в системе местоимений. Местоимения *мы* и *вы*, например, нельзя рассматривать как множественное число от *я* и *ты*, так как они указывают не на многих *я* и *ты*, а «на лицо говорящего совместно с другим лицом или лицами (*мы*) или на лицо собеседника совместно с другим лицом или лицами (*вы*)»². Соотношение между *я* и *мы* оказывается иным, чем, например, соотношение между *стол* и *стола*. Категория числа в местоимениях приобретает несколько иное значение, чем эта же категория в системе существительных. Следовательно, как ни велики связи местоимения с другими частями речи, само оно (как и его грамматические категории) сохраняет своеобразие.

Хотя с первого взгляда местоимения кажутся «неподвижными», они, подобно другим частям речи, сформировались в процессе исторического развития языка и мышления.

В некоторых древних индоевропейских языках, например в латинском, общеславянском и армянском, мы застаем еще трехчленную систему указательных местоимений. Латинское *hic* — «этот» указывает на предмет в связи с 1-м лицом, *iste* — «тот» — в связи со 2-м лицом, *ille* — «тот» — в связи с собеседником вообще. Вместе с тем эти три указательные местоимения обозначали разную степень отдаленности предмета. Сходная картина в общеславянском — *сь* — «этот, ближайший», *тѣ* — «тот, поблизости», *онѣ* — «тот, отдаленный»³. Впоследствии подобная

¹ «Заменяющую» функцию местоимений следует понимать правильно. Местоимения «заменяют» реальные предметы и понятия, без которых сами были бы невозможны. Поэтому никак нельзя согласиться с американским лингвистом Блумфилдом и его последователями, которые утверждают, что всевозможные субституты (заменители) в языке возникают вследствие того, что «подлинная природа вещей» будто бы остается человеку недоступной. См. главу «Substitution» в кн.: Bloomfield L. Language. N.Y., 1933. P. 247–263. По отношению к мышлению теорию субститутутов развивал еще в XIX столетии Тэн (Taine H.-A. De l'intelligence. 4 éd. Vol. I. Paris, 1883. P. 22–66).

² Грамматика русского языка. Т. I. С. 388.

³ Lindsay W. Die lateinische Sprache. Leipzig, 1897. S. 492.

трехчленная система некоторых древних индоевропейских языков была вытеснена системой двучленной «указательности»: русское *тот* — *этот* (корень один), французское *celui-ci* — «этот» и *celui-là* — «тот», немецкое *dieser* — «этот» и *jener* — «тот» (разные корни).

Одно звено в трехчленной системе оказалось лишним, подобно тому как одно звено оказалось лишним и в системе чисел (двойственное число).

Развивающееся мышление человека впоследствии связало двойственное число с числом множественным (абстрактное мышление перестало нуждаться в конкретной множественности двойственного числа). Подобно этому, крепнущее мышление перестало нуждаться в конкретной «указательности», различающей разную степень удаленности предмета от говорящего лица. Двучленное противопоставление типа *тот* — *этот* поглотило и растворило в себе трехчленное противопоставление, основанное на большей дробности конкретных пространственных отрезков. Процесс подобного вытеснения трехчленной указательности двучленным противопоставлением, как и процесс вытеснения трехчленных градаций внутри категории числа, был обусловлен развитием отвлеченного мышления — явлением, нашедшим свое выражение и в грамматике.

Разрушение и вытеснение трехчленной указательности вместе с тем нарушило соответствие между трехчленными системами указательных и личных местоимений (*я* — *ты* — *он*)¹. Однако трехчленность личных местоимений оказалась гораздо более глубоко обоснованной, чем трехчленность указательных: разграничение понятий *тот* — «поблизости» и *тот* — «более отдаленный» сделалось ненужным. Поэтому, если трехчленность местоимений личных сохранилась в современных языках, то трехчленность указательных местоимений разрушилась. Симметричность грамматических рядов была принесена в жертву требованиям мышления.

История разрушения и вытеснения трехчленной системы указательных местоимений в индоевропейских языках дает возможность проследить становление современной системы местоимений в связи с развитием мышления.

Абстрактное понятие лица вырабатывается отнюдь не сразу. Поэтому, в частности, в системе местоимений так широко представлены супплетивные образования (формы от разных основ). Обратим внимание на следующую таблицу:

¹ См.: Якубинский Л.П. История древнерусского языка. М., 1953. С. 191.

Падеж	Русский яз.	Латинский яз.	Французский яз.	Немецкий яз.	Английский яз.
	<i>Единственное число</i>				
Именительный	<i>я</i>	<i>ego</i>	<i>je</i>	<i>ich</i>	<i>I</i>
Родительный	<i>меня</i>	<i>mei</i>	<i>me</i>	<i>mich</i>	<i>me</i>
<i>Множественное число</i>					
Именительный	<i>мы</i>	<i>nos</i>	<i>nous</i>	<i>wir</i>	<i>we</i>

Таблица эта показывает, что в личных местоимениях всех перечисленных языков, количество которых можно было бы легко увеличить, категория падежа и категория числа передаются при помощи полной «замены» основ: *я — меня* (категория падежа), *я — мы* (категория числа, с оговоркой, сделанной раньше). Между тем в системе имен существительных и прилагательных такого рода «замены» были скорее исключением, чем правилом. В парадигме *стол — стола, стол — столы* категории падежа и числа передаются только окончаниями, тогда как существительные типа *человек — люди*, передающие категорию числа супплетивно (заменой основ), составляют в таких языках, как русский, сравнительно небольшую группу имен.

Возможно предположить, что известная пестрота форм в системе личных местоимений свидетельствует, что целостное понятие лица выработалось сравнительно поздно. Разрозненность форм как бы сигнализирует о былой разрозненности самой категории лица. Впрочем, подобное предположение остается только гипотезой¹.

Вместе с тем не случайно, конечно, что многие местоимения современных языков исторически связаны с наглядными и вещественными обозначениями.

В древнерусском языке, как и во многих романских и германских языках, такие существительные, как *человек, голова, тело, душа* и другие, наряду со своим основным значением выполняли также функцию своеобразных местоимений. *Моя голова* или *мое тело* часто означало «я». В этой же связи интересно отметить, что личные местоимения во многих языках возникают из указательных, как более наглядных и менее отвлеченных. Пути развития личных местоимений из указательных и

¹ Существенно, что в истории многих индоевропейских языков супплетивность основ у личных местоимений постепенно упрощается (см.: *Воробьев-Десятковский В.С.* Развитие личных местоимений в индоарийских языках. М.; Л., 1956. С. 148).

притяжательных могут быть прослежены на материале различных языков. Так, в нанайском языке: *орон* — «олень», *оронби* — «олень мой», *оронси* — «олень твой», *оронсу* — «олень ваш»; вместе с тем *би* — это «я», *си* — «ты», *су* — «вы».

Употребление местоимений в каждом языке определяется своеобразием его грамматического строя. Во французском языке, например, в котором личные формы глагола часто не имеют особых окончаний (ср. *je chante* — «я пою» и *il chante* — «он поет»), употребление личных местоимений перед глаголом становится обязательным (*je* — «я», *tu* — «ты», *il* — «он»), тогда как в большинстве славянских языков, в частности в русском, в котором окончания глагола показывают, о каком лице идет речь (*пою, поешь, поет*), личные местоимения не обязательно должны сопровождать глагольные формы¹. По-русски можно сказать и *пою* и *я пою* (различие это не грамматическое, а стилистическое), тогда как по-французски употребляют только форму с местоимением (*je chante*). Произнесенная без личного местоимения, эта форма приобретает совсем другое значение — императивное (*пой!*).

Таким образом, большая или меньшая подвижность личных местоимений и характер их употребления в словосочетании или предложении зависят от грамматического строя соответствующего языка в целом.

Системный характер грамматики обнаруживается в том, что одна ее особенность «цепляется» за другую, вернее, одна особенность порождает другую, образуя цепь, отдельные звенья которой не просто нанизываются друг на друга, но не могут существовать друг без друга. Стоило только французским личным местоимениям постепенно сделаться обязательными спутниками личных форм глагола (в старом языке картина была иной), как параллельно с этим процессом оформился и другой

¹ Вопрос о происхождении окончаний личных форм глагола в древних индоевропейских языках очень сложен. Старая теория Ф. Боппа, согласно которой глагольные окончания представляют собой не что иное, как примкнувшие к глаголу местоимения, вызвала впоследствии возражения. Впрочем, в отдельных индоевропейских языках, например в греческом, можно проследить, как к глагольным основам присоединялись различные окончания, выражающие категорию лица: *я, ты, он, вы двое, они двое, мы, вы, они* (см.: Шантрен П. Историческая морфология греческого языка / Рус. пер. М., 1953. С. 243). Историю вопроса см.: Дельбрюк Б. Введение в изучение языка / Рус. пер. // Булич С.К. Очерк истории языкознания в России. СПб., 1904. С. 78–117; Погудин А.Л. Следы корней-основ в славянских языках. Варшава, 1903 (глава «Агглютинация»); Poldauf J. Indo-European Personal Endings // Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft. Bd 9. Heft 2. Berlin, 1956. S. 156–168.

грамматический процесс, приведший к образованию особых самостоятельных форм личных местоимений (употребляемых без глагола). Ср. *moi* — «я» (самостоятельная форма местоимения), но *je chante* — «я пою» (*je* — несамостоятельная форма местоимения). Поэтому известный анекдот о некоем человеке, который, плохо владея французским языком, на вопрос «кто говорит по-французски?» ответил *je* — «я», т.е. совершил грубую ошибку (вместо самостоятельной формы *moi* употребил несамостоятельную *je*), хорошо показывает, как «мстит» язык, если говорящий не считается с его грамматическими особенностями.

Итак, одно своеобразие в системе личных местоимений (необходимость сопровождать личные формы глагола) порождает другое своеобразие в той же системе: развитие самостоятельных форм личных местоимений наряду с формами несамостоятельными.

Следовательно, как ни похожи местоимения одного языка на местоимения языка другого, между ними сохраняются и постоянные различия. Последние проявляются не только в морфологии, но и в синтаксисе, в своеобразии функционирования местоимений в языке.

Будучи тесно связанными с разными частями речи, местоимения постоянно вовлекают в свою сферу те или иные части речи. Явление это — переход разных частей речи в местоимения — называется *прономинализацией* (латинское *pronomen* — «местоимение»).

«А дело уж идет к рассвету» (*Грибоедов*. Горе от ума, IV, 9); «*Ваш брат*, дворянин, дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может» (*Тургенев*. Отцы и дети, XXVI) — в подобных примерах существительное *дело* и сочетание притяжательного местоимения с существительным (*ваш брат*) ослабляются в своих исходных значениях и приближаются к неопределенным местоимениям: *дело* — «положение вещей», «состояние», «нечто, то, что переживается». *Ваш брат* = «все вы, дворяне». Ср. прономинализацию в выражении «люди говорят», т.е. *кто-то* говорит. В настоящее время широко прономинализуется выражение *в деле* («в деле пропаганды технических знаний», «в деле разведения культурных злаков», «в деле изучения иностранных языков» — из газет), с которым надо бороться. Подобное выражение по существу ничего не передает, приводит к распространению языковых штампов, а поэтому и уродует язык¹.

¹ «В деле изучения иностранных языков» означает совершенно то же, что и «в изучении иностранных языков». Критику других уродливых словесных штампов см. в словаре-справочнике: Правильность русской речи. М., 1962; 2-е изд. М., 1965.

Следует различать, таким образом, прономинализацию, закрепившуюся в языке (ср. немецкие и французские безличные обороты типа *man sagt* и *on dit* — «говорят», в которых *man* и *on* исторически возникли из имен существительных — *Mann*, *Homo* — «человек», и прономинализацию, происходящую на наших глазах. В этом последнем случае она может быть желательной или нежелательной, в зависимости от того, создает ли она необходимое для языка новое выражение или не создает. С ненужными словами и словосочетаниями, которые ничего не выражают и не уточняют, следует вести борьбу.

Местоимения могут не только вовлекать в свою орбиту другие части речи. Постоянное движение наблюдается и внутри разных разрядов местоимений.

В выражении «*который час?*» местоимение *который* имеет чисто вопросительный характер. «Не знаешь ли, *который час?*» — здесь в слове *который* начинает развиваться относительное значение. «Я не помню, в *котором* часу ты был у меня» — дальнейшее устранение вопросительности и усиление относительности. «Час, *который* я провел с вами, запомнится надолго» — в подобном предложении *который* приобретает чисто относительное значение (от былого вопроса не сохраняется и следа)¹.

Итак, функции местоимений многообразны и существенны. Непосредственно не называя предметов и понятий, они указывают на них и широко взаимодействуют с другими частями речи.

* * *

В стилистике современного русского литературного языка местоимения могут быть очень подвижны.

В «Евгении Онегине» Пушкина местоимения *мы* — *наш* имеют целый ряд значений. Они могут объединять рассказчика и читателя в единое целое: «Вот *наш* Онегин — сельский житель» (1, LIII — *наш*, т.е. автора и читателя); «Теперь подслушаем украдкой / Героев *наших* разговор» (3, IV). Они могут передавать представление о людях определенной эпохи, определенного класса: «*Мы* все учились понемногу» (1, V). Это же местоимение *мы* может объединять автора и героя, но не включать читателя: «Так уносились *мы* мечтой / К началу жизни молодой» (1, XLVII) и т.д.²

¹ Этот пример приведен у Д.Н. Овсянико-Куликовского в «Синтаксисе русского языка» (2-е изд. М., 1912. С. 287).

² См.: Винокур Г.О. Слово и стих в «Евгении Онегине» // Пушкин. М., 1941. С. 155.

В романе К. Федина «Необыкновенное лето» (гл. 19) в 1919 г. большевик Извеков ведет разговор с писателем Пастуховым, который еще колеблется между революцией и контрреволюцией:

«Что значит — *вы*? Кто это? — спросил Извеков низким голосом. Пастухов немного выждал, затем ответил, тяжело подымая плечи: — Я не имею в виду вас лично. Но раз вами употреблено слово “*мы*”... я говорю вообще...

— Чтобы отделить себя?

— Это воспрещено?

— Это ваше право. Я только хотел знать, ведем ли разговор *мы*, или *мы* и *вы*».

Настойчивое желание Кирилла Извекова перетянуть на сторону революции писателя, внутренне уже сочувствующего ей, заставляет Кирилла употребить местоимение *мы* в расширительном значении; колебания же Пастухова приводят к противопоставлению *мы* и *вы*. Таким образом, различие в мировоззрении собеседников, в частности то, что Извеков уже видит, кто будет на стороне революции и кто окажется ее врагом (чего не понимает Пастухов), обуславливает и различное истолкование семантики местоимения *мы* во всей данной ситуации.

Стилистически иначе может быть использован переход от одного лица к другому в общем замысле писателя. Так, накануне Бородинской битвы, во время которой князь Андрей будет смертельно ранен, он вспоминает Наташу: «*Он* живо вспомнил один вечер в Петербурге. Наташа с оживленным, взволнованным лицом рассказывала *ему*, как она в прошлое лето, ходя за грибами, заблудилась в большом лесу. Она несвязно описывала... Говорила: нет, не могу, я не так рассказываю; нет, *вы* не понимаете, несмотря на то, что князь Андрей успокаивал ее, говоря, что он понимает... Князь Андрей улыбнулся теперь той же радостной улыбкой, какой он улыбался тогда, глядя ей в глаза. Я понимал ее, — думал князь Андрей. — Не только понимал, но эту-то душевную силу, эту искренность... эту-то душу я и любил в ней... так сильно, так счастливо любил... И вдруг он вспомнил о том, чем кончилась его любовь. *Ему* ничего этого не нужно было. *Он* ничего этого не видел и не понимал. *Он* видел в ней хорошенькую и свеженькую девочку... А я?...» (Толстой Л.Н. Война и мир, т. III, ч. 2, гл. XXV). Только последние *ему* — *он* Толстой выделяет курсивом. И все же, несмотря на, казалось бы, причудливые и путаные переходы *он* — *я* — *его* — *ему*, нет не только никакой путаницы и неясности, но, напротив того, все предельно ясно и лаконично. Предшествующее повествование

раскрывает смысл этих переходов. Последние *ему* и *он* относятся к Анатолию Курагину, сопернику князя Андрея. Вместе с тем Толстой столь же выразительно ведет и другую линию — от описания переживаний своего героя к его раздумьям. Таким образом, здесь и переход от 3-го лица («*Он* живо вспомнил...») к 1-му («*я* понимал эту душевную силу...»), вызванный комплексным описанием дум князя Андрея, и новое значение местоимения *он* в конце отрывка, обусловленное воспоминанием самого князя Андрея о другом лице. Формальная пестрота переходов в системе местоимений и временное отсутствие опоры на собственные имена в этом описании вызваны общим стремлением художника к максимальной выразительности и краткости в передаче сложных раздумий князя Андрея. Своеобразие построения определено своеобразием замысла. Вместе с тем писатель уверенно ведет читателя по определенному руслу, опираясь на широкий контекст предшествующих событий.

Стилистическая подвижность личных местоимений проявляется в разнообразных явлениях. Обычно думают о себе в 1-м лице, но это не помешало Юлию Цезарю написать «Записки о галльской войне», в которых автор всегда сообщает о себе в 3-м лице: «*Он* послал подкрепления», «*Цезарь* решил принять сражение».

В романе Анатоля Франса «Преступление Сильвестра Бонара» старик Бонар часто размышляет о себе во 2-м лице: «Ну, старикашка Бонар, что *ты* на это скажешь?» Привычку своего героя, подпоручика Ромашова, думать о себе в 3-м лице в определенных ситуациях отметил А. Куприн в повести «Поединок»: «И все-таки Ромашов в эту секунду успел по своей привычке подумать о себе картинно в третьем лице: “И он рассмеялся горьким, презрительным смехом”» (гл. 3). Таким образом, передвижение категории лица всегда приводит к определенному *стилистическому эффекту*: к своеобразной «объективизации» событий у Цезаря, к старческому добродушному умилению над своими поступками у героя А. Франса, к показной театральности жеста у доброго купринского Ромашова¹.

В некоторых случаях стилистическое своеобразие употребления местоимений обуславливается особенностями языка определенной эпохи. Если в каком-нибудь современном рассказе мы прочитаем «Иван Иванович подошел к зайцу. Он был очень весел», то у нас возникает законный вопрос: «Кто был весел — заяц?» Иначе складывались отношения между существительными

¹ Различие в обращении к другому лицу на *ты* или на *вы* имеет не только лингвистическое, но и этическое значение, о котором см.: Канторович В. Ты и Вы (этические заметки) // Наш современник. 1959. № 1. С. 206–217.

ми и местоимениями во многих древних индоевропейских языках. Местоимения с большей легкостью могли «отрываться» от существительных, чем в современных языках. Поэтому у Гомера в «Илиаде» и «Одиссее» часто встречаются конструкции с «оторванными» от имен местоимениями.

Вот, например, в русском переводе в двадцать первой песне «Илиады» (строки 64–74), в которой описывается встреча Ахиллеса с Пелидом. Ахиллес произносит речь, после чего Гомер сообщает:

Так размышлял он и ждал. А *тот* приближался в смятенье,
Чтобы с мольбою колени обнять Ахиллеса. Всем сердцем
Смерти злой избежать он стремился и сумрачной Керы...
Тот же к нему подбежал и, нагнувшись, схватил за колени.
Медная пика над самой спиной пронеслась и вонзилась
В землю, желаньем пылая насытиться плотью людскою.
Тот же одною рукой с мольбой обнимал его ноги,
Острую пику другой ухватил и держал, не пуская¹.

С позиции современного языка такое многократное повторение указательного местоимения *тот* кажется двусмысленным (кто *тот*?). Между тем во многих древних языках подобное повторение не только указательных, но и личных местоимений было вполне обычным. Оно обуславливалось, по-видимому, тем, что произведения, подобные «Илиаде», рассчитывались не столько на читателя, сколько на слушателя. А слушатель представлял себе героев, о которых шла речь, как бы видел их перед собой. Поэтому автору не надо было каждый раз напоминать читателю о том, к кому относятся все многочисленные *он, она, тот, та* и т.д.

Местоимения опираются на широкий контекст не только в грамматической, но и в стилистической системе языка².

¹ Илиада / Пер. В. Вересаева. М.; Л., 1949. С. 447. Исследователями отмечались и явления противоположного характера (повторение существительных вместо ожидаемых по современным нормам местоимений) в некоторых старых европейских языках.

² О местоимениях см.: Овсянко-Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка. 2-е изд. М., 1912. С. 183–185, 288–295; Воробьев-Десятовский В.С. Развитие личных местоимений в индоарийских языках. М.; Л., 1956 (особенно с. 3–17); Кацнельсон С.Д. К генезису номинативного предложения. М.; Л., 1936. С. 11–21; Мигирин В.Н. О некоторых случаях образования местоимений и местоименных выражений // Изв. Крымского пединститута. Т. XIV. Симферополь, 1949 (разделы 1 и 2); Фельдман Н.И. Японский язык. М., 1960. С. 39–40 («Для 1-го лица, — пишет автор, — история японского языка насчитывает 17, для 2-го — 30 с лишним местоимений»); Blok H. Localism and Deixis in Bantu Linguistics // Lingua. 1956. N 2. P. 382–419.

9. Глагол и его грамматические категории (времени, вида и наклонения)

Наряду с именем существительным глагол — одна из главных частей речи. И это естественно, так как вместе с предметностью в широком смысле действие и состояние являются теми понятиями, которые наиболее часто передаются в языке. Уже античные философы особо выделяли имя и глагол, считая, что другие «части словесного выражения» находятся в той или иной зависимости от первых двух¹.

Глагол — это часть речи, называющая действия (*работать, строить, рисовать*) или представляющая разнообразные процессы в виде действия — состояние, проявление признака, изменение признака, отношение к кому-нибудь или чему-нибудь (*надеяться, беспокоиться, ворчать, любить, краснеть, дремать, стоять, расти, уважать*)². В этом плане утверждают, что действие в широком смысле является характерной особенностью глаголов, подобно тому как предметность в столь же широком понимании — характерная особенность существительных (хотя последние обозначают не только собственно предметы, но и понятия). Тот или иной важнейший признак определенной части речи подчиняет себе другие возможные признаки этой же части речи. Менее существенные признаки оказываются в зависимости от *центрального признака*, определяющего существо каждой части речи. Если бы в действительности не было так и каждая часть речи характеризовалась суммой одинаковых признаков (без выделения центрального признака), то говорящим на многих современных языках было бы затруднительно быстро отделять одну часть речи от других. Между тем, хотя части речи теоретически часто соприкасаются и переплетаются, в большинстве современных индоевропейских языков (как и в ряде других) они практически все же достаточно ясно различаются. И это понятно, если не забывать о том взаимодействии между частями речи и логическими категориями, о котором речь шла раньше.

Глагол имеет разнообразные грамматические категории, число которых в разных языках бывает различным. Вместе с тем сами эти категории могут выражаться своеобразно.

¹ См.: *Аристотель*. Категории / Пер. А. Кубицкого. М., 1939 (главы I и 2).

² Определение глагола заимствовано (с небольшими изменениями) из «Грамматики русского языка» (Ч. I. М., 1960. С. 407).

Понятие *сказуемого* (*предиката*) значительно шире понятия глагола. Предикативность («сказуемость») может быть выражена разными частями речи, например именем существительным, ср.: *он офицер*, но: *он был офицер*. Несмотря на то что предикативность передается по-разному, все же глагол является главным средством ее выражения, особенно в языках индоевропейских. Иными словами, предикативность является первичной функцией именно глагола в предложении, тогда как в других частях речи она выступает как подсобное средство, как их вторичная функция.

Следовательно, подобно тому как каждая часть речи характеризуется центральным признаком (наряду с другими, подчиненными признаками) в морфологической системе языка, так в синтаксической системе каждая часть речи приобретает свою главную функцию. *Предикативность — главная (первичная) функция глагола*.

Как ни кажется сейчас глубоким различие между существительным и глаголом, исторически оно оформилось не сразу.

Хотя в истории русского языка глагол и имя отчетливо разделены уже в древнейших памятниках, однако, как предполагал Потебня, причастие в древнерусском языке в известной степени еще сохраняло некоторые следы былой близости между именем и глаголом, которая была характерной для еще более древней эпохи языкового развития. Чтобы понять, в чем тут дело, укажем, что и в современном русском языке причастие может выполнять различную функцию. Так, в предложении «Петров ощутил чувство радости, *волновавшее* его в Москве» причастие *волновавшее* носит явно предикативный (глагольный) характер, тогда как в предложении «Петров ощутил *волновавшее* его еще в Москве чувство радости» то же причастие приобретает атрибутивный характер, выступает как своеобразное определение к «чувству радости». Но если в современном языке причастие может функционировать и в том и в другом значении в зависимости от синтаксического построения и смысла высказывания, то в древнерусском причастие имело по преимуществу предикативный характер, употреблялось как своеобразное имя-предикат.

Вместо древнерусского «*есть церкви стоящи*» (*стоящи* — причастие) современное «*церковь стоит*», вместо «*сѣде княжа*» (*княжа* — причастие) — «*сел княжить*», вместо «*въставѣ рече*» (*въставѣ* — причастие) — «*вставши* сказал». Если же принять во внимание, что в древнерусском языке личная форма глагола была в подобных случаях не всегда обязательна, то станет ясным,

что в древнем языке причастие имело бóльшую предикативную силу, чем теперь¹.

Наличие в языке особой категории причастия, которое в предложении может выполнять функцию имени-определения и функцию предиката и которое в древнем языке было, по-видимому, более предикативно, чем в современном, опосредствованно свидетельствует о пережитках той эпохи в развитии языка, когда глагол еще недостаточно отделялся от имени, когда имя в предложении широко использовалось в предикативной функции.

За пределами индоевропейских языков, например в некоторых палеоазиатских языках, имя может еще ближе стоять к глаголу. В чукотском языке при помощи специального показателя *-лѵ-* образуется особая категория имен с причастным значением. Эти имена имеют предикативное оформление и получают показатели лица. Например:

эвирѵ-ы-лѵ-и-гым — букв. «одежный я», т.е. «я имею одежду»;
эвирѵ-ы-лѵ-и-гыт — букв. «одежный ты», т.е. «ты имеешь одежду»;
эвирѵ-ы-лѵ-ын — букв. «одежный он», т.е. «он имеет одежду», и т.д.

Вместе с тем эти же имена могут употребляться атрибутивно (в определительном значении), и тогда они склоняются.

Абсолютный падеж: *эвирѵ-ы-лѵ-ы-н* — «одежный», т.е. «имеющий одежду».

Отправительный падеж: *аверѵ-ы-лѵ-ены* — «от одежного», т.е. «от имеющего одежду».

Дательно-направительный падеж: *аверѵ-ы-лѵ-еты* — «к одежному», т.е. «к имеющему одежду», и т.д.²

Таким образом, в зависимости от контекста, в зависимости от того, что хочет сказать говорящий, имя выступает то в атрибутивном, то в предикативном оформлении. Следовательно, различие между именем и глаголом устанавливается в чукотском языке в самом контексте, в процессе высказывания. Имя оказывается настолько многогранным, что легко может быть использовано и в собственно именном и в глагольно-предикативном значении³.

¹ См. подробное развитие этих положений Потебни в яркой статье Д.Н. Овсяннико-Куликовского «Потебня как языковед-мыслитель» (Киевская старина. 1893. Т. XLII. С. 280–287).

² См.: *Богораз В.Г.* Чукотский язык // Языки и письменность народов Севера. Ч. 3. М., 1934. С. 23; *Скорик П.Я.* Очерки по синтаксису чукотского языка. Л., 1948. С. 24.

³ Для других языков см. сборник ст.: Эргативная конструкция предложения / Рус. пер. М., 1950 (в особенности работы Уленбека о языках индейцев Северной Америки, Дирра — об иберо-кавказских языках, Sommerfeldta — специально о грузинском).

Как бы ни были многочисленны точки соприкосновения имени и глагола в прошлой истории многих языков, как и в некоторых современных языках, несомненно, однако, что в процессе развития языков растет и углубляется дифференциация между именем и глаголом. Эта дифференциация приводит к тому, что существительные и глаголы со временем превращаются не только в главные, но в известной степени и полярные части речи.

Обособившись от имени, глагол действительно стремится занять самостоятельное положение в предложении. И это вполне понятно, ибо наряду с именем (подлежащим) глагол (сказуемое) цементирует предложение, способствует выражению главной идеи высказывания. В этой связи становится понятным и другое — то, почему глагол по отношению к имени более независим в предложении, чем, например, прилагательное по отношению к существительному. Прилагательное, передавая идею качества или отношения, немислимо без самого имени, к которому относится это качество или отношение. Поэтому и грамматически прилагательное оказывается в зависимости от существительного, что особенно отчетливо выражается в языках, в которых прилагательное так или иначе согласуется с существительным. Напротив того, глагол, передавая в известной степени самостоятельное понятие и образуя подчас и без помощи имени законченное предложение (ср., например, предложения типа *Иду. Думаю*), оказывается и в грамматическом плане менее зависимым от имени, чем, например, прилагательное.

Вот почему и в грамматическом отношении глагол-предикат способен в известной мере «отрываться» от имени-субъекта, чего обычно не бывает с менее самостоятельными членами предложения. Так, у Л. Толстого в «Войне и мире»: «Первое *лицо*, которое он увидел у Ростовых, *была* Наташа» (III, 1, XX). Здесь *была* не согласовано с *лицо*, ибо *была Наташа* образует в известной степени самостоятельный, второй центр предложения. Или: «Еще она была весела потому, что был человек, который ею восхищался (*восхищение* других *была* та мазь колес, которая была необходима для того, чтоб ее машина совершенно свободно двигалась)» (III, 3, XII). И в этом предложении *была мазь колес* как бы «отрывается» от *восхищения* и образует второй центр предложения.

Изучая проблемы глагола, исследователи много раз ставили вопрос о том, в каком направлении развиваются языки: в сторону ли имени или в сторону глагола? Потевня, например, считал, что славянские и (шире) индоевропейские языки, если их рассматривать от древнейших времен по направлению к

современности, движутся в сторону глагола («усиление глагольности»)¹. Другие лингвисты утверждали иногда прямо противоположное. Так, шведский языковед А. Ломбард считает, что развитие новых индоевропейских языков определяется ростом именных (номинативных) конструкций, которые представляются исследователю более «удобными и краткими» (например, предложения типа «Продажа минеральных вод»; «Все на спортивные состязания!» и т.д.)².

По существу невозможно доказать ни первое, ни второе положение. «Дифирамб глаголу» (выражение А.А. Шахматова) так же несостоятелен, как и «дифирамб имени». Развитие языка приводит к тому, что именные конструкции успешно *существуют* с конструкциями глагольными. И те и другие оказываются по-своему совершенно необходимыми. Ошибка исследователей заключалась, на наш взгляд, в том, что, подчеркивая значение именных конструкций, они бессознательно для себя отвлекались от конструкций глагольных, а при защите противоположного тезиса забвению предавались конструкции именные.

В действительности и те и другие конструкции служат языку и мышлению, причем каждый из этих типов имеет в языке свою сферу распространения. Именные конструкции могут преобладать, например, в разговорной речи или в своеобразном «стиле» вывесок и плакатов, тогда как глагольные построения господствуют в более «развернутом», письменном изложении.

Сущность разногласий в этом вопросе имеет и более глубокие основания. Дело в том, что язык и мышление не развиваются ни от субстанции к действию и «энергии», как это получается у защитников глагольности, ни от действия и «энергии» к субстанции, как то предполагают сторонники имени. Действие не может существовать без субстанции, как и сама субстанция немыслима в статике. *Необходимо выйти за пределы этого круга, чтобы разобраться в проблеме.* Для развития языка и мышления субстанция и «энергия» всегда необходимы, как бы ни понимать эти сложные термины. Поэтому постановка вопроса «или — или» оказывается в этом случае неправомерной.

Факты подтверждают, что в разнообразных языках развиваются как именные, так и глагольные конструкции. О современ-

¹ См.: *Потебня А.А.* Из записок по русской грамматике. Харьков, 1888. С. 534.

² *Lombard A.* Les constructions nominales dans le français moderne. Uppsala et Stockholm, 1930. Хотя с основным выводом Ломбарда нельзя согласиться, но тонкий анализ и обширный материал, содержащиеся в этой книге, представляют большой интерес.

ном русском языке исследователь замечает: «Бросается в глаза не только глубокое взаимодействие между категориями имени и глагола, но и широкое развитие отыменных форм в самой системе русского глагола... Именные основы все шире и шире вливаются в область глагола и производят в ней резкие изменения. Их влияние отчасти сказалось на вытеснении и резком сокращении форм так называемого многократного вида... Причастия настоящего времени действительного залога и страдательные причастия все более и более освобождаются от элементов глагольности и развивают качественные значения (ср. *растерянный вид, убитая физиономия, недостижимая величина* и т.п.). Страдательные формы спряжения, сложившиеся на основе нечленных причастий (*накрыт, был накрыт, будет сказано*), все сильнее вовлекаются в категорию состояния и теряют залоговый оттенок пассивности... Ясно, что борьба разных грамматических классов в современном русском языке вовсе не отражает абсолютного перевеса глагола»¹.

Трудно представить себе своеобразие глагола как важнейшей части речи, если не рассмотреть, хотя бы кратко, его грамматических категорий. Глаголу обычно присущи разнообразные грамматические категории: времени, вида, наклонения, лица, залога и некоторые другие. В глаголе, как и в других частях речи, различают грамматические категории, которые характерны или исключительно, или главным образом для данной части речи, и категории, которые встречаются одновременно в разных частях речи. Категория числа, например, не специфична для глагола (она проходит и через имена), тогда как, например, время и вид — это глагольные категории по преимуществу, во всяком случае в языках индоевропейских. Рассмотрим их соотносительно.

* * *

Грамматическая *категория времени* обычно представляется как наиболее типичная категория глагола. Недаром в некоторых языках глагол так и называется *временным словом* (например, в немецком *Zeitwort* — «глагол», букв. «время-слово», «временное слово»). Действительно, грамматическая категория времени присуща прежде всего глаголу. Оговорка «прежде всего» означает, что в некоторых языках категория времени может быть свойственна не только глаголу, но и имени, что объясняется

¹ Виноградов В.В. Русский язык. М., 1947. С. 424.

возможностью образовывать глагол и от имени¹. Но чем больше обособляется глагол от имени, тем в большей степени и категория времени становится по преимуществу глагольной.

Категория времени в глаголе образовалась не сразу, и до сих пор она свойственна не всем языкам. «Первоначально аккадскому глаголу, — пишет один из специалистов, — была чужда категория времени, как и глаголам других семитских языков. Вместо деления на прошедшее, настоящее и будущее, время различалось лишь по признаку, завершено ли действие к моменту сообщения (повествования) или не завершено»². Глагол современного арабского языка располагает многочисленными так называемыми породами (числом до пятнадцати), которые передают различные «видоизменения действия или состояния по количеству, качеству, направлению»³.

В индоевропейских языках, в том числе и в русском, грамматическая категория времени показывает, как говорящее лицо определяет временное отношение высказывания к моменту речи. Все то, что происходило до момента речи, относится к прошедшим временам в грамматике, а то, что будет происходить после момента речи, — к будущим, наконец, все совершающееся в момент речи — к настоящему времени в грамматике.

Введение понятия «момент речи» совершенно необходимо для осмысления специфики грамматической категории времени в отличие от категории времени, объективно присущей окружающему нас миру.

Не подлежит сомнению, что между этими категориями имеется глубокая связь (грамматическое время было бы невозможно, если объективная действительность существовала бы не во времени; сознание человека осмысляет действительность, которой органически присущи и пространство и время), но не подлежит сомнению и то, что эти категории отнюдь не образуют тождества. Между тем стоит только отказаться от понятия «момент речи», и грамматическая категория времени окажется отождествленной с объективным (логическим) представлением о времени.

В самом деле, когда кто-то говорит «я *был* вчера в Москве», то он выражает не категорию прошедшего времени вообще, а отношение к «моменту речи» является центральным: *был* (прошедшее) сравнительно с «моментом речи», т.е. с тем временем,

¹ См.: Услар П.К. Абхазский язык. Этнография Кавказа. 1887. С. 17.

² Литин Л.А. Аккадский язык. М., 1960. С. 92.

³ Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского языка. Л., 1928. С. 29.

когда это предложение произносилось или писалось. Между тем для объективного (логического) представления о времени «момент речи» не имеет значения: действительность протекает во времени независимо от нашего отношения к нему.

Сказанное отнюдь не означает, что грамматическая категория времени субъективна. Рассуждать так — значит не учитывать специфики языковых отношений. «Субъекты» в языке — это люди, говорящие на данном языке, пользующиеся языком на основе объективных законов, определяющих его систему и развитие. Люди не могут по своему усмотрению произвольно менять грамматические правила. Поэтому точка зрения говорящего не субъективна, она определяется объективными особенностями языка.

Итак, «момент речи», отнюдь не превращая грамматическую категорию времени в субъективное понятие, вместе с тем устанавливает специфику этой категории в отличие от категории времени в логике, в отличие от времени, присущего объективной действительности¹.

Для грамматической категории времени «момент речи» имеет тем большее значение, чем больше разграничиваются во многих языках *времена абсолютные* и *относительные*. В первых временах отношение к «моменту речи» передается непосредственно, во вторых — опосредствованно, с помощью абсолютной группы времен.

В английском языке, как во французском и немецком, благодаря наличию многих прошедших времен одно из них может выражать действие, совершаемое раньше другого действия, передаваемого другим глаголом. *I had written my exercise before he came.* — «Я написал свое упражнение прежде, чем он пришел». Одно прошедшее (*I had written*) совершается раньше другого прошедшего (*he came*). Следовательно, в некоторых грамматических временах английского языка, как и многих других германских и романских языков, обнаруживается не только отношение к «моменту речи», но и отношение одного глагола к действию, передаваемому другим глаголом. Аналогичная цепь зависимых значений складывается в системе будущих времен. В тех же языках, где не наблюдается подобного разграничения абсолютных и относительных времен, связи между грамматическими временами выражаются другими средствами, в частности так называемым согласованием времен.

¹ Поэтому возражения, которые делались против понятия «момент речи», представляются необоснованными.

Обычно различаются настоящее, прошедшее и будущее грамматическое время. В свою очередь каждое из них может иметь многочисленные подзначения. Говорят, например, о давно прошедшем времени и о прошедшем, которое еще продолжается в настоящем, и о будущем ближайшем и будущем более отдаленном и т.д.

Система времен одного языка обычно не совпадает с системой времен другого языка, хотя наличие самой категории времени сближает разные языки. Немецкое прошедшее время типа *ich liebte* — «я любил» может соответствовать одновременно двум французским прошедшим временам: *f'aimais* — «я любил» (имперфект) и *f'aimai* — «я любил» (перфект), хотя в самом немецком языке имеются разные прошедшие времена. В этом плане сравнение одной и той же грамматической категории в разных языках поучительно: оно дает возможность выявить, как своеобразно складываются системы грамматических отношений в каждом языке. Подобно тому как значения одних и тех же слов в разных языках частично совпадают, а частично расходятся между собой, подобно этому система грамматических значений частично повторяется в аналогичной системе других языков, а частично оказывается достоянием только одного данного языка¹.

* * *

Грамматическая категория времени во многих языках связана с грамматической *категорией вида*, показывающей, как протекает действие во времени.

Вид обнаруживает степень длительности или повторяемости действия, подчеркивает момент возникновения действия, его начало или завершение. Ср., например, «студент *решил* задачу» и «студент *решил* задачу» или такой ряд глаголов, как *запеть*, *пропеть*, *спеть*, *вынашивать*, *прохаживаться*, *закончить*.

Категория вида — одна из древних грамматических категорий глагола, но вместе с тем она известна далеко не во всех

¹ О грамматической категории времени: *Милейковская Г.М.* О соотношении объективного и грамматического времени // ВЯ. 1956. № 5. С. 75–79; *Размусен Л.П.* О глагольных временах и об отношении их к видам в русском, немецком и французском языках // Журнал Министерства народного просвещения. 1891. № 6. С. 348–376; № 7. С. 1–56; № 9. С. 1–40; *Борковский В.И.* Синтаксис древнерусских грам. Львов, 1949. С. 142–216; *Серебренников Б.А.* Категория времени и вида в финно-угорских языках. М., 1960. С. 7–34; *Guillaume G.* Temps et verbe. Paris, 1923; *Weber H.* Das Tempussystem des deutschen und des französischen. Bern, 1954; *Isačenko A.* La structure sémantique des temps en russe // Bulletin de la Société de linguistique de Paris. 1960. N 1. P. 74–87.

языках. В русском, как и в других славянских языках, категория вида древнее категории времени. Временные разграничения впоследствии стали наслаиваться на видовые противопоставления.

Различие между настоящим и будущим временем первоначально заключалось только в видовом значении глагола. Если глагол был совершенного вида, то формы его настоящего времени приобретали значение будущего (например, *скажу* или *скажет*), если же глагол оказывался несовершенного вида, то формы его настоящего времени не расходились по значению с самим временем (например, *говорю* или *говорит*). Тем самым глаголы совершенного вида не употреблялись в настоящем времени, а глаголы несовершенного вида могли иметь лишь будущее описательное (*буду говорить*), но не простое будущее.

По мере разграничения времен древние видовые категории ложатся в основу определенных временных образований. Категория длительного вида, например, оказывается в основе настоящего (*я ношу*) и одного из прошедших времен (*я носил*).

Вместе с тем одно время может содержать в себе различные видовые образования (например, так называемые начинательные глаголы, обозначающие начало действия, как и глаголы длительные, заключаются в основе настоящего времени). Сначала времена наслаивались на виды, а затем новые видовые различия стали расширять и усложнять систему временных разграничений.

В разных языках видовые различия глагола могут передаваться многообразными грамматическими средствами.

В западноевропейских языках, например, если отсутствуют морфологические средства передачи видовых отношений, то последние могут в известной степени выражаться при помощи разнообразных времен. Так, различия между многими прошедшими временами романских языков часто осмысляются в видовом значении. Французский перфект *il tomba* — «он упал» и имперфект *il tombait* — «он падал», т.е. «он неоднократно падал», «имел обыкновение падать», используются иногда для видового различия, для видовой дифференциации процесса протекания действия. И это понятно, поскольку в пределах самого прошедшего времени (как, впрочем, и настоящего и будущего времени) действие может протекать различным образом: *он упал* — действие в прошлом совершилось один раз, *он падал* — действие тоже в прошлом, но совершалось оно не один, а много раз.

Однако как бы ни было важно это использование временных категорий в видовом значении, категория вида как

грамматическая категория существует лишь в тех языках, в которых она имеет морфологическое оформление. Такими языками являются прежде всего славянские. В русском языке категория вида представлена исключительно широко. Обычное подразделение вида на совершенный и несовершенный очень общо и не охватывает всего богатства типов и группировок. Можно говорить о различной степени совершенности действия и о различной степени его несовершенности.

В пределах совершенного вида различают: окончательное (*прочсть, сказать, убраться*), начинательное (*запеть, заговорить*), мгновенное (*мигнуть, вздохнуть*) и ряд других подзначений. В пределах несовершенного вида — длительность первой степени (*нести, вести*), длительность второй степени (*носить, водить*), длительность третьей степени (*почитывать, прохаживаться*). Многообразие оттенков вида легко показать на примерах типа *толкать — толкнуть — вытолкнуть — выталкивать — повыталкивать*.

Категории времени и вида развиваются во взаимодействии. Они, как и все прочие грамматические категории, формируются исторически. Укажем здесь на некоторые эпизоды из их истории.

Понятие *прежде* в своем абстрактном значении возникло сравнительно поздно.

В древнерусском языке *прежде*, подобно *перед*, воспринималось как «передняя часть чего-либо», «то, что находится впереди». *Прошлое* понималось не так, как теперь (нечто предшествующее настоящему), а иначе: то, что впереди. *Передний* — это *прежний, прошлый*. *Прошлый* — это *передний*. «В древней Руси, — пишет исследователь “Слова о полку Игореве” Д.С. Лихачев, — прошлое впереди только потому, что оно начинает собою цепь событий, а настоящее и будущее сзади потому, что они эту цепь замыкают: здесь нет места для представлений о положении самого человека относительно этих “спереди” и “сзади”. Представление о настоящем еще не выкристаллизовалось, не отделилось полностью от представления о будущем»¹. Следующая фраза из «Слова» наряду со многими другими иллюстрирует это положение: «мужаимѣся сами: *переднюю* славу сами похитимъ, а *заднюю* си сами поделимъ», т.е. *прошлую* славу сами похитим, а *последнюю* (которая может еще продолжаться и в настоящем и

¹ Лихачев Д.С. Из наблюдений над лексикой «Слова о полку Игореве» // Изв. АН СССР. Отделение литературы и языка. 1949. № 6. С. 553; см. также: Филли Ф.П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи. Л., 1949. С. 140.

в будущем) сами поделим. Таким образом, и в старом русском языке, как и в новом, обнаруживается взаимодействие категории вида и времени, однако характер этого взаимодействия в различные эпохи различен, ибо различно и само представление о времени действия, о способе его протекания.

Если для языка более древнего была характерна конкретная локализация представления о времени, то понятно, почему временные представления той эпохи оказались в большей зависимости от конкретно-видовых категорий, чем в современном языке. Если в современном русском языке взаимодействие вида и времени происходит на равных началах¹ — абстрактное восприятие времени способствует такому же восприятию вида, как способа протекания не только данного, но и всякого иного действия, — то в старом языке сама категория времени мыслилась локально-пространственно, вид как бы определял и вел за собой категорию времени. Поэтому представление о времени в ту эпоху обычно ассоциировалось с представлением о *начале* и *конце* действия, с представлением о ходе протекания действия.

Таким образом, конкретно-пространственное восприятие категории времени в древней Руси и предопределяло зависимость этой категории от категории вида. Чем больше, однако, исторически формировалось абстрактное представление о времени, тем больше менялось былое соотношение между категориями времени и вида, тем больше менялась и сама категория вида. В результате в современном русском языке установилось взаимодействие и взаимозависимость между этими двумя важнейшими глагольными категориями.

Уже В.Г. Белинский отмечал, что богатство русского глагола видами дает возможность передать тончайшие оттенки мысли. «В самом деле, — писал он, — какое богатство для изображения явлений естественной действительности заключается только в глаголах русских, имеющих виды!»²

Видовые пары глаголов в русском языке обычно возникают путем образования от глаголов несовершенного вида глаголов совершенного вида приставочным добавлением (*лгать* — *солгать*) или от глаголов совершенного вида глаголов несовершенного вида изменением основ: глаголов несовершенного вида от глаголов совершенного вида: *бросить* (совершенный вид) — *бросать*

¹ Это, впрочем, нисколько не умаляет своеобразия каждой из грамматических категорий, в частности того, что вид обычно выражается в основе глагола, а время — во флексии.

² Белинский В.Г. Соч. Т. IV. М., 1900. С. 752.

(несовершенный вид), *лишить* (совершенный) — *лишать* (несовершенный), *ступить* (совершенный) — *ступать* (несовершенный) и т.д. Но, занимаясь изучением этих видовых соответствий, нельзя отрешаться от грамматических связей, существующих внутри каждой видовой пары. Нельзя считать, что подобно тому как *бросить* — *бросать* представляют собой видовую пару, так и грамматически не связанные, но лексически соприкасающиеся *бегать* — *догнать*. *отправиться в путь* и *путешествовать* будто бы тоже составляют видовые соответствия. Думать так — значит смешивать разные средства языка — грамматические и лексические.

Бросить — *бросать* — это грамматическое выражение вида. Различие между подобными глаголами опирается на категорию вида, существующую в грамматической системе русского языка. Различие же между двумя глаголами типа *бегать* — *догнать* не связано с грамматической категорией вида. В этом случае чисто лексическими средствами (двумя разными глаголами) передается длительность действия (*бегать*) или его завершенность (*догнать*)¹.

Разные средства передачи способа протекания действия, выраженного глаголом, могут сосуществовать в языке, но только в

¹ Сложное образование категории вида сопроводим пояснением В.В. Виноградова «Два встречных течения в системе видового соотношения»: «Одно течение, очень сильное, направляется от совершенного вида к несовершенному (*пропитать* — *пропитывать*; *настоять* — *настаивать*)... В этой сфере соотношений совершенный вид обнаруживает себя как основная, производящая грамматическая категория». Но именно здесь наблюдается след давно прошедшего времени «многократного вида» (*пропитывать* — давно и много раз).

Отсюда восприятие этих соотношений как вторичных, выросших на основе первичных противопоставлений видовых значений беспрефиксных глаголов префиксными (*лгать* — *солгать*, *питать* — *пропитать*, *пропитывать*). «Несовершенный вид здесь — нулевая, слабая категория» (*лгать*, *питать*).

«В этом кругу отношений глаголы совершенного вида нередко оказываются осложненными дополнительными реальными значениями, которые идут от приставок (например: *глядеть* — *поглядеть*; *мучить* — *измучить*, *замучить*; *хотеть* — *захотеть*; *обедать* — *отобедать* и другие подобные). Таким образом намечаются две противоположные тенденции: одна — к различению и осложнению лексических значений и оттенков глаголов посредством приставок; другая — к превращению приставок в видовые префиксы, к ослаблению или устранению их реальных значений (например, *делать* — *сделать*; *гримировать* — *загримировать*...). Так возникают наряду с приставками “полными”, имеющими реальное, лексическое значение, “пустые префиксы” с чисто видовым значением». О различении двух типов глагольных приставок писали Г.К. Ульянов, М.Н. Катков, настаивали на различении глагольных приставок в своих грамматиках Востоков и Греч (см.: *Виноградов В.В.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.; Л., 1947. С. 512–514).

тех языках, в которых имеются различные формы глагола, передающие характер протекания действия (типа русского *бросить* — *бросать*), можно говорить о грамматической категории вида. В тех же языках, в которых глагол лишен подобных форм, могут передаваться лишь видовые различия (лексическое понятие), но здесь нет грамматической категории вида.

Своеобразие разных языков в этом отношении очень велико. В английском нет грамматической категории вида, хотя способы передачи видовых различий, которыми располагает этот язык, очень многообразны. Ср., например, разграничение видовой семантики глаголов с помощью сравнительно подвижных пост-позитивных служебных слов, по-разному именуемых в современной англистике: *sit* — «сидеть», *sit down* — «сесть»; *stand* — «стоять», *stand up* — «встать»; *speak* — «говорить», *speak out* — «высказываться» или «выговариваться»; *think* — «думать», *think of* — «придумать» и т.д. Подобная особенность английского глагола, его способность передавать видовые значения (не смешивать с грамматической категорией вида!) особым сочетанием самостоятельного и служебного слов явилась основанием для того, чтобы усмотреть в английском глаголе особый «лексический характер»¹. То, что в одном языке, например в русском, выражается грамматически (категорией вида), в другом языке, например в английском, может передаваться лексически.

Имеется немало различий между грамматической категорией вида и другими способами передачи видовых значений глаголов. Первая обычно имеет очень широкое распространение в языке, тогда как последние чаще всего относятся к отдельным глаголам или отдельным их группам.

Разграничение типа *бросить* — *бросать* проходит *через всю систему* русского глагола, тогда как образования типа *sit* — «сидеть» и *sit down* — «сесть» гораздо более индивидуальны, менее всеобщи в системе английского языка. В этом обнаруживается одно из важных различий между грамматической категорией, обычно получающей очень широкое распространение в данной группе явлений, и разнообразными лексическими значениями, более индивидуальными по своему характеру. Разграничения типа *sit* — *sit down* относятся больше к словарю, тогда как разграничения типа *бросить* — *бросать* — прежде всего к грамматике.

¹ *Kruisinga E. A Handbook of Present-Day English. Groningen, 1931 (vol. I, part II, § 305); Воронцова Г.Н. О лексическом характере глагола в английском языке // Иностранные языки в школе. 1948. № 1. С. 21–30.*

Нельзя ставить вопрос так: что лучше — виды или времена? Поставленный абстрактно, безотносительно к определенному или определенным языкам, вопрос этот оказывается схоластичным.

В грамматической системе отдельного языка получают большее развитие то времена, то виды, то и времена и виды одновременно. Вид как грамматическая категория часто и вовсе отсутствует. В свою очередь времена могут на определенном этапе развития языка еще не успеть наслоиться на видовые разграничения. Только конкретная история определенного языка или группы родственных языков может объяснить преобладание той или иной грамматической категории в системе данных языков.

То, что виды в целом древнее времен, не делает их ни «лучше», ни «хуже» эти последних¹, точно так же как более новое образование времен по сравнению с видами в истории индоевропейских языков еще не обеспечивает никаких преимуществ первым. Древность или сравнительная новизна тех или иных грамматических категорий прямо не соотносятся с такими понятиями, как «менее совершенный» и «более совершенный». Выразительные возможности языка в самом широком смысле и рост этих возможностей определяют наряду с другими причинами движение языка вперед. А в этом отношении и времена и виды могут быть очень существенными в зависимости от того, о какой грамматической системе языка идет речь.

Являясь важными грамматическими категориями глагола, вид и время, подобно другим категориям, поднимаются на известную ступень абстракции. Для выражения будущего времени, например, употребляется не только собственно будущее, но иногда и настоящее («я еду завтра на юг» в смысле «я поеду») и даже прошедшее («*пропала* твоя головушка» в смысле «*пропадет*»). Следовательно, хотя настоящее, прошедшее и будущее достаточно грамматически разграничены, однако возможность «вторжения» одного времени в область другого определяется своеобразными условностями контекста. Грамматическое понятие о времени оказывается шире логического о нем представления, поэтому настоящее время может в известных случаях передавать идею времени вообще, безотносительно к моменту протекания действия («они *работают* отлично», вообще работают, всегда работают отлично).

Грамматически настоящее время способно иногда выражать общую идею времени. В известной степени то же можно ска-

¹ К сожалению, такая неправомерная постановка вопроса еще встречается в некоторых зарубежных исследованиях о виде.

зять и о прошедших и будущих временах. Однако «момент речи» и в этих случаях сохраняет свое значение, так как подобное (безотносительно к моменту речи) употребление времен воспринимается обычно как «особое», иногда как стилистически подчеркнутое, хотя «подчеркнутость» может быть едва заметной. Все же в предложении «они работают отлично» глагол *работают* имеет грамматическую форму настоящего времени. Грамматист не может не считаться с этим фактом, как бы расширительно ни употреблялась эта форма. Отвлеченность грамматической категории вида обнаруживается уже в самом факте очень широкого ее распространения в системе глагола тех языков, в которых она имеется, хотя взаимодействие грамматического и лексического значений в пределах этой категории проявляется еще настойчивее, чем в пределах категории времени. В русском языке есть немало глаголов, семантика которых противится образованию того или иного вида: *очнуться*, например, не может иметь соответствия в пределах грамматической категории вида, так как *очнуться* предполагает однократность или даже мгновенность, но никак не многократность действия. Утверждение о «сплошном» распространении категории вида нуждается в оговорках. Лексика и семантика, взаимодействуя с грамматикой, вместе с тем осложняют ее.

И все же то, что понятия совершенного и несовершенного вида охватывают широкие группы глаголов разнообразного лексического значения, свидетельствует о процессе обобщения грамматической категории вида¹.

* * *

Взаимодействие категорий *вида* и *времени* в современном литературном языке дает возможность писателям передавать

¹ О грамматической категории вида см.: Мучник И.П. О видовых корреляциях в системе спряжения глагола в современном русском языке // ВЯ. 1956. № 6. С. 92–106; Маслов Ю.С. Вопросы происхождения глагольного вида. IV Международный съезд славистов. М., 1958. Иную точку зрения см. в докладе: Мазон А. Вид в славянских языках (принципы и проблемы). IV Международный съезд славистов. М., 1958; Вопросы глагольного вида. М., 1962; Иванова И.П. Вид и время в современном английском языке. Л., 1961. С. 9–28; Реферовская Е.А. О категории вида в языке французского народного эпоса // Уч. зап. ЛГУ. Сер. филологических наук. 1949. Вып. 14. С. 140–159; Гусева Е.К. Система видов в современном корейском языке. М., 1961. С. 100–113; Юшманов Н.В. Строй арабского языка. Л., 1938. С. 31–39; Шифман И.Ш. Финикийский язык, М., 1963. С. 40–47; Rheinhold H. Zum lateinischen Verbalaspekt // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. 1956. N 1. S. 1–44.

тонкие оттенки действия. Так, у Достоевского («Белые ночи». Ночь 1-я): «Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места и летит со всех ног, бежит, догоняя мою незнакомку. Она шла, как ветер, но колыхавшийся господин *настигал*, *настиг*, девушка *вскрикнула* — и... я *благословляю* судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке». Здесь выделенные глаголы удачно передают своеобразную динамичность всей ситуации и взволнованность рассказчика. «*Настигал*, *настиг* — и я *благословляю*» выражают то, как постепенно *настигал* неизвестный девушку и как после того, как он ее *настиг*, наблюдатель стал *благословлять* палку, которая дала ему возможность наказать обидчика. Различные виды, взаимодействуя с различными временами, способствуют передаче этих оттенков.

Иногда видовые оттенки действия могут выражаться при помощи перевода самого действия из одного временного плана в другой. Так, в начале романа Чернышевского «Что делать?» читаем: «Пришло утро; в 8 часов слуга *постучался* к вчерашнему приезжему — приезжий не *подает* голоса; слуга *постучался* сильнее, очень сильно — приезжий все не *откликается*». Действия слуги изображаются в прошедшем времени (*постучался*), ожидаемые ответные поступки приезжего — в настоящем (*не подает*, *не откликается*). Вместе с тем это настоящее от глаголов несовершенного вида (*подавать*, *откликаться*). Тем самым подчеркивается, что на неоднократные постукивания слуги в дверь приезжий столь же упорно не откликался. Таким образом, категория вида и времени тесно связаны и стилистически.

В ряде случаев, казалось бы, неупотребительная форма вида делается нужной и выразительной в условиях широкого контекста, в общем замысле писателя. Так, у И. Бунина («Господин из Сан-Франциско»): «Запоздавшая к обеду старушка, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, *поспешала* из всех сил, но смешно, по-куриному...» Смешной и вместе с тем безобразный вид старушки делается еще более выразительным от этого *поспешала*. Или у А. Фадеева («Молодая гвардия», гл. 36): «Ветер порывами шумел листвою и *постанывал* в тонких стволах деревьев...» *Постанывал* передает атмосферу зловещей и страшной ночи¹.

¹ Другие примеры: «Он повел было жизнь холостяка, *пересиливал* годы и природу, но так и не *пересилил*» (Гончаров. Обломов, ч. I, гл. 2); «Лег на диван и заснул тяжелым сном, как бывало *сыпáл* в Гороховой улице в запыленной комнате...» (там же, ч. II, гл. 8).

* * *

Наряду с категорией вида и времени очень важной грамматической категорией в системе глагола является категория наклонения (модальности). В индоевропейских языках эта категория по преимуществу глагольная, в языках других систем она может выражаться также и именем.

Грамматическая категория наклонения передает отношение действия к действительности, показывает, считает ли говорящий действие реальным или нереальным. Между этими полярными точками — реальностью и нереальностью самого действия — располагаются различные другие способы выражения модальности: говорящий может взять лишь под частичное сомнение факт реальности действия, может, напротив того, особенно подчеркнуть его достоверность или выразить свое желание превратить то или иное действие из возможного в вполне осуществимое и т.д.

В самом деле: *я пишу; я, несомненно, пишу; я буду писать; я писал бы; я, быть может, напишу; я действительно хочу писать* и пр. Во всех этих случаях по-разному выражают отношение к действию. *Я пишу* просто утверждает; *я, несомненно, пишу* категорически утверждает; *я писал бы* выдвигает определенное условие, соблюдение которого оказывается необходимым для того, чтобы я мог писать; *я, быть может, напишу* в еще большей степени ставит действие в зависимость от каких-то условий, и т.д.

Необходимо с самого начала разграничить грамматические и лексические способы выражения модальности.

В латинском языке, например, как отчасти и в современном немецком, индикатив и конъюнктив различаются флективно: *laudo* — «я хвалю», *laudem* — «я хвалил бы». Сама категория модальности в глаголе выражается по-разному: в одних языках, например в латинском, — особыми окончаниями, в других, например в русском, — особой грамматизованной частицей *бы*, которая соотносится с формами глагола на *-л* («*Я хотел бы* прочитать эту книгу»).

В приведенных выше примерах с глаголом *писать* легко обнаружить как случаи грамматического, так и случаи лексического выражения модальности: *я писал бы* — здесь модальность выражена грамматически (как и в латинских разграничениях *laudo* — *laudem*), тогда как в *я, быть может, напишу* или *я действительно напишу* модальность выражена лексически (с помощью

самостоятельных слов *может быть, действительно*). Следовательно, грамматическая модальность передается не только морфологически, особыми окончаниями, но и синтаксически (аналитически) особыми грамматизованными описательными конструкциями (в русском формами глагола на *-л + бы*). Что касается лексической модальности, то она выражается самыми разнообразными так называемыми модальными словами и словосочетаниями (*непреренно, действительно, разве, быть может, по-видимому, по всей вероятности* и т.д.).

Хотя грани между двумя типами модальности (грамматической и лексической) исторически изменчивы и подвижны (многие ранее самостоятельные слова могли постепенно превратиться в грамматические форманты), все же различие это проводить целесообразно для того, чтобы не растворять грамматическую категорию модальности в массе отдельных, бесконечно индивидуальных, частных лексических модальностей. Модальность грамматическая и модальность лексическая не только широко взаимодействуют между собой, но и отличаются друг от друга.

Следует, далее, различать модальность предложения и модальность наклонения. Всякое предложение всегда модально окрашено, так как оно не только констатирует тот или иной факт, но и по-своему передает отношение говорящего к этому факту, событию, происшествию и т.д. Но модальность наклонения — это *вторичная модальность*, которая как бы накладывается или наслаивается на модальность предложения. Модальность предложения относится ко всем сторонам высказывания, модальность наклонения — специально к глаголу, к сказуемому.

Вместе с тем модальность наклонения является не только вторичной. Она создает особую грамматическую категорию (категорию наклонения)¹.

Модальность в грамматике тесно связана с модальностью в логике, хотя отнюдь и не совпадает с нею. В идеалистической логике деление суждений по модальности истолковывается так, будто речь идет лишь об отношении понятий друг к другу, а не об отношении понятий к объективной действительности. Конечно, отношение понятий друг к другу тщательно изучается в логике. Но правомерен и вопрос не только об отношении поня-

¹ Вряд ли справедливы опасения Г.В. Колшанского в его статье о модальности (ВЯ. 1961. № 1. С. 94–98), что разграничение разных типов модальности таит угрозу разрыва единой категории на части. Нельзя не считаться с многообразными формами выражения модальности.

тий друг к другу, но и об отношении понятий к объективной действительности.

Модальность показывает, как следует понимать принадлежность подчеркнутого в суждении признака самому предмету суждения. Этот признак может мыслиться как несомненно и необходимо присущий предмету («прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками»); он может мыслиться как признак, просто присущий предмету, причем можно и не знать, насколько он необходим предмету («этот цветок красный»); наконец, указанный в суждении признак может мыслиться либо как принадлежащий, либо как не принадлежащий предмету суждения («эта болезнь может заразить доктора»)¹.

Модальность в грамматике точно так же определяет не только отношение слов друг к другу, но и отношение говорящего к действительности, поскольку это отношение выражено словом или предложением, всегда так или иначе модально окрашенным. Но в отличие от модальности в логике модальность в грамматике имеет специфически грамматическую — морфологическую или синтаксическую — форму выражения. Модальность суждения и модальность предложения вовсе не всегда совпадают. Так, если, опаздывая к поезду, мы зададим нашему спутнику риторический вопрос: *Поспеет ли мы вовремя?*, то с точки зрения суждения это предложение может и не иметь вопросительного характера, приближаясь по значению к проблематическому утверждению «мы, по-видимому, опаздываем». Напротив того, с грамматической точки зрения предложение это всегда будет иметь вопросительный характер. Так, модальность предложения, взаимодействуя с модальностью суждения, вместе с тем и отличается от этой последней².

Возвращаясь к модальности как грамматической категории, следует подчеркнуть, что число наклонений в различных языках различно. Это объясняется отчасти тем, что иногда различные подзначения в системе одного наклонения считают самостоятельными наклонениями и тем самым увеличивают общее число наклонений.

Так, в системе конъюнктива (так называемого сослагательного наклонения) иногда различают: желательное наклонение (*ему бы еще писать*), условное (*если бы он был здесь, он сказал бы*), а иногда сюда же присоединяют выраженное лексически

¹ См.: Таванец П.В. Суждение и его виды. М., 1953. С. 58.

² См.: Попов П.С. Суждение. М., 1957. С. 15–22.

предположительное (*он, вероятно, дома*) и другие наклонения¹. Число наклонений, как и число падежей, зависит от характера языка. Как отмечалось, в некоторых языках значение того или иного падежа выступает иногда в более конкретных и дробных пространственных подразделениях. Аналогично этому и общие категории индикатива и конъюнктива могут выражаться более расчлененно. Создается впечатление, что общая грамматическая категория дробится на ряд частных значений. Исторически, однако, процесс развития идет обычно в обратном направлении: от ряда чувственно-наглядных подразделений к более обобщенным, логически более емким и широким категориям.

Так, например, во многих языках имеются еще особые формы побудительного наклонения, подтвердительного наклонения, вопросительно-подтвердительного наклонения и т.д. В русском же и в некоторых других индоевропейских языках образовались уже более широкие, поглотившие ряд частных подзначений абстрактные наклонения, определяемые основным модальным противопоставлением индикатива и конъюнктива.

Ранее уже была показана связь между видами и временами. Остановимся теперь на некоторых формах взаимодействия между временами и наклонениями.

Существует несомненная связь между так называемыми «идеальными» наклонениями (конъюнктивом и его разновидностями), прошедшими и будущими временами. Уже Потенбня тщательно изучал эту связь, показав, как образовались «идеальные» наклонения в связи с распадом некоторых прошедших времен глагола древнерусского языка, в частности аориста (прошедшее, обозначавшее, что факт уже совершился в прошлом). Формы древнерусского аориста (*быхъ, бы, бы (сть), быхомъ, бысте, быша*), не сохранившиеся впоследствии, и послужили основой для образования конъюнктива. В современном выражении «я писал *бы*» неизменяемое *бы* является формой 2-го и 3-го лица единственного числа старого аориста.

«Весьма вероятно, — писал по этому поводу Потенбня, — что основание перехода прошедшего времени изъявительного на-

¹ М. Дейчбейн, например, насчитал таким образом 16 наклонений в английском языке, смешивая грамматическую категорию наклонения с семантической отдельных групп глаголов (*Deutschbein M. System der neuenglischen Syntax*. 2 Aufl. Leipzig, 1928. S. 112). Ср.: *Brunot F. La pensée et la langue*. Paris, 1936. P. 513. В этой во многом интересной книге Брюно хорошо показано взаимодействие грамматических, лексических и логических категорий, хотя их разграничение проведено не всегда четко.

клонения к значению условности, или *tertium comparationis* (основание для сравнения) между прошедшими временами изъявительного наклонения и условностью, и даже вообще идеальными наклонениями, каковы условное, сослагательное, желательное, состоит в том, что как идеальные наклонения изображают события существующими только в мысли, так и прошедшее может рассматриваться со своей негативной стороны, как отрицание действительного присутствия (наличности) явления в том смысле, что если явление было, то, стало быть, его уже нет»¹. Потебня не только указал, но и глубоко проанализировал на обширном языковом материале связи, существующие между конъюнктивом и прошедшими временами, однако предложенное им объяснение этой связи оказалось неприемлемым.

У Потебни получалось так, будто лишь изъявительное наклонение и настоящее время имеют реальное значение, тогда как «идеальные» наклонения и прошедшее время имеют дело лишь с категориями чистой мысли («существуют только в мысли»).

Если же принять во внимание, что все типы суждения имеют ту или иную *связь с реальной действительностью*, что все они так или иначе направлены на предмет суждения и не являются выражением отношения лишь между «чистыми» понятиями, то приведенное понимание «идеальных» наклонений как наклонений, изображающих события, существующие «только в мысли», окажется неприемлемым. В то же время, если вспомнить, что в древности прошедшее время означало не то, что предшествует настоящему, а то, что находится впереди, что начинает собой цепь событий, а будущее время — то, что эту цепь замыкает, то тогда станет ясно, в чем действительное различие между конъюнктивом и индикативом и почему конъюнктив исторически оказался связанным с прошедшим и будущим временами во многих индоевропейских языках. Как и прошедшее время, конъюнктив первоначально обозначал, по-видимому, не то, что уже есть, что существует, а лишь то, что впереди, что начинает собой цепь событий, или — как будущее время — то, что эту цепь замыкает или должно замкнуть.

Для доказательства этого положения обратимся к примеру самого Потебни.

Исследователь приводит в точном переводе отрывок из старой литовской песни, в котором повествуется, как молодая женщина, насильно выданная замуж, стремится вернуться домой.

¹ Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Харьков, 1888. С. 270.

«*Пойду* я в лес к пестрой кукушке, *займу* у нее крыльев и рябых перьев, *полечу* к матушке...» Желаемое событие изображается будущим временем. «Но затем, — продолжает Потебня, — в силу самообольщения мысли, будущее является уже совершившимся, и вслед за «не услышит ли матушка» песня продолжает: «*Услышала* голосок, *открыла* окошко: Не моя ли дочка? Не моя ли молодая?»¹

Переход от будущего времени к прошедшему происходит здесь не вследствие «самообольщения мысли», а вследствие особого, старинного понимания прошлого (то, что впереди, что начинается собой цепь событий) и столь же своеобразного понимания будущего (то, что эту цепь замыкает). Женщина *сначала* услышала голос матери, а *затем* решила к ней отправиться. А если такое значение имели в прошлом «идеальные» времена — прошедшее и будущее, то, очевидно, такое же значение должно было иметь первоначально и «идеальное» сослагательное наклонение, образовавшееся из этих «идеальных» времен. Причем, если в русском языке конъюнктив возник из прошедшего времени, то в других языках он бывает связан с будущим (например, в латинском *legam* — «я буду читать» и та же форма для конъюктива *legam* — «я читал бы»²).

Когда однажды спросили четырехлетнего мальчика, скоро ли он уезжает на дачу, последовал ответ: «Завтра или позавчера». В сознании ребенка «завтра или позавчера» одинаково противостоят «сегодня»: это то, чего *сейчас* нет.

Впоследствии, когда изменилось представление о прошедших и будущих временах, когда выработалась более абстрактная категория времени, изменилось и представление о так называемых «идеальных» наклонениях. Эти последние стали выражать мнение говорящего о том, насколько подчеркнутый в предложении признак действительности свойствен или несвойствен самому предмету суждения. Тем самым «идеальные» наклонения, как и «реальные», передают не только отношение мысли к мысли, слова к слову, но и отношение говорящего к объективной действительности.

¹ Там же. С. 273. Впрочем, ср. с этим замечание Л.А. Булаховского о трудностях исторического объяснения форм сослагательного (условного) наклонения (см.: Булаховский Л.А. Исторический комментарий к литературному русскому языку. 5-е изд. Киев, 1958. С. 224).

² См.: Эрну А. Историческая морфология латинского языка / Рус. пер. М., 1950. С. 191–193; Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков / Рус. пер. М., 1938. С. 238–240.

Таковы некоторые формы взаимодействия между наклонениями и временами. Следовательно, не только виды и времена, но и времена и наклонения тесно связаны между собой в сложной системе грамматических отношений, которые складываются в глаголе. Хотя глаголу свойственны и другие существенные грамматические категории (залога, лица, числа и т.д.)¹, но и сказанного достаточно, чтобы представить себе его основные черты. Глагол — одна из важнейших частей речи².

10. Предложение и словосочетание

«Предложение — это грамматически оформленная по законам данного языка целостная единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли»³. На первых порах, при беглом и поверхностном знакомстве с грамматикой, может показаться, что предложение является неизменной категорией, раз и навсегда существующей в языке. В действительности это совсем не так.

Уже в самом определении предложения подчеркивается, что оно оформляется грамматически по законам данного языка. Грамматическое же оформление предложения меняется в связи с развитием языка. Сравнивая предложение древнего русского языка с предложением языка современного, нетрудно в этом убедиться. Оказывается, что предложение — категория историческая, меняющаяся и находящаяся в глубокой зависимости от всей грамматической структуры языка.

Исторически изменчивый характер предложения не дает, однако, оснований для того, чтобы отказаться от общего понимания и общего определения предложения. Между тем Потебня, много сделавший для правильного истолкования очень сложной

¹ Применительно к русскому языку см. о них: *Шахматов А.А.* Синтаксис русского языка. Л., 1941; *Виноградов В.В.* Русский язык. М., 1947.

² О категории наклонения (и шире — модальности) см.: *Лавров Б.В.* Условные и уступительные предложения в древнерусском языке. Л., 1941. С. 128–131; *Виноградов В.В.* О категории модальности и модальных словах в русском языке // Тр. Института русского языка. 1950. Т. II. С. 38–79; *Шведова Н.Ю.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960. С. 3–26; *Яковлева В.К.* Язык йоруба. М., 1963. С. 76–82 (язык йоруба относится к одной из групп языков Судана); *Brugmann K.* Griechische Grammatik, bearbeitet von A. Thumb. München, 1913. S. 382–396; *Cohen M.* Le subjonctif en français contemporain. Paris, 1960. P. 15–25; *Hanford S.* The Latin Subjunctive. L., 1947 (особенно главы I и 3).

³ Грамматика русского языка. Т. II. Ч. I. М., 1960. С. 65.

исторической природы предложения, склонен был отказаться от общего определения предложения, полагая, что для каждого периода развития языка должно существовать особое определение предложения. Как ни велико своеобразие предложения в каждую историческую эпоху жизни языка, все же нельзя согласиться в этом вопросе с замечательным отечественным языковедом: приведенное выше определение предложения окажется справедливым для всех периодов развития языка.

И это закономерно. Исторические проблемы грамматики не должны и не могут привести к отрицанию проблем общетеоретических.

Предложение выражает ту или иную мысль. Оно всегда оформлено по законам грамматики данного языка. Этих признаков, к которым, как увидим, прибавляются и другие, оказывается достаточно для понимания общей природы предложения.

Предложение как единица языка существенно отличается от других единиц языка, в частности от слова и словосочетания. Главные характерные признаки предложения обнаруживаются в том, что в нем: 1) не только выражается мысль, но и передается отношение к этой мысли самого говорящего; 2) присутствует особая интонация сообщения; 3) заключается предикативность, т.е. отношение сообщения к действительности, независимо от того, имеется ли в этом сообщении глагол или нет¹. Чтобы понять, в чем здесь дело, остановимся на таком литературном примере.

В третьем томе «Войны и мира» Л. Толстого (ч. II, гл. 4) дворянин старого князя Болконского Ферапонтов произносит такое предложение: *Однако, затихать стала*. Это неполное предложение кажется неясным до тех пор, пока не будут приняты во внимание только что отмеченные три основных признака предложения. Речь идет об артиллерийской стрельбе. *Затихать стала* относится к пушечной пальбе, к которой прислушивался Ферапонтов. Говорящий выражает свое отношение к высказываемому (первый признак). Вместе с тем это высказывание произносится с определенной интонацией (второй признак), позволяющей слушателю или читателю понять, к чему относится *стала зати-*

¹ Ср.: Кротевич Е.В. Предложение и его признаки. Львов, 1954. С. 38–45. Автор насчитывает 11 признаков простого предложения. Однако не все эти признаки представляются существенными. Споры о том, насколько предикативность характерна для предложения в отличие от словосочетания, см. в журнале: ВЯ. 1955. № 3. С. 114–118.

хоть (к пальбе, о которой разговор был раньше). Наконец, все предложение предидируется (третий признак) — соотносится с теми событиями, которые описываются во всем данном отрывке. Одно предложение включается в цепь других, образуя более сложное целое¹.

В поэме А. Твардовского «Василий Теркин» неоднократно встречаются своеобразные предложения типа «Взвод! Вперед!» Рассмотренные сами по себе *взвод* или *вперед* являются словами, а не предложениями, но в данном случае эти слова превращаются в предложения, так как получают отмеченные признаки: они предидируются, приобретают особую интонацию, обнаруживают отношение говорящего. Следовательно, различие между словом и предложением не количественное, а качественное.

То же следует сказать о разграничении между предложением и словосочетанием.

Черный вечер или *белый снег* являются словосочетаниями, но в начале поэмы А. Блока «Двенадцать» эти словосочетания, приобретая отмеченные признаки, становятся предложениями:

Черный вечер.

Белый снег.

Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер —

На всем божьем свете!²

Словосочетание отличается как от слова, так и от предложения и имеет свои признаки. *Словосочетание* — это грамматически оформленное единство двух или более самостоятельных слов, не образующих предложения.

Словосочетания могут быть именными (*сторонники мира, белый снег, ясное небо*), глагольными (*заснуть с наступлением утра, достигнуть успеха*), наречными (*очень громко, совсем неподвижно*)

¹ Подобно тому как предложение не является механическим объединением отдельных словосочетаний, а выступает как качественно своеобразная и новая единица языка, сложное предложение не распадается на простую сумму простых предложений и сохраняет свою специфику в отличие от специфики простого предложения. Достаточно, например, указать, что порядок слов придаточного предложения во многих языках зависит от порядка слов главного предложения. Следовательно, отдельные предложения, входящие в структуру сложного предложения, воздействуют друг на друга, образуя новое действительно сложное единство.

² Так предикация предложения может осуществляться и без глагола (*Черный вечер*).

и т.д. Подобная классификация словосочетаний осложняется семантическим сближением между словосочетаниями, находящимися в разных структурных группах. Например, глагольное словосочетание *восхищаться кем, чем* явно сближается с именным словосочетанием *восхищение кем* или *чем*. Отсюда различие принципов классификации словосочетаний у разных исследователей, которые занимались этим вопросом. В спорах о том, какие признаки словосочетаний более существенны — чисто структурные или семантические, следует иметь в виду, что язык — это средство общения и средство выражения мысли. Поэтому для языковеда одинаково существенны как признаки, позволяющие понять, *что* выражается словосочетанием, так и признаки, дающие возможность разобраться в том, *как* выражается содержание одних словосочетаний в отличие от других.

Хотя исследователи занимались словосочетаниями в разных языках немало, проблема словосочетания в теоретическом отношении остается сложной.

Нельзя не отметить огромного разнообразия словосочетаний в различных языках. Одно и то же слово в предложении может входить в сочетание со многими словами.

В английском предложении *He reluctantly handed the newspaper to the girl.* — «Он неохотно протянул девушке газету» сказемое *handed* — «протянул» входит во многие словосочетания: *he handed* — «он протянул», *reluctantly handed* — «неохотно протянул», *handed the newspaper* — «протянул газету», *handed to the girl* — «протянул девушке». Подобное членение показывает своеобразие словосочетаний в системе предложения. Анализ предложения по его членам (подлежащее, сказуемое и пр.) не совпадает с анализом предложения по типам словосочетаний, которые входят в данное предложение. Поэтому нельзя согласиться с теми исследователями, которые вслед за академиком Ф.Ф. Фортунатовым (1848–1914) считают, что нет никакого различия между предложением и словосочетанием, что предложение является не чем иным, как развернутым словосочетанием¹.

В действительности предложение качественно отличается от словосочетания, как и словосочетание — от предложения. Словосочетание не является также «промежуточной группой» меж-

¹ Такова, в частности, точка зрения М.Н. Петерсона (см.: *Петерсон М.Н.* Синтаксис русского языка. М., 1930. С. 97), к которой близки современные американские дескриптивисты (см. раздел о дескриптивной лингвистике в хрестоматии: *Звегинцев В.А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1960. С. 114–171).

ду словом и предложением. Предложение может состоять и из одного слова (*Думаю; Работаю*), иногда, как мы видели, и из такого, как *Взвод* или *Зима*, тогда как для образования словосочетания всегда необходимо не менее двух однозначных слов. Следовательно, отличие словосочетания от предложения не количественное (больше или меньше слов), а качественное (своеобразии структур и того, что выражается с помощью этих структур). Словосочетание обычно лишено тех признаков, которые превращают высказывание в предложение и о которых речь была раньше.

Необходимо, однако, пояснить, что значит «однозначные слова» применительно к словосочетаниям.

Дело в том, что вовсе не всякое соединение слов образует словосочетание, как и не всякое соединение словосочетаний формирует предложение.

В комнате или *на воздухе* также представляют соединение двух слов, однако подобные соединения не являются словосочетаниями (одно из слов в каждой паре оказывается не самостоятельным, а служебным). Уже было подчеркнуто, что словосочетание основывается на единстве не только структурного (формального), но и смыслового моментов. Больше того, само словосочетание как бы демонстрирует это единство. Между тем в соединении слов типа *в комнате* или *на воздухе* отсутствует семантическое единство между словами (т.е. один из двух факторов, формирующих словосочетание). А в соединении слов типа *сторонники мира* или *достигнуть успеха* обнаруживается не только структурное тяготение слов друг к другу, но и их известное смысловое единство (оба фактора, образующие словосочетание).

Не всем и не всегда, однако, отмеченное разграничение представляется очевидным. В науке до сих пор ведутся пространственные дискуссии по вопросу о том, как рассматривать сочетание существительного с артиклем в аналитических языках: как словосочетание или как так называемую аналитическую форму слова? Французское *le cheval* — «лошадь» или английское *the horse* — «лошадь» не являются словосочетаниями в указанном выше смысле, хотя и представляют собой соединение двух слов — самостоятельного имени существительного и служебного артикля. Следовательно, не всякое соединение слов образует словосочетание. Вопрос сводится к тому, какие категории слов образуют единства и что эти единства выражают. Проблема эта очень существенна в теоретическом отношении для разграничения слова, его сложных и многообразных форм и словосочетаний.

Итак, словосочетание и предложение соотносительны, но не тождественны. Как и предложение, словосочетание является исторической категорией, развивающейся в связи с движением самого языка. История отдельных языков дает возможность проследить, как формируются те или иные словосочетания или как становятся ненужными или малоупотребительными другие.

В современном русском языке *железная дорога* является широко распространенным именным словосочетанием. Но можно проследить по литературным памятникам XIX столетия, как постепенно оно складывалось. Не подлежит сомнению, что подобное словосочетание вызвали к жизни условия материальной жизни общества и рост техники. В романе А. Писемского «Тысяча душ» (ч. 3, гл. 2) происходит такой разговор между редактором журнала и главным героем Калиновичем. Редактор спрашивает у приехавшего в Петербург Калиновича:

- Вы ведь, однако, через Москву ехали?
- Через Москву.
- По железной?
- По железной.
- И скажете, хорошо? — продолжал редактор.
- Хорошо-с, — отвечал Калинович.

По *железной*, т.е. «по железной дороге», поездом. Словосочетание *железная дорога* еще не установилось, еще не стало общераспространенным в середине XIX в.¹ В разные эпохи жизни языка складываются различные словосочетания. Так, в наше время возникли такие словосочетания, как *вахта мира*, *дружба народов*, *герой труда* и многие другие. Сравнительно новое словосочетание *воздушный десант* могло возникнуть только тогда, когда у прилагательного *воздушный* наряду со старыми значениями («находящийся или происходящий в воздухе»; «легкий, невесомый») возникло и новое — «относящийся к авиации».

Иногда одни словосочетания вытесняют другие. Теперь обычно говорят *взять такси*, хотя некогда бытовало словосо-

¹ Нечто подобное произошло и во французском. Современное устойчивое словосочетание *chemin de fer* — «железная дорога» (букв. «дорога железа») сформировалось не сразу. До этого говорили *chemin à locomotive* — «дорога для локомотива», *chemin à vapeur* — «паровая дорога», *chemin à ornières* — «двухколейная дорога». То, что в одном языке передается с помощью словосочетания, в другом может выражаться словом. Русскому словосочетанию *железная дорога* в украинском соответствует одно слово — *залізниця* (ср. русский разговорный историзм *чугунка*), а русскому одному слову *путеукладчик* украинское словосочетание — *укладач колії*.

четание *нанимать извозчика* (и реже *взять извозчика* — наблюдение С.И. Ожегова).

Чем менее словосочетание оказывается свободным, тем более оно удаляется из сферы синтаксиса и приближается к сфере лексики. Граница этого движения — идиома, которая оказывается уже полностью в области лексики. И это понятно, так как идиома воспринимается не отдельными своими частями, а целостным смыслом, как и слово.

Поэтому идиомы, как например *с глазу на глаз* или *спустя рукава*, рассматриваются обычно не в разделе о словосочетаниях, а в разделе о слове. Идиомы не могут иметь главных или опорных слов, которые обнаруживаются во всех свободных словосочетаниях. В словосочетаниях типа *изучать язык, изучать литературу, изучать математику* опорным или главным словом является глагол *изучать*.

Словосочетания типа *железная дорога* в современном языке становятся уже несвободными. Они не распадаются на отдельные части (*железная + дорога*), имеют целостное значение, а потому и не вступают в соотносительные ряды (в языке нет параллельных и аналогичных по смыслу словосочетаний типа «деревянная дорога» или «чугунная дорога»). Словосочетания типа *железная дорога* оказываются на границе между явлениями лексическими (несвободные или связанные словосочетания) и явлениями синтаксическими (свободные словосочетания). Более того, подобные словосочетания уже заметно тяготеют к лексике.

Границы между этими двумя группами, очень существенные сами по себе, исторически подвижны и изменчивы. Свободные словосочетания в одну историческую эпоху могут оказаться несвободными в другую (т.е. лексикализироваться). Теоретически возможен и обратный путь — делексикализация устойчивых словосочетаний, хотя практически подобные явления в различных языках встречаются значительно реже, чем противоположные факты лексикализации словосочетаний. Задача исследователя заключается в том, чтобы определить непосредственные причины подобного рода процессов в тех или иных языках.

Свободные словосочетания и предложения, их типы и структура и составляют объекты *синтаксиса*, являются предметом синтаксических исследований.

* * *

Предложение — такая же историческая категория, как и словосочетание.

Даже не выходя за пределы одного языка, можно проследить, как на протяжении веков исторически менялась структура предложения. В древнерусском языке, как, впрочем, и во многих других родственных языках, синтаксическое *сочинение* (*паратаксис*) преобладало над *подчинением* (*гипотаксисом*). И это понятно, если принять во внимание развитие мышления от простого соположения мыслей к выражению более сложных причинных, временных, условных, следственных, противительных, разделительных и тому подобных связей и отношений.

Тогда Игорь *взъръ на свѣтлое солнце и видѣть отъ него тьмою вся своя воя прикрыты* («Слово о полку Игореве»). — «Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел, *что* от него тьмою все его воины покрыты». В древнем памятнике подчинительное *что* отсутствует и все предложение приобретает сочинительный характер.

«И пошел, и увидел, и сказал» — такие предложения часто встречаются в древних языках. Части предложения здесь как бы нанизываются друг на друга, образуя своеобразную цепочку, отдельные звенья которой сохраняют известную независимость и легко поддаются перегруппировке¹. Напротив того, в подчинительном предложении более точно обозначены все логические связи внутри него, отдельные части предложения оказываются более связанными между собой, чем в сочинительном построении.

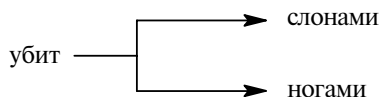
Сочинительные (паратаксические) конструкции были широко распространены во многих древних индоевропейских языках. Не только в архаической, но даже и в классической латыни еще не была выработана достаточно четкая перспектива в синтаксических отношениях внутри предложения. Очень часто встречаются предложения типа *Socrates laetus venenum hausit* — букв. «Сократ *радостный* выпил яд» (а не «радостно» или «с радостью», как мы бы сказали теперь); *adulescens didici* — «юноша я научился», т.е. «будучи юношей, я научился», или «в юности я научился» (предложение строится по типу «нанизывания»: юноша + я научился); *orator suavis est voce* — «оратор приятен голосом», т.е. «голос оратора приятен» и т.д.²

¹ О «нанизывании» в древнерусском языке см.: *Истрина Е.С.* Синтаксические явления синодального списка 1-й Новгородской летописи. Пг., 1923. С. 197–199. Аналогичные явления в других древних индоевропейских языках: *Havers W.* Handbuch der erklärenden Syntax. Heidelberg, 1931. S. 45 (так называемый «стиль и... и» — und-und Stil).

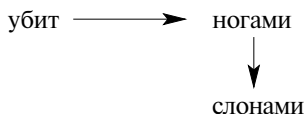
² *Norden E.* Antike Kunstprosa. 1898. S. 166; *Тронский И.М.* Очерки из истории латинского языка. М., 1953. С. 134.

Мейе считал, что «примыкание» как способ выражения грамматических связей между частями предложения наиболее характерно для синтаксиса древних индоевропейских языков¹.

Историческое развитие предложения показывает, как люди научились выражать сложные связи между предметами реального мира. На более древнем этапе развития своего мышления человек передавал эти связи и отношения во многом иначе, чем теперь. На древнеиндийском языке (санскрите) писали, например (в букв. переводе на русский): *убит ногами слонами* в смысле «убит ногами слонов» или *схвачен хоботом слон* в смысле «схвачен хоботом слона» и т.д.² Однопадежный ряд старого языка — *слонами* и *ногами* — свидетельствует о том, что язык и мышление тогда еще очень своеобразно передавали отношение части и целого. Ход мысли в старом предложении схематически можно изобразить так:



Получалось как бы два акта мысли: *убит слонами* — *убит ногами*, тогда как непосредственное отношение между «слонами» и «ногами» оставалось недостаточно выраженным. Сказав *убит слонами*, человек как бы вновь возвращался к исходной точке и повторял: *убит ногами*. Ход мысли в предложении нового языка уже иной:



Здесь мысль уже лучше справляется с трудностями выражения понятий части и целого, и все предложение оказывается внутренне гораздо более связанным, чем предложение

¹ См.: Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков / Рус. пер. М., 1938. С. 363; см. также: Фридрих И. Краткая грамматика хеттского языка / Рус. пер. М., 1952. С. 128.

² См.: Потевня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. III. С. 209. Примеры эти заимствованы из «Ригведы» — памятника древнеиндийской литературы, написанного на санскрите. Гимны Ригведы были созданы в эпоху разложения родового строя, хотя точное время их возникновения неизвестно.

старинное, легко распадавшееся на две относительно самостоятельные части.

Конечно, древнему человеку уже было вполне ясно различие между всем предметом и его частью. Но это различие он передавал еще очень своеобразно. Отношение между частью и целым оказывалось выраженным в конце концов и в рассмотренном предложении древнего языка, но это выражение строилось на *двойном движении мысли*, которое впоследствии было устранено как ненужное. Следовательно, здесь можно говорить о *своеобразии* выражения части и целого в разные эпохи развития родственных языков. Существенные элементы структуры предложения меняются в процессе исторического развития самого предложения. В предложении все больше развивается синтаксическая и логическая *перспектива*. Предложение *убит ногами слонов* оказывается более «перспективным», логически и грамматически более емким, чем одноплоскостное *убит ногами слонами*.

Развитие перспективы в синтаксических отношениях внутри предложения можно сравнить с развитием перспективы в живописи.

Известно, что древние мастера еще не умели передавать перспективы на своих полотнах. Изображение получалось статичным, одноплоскостным. Очень важное нововведение, осуществленное замечательным итальянским архитектором и художником Брунеллески (1377—1446), заключалось в том, что он один из первых показал значение перспективы и живописи. Впоследствии, в самом конце XV столетия, Леонардо да Винчи в своем «Трактате о живописи» (1498) попытался теоретически обобщить значение этого открытия. «Самым главным в живописи, — писал он, — является то, что тела, ею изображенные, кажутся рельефными, а фоны, их окружающие, со своими удалениями кажутся уходящими в глубь стены... Первое намерение живописца — сделать так, чтобы плоская поверхность показывала тело рельефным и отделяющимся от этой плоскости, и тот, кто в этом искусстве наиболее превосходит других, заслуживает наибольшей похвалы...»¹

Разумеется, аналогию между развитием перспективы в живописи и развитием перспективы в синтаксических отношениях внутри предложения ни в коем случае нельзя понимать как

¹ Леонардо да Винчи. Избранные произведения / Рус. пер. Т. II. Academia, 1935. С. 110—111. О перспективе в живописи в связи с историей научного изучения природы в эпоху Возрождения см.: *Бернал Дж.* Наука в истории общества / Рус. пер. М., 1946. С. 213.

буквальное сближение. Качественно и предметно это совсем различные явления. И все же аналогия эта представляет известный исторический интерес, хотя в разных языках перспектива в синтаксических отношениях формируется в самые различные эпохи.

То, что на древних этапах развития индоевропейских языков выражалось простым соположением предложений или простым нанизыванием их друг на друга при помощи простейших сочинительных союзов по типу «и пошел, и увидел, и сказал», то на последующих этапах их развития начинает передаваться при помощи сложной системы самых разнообразных сочинительных и подчинительных союзов, которые обнаруживают более сложные логические связи и отношения.

Эти многообразные союзы (*так как, ибо, чтобы, вследствие, по причине, если, если бы, несмотря* и др.) создаются в результате потребностей развивающегося мышления, которое перестает довольствоваться старыми способами выражения и требует все более четкой, тонкой и многообразной передачи всех оттенков зависимости одной мысли от другой, одной части предложения или всего предложения в целом от других его частей или других предложений.

В свою очередь сами союзы, возникшие в результате развития мышления человека, начинают воздействовать на дальнейшее развитие мышления, как бы ускоряют наряду с другими причинами его последующий рост.

В истории языка, однако, развитие от простого соположения предложений к сложному логическому и грамматическому подчинению — это не прямой путь, а движение по спирали, с подъемами, падениями и вновь еще более высокими подъемами. Сначала в языке создается целое множество подчинительных и сочинительных союзов, мышление не сразу приводит их в строгий порядок, и только по мере все более активного его воздействия на язык и длительной языковой практики возникает строго дифференцированная система союзных отношений. В связи с этим и бессоюзное подчинение на этом более позднем этапе развития языков приобретает уже не характер простого соположения, как в древний период, а свидетельствует о высоком развитии мышления, о возможностях тонко и разнообразно передавать оттенки мысли, зависимость одной части предложения от другой.

Так, по-русски можно сказать: *Будучи сознательным человеком, он работает прекрасно*. Здесь грамматическое подчинение выражается без всяких союзов. В свою очередь и союзы в сложном

предложении теперь уже выступают как невидимые скрепы предложения, цементирующие отдельные элементы в одно органическое целое («Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить». *Лермонтов*. Тамань). На древних же этапах развития языка союзы, по образному выражению Ломоносова, являлись иногда еще «гвоздями», которые то и дело «торчали» в различных местах предложения, еще недостаточно скрепляли его, недостаточно органически связывали части в единое целое.

«Союзы, — писал Ломоносов, — ничто иное суть, как средства, которыми идеи соединяются, и так подобны они гвоздям или клею, которыми части какой махины сплочены или склеены бывают. И как те махины, в которых меньше клею и гвоздей видно, весьма лучший вид имеют, нежели те, в которых спаев и склеек много, так и слово важнее и великолепнее бывает, чем в нем союзов меньше»¹.

Так подтверждается положение о том, что, двигаясь от сочинения к подчинению и формируя сложную систему подчинительных союзов, язык в известный момент своего развития как бы «перегибает палку», начинает злоупотреблять всевозможными «скрепами». Это злоупотребление — результат еще недостаточного умения, недостаточного совершенства грамматической системы.

В XVII в. у Гр. Котошихина, например, в его сочинении «О России в царствование Алексея Михайловича» встречаем такие построения: «о гонцѣх о приниманьи», т.е. «о приеме гонцов»; «к честному мужу, к богатому дому», т.е. «к честному мужу богатого дома» и т.д. Повторяются и самостоятельные слова там, где это повторение кажется теперь совершенно ненужным (например, после *который*): «Они к тому дни, который день у него будет радость». Аналогичное явление наблюдается не только в славянских, но и в романских, германских и других индоевропейских языках.

Таким образом, бессоюзные предложения современного языка уже качественно отличаются от бессоюзных предложений старого русского языка. В языке вырабатываются различные средства выражения зависимости одной мысли от другой, одной части предложения от другой. Теперь бессоюзные сочетания вместе с союзными стоят в одном ряду общих языковых средств. Не так (как мы видели) было в старом русском языке.

¹ *Ломоносов М.В.* Риторика. Ч. III. Гл. 6. § 325. Ср.: *Коротаева Э.И.* Союзное подчинение в русском литературном языке XVII века. М.; Л., 1964. С. 198–236.

Движение от синтаксического сочинения к подчинению обусловлено общим развитием мышления, стремлением человека все более полно и всесторонне выразить многообразие своих мыслей. В свою очередь увеличивающиеся сила и многообразие мышления в конце концов были predeterminedены увеличивающимся многообразием самой практики человека, углублением познания окружающего мира.

Некоторые лингвисты стали утверждать, что понятия сочинения (паратаксиса) и подчинения (гипотаксиса) целиком относятся к логике, а не к грамматике. При этом они ссылаются на то, что разграничение паратаксиса и гипотаксиса невозможно провести, если не учитывать логических категорий мышления. Разумеется, паратаксис и гипотаксис опираются на логику и как бы освещаются ее прожектором. Но это не мешает им оставаться лингвистическими категориями. Лишь тем филологам, которые не учитывают постоянного и глубокого взаимодействия логики и грамматики, паратаксис и гипотаксис представляются нелингвистическими категориями.

Такая концепция, конечно, ошибочна. Подобно тому как части речи (существительные, прилагательные, глаголы и некоторые другие), взаимодействуя с логическими категориями субстанции, качества, отношения, действия, состояния, не утрачивают своего грамматического назначения, так и паратаксис и гипотаксис, вырастая из логического разграничения соположения и подчинения элементов высказывания, не теряют специфики своего числа языкового выражения (не случайно развитые языки обычно располагают грамматическими средствами передачи паратаксиса и гипотаксиса).

Другой вопрос — широкое бытование в языках мира построений смешанных типов — *сочинительно-подчинительных* и *подчинительно-сочинительных*. Они безусловно осложняют принцип прямолинейного противопоставления по двум основаниям (так называемое бинарное противопоставление). Но нарушение «чистой бинарности» вовсе не снимает самого противопоставления, которое в языковой реальности оказывается лишь более сложным, более многоплановым¹.

В результате длительного исторического развития в русском языке выработалась стройная система сочинительных и подчинительных связей.

¹ Любопытно, что нападки на понятия паратаксиса и гипотаксиса совершались уже в 20-е гг. Атаки проводили сторонники чисто формального осмысления грамматики. Им хорошо ответил А.М. Пешковский в специальной работе, ныне перепечатанной в кн.: *Пешковский А.М. Избранные труды*. М., 1959. С. 131–146.

«Мужчина могучий, с большой, колечками, бородой, сильно тронутый проседью, в плотной шапке черноватых, по-цыгански курчавых волос, носище крупный, из-под бугристых, густых бровей дерзко смотрят серые, с голубинкой, глаза, и было отмечено, что когда он опускал руки, широкие ладони его касались колен» (*М. Горький*. Дело Артамоновых, гл. I). Здесь все предложение держится не столько на внешних опорах (см. выше «гвозди» Ломоносова), сколько мастерски связано семантически, «изнутри». *Носище крупный*, а не *с крупным носом*. Формально выпадающее определение *носище крупный* в действительности глубоко связано с предыдущим и последующим, вносит в предложение едва заметную разговорную интонацию и тонко оттеняет разнообразие отмеченных черт Артамонова.

Или у А. Толстого в «Хождении по мукам» сообщается о Даше: «Трудновато приходится человеку в таком неудобном возрасте, как в девятнадцать лет, да еще девушке, да еще слишком суровой с теми — а их было немало, — кто выражал охоту развеивать девичью скуку» (ч. I. «Сестры»). В этой части сложного предложения — *а их было немало* — автор как бы переносит читателя от Даши к тем, кто ухаживал за нею, и создает своеобразное внутреннее движение в предложении, его второй план, определяемый общим смыслом всего высказывания. Своеобразие замысла автора вызывает и своеобразие грамматического построения предложения.

Приведем еще одно предложение, в котором сочинительные и подчинительные конструкции слиты в единое целое. В повести «Капля росы» В. Солоухин пишет: «Каждый раз, когда смотришь на городского мальчишку, мчащегося вдоль тротуара на роликовом самокате, или виснувшего на подножке трамвая, или отправившегося с коньками в чемоданчике на ближайший каток, или на мальчишек, толкающихся возле кинотеатра, или разводящих рыбок в аквариуме, или кормящих чижики в клетке, или гоняющих голубей, или продающих тех голубей на птичьем рынке, или строящих авиамодель во Дворце пионеров, *да и мало ли еще чего делающих, что свойственно делать городским мальчикам*, — когда я вижу все это, я каждый раз вспоминаю наши игры, увлечения, забавы, игрушки, вспоминаю свое деревенское детство».

Таким образом, в ходе исторического развития языка в нем выработались многообразные средства синтаксического выражения подчинения и сочинения, которые в общенародной речи и у выдающихся мастеров слова приобретают особую силу и красоту.

* * *

Проблема развития перспективы в синтаксических отношениях внутри предложений, столь существенная в общетеоретическом и общеисторическом плане для разных языков, имеет совсем в другом отношении *практическое* значение для грамматики и стилистики некоторых языков, в частности русского.

Известно, например, что неудачные и даже несколько двусмысленные обороты, возникающие у неопытных стилистов, основаны на неумении правильно передать смысловую и грамматическую последовательность элементов целого (предложения). Вот несколько примеров, заимствованных из отдельных брошюр и газет.

Конструкция *регулировка затяжки болта пружины муфты сцепления гусеницы трактора* создает невозможное нанизывание друг на друга однопадежных существительных и не образует необходимой синтаксической перспективы. Смысл выражения оказывается неясным, синтаксис — нерусским. Или: «обмен *трестами* опытными *специалистами*». Автор хочет сказать, что в трестах обменивались специалистами, но создается такое впечатление, что там обменивались не только специалистами, но и трестами. Неточность построения не проходит бесследно и приводит к неточности выражения мысли. В языке всегда оказывается так: хотя сама форма грамматического построения зависит в известной степени от содержания высказывания, но она не остается пассивной по отношению к содержанию и в свою очередь влияет на него. В подобных примерах предложение не только лишено синтаксической перспективы, но и оказывается построенным неграмотно.

Проблема синтаксической перспективы в предложении тонко интерпретировалась Пушкиным. Поэт настаивал на правиле, согласно которому следует говорить *я пишу стихи* (*стихи* — винительный падеж), но *я не пишу стихов* (*стихов* — родительный падеж). Отрицательная частица *не* как бы переводит дополнение из винительного падежа в родительный, развивая синтаксическую перспективу в предложении (родительный падеж морфологически в большей степени отрывается от именительного, чем винительный, который по форме совпадает с именительным). Однако в тех случаях, когда между отрицательной частицей *не* и дополнением оказываются промежуточные грамматические звенья, *не* уже не в состоянии воздействовать на дополнение. Сила отрицания не достигает дополнения и затухает, не коснувшись

его. Пушкин так формулирует это дополнительное правило: «Стих: *Два века скорить не хочу* критику показался неправильным. Что гласит грамматика? Что действительный глагол, управляемый отрицательной частицей, требует уже не винительного, а родительного падежа. Например: *я не пишу стихов*. Но в моем стихе глагол *скорить* управляем не частицей *не*, а глаголом *хочу*. Ergo правило сюда нейдет. Возьмем, например, следующее предложение: *Я не могу вам позволить начать писать... стихи*, а уж конечно не *стихов*. Неужто электрическая сила отрицательной частицы должна пройти сквозь всю эту цепь глаголов и отозваться в существительном? Не думаю»¹.

Разумеется, необходимо строго различать исторический план проблемы развития синтаксической перспективы, когда человек в процессе развития своего мышления постепенно вырабатывал сложную структуру предложения, от случаев тех «бесперспективных» предложений, которые возникают порой в современном языке вследствие грамматической и стилистической неопытности тех или иных авторов².

11. Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь

Для понимания строя предложения очень важны различия, существующие между прямой, косвенной и так называемой несобственно-прямой речью.

Он сказал: Я не могу играть. В этом случае воспроизводят буквальные слова говорящего и создают прямую речь. Но в предложении *Он сказал, что не может играть* уже не воспроизводят

¹ Пушкин А. Соч. Т. VII. М.; Л., 1949. С. 173.

² О предложении и словосочетании см.: Ярцева В.Н. Предложение и словосочетание // Вопросы грамматического строя. М., 1955. С. 436–451; Ахманова О.С. Словосочетание // Там же. С. 452–460; Прокопович Н.Н. К вопросу о простых и сложных словосочетаниях // ВЯ. 1959. № 5. С. 21–31; Адмони В.Г. Развитие синтаксической теории на Западе в XX веке и структурализм // ВЯ. 1956. № 6. С. 48–64; Виноградов В.В. Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни и Фортунатова). М., 1958 (главы 22, 23 и 24); Попова И.А. Неполные предложения в современном русском языке // Тр. Института языкознания АН СССР. 1953. Т. II. С. 3–136; Мигурин В.Н. Разные виды трансформации придаточного и главного предложения // Изв. Крымского пединститута. 1954. Т. XIX. С. 17–32; Илия Л.И. Синтаксис современного французского языка. М., 1962. С. 7–23; Насилов В.М. Древнеуйгурский язык. М., 1963. С. 94–118; Ries J. Was ist ein Satz? Praga, 1931. S. 5–30; Drăganu N. Istoria sintaxei. București, 1945 (в книге дан обзор истории европейских синтаксических учений); Mikus F. Quelle est en fin de compte la structure-type du langage // Lingua. 1953. N 4. S. 430–470.

буквальных слов 3-го лица, а лишь пересказывают его мысль и создают то, что обычно называется косвенной речью. Прямая речь существенно отличается от косвенной. Если, рассматривая картину какого-нибудь замечательного художника, воскликнуть: *Какая работа! Какое мастерство!*, то перевод этих предложений в косвенную речь не может быть сведен к простой формальной транспозиции с союзом *что*: *Он сказал, что это работа и мастерство*. В этом случае прямая речь заключала в себе необычайно важную интонацию, которая совершенно пропадает при подобном механическом переложении. Прямая речь имеет свои особенности, свои средства выражения, свои закономерности. То же следует сказать и о косвенной речи.

Следовательно, обращение к прямой или косвенной речи связано с тем, что и как хочет передать человек, с тем, как он выражает свое отношение к тому или иному явлению, факту, событию. Конечно, своеобразиие каждого вида речи вовсе не означает, что между ними не существует связи, но связь эта не сводится к механической «транспозиции» и обусловлена, как сейчас увидим, общим замыслом говорящего.

В «Детстве» М. Горький рассказывает: «Законоучитель, красивый и молодой, пышноволосый поп, не взлюбил меня за то, что у меня не было “Священной истории ветхого и нового завета”, и за то, что я передразнивал его манеру говорить. Являясь в класс, он первым делом спрашивал меня:

— Пешков, книгу принес или нет? Да. Книгу?

Я отвечал:

— Нет. Не принес. Да.

— Что — да?

— Нет.

— Ну, и — ступай домой! Да. Домой. Ибо тебя учить я не намерен. Да. Не намерен» (гл. XII).

Здесь во второй части формально — диалог и, следовательно, прямая речь. Но спрашивающий не понимает и не слушает ответов, поэтому диалог фактически превращается в монолог спрашивающего плюс монолог отвечающего. Законоучитель настолько далек от своего ученика, настолько не способен понять мир его дум и переживаний, что даже тогда, когда он разговаривает с мальчиком, он слышит не мальчика, а себя. Диалог фактически распадается, причем этот распад оказывается обусловленным всей ситуацией, всем контекстом.

В литературном произведении переход от прямой речи к косвенной и от косвенной к прямой очень часто дается автором

так, что прямая и косвенная речь переплетаются в органическое целое, образуя то, что обычно называют несобственно-прямой речью. Эта несобственно-прямая речь возникает тогда, когда по тому или иному вопросу автору нужно дать сразу множество точек зрения, когда он сам и выражает свои суждения, и передает одновременно суждения своих персонажей; поэтому обычная транспозиция прямой речи в косвенную при помощи *что* оказывается в этих случаях неуместной, а подчас и невозможной.

Вот, например, как изображает Н.Г. Чернышевский первую встречу Лопухова с Верой Павловной («Что делать?», гл. 2, 1): «На диване сидели лица знакомые: отец, мать ученика, подле матери, на стуле, ученик, а несколько поодаль лицо незнакомое — высокая стройная девушка, довольно смуглая, с черными волосами — “густые хорошие волосы” (автор как бы вставляет сюда мысли Лопухова. — *Р.Б.*) — с черными глазами — “глаза хорошие, даже очень хорошие” (опять автор переносит читателя к мыслям Лопухова. — *Р.Б.*) — с южным типом лица, — как будто из Малороссии; пожалуй, скорее даже кавказский тип; ничего, очень красивое лицо, только очень холодное, это уж не по-южному; здоровье хорошее: нас, медиков, поубавилось бы, если бы такой был народ! Да, румянец здоровый... Когда войдет в свет, будет производить эффект. А впрочем, не интересуюсь» (теперь уже не отдельные замечания Лопухова, а как бы рассказ с его позиций обо всем последующем). Таким образом, автор сперва сам начинает описывать встречу Лопухова с Верой Павловной, но ему сейчас же нужно подчеркнуть, какое впечатление эта встреча оказала на Лопухова, поэтому он одновременно вставляет в косвенную речь прямую, идущую как бы от самого Лопухова («густые хорошие волосы»). В дальнейшем, по мере развертывания всей ситуации, все более расширяются и углубляются раздумья и Лопухова, так что автор заканчивает свое предложение, уже целиком переходя на позиции Лопухова («как будто из Малороссии» и до конца фразы). Органический переход от косвенной речи к прямой и обратно оказывается здесь вовсе не простым экспериментом, а вызван всем замыслом автора, его стремлением не только изобразить происходящее, но и показать восприятие этих событий в сознании одного из героев романа.

Но если в этом отрывке сравнительно легко проследить, где оканчивается косвенная речь и где начинается прямая, то в ряде случаев автор создает своеобразный «сплав» из прямой и кос-

венной речи. Это бывает в тех случаях, когда размышления героев повествования как бы вклиниваются в изложение автора, когда автор и переходит на точку зрения своего персонажа и одновременно ее комментирует.

Так, В. Панова в конце своей повести «Спутники» (гл. 13) рассказывает о том, как Данилов впервые вернулся домой после многих лет странствований: «Данилов прошел в соседнюю комнату. И здесь все было на месте, но нет того блеска, той чистоты и нарядности, к которым он привык. Кровать вместо белого покрывала застелена грубым серым одеялом. На столе, около швейной машины, недоштопанный детский чулок, напаянный на деревянную ложку. В углу стоял трехколесный детский велосипед; одна педаль у велосипеда была обломана. Нет смысла починять этот велосипед. Сын вырос, ему теперь нужен двухколесный. Данилов вышел на крыльцо, сел на ступеньку и закурил». В начале отрывка повествование ведется как будто бы от 3-го лица (косвенная речь). Но затем, перечисляя то, что увидел Данилов дома, писательница не только сообщает об этом читателю, но одновременно изображает, как все это замечал и обзирал сам Данилов и какие мысли рождались у него при этом. Вот он увидел кровать с «грубым серым одеялом» вместо белого покрывала, затем детский велосипед... Данилов начинает думать о сыне. Так рождается прямая речь («Нет смысла починять этот велосипед. Сын вырос, ему теперь нужен двухколесный»), переходящая затем вновь в косвенную, так как писательница не только знакомит читателя с размышлениями своего героя, но и непрерывно развивает действие дальше («Данилов вышел на крыльцо...»).

Таким образом, переплетение прямой и косвенной речи в языке вообще, а в литературном в особенности, обусловлено своеобразием замысла, который возникает у говорящего или пишущего.

У писателей, в частности, это переплетение обычно вызывается стремлением активно вмешаться в ход изображаемых событий, оценить их, взвесить, определить свое отношение к ним. Многое зависит здесь от того, насколько точка зрения писателя близка или противоположна точке зрения персонажа. В зависимости от этого и переплетение прямой и косвенной речи может преследовать разные цели: в одном случае оно подчеркивает близость автора к герою, в другом, напротив того, введение авторских интонаций в реплики персонажа дает возможность писателю лишний раз показать несовпадение точек зрения и т.п.

Несобственно-прямая речь, как прямая и косвенная речь, — явление не только стилистическое. Оно обусловлено разнообразными условиями коммуникации и выступает поэтому как одно из свойств общенародного языка. Изучение несобственно-прямой речи представляет большой интерес для понимания *типов коммуникации* между людьми, для взаимоотношений между монологом и диалогом, между говорящими и слушающими.

В самой несобственно-прямой речи следует различать два плана — *общеязыковой* и *стилистический*. С одной стороны, возможность существования несобственно-прямой речи обусловлена особенностями общенародного языка, различными формами взаимодействия прямой и косвенной речи, многообразием синтаксических средств языка, с другой — несобственно-прямая речь таит в себе большую стилистическую выразительность и поэтому широко используется в языке художественной литературы самых различных народов.

Нельзя считать, что несобственно-прямая речь — это явление только языковое или только стилистическое, как это часто утверждают. В несобственно-прямой речи есть и то и другое. Все зависит от того, будем ли мы рассматривать особенности построения и функционирования несобственно-прямой речи в общенародном языке (синтаксический план исследования) или изучать, как используется несобственно-прямая речь в целях образной характеристики, или с другим эстетическим намерением писателем или даже целым литературным направлением (стилистический план исследования).

Когда Осип, слуга гоголевского Хлестакова, говорит своему хозяину «Трактирщик сказал, *что не дам* вам есть» («Ревизор», акт 2, сцена I), то в его реплике элементы косвенной речи (*что*) переплетаются с элементами прямой речи (*дам* — от лица трактирщика, а не от 3-го лица, требуемого косвенной речью). Осип и не замечает, что он смешивает прямую и косвенную речь. Его невежество не дает ему возможности «вытянуть» цепочку слов, определяемых построением с *что*. Он лишь начинает конструкцию косвенной речи, а затем как бы вставляет в нее слова, непосредственно услышанные им из уст трактирщика: *Не дам и баста!* Заподозрить Осипа в эстетических намерениях невозможно. Просто условия общения неграмотного с грамотным создают подобное смешение.

Но вот совсем иной случай у Гончарова, когда он передает раздумье Райского: «Он ждал, не пройдет ли Марина по двору,

но и Марины не видать» (вместо ожидаемого «но и Марины не видно») (*Гончаров*. Обрыв, ч. III, гл. 9). *Но и Марины не видать* — это как бы мысль самого Райского, которая вклинивается во фразу автора, создавшего образ Райского. Здесь то же смешение, что и у Осипа. Но как непохожи эти два типа смешения! Они вызываются, казалось бы, сходными устремлениями — как можно скорее передать слова и мысли самого говорящего. Но у Осипа фраза получается неграмотная (это и нужно Гоголю для речевой характеристики слуги Хлестакова), тогда как у Гончарова-Райского фраза строится по законам тонкого стилистического артистизма (интонации живой речи вклиниваются в косвенную речь, слегка деформируя ее, но не нарушая законов грамматического целого).

Функции несобственно-прямой речи весьма многообразны¹.

12. Предложение и суждение

В учении о предложении трудным является вопрос о соотношении предложения и суждения. Вместе с тем вопрос этот представляется очень важным, так как при всем своем своеобразии грамматические категории соотносительны с категориями логики, а предложение, будучи главным средством формирования, выражения и сообщения мысли, постоянно взаимодействует с суждением. Можно сказать, что проблема предложения и суждения так же существенна для грамматики, как проблема значения слова в его взаимодействии с понятием — для лексикологии.

Суждение — это форма мысли, в которой что-либо утверждается или отрицается относительно предметов и их признаков.

¹ О прямой, косвенной и несобственно-прямой речи см.: *Волошинов В.Н.* Марксизм и философия языка. Л., 1930 (последняя глава посвящена несобственно-прямой речи с обзором предшествующей литературы); *Кодухов В.И.* Прямая и косвенная речь в современном русском языке. Л., 1957; *Lips M.* Le style indirect libre. Paris, 1926 (все еще остается одной из основных работ о несобственно-прямой речи); *Neubert A.* Die Stilformen der Erlebten Rede im neueren englischen Roman. Halle (Saale), 1957; *Herczeg G.* Lo stile indiretto libero in italiano. Firenze, 1963 (глава 1 — в общенародном языке, главы 2 и 3 — в языке художественной литературы); *Svennung J.* Anredeformen. Vergleichende Forschungen. Uppsala, 1958 (формулы обращения одного лица к другим в различных языках мира). Тонкий анализ разнообразных стилистических осмыслений несобственно-прямой речи в языке романов Достоевского можно найти в кн.: *Бахтин М.* Проблемы поэтики Достоевского. 2-е изд. М., 1963. О полемике с Бахтиным см.: *Чичерин А.В.* Идеи и стиль. М., 1988. С. 175—227.

Суждение — категория логическая, предложение — грамматическая. Вместе с тем суждение обычно выражается с помощью предложения, а разнообразные типы предложения (хотя и не все) передают те или иные суждения. Так возникает проблема: что сближает предложение и суждение и что составляет специфику одного в отличие от другого.

Предложение сближается с суждением, так как обычно не существует «пустых» предложений, как обычно не существует и «пустых» слов (основание, определяющее сближение слов и понятий). Предложение является важнейшим средством выражения мысли, как и суждения. Не только в утвердительных и отрицательных предложениях, но и в предложениях вопросительных передается определенная мысль, определенное отношение говорящего к явлениям окружающего мира или психической деятельности человека. Нельзя не отметить, что типы предложений, практически встречающиеся в разных языках, значительно многообразнее тех основных групп, которые устанавливаются в описательных грамматиках.

В предложении *Если вы сегодня уедете, то когда же возвратитесь?* в первой части нельзя не обнаружить условно-утвердительно-интонации, тогда как во второй интонация вопросительная. Следовательно, предложение может одновременно передавать (разными своими частями) и вопрос и утверждение. Суждение заключается не только в утвердительных (*Земля вращается вокруг Солнца*) или отрицательных (*Он этого не говорил*) предложениях, но в известной мере и в предложениях вопросительных.

К этой группе относятся, например, предложения, заключающие в себе так называемый риторический вопрос (риторические вопросительные предложения), на который говорящий обычно и не ждет ответа. «Сестра, дорогая моя, — говорил я, — как исправиться, если я убежден, что поступаю по совести? Пойми» (Чехов. *Моя жизнь*). Выделенное предложение, несмотря на вопросительную форму, передает убеждение говорящего в его правоте. Но бывает и так, что предложение само по себе, непосредственно не выражает суждения, хотя и предполагает своеобразный контекст, заключающий в себе суждение. Таковы, например, восклицательные предложения типа *Откройте окно!* (суждение *Окно закрыто*) или вопросительные предложения типа *Хорошо ли он поступил?* (суждения *Он хорошо поступил* или *Он не хорошо поступил*).

Таким образом, самые разнообразные по строю предложения либо прямо передают суждения, либо опосредованно, обуславливая взаимодействие предложений и суждений¹.

Итак, предложения и суждения выражают разнообразные мысли в самом широком смысле. Этим прежде всего определяется связь между ними. Далее, однако, начинаются расхождения.

Логический строй суждения *интернационален*. В основных своих чертах он является общим для самых разнообразных народов. Строй предложения, напротив того, в значительной степени национален, он определяется совокупностью грамматических особенностей, характерных для данного языка и отличающих его от других языков.

Разумеется, в строе предложения разных языков есть немало и точек соприкосновения (например, различие подлежащего и сказуемого, некоторые особенности порядка слов, наличие объекта у переходных глаголов и т.д.). Однако как бы ни были существенны сами по себе эти точки соприкосновения, они не могут заслонить национальных расхождений, обуславливающих невозможность построения единой универсальной грамматики, годной для всех языков. Логика в своих основных начертаниях общечеловечна, грамматика национальна и определяется больше всего особенностями данного языка или данной группы языков. Этим прежде всего вызывается и различие между суждениями и предложениями: первые не изменяются от языка к языку, вторые изменяются, причем за пределами родственных языков обычно очень существенно. Ранее подчеркивалось, что структура предложения трансформируется в процессе развития самого языка. Далее будет показано, что структура предложения обуславливается самим грамматическим типом языка в отличие от других грамматических типов и других языков.

В одном предложении может заключаться целый комплекс суждений.

В предложении *Никто, кроме трудолюбивых, не заслуживает поощрения* два суждения: *трудолюбивые заслуживают поощрения*

¹ О соотношении грамматического и так называемого актуального членения предложения см.: *Жинкин Н.И.* Вопрос и вопросительное предложение // ВЯ. 1955. № 3. С. 23–34; *Крушельницкая К.Г.* К вопросу о смысловом членении предложения // ВЯ. 1956. № 5. С. 55–67; *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка / Рус. пер. М., 1955. С. 114–116; *Мильх М.К.* Синтаксические особенности прямой речи в художественной прозе. Харьков, 1956. С. 3–22; *Раснонов И.П.* Актуальное членение предложения. Уфа, 1961. С. 8–34; *Boost K.* Neue Untersuchungen zum Wesen und Struktur des deutschen Satzes. Berlin, 1955. S. 26–39.

и *нетрудолобивые не заслуживают поощрения*. Вместе с тем одно и то же суждение часто передается разными предложениями: *Студенты филологического факультета занимаются очень успешно. Со студентами филологического факультета занятия проходят очень успешно*. Эти два предложения с грамматической точки зрения различны: первое, в частности, начинается с подлежащего, второе — с предлога, которого совсем не оказывается в первом предложении. Суждение, выраженное в первом и во втором предложениях, одно и то же, хотя предложения различны. Следовательно, то, что существенно для предложения, может быть несущественно для суждения, как и обратно.

Суждение всегда трехчленно: оно имеет субъект, предикат и связку. Предложение, напротив того, вовсе не всегда является трехчленным: оно может быть и одночленным, и двучленным, и многочленным. Логический субъект, как и логический предикат суждения, часто не совпадают с подлежащим и сказуемым предложения. Так, в известных словах лермонтовского Демона —

Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем...

— логическим субъектом будет *клянусь я*, а логическим предикатом — все то, чем клянется Демон. С точки зрения грамматической монолог Демона членится иначе: *я* — подлежащее, *клянусь* — сказуемое.

В знаменитом диалоге Мефистофеля со Студентом в первой части «Фауста» Гёте Мефистофель на слова Студента о том, что он хочет посвятить себя медицине, замечает:

Теория, друг мой, седовласа,
А золотое древо жизни зелено всегда¹.

С логической точки зрения теория *седоволосой* не бывает, как не может быть *золотым* дерево, которое *зеленеет*. Однако вследствие того, что словам не только поэтического, но и общенародного языка свойственна глубокая образность, лишь увеличивающаяся под пером великого мастера (о двух типах образности слова), логичность предложения не во всем и не всегда совпадает с логичностью суждения.

Было бы ошибочно, однако, на этом основании совсем отказывать в логичности предложению, как это неоднократно дела-

¹ Grau, teuer Freund, ist alle Theorie, Doch grün des Lebens goldner Baum.

ли раньше и, по другим соображениям, делают в наше время последовательные сторонники «чистых» принципов структурализма¹.

Учитывая наличную и потенциальную образность слова, подобное предложение вполне логично в этом образном ряду значений. Подобно тому как в общенародном языке может бытовать *седая старина истории*, так на этой основе в языке поэтическом возникает новая, или вторичная, образность, приводящая к созданию таких, например, выражений, как *седовла- сая теория*. И в этом случае, как и всегда в языке, логическое и грамматическое не просто противоположны, но и связаны между собой. Различие между ними не только не исключает, но даже предполагает постоянное и глубокое внутреннее взаимодействие.

Итак, предложение — грамматическое понятие, суждение — логическое. Этим определяются все последующие различия.

Предложение отличается от суждения не только по своему объему (оно шире суждения), но и по своей структуре (внутреннее членение предложения часто не совпадает с внутренним членением суждения).

Хотя предложение как определенная грамматическая категория не должно изолироваться от суждения как категории логической, необходимо, с другой стороны, понимать специфику каждой из этих категорий. Именно в той мере, в какой грамматические категории, имея свою специфику, отличаются от категорий логических, грамматика имеет право на самостоятельное существование. При анализе категорий числа, рода, времени и других уже была дана возможность убедиться, насколько сложны отношения между грамматическими категориями, с одной стороны, и соответствующими логическими понятиями — с другой. Исследователь должен в одинаковой степени учитывать и широкое взаимодействие логических и грамматических категорий, и отличия между ними — своеобразие грамматического «ряда» по сравнению с «рядом» логическим.

¹ См., например: *Vossler K. Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie. München, 1923* (глава «Über grammatische und psychologische Sprachformen»). Русский перевод этой главы из книги Фосслера дан в сборнике статей: Проблемы литературной формы. Л., 1928. С. 148–190. Из работ структуралистов: *Ельмслев Л. Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960. С. 336–343.*

Если бы предложение не было связано с суждением, оно не могло бы выполнять своего основного назначения — формировать, выражать и сообщать другим мысли человека¹.

13. Типологическая, или морфологическая, классификация языков

В мире существует множество языков. Представим себе, как следует классифицировать языки, если они исчисляются тысячами².

Уже издавна сложились две основные классификации языков — типологическая, иначе называемая морфологической, и генеалогическая, иначе называемая генетической. О генеалогической речь будет идти в особом разделе (гл. V). Сейчас же обратимся к классификации типологической (морфологической).

Принцип *типологической классификации языков* основывается на положении, согласно которому все языки мира совершенно независимо от того, родственны ли они между собой по происхождению или не родственны, распространены ли в одной части света или в разных частях света, могут быть объединены между собой по каким-то общим признакам их структуры, и

¹ О предложении и суждении см.: *Попов П.С.* Суждение. М., 1957. С. 15–22; *Чесноков П.В.* Логическая фраза и предложение. Ростов-на-Дону, 1961. С. 63–98; *Таванец П.В.* Суждение и его виды. М., 1953. С. 23–30; *Панфилов В.З.* Грамматика и логика. М., 1963. С. 13–23; *Крушельницкая К.Г.* Очерки по сопоставительной грамматике немецкого и русского языков. М., 1961. С. 196–223 (гл. «Коммуникативная нагрузка членов предложения»).

² См. ценный справочник по всем языкам мира (к середине XX в.): *Les langues du monde // Sous la direction de A. Meillet et M. Cohen.* 2 ed. Paris, 1952 (книга создана при участии многих видных специалистов по отдельным группам языков). Количество современных языков мира уже превышает 5000–6000, но высчитать их чрезвычайно трудно, так как в ряде случаев не ясны границы между отдельными языками и их диалектами: то, что одни лингвисты относят к языкам, другие — к диалектам (особенно на территории Африки, Южной Америки, Азии, Австралии). Сравни динамику роста количества изучаемых языков и количества говорящих на разных языках: *An Introductory to the Language of the World. Vol. I.* Токуо, 1952; *Vol. II.* 1955; *Исаев М.И.* Сто тридцать равноправных (О языках народов СССР). М., 1970; *Якубинский Л.П.* Образование народностей и их языков // *Вестник ЛГУ.* 1947. № 1; см. также: гл. V и Приложение настоящей работы.

прежде всего морфологической структуры слова. Поэтому и сама классификация получила название морфологической или типологической.

Хотя типологическая классификация нередко понимается так же, как и морфологическая, в действительности первое понятие несколько шире второго. При типологической классификации учитывают не только морфологическую структуру слова, но и общие фонетические особенности сравниваемых языков, характер построения их словосочетаний и предложений, их интонацию и т.д. В свое время Н.С. Трубецкой, например, установил шесть общих признаков индоевропейских языков, которые, по мысли исследователя, отличают их от языков других структур (других типологий). Среди этих признаков назывались не только морфологические, но и фонетические и синтаксические¹.

Чаще всего, однако, в подобных случаях анализируется морфологическая структура слова, от которой и заимствуется само название (морфологическая классификация). Следовательно, морфологической, или типологической, обычно называют такую классификацию, в основе которой оказывается прежде всего принцип морфологического построения слова.

Имеют ли смысл поиски общих элементов в структуре самых различных языков мира? На этот вопрос следует ответить безусловно положительно. Как ни различны языки по своему грамматическому строю, как ни своеобразна их национальная специфика, следует помнить, что основные функции языков едины: все они служат средством общения, средством выражения мыслей и чувств людей, живущих в обществе. Поэтому исследование каких-то общих элементов в структуре языков мира (как бы ни понимать структуру — широко или узко) представляет не только теоретический, но и практический интерес. Этим и объясняется все более возрастающее внимание к типологической (морфологической) классификации в современной лингвистике.

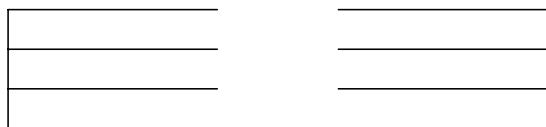
Обратимся к структуре слова в разных языках.

¹ Шесть типологических признаков индоевропейских языков перечисляются и обосновываются в статье Н.С. Трубецкого «Мысли об индоевропейской проблеме» (ВЯ. 1958. № 1. С. 70–77). Некоторые лингвисты обнаруживают все эти признаки и за пределами индоевропейских языков, что осложняет проблему (см.: Бенвенист Э. Классификация языков // Новое в лингвистике. Вып. 3. М., 1963. С. 48–51).

Сравнивая формы склонения, например, русского слова *стол* (*стол — стола — столу — стол — столом — столе*) с тем, как ведет себя соответствующее слово в языке французском (*la table*), нельзя не заметить, что это последнее подобных форм не имеет. Когда нужно передать отношение данного слова к другим словам, на сцену выступают предлоги: *de la table* — «стола», *à la table* — «на стол» и т.д. Само слово *la table* никаких падежных флексий не знает, так как французский язык падежей имени не имеет.

К французскому языку очень близок в этом отношении английский, различающий, однако, два падежа существительных (общий и родительный саксонский). Сравнивая структуру слова в русском языке, с одной стороны, со структурой слова в языках французском и английском — с другой, нельзя не заметить существенного различия между этими структурами. Для русского языка характерны флексии, для французского и английского они не характерны, по крайней мере в сфере имени существительного.

Языки, в которых отношения между словами в предложении выражаются прежде всего флексиями, обычно называются *флективными* или *синтетическими*, а языки, в которых эти же отношения передаются прежде всего предлогами и порядком слов, — *аналитическими*. Русский лингвист прошлого столетия Н. Крушевский (1851–1887) такой схемой иллюстрировал различие между этими языками¹:



флективные языки

аналитические языки

Крушевский хотел этим подчеркнуть, что во флективных языках не меняется начало слова (перпендикулярная черта), но меняются его окончания (параллельные линии: *стол, стола, столу* и пр.); в аналитических языках, напротив того, окончание слова остается без изменений (перпендикулярная черта), а грамматическая функция слова определяется тем, что ставится перед ним (параллельные линии — предлоги перед

¹ См.: Крушевский Н. Очерк науки о языке. Казань, 1883. С. 112.

именем, местоимения перед глаголом: французское *la table* — «стол», *de la table* — «стола» и пр.; *je chante* — «пою», *il chante* — «поет»). Таким образом, русский язык оказывается флективным, или синтетическим, а французский и английский — аналитическими.

Отмеченное разграничение языков безусловно существенно, так как основывается на реальных фактах и вместе с тем объясняет многие частные особенности структуры одних языков в отличие от других (например, развитие так называемых аналитических времен, атонных местоимений и т.д.).

Вместе с тем при всем значении подобного разграничения его нельзя ни преувеличивать, ни абсолютизировать. Практически не существует ни «чисто» флективных языков, ни языков «чисто» аналитических; во флективных языках наблюдается немало аналитических тенденций, подобно тому как в языках аналитических флексии имеют отнюдь не последнее значение.

В том же французском языке, например, флексии, почти полностью вытесненные из сферы имен, продолжают играть видную роль в системе глагола (ср., например, *je chante* — «я пою», но *nous chantons* — «мы поем», флексия 1-го лица множественного числа *-ons*). В английском глаголе флексия может дифференцировать, например, времена: *I work* — «я работаю», но *I worked* — «я работал» и т.д. Еще более сложная картина вырисовывается в процессе исторического развития языка: в аналитических языках иногда образуются новые флективные формы, подобно тому как в языках флективных формируются некоторые аналитические конструкции¹.

Несмотря на эти постоянные осложнения, разделение языков на флективные и аналитические все же сохраняет научное значение. Это разделение основывается на той или иной *преобладающей языковой тенденции*, характерной для морфологической структуры слова.

Но морфологическая классификация языков становится значительно более сложной, когда она опирается не только на одну языковую семью (хотя бы и такую большую, как индоевропейская), а на все языки мира. В этом случае устанавливаются следующие типы языков: *корневые* (или *изолирующие*), *агглютинативные*

¹ См.: Шимарев В.Ф. Историческая морфология французского языка. М., 1952 (глава «Вид и время»); Бруннер К. История английского языка / Рус. пер. Т. II. М., 1956 (глава «Флективные формы и их употребление»).

(или *агглютинирующие*) и *флективные*. Иногда к данной классификации прибавляют еще языки *инкорпорирующие* (или *полисинтетические*).

В *корневых* языках слово обычно равняется корню, а отношения между словами передаются прежде всего синтаксически (порядком слов, служебными словами, ритмом, интонацией). Но выражение «слово равняется корню» неточно, так как в корневых языках, к которым относится китайский, слово не имеет морфологической структуры, характерной, например, для русского языка, где различаются корни, аффиксы, основы и флексии. В китайском языке слово морфологически не изменяется, поэтому морфологически неизменным оно остается и в предложении. Тем бóльшую роль играют в корневых языках факторы синтаксические.

Нельзя, однако, характеризовать корневые языки, и прежде всего язык китайский, только соотнositельно с языками европейскими. К сожалению, так часто делают, но это неправомерно.

Дело в том, что китайский язык имеет свои специфические, очень важные и многообразные грамматические средства, которых нет в индоевропейских языках. Такова, например, «категория переменного признака» для выражения особой группы предикативных прилагательных, близких к глаголу («погода холодна»), в отличие от «категории постоянного признака», когда говорящий подчеркивает наличие того или иного более постоянного признака в предмете или понятии («холодная погода»). В китайском языке различие между *leng tianki* — «холодная погода» и *tianki leng* — «погода холодна» — это не только различие между атрибутивным и предикативным характером словосочетания, как, например, в русском, но, кроме того, дополнительно здесь выражено и различие между постоянным признаком «погоды» в первом случае (категория длительного состояния) и временным ее признаком — во втором¹. Богатство оттенков в китайском языке обнаруживается, в частности, во множестве подобных специфических построений.

Следовательно, когда рассматриваются так называемые корневые языки, нельзя весь вопрос сводить к тому, что эти языки не имеют той морфологии, какая имеется, например, в русском или латинском языках. Нужно раскрыть те многообразные грамматические особенности, которые специфичны для кор-

¹ См. по этому поводу: Драгуновы Е. и А. Части речи в китайском языке // Советское языкознание. 1937. Т. III. С. 119 и сл.

невых языков. Именно поэтому термин «аморфные языки», т.е. бесформенные, следует признать неправильным по отношению к корневым языкам, как и к любым другим. Язык не может быть «бесформенным» даже в том случае, если слова этого языка не знают форм словоизменения. Ведь, кроме форм словоизменения, в языке могут бытовать другие формальные признаки слов: определенная и строгая сочетаемость слов, определенная и строгая взаимосвязь их и т.д. Хотя эти формальные признаки относятся к синтаксису, они не делаются от этого менее существенными для грамматики данного языка. Поэтому следует сохранить различие, предложенное в свое время Л.В. Щербой, между понятием «формальных признаков слова» (понятие более широкое) и «формой слова» (понятие узко морфологическое)¹.

Изучение строя китайского языка очень расширяет круг обычных грамматических представлений, выработанных лишь на материале индоевропейских языков.

Структура слова в *агглютинативных языках* характеризуется большим количеством особых «прилеп» (аффиксов), обычно прибавляемых к неизменяемой основе слова (отсюда и название этих языков от латинского *agglutinare* — «склеивать», т.е. языки, в которых аффиксы как бы приклеиваются к основе слова).

Рассмотрим построение одного предложения в таком агглютинативном языке, каким является турецкий. *Yaz-ama-yor-sunuz* — «вы не можете писать», букв. «писать + не мочь + теперь + вы». Основа *yaz* — «писать». Затем к этой основе прибавляется аффикс («прилепа»), имеющий наиболее широкое значение, после чего следуют аффиксы в порядке все более и более уточняющих и «частных» значений. В нашем примере наиболее общей (после основы) категорией оказывается «категория невозможности» (отрицание; «не мочь что-либо делать»). Поэтому вслед за основой следует аффикс, передающий именно эту категорию (*ama*). Затем идет более «узкая» категория настоящего времени индикатива (аффикс *yor*), которая, в свою очередь, шире категории 2-го лица (аффикс *sunuz*): в «категории

¹ См.: *Щерба Л.В.* О частях речи в русском языке // Русская речь. Новая серия. II. Л., 1928. С. 6. Развитие этих положений Л.В. Щербы см. в статье: *Солнцев В.М.* Проблема частей речи в китайском языке // ВЯ. 1956. № 5. С. 27 и сл., а до него в кн.: *Драгунов А.А.* Исследования по грамматике современного китайского языка. М., 1952. С. 9 и сл. Иную точку зрения (узко морфологическую) защищает П.С. Кузнецов в кн.: *Кузнецов П.С.* Морфологическая классификация языков. М., 1954. С. 16.

невозможности» может быть любое наклонение, любое время, любое лицо. Но категория времени (аффикс *yor* — «теперь»), оказывающаяся более «узкой» по сравнению с категорией невозможности, является более «широкой» по сравнению с категорией лица, так как внутри самой категории времени могут выступать как 1-е, так и 2-е и 3-е лицо.

Таким образом, на основу нанизываются своеобразные аффиксы («прилепы»), каждый из которых имеет только одно, строго определенное значение. Они располагаются в порядке, определяемом принципом: от аффиксов с более широким значением к аффиксам с более частным и менее широким смыслом¹.

Аффикс агглютинативного турецкого языка не может выражать сразу несколько значений, что наблюдается обычно, например, в окончаниях флективных языков. В *получу* флексия *у* передает одновременно и категорию лица (1-е), и категорию времени (настоящее), и категорию наклонения (изъявительное), и категорию числа (единственное). Основа в турецком языке всегда остается без изменений. Поэтому в нем вовсе не оказывается так называемых неправильных глаголов, морфологических исключений и тому подобных явлений флективных языков.

Приведем пример своеобразного наращивания аффиксов в том же турецком языке: *sev* — «люби», *sevmek* — «любить», *sevmeksizin* — «не любя», *sevişmeksizin* — «не любя друг друга», *sevdirmeksizin* — «не заставляя любить», *sevişdirmeksizin* — «не заставляя любить друг друга» и т.д. Во всех случаях основа слова (*sev*) остается без изменений. Следует отметить также подвижность аффиксов в агглютинативных языках. Аффиксы легко отрываются от своей основы, а в образовавшееся «пространство» могут проникать поясняющие слова. Подобные явления не наблюдаются в языках флективных.

Для флективных языков характерны: 1) широкое использование самых разнообразных флексий, не только внешних (*стол* — *стола* — *столы*), но и внутренних (*избегать* — *избежать*); 2) полифункциональность аффиксов, которые приобретают различ-

¹ См.: Дмитриев Н.К. Строй турецкого языка. Л., 1939. С. 25 (из серии «Строй языков», которая издавалась в 1935–1939 гг. Ленинградским университетом; это очень полезное и нужное издание, к сожалению, не было продолжено впоследствии; всего вышло 12 выпусков). В Институте народов Азии публиковалась другая серия книг, преследующая несколько иные цели, — «Языки народов Азии и Африки», под общей редакцией Г.П. Сердюченко. Учебным характером отличается серия «Языки мира» (издание МГУ).

ные значения (*ноги* — окончание *и* обозначает множественное число и именительный падеж); 3) крепкая спаянность всех морфем в слове, не позволяющая им сравнительно свободно передвигаться внутри слова, как в языках агглютинативных (образования типа *блюдолиз* — *лизоблюд* во флективных языках являются очень редкими); 4) вместе с тем аффиксы могут занимать различное положение по отношению к корню, выступая то в виде суффиксов, то в виде префиксов, то в виде инфиксов; 5) слово выдвигается как своеобразная «автономная» единица, сама несущая в себе соответствующие показатели своего отношения к другим словам в словосочетании или предложении (например, в предложении *он мыслит последовательно* слово *мыслит* уже своей формой показывает, что речь идет о глаголе 3-го лица единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения; все это обнаруживает отношение данного слова к другим словам в предложении).

Эта сравнительная «автономность» слова во флективных языках противостоит недостаточно его «автономности» в языках аналитических и корневых.

Говоря о флективных языках, нельзя не отметить, что более широкая морфологическая классификация по трем языковым типам (корневые, агглютинативные, флективные) *перекрещивается* здесь с более специальной морфологической классификацией по двум языковым типам (флективные и аналитические языки), обычно относимой лишь к индоевропейской семье языков. В самом деле, и в первом и во втором случае встречаются флективные языки, которые выступают как связующее звено между двучленной и трехчленной — иногда превращаемой в четырехчленную вместе с языками инкорпорирующими — морфологической классификацией языков.

Чтобы понять, как происходит это пересечение различных групп в пределах все той же морфологической классификации, надо иметь в виду то, что уже было отмечено выше: трехчленная классификация вместе с дополнительной группой инкорпорирующих языков (о них ниже) охватывает все языки мира, тогда как противопоставление флективных и аналитических языков родилось в рамках индоевропейской семьи.

Все древние индоевропейские языки, как и индоевропейский язык-основа, были некогда языками флективными. Аналитические тенденции, неодинаково проникшие в разные группы языков, развились у них позднее. Так возникла необходимость

на почве уже индоевропейских языков противопоставить флективные языки языкам аналитическим, хотя совсем в другом плане флективные языки оказались вместе с тем и в большой морфологической классификации, относимой не только к индоевропейским, но и ко всем языкам мира.

Так перекрещивается морфологическая классификация языков с классификацией внутри одной языковой семьи (гл. V). Отрешаясь, однако, от определенной языковой семьи (а непосредственная связь с языковыми семьями для морфологической классификации в целом не характерна), флективные языки объединяют разные языковые семьи (например, индоевропейские языки с языками семитическими, в частности с арабским), подобно тому как аналитические языки могут охватывать такие индоевропейские, как, например, английский и французский, вместе с неиндоевропейским китайским языком, для которого также характерны аналитические тенденции (например, грамматическая роль порядка слов).

Итак, в перекрещивающихся типах морфологической (типологической) классификации обнаруживаются как сильные ее стороны (важность разграничения различных видов структуры слова), так и слабые (чрезмерно большое внимание, уделяемое флексии, наличие элементов одной структуры в системе другой и т.д.).

Еще более сложны основания, позволяющие выделить *инкорпорирующие (полисинтетические)* языки. Если такие морфологические типы языков, как корневые, агглютинативные и флективные, устанавливались на основе анализа прежде всего *структуры слова*, то инкорпорирующие языки определяются по синтаксическим признакам, на основе *анализа предложения*¹.

Характеризуя инкорпориацию в чукотском языке, крупный знаток палеоазиатских языков В.Г. Богораз отмечал, что осо-

¹ Инкорпорирующие языки, т.е. языки «вчлняющие» (от латинского *in + cogroare* — «воплощать»), впервые выделил В. Гумбольдт в 1822 г. в работе «О происхождении грамматических форм и их влиянии на развитие идей». Более подробно свою классификацию языков В. Гумбольдт изложил в обширном введении к исследованию языка Кави на острове Ява (см.: *Гумбольдт В. О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода* / Рус. пер. П.С. Билярского. СПб., 1859). Отрывки из этого сочинения Гумбольдта см. в хрестоматии: *История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях* / Сост. В.А. Звегинцев. Ч. I. М., 1960. С. 68–86. О взглядах на язык современников Гумбольдта см.: *Fiesel E. Der Sprachphilosophie der deutschen Romantik*. Tübingen, 1927. S. 110–120.

бенность этих языков состоит «в способности объединять в одной грамматической форме несколько основ, выражающих различные понятия. Одно слово-комплекс может включать в себя два, три и даже больше основ. Типичное для чукотского языка предложение состоит из нескольких таких слов-комплексов»¹.

Приведем пример из другого полисинтетического языка. На языке чинук (североамериканский индейский язык в штате Орегон), как отмечал в свое время другой видный знаток полисинтетических языков Э. Сепир, предложению *Я пришел, чтобы отдать ей это* соответствует только одно слово *i-n-i-á-l-u-d-am*. Это единое слово, с одним ударением, состоит из корневого элемента *d* — «давать», шести функционально различных префиксальных элементов и одного суффикса: *i* указывает на то, что прошедшее время, *n* передает местоименный объект «я», *i* — местоименный объект «это», *a* — местоименный объект «ей», *l* — предложный элемент, *u* — показатель движения прочь от говорящего, что же касается суффикса *am*, то он уточняет пространственное значение глагола².

Таким образом, то, что в индоевропейских языках выражается в системе целого предложения, в языках инкорпорирующих (полисинтетических) может передаваться с помощью только одного слова. Субъектно-объектные отношения индоевропейского предложения как бы «вчлняются», входят в состав одного слова в подобных языках. Отсюда и название этих языков: полисинтетические, т.е. «многообъединяющие», или инкорпорирующие, т.е. «вчлняющие»³.

Выделение инкорпорирующих языков не может основываться на анализе структуры слова, ибо в подобных языках она обычно выступает как структура целого предложения. Тем самым вновь осложняется общий принцип морфологической классификации языков: языки корневые, агглютинативные и флективные основываются на анализе структуры слова, языки инкорпорирующие — на анализе таких отношений, которые в большей степени оказываются синтаксическими, нежели морфологическими. Эта непоследовательность классификации определяется, однако, спецификой самого изучаемого объекта.

¹ Богораз В.Г. Луораветланско-русский (чукотско-русский) словарь. М., 1937. С. XIV.

² См.: Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи / Рус. пер. М., 1934. С. 55.

³ История изучения языков подобного грамматического строя, существенного для понимания многообразия типов грамматического построения в языках мира, освещена в кн.: Вдовин И.С. История изучения палеоазиатских языков. М.; Л., 1954.

Морфологическая (типологическая) классификация языков не объясняет путей исторического развития отдельных групп языков. В этом ее основной недостаток. Все попытки, предпринятые в истории языкознания, показать, какие закономерности наблюдаются в переходе языков, например, от корневого состояния к агглютинативному или от агглютинативного к флективному, не привели к каким-либо положительным результатам. Больше того, старая схема, согласно которой все языки будто бы обязательно развиваются от корневого состояния к агглютинативному, а от последнего к флективному строю, оказалась при более пристальном изучении фактов неправильной. Схема эта была сконструирована априорно и не соответствовала языковым данным. Отдельные случаи развития элементов того или иного морфологического строя в системе другого строя безусловно наблюдаются, но они являются следствием того, что чистых морфологических типов языков обычно не существует и что разные морфологические типы могут взаимодействовать между собой.

Еще менее состоятельным оказалось предположение, согласно которому флективные языки будто бы являются «венцом творчества», а языки других морфологических типов должны находиться на соответствующих ступенях ниже.

Между тем уже Н.Г. Чернышевский зло высмеивал «флектирующих ученых», у которых получается так, будто аморфные (корневые) языки — это «языки глупых народов», агглютинативные — это «языки не совсем глупых народов, но и не умных народов», а флективные — это «языки народов очень умных». «За истины, не подлежащие сомнению, — продолжал Чернышевский, — приняты фантастические мысли о тождестве языка и мышления, и вышли нелепые выводы»¹.

Развитие и совершенствование того или иного языка обычно не обуславливается его переходом из одного морфологического типа в другой. Развитие чаще всего протекает в пределах одного морфологического типа. Китайский язык был корневым в глубокой древности. Корневым он является и теперь. Это не помешало, однако, китайскому языку развиваться: обогатился и вырос его словарный состав, уточнились его грамматические правила. Язык может успешно развиваться в пределах данного морфологического типа — внутри корневых структур с таким

¹ Чернышевский Н.Г. Очерк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории // Соч. Т. X. Ч. 2. СПб., 1906. С. 106.

же успехом, как и внутри флективных или агглютинативных структур и т.д. В тех же случаях, когда меняется морфологический тип языка, обычно не в этом непосредственном изменении обнаруживается прогресс языка.

Аналитический строй современного английского языка существенно отличается от флективного строя англосаксонского. Однако сам по себе этот факт еще не определяет прогресса языка. Прогресс обуславливается не непосредственной техникой морфологических средств языка, а тем, что и как выражается с помощью этой техники. В историческом процессе совершенствования языка обнаруживается в общей дифференциации его грамматических средств, в шлифовке грамматических правил, в непрерывном движении типов сочетаемости слов и т.д. Подобные тенденции могут использовать новые аналитические средства языка, но не сами по себе эти средства, как и не сами по себе флективные или агглютинативные ресурсы, определяют прогресс в развитии языка. Недаром английский язык, будучи аналитическим, относится вместе с тем к флективным индоевропейским языкам («аналитическо-флективный», как внутреннее членение в пределах флективных индоевропейских языков).

Сказанное, однако, отнюдь не означает, что грамматические средства языка вообще безразличны к степени его развития. Как было показано ранее в другом разделе, в истории русского языка на смену одной старой возможности типа *выходить дверью* пришли иные, более разнообразные и дифференцированные возможности — *входить в дверь*, *выходить через дверь* и т.д. И дело здесь совсем не в том, что предлоги и предложные конструкции всегда «лучше» или всегда «хуже» падежных конструкций. Проблема решается не абстрактно-умозрительно, а конкретно-исторически: в определенных условиях функционирования того или иного языка развитие предложных конструкций могло способствовать общему совершенствованию грамматических ресурсов, точно так же как в других языках подобному совершенствованию могло способствовать развитие агглютинативных или инкорпорирующих средств грамматики.

В многообразии строевых элементов языка нужно видеть многообразие способов выражения грамматических связей в языках мира. Корневые и флективные, агглютинативные и инкорпорирующие языки обычно сосуществуют. В свою очередь каждый из этих языков подвергается своему закономерному внутреннему развитию.

При всех своих недостатках морфологическая, или типологическая, классификация языков имеет научное значение и представляет бесспорный интерес. И хотя генеалогическая классификация (гл. V) является основной и покоится на более строгих основаниях, чем классификация морфологическая, эта последняя существенна для понимания специфики грамматической структуры слов в разных языках мира¹.

¹ О типологической, или морфологической, классификации языков см.: *Мещанинов И.И.* Общее языкознание. К проблеме стадиальности в развитии слова и предложения. Л., 1940 (особенно с. 7–71); *Сенир Э.* Язык. М., 1934. С. 94–115 (глава «Типы языковой структуры»); *Скаличка В.* О современном состоянии типологии // Новое в лингвистике. Вып. 3. М., 1963. С. 19–35; *Успенский Б.А.* Принципы структурной типологии. М., 1962. С. 26–43; *Universals of Language. Report of a Conference / Ed. by J.H. Greenberg.* Cambridge, 1963 (обсуждение вопроса о некоторых универсальных чертах в языках мира). Вокруг типологических исследований современного американского лингвиста Дж. Гринберга, предложившего чисто количественный принцип изучения языковых структур, возникла оживленная полемика. С острой критикой этих работ выступил Мартине, назвавший их «перелицовкой системы Сепира на современный модный жаргон» (*Martinet A.* A Functional View of Language. Oxford, 1962. P. 67). Попытку обнаружить «рациональное зерно» в построениях Дж. Гринберга предпринял Б.А. Успенский в рецензии на кн.: *Гринберг Дж.* Языковые универсалии // ВЯ. 1963. № 5. С. 120.

Глава IV



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯЗЫКА





1. Постановка вопроса

До сих пор речь шла о самом языке, его лексике, фонетике и грамматике. Но возникает законный вопрос: как сложился язык, как люди научились говорить?

Истоки языка издавна привлекали к себе внимание человека. Еще задолго до возникновения языкознания как науки проблемой происхождения речи интересовались различные мыслители. Это и понятно: вопрос, как научился человек говорить, всегда был тесно связан с проблемой происхождения самого человека, а эта последняя часто связывалась с другой, еще более общей проблемой происхождения жизни на Земле. В древней Греции и древнем Риме зарождение языка интересовало Платона и Аристотеля, Лукреция и стоиков. В новое время этой проблемой занимались Локк и Лейбниц, Руссо и Гердер. В России вопрос о возникновении речи ставился уже Ломоносовым и Радищевым. В наши дни происхождение языка — это важная область исследований не только лингвистов, но и представителей целого ряда смежных дисциплин.

Следует строго расчленять две самостоятельные и совершенно разные проблемы: проблему происхождения языка (речи) вообще — как человек научился говорить, выражать свои мысли, и другую проблему — как возникают те или иные отдельные языки, например русский или японский, английский или азербайджанский. Если во втором случае приходится иметь дело с историческим возникновением того или иного отдельного языка или группы родственных языков, возникновением, часто происходящим на глазах у истории, то в первом — исследователь обращается к предыстории, к далекому прошлому.

Здесь можно провести такое сравнение. Различие между изучением проблем происхождения речи, с одной стороны, и изучением возникновения отдельного конкретного языка — с другой, напоминает различие, существующее между изучением древнейших следов культуры вообще и возникновением культуры отдельного, ныне существующего народа.

Историк древнейшей первобытной культуры черпает свой материал со всех точек земного шара, доступных его взору и его эрудиции, тогда как историк культуры отдельного современного народа, имея дело с совсем другой эпохой, ограничивает себя конкретной исторической задачей.

Происхождение отдельного языка можно исследовать чисто историческими и лингвистическими методами. Но этих методов оказывается недостаточно для изучения проблемы происхождения речи. Здесь на помощь историку и лингвисту должны быть привлечены данные, добытые философами, психологами, этнографами, историками первобытной культуры и другими представителями смежных дисциплин.

Хотя лингвисту, обращающемуся к вопросу о происхождении языка, приходится иметь дело с очень отдаленным прошлым, однако естествоиспытатель, занимающийся проблемой происхождения жизни на Земле, обращается к еще более далеким временам, а геолог, исследующий образование Земли, оперирует уже миллионами и десятками миллионов лет.

Несмотря на то, что человечество существует на земном шаре более одного миллиона лет, человек стал человеком именно с тех пор, когда у него возникли — пусть еще очень примитивные — мышление и речь¹.

Интерес к проблеме происхождения языка, возникший очень давно, уже в философских построениях древних индусов и древних греков, не ослабевает и в настоящее время. Решение и освещение этой проблемы всегда зависело и зависит от общих философских устремлений того автора, который занимался ею. Поэтому как в древние времена, так и в настоящее время существовали и существуют *две основные концепции* происхождения языка — материалистическая и идеалистическая.

В свою очередь в системе каждой из них возможны были различные варьирования.

2. Две концепции происхождения языка

Постановка вопроса о происхождении языка как части общепhilosophического вопроса о происхождении человека и природы была особенно характерной для древнегреческих мыслителей

¹ См.: Косвен М.О. Очерки истории первобытной культуры. М., 1953. С. 3.

лей. «У греков, — писал Энгельс, — именно потому, что они еще не дошли до расчленения, до анализа природы, — природа еще рассматривается в общем, как одно целое. Всеобщая связь явлений природы не доказывается в подробностях: она является для греков результатом непосредственного созерцания. В этом недостаток греческой философии, из-за которого она должна была впоследствии уступить место другим воззрениям. Но в этом же заключается и ее превосходство над всеми ее позднейшими метафизическими противниками»¹. Древнегреческие мыслители были *сильны* тем, что любой частный философский вопрос они связывали со своими основными воззрениями на природу и человека. Но вместе с тем, отходя в рассмотрении каждой частной проблемы в сторону общих вопросов, они ставили эту проблему очень общо, без анализа большого конкретного материала, непосредственно к ней относящегося. В этом сказалась известная *слабость* древнегреческой философии, отчасти объясняемая тем, что разработка каждой частной области знаний находилась тогда еще в начальном состоянии.

Отмеченные преимущества и недостатки античной философии отчетливо обнаружались и в размышлениях на тему о том, как человек научился говорить.

Вопрос о происхождении языка у большинства античных мыслителей был с самого начала несколько смещен в сторону вопроса о характере связи между именем и предметом, обозначаемым этим именем. Проблема происхождения языка интересовала философскую мысль того времени в связи с общей теорией познания.

Как понимать связь имени и предмета? Какова природа этой связи? По этому вопросу в античной философии существовали две точки зрения. Согласно одной из них, связь между именем и предметом возникла по установлению самих людей (*théseis*), не путем божественного откровения. Согласно другому мнению, напротив того, связь эта рассматривалась как изначальная, данная самой природой (*phüsei*), ниспосланная свыше. Материалистическая концепция языка того времени в целом основывалась на первой теории, идеалистическая — на второй.

Виднейший мыслитель-материалист V в. до нашей эры Демокрит утверждал, что имена произошли «от установления», и обосновывал это четырьмя умозаключениями: «От равноименности: различающиеся между собой вещи называются одним

¹ Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М., 1957. С. 314.

именем, стало быть, имя не от природы. Затем — от многоименности: если различающиеся между собой имена подходят к одной и той же вещи, то, стало быть, они подходят и друг к другу, а это невозможно. Третье — от перемены имени: на каком основании мы переименовали бы Аристокла в Платона, а Тиртама в Теофраста, если бы имена были от природы? Затем — от недостатка в сходных образованиях: на каком основании мы от *phrónesis* (разумность) говорим *phronein* (быть разумным), а от *dicaiosiine* (справедливость) уже не образуем такого производного? Стало быть, имена от случая, а не от природы¹.

Развивая свою атомистическую теорию, Демокрит учил, что подобно тому как вещь состоит из сцепления атомов, так и «имя» (слово) состоит «из букв». Изменение одной «буквы» может изменить и «имя», как изменения в составе атомов приводят к изменению самой вещи. «Вещи» отличаются друг от друга неодинаковой «фигурой атомов», различным способом их сочетаний, наконец, положением самих атомов. И подобно тому как из отдельных атомов образуются тела, а из простых тел — сложные, так и в языке из «букв» возникают слоги, а из слогов — имена. В свою очередь и «речь» (*logos*) представляет собой сцепление своеобразных атомов: имя, речение, предложение.

Для своего времени материалистическая атомистическая теория Демокрита имела большое положительное значение. Она рассматривала все явления как последовательное развитие материальных атомов, широко вводила в науку понятие связи и причинности.

Обращая внимание на многозначность слов и на многоименность вещей (будущие понятия полисемии и синонимии), Демокрит выступал против так называемой естественной теории происхождения языка, согласно которой сам язык есть «природный дар», предопределенный свыше.

Позиция, занятая Демокритом в споре сторонников теории «природной» связи между именем и вещью со сторонниками теории «установления», оказалась своеобразной. В решении этого вопроса Демокрит различал первичные слова и слова позднейшие. Первичные слова, по Демокриту, являются отображениями самих вещей и возникли естественным путем, как результат воздействия предметов внешнего мира на человека. Эти слова,

¹ Античные теории языка и стиля. Л., 1936. С. 33. В этом сборнике-хрестоматии собраны наиболее интересные суждения о языке и стиле крупнейших мыслителей античной эпохи.

по выражению Демокрита, являются «звучащими статуями», т.е. звуковыми отображениями вещей. Что же касается сложных слов, образовавшихся в процессе дальнейшего развития языка, то они, по мнению Демокрита, составлены искусственно и имеют условное значение.

Но Демокрит занял не просто «промежуточную позицию» между сторонниками теории «природы» и теории произвольного «установления». Он своеобразно улучшил каждую из этих теорий, материалистически истолковав «природный путь» не как результат вмешательства «свыше», а как результат воздействия предметов внешнего мира на человека. Что касается сложных слов, то они получили у Демокрита истолкование согласно принципам теории «установления»¹.

Попытки материалистического осмысления происхождения имен у Демокрита и его последователей противостояли всевозможным идеалистическим истолкованиям возникновения языка. В своем диалоге «Кратил» уже в IV в. до нашей эры Платон всячески подчеркивает роль первоначального «творца имен» (или даже «творцов имен»), значение индивидуального начала в возникновении языка. Хотя диалог Платона построен так своеобразно, что в его второй части отрицаются выводы первой, все же можно утверждать, что Платон уже далек от той постановки вопроса, которая была характерна для Демокрита. Мир идей, по учению Платона, образует свое особое, «истинное бытие», чувственные же восприятия вторичны и производны от духовного мира идей. Вот почему в своем диалоге Платон, хотя и стремился доказать, что знание должно быть основано на исследовании вещей, а не имен, философ вместе с тем склонен был рассматривать сами эти имена как автономное царство, не зависящее от вещей.

Понимание роли *общения* людей в процессе возникновения языка, характерное для Демокрита и его последователей, было совершенно чуждо индивидуалистической концепции Платона. Так, в античных языковых построениях уже наметились два основных направления в истолковании проблемы происхождения языка — материалистическое и идеалистическое².

¹ Демокрит в его фрагментах и свидетельствах древности. М., 1936. С. 141–144; см. также: *Маковельский А. О.* Древнегреческие атомисты. Баку, 1946. С. 160.

² Иное освещение вопросов см. в кн.: *Derbolav J.* Der Dialog «Kratylos» im Rahmen der platonischen Sprach- und Erkenntnisphilosophie. Publications de l'Université de la Sarre. Sarrebrück, 1953.

Последователи Демокрита подчеркивали роль общения в процессе возникновения языка. Так, Диодор Сицилийский (V в. до н.э.) писал: «Первоначально люди жили неустроенной и сходной со зверями жизнью, выходили вразброд на пастбища и питались травой и древесными плодами. При нападении зверей нужда научила их помогать друг другу и, собираясь вместе от страха, они начали постепенно друг друга узнавать. Голос их был еще бессмысленным и нечленораздельным, но постепенно они перешли к членораздельным словам и, установив друг с другом символы для каждой вещи, создали понятное для них самих изъяснение относительно всего. А так как такие объединения имели место по всему миру, то язык оказался не у всех равнозвучным, поскольку каждые группы людей случайным образом составляли свои слова: отсюда разнообразие в характере языков, а первоначально возникшие объединения положили начало всем племенам»¹. Еще дальше в этом отношении идет знаменитый философ-материалист и поэт Лукреций Кар (I в. до н.э.), который в своей поэме «О природе вещей» (кн. 5, стих 1029) прямо заявляет, что «необходимость назвала вещи их именами» (*utilitas expressit nomina rerum*).

Античные теории происхождения языка формировались в связи с общими философскими вопросами познания как их своеобразная составная часть. Теории эти еще не имели самостоятельного значения. В этом была и сила античной философии и ее слабость. Сила — ибо значение языковых теорий особо подчеркивалось такой широкой постановкой вопроса, слабость — так как разработка вопроса о происхождении языка отодвигалась на задний план и заслонялась разработкой общих гносеологических предпосылок познания.

Дело вовсе не в том, что сама по себе философия будто бы мешала в те времена языкознанию, как то предполагал, например, датский историк языкознания Томсен². Мешала языкознанию не философия, а характер научных знаний того времени, неумение расчленять и анализировать отдельные частные вопросы, отдельные звенья целой цепи проблем. К тому же древнегреческие мыслители еще не имели понятия о том, как следует *сравнивать* свой родной язык с другими, и относились к другим языкам с нескрываемым презрением, как к языкам «варварским». Наконец, самый существенный недостаток науки того времени, как,

¹ Античные теории языка и стиля. С. 33.

² См.: Томсен В. История языкознания до конца XIX века / Рус. пер. М., 1938. С. 26.

впрочем, и науки последующих столетий, заключался в том, что тогда еще не существовало исторической точки зрения на различные общественные явления, в частности на язык.

Несмотря на эти серьезные недостатки, постановка вопроса о происхождении языка в античном мире сыграла немалую роль во всей дальнейшей истории изучения этой проблемы¹.

Средние века не внесли ничего принципиально нового в освещение вопроса о происхождении языка. Он ставился лишь в той мере, в какой в борьбе двух основных философских направлений того времени — номинализма и реализма — возникала необходимость в нем разобраться.

Номиналисты признавали реальными одни единичные предметы и считали, что общим понятием ничего не соответствует в действительности. *Реалисты*, напротив того, исходили из предположения, что общие понятия — так называемые универсалии — существуют, но якобы независимо от отдельных вещей. С точки зрения номиналистов общие понятия — это фикции, ибо в действительности функционируют лишь единичные названия единичных предметов, с точки же зрения реалистов общие названия, как и общие понятия, бытуют самостоятельно. Хотя номиналисты и были материалистами, однако они крайне односторонне подходили к вопросу о соотношении общего и единичного в языке — единичных названий и общих понятий — и не учитывали, что общие понятия, исторически возникая из единичных названий, тем самым вовсе не являются фикцией. Реалисты же, совершенно обособляя общие понятия от единичных предметов, предлагали истолкование общих понятий, будто бы не зависимых от практического опыта человека.

Диалектика общего и отдельного была совершенно не понята как реалистами, так и номиналистами. Вопрос о происхождении языка превращался у представителей этих двух философских направлений средневековья в другой — в вопрос о происхождении общих названий. Еще больше, чем в эпоху античности, вопрос о происхождении языка в средние века смешивался с другими гносеологическими проблемами².

¹ В то время как проблема происхождения языка в древней Греции и древнем Риме много изучалась, мы до сих пор мало знаем о том, как она ставилась в древнем Китае и древней Индии. Между тем известно, что вопросом о происхождении языка интересовались мыслители этих стран.

² См. некоторые материалы: *Чудинов А.* Очерки по истории языкознания. Развитие грамматических теорий в средние века. Воронеж, 1871; *Robins R.* Ancient and Mediaeval Grammatical Theory in Europe with Particular Reference to Modern Linguistic Doctrine. L., 1951. P. 5–25.

Интерес к проблеме происхождения языка значительно увеличивается в эпоху Возрождения. Характеризуя эту эпоху и ее новаторские тенденции, Энгельс подчеркивал, что «тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества»¹. Действительно, знание различных языков давало возможность философам того времени ввести известный элемент сравнения в постановку самого вопроса о происхождении языка. Если мыслители античной эпохи отгоняли от себя даже всякую мысль о возможности какого бы то ни было сравнения родного языка с языками «варварскими», то теперь положение начинает меняться: к рассмотрению проблемы происхождения языка привлекаются данные различных языков, и сама проблема расчленяется на две части — на вопрос о возникновении речи вообще и на вопрос о происхождении отдельных языков.

Это необходимое разделение проблемы, намеченное уже в эпоху Возрождения, будет, однако, окончательно проведено лишь в XIX столетии.

С XVII—XVIII вв. вопросом о том, как человек научился говорить, начинают заниматься выдающиеся мыслители и писатели разных стран. Не прослеживая в дальнейшем различных теорий хронологически, остановимся лишь на наиболее известных построениях.

Одна из широко распространенных теорий происхождения языка, развивавшаяся по преимуществу в XVII—XIX вв., но имеющая своих сторонников и в настоящее время, — это так называемая *звукоподражательная (ономатопэтическая) теория*. Согласно этой теории, как язык в целом, так и его отдельные слова представляют собой не что иное, как своеобразное звуковое подражание. Так, когда говорят что кошка *мяукает*, лягушка *квакает*, лошадь *ржет* и тому подобное, то в самих названиях этих глаголов (*мяукать*, *квакать*, *ржать*) звукоподражанием передают особенности данных действий. В глаголе *мяукать* как будто бы слышится *мяу-мяу*, которое издает кошка. Соответственно воспринимается *кваканье* лягушки, *ржанье* лошади и т.п.²

Но сторонники звукоподражательной теории обычно очень широко истолковывали самый принцип звукового подражания.

¹ Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 346.

² Sauvageot O. Portrait du vocabulaire. Paris, 1964.

Они не только усматривали его в таких бесспорных случаях, как *мяукать* или *квакать*, но и понимали его одновременно символически. Сами по себе звуки, как живые существа, наделялись способностью выражать различные чувства.

Так, уже поздний латинский писатель Августин (V в. н.э.) писал в своих «Началах диалектики», что название *mel* — «мед» «приятно ласкает слух», так как само это слово выражает «нечто сладкое», точно так же как слово *acer* — «острый, жесткий» соотвествует и «неприятному вкусу и неприятному слуховому впечатлению»¹.

Принципы звукоподражательной теории попытался обосновать в конце XVII и начале XVIII в. Лейбниц (1646–1716). Великий немецкий мыслитель рассуждал так: существуют языки производные, поздние, и существует язык первичный, «корневой», из которого образовались все последующие «производные языки». Возникновение «первичного языка» — это история того, как человек научился говорить, как возникла у человека речь; история же «производных языков» — это история возникновения отдельных языков. По мысли Лейбница, звукоподражание наблюдалось прежде всего в «корневом языке» и лишь в той мере, в какой «производные языки» развивали дальше основы корневого языка, они развивали вместе с тем и принципы звукоподражания. В той же мере, в какой производные языки отходили от корневого языка, их словопроизводство оказывалось все менее «естественно-звукоподражательным» и все более символическим².

По сравнению с Августином Лейбниц не только ограничивает сферу действия звукоподражательного принципа на разных этапах развития языка, но и пытается обосновать причину этого ограничения. Звук *l* может, по Лейбницу, выражать и «нечто мягкое» (*leben* — «жить», *lieben* — «любить», *liegen* — «лежать» и пр.), и нечто совсем другое, ибо «нельзя утверждать, что одну и ту же связь можно установить повсюду, так как слова *lion* (лев), *lynx* (рысь), *loup* (волк) отнюдь не означают чего-то нежного. Здесь, быть может, обнаруживается связь с каким-нибудь другим качеством, а именно скоростью (*Lauf*), которая заставляет людей бояться и принуждает бежать... В силу различных обстоятельств и изменений большинство слов чрезвычайно

¹ Эйкен Г. История и система средневекового мирозерцания / Рус. пер. 1907. С. 556.

² См.: Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разуме / Рус. пер. 1936. С. 245 и сл.

преобразовалось и удалилось от своего первоначального произношения и значения»¹.

Таким образом, в интерпретации Лейбница звукоподражательная теория несколько видоизменяется, выступает уже не в столь прямолинейном и наивном виде, как у Августина. Если даже и принять предположение о первоначальной «звукописи» слова, рассуждает Лейбниц, то в дальнейшей истории отдельных языков бо́льшая часть слов настолько преобразилась и настолько удалась от своих первоначальных источников, что в современных языках слова́ обычно уже не основываются на звукоподражании. Принимая звукоподражание как принцип происхождения языка, как принцип, на основе которого возник «дар речи» у человека, Лейбниц отвергает значение этого принципа для последующего развития языка.

Основной методологический недостаток звукоподражательной теории заключается в том, что ее сторонники рассматривают язык не как общественное, а как естественное (природное) явление. Язык — «дар природы», поэтому само его возникновение было обусловлено стремлением человека подражать звукам той самой природы, которая определяет язык вообще. В действительности язык является продуктом общества, поэтому звукоподражательная теория оказалась неверной уже в своих исходных положениях.

Явная несостоятельность звукоподражательной теории очевидна не только практически (количество слов типа *мяукать* — *квакать* в каждом языке обычно бывает ничтожно малым), но и теоретически (абстрактные понятия никак не могут быть выведены из «звукописи»). Тем не менее эта теория, хотя и с известными оговорками, все же до сих пор находит своих сторонников.

Так, например, швейцарский языковед Ш. Балли (1865–1947), уточняя и развивая некоторые положения Соссюра, стремился доказать, что область мотивированных слов (гл. I) в языке шире, чем предполагал Соссюр. Для доказательства данного положения Балли ссылаясь на звукоподражательные слова в разных языках. Подобного рода слова, по мнению исследователя, свидетельствуют о том, что в языке «не все произвольно». Так, Балли хочет ограничить сферу «немотивированных слов» языка за счет расширения сферы «природных слов», образованных в процессе подражания звукам природы².

¹ Там же. С. 247.

² См.: Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Рус. пер. М., 1955. С. 146.

Еще дальше в этом направлении идет французский лингвист М. Граммон (1866–1946), который всю вторую половину своей интересной книги о стихе посвящает тому, как звуки своей «живописью передают идею». По его мнению, все это очень напоминает времена, когда человек, овладевая речью, звуками подражал явлениям природы¹.

Когда говорят о звукоподражании, то следует строго отделять звукоподражательные элементы в языке от звукоподражания в поэзии. Роль первых ничтожна, роль вторых сравнительно велика.

Между тем, как показывают книга Граммона и другие исследования о стихе, различие это далеко не всегда проводится и еще меньше практически соблюдается. Оценка звукоподражательных элементов в языке уже дана была выше. Несколько иную функцию имеют звуки в поэзии. Здесь звуки не только способ существования языка, но и средство, приобретающее большую эстетическую функцию. Наряду со словами звуки особо подбираются и особо «расставляются». Отсюда звукопись в поэзии, о которой писали многие выдающиеся поэты.

По свидетельству Маяковского², его известное стихотворение «Сергею Есенину» представлялось поэту сначала в виде своеобразного ряда организованных звуков:

та-ра-ра (ра-ра) ра, ра-ра, ра (ра-ра)...

«Потом выясняются слова»:

Вы ушли ра-ра-ра-ра в мир иной³.

Было бы легко привести аналогичные суждения других выдающихся поэтов, подтверждающие то же⁴. И это понятно. Стих, передавая мысли и чувства пишущего, передает их, однако, не совсем так, как речь «обыкновенная».

Эта «необыкновенность» стиха определяется рядом факторов, в частности и только что подчеркнутой эстетической функцией

¹ Grammont M. Le vers français, ses moyens d'expression, son harmonie. 3 éd. Paris, 1923. P. 236–309.

² См.: Маяковский В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1951. С. 232.

³ Наряду со звуками велика функция ритма, организующего стих.

⁴ В несколько утрированной форме об этом много писал В. Брюсов (см., например, его кн.: Брюсов В. Мой Пушкин. М., 1929. С. 230). Более прав был М. Горький, когда в письме к Б. Пастернаку еще в 1927 г. тонко заметил: «Фонетика — это еще не музыка» (Литературное наследство. Т. 70. М., 1963. С. 301). Разнообразные мнения по этому вопросу крупных поэтов многих стран мира собраны в восьмой и десятой главах кн.: Нурок К. Das Leben der Wörter. Leipzig, 1923.

звуков. Звукоподражательная теория в поэзии по существу перестает быть чисто звукоподражательной в том смысле, в каком она применялась к возникновению речи. Поэты не только подражают звукам природы, но и внимательно прислушиваются к звукам уже готового, созданного и подчас очень развитого языка. Разумеется, и в поэзии решающая роль принадлежит *смысловым элементам языка*, однако не следует забывать и об эстетической функции звуков.

Итак, звукоподражание в поэзии нельзя связывать с звукоподражательной теорией происхождения языка. Теории эти различны по своему характеру и еще больше по тому материалу, на основе которого они вырастают.

Наряду с теорией звукоподражания широкое распространение в XVIII–XX вв. получила теория так называемого *эмоционального* происхождения языка. Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) в трактате о происхождении языков писал, что «страсти вызвали первые звуки голоса» и что «язык первых людей был не языком геометров, как обычно думают, а языком поэтов». «Первые языки, — утверждал Руссо, — были певучими и страстными, и лишь впоследствии они сделались простыми и методическими»¹.

У Руссо получалось так, будто «первые языки» были гораздо богаче последующих. В их лексике имелось множество синонимов, множество параллельных форм для выражения «богатства души» первобытного человека. Согласно общей концепции Руссо, «цивилизация испортила человека». «Природа сделала человека хорошим, цивилизация погубила его»². Вот почему и язык, по мысли Руссо, испортился и из более богатого, эмоционального и непосредственного сделался «сухим, рассудочным и методическим». Но если у Руссо это убеждение было окрашено в тона революционного протеста против феодальных порядков (отсюда призыв «назад к природе» и к «природному первобытному языку»), то у некоторых философов и лингвистов XIX и XX вв. оно превратилось в ошибочную доктрину регресса языка в ходе всякого исторического развития³.

¹ *Rousseau J.J. Œuvres complètes. Vol. XVI. Paris, 1798. P. 190.*

² Этой теме посвящен и роман Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762).

³ Например, у Гегеля в его «Философии истории» (Соч. / Рус. пер. Т. VIII. 1935. С. 60). Как это ни странно, такой выдающийся мыслитель, как Гегель, разделял широко распространенную в первой половине XIX в. наивную концепцию, согласно которой развитие языка происходило в доистории, а затем (в исторический период) наступило «падение языка». Эта концепция известна под названием двух периодов развития языка.

«Эмоциональная теория» Руссо получила своеобразное развитие в XIX–XX вв. и стала называться теорией *междометий*, теорией происхождения языка из междометий.

Один из защитников этой теории русский лингвист Д.Н. Кудрявский (1867–1920) считал, что междометия были своеобразными «первыми словами» человека. Междометия являлись наиболее «напряженными» эмоциональными словами, в которые первобытный человек вкладывал различные значения в зависимости от той или иной ситуации. По мнению Кудрявского, в междометиях звук и значение еще были соединены неразрывно. Впоследствии, по мере превращения междометий в слова, звук и значения разошлись, причем этот переход междометий в слова и был связан с возникновением членораздельной речи. Пока между звуком и значением существовала «естественная связь», междометия не могли превратиться в слова. По мере же того, однако, как первоначальная, «естественная» связь между звуком и значением стала расшатываться (по мнению Кудрявского, она была очень несовершенной), междометия, осуществлявшие эту связь, стали в таком количестве уже ненужными. Тогда междометия перешли в различные категории слов, образовав части речи. Так, своеобразно соединяя звукоподражательную теорию с теорией эмоциональных выкриков, Кудрявский трансформировал их в теорию междометий¹.

Эта теория оказалась далекой от материалистического истолкования происхождения языка, ибо здесь не было ни понимания языка как «практического реального сознания», ни понимания роли труда в процессе образования языка, этого важнейшего средства человеческого общения.

В своем «Трактате об ощущениях» философ-материалист Кондильяк (1715–1780) утверждал, что единственным источником нашего познания являются ощущения. Память, интеллект и язык — все это своеобразные разновидности наших ощущений. Хотя Кондильяк и стоял на позициях механистического материализма, односторонне сводя все многообразие духовной деятельности человека к простейшим ощущениям, однако им была дана попытка материалистического истолкования происхождения языка из ощущений. Материалистическую концепцию происхождения языка из ощущений, из потребности в общении самостоятельно развивал в своих философских сочинениях и

¹ См.: Кудрявский Д. О происхождении языка // Русская мысль. 1912. VII. С. 131.

Радищев, в особенности в трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии»¹.

Происхождение языка несколько иначе понимал видный немецкий мыслитель и писатель второй половины XVIII в. Гердер (1744–1803). В 1772 г. он публикует специальное сочинение — «О происхождении языка», в котором стремится уточнить и расширить доктрину Кондильяка. Гердеру казалось, что Кондильяк слишком сузил «основу первобытной речи». Не только в процессе общения с другими людьми, но и в процессе «самовыражения» формируется язык. Гердер один из первых попытался подойти к языку с исторической точки зрения. И хотя историческая концепция языка возникает в науке несколько позднее, в 10–20-х гг. следующего, XIX в., все же элементы историзма обнаруживаются уже у Гердера и у Руссо.

По мысли Гердера, язык является «летописью движения человеческого духа», он тесными узами связан с мышлением. Заслуга Гердера в том, что он стал развивать идею обоюдной зависимости языка и мышления. Язык может воздействовать на мышление, убыстрять или замедлять его развитие. И хотя терминология Гердера еще непоследовательна и противоречива, мысли писателя оказались важными и прогрессивными для того времени. Впоследствии тезис об активном воздействии языка на мышление и — шире — на всю культуру народа был развит замечательным лингвистом В. Гумбольдтом (1765–1835)².

Чтобы реальнее представить себе, как мог впервые возникнуть язык, лингвисты XIX и XX вв. стали все чаще и чаще обращаться к языку детей, к языкам так называемых нецивилизованных народов и, наконец, к историческим фактам индоевропейских языков.

Привлекая данные языка детей к решению проблемы происхождения языка, лингвисты несколько упрощали вопрос и рассуждали так: онтогенез (развитие отдельного существа) повторяет филогенез (развитие рода). Ребенок, усваивая язык, будто бы проходит в своем развитии все те этапы, которые некогда прошло человечество от первых выкриков до современной высокоразвитой речи. Но аналогия между языком ребенка и языком первобытного человека оказывается шаткой и по существу своему неправомерной. Ребенок растет в языковой среде, слы-

¹ См.: Радищев А.Н. Избранные философские сочинения. М., 1949. С. 273 и сл.

² Первая часть трактата Гердера о происхождении языка была переведена на русский язык и опубликована в издании: Гердер И.Г. Избр. соч. / Сост., вступ. статья и примечания В.М. Жирмунского. М.; Л., 1959. С. 133–156.

шит речь взрослых, которую он усваивает. Напротив того, человек на заре своего развития никакой готовой речи не слышал, поэтому овладение речью здесь протекало совсем иначе.

Все же изучение детской речи представляет бесспорный интерес для лингвиста. Что сначала начинают понимать дети, какие элементы словаря оказываются им доступными, как протекает процесс осмысления грамматики и ее норм, артикуляция каких звуков речи вызывает у них затруднения? Эти и подобные им вопросы, сами по себе важные и интересные, непосредственного отношения к проблеме происхождения языка, однако, не имеют. Поэтому детской речью филологи и психологи все чаще начинают заниматься как самостоятельной проблемой¹.

Более важны для проблемы происхождения языка данные тех современных языков, которые в силу тех или иных исторических причин не получили благоприятных условий для своего развития. Эти исторически менее развитые языки сохраняют в своем словаре и грамматическом строе много более старых черт, чем языки индоевропейские. Привлекая, в частности, языки австралийских, американских и африканских племен и народностей, исследователи стремятся установить общие закономерности развития языков в более древнюю эпоху, закономерности развития бесписьменных языков. Однако, рассматривая материал этих языков, нельзя забывать, что сами они уже прошли длительный и сложный путь развития, и часто принципиально отличаются от языков «первобытных».

Наконец, третий источник суждений о «первобытном языке» — наличие отдельных архаических слов, архаических значений и старинных грамматических конструкций в новых высокоразвитых языках. Таковы, например, супплетивные образования в грамматике (с. 322 и сл.), в известных случаях преобладание конкретных значений над абстрактными и т.д. Но, ставя вопрос об источнике этих явлений в новых языках, нельзя сводить их к «первобытному языку», ибо между последним и древнейшими из подобных образований в современных языках лежит огромный промежуток времени, исчисляемый многими тысячами лет. Конечно, старые явления в новых языках представляют известный интерес и для проблемы происхождения языка, однако

¹ О детской речи см. широко известную отличную кн.: *Чуковский К.* От двух до пяти. 13-е изд. М., 1958 (имеются и более поздние издания); см. также работу французского психолога: *Пиаже Ж.* Речь и мышление ребенка / Рус. пер. М., 1932 (особенно с. 231–266); *Гвоздев А.Н.* Формирование у ребенка грамматического строя русского языка. Ч. 2. М., 1949.

исследователь должен очень трезво оценивать их значение и не смешивать позднейшие факты с более древними, уходящими в доисторию.

В новейшее время интерес к проблеме происхождения языка не ослабевает, о чем свидетельствуют многочисленные работы, посвященные данной проблеме. Авторами этих работ являются преимущественно психологи.

3. Историческое освещение вопроса

Уже в ранней совместной работе, в «Немецкой идеологии» (1846), Маркс и Энгельс писали: «На “духе” с самого начала лежит проклятие — быть “отягощенным” материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков, — словом, в виде языка. Язык так же древен, как и сознание; язык *есть* практическое, существующее и для других людей, и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми. Там, где существует какое-нибудь отношение, оно существует для меня; животное не “относится” ни к чему и вообще не “относится”; для животного его отношение к другим не существует как отношение. Сознание, следовательно, с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди»¹.

В этих положениях подчеркнута, что: 1) сознание и язык не только возникают одновременно, но и не мыслимы друг без друга; 2) язык есть практическое действительное сознание; 3) язык возник из потребности людей в общении.

Следовательно, уже здесь не только дано определение языка, но и обрисовано, как возник язык и какова его важнейшая функция. Так как «дух», т.е. сознание, выступает с самого начала в определенном материальном обличье языка, то проблема происхождения языка неразрывно связана с проблемой происхождения сознания.

На большом конкретном материале, заключенном в книге «Немецкая идеология», Маркс и Энгельс показали, что означает связь языка и мышления в процессе их происхождения. Язык формировался у человека по мере того, как возникала потребность что-то сказать другим. Потребность же сказать, в свою очередь, сти-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 29.

мулировала развитие мышления. С начала своего возникновения язык и мышление оказались взаимно обусловленными.

Проблема происхождения языка получила дальнейшее развитие в работе Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека»¹. Здесь же Энгельс изложил свою точку зрения на возникновение языка в процессе труда. Трудовая теория происхождения языка Энгельса принципиально отличается от разнообразных трудовых теорий Нуаре, Штейнталя, Вундта и др.

Уже в конце 70-х гг. XIX в. с трудовой теорией происхождения языка выступил Л. Нуаре (1829–1889), который утверждал, что с древнейших времен звуки человеческого голоса сопровождали трудовые процессы. Так, сообщал Нуаре, когда матросы гребут, женщины прядут, солдаты маршируют, они «любят сопровождать свою работу более или менее ритмическими возгласами». Эти ритмические возгласы — своеобразная естественная реакция «против внутренней тревоги, вызванной мускульным усилием». Нуаре возражал против широко распространенного мнения, согласно которому древнейшими звуками человеческой речи были восклицания. Он считал, что ими были уже расчлененные слова, сопровождавшие трудовые усилия человека. Нуаре подчеркивал волевой момент в происхождении языка. Но для него язык и труд лишь параллельные явления, параллельные факторы. Язык лишь своеобразно «аккомпанирует» процессу труда. Язык мог сопровождать трудовые действия человека, но мог и не сопровождать. Нуаре склонен даже согласиться со своим предшественником Гейгером, который утверждал, что язык древнее человеческого труда и возник раньше, чем человек научился пользоваться орудиями труда².

Совсем иначе вопрос о роли труда в образовании языка ставит Энгельс. В противоположность типичной для социологии того времени теории взаимодействия, согласно которой на язык в одинаковой степени все влияет, Энгельс устанавливает *основные факторы*, определившие происхождение языка.

Труд и язык — это не случайно совпавшие параллельные факторы развития общества. Труд — это основной фактор, приведший к образованию языка. Труд — это не только источник всякого богатства, как обычно утверждали старые политэкономисты. «Но он еще и нечто бесконечно большее, чем это. Он —

¹ Включена в книгу Ф. Энгельса «Диалектика природы» (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 486 и сл.).

² Noiré L. Der Ursprung der Sprache. Mainz, 1877; Geiger L. Ursprung und Entwicklung der menschlichen Sprache und Vernunft. Stuttgart, 1868. S. 135.

первое основное условие всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого человека»¹.

В вышедшем еще в конце XIX столетия исследовании К. Бюхера «Работа и ритм» приводились интересные данные, подтверждающие глубокую связь языка с трудовой деятельностью человека. И хотя сам Бюхер был далек от последовательно материалистического истолкования подобной связи, факты, систематизированные автором, представляли большой интерес. У так называемых первобытных народов Бюхер собрал много песен, которые исполняются только во время работы. Известны специальные трудовые песни, сопровождающие работу на ручной мельнице, другие песни — при изготовлении пряжи, третьи — при посевах и срывании плодов. Известны также всевозможные хозяйственные и ремесленные рабочие песни и т.д.²

В мировой художественной литературе имеется немало примеров, своеобразно подтверждающих связь между трудом, словом и ритмом применительно к разным историческим эпохам, разным народам и разным культурным уровням этих народов. Вот две иллюстрации из новой литературы. *Пан, пан* напевают прачки во время стирки в романе Э. Золя «Западня»³. Совсем иными побуждениями руководствовался Левин (роман Л. Толстого «Анна Каренина»), когда он стремился уловить ритм работы косцов (в знаменитой сцене косьбы, ч. 3, гл. 5): «Чем доле Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая, делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты».

Генетически ритм тесно связан с трудовыми песнями, хотя ритм не всегда сопровождается возгласами. В этом случае возгласы оказываются внутренними, как бы невыраженными, а ритм более «высоким», глубже осознанным.

¹ Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 486.

² См.: Бюхер К. Работа и ритм / Рус. пер. с 4-го немецкого издания. М., 1923. С. 44 и сл. Более поздние данные можно найти в кн.: Kainz F. Psychologie der Sprache. Bd II. Stuttgart, 1943. S. 90–169, а также в статье: Слама-Казаку Т. О речевых коммуникациях в процессе труда (Studii și cercetări lingvistice. 1962. N 2. S. 227–244).

³ В русском переводе С. Заяицкого эта «песня прачек» Золя передана так:

«Раз! раз! Марго возле лохани,
Раз! раз! ударя вальком,
Раз! раз! омоет свое сердце,
Раз! раз! черное от горя».

Разумеется, современная связь между трудом, языком, песней и ритмом даже у так называемых первобытных народов уже очень далека от той связи, которая существовала между трудом и языком у колыбели возникновения человечества. Но все же современные данные представляют известный интерес для проблемы возникновения речи, хотя они и должны рассматриваться строго критически. К тому же современная фабрика с ее высокой техникой и строгим разделением труда ставит рабочего уже в совершенно другие условия.

Язык возникал вместе с мышлением в процессе трудовой деятельности человека в период выделения человека из животного мира, в период формирования самого человека.

Но чем же отличается язык человека от так называемого «языка» животных?

Проблема сложнее, чем это обычно кажется. В фантастическом романе современного французского писателя Веркора «Люди или животные?»¹ рассказывается о том, как в джунглях некоего тропического леса было обнаружено сообщество весьма странных существ, напоминающих людей. Одни стали утверждать, что эти существа — человекоподобные обезьяны, другие были убеждены, что наткнулись на первобытных людей.

Дилемма сразу же вызвала множество осложнений. Герой романа убил одно из таких существ (автор называет их *тропи*). Если убитый — человек, персонаж совершил страшное преступление, если убитое существо — обезьяна, состава преступления нет. Если тропи — люди, то изображенный в романе священник считает своим профессиональным долгом крестить их, но если странные существа не люди, священник рискует повторить святотатство Маэля, крестившего пингвинов.

Возникает жаркий спор между самыми различными лицами о том, какие признаки отделяют людей от животных. Сам Веркор не находит решения, а главный герой романа с грустью заключает, что люди не могут определить, чем человек должен отличаться от всего остального животного мира².

Между тем современной науке известны признаки, отделяющие людей от животных. Язык, сознание и труд — вот то, что выступает как важнейшая «пограничная зона». Но если язык, сознание и труд — это важнейшие демаркационные линии, отделяющие человека от высших животных, то как следует объяснить способность некоторых животных «понимать» человеческую

¹ См.: Веркор. Люди или животные? М., 1957.

² Эти же вопросы остаются без ответа и в более позднем фантастическом романе автора на сходную тему: *Vercors. Sylva*. Paris, 1961.

речь или произносить отдельные слова, какие произносят, например, попугай? Чем отличается психика человека от инстинкта животных? Все эти вопросы имеют большое значение для уяснения специфики языка человека.

О проблеме соотношения сознания и психики человека, с одной стороны, и инстинкта животных — с другой, существуют две основные точки зрения.

Идеалисты утверждают, что психика человека ничего общего не имеет с инстинктом животных. Сторонники этой концепции обычно подчеркивают, что связывать сложный мир психических представлений человека с инстинктами животных — это значит «унижать человека», не понимать особого, «высшего характера» его мышления. Эта открыто идеалистическая точка зрения, изолируя человека от всего остального животного мира, рассматривает сознание как «высший дар», ниспосланный человеку свыше. Против этой доктрины выступали, например, Чернышевский и другие сторонники идеи неразрывной связи сознания человека с инстинктом и психикой животных¹.

Внешне противоположную этой идеалистической концепции точку зрения защищают сторонники вульгарного материализма. По их мнению, психика человека ничем качественно не отличается от психики животного и представляет лишь чисто количественное различие: психика человека несколько больше развита, чем психика животного. Мозг, по убеждению вульгарных материалистов, точно так же выделяет мысль, как печень — желчь.

Таким образом, если идеалистическая концепция человеческой психики резко противопоставляет и изолирует ее от животной психики, то вульгарно-материалистическая доктрина, отождествляя психику человека с психикой животного, по существу также ликвидирует проблему *исторического формирования сознания* человека, как ликвидирует ее и идеалистическая концепция. Ни первая, ни вторая точка зрения не дает возможность разобраться в том, что же действительно связывает психику человека с психикой животного и что качественно отличает их друг от друга. Если человеческая психика не была бы связана с психикой животного, тогда ее возникновение представлялось бы загадочным и непонятным, но если она целиком сводилась бы к психике животного, тогда стало бы неясно, почему между человеком и животным существует *качественное* различие.

¹ См., например, такую работу Н.Г. Чернышевского, как «Антропологический принцип в философии» (1860).

На основе строго исторического изучения проблемы устанавливается, что психика человека, с одной стороны, тесно связана с инстинктами животных, а с другой — существенно от них отличается.

«Паук, — пишет К. Маркс, — совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т.е. идеально»¹. Эти положения ясно показывают, чем отличается труд и деятельность человека от «деятельности» животного. Последняя обычно носит инстинктивно-биологический характер, тогда как человек различает не только вещи, но и свое отношение к ним. Сознательный характер деятельности человека — вот то новое качество, которое отличает человека от животного.

Человек не только воздействует на природу, но, воздействуя на нее, сам изменяет свою собственную природу. Животное же не знает этого двойного отношения, оно вообще «ни к чему не относится». Эти важные положения намечают качественное различие между психикой человека и инстинктом животного.

Труд человека существенно отличается от «труда» животного. Хотя высокоразвитые животные производят подчас очень сложные и очень целесообразные движения, однако сами они не умеют изготавливать орудий труда. Отдельные отклонения лишь подтверждают правило. К тому же в тех случаях, в которых обнаруживается, что животное пользуется орудиями труда, назначение этих орудий и их роль в процессе эволюции самого животного организма оказываются существенно иными, чем их роль и их значение в процессе развития человека.

Плеханов приводит такой пример: слон может ломать ветки и отмахиваться ими от мух, следовательно, слон пользуется своеобразным орудием труда. Это интересно и поучительно. «Но, — замечает Плеханов, — в истории развития вида *слон* употребление веток в борьбе с мухами, наверное, не играло никакой существенной роли: слоны не потому стали слонами, что их более или менее слоноподобные предки обмахивались ветками. Не то с человеком»². В развитии вида *человек* орудия труда сыграли решающую роль.

¹ Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 189.

² Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. М., 1949. С. 133.

Эксперименты академика И.П. Павлова и его учеников, новейшие опыты советских зоопсихологов показали, как следует правильно понимать, с одной стороны, связь психики человека с инстинктом животного, а с другой — отличия между ними. Когда обезьяна, например, манипулирует с кубиками или ящиками, то ее действия обычно связаны с инстинктом добывания пищи. Моментов практического синтеза в процессе этого манипулирования не наблюдается. Но все же, помимо инстинкта добывания пищи, у обезьяны могут быть и другие, более отвлеченные инстинкты, например стремление к движению, которое может проявляться и независимо от пищевого устремления¹.

По-видимому, известные представления могут существовать и у высших животных. Так, когда исследователь прячет на глазах у обезьяны фрукты за перегородку, а затем незаметно подменяет их капустой — гораздо менее привлекательной для этого животного, то иногда происходит следующее: обезьяна направляется за перегородку, но, найдя там капусту, продолжает искать виденные ею прежде фрукты². Следовательно, обезьяна, составив себе известное «представление» о вкусных фруктах, не забывает этого представления, хотя его и стремятся «потушить», подсовывая ей капусту. Но все же и в этих случаях, в которых мозг обезьяны, казалось бы, поднимается на известную ступень абстракции, представление обезьяны опирается на конкретную ситуацию со вкусными фруктами и менее вкусной капустой.

Условные рефлексы животного оказываются более механическими, более ситуативно-чувственными, чем условные рефлексы человека.

Животное иначе «переживает» свои чувства, чем переживает их человек. Зоопсихологи проводили такой эксперимент: привязанного за ногу цыпленка, который продолжал пищать и трепетать, покрывали колпаком из толстого стекла, заглушавшего звуки. Наседка, ранее бурно реагировавшая на писк цыпленка, теперь, после того, когда цыпленок оказался под колпаком и его писк уже не был слышен, теряла всякий интерес к своему потомству и продолжала спокойно разгуливать вокруг стеклянного колпака, хотя и видела, как бьется и трепещет привязан-

¹ См.: *Войтонис Н.Ю.* Предыстория интеллекта. М., 1949. С. 45–46. Интересные материалы собраны и в книге польского ученого Я. Дембовского «Психология обезьян» (М., 1963. С. 239–260).

² См.: *Леонтьев А.Н.* Очерк развития психики. М., 1947. С. 41. Работа эта целиком вошла в более позднюю книгу автора «Проблемы развития психики» (М., 1959. С. 159–266).

ный за ногу цыпленок. Следовательно, писк цыпленка действует на наседку инстинктивно. У наседки нет представления о том, что необычное поведение цыпленка может быть признаком опасности, которой он подвергается.

Знаменитые опыты И.П. Павлова над собаками показали не только то, в чем обнаруживается *связь* психики человека с инстинктом животных, но и то, чем *они отличаются* друг от друга.

У высших животных обнаруживаются элементы известных представлений, и у них можно выработать условные рефлексы не только первой, но и второй и даже третьей степени. Так, представим себе, что у собаки вырабатывается условный рефлекс слюны на звук звонка (в результате неоднократных включений электрического звонка перед подачей пищи собаке у нее начинает появляться слюна уже при одном звонке до появления пищи). Экспериментатор осложняет опыт и вводит еще новый добавочный сигнал: перед звонком появляется яркий красный свет. Повторяя опыт несколько раз, исследователь достигает того, что слюна у собаки появляется уже при одном включении красного света. Следовательно, сначала красный свет, затем электрический звонок и только потом пища. Первоначально слюна выделяется только при виде пищи, затем при звуках звонка, наконец при появлении красного света. В мозгу у собаки вырабатывается и закрепляется целая цепь ассоциаций — условных рефлексов первой, второй и последующих степеней.

Но есть и глубокие отличия между психикой человека и инстинктом животных.

Это различие Павлов видел в речи человека, в его высшей мыслительной деятельности, в так называемой второй сигнальной системе. «Если наши ощущения и представления, относящиеся к окружающему миру, — писал он, — есть для нас первые сигналы действительности, конкретные сигналы, то речь... есть вторые сигналы, сигналы сигналов. Они представляют собой отвлечение от действительности и допускают обобщение, что и составляет наше, специальное человеческое высшее мышление... — орудие высшей ориентировки человека в окружающем мире и в себе самом»¹.

Хотя вторая сигнальная система вырастает на основе первой и сохраняет с ней прочные связи, между этими системами имеется и качественное различие.

¹ Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. М., 1938. С. 616.

Выступая как сигнал сигналов, слово оказывается не просто «раздражителем» (подобно другим предметным раздражителям), а раздражителем особого, высшего порядка. В слове как бы сосредоточивается весь опыт человека, «вся его предшествующая жизнь» (Павлов). Когда на человека воздействует словесный раздражитель, то человек обычно реагирует не столько на акустический образ слова, сколько прежде всего на его значение.

В этом плане интересен следующий опыт. Несколько раз сочетают воздействие так называемого безусловного раздражителя, например вспышку электрического света, со словесным раздражителем. Например со словом *тропинка*. У испытуемого вырабатывается условный рефлекс — понижение чувствительности зрения — не только при вспышке света, но и произнесении слова *тропинка*. Затем эксперимент усложняют и заменяют слово *тропинка* его синонимом — словом *дорожка*. Условно-рефлекторная реакция распространяется и на слово *дорожка*. Если испытуемый знает какой-либо иностранный язык и слово *тропинка* произносится на этом, ему известном языке, то результат оказывается таким же — понижается чувствительность зрения. Следовательно, на испытуемого слово оказывает воздействие прежде всего своим смыслом.

Иначе оказывается у животных. Если у животных вырабатывают условные рефлексы на определенные словесные раздражители, например *пиль*, *ату*, *ложись* и пр., то при более глубоком исследовании выясняется, что собака реагирует собственно не на слова, как средство выражения определенных значений, а лишь на известные комбинации звуков. Поэтому вместо *ложись* можно воскликнуть *жи* — и реакция будет такой же¹.

¹ См.: Орбели Л.А. Вопросы высшей нервной деятельности. М.; Л., 1949. С. 580. Показательны многолетние наблюдения над дикими зверями известного советского дрессировщика Б. Эдера, который пришел к заключению, что животные, прекрасно улавливая интонации человеческого голоса, никогда не понимают смысла произносимых при этом слов (*Эдер Б. Мои питомцы*. М., 1955. Гл. 2 и 3).

С выводами Л.А. Орбели согласуются наблюдения ученых последних лет. «Сообщение, — пишет Н. Винер, — имеющее место среди людей, отличается от сообщения между большинством других животных а) утонченностью и сложностью применяемого кода и б) высокой степенью произвольности этого кода... Вообще возможно, что язык животных передает прежде всего эмоции, затем сообщения о наличии предметов, а о более сложных отношениях не сообщает ничего» (*Винер Н. Кибернетика и общество*. М., 1958. С. 83). См. перечисление отличий языка человека от «языка» животных в статье Хокетта, помещенной в сборнике: *Universal of Language / Ed. by J. Greenberg. Massachusetts, 1963. P. 1—22.*

В этом и обнаруживается *качественное отличие* второй сигнальной системы, которая основывается прежде всего на инстинктивных реакциях. Собака реагирует только на звуки, человек — и на звуки, и на смысл, возникающий оттого, что звуки речи передают слова, а слова — значения. То, что доступно животному, доступно и человеку, но далеко не все, что доступно человеку, доступно животному.

Интересен эксперимент, проводившийся учениками Л.А. Орбели. Когда птенца растили в окружении чужого вида, он приобрел манеру пения, свойственную этому последнему. Но когда затем его пересадили к сородичам и «он услышал пение, свойственное его виду, то у него произошла очень сильная вегетативная реакция в виде взъерошивания перьев, остановки дыхания и т.д., а затем — стремительное переключение на его родное пение, впервые услышанное»¹.

Подобный эксперимент невозможен с человеком. Если ребенок одной национальности с детства слышит речь только другой национальности, то он нормально усваивает язык этой последней. Если же затем его перевести в среду языка его родной национальности, то он не поймет ни одного слова. И это понятно: язык не «природное» явление, а общественное. Напротив того, пение птиц определяется прежде всего «природной» их организацией и инстинктами, которыми они руководствуются.

4. Первобытное мышление. Роль жестов

При изучении вопроса о происхождении языка исследователи оказываются в трудном положении, так как любой из современных языков уже пережил то или иное развитие. Между тем науке важно установить, что представлял собой язык в момент самого его зарождения. Этим определяются стремления ученых изучить языки и мышление тех народов, которые в силу разнообразных исторических причин не получили хоть сколько-нибудь благоприятных условий для его развития.

Так в науке о языке, как и в науке об обществе, много раз возникала проблема первобытного мышления. В ее освещении долгое время преобладали теории, во многих отношениях противоположные друг другу. Согласно одной концепции, которая

¹ Орбели Л.А. Указ. соч. С. 477.

может быть названа *эволюционной*, первобытное мышление постепенно и незаметно превратилось в мышление более новое, а затем и современное. Стронники этой точки зрения (Спенсер, Тейлор и др.) были подвергнуты острой критике со стороны тех ученых, которые утверждали, что между современным мышлением и мышлением первобытного человека нет ничего общего. Эта новая точка зрения развивалась в XX столетии французами Дюркгеймом и Леви-Брюлем, немцем Кассирером и многими другими.

Согласно этой новой концепции, наиболее ярко выраженной французским этнографом и лингвистом Леви-Брюлем (1859—1939), мышление первобытного человека не знало логических категорий и поэтому было *алогичным* или *пралогичным*¹. Мышление современного человека, напротив того, определяется логическими категориями и по своему характеру логично. Леви-Брюль проводил резкую грань между этими двумя типами мышления и не видел между ними ничего общего. Хотя Леви-Брюлю удалось собрать интересный материал, относящийся к быту, нравам и языку многих австралийских и других племен и народов, однако его выводы оказались весьма спорными.

Дело в том, что в поступках и действиях «первобытных людей» есть своя логика, определяемая всеми условиями жизни этих племен и народов. Отказывать им в логике — значит не учитывать глубокой преемственности, существующей между логикой цивилизованных и логикой нецивилизованных народов. Такая позиция по существу своему антиисторична, а поэтому и несостоятельна.

Леви-Брюль и его последователи недостаточно учитывали и другое: если у «отсталых» племен и народов не развита та или иная особенность абстрактного мышления, то она обычно успешно компенсируется развитием другой способности, обычно непонятной или малопонятной европейским народам. Эту особенность мышления туземных племен и народов неоднократно отмечали беспристрастные наблюдатели и исследователи.

Знаменитый русский путешественник и ученый В.К. Арсеньев писал, например, что удэхейцы с реки Самарги (Уссурийский край) так искусно разбираются в сложных вопросах проекции тела, как не умеют этого делать европейцы². Чешские

¹ См.: *Леви-Брюль Л.* Первобытное мышление / Рус. пер. М., 1930. С. 95—147; *Его же.* Сверхъестественное в первобытном мышлении / Рус. пер. М., 1937. С. 253—290. В 1962—1963 гг. избранные произведения Леви-Брюля переизданы во Франции в шести томах.

² См.: *Арсеньев В.К.* В делях Уссурийского края. М., 1951. С. 531—536.

путешественники Ганзелка и Зикмунд в своей интересной книге об Африке рассказали, что африканские кафры так запоминают овец, которые пасутся под их наблюдением, что мгновенно могут отобрать пятьдесят голов скота из огромной отары, причем каждая из этих пятидесяти овец кафру представляется со столь же ярко выраженными индивидуальными особенностями, как европейцу люди. Кафры усматривают оттенки и различия там, где не замечают их европейцы¹. Таких примеров можно привести множество².

Если «эволюционисты» не видели качественных изменений в истории развития мышления, то сторонники пралогичного мышления усматривали такую глубокую пропасть между мышлением первобытных и современных людей, какую не могло перешагнуть историческое развитие. *Истории* мышления тем самым не получалось. Возникали замкнутые звенья отдельных, не связанных между собой типов мышления.

Но нельзя сводить историю мышления к чисто эволюционному процессу, не знающему качественных преобразований. Но нельзя утверждать и обратное, не видя преемственности там, где она имела и не могла не иметься.

Сказанное имеет прямое отношение к проблеме происхождения языка, так как его возникновение не отделимо от возникновения мышления. Языки первобытных племен точно так же связаны с языками последующих исторических эпох, как и мышление первобытных народов с мышлением народов более позднего времени.

При изучении происхождения речи встает еще одна большая и сложная проблема. Возник ли язык первоначально в одном месте, в одном человеческом коллективе, или с самого начала разные языки стали возникать одновременно? Проблема эта иначе формулируется так: моногенезис или полигенезис языка? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к данным истории первобытной культуры.

Согласно этим данным³, человек возник первоначально в одной, быть может, и довольно обширной области земного шара,

¹ См.: Ганзелка И., Зикмунд М. Африка грез и действительности / Рус. пер. Т. III. М., 1956. С. 117–118.

² В языках современных африканских негров или североамериканских индейцев уже нет ничего «первобытного». «Каждый из этих языков имеет уже сложившуюся форму и иногда тонкую и сложную грамматическую систему, относящуюся к тому или иному из многообразных типов речи» (Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков / Рус. пер. М., 1938. С. 81).

³ См., например: Косвен М. О. Очерки истории первобытной культуры. М., 1953. С. 12–13.

в сходных географических условиях. В противном случае пришлось бы допустить чудо. Трудно безоговорочно локализовать место возникновения человека. Можно лишь говорить о самом принципе моногенезиса.

Признание этого положения неизбежно приводит и к признанию *моногенезиса* языка. Современное многообразие языков является результатом последующего длительного развития. Сказанное не исключает, однако, того, что на сравнительно обширной области земного шара, на которой возник первоначально человек, одновременно мог образоваться целый ряд языков. Это тем более вероятно, что на той стадии развития человеческого общества отдельные языки объединяли, по-видимому, лишь небольшие группы людей. Тем самым моногенезис языка не исключает раннего многообразия языков мира (полигенезис).

Проблему происхождения языка часто связывают с вопросом о соотношении звуковой речи с так называемым «языком жестов».

Когда говорят о «языке жестов», то необходимо строго различать два плана — чисто исторический и синхронный (современное состояние языка). С исторической точки зрения нет оснований предполагать, что «язык жестов» некогда предшествовал звуковому языку, возник раньше этого последнего. Уже отмечалось, что язык с самого начала был связан с звуковой материей, что «отягощение» языка материей всегда выступало в виде звуков. Современные данные языков малоразвитых народов подтверждают, что нет такого народа, который не владел бы звуковой речью. Поэтому гипотеза Н.Я. Марра, согласно которой «язык жестов» (так называемая кинетическая речь) предшествовал звуковому языку, подверглась критике.

Другое дело, что у ряда народов, не получивших условий для благоприятного развития, экономически и культурно отсталых, «язык жестов» может играть более существенную роль в жизни общества, чем у развитых народов. Об этом свидетельствуют многочисленные исследователи¹. Но и в этих случаях «язык жестов» лишь *сосуществует со звуковым языком*, а не предшествует ему.

Иную функцию выполняют жесты в устной речи современных народов, говорящих на языках, располагающих богатой письменностью, обширным словарем, строгими грамматиче-

¹ См., в частности, большую главу о языке жестов в кн.: *Wundt W. Völkerpsychologie. Bd I. Die Sprache. Erster Teil. 4 Aufl. Stuttgart, 1921. S. 143–257*. Из поздних работ: *Jóhannesson A. Gestural Origin of Language. Reykjavík; Oxford, 1952*.

скими нормами. В подобных случаях жесты могут своеобразно *сопровождать* устную речь, подчеркивая одно, выделяя другое, обращая особое внимание слушателей на третье.

Лермонтов тонко заметил о своем Печорине, что последний «не размахивал руками — верный признак некоторой скрытности характера» («Максим Максимыч»), а Тургенев так передавал сцену объяснения Джеммы и Санина («Вешние воды», гл. XXIV): «Вы дрались сегодня на дуэли, — заговорила она с живостью и обернулась к нему... — И вы так спокойны! Стало быть, для вас не существует опасности. — Помилуйте! Я никакой опасности не подвергался. Все обошлось безобидно. *Джемма повела пальцем направо и налево перед глазами... Итальянский жест.* — Нет! Нет! Не говорите этого! Вы меня не обманете! Мне Пантелеоне все рассказал!» Здесь даже подчеркивается национальная специфика жеста. К. Федин рассказывает о большевике Кирилле Извекове, который в 1919 г. в Саратове выступал на митинге: «Он упрямо шагал под взглядами, приостанавливая себя на поворотах и — видимо, *для прочности речи* — изредка *перерубая кулаком воздух*» («Необыкновенное лето», гл. 37).

Любопытно, что, повествуя о событиях примерно тех же лет (1917 г. в Одессе), В. Катаев замечает: «Изредка он косо рубил перед собой кулаком — жест, без которого не обходился ни один оратор-большевик того времени» («Зимний ветер», гл. 23). Можно говорить, следовательно, не только о национальной, но и о временной специфике жеста (жесты большевиков-ораторов эпохи революции).

Жесты, наконец, могут быть детерминированы определенной профессией. Вот что сообщает Ст. Цвейг в очерке о вдохновенном итальянском дирижере А. Тосканини: «Даже совершенно чуждый музыке человек мог угадать по жестам Тосканини, чего он хочет и требует, когда отбивает такт... Тосканини мог всем своим гибким телом пластически, зримо воссоздать рисунок идеального звучания»¹.

Таким образом жесты приобретают специфику а) национальную, б) временную, в) профессиональную.

Они могут быть более наглядными и более отвлеченными. К первым относятся жесты *указательные* (*вот около того дома* — указание рукой или даже пальцем) и *изобразительные* (*витая лестница* — круговое движение рукой). Ко вторым — жесты *символические* (палец, приложенный к губам, — символ молчания,

¹ Цвейг Ст. Избранные произведения. М., 1957. С. 695.

покачивание головой — стыдно). Между этими основными типами жестов могут располагаться жесты «промежуточные», синтетические и т.д. Не подлежит сомнению вспомогательная и подсобная функция жестов по отношению к звуковой речи¹.

Проблема происхождения языка трудная и сложная. Ее всестороннее освещение требует совместных усилий и разысканий психологов, философов, историков, этнографов и лингвистов. И все же эта проблема по преимуществу лингвистическая, так как при ее постановке делается попытка осветить возникновение того общественного явления, которое изучается наукой о языке².

¹ О языке жестов современных австралийцев см.: Народы Австралии и Океании. М., 1956. С. 94–96 (здесь же приводятся образцы жестов и их истолкование); Григорьев Н.В., Григорьева С.А., Крейдлин Г.Е. Словарь языка русских жестов. М., 2001.

² Из литературы о происхождении языка см.: Спиркин А.Г. Происхождение сознания. М., 1960. С. 101–126; Леонтьев А.А. Возникновение и первоначальное развитие языка. М., 1963 (популярный отчет). Обзор (частично уже устаревший, но интересный исторически) различных взглядов по вопросу о происхождении языка (от античности до начала XX в.) можно найти в кн.: Погодин А.Л. Язык как творчество. Харьков, 1913. С. 364–554 (работа эта вышла в серии: Вопросы теории и психологии творчества. Т. IV. Харьков, 1913); Révész G. Ursprung und Vorgeschichte der Sprache. Bern, 1946. S. 3–25; Sommerfelt A. The Origin of Language (theories and hypotheses) // Cahiers d'histoire mondiale. 1955. N 4. P. 882–902; Universals of Language / Ed. by J. Greenberg. Massachusetts, 1963. P. 1–22; Assirelli O. La dottrina monogenistica di Alfredo Trombetti. Firenze, 1962. P. 360–390.

Глава V



ЯЗЫК И ЯЗЫКИ





1. Многообразие языков

Перед исследователем встает вопрос не только о том, как возник язык, но и о том, как развивались разные языки на протяжении их длительной истории.

Человек с определенного периода своего существования должен был столкнуться с тем, что не все люди говорят на одном и том же языке. Попадая по разным причинам в соседнее племя, он мог легко убедиться в том, что его языка здесь не понимают так же, как не способен был понять он сам звучащую вокруг него речь. Но в те отдаленные времена человеку сравнительно мало приходилось общаться с другими племенами, в силу этого подобные наблюдения он мог делать не так уж часто. Поэтому проблема многообразия языков возникает значительно позднее. Человеку долго казалось, что лишь тот язык, на котором говорит он сам, его родные и знакомые, все общество, где он бывает и среди которого он живет и работает, является «естественным» и «нормальным». Все же остальные языки, если уж и признать их реальное существование, являются «неестественными» и «варварскими».

Наивное представление о том, что только свой язык является «естественным», нашло свое выражение и в литературе различных народов. Все герои французского эпоса о Роланде (XI в.) говорят на французском языке, и неизвестному создателю этого эпоса, по-видимому, не приходило в голову, что французский посланник Ганелон, отправляющийся в стан вражеской армии сарацин, должен был объясняться не на своем языке, а на языке этих «неверных». Весь испанский колорит корнелевской трагедии «Сид» (1636) сводился к тому, что ее герои носили звучные испанские имена, хотя и изъяснялись на французском языке. Уже Данте помещает в девятый круг ада грешника за то, что по его вине «в мире стал не один язык», а много («Божественная комедия», I, XXXI). Писатель осуждает великана за нарушение «единства языка», в которое он верит. Наивному сознанию еще долго будет казаться, что лишь «свой язык» может быть понятным.

Гоголь зло иронизировал над этим ощущением в «Женитьбе» (действ. I, явл. XVI):

Анучкин. А как, — позвольте еще вам сделать вопрос, — на каком языке изъясняются в Сицилии?

Жевакин. А натурально, все на французском.

Анучкин. И решительно все барышни говорят по-французски?

Жевакин. Все-с решительно. Вы даже, может быть, не поверите тому, что я вам доложу: мы жили тридцать четыре дня, и во все это время ни одного слова я не слышал от них по-русски.

Анучкин. Ни одного слова?

Жевакин. Ни одного слова. Я не говорю уже о дворянах и прочих синьорах... но возьмите нарочно тамошнего простого мужика, который перетаскивает на шею всякую дрянь, попробуйте, скажите ему: «Дай, братец, хлеба» — не поймет, ей-Богу не поймет; а скажи по-французски: «dateci del pane» или: «portatle vino!» — поймет, и побежит, и точно принесет.

Иван Павлович. А любопытная, однако ж, как я вижу, должна быть земля эта Сицилия.

Комизм этой сцены многоплановый. Во-первых, он определяется тем, что Жевакин путает итальянский язык с французским, а его собеседник, допустив язык французский, уже никак не может понять того, что на этом последнем изъясняются не только все барышни, но и простой народ. Анучкину кажется, что если уж Сицилия такая странная страна, что там все барышни говорят по-французски, то простой народ во всяком случае должен говорить по-русски. Затем Жевакин, представления которого об иностранном не выходят за пределы французского языка, произносит две фразы по-итальянски, но считает, что говорит по-французски, и т.д. Самое же интересное здесь то, что согласно представлениям женихов Агафьи Тихоновны, если уже где и говорят по-французски, то говорят непременно «синьоры», тогда как «простой народ» во всех странах должен понимать русскую фразу «дай, братец, хлеба»¹.

Чтобы понять «законность» другого, не родного языка, нужно находиться на известной ступени культурного развития.

¹ Очень интересные материалы подобного рода собраны в исследовании: *Алексеева М.П.* Восприятие иностранных литератур и проблема иноязычия // Тр. юбилейной научной сессии ЛГУ. Сер. филологических наук. 1946. С. 179–223. Комментарий к этому примеру из Гоголя см. также в кн.: *Тынянов Ю.* Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 464.

Когда в «Войне и мире» Л. Толстого французы и немцы, не знающие русского языка, все же говорят по-русски, художник находит средства намекнуть читателю о том, как это происходит. Толстой остро различает и противопоставляет разные языки в связи с различием и противопоставлением разных национальных характеров. Корнелевское понимание национального языкового колорита, сводившегося лишь к дифференциации собственных имен героев трагедии, совершенно непригодно для Толстого, у которого мы обнаруживаем тонкое историческое понимание различных эпох и вместе с тем столь же тонкое понимание проблемы многоязычия, проблемы разноязычия. И если Гоголь показывает, как некоторые его герои смешивают то, что столь очевидно различается в действительности, — это результат огромного несходства между умственным кругозором Жевакина, с одной стороны, и Андрея Болконского — с другой. Но только глубокое понимание проблемы многоязычия у самого Гоголя дало ему возможность показать «решение» ее у Жевакина.

Хотя известное умение понять природу чужого языка наблюдалось уже у многих выдающихся мыслителей Возрождения (введение в обиход нового языкового материала в связи с заморскими путешествиями в значительной степени способствовало этому), однако подлинный перелом в этом отношении происходит лишь в первой четверти XIX в. в связи с открытием сравнительно-исторического метода в языкознании. Теперь самый факт многообразия языков мира не только признается аксиомой, но это языковое многообразие начинает подвергаться тщательному изучению. Правда, от признания самого факта многообразия языков до глубокого научного его объяснения дистанция оказалась очень большой. Но все же шаг вперед был сделан, и языки мира — в первую очередь так называемые индоевропейские языки — стали объектом научного изучения.

Признание факта многообразия языков, к сожалению, еще не означало признания равноправия всех языков мира. Между тем подобное равноправие языков, очевидно, не зависит от того, имеет ли язык длительную историческую традицию и богатую письменность или не имеет ни того, ни другого. Каждый язык по-своему интересен для науки о языке. В свою очередь эта последняя строит свои выводы на основе учета и тщательного изучения самых разнообразных языков человечества.

2. Классификация языков по их происхождению¹. Сравнительно-исторический метод в языкознании

Как известно, языки распределяются по так называемым языковым семьям, каждая из которых в свою очередь состоит из различных подгрупп, или ветвей, а эти последние — из отдельных языков².

Наиболее известны большие языковые группы: индоевропейская, иранская, семито-хамитская, картвельская, урало-юкагирская, алтайская, японская и корейская, дравидийская, чукотско-камчатская, сино-тибетская, австроазиатская, папуасские, индейские языки и др. Под одним названием группы часто объединяется множество языков и диалектов. Их изучение ведет к дифференциации и разделению (например, языки Африки — см. Приложение).

Индоевропейские языки включают и отдельные языки (албанский, армянский, греческий), и большие, связанные непосредственным родством, языковые объединения (семьи). Таковы: славянская семья языков, индийская, романская, германская, кельтская, иранская, балтийская и др.

Славянская семья языков в свою очередь состоит из трех подгрупп; к восточнославянской подгруппе, или ветви, относятся языки: русский (число говорящих на этом языке превышает 110 миллионов человек), украинский (число говорящих — свыше 40 миллионов), белорусский (свыше 9 миллионов человек); к западнославянской подгруппе — языки: польский (около 30 миллионов человек), чешский и словацкий (число говорящих на этих двух языках составляет 14 миллионов человек) и др.; к южнославянской ветви — языки: болгарский (около 8 миллионов), сербско-хорватский (свыше 10 миллионов), словенский (свыше 1,5 миллионов человек) и др. Всего на славянских языках говорит свыше 225 миллионов человек³.

К *индийским* языкам относится язык сложенных в глубокой древности (во втором тысячелетии до н.э.) и записанных зна-

¹ Или классификация генеалогическая, генетическая.

² См.: *Якубинский Л.П.* Образование народностей и их языков // Вестник ЛГУ. 1947. № 1; см. также гл. III, с. 384, 396.

³ Цифровые данные в этом разделе относятся к середине 60-х гг. XX в. Ср. их динамику (к концу XX в.) в Приложении.

чительно позднее гимнов «Ригведы». Язык этот называется ведийским, так как на нем были написаны различные «Веды» (сборники песнопений и иные ритуальные тексты). К древним индийским языкам относится и *санскрит*, на котором слагались такие эпические поэмы, как «Махабхарата» и «Рамаяна». Наиболее распространенным языком современной Индии и Пакистана является хиндустан. Он известен в двух литературных формах — хинди (государственный язык Индии) и урду (государственный язык Пакистана). В Индии широко распространены также язык бенгали и ряд других новоиндийских языков. В общей сложности на новоиндийских языках говорит около 260 миллионов человек¹.

Германские языки распадаются на восточногерманские, западногерманские и скандинавские (или северогерманские). К наиболее известным германским языкам относятся: немецкий (число говорящих — около 75 миллионов человек), английский (число говорящих — свыше 150 миллионов человек, включая США и Канаду), шведский (около 8 миллионов человек), датский (4 миллиона человек), норвежский (3,5 миллиона), исландский (130 тысяч) и др. Из мертвых германских языков особое значение для сравнительно-исторического языкознания имеет язык готский, так как на нем сохранились древние памятники.

Романская семья тоже объединяет целый ряд языков: французский (число говорящих — около 50 миллионов), испанский (число говорящих — около 130 миллионов, включая Южную и Центральную Америку), итальянский (около 50 миллионов), португальский (свыше 80 миллионов, включая Бразилию), румынский (около 18 миллионов), каталанский (около 5 миллионов) и др. В общей сложности на романских языках говорит свыше 300 миллионов человек.

К *иранским* языкам относятся персидский, осетинский, таджикский и др. К языкам *балтийским* — прежде всего литовский и латышский. Особое положение в группе индоевропейских языков занимают такие языки, как греческий, армянский, албанский, а также сравнительно недавно обнаруженные в памятниках мертвые языки: неситский (или клинописный хеттский) и тохарские (кучанско-карашарские) языки.

Что касается языков неиндоевропейских, то среди них отметим *сино-тибетские* языки, к которым принадлежит и язык

¹ Об индийских языках см.: *Неру Д.* Мое открытие Индии / Рус. пер. М., 1955. С. 174–175.

китайский — один из древнейших языков, на котором сохранились памятники XIII—XII вв. до н. э. Особую близкородственную группу образуют языки уральские, юкагирские; группа алтайских языков многочисленна и родство этих языков весьма условно, за многими из них закрепилось название *тюркские*.

Здесь нет необходимости перечислять все многочисленные семьи или группы языков мира¹. Если наше внимание было больше задержано на языках индоевропейской семьи, то это объясняется отнюдь не тем, что эти языки самые «важные», а лишь тем, что с ними обычно больше приходится иметь дело учащимся (разумеется, за исключением тех, кто обучается на востоковедных и других специальных факультетах). Приведенные примеры лишь иллюстрируют положение о родственных объединениях среди языков мира. Иллюстрировать же это положение возможно на материале самых различных языковых объединений (семей).

Как следует, однако, понимать языковое родство?

Термин «семья» по отношению к языковым группам, родственным между собой, не должен пониматься биологически. Язык — это явление общественно-историческое, а не естественно-историческое. Поэтому понятие семьи в применении к языкам передает не те отношения, какие существуют между «отцами» и «детьми». Оно означает лишь то, что данные языки связаны между собой в процессе происхождения и исторического развития, характер которого определяется общественной природой языка. Например, романские языки родственны между собой. Это означает, что они возникли из одного источника — латинского языка. Необходимо особо подчеркнуть, что родство языков является понятием чисто лингвистическим.

Нельзя не обратить внимания и на другую сторону проблемы: языковое родство далеко не всегда определяется географической близостью. Венгерский язык находится в окружении индоевропейских языков, но сам принадлежит к другой языковой среде — финно-угорской. Язык небольшого баскского народа на Пиренейском полуострове со всех сторон граничит с романскими языками, но сам романским языком не является. Древнейшие свидетельства об индийских языках обнаруживаются не в самой Индии, а в Передней Азии (в памятниках II тысячелетия до н.э.). Таких примеров можно привести множество.

¹ См. справочники о языках мира, названные на с. 384, 396, лингвистическую карту мира и Приложение.

Подобные факты говорят о том, что родство языков — явление глубоко историческое. Современная лингвистическая карта языков мира лишь фиксирует соотношение языков, но не показывает, как складывалось подобное соотношение в историческом развитии.

Сложившись в одном месте, язык в силу целого ряда исторических причин может получить широкое распространение совсем в другом месте. Из 130 миллионов человек, говорящих на испанском языке, лишь 30 миллионов обитает в самой Испании, тогда как остальные 100 миллионов живут в бывших далеких колониях Испании, главным образом в странах Латинской Америки. В результате в Аргентине или Чили, например, испанский язык для населения этих стран оказывается таким же родным, как и в самой Испании. То же можно сказать и о языке португальском: громадное большинство говорящих на нем людей обитает не в самой Португалии, а в далекой от Португалии Бразилии.

В чем же и как обнаруживается родство языков? Оно обнаруживается прежде всего в грамматическом строе родственных языков, в общности их старого словарного фонда, в закономерных звуковых связях между ними. Обратим внимание на слова такого рода:

Русский язык	Болгарский язык	Польский язык	Чешский язык
вода	вода	woda	voda
поле	поле	pole	pole
море	море	morze	moře
ухо	ухо	ucho	ucho
нога	нога	noga	noha
сто	сто	sto	sto
голова	глава	głowa	hlava
корова	крава	krowa	kráva

Лексическая близость обнаруживается и тогда, когда круг сопоставляемых родственных языков расширяется. Однако число общих слов исконного словарного фонда соответственно (по мере расширения круга родственных языков, принадлежащих к разным ветвям индоевропейской семьи) уменьшается. Но ср., например, древнеиндийское *pitár* — «отец», греческое *patér*, латинское *pater*, готское *fadar*, немецкое *Vater* и т.д.

Не менее очевидна общность грамматического строя родственных языков. Присмотримся к следующей таблице, на которой изображается спряжение глагола *нести* (настоящее время индикатива действительного залога) в разных древних индоевропейских языках:

Лицо, число	Древнеиндийский язык	Готский язык	Древнемецкий язык	Греческий язык	Латинский язык	Старославянский язык	Русский язык
1-е л. ед. ч.	bhārami	baira	biru	phéro	fero	берж	беру
2-е л. ед. ч.	bhāraṣi	bairiṣ	biris	phéreis	fers	береши	берешь
3-е л. ед. ч.	bhāraṭi	bairip	birit	pherei	fert	береть	берет
1-е л. мн. ч.	bhārāmas	bairam	beramēs	phéromen	ferimus	беремь	берем
2-е л. мн. ч.	bhāratha	bairip	beret	phérete	fertis	берете	берете
3-е л. мн. ч.	bhāranti	bairand	berant	phéruṣi	ferunt	бержть	берут

Чтобы понять, насколько существенны и значительны общие основы приведенной парадигмы спряжения в столь разных, но родственных языках, надо иметь в виду следующее:

- 1) в славянских языках значение данного корня изменилось: *нести* > *братъ* (ср. *бремя* > *беремя*, первоначально «охапка», сколько можно захватить — нести — руками, например, дров: *нести* — *захватывать* — *братъ*);
- 2) произошел уже известный нам (с. 218) процесс германского передвижения согласных, объясняющий соответствия между готским звуком *b*, древнеиндийским *bh*, греческим *ph* (= *f*), между готским спирантом *p̄* и *t* в других индоевропейских языках;
- 3) окончание *ti* в древнеиндийской форме 1-го лица (вторично-го происхождения) попало сюда из другого типа спряжения.

Учитывая отмеченные особенности, нельзя не заметить, насколько значительны общие основы в грамматическом строе родственных индоевропейских языков¹.

Но как же складывались языковые семьи?

Разные семьи языков складывались по-разному. В родовом обществе племя и диалект по существу совпадали. Поэтому развитие языков было тесно связано с развитием племен. Дробление племен приводило и к дроблению языков. «Новообразование племен и диалектов путем разделения происходило в Америке еще недавно и едва ли совсем прекратилось и теперь»². Так как

¹ Анализ данной парадигмы дает подробно Краэ (*Krahe H. Lingüística indoeuropea. Madrid, 1953. S. 143–149*). Об этом же кратко: *Sandfeld-Jensen K. Die Sprachwissenschaft. 2 Aufl. Leipzig und Berlin, 1923. S. 92–93*.

² *Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 93.*

племен было очень много, то неудивительно, что и языков было много, причем на некоторых из этих языков говорили лишь небольшие группы людей, составлявшие племена. Замечательный русский исследователь-путешественник Миклухо-Маклай, описывая папуасские языки на острове Новая Гвинея, отмечал большую дробность этих языков, обусловленную дробностью самих племен, населяющих остров¹.

Пути сложения больших родственных групп языков были многообразны.

Если сравнить, например, родство таких языков, как индоевропейские, с родством языков славянских, романских или германских, то нельзя не обнаружить существенного различия между этими *двумя типами родства*. Славянские, романские, германские и другие языки образуют — каждая в отдельности — непосредственно родственные языковые группы. Индоевропейские же языки, куда входят и славянские, и романские, и германские, как и многие другие языки, образуют уже более сложное единство.

Это означает, что если в грамматическом строе и в основном лексическом фонде, например, всех славянских языков легко обнаруживается далеко идущая общность, то эта общность становится уже меньшей, если сравнивать между собой, например, славянский русский язык с германским шведским языком, хотя русский и шведский входят в родственную семью индоевропейских языков. Другими словами, если славянские языки связаны между собой прямым родством (как и романские, германские и пр.), то индоевропейские языки в целом уже образуют более отдаленное, хотя тоже несомненное родство.

Эти положения могут быть доказаны на материале. Л.П. Якубинский в своей интересной статье «Образование народностей и их языков»² убедительно показал, что славянские термины родового строя, являющиеся общими для славянских языков, не находят себе надежных общеиндоевропейских этимологий. Между тем единство этих наименований в пределах славянских языков не подлежит сомнению.

¹ См.: Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествия. Т. I. М., 1940. С. 242.

² См.: Якубинский Л.П. Образование народностей и их языков // Вестник ЛГУ. 1947. № 1. С. 139–153. Ср.: Исаченко А.В. Индоевропейская и славянская терминология родства в свете марксистского языкознания // Slavia. Praha, 1953. XXII. S. 62–72; Филин Ф.П. Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962. С. 275–290.

Русское *род*, старославянское *rodъ*, словенское *rod*, сербское *rod*, польское *ród*, чешское *rod*; русское *племя*, болгарское *пле-ме*, сербское *плѐме*, польское *plemie*, чешское *plemě*; русское *месть*, старославянское *мѣсть*, болгарское *мѣст*, чешское *msta*, словенское *mestiti* («мстить»); русское *вече*, старославянское *вѣще*, сербское *veće* и пр.

Это единство славянских наименований понятий родовой организации отнюдь не случайно. Оно показывает, что в древности славяне имели много общего в этой организации, в ее институтах, обычаях и т.д.

Единство наименований определенной части словарного фонда в непосредственно родственных языках свидетельствует о непосредственной исторической близости между этими языками, как и между народами, носителями данных языков. Вместе с тем, выходя за пределы славянских языков в сторону, например, языков романских или германских, мы уже не обнаруживаем столь далеко идущего единства в словарном фонде. И это вполне понятно, так как романские и германские языки образовались в иной исторический период по сравнению с тем, когда оформилось единство славянских языков. Термины родовой организации в романских и германских языках оказываются иными. И хотя в других словах лексического фонда вполне возможно обнаружить родство между славянскими и другими индоевропейскими языками (например, общеиндоевропейскими являются такие слова, как *земля*, *лес*, *вода* и др.), однако между непосредственно родственными языками (прямое родство) единство оказывается не только бóльшим, но — что особенно важно — оно проявляется в *определенных тематических пластах слов* и оказывается обусловленным единством соответствующих социальных институтов, реалий, культурно-исторических факторов и т.д.

Общеславянскими являются названия гончарного дела (русское *гончар*, украинское *гончар*, старославянское *грѣньчарь*, болгарское *грѣнчарин*, чешское *hrnčir*; русское *глина*, старославянское *глиньнъ*, болгарское *глина*, чешское *hlína*, польское *glina*), названия для лука и стрел (русское *лук*, словенское *lok*, болгарское *лък*, чешское *luk*; русское *стрела*, украинское *стріла*, старославянское *стрѣла*, польское *strzala*, верхнелужицкое *treła*), названия для цветов и красок (русское *красный*, старославянское *красьнъ*, сербское *крáсан*, чешское *krásný*; русское *червонный*, украинское *червоний*, старославянское *чръвень*, болгарское *червен*, сербское *црвен*, чешское *červený*), названия времен года,

хозяйственных сезонов (русское *лето*, старославянское *лѣто*, болгарское *лято*, чешское *léto*, польское *lato*; русское *весна*, старославянское *вѣсна*, чешское *vesna*, польское *wiosna*), названия небесных светил (русское *солнце*, старославянское *слънце*, болгарское *слънце*, сербское *сунце*, польское *słońce*; русское *звезда*, старославянское *звѣзда*, болгарское *звезда*, польское *gwiazda*, чешское *hvězda*) и т.д.

Изучение связей родственных языков в древнем словарном фонде представляет большой теоретический и практический интерес. Многие слова оказываются общими для всей группы языков, связанных между собой прямым родством, другие же характеризуют лишь отдельные подгруппы этих языков¹.

В романских языках, например, имеется словарный фонд, который является общим для всех этих языков, но вместе с тем имеются и такие слова, которые присущи лишь отдельным подгруппам системы: подгруппе иберо-романских языков (испанский, португальский, каталанский), галло-романских языков (французский, провансальский), дако-романских языков (румынский) и т.д.

Латинские *mater* — «мать» и *pater* — «отец» бытуют во всех романских языках, за исключением румынского, где они были вытеснены словами, проникшими из детской речи (румынское *tată* — «отец», ср. русское *тятя*, румынское *mamă* — «мать»). Галло-латинское слово *caballus* — «лошадь» оказывается общероманским (французское *cheval*, испанское *caballo*, итальянское *cavallo*, румынское *cal*); то же следует сказать и о слове *vacca* — «корова» (французское *vache*, испанское *vaca*, итальянское *vacca*, румынское *vacă* и т.д.). В то же время латинское слово *lectus* — «кровать» сохраняется во французском (*lit*), итальянском (*letto*) и других романских языках, но не сохраняется в этом своем значении в иберо-романских языках, где оно вытесняется словом *cama* (испанское *cama* — «кровать», а *lecho* — «ложе»). Следовательно, наряду с общероманским словарным фондом имеются и слова, которые характеризуют лишь ту или иную подгруппу или тот или иной отдельный язык.

Задача исследователя заключается в том, чтобы выяснить, какие слова являются общими для всех родственных языков и какие характеризуют лишь отдельные подгруппы и отдельные

¹ В популярной форме о близости славянской лексики рассказано в брошюре: *Ходова К.И.* Языковое родство славянских народов. М., 1960.

языки, входящие в данную семью. При этом важна не только сама констатация факта, но и посильное объяснение его.

Типы языкового родства бывают разными не только в том плане, о котором шла речь до сих пор (родство прямое и родство опосредованное). Прямо между собой связанные романские языки оказываются связанными несколько иначе, чем славянские, германские, кельтские и другие подгруппы большой индоевропейской семьи языков. Различие обусловлено и различием самого исторического периода образования отдельных языковых подгрупп и тем, как формировалось лингвистическое единство тех или иных родственных языков.

Большие или меньшие совпадения в древнем словарном фонде родственных языков вполне закономерны, ибо, если совпадения свидетельствуют о родстве языков (наряду с общностью грамматического и звукового строя), то расхождения — признак того, что эти языки не тождественны, а представляют собой разные образования, языки разных народностей, разных наций.

То, что составляет основу одного языка, в известной мере является основой также и непосредственно родственных языков, хотя каждый из них имеет и свою дополнительную специфику. Поэтому, определяя родство языков, следует исходить из их грамматического и звукового строя и древнего словарного фонда: при наличии явной общности в грамматическом и звуковом строе, а также в словарном фонде изучаемых языков последние должны быть признаны родственными. При отсутствии этой общности и языки не могут считаться родственными.

Оставляя пока вопрос о грамматической общности, подчеркнем еще раз, что общность в древнем словарном фонде родственных языков отнюдь не исключает лексического своеобразия каждого из них.

Как было показано, общность в древнем словарном фонде родственных языков сосуществует с такими словами того же фонда, которые бытуют лишь в отдельных языках или отдельных подгруппах данной семьи. Кроме того, даже те слова древнего фонда, которые имеются во всех родственных языках, часто приобретают в отдельно взятых языках этой семьи *специфические оттенки и значения*. Так, слово *род* в старославянском имело значение «род», «родня», «племя», а в словенском и сейчас осмысливается не только как «родня», но и как «рождение», «поколение». В сербском это слово приобретает дополнительное значение — «происхождение», «плод», а в польском (наряду с

основным значением) — «порода», «дом», «фамилия», «происхождение». Аналогичные явления наблюдаются и в других словах старого фонда, не говоря уже о тех, которые относятся к более позднему словарному составу.

Общность между языками одной и той же ветви обнаруживается обычно легче, чем между языками, принадлежащими к разным ветвям данной семьи. Задача научного исследования заключается, однако, в том, чтобы выявить своеобразие как одной, так и другой общности. Очень легко обнаружить единство славянских слов, обозначающих, например, зиму: русское *зима*, старославянское *зима*, польское *zima*, болгарское *зима* и т.д. Почти столь же легко устанавливается и общность романских слов для этого понятия: французское *hiver*, итальянское *inverno*, испанское *invierno*, румынское *iarnă*, соответственно восходящие к латинскому *hibernum*, вытеснившему в поздней латыни классическое *hiems*. Сначала может показаться, что между общеславянским *зима* и латинским *hiems* — *hibernum* нет никакой связи. Но это не так. Привлечение соответствующих слов из других индоевропейских языков раскрывает эти сложные связи. Достаточно сравнить древнеиндийское *himás*, литовское *ziema*, хеттское *gimant*, армянское *dzmern* и другие, чтобы убедиться, что и славянская и романская основы входят в общую систему индоевропейских языков.

* * *

Очевидна также и общность грамматического строя родственных языков. Но эту общность следует понимать правильно.

Обратим внимание на такой факт: в самых разнообразных языках, например в русском, норвежском, грузинском, арабском, венгерском, различаются имя и глагол. Достаточно ли этого и подобных ему признаков для установления родства языков? Ни в коем случае. Наличие в различных языках мира сходных частей речи или сходных грамматических категорий отнюдь не означает, что все языки родственны между собой.

Это сходство очень общее. Оно означает лишь то, что все языки мира являются орудием общения и средством выражения мыслей и чувств человека и имеют известные точки соприкосновения в своем грамматическом строе независимо от родства по происхождению. Но подобных общих точек соприкосновения в грамматическом строе языков мира оказывается все же меньше, чем расхождений между ними, обусловленных

спецификой грамматических категорий и частей речи в разных неродственных языках.

В самых разнообразных языках мира личные местоимения обычно являются односложными словами, т.е. состоят из одного слога. Достаточно ли этого и подобного ему признаков для установления родства языков? Опять-таки нет¹. В противном случае все (или почти все) языки мира оказались бы родственными и самый научный принцип установления языкового родства утратил бы всякое значение. Для установления родства языков вообще и родства в их грамматическом строе в частности необходимы гораздо более специальные и гораздо более глубокие контакты. Должна быть материальная и структурная общность между языками.

О характере этой общности уже имелась возможность судить на основе таблицы спряжения глагола *нести* в древних индоевропейских языках. Сейчас проанализируем одно словосочетание в непосредственно родственных романских языках:

французское <i>la fille du peintre</i>	}	«дочь художника»
итальянское <i>la figlia del pittore</i>		
испанское <i>la hija del pintor</i>		

Здесь легко обнаружить последовательные структурные совпадения в выражении важнейших грамматических отношений: во всех трех языках связь между двумя существительными (*дочь, художник*) выражена предлогом; во всех трех языках этот предлог взаимодействует с артиклем последующего существительного (*de + le > du, de + il > del, de + el > del*); во всех трех языках оба существительных употребляются с артиклем, который в одинаковой степени восходит к одному и тому же историческому источнику — к латинскому указательному местоимению *ille, illa* — «тот», «та»; наконец, во всех трех языках обнаруживается и материальное родство слов, образованных из единого источника — из языка-основы (латыни).

Взятый отдельно тот или иной грамматический признак сам по себе обычно еще ничего не решает. Артикль, например, имеется не только в романских языках, но и в германских (немецком,

¹ Отмеченные признаки, недостаточные для установления родства языков, позволяют, однако, изучать языки сопоставительно, т.е. исследовать их сходства и расхождения, обусловленные функциональной близостью. О сопоставленном методе в отличие от сравнительно-исторического см. статью: Ярцева В.Н. О сопоставительном изучении языков // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1960. № 1. С. 3–14.

английском и др.), в албанском, болгарском, арабском и т.д. В проанализированных примерах из романских языков совпадения обнаруживаются не только в самом наличии артикля, они идут дальше и глубже: артикль этих языков восходит к одному и тому же источнику, тогда как артикль германских языков, например, уже к нему не восходит (так же как и артикль албанского, болгарского, арабского и других языков, в которых имеется эта грамматическая категория).

Следовательно, для определения непосредственного родства языков нужно обнаружить не только совпадения в строевых элементах языка, но и единство исторического источника, из которого эти строевые элементы языка возникли. Кроме того, очень важно и то, чтобы совпадения оказывались не в одном грамматическом явлении, а в ряде явлений (в нашем примере: способ выражения связи между существительными, артикль, сочетание артикля с предлогом и пр.).

Только что проанализированный пример характерен и в другом отношении: грамматическое родство опирается здесь и на родство старого словарного фонда (*дочь* по-французски *fille*, по-итальянски *figlia*, по-испански *hija*; *художник* по-французски *peintre*, по-итальянски *pittore*, по-испански *pintor*)¹. Это существенно, так как для определения родства языков по происхождению важно *учитывать ряд факторов*: не только звуковые соответствия между родственными языками, но и общность грамматического строя, глубокие контакты в исконном словарном фонде родственных языков. Те же лингвисты, которые отрицают важность лексического фактора для установления родства языков (при строгом разграничении древних и заимствованных слов), неправомерно отделяют грамматическую структуру языка от тех материальных единиц его, без которых не может существовать сама структура².

На пути установления родства языков исследователя ожидает немало трудностей и опасностей. Рассмотренные изолированно, вне системы языка, фонетические, грамматические и лексические совпадения оказываются противоречивыми.

Еще в 1877 г. Ф.Е. Корш писал: «До какой степени опасно судить о взаимной близости языков по одинаковым превращениям

¹ То же наблюдалось с глаголом *нести* в древнеиндийском, готском, греческом, латинском, старославянском и других языках.

² А. Мейе, например, считал, что данные словаря не имеют значения при установлении родства языков (*Meillet A. Linguistique historique et linguistique générale. 2 éd. Paris, 1926. P. 91*).

отдельных звуков, видно из таких примеров, как переход *кв* в *п* в четырех языках, правда родственных, но довольно далеких друг от друга, — греческом, британском, умбромском и румынском... ослабление *н* в конце слога в глухой носовой звук во французском, церковнославянском и, вероятно, древнеперсидском»¹. Еще большие трудности возникают в связи с изучением лексики.

Из того, что в финском языке много индоевропейских слов, никак не следует, что он относится к числу индоевропейских, точно так же как наличие большого количества слов семитического происхождения в современном персидском языке не может поколебать индоевропейского характера этого последнего. Лексика сравнительно легко заимствуется (гл. I). Поэтому для определения родства языков важно учитывать не лексику вообще, а лексику исконную, принадлежащую к древнему фонду языка.

Современное английское прилагательное *bad* означает «плохой», но и современное персидское *bad* имеет такое же значение и такую же форму. Создается впечатление, что это одно и то же слово, попавшее в разные языки из одного источника. В действительности это не совсем так. Английское *bad* через форму средне-английского *bade* восходит к англосаксонскому *boedel* — «изнеженный», «слабый», тогда как персидское *bad* происходит из более старого *vat* — «плохой». Если бы не была известна история этих слов в двух названных языках, можно было сделать ошибочное заключение².

Совсем иное соотношение складывается между французским существительным *ouaille* — «духовный сан священника» и латинским *ouicula* — «овечка». По смыслу эти слова сейчас кажутся совсем не связанными. Между тем в действительности первое возникло из второго. Дело в том, что прихожане христианской церкви часто сравнивались с овцами, а священник — с пастырем. Это сравнение определило развитие латинского *ouicula*. К тому же в старом французском языке, как и во многих современных его диалектах, *ouaille* еще сохраняет значение «овцы». Фонетический же переход *ouicula* > *auaille* закономерен, если учесть одновременную замену суффиксов: *eille* > *aille*.

Таким образом, одинаковые по смыслу и форме английское *bad* и персидское *bad* не имеют общего источника, между тем

¹ Корш Ф. Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса. М., 1877. С. 9.

² Pisani V. Parenté linguistique // Linqua. 1952. N 1. P. 7; Horn P. Grundriss der neupersischen Etymologie. Strassburg, 1893. S. 44.

как очень непохожие по смыслу и различные по форме латинское *ouicula* и французское *ouaille* непосредственно связаны общим происхождением.

Следовательно, установление родства тех или иных слов или форм требует учета разных факторов, хорошего знания материала и понимания особенностей самого сравнительно-исторического метода исследования.

Генеалогическая классификация (иногда ее называют генетической) принадлежит к наиболее разработанным классификациям языков мира. При всем своем большом научном значении она, однако, распределяет различные языки лишь по одному признаку — по признаку их происхождения. Генеалогическая классификация тем самым мало проясняет вопрос о синхронном соотношении языков мира, о сходствах и различиях между генетически неродственными языками. Между тем науку интересует не только историческое формирование языковых семей, но и то, в каких взаимоотношениях находятся современные языки, распространенные по всему миру.

На этот вопрос стремится дать ответ *типологическая*, или морфологическая, классификация языков, которой был посвящен специальный раздел в гл. III (с. 384 и сл.). Необходимо отметить, что за последнее время интерес к типологической классификации значительно увеличился, в особенности в связи с поисками так называемых языковых универсалий — признаков, которые оказываются общими у самых различных языков мира, независимо от их исторического происхождения.

Возвращаясь к генеалогической классификации, необходимо подчеркнуть, что она предполагает последовательное применение *сравнительно-исторического метода*.

Уже Маркс и Энгельс высоко оценили значение этого метода, впервые примененного к изучению языков в первой четверти XIX столетия датским ученым Р. Раском, немецким лингвистом Ф. Боппом и русским филологом А. Востоковым. Критикуя положения Дюринга, в том числе и его лингвистические предположения, Энгельс подчеркивал, что стремление Дюринга ликвидировать преподавание древних и новых языков и при этом построить обучение лишь на знании «материи и формы родного языка» глубоко ошибочно. Опровергая эти взгляды, Энгельс показал, что «материя и форма родного языка» становятся понятными лишь тогда, когда прослеживается его возникновение и постепенное развитие, а это невозможно, если не уделять внимания, во-первых, его собственным омертвевшим формам и,

во-вторых, родственным живым и мертвым языкам»¹. Это положение Энгельса имеет большое значение для понимания сущности сравнительно-исторического метода в языкознании.

Когда «материя и форма родного языка» рассматриваются *исторически*, т.е. в связи с предшествующими фактами развития того же языка, а также *сравнительно*, т.е. в связи с фактами других живых и мертвых родственных языков, можно по-настоящему понять и свой собственный родной язык, его «материю и форму». Дюринг же, предлагавший изучать родной язык независимо от его истории и истории других родственных языков, оказался метафизиком, хотя он и считал, что революционизирует обучение, «освобождает его от схоластики». На деле же Дюринг не только не «освобождал» обучение от схоластики, но сам оказался схоластом, предлагавшим механически усваивать «материю и форму родного языка», не стремясь уяснить ни происхождения этой материи и этой формы, ни тенденции их дальнейшего исторического развития. Энгельс, отвергая взгляды Дюринга, отмечал большие успехи исторического языкознания.

Еще раньше, в «Немецкой идеологии», Маркс и Энгельс, критикуя одного из своих оппонентов, писали: «Но он, конечно, совершенно не знаком с науками, которые достигли больших успехов лишь благодаря сравнению и установлению различий в сфере сравниваемых объектов и в которых сравнение приобретает общезначимый характер, — с такими науками, как сравнительная анатомия, ботаника, языкознание и т.д.»² Языкознание сделало большие успехи именно благодаря сравнению. При этом подчеркивается важность понимания не только сходных черт между родственными языками, но и различий внутри самих этих сходных явлений («различия в сфере сравнения»).

Ранее уже была сделана попытка охарактеризовать в общих чертах сущность сравнительно-исторического метода. Изучая звуковые, грамматические и лексические соответствия между родственными языками с помощью сравнительно-исторического метода, можно раздвинуть рамки истории отдельных языков, определить место того или иного языка в системе других родственных языков, реконструировать те или иные формы (морфемы, слова).

Сравнительно-историческое изучение звуков родственных языков должно опираться на значащие единицы самого языка.

¹ Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 333.

² Там же. Т. 3. С. 443.

Так, славянское *s* (*s*) исторически возможно сопоставить с германским *h* только через сравнение этих звуков в словах: например, старославянское *сръдце*, русское *сердце* и германское *hairto*, современное немецкое *Herz*. Лишь опираясь на многие подобные реальные слова реальных языков, можно обобщить, условно изолируя звуки и допуская наличие генетического тождества славянского *s* (*s*) и германского *h*. Для того чтобы сделать подобное обобщение, необходимо, чтобы отмеченные звуковые соответствия встречались во многих словах¹.

Что означает, однако, что с помощью сравнительно-исторического метода можно реконструировать те или иные звуки, формы, слова и даже более сложные языковые единства? Поясним это положение только на одном примере, относящемся к простому случаю *реконструкции* формы слова.

Сопоставляя такие слова, как французское *mur* — «стена», итальянское, испанское и португальское *muro*, провансальское и каталанское *mur*, и зная, что 1) латинский долгий гласный *u* сохраняется в романских языках без изменений (только во французском он звучит как *ü*), что 2) начальный латинский согласный *m*, как и интервокальный латинский *r*, оказываются в устойчивом положении, — легко определить, что латинское слово, породившее все перечисленные романские образования, должно было начинаться со слога *mur-*. Представим себе далее, что это слово не сохранилось, по той или иной причине не дошло до нас (а это весьма часто случается с древними языками). В этом случае с помощью сравнительно-исторического метода можно восстановить (*реконструировать*) с большой степенью вероятности данную форму слова (*mur-*).

Степень вероятности подобной реконструкции определяется характером реконструируемой формы, уровнем изученности того материала, с помощью которого производится подобная реконструкция. Так возникают «формы под звездочкой», т.е. образования, установленные с помощью метода реконструкции, но в текстах языка (языков) не обнаруженные.

Приведенный случай реконструкции является простейшим. В действительности наблюдаются и значительно более сложные соотношения.

Реконструкции нужны науке не сами по себе, а для более глубокого изучения связей между различными родственными

¹ См.: *Смирницкий А.И.* Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства. М., 1955. С. 25.

языками, для понимания закономерности развития языков в их взаимодействиях друг с другом.

Сравнительно-исторический метод и сравнительная грамматика — понятия соотносительные, но не тождественные¹. Первое шире второго. Метод может применяться к истории отдельного языка (разные этапы развития), к диалектам и т.д. В свою очередь специалист по сравнительной грамматике, пользуясь сравнительно-историческим методом, не должен игнорировать и других методов, имеющих для него вспомогательное значение. К таким методам относится метод так называемого синхронного (статического) описания языка, метод непосредственного наблюдения над языковыми явлениями, метод статистических подсчетов, метод экспериментального исследования звуков речи в фонетике и т.д.²

Особо следует разграничить *сравнительно-исторический* и *сравнительно-сопоставительный* методы. Если первый, как правило, применим лишь к родственным языкам, то с помощью сравнительно-сопоставительного метода могут изучаться самые различные языки: узбекский язык сравнительно с русским или арабский язык сравнительно с испанским и т.д.

При сравнительно-сопоставительном методе изучения языков обычно преследуется совсем иная цель, чем при исследовании языков с помощью сравнительно-исторического метода. В первом случае путем сопоставления двух (обычно неродственных) языков устанавливают, чем один язык отличается от другого в области звукового состава, грамматического строя и словаря и чем они напоминают друг друга. Цель подобного изучения очень часто определяется практическим характером занятий, но может приобретать и теоретическое значение, например в случае исследования морфологической структуры разных неродственных языков³.

¹ См.: *Бернштейн С.Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961. С. 9–24.

² См.: *Белецкий А.А.* Задачи дальнейшего сравнительно-исторического изучения языков // ВЯ. 1955. № 2. С. 3. Ср. точку зрения Бонфанте, который насчитывает десять методов исторического языкознания: *Bonfante G.* On Reconstruction and Linguistic Method // Word. 1945. N 1. P. 83–87; N 2. P. 132–161.

³ Нецелесообразно сводить на нет различие между сравнительно-историческим и сравнительно-сопоставительными методами, как это делает Вандриес в статье: *La comparaison en linguistique* // Bulletin de la Société de linguistique de Paris. Vol. 42. Fasc. 1. 1946. P. 1–18. В его более ранней работе, в книге «Язык» (рус. пер. М., 1937. С. 271), различие между этими методами проводилось, хотя и непоследовательно. Ср. *Knobloch J.* Die historische-komparative Methode und die allgemein vergleichende Methode // Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft. Heft 4. 1956. S. 331–335.

Иные задачи возникают при применении *сравнительно-исторического метода*. Последний является системой научно-исследовательских приемов, используемых при изучении родственных языков не только с целью восстановления картины исторического происхождения данных языков, но и для того, чтобы установить закономерности их последующего исторического развития. Когда говорят о сравнительно-историческом методе, обычно подчеркивают его стремление показать общность родственных языков. Между тем с помощью данного метода можно установить не только общность языков, но и проследить специфику отдельных языков в пределах этой общности. Другими словами: сравнительно-исторический метод должен интересоваться не только общим, но и отдельным, не только всеми родственными языками, но и каждым языком, входящим в систему изучаемой общности.

Успешность применения сравнительно-исторического метода к разным родственным языковым группам определяется тем, в каких взаимоотношениях находятся языки внутри каждой такой группы. Как это ни парадоксально с первого взгляда, но чем более внутри группы языки похожи друг на друга, тем меньше возможностей предоставляется сравнительно-историческому методу. Так, языки тюркской группы, очень напоминающие друг друга, предоставляют сравнительно-историческому методу менее удобный и менее благодарный в этом отношении материал, чем языки индоевропейские, подчас весьма отличные друг от друга.

И это понятно. Чтобы сравнивать, нужно опираться не только на сходства, но и на различия. Если же различия минимальны, они не дают достаточного материала для того, чтобы, исследуя их, углубиться в историю языков.

Необъяснимые на почве латинского языка такие формы 3-го лица глаголов, как *est* — «есть» или *fert* — «несет», дают широкую возможность рассматривать их в связи с аналогичными формами других древних индоевропейских языков (ср., например, хеттское *eszi*, санскритское *asti*, старолитовское *est(i)* и т.д.). Если бы эти формы не «выпадали» из регулярной латинской парадигмы, они и не дали бы материала для сравнения с другими родственными языками.

Когда в одном родственном языке имеется, например, шесть падежей, в другом — четыре, в третьем — два, то, сравнивая и сопоставляя эти данные, исследователь скорее сможет установить

тенденцию развития падежных отношений, чем в том случае, когда во всех родственных языках падежи представлены одинаково. Для сравнения нужна *известная историческая перспектива* (иначе материала для сравнения не оказывается или оказывается слишком мало). Прав был А. Мейе, когда писал: «Построение сравнительной грамматики индоевропейских языков оказалось возможным именно потому, что все эти языки изобилуют аномалиями»¹. Расхождения между родственными языками и «аномалии» форм дают возможность установить историческую перспективу развития языков.

При всем огромном значении сравнительно-исторического метода он имеет и свои пределы. Они относятся не только к самому методу, но и к материалу, которым оперируют ученые.

Сравнительно-исторический метод часто объединяет языки, различные по своему историческому развитию, и не всегда считается с тем, что история каждого языка тесно связана с историей народа, носителя данного языка. Метод, который по самой своей природе должен быть строго историческим, в ряде случаев сам нарушает принцип историзма.

Методика сравнительно-исторического исследования весьма неодинаково разработана применительно к разным родственным языкам.

Как было отмечено, родственные языки, расхождения между которыми незначительны, до сих пор плохо поддаются сравнительно-историческому исследованию. Еще труднее оказывается с языками-одиночками, такими, как японский, баскский и др. Опираясь на языковые «аномалии», сравнительно-исторический метод далеко не всегда в состоянии объяснить все языковые особенности родственных языков.

Несмотря на существующие ограничения, значение сравнительно-исторического метода для науки о языке очень велико. Именно с помощью этого метода, как совокупности известных исследовательских приемов, удалось показать общие закономерности в развитии разнообразных языков. Научная разработка этого метода началась с первой четверти XIX столетия, а в настоящее время с его помощью уже изучены сотни языков, причем больше всего языки индоевропейские².

¹ Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков / Рус. пер. М., 1938. С. 66. «Язык тем менее допускает сравнительное изучение, чем регулярнее его морфология» (Там же. С. 444).

² Из литературы о родстве языков и сравнительно-историческом методе см.: Вопросы методики сравнительно-исторического изучения индоевропейских

3. Литературные и национальные языки. Диалекты

Хотя каждый язык отличается известным внутренним единством — все люди, говорящие на одном языке, обычно понимают друг друга, — единство все же не означает тождества всех «проявлений» языка. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести такой простой эксперимент: следует выехать за пределы Москвы на 200–300 километров и прислушаться, как говорят, например, в Орловской области. Внимательный наблюдатель без особого труда обнаружит, что в деревнях этой области звучит и та же и не совсем та же речь, что в Москве (среди москвичей). Он услышит русскую речь с некоторыми особенностями. Эти особенности — результат того, что почти каждый современный язык выступает в многообразии своих диалектов.

Диалект (или наречие) — это речь, характерная для населения определенной области и имеющая те или иные особенности в области фонетики, грамматики и лексики. Иногда эти особенности проявляются только в фонетике и отчасти в лексике, иногда они распространяются и на грамматику¹. Степень отличия диалекта от литературного языка может быть очень различной. Она зависит от истории формирования данного диалекта или данных диалектов, от эпохи, в которую существуют диалекты.

Литературный язык — это обработанная форма общенародного языка, обладающая в большей или меньшей степени письменно

языков. М., 1956 (здесь же дана обширная библиография на русском и иностранных языках, с. 308–319); *Десницкая А.В.* Вопросы изучения родства индоевропейских языков. М.; Л., 1955. С. 287–331; *Георгиев В.И.* Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. М., 1958. С. 7–27; *Чемоданов Н.С.* Сравнительное языкознание в России. М., 1956; *Общее и индоевропейское языкознание (обзор литературы)*. М., 1956. С. 83–199; *Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков*. М., 1955. С. 3–25; *Вопросы изучения иберийско-кавказских языков*. М., 1961 (раздел «Сравнительное изучение»); *Крачковский И.Ю.* Введение в эфиопскую филологию. Л., 1955. С. 176–209; *Sommer F.* Vergleichende Syntax der Schulsprachen (deutsch, englisch, französisch, griechisch, lateinisch). Leipzig, Berlin, 1925 (краткое и общедоступное изложение); *Сравнительная грамматика германских языков*. Т. 1, 2 и 3. М., 1962–1963; *Исследования в области латинского и романского языкознания*. Кишинев, 1961; *Порциг В.* Членение индоевропейской языковой области. М., 1964; *для славянских языков см.: Бернштейн С.Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.

¹ Некоторые ученые различают диалект и говор. *Говор* — дальнейшее дробление диалекта.

закрепленными нормами. В этом определении необходимо подчеркнуть: 1) историческую изменчивость самого понятия формы; 2) известную относительность представления о «закрепленности» норм литературного языка в разные эпохи.

Дело в том, что литературный язык не сразу получает современную «чеканку». Он шлифуется и обогащается постепенно в процессе развития и обогащения всей культуры народа. В этом плане весьма существенно разграничение таких понятий, как литературный и национальный языки.

Национальный язык — это высшая форма литературного языка, формирующаяся в эпоху сложения самой нации. Памятники литературного языка известны в России уже с XII в. Между тем только в конце XVII и позднее, в первой трети XIX столетия, в эпоху Пушкина, складывается русский национальный язык. Это уже гораздо более развитый язык, с более четкими литературными нормами, с богатой и разнообразной лексикой, с многоплановыми стилистическими возможностями.

То же следует сказать и о многих других странах. Литературные памятники французского языка известны с X—XI вв. Но лишь в XVII—XVIII столетиях формируется национальный язык во Франции, в эпоху, предшествующую Великой буржуазной революции 1789—1793 гг. В Италии уже под пером Данте (1265—1321) литературный язык достигает высокого уровня развития, но понадобится еще много столетий, прежде чем итальянский литературный язык станет национальным языком всей Италии (после объединения страны в 1861 г.).

Итак, национальный язык — это высшая форма литературного языка народа, который сам уже стал самостоятельной нацией и достиг известного единства не только в экономическом и политическом, но и в культурно-историческом отношениях. Национальный язык возможен лишь в эпоху образования самой нации. Древняя Греция знала развитый литературный язык, но не знала и не могла знать языка национального, так как становление греческой нации относится к другой, гораздо более поздней эпохе.

Как литературному, так и национальному языку противостоит понятие диалекта.

Историческое возникновение диалектов можно понять, если учесть, что в глубокой древности люди жили сравнительно небольшими группами. В эпоху первобытно-общинного строя людей объединял род. В этот период кровнородственные связи служили основой группировки людей. Однако по мере распада

первобытно-общинного строя кровнородственные связи перестают играть ведущую роль в объединении людей. Теперь уже не только люди соединяются в большие коллективы, но и сами эти коллективы оказываются исторически более устойчивыми единствами. Возникают народности и народы, экономической базой которых являются докапиталистические формы производственных отношений.

По мере развития общественных отношений родовые языки превращались сначала в языки племенные, затем в языки народностей и в языки наций. Но подобно тому как в эпоху капитализма существование наций не сводит на нет множества племен и народностей, так и возникшие национальные языки продолжают сосуществовать с языками народностей и даже с племенными и родовыми языками.

Диалект — понятие глубоко историческое. Для феодального общества это прежде всего территориальная единица, так как на определенном диалекте говорит все население данной области — и крестьяне, и феодалы. В эпоху капитализма положение существенно меняется. Не утрачивая территориального значения, диалект вместе с тем приобретает яркую социальную окраску. Теперь на диалекте говорит уже не все население определенной местности, а лишь ее сельские жители (главным образом крестьяне). Диалект выступает как своеобразное средство дифференциации общества по признаку языка.

Очень часто в условиях той или иной местности старики говорят на своем диалекте, тогда как молодежь приобщается к литературному языку. Характерная для феодальной эпохи замкнутость каждого диалекта теперь уже разрушается, хотя специфические особенности, отличающие диалекты от литературного языка эпохи, обычно сохраняются.

Для понимания исторического своеобразия диалектов разных языков в разные периоды их существования следует учитывать сложные взаимоотношения, складывающиеся между диалектами и литературными языками.

Диалекты старше литературного языка. Последний образуется обычно на основе того или иного диалекта или целой группы диалектов. Так, русский литературный язык сформировался на основе центрального московского диалекта, французский — на основе диалекта Парижа, английский — на основе языковой нормы Лондона. Однако выдвижение того или иного диалекта как базы для развития литературного языка может происходить не сразу. В истории английского языка, например, сначала

распространился так называемый уэссекский диалект, на котором и были написаны древние рукописи. В XV в. решающее влияние приобрел лондонский диалект, оттеснивший уэссекский. Сложное выдвигание то одной, то другой группы диалектов долго наблюдалось в Германии.

Соотношение диалектов и литературного языка осложняется и по другим причинам.

Дело в том, что в истории целого ряда языков бывали периоды, когда литературным языком народа являлся другой, чужой язык. Известны примеры подобного рода: латинский письменный язык был литературным языком средневековой Европы, аналогичную функцию выполнял старославянский письменный язык у восточных и южных славян, арабский письменный язык у многих народов Востока, так называемый *вэньянь* в Китае, Корее и Японии и т.д. Подобные литературные языки непонятны народу и бывают достоянием лишь «избранных» — писателей, ученых, государственных деятелей.

Литературные языки такого рода не имеют общекоммуникативной функции. Они приобретают своеобразный наддиалектный характер. В этих случаях взаимодействие между диалектами и литературным языком осложняется. По отношению к диалектам литературный язык оказывается посторонним образованием. Если в приведенных ранее исторических примерах один из диалектов или группа диалектов выступает как основа для литературного языка, то в странах, в которых литературный язык чужой, соотношение иное: литературный язык находится за пределами диалектов¹.

Следует, однако, иметь в виду — это, к сожалению, не всегда учитывается, — что литературные языки, чужие по отношению к диалектам народного языка, в конце концов оказываются в изоляции и вытесняются по мере того, как выдвигаются свои литературные языки, базирующиеся на народной диалектной основе. Правда, чужие литературные языки могут господствовать в сфере науки и литературы на протяжении целых столетий, но существенно то, что рано или поздно народные языки всем ходом своего исторического развития восстают против них и постепенно вытесняют или оттесняют эти языки.

Так было, например, с латынью как литературным языком средневековой Европы, на котором писались все научные сочи-

¹ См.: *Болдырев А.Н.* Некоторые вопросы становления и развития письменных языков в условиях феодального общества // ВЯ. 1956. № 4. С. 31.

нения, составлялись юридические акты и государственные законы. Борьба народных языков с латынью проходила в острой форме и знала немало драматических эпизодов¹. Эта борьба усиливалась по мере приближения к новому времени. С защитой народных языков и их прав на господство не только в повседневном быту, но и в науке и литературе выступали в разное время и в разных странах такие писатели, как Данте (1265–1321), Лютер (1483–1546), Ронсар (1524–1585), Монтень (1533–1592) и многие другие.

Интересна в этом отношении борьба чешского народа за независимость своей национальной культуры и против ее «онемечивания» в конце XVIII и в начале XIX в. Эта борьба проходила под девизом восстановления прав чешского литературного языка. Немецкий язык и латынь оказывали настолько сильное «давление» на чешский язык в сфере науки и государственного законодательства, что даже такой выдающийся деятель Чехии, как И. Добровский (1753–1829), писал свои сочинения по истории и филологии не на чешском языке, а на латинском и на немецком.

Как неоднократно отмечали историки чешского языка, все это не прошло для языка бесследно: ошущается различие между письменным и разговорным языковыми стилями в пределах единого чешского языка².

Для понимания соотношения литературных языков и диалектов важно учитывать неравномерность развития языков.

В VI в. до нашей эры персидский язык имел еще очень архаический вид, а в I в. нашей эры он приобрел вид, уже близкий к современному. С тех пор прошло много веков, а персидский язык изменился сравнительно мало (разумеется, кроме лексики). Глубокие изменения, определившие превращение древнеармянского языка в новоармянский язык, проходили с V по X в. нашей эры. После этого развитие армянского языка протекало медленно. Можно привести немало примеров подобного рода. В каждом отдельном случае имеются свои причины, определяющие большую или меньшую изменчивость языка. То же следует сказать и о диалектах: в определенный период жизни

¹ См.: *Ольшки Л.* История научной литературы на новых языках / Рус. пер. М.: Л., 1934 (в частности вторая и третья главы второго тома — «Латынь как научный язык в эпоху Возрождения» и «Борьба против латыни»).

² См.: *Широкова А.Г.* К вопросу о различии между чешским литературным языком и народно-разговорной речью // Славянская филология. Вып. 2. М., 1955. С. 3–37.

языка процесс формирования диалектов может совершаться очень интенсивно, тогда как в другие периоды движение внутри диалектов едва заметно.

В эпоху феодализма, с его замкнутым и разобщенным натуральным хозяйством, препятствий на пути развития единого языка было еще немало. Феодализм благоприятствовал развитию устойчивых местных диалектов. Лишь постепенно создаются условия для преодоления известной замкнутости диалектов. Но диалекты все же продолжают сохранять свои особенности.

Степень большей или меньшей устойчивости диалектов в разных странах объясняется конкретно-историческими условиями. В Италии, например, вследствие позднего национального объединения страны, лишь во второй половине XIX столетия, диалекты и в наши дни успешно конкурируют с литературным языком не только в деревне, но и в городе. Больше того, в Италии до сих пор издаются книги не только на литературном языке, но и на диалектах. Некоторые итальянские прозаики, драматурги и поэты пишут и на литературном языке, и на своем родном диалекте. На сицилийском диалекте сочинял некоторые свои пьесы виднейший драматург Л. Пиранделло (1867–1936). Неаполитанский диалект широко использован писателем и режиссером Эдуардо де Филиппо¹.

В истории русского языка выделяют большую группу *севернорусских диалектов* в отличие от большой группы *южнорусских диалектов*. Сколько-нибудь резких отличий друг от друга эти группы не имеют. Различия между ними сводятся лишь к некоторым частным, но характерным и устойчивым явлениям, которые относятся больше всего к фонетике, затем к лексике и лишь в очень небольшой степени к грамматике.

Говорящие на севернорусских диалектах легко понимают южан, как и последние — представителей севера. И все же изучение отличий между северными и южными диалектами представляет большой лингвистический и исторический интерес.

Отметим здесь лишь некоторые особенности севернорусской группы диалектов в отличие от особенностей южных диалектов.

Для севернорусских диалектов характерно так называемое *оканье*, т.е. отчетливое сохранение в произношении неударяемых гласных звуков *о* и *а* (например, *трав*а произносится как *травá*, а *вод*а

¹ См.: Касаткин А.А. Язык и диалект в современной Италии // Вопросы романского языкознания. Кишинев, 1963. С. 126–134.

как *водá*, а не как *вадá*)¹. В этих же диалектах имеется взрывной звук *z*, которому на юге соответствует так называемый фрикативный *γ* (*город*, *гора*, а не *γород*, *γара*). «Он [Григорий] выехал со взводом в разведку, подъехал по теклине буерачка к развилку и тут вдруг услышал окающую русскую речь на жесткое “г”, сыпкий шорох шагов» (*Шолохов М. Тихий Дон*, кн. 3, ч. 6, гл. IX).

Своеобразной северной диалектной особенностью являются и так называемые *цоканье* и *чоканье*, т.е. неразличение *ц* и *ч*. Может быть не только *ц'ай*, *ц'истый*, но и *овч'а*, *курич'а*. Цоканье в русском языке возникло очень давно, оно уже отмечено в новгородских памятниках XI в.

У Сумарокова в комедии «Опекун» в конце пьесы появляется старая крестьянка, говорящая на цокающем севернорусском диалекте: «Ах, *цесный* господин, как ты поседел! А был как наливное *яблоцко!*» Так писательница В. Панова сообщает об одной своей героине: «Она была пермячка, до тридцати лет жила в деревне и вместо *ч* говорила *ц*: *сейцас*» («Кружилиха», гл. 3). У М. Шолохова читаем об особой разновидности цоканья: «Григорий сидел возле стола, шелкая тыквенные семечки. Рядом с ним — рослый сибиряк, пулеметчик. Он морщил ребячески-округлое лицо, говорил мягко, сглаживая шипящие, вместо “ц” произносил “с”: *сельй* полк, *месяс* выходил у него» («Тихий Дон», кн. 3, ч. 6, гл. XVII).

В области грамматического строя севернорусских диалектов отметим такие факты, как употребление дательного падежа множественного числа в функции творительного (*с голубым глазам*, т.е. «с голубыми глазами», *пойти в лес за грибам*, т.е. «за грибами»), или такие, как так называемый постпозитивный артикль: обычно за именем существительным следует особая частица в функции своеобразного артикля («крик-от какой!», «дело-то это замечательное!»). Не перечисляя здесь других особенностей севернорусских диалектов в отличие от диалектов южнорусских, в отличие от общенационального языка², обратим внимание на то, как в истории языка протекает процесс некоторого сглаживания диалектных расхождений.

Процесс слияния местных диалектов с общенациональным языком обычно оказывается процессом длительным, сложным и противоречивым.

¹ В противоположность оканью в южнорусских диалектах отмечается аканье: *вадá*, *дамá*. *Аканье* — это неразличение гласных звуков *о* и *а* в первом предупредительном слоге после твердых согласных и произношение на их месте одного звука *а*.

² См.: *Иванов В.В. Русские народные говоры*. М., 1956.

Из множества возможных иллюстраций, подтверждающих историческую сложность этого процесса, приведем лишь такой пример.

В связи с влиянием литературного языка на местные диалекты явление цоканья в севернорусских диалектах стало как будто бы суживать сферу своего распространения. Местные грамотные люди замечали, что в ряде случаев нужно произносить не *ц*, а *ч*. Но, исправляя одни слова, они стали бессознательно для себе переносить эти исправления и на другие слова, в которых *ц* было, однако, вполне закономерным и правильным. Так, выправляя *цай* и *цистый* на *чай* и *чистый*, местные грамотеи стали переносить звук *ч* и на такие слова, в которых звук *ц* был вовсе не диалектным явлением. Так возникли *улица* и *яйчо* вместо правильных *улица* и *яйцо*. Следовательно, уничтожая диалектное произношение в одних случаях и приближая слова к литературному произношению, говорящие стали создавать новые диалектные отклонения в других случаях. Таким образом, процесс вытеснения цоканья оказался сложным. Он шел не к прямому вытеснению цоканья, а через смешение цоканья и чоканья к созданию новых отклонений от литературного языка. Эти новые отклонения, вторично преломляясь сквозь призму литературного языка, вновь выравниваются и приближаются к литературной норме. Следовательно, волна сперва как бы перехлестывает через край, прежде чем улечься в свои берега, в свое русло.

Исследователь русских диалектов Д.К. Зеленин рассказывал: однажды мать одного молодого крестьянина Вятской губернии (дело происходило в 1910 г.) в разговоре с Зелениным в присутствии сына произнесла слово *корцага* (т.е. *корчага* — «большой глиняный сосуд»). «После ее ухода сын, как бы извиняясь, заметил: “Знает, что нужно говорить с *ц*, только не знает, где его ставить, вот и бухнет иной раз *корцага*”»¹. Так, особенности местных диалектов оказываются настолько устойчивыми, что пережиточно существуют в речи северян до сих пор.

Интересна и лексическая дифференциация диалектов. Сравним, например:

Севернорусские слова

орáть
петúх
волк

Южнорусские слова

пахáть
кóчет
бирю́к

¹ Зеленин Д.К. Великорусские говоры. СПб., 1913. С. 386.

крѣнка	махѣтка
тропѣнка	стѣжка
вѣлосы	вискѣй
баскѣй	красѣвый

В процессе исторического развития словарь русского литературного языка пополнялся за счет лексических ресурсов диалектов. «Такие привычные литературные слова, как *земляника, клубника, паук, цапля, пахарь, вспашка, верховье, задор*, такие, как *улыбаться, хилый, напускной, назойливый, огорошить, чепуха, очень, прикорнуть, попрошайка, очуметь, гуртом, кулак, батрак, мироед, наобум, неуклюжий, мямить* и т.д., по своему происхождению являются областными... выражениями»¹.

Хрестоматийные, литературные примеры подкрепим еще одним живым наблюдением из журналистской работы В. Пескова (1978 г.). В путешествиях по вятской земле произошла встреча с охотником. В речи, неторопливой и обстоятельной, множество местных вятских словечек... с полуслова, впрочем, понимаемых за столом. На языке этом заяц не бежит, а летит, а утки весною, над Вяткой не летят, а идут... Когда зашел разговор о лосях, старик примолкнул, послушал охотников помоложе. А потом и сказал такое суждение: «Лось — она хламина нотная, она, мотри, паря, тово»... В приблизительном переводе с вятского это вот что: «Лось, скажу тебе, зверь не простой, от него смотри, парень, можно ждать всякого...»

Многие слова, бытующие сейчас в национальном русском языке, могут быть осмыслены только на фоне взаимодействия национального языка и местных диалектов.

Так, например, прилагательное *безалаберный* становится понятным при привлечении областного тверского существительного *алабор*, что значит «порядок», «устройство» (см. в «Словаре» Даля не только *алабор*, но и *алаборить* — «ворочать делами», «приводить в порядок»). Если диалектное *алабор* значит «порядок», то понятно, почему слово *безалаберный*, существующее в литературном языке, означает «бестолковый», «беспорядочный». Следовательно, без привлечения диалектного слова *алабор* у нас

¹ *Виноградов В.В.* Великий русский язык. М., 1945. С. 78; см. также: *Его же.* Из истории лексических взаимоотношений между русскими диалектами и литературным языком; *Его же.* Бюллетени диалектологического сектора Института русского языка (начиная с первого выпуска 1947 г.); *Гринкова Н.П.* Об областных словах в современном русском литературном языке // Уч. зап. Ленинградского пединститута им. Герцена. 1956. Т. 122. С. 139–183.

будет недоставать важного звена для осмысления литературного слова *безалаберный*.

Отличия местных диалектов от литературного языка в области лексики иногда бывают и более заметными. В рассказе «Друзья детства» Мамин-Сибиряк сообщает:

«Взять Авдея Семеновича — совсем он отстал от своего-то родного и даже разговорного нашего сибирского не понимает.

— Ну, это уж ты напрасно! — обиделся Авдей Семенович.

— А вот и не понимаешь! — спорил Окатов. — Вот переведи-ка на свой питерский язык:

— *Лонись мы с братаном сундулей тенигусом хлыном хлыняли...* Ха-ха!

— Да, пожалуй, и не понимаю! — согласился Авдей Семенович. — Мудрено что-то...

— А дело очень простое: недавно мы с двоюродным братом вдвоем ехали на лошади в гору...

Сибирский язык произвел впечатление, и все громко смеялись...»¹.

Сравнивая подобные диалектные явления с литературными, мы убеждаемся, что местные диалекты иногда существенно отличаются от литературного языка. Вместе с тем, переплавляясь в единый язык в процессе развития общенациональной языковой нормы, часть диалектных явлений (особенно в области лексики) входит в национальный язык, а другая часть постепенно вытесняется. Однако в целом фонетические, словарные и грамматические особенности местных диалектов оказываются все же устойчивыми.

Можно привести разнообразные примеры, подтверждающие, насколько устойчивыми оказываются диалектные явления и в области фонетики.

Наполеон, корсиканец по происхождению, оказавшись в Париже, долго не мог отвыкнуть от своего корсиканского выговора².

Молодой Шиллер очень страдал от своего швабского произношения. Исследователи предполагают, что это произношение

¹ Ряд наблюдений над сибирским диалектом сделал в бытность свою в Сибири А.П. Чехов. В частности, он отметил, что *бежать* и *ходить* употребляются в Сибири не так, как в литературном языке. «Здесь, — писал он, — клопы и тараканы не ползают, а *ходят*. Путешественники не едут, а *бегут*. Спрашивают: куда, ваше благородие, *бежишь*? — Это значит “куда едешь”? Глагол *реветь* значит “звать”. “Эй, ребята, *заревите* старосту» (Чехов А.П. Из Сибири, гл. 2).

² См.: Тарле Е.В. Наполеон. М., 1957. С. 13.

способствовало провалу его трагедии «Заговор Фиеско», которую впервые прочитал сам автор в кружке образованных аристократов, руководителей «национального театра» в Мангейме¹. Ф.И. Шаляпин вспоминал впоследствии, как в начале творческого пути его оказавшее произношение чуть не погубило всю его карьеру².

Область языкознания, специально изучающая диалекты, называется *диалектологией*. Для чего же нужно изучать диалекты? Ответ на этот вопрос отчасти следует из всего только что рассказанного.

Изучать диалекты необходимо: 1) для понимания процесса исторического развития языка: в диалектах часто сохраняются архаизмы, необходимые для воссоздания широкого языкового движения; 2) для понимания путей формирования литературного языка на основе того или иного диалекта или целой группы диалектов; 3) для установления взаимоотношений между историей языка и историей народа, так как диалектные факты часто дают возможность проследить, как передвигались племена и народы в период глубокой древности (выдвижение или оттеснение определенного диалекта связано с соответствующими процессами в экономической и политической истории рода, племени, народности, нации); 4) для понимания многообразия слова, звуков и форм современного языка, для практического учета особенностей местной речи и т.д.

Исследование диалектов не сводится, однако, к механической регистрации тех или иных «отклонений». Диалектология — сложная и интересная наука. Она требует от специалиста разнообразных знаний, точной методики, умения строить выводы на основе, казалось бы, разрозненных, а подчас и противоречивых фактов.

Трудности изучения диалектов заключаются прежде всего в том, что границы отдельных диалектных явлений обычно не совпадают друг с другом, а сами явления имеют не всегда один и тот же характер на всей территории распространения диалекта.

Так, перечисленные особенности севернорусских диалектов не целиком совпадают с границами самих этих диалектов. Употребление, например, постпозитивной частицы *то*, *та* наблюдается не только на севере, но кое-где и на юге. Неразличение *ц* и *ч* в

¹ Funke E. Schiller als Sprecher // Publications of the Modern Language Association of America. 1948. 63. 1. S. 184.

² См.: Шаляпин Ф.И. Страницы моей жизни. М., 1926. С. 103.

цокающих диалектах осложняется отдельными случаями их различения в говорах, тоже относящихся к севернорусским, и т.д.

Эти и подобные им осложнения иногда приводили к тому, что некоторые лингвисты даже стали отрицать реальность существования диалектов, уподобляя диалектную карту всякого языка пестрому ковру, прихотливый узор которого будто бы не дает возможности разобраться, где начинается один рисунок (диалект) и где кончается другой (иной диалект). Диалекты, согласно этой концепции, являются фикцией¹.

Такая точка зрения несостоятельна; трудности разграничения объекта изучения отнюдь не означают, что сам объект не существует. Диалекты — продукт исторического развития языка в конкретных условиях страны, народа и всей его культуры.

Диалектолог должен не только констатировать и описывать те или иные особенности диалектов, но, по возможности, и объяснять их. Эти задачи диалектологии, как и лингвистики вообще, сложны.

Возвращаясь, например, к явлению цоканья, можно вслед за Р.И. Аванесовым предположить², что отсутствие противопоставления фонем *ц* и *ч* в русском языке (*цех* — *чех* — почти единичный пример) способствовало их взаимной заменяемости в некоторых русских говорах. *Фонологически не осмысленное, противопоставление делается слабым* и легко подвергается всевозможного рода ударам и ограничениям, легко поддается иноземному воздействию.

Французские диалектологи в свое время установили точную границу распространения южнофранцузского диалектного слова *moure* — «доить». Было показано, что граница распространения этого слова проходит через ту территорию, за пределами которой *moure* по законам фонетики центральных диалектов должно было дать форму *moudre* и тем самым совпасть с другим глаголом: *moudre* — «молоть». Но такие омонимы, оба имеющие «хозяйственное значение», мешали бы друг другу. Поэтому *moure* останавливается у границы, за пределами которой это слово должно было получить форму *moudre*. А по ту сторону границы глагол *douir* стал передаваться совсем другим словом — *traire*³.

¹ См., в частности: *Paris G. Mélanges linguistiques. Vol. II. Paris, 1907. P. 432–448; Schuchardt H. Brevier. Halle, 1928. S. 166–188.*

² См. статью Р.И. Аванесова (Материалы и исследования по русской диалектологии. Т. I. М., 1949. С. 226–230).

³ *Dauzat A. La géographie linguistique. 2 éd. Paris, 1943. Аналогичные явления в английском: Williams E. The Conflict of Homonyms in English. L., 1944.*

Как ни устойчивы сами по себе диалекты, все же распространение грамотности и книги не может не влиять на них. В условиях современной деревни молодежь, приобщаясь к литературному языку, постепенно отходит от родного диалекта. Обычно процесс этот протекает медленно. Часто создаются своеобразные «промежуточные формы»: диалектная фонетика сочетается с лексикой литературного языка (*радио, кино, клуб, лектор, бригада* и т.д.)¹.

4. Литературные языки и жаргоны

Следует строго различать диалекты и жаргоны. Их происхождение, природа и функция совершенно несходны. Современные диалекты — понятие прежде всего территориально-лингвистическое, жаргоны — понятие социально-лингвистическое. *Жаргоны* (или *арго*) — это своеобразные «языки», не связанные с какой-либо территорией, но возникающие в среде различных социальных прослоек, находящихся в сходных профессиональных и бытовых условиях.

Известны самые разнообразные жаргоны: странствующих актеров, базарных торговцев, нищих, воров и т.д. С позиции литературного языка жаргоны всегда кажутся отрицательным и грубым явлением. Между тем в действительности природа жаргонов иногда бывает более сложной. В условиях классового общества они часто ассоциируются с «языком бедноты»,

¹ Из литературы о диалектах и диалектологии, литературных и национальных языках см.: Вопросы теории лингвистической географии. М., 1962. С. 7–27; *Жирмунский В.М.* Национальный язык и социальные диалекты. Л., 1936. С. 5–71; *Его же.* Проблемы социальной диалектологии // Изв. АН СССР. Отделение литературы и языка. 1964. № 2. С. 99–112; История русской диалектологии. М., 1961. С. 30–97 (основные направления развития диалектологических исследований в нашей стране); *Макаев Э.А.* Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики. М.; Л., 1964. С. 3–25; Вопросы формирования и развития национальных языков. М., 1960 (на материале языков: английского, испанского, итальянского, немецкого, нидерландского, арабского, узбекского, японского, армянского и других); *Дешириев Ю.Д.* Развитие младописьменных языков народов СССР. М., 1958. С. 228–260; *Гухман М.М.* От языка немецкой народности к немецкому национальному языку. Ч. 1. М., 1955; Ч. 2, 1959; *Касаткин А.А.* История языка и история права // Изв. АН СССР. Отделение литературы и языка. 1964. № 2. С. 118–128; *Будагов Р.А.* Проблемы изучения романских литературных языков. М., 1961. С. 1–37; *Bottiglioni G.* Linguistic Geography: Achievements, Methods and Orientations // Word. 1954. N 2–3. P. 375–387; *Порциг В.* Членение индоевропейской языковой области. М., 1964.

поэтому многими писателями жаргонные слова нередко вводятся в литературу.

Особо следует рассматривать такие своеобразные жаргоны, которые возникают в результате смешения лексики туземных языков с лексикой языков европейских. Подобные жаргоны появляются в условиях, при которых народу недоступна грамотность. Желая передать мысль и не имея возможности хоть сколько-нибудь изучить другой язык, отдельные группы неграмотного туземного населения бессознательно смешивают лексику разных языков, которые они слышат, и создают тем самым особые жаргоны. Известны жаргоны такого типа: «пиджин-инглиш», «птинэгр», «броукен-инглиш» и др. Не случайно, что подобные жаргоны создаются в больших портах или пограничных городах, в которых постоянно сталкиваются носители разных языков.

В отличие от диалектов, которые могут иметь свои особенности и в области фонетики, и в области грамматики, и в области лексики, жаргоны, как правило, характеризуются только специфическим составом своей лексики.

Говоря о жаргонах, следует проводить и другое важное разграничение — между *жаргонными* словами и словами *профессиональными*. Хотя различие это в языке обозначено в ряде случаев очень нечетко, оно все же весьма существенно.

Уже в глубокой древности были известны специальные слова и выражения охотников, мореплавателей, землекопов и т.д. Известны и новые узкопрофессиональные термины химиков, железнодорожников, космонавтов и других специалистов. Но противопоставление «узкопрофессиональные слова» — «слова арготические» осложнится, если ввести еще новое понятие — «технические слова». Технические слова, слова-термины (гл. I) совершенно необходимы в научном языке. Поэтому значительная часть научных терминов входит в состав литературного языка. Иначе обстоит дело с узкопрофессиональными словами. Часто они оказываются уже за пределами общелитературного языка.

Поясним это различие на таком примере. В языке летчиков такие слова, как *истребитель*, *бомбардировщик*, *приземляться*, *пилотировать*, являются специальными терминами или такими профессиональными словами, которые вместе с тем оказываются словами общелитературного языка. Они теряют свой специфически профессиональный характер. Напротив того, такие слова летчиков, как *бочка*, *колокол*, *змейка* — различные обо-

значения фигур высшего пилотажа, — приобретают уже узко-профессиональный характер и в этом своем значении могут уже не входить в литературный язык. Наконец, такие слова, как *виселица* (приспособление для съемки мотора), *морковка* (спуск, близкий к отвесному), *болтанка* (воздушная качка), предстают как арготические и уже не входят в литературный язык¹.

Гончаров в книге «Фрегат “Паллада”» заметил: «Боже вас сохрани сказать когда-нибудь при моряке, что вы на корабле, “приехали”: покраснеет! “Пришли”, а не приехали». И далее, повествуя о том, как долго он будет еще помнить морские выражения, после того как путешествие его окажется оконченным, писатель прибавляет: «Мне будет казаться, что мебель надо “принайтовить”, окна не закрывать ставнями, а “задраить”, при свежем ветре буду ждать, что “засвистят всех наверх рифы брать”»².

Об аналогичных явлениях сообщают и другие писатели: «Но флот во многом отличается от армии: юнкер — гардемарин, обыкновенный рапорт — по-флотски рапорт, в армии на север указывает компас, во флоте компас — все это мелочи, но мелочи только подчеркивают, что штабс-капитану никогда не понять пышной четкости флотской жизни» (*Соболев Л.* Капитальный ремонт, гл. 1); «В прошлую навигацию, говорю, сорок дней вместе шли. Где шли? Ха-ха-ха! Она думает, что на пароходе не ходят, а обязательно ездят» (*Семушкин Т.* Алитет уходит в горы, кн. 2, ч. 1, гл. 2).

В отличие от профессиональных слов арго, или жаргоны, бытуют больше всего в деклассированных слоях общества и отчасти в так называемых высших его кругах³.

Известны, например, различные типы арго преступников. В этом мире целый ряд понятий искусственно заменяется другими и создается особый, «тайный» арготический язык, понятный только посвященным.

В языке русских преступников старого мира были известны, например, такие «замены»: вместо *убить* говорили *успокоить*, *приткнуть*, *шлепнуть*, вместо *кровь* — *клюквенный сок*, вместо *кража* — *дело*, *работа*, вместо *деньги* — *смазка*, *масло*, *каша* и т.д.

¹ См.: *Успенский Л. В.* Материалы по языку русских летчиков // Язык и мышление. VI–VII. 1936. С. 161–218. К сожалению, нет регулярных данных о языке русских летчиков (а теперь и космонавтов), хотя их специальная лексика расширилась и обновилась. Об английской авиационной лексике см. двухтомное исследование: *Stubelius S.* Airship, Aeroplane, Aircraft. Göteborg, 1958.

² *Гончаров И. А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. М., 1952. С. 62.

³ См. об этом в настоящей работе (гл. 1).

В романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» (гл. 2), действие которого происходит в 1927 г. в захолустном городке, приводится такой диалог между Воробьяниновым и гробовщиком Безенчуком:

«— Умерла Клавдия Ивановна, — сообщил заказчик.

— Ну, царство небесное, — согласился Безенчук. — *Представилась*, значит, старушка... Старушки они всегда *представляются*... или *богу душу отдают*. Это смотря какая старушка... Которая покрупнее да похудее — та, считается, *богу душу отдает*.

— То есть как это считается? У кого считается?

— У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели помрете... что *в ящик сыграли*. А который человек торговый... тот, значит, *приказал долго жить*. А если кто чином поменьше... про того говорят *перекинулся* или *ноги протянул*. Но самые могучие когда помирают... то считается, что *дуба дают*.

Вот с этой же целью речевой характеристики персонажей арготические слова проникают в язык художественной литературы.

В европейской литературе одним из первых, кто широко стал пользоваться арготическими словами, был французский поэт XV столетия Ф. Вийон (1431–1489). С помощью подобных слов писатели обычно усиливают речевую характеристику некоторых своих персонажей. Таковы, например, элементы воровского арго в байроновском «Дон-Жуане» (портрет лондонского бандита). Этой же цели служит арго в «Отверженных» В. Гюго и в «Оливере Твисте» Ч. Диккенса и в других произведениях. Но арго в целом — явление, очень своеобразно окрашенное. Уже многие великие писатели прошлого понимали это. В. Гюго, например, прежде чем прибегнуть к арготическим словам в своих «Отверженных», должен был включить в роман целую главу о происхождении и особенностях воровского арго, как арго «нишеты и горя» (т. III, кн. 7). Сходным образом поступил и А. Барбюс в своем романе «Огонь»: здесь дано специальное обоснование (гл. XIII) «грубых слов» солдатского жаргона.

Несколько иного происхождения факты так называемого «семейного осмысления слов».

Л. Толстой в «Юности» так характеризует их сущность: «Между людьми одного кружка или семейства устанавливается свой язык, свои обороты речи, даже слова, определяющие те оттенки понятий, которые для других не существуют. В нашем семей-

стве, между папá и нами, братьями, понимание это было развито в высшей степени... Но ни с кем, как с Володей, с которым мы развивались в одинаковых условиях, не довели мы этой способности до такой тонкости... Например, у нас с Володей установились, бог знает как, следующие слова с соответствующими понятиями: *изюм* означало тщеславное желание показать, что у меня есть деньги, *шишка* (причем надо было соединить пальцы и сделать особенное ударение на оба *ш*) означало что-то свежее, здоровое, изящное, но не шегольское; существительное, употребленное во множественном числе, означало несправедливое пристрастие к предмету и т.д. Но, впрочем, значение зависело больше от выражения лица, от общего смысла разговора, так что, какое бы новое выражение для нового оттенка ни придумывал один из нас, другой по одному намеку уже понимал его точно так же» (гл. 29).

Случаи такого «семейного осмысления» отдельных слов лишь один раз свидетельствуют, насколько обычные знания слов являются устойчивыми. В самом деле, слову *изюм* можно искусственно придать значение *богатства* лишь в очень узком кругу людей. При этом нужно призвать на помощь выражение лица, общую ситуацию разговора и всевозможные другие, «вспомогательные средства», чтобы своеобразно «перевернуть» значение слова, приписать несвойственный ему смысл. Слово *изюм* в этом необычном значении было понятно, по словам Толстого, только двум братьям. Следовательно, если принять во внимание, что такое необычное значение слова чаще всего не выходит за пределы циркуляции среди очень небольшой группы людей, да к тому же даже среди этой группы необычное значение слова раскрывается только при особом употреблении.

Конечно, сами по себе явления «семейного осмысления» слов встречаются нередко (о них сообщают, в частности, различные писатели), однако следует иметь в виду, что количество таких слов в каждом отдельном случае обычно бывает незначительным. К тому же подобные слова часто приобретают лишь шуточный характер и как бы сосуществуют с этими же словами в их обычном и общем значении. Но если и не сделать всех этих оговорок, то и тогда явления «семейного осмысления» слов, как и явления арго, не только не расшатывают принципа общей понятности языка, но даже по-своему своеобразно подкрепляют его. Язык является языком лишь в той мере, в какой он оказывается понятным для всех членов данного общества, говорящих

на данном языке. В той же мере, в какой он лишается этого своего свойства, он перестает быть языком в собственном смысле, выступая в виде своеобразных и условных вспомогательных «систем», годных лишь для «домашнего обихода»¹.

5. Взаимодействие языков

Проблема взаимодействия языков уже была освещена при характеристике заимствованных слов в лексике (гл. I), типологической и генеалогической классификации языков, сравнительно-исторического и сравнительно-сопоставительного методов в науке о языке. Поэтому здесь будут лишь уточнены некоторые понятия и введены необходимые дополнительные термины.

Языки живут и развиваются, взаимодействуя друг с другом. Это естественно. Взаимодействие языков связано с взаимодействием народов, взаимодействием культур различных народов, с ростом науки и техники, с образованием целого ряда интернациональных слов и терминов. Очевидно, однако, что имеются различные виды и формы взаимодействия языков.

Простейший случай подобного взаимодействия — лексическое влияние одного языка на другой или другие языки. Чаще всего такого рода влияние обуславливается исторически и определяется рамками той или иной эпохи. Так, не случайно, что итальянский язык оказал большое воздействие на лексику ряда европейских языков в эпоху Возрождения, поскольку именно в эту эпоху Италия переживала бурное экономическое и культурное развитие. Не случайно, что русский язык обогатил лексику

¹ Об арго см.: библиография до 1936 г. дана в кн.: *Жирмунский В.М.* Национальный язык и социальные диалекты. Л., 1936. С. 285–291; последующие, наиболее значительные исследования перечислены в работах: *Dauzat A.* Les argots. Paris, 1956. P. 171–173; *Guiraud P.* L'argot. Paris, 1960; см. также: *Гальперин И.Р.* О термине сленг // ВЯ. 1956. № 5. С. 107–114; *Walter H.* L'innovation lexicale chez les jeunes parisiens // La linguistique. Paris, 1984. N 2. P. 69–83; *Galsworthy J.* On Expression. Oxford, 1924; *Лихачев Д.С.* Арготические слова профессиональной речи // Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М., 1964. С. 311–359; *Стойков С.* Социальные диалекты (на материале болгарского языка) // ВЯ. 1957. № 1. С. 78–84; *Ларин Б.А.* О лингвистическом изучении города // Русская речь. Вып. III. Л., 1928. С. 61–74; *Скворцов Л.И.* Об оценках языка молодежи // Вопросы культуры речи. Вып. 5. М., 1964. С. 45–70. О сленге см.: *Брагина А.А.* Сленг // Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. М., 1971 (здесь же дана библиография вопроса).

многих других языков народов Советского Союза. Примеров русизмов и советизмов можно привести немало.

Но и типы подобного лексического воздействия могут быть неодинаковыми.

В одних языках заимствованные слова целиком ассимилируются и как бы вплетаются в ткань языка, который эти слова заимствовал. Стоит только вспомнить такие некогда заимствованные русским языком слова, как *сахар, тарелка, доска, капуста*, или такие, как *культура, революция, демократия*, чтобы убедиться в этом. В других языках соотношение между «своими» и «чужими» словами иногда складывается иначе.

В турецком языке, например, многочисленные слова арабского и персидского происхождения не во всем подчиняются фонетике турецкого языка; в них не наблюдается, в частности, одной из очень характерных черт фонетики тюркских языков — гармонии гласных (гл. II). Поэтому слова арабского и персидского происхождения в турецком образуют особый слой, который сравнительно легко отделяется от «коренных» элементов языка. Картина эта особенно отчетливо обрисовывается в турецком наречии Видина¹. Всегда имеются причины, которые вызывают подобные или сходные с ними явления. В данном случае существенно, что отмеченные заимствованные слова проникли не через устную речь, а главным образом через книгу; поэтому они и сохранили особенности тех языков, из которых попали в турецкий и в его диалекты.

В лексике следует строго различать заимствованные слова и слова, общность которых определяется родством языков.

Слова могут заимствоваться не только из родственных языков, но и из любых, с которыми данный язык так или иначе соприкасался или соприкасается. Что же касается слов, общих у ряда родственных языков, то этот общий лексический фонд обычно является не результатом заимствований, а результатом единого происхождения родственных языков из одного языкоосновы.

Иначе складывается взаимодействие языков, когда наблюдаются явления так называемого субстрата.

Субстрат (лат. *substratum* — букв. «подкладка») — это своеобразный «подпочвенный» слой языка.

¹ *Németh J.* Zur Kenntnis der Mischsprachen // *Acta linguistica*. Budapest, 1953. III. 1–2. P. 159.

Когда римляне во II и I вв. до нашей эры оказались на территории старинной Иберии (Пиренейский полуостров) и старинной Галлии (современная Франция), то, покорив многочисленные племена, населявшие тогда эти территории, завоеватели стали насаждать свой язык (латинский), из которого впоследствии возникли испанский, французский и другие романские языки. Однако, постепенно вытеснив местные языки (так называемые языки аборигенов, т.е. первоначальных обитателей), на которых говорили племена и народы до прихода на их территорию римлян, язык завоевателей кое-что впитал в себя из этих языков. Таков, по-видимому, звук *ï* во французском языке (например, *mur* — «стена»), которого не было в латинском; таков, как предполагают, начальный звук *h* в испанском языке (например, *hacer* — «делать»), который вытеснил в этой позиции латинское *f* (*facere* — «делать»).

Трудность проблемы заключается в том, что вымершие языки первоначальных обитателей Иберии и Галлии нам очень плохо известны. От них сохранились лишь случайные и отрывочные фрагменты различных надписей. Поэтому, несмотря на все усилия ученых восстановить подлинную картину взаимодействия между древними языками и языком пришельцев на упомянутых территориях, это пока сделать не удалось. Однако предполагают, что те особенности романских языков, которые не объяснимы ни с позиций латинского, ни с позиций отдельных романских языков, определяются воздействием местных языков (языков более древних обитателей). Такой «подслы» в языках обычно и называют субстратом.

Субстрат, следовательно, наблюдается при скрещивании языков, в процессе которого один из языков выходит победителем, но часто перенимает от побежденного языка отдельные звуки, отдельные грамматические форманты, те или иные слова. Эти элементы побежденного языка в системе языка-победителя и называют субстратом.

Бывают и такие случаи, когда «подпочвенные» языки известны науке хорошо.

В индийских языках, например, имеются особые так называемые церебральные согласные, а в языках осетинском и армянском — смычно-гортанные звуки. Между тем ни церебральные, ни смычно-гортанные не могут быть объяснены на почве индоевропейских языков, хотя все перечисленные языки относятся именно к этой группе. Но если обратиться к данным субстрата, картина становится более ясной.

В существующих в настоящее время дравидских языках имеются церебральные согласные, а в современных кавказских — смычно-гортанные звуки. При более пристальном рассмотрении оказывается, что церебральные согласные могли попасть в языки Индии из языков дравидских, а смычно-гортанные звуки в осетинском и армянском — из кавказских. Так как языки дравидские и кавказские известны и учитывая, что дравидские языки были «подпочвенными» языками для языков Индии, а кавказские — для языков осетинского и армянского, то предположение о субстратном воздействии становится здесь вполне вероятным¹.

Хотя данные субстрата очень существенны для понимания определенных форм взаимодействия между языками, нельзя все же переоценивать их значение. Помимо того, что «подпочвенные» языки иногда почти бесследно вымирают — поэтому об их влиянии судить очень нелегко, — теория субстрата сталкивается и с трудностями другого рода.

Как было отмечено, происхождение звука *й* во французском языке обычно относят за счет воздействия субстрата кельтских языков.

Действительно, в этих «подпочвенных» (для французского) языках данный звук имелся. Но тогда возникает вопрос: почему этот звук был усвоен носителями нового языка, тогда как другие звуки тех же «подпочвенных» языков влияния не оказали? Вместе с тем граница распространения звука *й* в «подпочвенных» кельтских языках не совпадает с границами распространения этого же звука на территории новых романских языков. Тогда возникает еще один вопрос: почему в одних случаях звук *й* получил отражение, был усвоен носителями нового языка, а в других он отражения не получил и усвоен не был? Теория субстрата обычно не в состоянии ответить на подобные вопросы.

Таковы реальные трудности, с которыми сталкивается теория субстрата.

Понятие субстрата является внешним по отношению к понятию системы определенного языка. Как и когда возникает необходимость изучения «подпочвенных» языков (языков абригенов)?

Лингвист стремится найти объяснение тем историческим изменениям, которые он наблюдает в том или ином языке или

¹ См.: *Абаев В.И.* О языковом субстрате // Доклады и сообщения Института языкознания. 1956. Вып. IX. С. 64–65.

в тех или иных языках. Ему кажется, что в самом процессе развития языка нельзя обнаружить такой фактор, опираясь на который можно было бы осмыслить весь процесс развития в целом. Не найдя же такого фактора, лингвист как бы покидает данный язык, не присматривается дальше к его внутренним особенностям и внутренним закономерностям, обращается к внешним факторам, к своеобразным толчкам извне, которые нарушают «равновесие» системы данного языка, обуславливая его изменения.

В этом смысле надо признать, что *теория субстрата переносит основное внимание исследователя с внутренней стороны языка на внешнюю*, на условия взаимодействия данного языка с другими. Почему долгое латинское *u* переходит во французском языке в *ii*? Мы не знаем. Поэтому предполагаем, что это воздействие субстрата. Под «установленный» таким образом факт подводится затем «субстратная база». И не случайно, что предположения о субстратном воздействии возникают прежде всего в таких сферах языка, в которых вопрос, почему происходит изменение даного языкового явления, представляется особенно трудным. Таковы, в частности, причины исторического изменения звуков языка.

И все же нельзя отрицать важного значения самой проблемы субстрата для отдельных языков. Внутреннее в языке связано с внешним — язык всегда развивается в определенных исторических условиях, в определенном историческом окружении. Поэтому изучение сложных форм взаимодействия между условиями существования того или иного языка и тенденциями его внутреннего развития составляет важную задачу исторического языкознания. К сожалению, характер взаимодействия «внутреннего» и «внешнего» в языке исследован все еще очень мало. Между тем проблема эта имеет большое методологическое значение.

Особого обсуждения требует проблема так называемых «языковых союзов».

Языки новогреческий, албанский, румынский и болгарский, распространенные на Балканском полуострове, обнаруживают ряд интересных общих черт в грамматике: во всех этих языках дательный падеж совпадает с родительным, инфинитив почти не употребляется, будущее время образуется с помощью глагола *хотеть*, который выступает в этом случае как вспомогательный, определенный артикль функционирует не перед име-

нем, а вслед за ним (в румынском, болгарском и албанском)¹ и т.д. Эти и некоторые другие общие черты в «балканских» языках не подлежат сомнению, хотя болгарский язык является славянским, румынский — романским, а албанский и новогреческий занимают особое положение среди индоевропейских языков.

Общие черты «балканских» языков чаще всего объясняют тем, что все эти языки, по-видимому, имели общий субстрат на Балканском полуострове. Однако языки аборигенов Балканского полуострова почти не сохранились, поэтому предположение об общем субстрате для всех перечисленных языков остается лишь научной гипотезой.

К тому же следует иметь в виду, что «балканский» болгарский язык все же гораздо ближе к другим славянским языкам, чем, например, к новогреческому или албанскому, а «балканский» румынский язык, несомненно, ближе к языкам романским, чем к болгарскому или тому же новогреческому. Следовательно, генеалогические связи гораздо глубже и прочнее, чем связи по типу «языковых союзов».

«Языковые союзы» — это такие объединения языков, которые могут состоять из непосредственно неродственных и даже совсем неродственных языков; связи внутри этих союзов обычно бывают недостаточно прочными и чаще всего охватывают лишь отдельные звенья данных языков, а не весь их фонетический, грамматический и лексический строй (что наблюдается при родстве языков). Поэтому следует строго различать родство языков (по происхождению) и близость языков, основанную на принципе «языковых союзов».

Известная близость языков, входящих в «языковой союз», вовсе не всегда должна подразумевать единый для всех них «подпочвенный» слой в прошлом. Подобная близость могла оказаться результатом последующих языковых сближений².

Как ни интересны сами по себе «языковые союзы», они не могут «расшатать» или «расторгнуть» родства языков. Последнее точно и строго доказано в науке и является ее несомненным завоеванием. Но неправы и те исследователи, которые считают, что принцип «языковых союзов» будто бы несовместим с принципом родства языков.

¹ Это явление называется постпозицией артикля.

² Sandfeld K. Linguistique balkanique. Paris, 1930. P. 210–213.

В действительности родство языков и известная близость языков, входящих в «языковой союз», — это *два разных типа взаимодействия языков*, которые не отрицают друг друга, а сосуществуют друг с другом. И подобно тому как допущение в отдельных случаях субстратных воздействий нисколько не «подрывает» важнейших принципов сравнительно-исторического метода, так и признание отдельных «языковых союзов» нисколько не противоречит тому, что основным видом связи между языками является их связь по происхождению (родство языков).

В отличие от родства языков, которое является чисто лингвистическим понятием, субстрат выступает как понятие не только лингвистическое, но и этногенетическое.

В субстрате невозможно разобраться, не учитывая контактов и взаимодействий между племенами и народами. Языки тех народов, историческое становление которых происходило в процессе сложных этнических воздействий, обычно испытывали большее влияние субстрата, чем языки народов, меньше подвергавшихся этническим влияниям. Поэтому роль субстрата для разных языков совсем не одинакова: для одних она значительна (например, для тех же «балканских» языков), для других гораздо менее или совсем незначительна (так, например, хоть сколько-нибудь бесспорных субстратных воздействий в русском языке, по-видимому, не зарегистрировано)¹.

Особым видом взаимодействия языков являются случаи так называемого *двуязычия*, или *билингвизма*. При двуязычии человек в силу целого ряда причин вынужден в одинаковой степени владеть двумя языками.

Так, во многих районах Финляндии говорят и по-фински, и по-шведски. В Уэльсе (Англия) слышится не только английская речь, но и валлийская (кимрская). Для многих обитателей полуострова Бретань во Франции бретонская речь является такой же родной, как и французская. В ряде городов Узбекистана жители говорят и по-узбекски, и по-таджикски. Примеров можно привести немало.

Явления двуязычия нельзя смешивать с теми случаями, когда человек, сознательно изучив один или даже несколько инос-

¹ Иногда, кроме субстрата, различают *суперстрат* (элементы языка пришельцев, растворившиеся в языке коренного населения, который выступает как язык-победитель) и *адстрат* (элементы чужого языка, возникающие при этническом смешении в пограничных районах и лишь затем расширяющие сферу своего распространения).

транных языков, легко пользуется разными языками. В этом последнем случае для него родным языком всегда будет тот язык, на котором он впервые научился говорить.

При билингвизме определить родной язык часто бывает очень трудно; говорящие с детства усваивают два языка, причем одним они иногда пользуются в быту, а другим — в официальном обращении. Крестьяне Уэльса говорят на своем родном, валлийском языке (кельтская семья языков), но для того, чтобы общаться с внешним миром, они вынуждены усваивать и английскую речь. Двуязычие чаще всего создается в условиях, когда государственным является не родной язык данного народа или части его представителей (см., например, двуязычие шведов, живущих в Финляндии).

Легко понять, что при двуязычии оба языка могут самыми разнообразными способами влиять друг на друга.

В середине XIX столетия лингвисты считали, что смешанных языков не существует. В конце того же века некоторые языковеды стали выдвигать противоположный тезис: несмешанных языков не существует. Между тем ни первое, ни второе положение приняты быть не могут. В действительности языки находятся между собой в различного рода контактах.

Обратим внимание и на разработку проблемы так называемых *языковых универсалий*: ученые стремятся обнаружить в языках мира независимо от их происхождения определенные черты общности в звуковом строе, в типах грамматических обобщений, в способах сочетаемости слов друг с другом и т.д. Общность эта в значительной степени определяется функциональной общностью языков: все они служат общению и выступают как средство выражения человеческих мыслей и чувств. Отсюда и известные черты сходства между языками мира, несмотря на все конкретное многообразие отдельных языковых типов. Общность языковых универсалий оказывается таким образом совсем другого характера, чем общность, определяемая единством происхождения группы языков из одного источника.

Языковые контакты отличаются друг от друга не только количественно, но и качественно; родство языков по своей природе иное, чем взаимодействие языков на основе субстрата; влияние лексики одного языка на лексику другого языка подчас ничего не имеет общего с родством языков и может наблюдаться в сфере взаимоотношений между неродственными языками

и т.д. Поэтому в науке возникла проблема изучения *разных типов отношений между языками*. Каждый из таких типов имеет свою специфику. Родство языков, контакты между ними, различного рода заимствования и субстрат — основные типы взаимодействия языков¹.

¹ О взаимодействии языков см.: Докл. и сообщения Института языкознания Академии наук СССР. Вып. IX. М., 1956 (выпуск целиком посвящен проблеме субстрата и сходным с ним явлениям); *Jespersen O.* Mankind, Nation and Individual from a Linguistic Point of View. Oslo, 1925. P. 204–221; *Becker H.* Der Sprachbund. Berlin; Leipzig, 1948. S. 3–32; *Weinreich U.* Languages in Contact (Findings and Problems). N.Y., 1953. P. 7–70 (2 ed., 1963); *Universals of Language* / Ed. by J. Greenberg. Cambridge (Mass.), 1963.

Глава VI



ЯЗЫКОВЫЕ СТИЛИ





1. Разговорный и письменный стили

Хотя язык является общенародным достоянием (все люди, говорящие на данном языке, понимают друг друга), его единство несколько не отрицает его же внутреннего многообразия. Будучи средством общения во всех сферах жизни и деятельности человека, язык не может в известной степени не видоизменяться в зависимости от условий, в которых он функционирует.

Сначала обратим внимание на наиболее очевидное разграничение — *разговорная и письменная речь* (разговорный стиль языка, письменный стиль языка)¹.

Мы говорим не совсем так, как пишем. Основное различие определяется здесь тем, что в процессе письма обычно отбирают слова, выражения и конструкции, стараются излагать свои мысли по нормам письменного языка. В процессе разговорной речи подобная избирательность обычно не наблюдается. Здесь чаще всего помогает ситуация, в которой протекает разговор.

Начнем с элементарного примера. Угощая гостя чаем, иногда спрашивают: *Вам с вареньем или без?* Ответ: *Пожалуйста, без* или даже просто: *Без*. Ситуация разговора как бы корректирует, уточняет речь собеседника. А в письменном языковом стиле такое *без* невозможно.

Могут возразить: разве всегда разговор бывает таким элементарным? Ну, а если собеседник излагает сложные мысли на важную и ответственную тему? Разве в этом случае говорящий не стремится к правильному выражению и пониманию? Все это так. Говорящий так же стремится к правильному выражению и пониманию, как и пишущий. Но если говорящий излагает свои

¹ Сохраняем понятие *языкового* стиля (а не *речевого*) во избежание всяких недоразумений; прилагательное *языковой* подчеркивает, что изучаемые явления (стили) объективно присущи языку, независимо от того, что различает или не различает в языке говорящий. В отличие от языковых стилей всякое индивидуальное использование языка может быть названо иначе (о чем ниже). Поэтому необходимо сохранить понятие языковых стилей, хотя оно и неудобно стилистически («языковые стили языка»). Чтобы частично избежать этого неудобства, понятия «разговорная речь» и «письменная речь» употребляются в дальнейшем как эквиваленты терминов «разговорный языковой стиль» и «письменный языковой стиль».

мысли в разговоре, проходящем в форме диалога или беседы между несколькими людьми, то он, сам того не замечая, опирается на *конструкции разговорной речи*, на слова и интонации, характерные для нее и часто невозможные в письменном стиле. Если же говорящий произносит «как по написанному», то его речь, разумеется, уже не будет разговорной. Но «говорить как по написанному» звучит в виде комплимента лишь в устах малообразованного человека. Люди же настоящей культуры ведут разговор в «стиле разговора», а письменное изложение выдерживают в традиции письменной речи.

Нельзя допускать и другого смешения — устной и разговорной речи. Если устная речь человека воспроизводит речь письменную (нетрудно представить оратора, который «устно» произносит выученную речь, предварительно написанную на бумаге), то, конечно, она будет совершаться по законам письменной речи и никакого отношения к разговорной речи уже иметь не будет.

Основное *противопоставление* образуется, таким образом, разговорной и письменной речью, а не устной и письменной. Для этой последней характерна прежде всего *избирательность*, т.е. тщательный и продуманный отбор языковых средств. Поэтому малограмотное письмо в сферу действия законов письменной речи входить не будет.

Наконец, еще одно уточнение. Избирательность, как было подчеркнуто, наблюдается лишь на одной стороне противопоставления «разговорная речь — письменная речь». Это, однако, не означает, что в области разговорной речи царит произвол. Здесь имеются свои законы построения предложений, характерные интонации, типичные модели. Когда по-русски говорят *взять да и отказаться* или *ай да Петя!*, то эти и подобные им конструкции выступают как типичные именно для разговорной речи. Их стилистически не отделяют. Они как бы «даются» самим языком. Говорящий усваивает их с детства. Но подобные конструкции совсем не произвольны. Невозможно, например, сказать *да ай Петя!* или *взять да но и отказаться*. Если угодно, в разговорной речи тоже имеется избирательность, но избирательность, подсказанная национальной спецификой общенародного языка, тогда как в письменной речи к этой национальной специфике присоединяется чисто стилистическая избирательность, позволяющая различать отличных, хороших, средних и плохих стилистов¹.

¹ Об особенностях русской разговорной речи см. интересную кн.: Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960; *Ее же*. О некоторых активных процессах в современном русском синтаксисе // ВЯ. 1964. № 2. С. 3—18.

Присмотримся к особенностям разговорного и письменного стилей.

В своей яркой статье о диалогической речи Л.П. Якубинский приводит такой шуточный разговор: — *Здорово, кума. — На рынке была. — Аль ты глуха? — Купила петуха. — Прощай, кума. — Полтину дала.* Хотя глухая кума не угадывает первого вопроса, однако ситуация разговора подсказывает ей, о чем ее могут спросить. Если заставить глухую куму быть более вежливой и ответить на приветствие знакомой женщины, то весь разговор пройдет вполне нормально: — *Здорово, кума. — Здорово. — Где была? — На рынке. — Что купила-то? — Да вот петуха* и т.д.¹

В разговорном языковом стиле исключительно важную роль играет интонация.

«Есть пятьдесят способов сказать *да* и пятьсот сказать *нет*, и только один способ их написать», — замечает Бернард Шоу². Итальянский писатель Эдмондо де Амичис аналогичную мысль передал с помощью другого образа: «Различие между разговорным и письменным языком напоминает различие между бегом и ходьбой»³. Задолго до Шоу и Амичиса дифференциацию между разговорным и письменным языковыми стилями прекрасно обосновал Пушкин в 1836 г. Он заметил: «Может ли письменный язык быть совершенно подобным разговорному? Нет, так как разговорный язык никогда не может быть совершенно подобным письменному... Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отречься от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка»⁴. Еще раньше, в XVIII в., аналогичные мысли развивал французский писатель и натуралист Бюффон в своем знаменитом «Рассуждении о стиле» (1753): «Кто пишет так, как говорит, хотя и говорит отлично, пишет плохо»⁵.

Для разговорного языкового стиля характерно: 1) широкое использование интонации, которая вырастает из определенной ситуации; 2) преобладание сочинительных конструкций над

¹ См.: Якубинский Л.П. О диалогической речи // Русская речь / Под ред. Л.В. Щербы. I. Пг., 1923. С. 166.

² Шоу Б. Избранное / Рус. пер. М., 1946. С. 11.

³ Amicis E. de. L'idioma gentile. Milano, 1909. P. 38.

⁴ Пушкин А.С. Соч. Т. 12. М., 1949. С. 96.

⁵ Buffon G. Discours sur le style. Paris, 1881. P. 31. Ср. с этими суждениями различных писателей свидетельство ученого-лингвиста, относящееся, правда, лишь к одному языку: «Французы никогда не говорят так, как пишут, и редко пишут так, как говорят» (Вандриес Ж. Язык / Рус. пер. М., 1937. С. 141).

подчинительными; 3) преобладание всевозможного рода неполных предложений над предложениями полными; 4) использование особых моделей (ср. *взять да и отказаться*); 5) использование некоторых слов в особых значениях, а также употребление просторечных, а иногда и жаргонных слов и выражений и т.д.

Для письменного языкового стиля характерно: 1) строгая последовательность и продуманная логичность изложения; 2) широкое применение не только сочинительных, но и подчинительных конструкций, богатство сочинительных и подчинительных союзов; 3) четкая дифференциация лексических средств языка (в частности, синонимов); 4) зависимость от предшествующей языковой традиции («от приобретенного в течение веков» — *Пушкин*) и т.д.

В перечисленных различиях между разговорным и письменным стилями далеко не последнюю роль играет и лексика. Слова разговорной речи часто приобретают дополнительные эмоциональные оттенки, которых обычно лишены слова письменной речи. Известная артистка С.Г. Бирман рассказывает, как порой на сцене, в диалоге или даже просто в обращении, казалось бы, столь нейтральные выражения *добрый день!* или *как поживаете?* могут приобрести чуть ли не противоположные или, во всяком случае, не прямые значения¹. Действительно, живые интонации звучащей речи придают лексике разговорного стиля весьма подвижный характер.

На этом основании нельзя, однако, утверждать, что лексике разговорного стиля вообще несвойственны прямые значения слов. «Прямые лексические значения слов, — пишет исследователь, — перестают формировать и определять внутреннее содержание речи» (имеется в виду разговорная речь)². Такое заключение, конечно, ошибочно. Если бы это было так, то единый язык раскололся бы на части. Люди, владеющие одной его частью (разговорной), перестали бы понимать людей, владеющих другой его частью (письменной).

К счастью, этого обычно не происходит. Если *добрый день!* в особых случаях можно произнести с интонацией *не хочу желать тебе и доброго дня!*, то это вовсе не означает, что для разговорной речи подобное осмысление является нормой. И в разговорном и в письменном стилях семантические основы языка, разумеется, едины (*добрый день!* как общее правило в любом стиле передает пожелание *хорошего дня* или просто означает *при-*

¹ См.: Бирман С.Г. Актер и образ. М., 1954. С. 6.

² Шмелев Д.Н. Экспрессивно-ироническое выражение отрицания // ВЯ. 1958. № 6. С. 63.

ветствие). В разговорном стиле русского языка подобные выражения лишь *в особых условиях* могут отклоняться от прямых значений, и задача филолога заключается в том, чтобы определить и исследовать характер этих условий.

Можно, разумеется, говорить о большей эмоциональности и ситуативной подвижности разговорной лексики по сравнению с лексикой письменного стиля, но нельзя резко и односторонне противопоставлять лексику этих двух стилей, так как они являются стилями единого языка.

Даже перечисленные различия между разговорным и письменным стилями не следует понимать абсолютно. Логичность изложения, типичная для письма, вовсе не означает, что разговорная речь нелогична или алогична. Признак этот лишь свидетельствует о том, что логичность и последовательность изложения характерны *прежде всего* для письменного языкового стиля. Преобладание сочинительных конструкций над подчинительными в разговорной речи не означает, что сочинительные конструкции не встречаются в письменной традиции. Четкая дифференциация лексических средств языка в письменном стиле не свидетельствует о том, что разговорная речь безразлична к подобной дифференциации.

Дифференцирующие признаки относительны, а не абсолютны. Они говорят лишь о *преобладании* тех или иных особенностей в одном языковом стиле в отличие от другого.

Отмеченные различительные признаки разнородны (гетерогенны); одни из них выступают как чисто языковые (например, сочинение и подчинение, интонация, союзы и т.д.), другие — как признаки «внешние», обусловленные характером того задания, которое выполняется с помощью известного языкового стиля (например, логичность и последовательность изложения определяются не только языком, но и возможностями говорящего).

Различие между разговорным и письменным языковыми стилями, само по себе несомненное, осложняется еще и тем, что в пределах каждого из этих стилей могут быть разнообразные варианты.

Так, например, разговорный языковой стиль имеет два основных типа произношения — *полный* (когда отчетливо произносятся все звуки и слова) и *неполный* (когда не все звуки речи артикулируются отчетливо)¹. В пределах же письменного языкового

¹ См.: Шерба Л.В. О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе слов // Шерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 21–25. В пределах разговорного языкового стиля чаще всего различают *литературно-разговорный* и *фамильярно-разговорный стили*.

стиля выступает еще больше вариантов и разновидностей, о которых будет сказано ниже. Пока обратим внимание лишь на различные особенности произношения в разговорном языковом стиле разной степени «полноты».

В «Записках охотника» (рассказ «Два помещика») И.С. Тургенев повествует об одном отставном генерал-майоре, который «никак не мог обращаться с дворянами небогатыми или нечиновными, как с равными себе людьми. Разговаривая с ними... он даже слова иначе произносит и не говорит, например, *благодарю, Павел Васильич*, или *пожалуйте сюда, Михайло Иванович*, а: *болдарю, Палл' Асилитч*, или *па-ажалте сюда, Михал' Ванитч*».

Любопытно, что, противопоставляя произношение помещика тому, как надо говорить, Тургенев дает не полные формы (*Васильевич, Иванович*), а реально существующие в русском языке разговорные формы (*Васильич, Иванитч*).

Другой рассказ («Чертопханов и Недопюскин») из той же классической книги Тургенева начинается такими словами: «В жаркий летний день возвращался я однажды с охоты на телеге... Собака моя наткнулась на выводок. Я выстрелил... как вдруг позади меня поднялся громкий треск и, раздвигая кусты руками, подъехал ко мне верховой. *А па-азвольте узнать*, — заговорил он... — *по какому праву вы здесь а-ахотитесь, мюлсвий сдарь?* Незнакомец говорил необыкновенно быстро».

В широко известном стихотворении Маяковского «Юбилейное» автор, обращаясь к Пушкину, пишет:

Александр *Сергеевич*,
разрешите представиться —
Маяковский.

Но по мере развития повествования Маяковский как бы приближается к дорогому для него образу Пушкина и называет поэта по имени и отчеству уже не «полным стилем», а более интимно, «разговорно»:

Александр *Сергеич*,
да не слушайте ж вы их!
Может,
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.

Противопоставление формы полного стиля (*Сергеевич*) и разговорной формы (*Сергеич*) очень характерно. Соответственно и себя Маяковский называет в этом стихотворении не *Владимиром Владимировичем*, а *Владимом Владимычем*¹.

Если учесть отмеченные особенности разговорного языкового стиля (в частности, его «полного» и «неполного» вариантов), то к признакам, отличающим разговорную речь от письменной, можно прибавить еще один — он относится к своеобразию произношения. Этот признак существен для языкового стиля, имеющего дело со звучащей речью. Следовательно, чем более дифференцированно рассматривается противопоставление «разговорный языковой стиль» — «письменный языковой стиль», тем более обнаруживаются признаки, которые их различают. При этом учет внутренних подразделений в пределах каждого языкового стиля и усложняет и углубляет противопоставление основных вариантов изучаемых языковых стилей.

Хотя различие между разговорной и письменной речью очень существенно и вполне очевидно, однако, как было подчеркнуто, нельзя истолковывать его односторонне.

Уже Пушкин в приведенном фрагменте вполне справедливо отмечал, что «письменный язык поминутно оживляется выражениями, рождающимися в разговоре»². В свою очередь, разговорная речь опирается на письменную традицию. Характер взаимодействия между ними различен в разные эпохи существования того или иного языка, как различны и причины, углубляющие несходство между двумя языковыми стилями.

В старой России неграмотные крестьяне, естественно, ничего не знали об особенностях русской письменной традиции. Их разговорная речь обычно не находилась под воздействием письменного языкового стиля, хотя отдельные книжные слова постоянно проникали в диалекты (влияние города, церкви и т.д.). В свою очередь, и разные слои господствующих классов неодинаково приобщались к искусству той разновидности разговорной речи, которая называется публичной.

Невежественному Фамусову, например, казалось невероятным, что Чацкий «говорит, как пишет»:

¹ Ср. об этом последнем примере: *Хавин П.Я.* Заметки о стилистических нормах произношения отчеств // *Хавин П.Я.* Очерки русской стилистики. Л., 1964. С. 117.

² В заметках 1830 г. Пушкин писал: «Разговорный язык простого народа... достоин также глубочайших исследований» (*Пушкин А.С.* Соч. Т. 7. С. 175).

Ах! боже мой! он карбонари!

.....
 Что говорит! и говорит, как пишет!

(Грибоедов.

Горе от ума, действ. II, явл. 2)

Разговорный лексикон Фамусова не выходил за пределы светской болтовни и политического зубоскальства, тогда как разговорный лексикон Чацкого, богатый и разнообразный, находился под воздействием письменной традиции (отсюда: «и говорит, как пишет!»). Следовательно, если лица в одинаковой степени владеют и разговорным и письменным языковыми стилями, различие между этими последними (при прочих равных условиях) обычно выступает менее резко, чем в тех случаях, когда для говорящего привычной является лишь разговорная речь, которая тем самым больше удаляется от письменной традиции. Отчасти поэтому разговорная диалектная речь столь богата отличительными особенностями.

Хотя различие между разговорным и письменным стилями имеет общелингвистический характер и проявляется во всех развитых языках, однако глубина и степень подобных расхождений определяются конкретными условиями развития каждого языка.

Так, если в чешском языке различие между отмеченными стилями ощущается больше, чем в других славянских языках, то это вызывается условиями формирования чешского литературного языка, засильем в стране чужих языков на протяжении веков, тем, что письменная традиция была вынуждена ориентироваться на старый чешский язык, тогда как разговорная речь сближалась с диалектами. В результате в Чехии оказалось несколько вариантов разговорного стиля¹.

В разные эпохи соотношение между разговорным и письменным стилями меняется. В XV и XVI столетиях в связи с изобретением книгопечатания заметно увеличивается удельный вес письменного стиля. В XX же в. повсеместное распространение радио, а затем и телевидения резко поднимает престиж разговорного стиля. Каждый, кому приходилось выступать по теле-

¹ Большие расхождения между разговорной и письменной речью наблюдаются и в Швеции, причем расхождения обнаруживаются и в морфологической системе языка. Например, множественное число глаголов образуется в устной речи иначе, чем в письменной, имеются особые указательные местоимения устной речи, которые отсутствуют в письменной традиции и т.д. Еще более заметны расхождения между двумя стилями в японском и некоторых других языках.

видению, имел возможность оценить специфику и трудности разговорного стиля. Выступающему предлагается вести как бы беседу (разговор) с телезритателями, а ему хочется «сползти» на «гладкий» стиль письменного изложения.

В языке постоянно осуществляется *взаимодействие* разговорного и письменного стилей. Это взаимодействие — результат того, что анализируемые стили являются разновидностями единого языка. Поэтому признаки одного стиля частично повторяются в признаках другого, но, повторяясь, они одновременно видоизменяются. Чтобы разобраться, как все это происходит, необходимо в общих чертах наметить, какие языковые стили существуют вообще, помимо уже рассмотренных стилей разговорной и письменной речи¹.

2. Стиль художественной литературы и стиль научного изложения

Вслед за противопоставлением разговорного и письменного языковых стилей остановимся на разграничении *художественного* и *научного языковых стилей*². Как увидим впоследствии, это второе разграничение сразу же осложняет самый

¹ О разговорном и письменном стилях см.: *Якубинский Л.П.* О диалогической речи // Русская речь. Пг., 1923. I. С. 96–194; *Шведова Н.Ю.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960. С. 3–77; *Кочарян С.* В поисках живого слова. М., 1960. С. 3–108; *Андроников И.* Я хочу рассказать вам. М., 1962. С. 507–523 (об особенностях разговорной речи в связи с развитием радио и телевидения); *Широкова А.Г.* К вопросу о двух разновидностях разговорной речи в чешском языке // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1960. № 3. С. 63–68; *Конрад Н.И.* Краткий очерк грамматики японского разговорного языка. Л., 1934. С. 1–20. Как нормативный справочник весьма полезен: *Правильность русской речи.* Трудные случаи современного словоупотребления. Опыт словаря-справочника. М., 1962; 2-е изд. М., 1965.

В немецкой лингвистике существует особое понятие *Umgangssprache* — «обиходного» или разговорного языка и ряд работ (неравноценных), посвященных его описанию на различном материале: *Hofmann J.* Lateinische Umgangssprache. Heidelberg, 1926 (3 Aufl., 1951); *Spitzer L.* Italienische Umgangssprache. Bonn; Leipzig, 1922; *Beinhauer W.* Spanische Umgangssprache. Berlin, 1922 (2 Aufl. Hamburg, 1958); *Wunderlich H.* Unsere Umgangssprache. Weimar, 1894. Споры вокруг понятия *Umgangssprache* освещены в названной книге Гофмана. В ином плане написана оригинально задуманная грамматика разговорного французского языка Фрея: *Frei H.* La grammaire des fautes. Paris, 1929. К ней примыкает капитальная грамматика разговорного румынского языка И. Иордана: *Jordan I.* Limba română actuală: o gramatică a greșelilor. București, 1947; см. также: *Weithase I.* Goethe als Sprecher und Sprecherzieher. Weimar, 1949.

² Или *стиля художественной литературы и стили науки, научного изложения.*

принцип классификации языковых стилей вообще. И все же различие между художественным и научным языковыми стилями несомненно.

Не только наука, но и искусство имеют своей целью познание окружающего нас мира, природы и человека. Имея в сущности единую цель, наука и искусство осуществляют ее разными средствами. Известно, что искусство — это своеобразное мышление в образах, тогда как наука познает действительность более аналитическими средствами. Для искусства, в частности и в особенности для художественной литературы, язык приобретает тем самым значение не только средства выражения, как для науки, но и материала, который особым образом осмысливается. Все это обуславливает и своеобразие того языкового стиля, которым оперируют наука в отличие от искусства и искусство в отличие от науки¹.

Дело, конечно, не сводится к чисто количественным различиям, как иногда думают. Вопрос не только в том, что в языке художественной литературы образы и переносные значения встречаются чаще, чем в научном повествовании. Это лишь чисто внешние, к тому же совсем не обязательные различия (см. гл. I). Проблема заключается в том, *какую функцию* выполняет образность в стиле художественной литературы в отличие от стиля научного изложения.

Постараемся пояснить данное положение примером пушкинского понимания особенностей стиля художественной литературы.

Нет никакого сомнения, что в своей борьбе с вычурной манерой изложения Пушкин стремился опереться на простые и обычные слова. «Точность и краткость, — писал поэт, — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат»². Через год, в 1823 г., в письме к Л.С. Пушкину, это же требование он распространяет и на поэзию, сожалея, что в стихах Дельвига недостает «единственной вещи — точности языка»³.

В цитированной статье 1822 г., требуя от прозы «мыслей и мыслей», поэт, хотя и прибавляет: «стихи дело другое», но тут же комментирует: «...впрочем, в них (стихах. — Р.Б.) не мешало

¹ Ср.: Степанов Г.В. О художественном и научном стилях речи // ВЯ. 1954. № 4. С. 91.

² Пушкин А.С. Соч. Т. 11. С. 19.

³ Там же. Т. 13. С. 56.

бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед не подвинется»¹.

Еще более ярко эта же мысль была выражена Пушкиным в 1828 г. в знаменитом отрывке: «Прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна, что даже и в прозе мы гоняемся за обветшалыми украшениями... поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем»². А еще через три года Пушкин заметил: «Определяйте значение слов... и вы избавите свет от половины его заблуждений»³.

Как же понимал поэт особенности этого «языка мысли»? Выступая против шаблонных метафор и рифм, которые механически выражают «механические мысли» за автора, не давая ему возможности думать («*Пламень* неминуемо тащит за собою *камень*. Из-за *чувства* выглядывает непременно *искусство*. Кому не надоели *любовь* и *кровь*, *трудный* и *чудный*, *верный* и *лицемерный* и проч.»⁴), Пушкин вместе с тем подчеркивает, что русскому народу свойствен «живописный способ выражаться»⁵. Поэт глубоко убежден, что настоящая образность языка рождается на основе точного слова, на основе слова с четко обрисованными смысловыми контурами. Незадолго до своей гибели, в 1836 г., рецензируя в «Современнике» стихи В. Теплякова, Пушкин выписывает такие строки поэта: «*Тишина гробницы, громка, как дальний шум колесницы; стон, звучащий как плач души; слова, которые святее ропота волн...*» и замечает: «все это не точно, фальшиво или просто ничего не значит»⁶.

Но Пушкин вместе с тем возмущен, что критик его «Онегина» восстает против таких точных и ясных метонимий и метафор, как «стакан шипит», «камин дышит», «ревнивое подозрение», «неверный лед». Неужели, замечает Пушкин, вместо «камин дышит» нужно говорить «пар идет из камина»?⁷ Неужели обязательно нужно сказать «Ребятишки катаются по льду», а не «Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед»? Неужели

¹ Там же. Т. 11. С. 19.

² Там же. С. 344 и 73. Этот отрывок приводится по основному тексту и его вариантам.

³ Пушкин о литературе. Подбор текстов Н.В. Богословского. Academia, 1934. С. 257.

⁴ Пушкин А.С. Соч. Т. 11. С. 263.

⁵ Там же. С. 34.

⁶ Там же. Т. 12. С. 84.

⁷ Там же. Т. 11. С. 146 и 71.

следует писать «поцелуй молодых и свежих уст», а не «младой и свежий поцелуй»?

Поэт отвергает такую образность, которая никак не углубляет представлений о действительности, об окружающих людях. Для чего прибавлять к слову *дружба* «сие священное чувство, коего благородный пламень и проч.»? Это прибавление не способствует ни углублению наших представлений о дружбе, ни выделению каких-то специфических и характерных для дружбы черт. Именно ввиду неспособности передать что-то характерное и особое, образность эта оказывается вялой, трафаретной, ненужной. Пушкин отвергает и такую образность, которая ведет мысль по неправильному пути. Поэтому «тишину гробницы» нужно признать «громкой, как дальний шум колесницы»? Разве это сравнение помогает глубже понять явления? Пушкин решительно отвечает на этот вопрос отрицательно и называет подобную образность неточной, ошибочной. Вместе с тем поэт стремится кратко сформулировать свое понимание проблемы образности в стиле художественного произведения.

«Веселые ребяташки катаются по льду» — это совсем не то же самое, что «Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед». Сравнение этих предложений дает возможность выделить стиль художественной литературы. Мысль, выраженная в этих двух предложениях, одна и та же, но как неодинаково она выражена! В первом случае — простая житейская констатация, во втором — художественная литература.

Рассказывая о своих первых литературных начинаниях, Д.В. Григорович вспоминал, как наглядно показал ему молодой Ф.М. Достоевский, что значит словесное мастерство писателя. Достоевский одобрил очерк Григоровича «Петербургские шарманщики», «...хотя и не распространялся в излишних похвалах; ему не понравилось только одно выражение в главе “Публика шарманщика”». «У меня, — рассказывает Григорович, — было написано так: когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. — Не то, не то, — раздраженно заговорил вдруг Достоевский, — совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал на мостовую, *звenea и подпрыгивая*... Замечание это — помню очень хорошо — было для меня целым откровением. Да, действительно, *звenea и подпрыгивая* — выходит гораздо живописнее, дорисовывает движение... Этих двух слов было для меня довольно, чтобы понять разницу

между сухим выражением и живым, художественно-литературным приемом»¹.

Подобно тому как разграничение разговорного и письменного языковых стилей проводится несмотря на их постоянное и непосредственное взаимодействие, так и разграничение научного и художественного стилей оказывается необходимым, хотя элементы художественного стиля могут глубоко проникать в языковую ткань научного стиля, точно так же как строгая научность изложения в ряде художественных текстов обнаруживается без особого труда. Стоит только вспомнить такое произведение, как «Война и мир» Л. Толстого.

Вместе с тем существенно подчеркнуть и другое, на что обычно не обращается должного внимания: взятые изолированно, те или иные признаки языковых стилей еще ни о чем не свидетельствуют. Вопрос заключается в том, *какую функцию выполняет* тот или иной признак в системе целостного языкового стиля.

Уже Пушкин, как мы видели, прекрасно понимал это: точность и ясность необходимы не только научному стилю, но и стилю художественному («мысли и мысли!»). В свою очередь, образность выражения часто проникает в самые «сухие» по теме научные сочинения. Проблема заключается, следовательно, в том, какое назначение приобретают отдельные признаки стиля (образность, точность и пр.) в его целостной системе в отличие от системы другого стиля.

Прислушаемся к интонации художественного стиля (отдельный признак!) в системе научного стиля. Классик русской физиологии и психологии XIX столетия И.М. Сеченов в «Рефлексах головного мозга» (1863 г.) пишет: «Всякий знает, что одно и то же внешнее влияние, действующее на те же самые чувствующие нервы, один раз дает человеку наслаждение, другой раз нет. Например, когда я голоден, запах кушанья для меня приятен; при сытости я к нему равнодушен, а при пресыщении он мне чуть не противен. Другой пример: живет человек в комнате, где мало света; войдет он в чужую, более светлую, — ему приятно; придет оттуда к себе — рефлекс принял другую физиономию; но стоит этому человеку посидеть в подвале — тогда и в свою комнату он войдет с радостным лицом. Подобные истории повторяются с ощущениями, дающими положительное или отрицательное восприятие, во всех сферах чувств. Что же за условие этих явлений и можно ли выразить его физиологическим

¹ Григорович Д.В. Литературные воспоминания. Л., 1928. С. 131.

языком? Нельзя ли, во-первых, принять, что для каждого видоизменения ощущения существуют особые аппараты? Конечно, нет, потому что, имея, например, в виду случай влияния запаха кушанья на нос голодного или сытого, пришлось бы допустить только для него существование по крайней мере уже трех отдельных аппаратов: аппарата наслаждения, равнодушия и отвращения. То же самое пришлось бы сделать и относительно всех других запахов мира. Гораздо проще допустить, что характер ощущения видоизменяется с переменной физиологического состояния нервного центра»¹.

Нельзя действительно не обратить внимания на широкое использование в этом отрывке элементов разных языковых стилей — художественного, научного, на особые интонации разговорной речи и т.д. Стоит только проанализировать примеры, взятые из самой жизни («живет человек в комнате»), вопросо-ответный характер построения многих рассуждений, эмоциональные восклицания («Конечно, нет!») и т.д.

Однако нельзя не заметить и другого (и это главное): все эти, казалось бы, разнородные элементы стиля направлены к единой цели, *все они подчинены, как низшее высшему, стилю научного изложения*, который по замыслу автора должен и отразить ошибочные умозаключения и убедить читателя в справедливости авторского заключения. Отсюда и замечание Сеченова о том, что все сравнения и наблюдения он хочет выразить «физиологическим языком», т.е. стилем научного изложения. Отсюда и строго логичная последовательность изложения и наличие в самом изложении некоторых терминов. Этим же определяется стройность конечного вывода («характер ощущения видоизменяется с переменной физиологического состояния нервного центра»).

Разумеется, все эти особенности научного стиля Сеченова тесно связаны с особенностями самой науки, которая требует логически последовательного и стройного изложения. Но в этом стиле есть и свои, чисто языковые особенности: развернутая система сочинительных и подчинительных союзов, своеобразие вводных слов (*во-первых, во-вторых*), наличие определенных терминов (*физиологическое состояние, нервный центр, рефлекс*) и т.д.

Конечно, сами по себе эти средства могут встретиться и в любом другом языковом стиле. Дело не в том, насколько те или иные стилистические средства языка «неповторимы». Таких

¹ Сеченов И.М. Избранные философские и психологические произведения. М., 1947. С. 91.

«неповторимых» стилистических ресурсов в языке нет или почти нет. Проблема, однако, заключается в том, *каковы функции* выразительных средств языка в том или ином языковом стиле.

Подобно тому как точность в языке художественной литературы может преследовать совсем другую цель, чем точность в стиле научного изложения, подобно этому и художественность (образность) в разных стилях языка преследует разные цели. Сеченову образность стиля нужна для предварительной подготовки его основного научного тезиса. Пушкину образность выражения «мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед» нужна уже для другой цели: для особого «видения» окружающего, для передачи шума и гама весело катающихся на льду мальчуганов.

Постараемся глубже разобраться, как «ведет себя» категория образности в разных языковых стилях.

Роман современного французского писателя Ж. Лаффита называется «Мы вернемся за подснежниками»¹. Но метафорический смысл этого названия раскрывается в побочном эпизоде. Герою романа Рэймону случайно удается передать жене записку из тюрьмы. В двух—трех строках он стремится сообщить ей о самом главном. И вдруг в записке жена обнаружила заверения, что «этой весной они непременно будут срывать подснежники». Читатель узнает, что до войны Рэймону и его жене никак не удавалось полюбоваться весенней природой, супруги только мечтали о поездке за подснежниками. И вот в годы тягчайших испытаний, в годы фашистской оккупации, Рэймон пишет жене о подснежниках. Подснежники становятся символом веры в победу борцов Сопротивления.

Так, казалось бы, побочный эпизод превращается в центральный для всего произведения (вера в победу). Метафорический смысл слов «Мы вернемся за подснежниками» сливается с основным замыслом романа. Функция образности оказывается исключительно значительной в стиле художественного повествования. Стиль научного трактата обычно не допускает такого широкого и глубокого проникновения образности. Трудно представить себе научное сочинение по физике или математике, название которого основывалось бы на образности типа «Мы вернемся за подснежниками» (ср. также «Пиковая дама», «Ярмарка тщеславия» и пр.).

¹ Точнее: «Мы вернемся срывать подснежники» («Nous retournerins cueillir les jonquilles»).

Вопрос, следовательно, заключается не столько в том, имеются ли элементы художественного стиля в разных языковых стилях (они, безусловно, имеются во многих стилях), сколько в том, какую функцию выполняют художественность и образность в неодинаковых языковых стилях.

Не подлежит сомнению, что функции эти столь же различны, сколь различны и функции точного слова, функции термина в неоднородных языковых стилях. Известно, что термины в научном стиле стремятся к однозначности, тогда как в стиле художественном они могут сохранять многозначность, приобретать переносное значение и т.д. Известно также и то, что общенародные слова в одном языковом стиле могут приобретать значение терминов («хрупкость», «усталость» и многие другие являются терминами в специальной технической литературе), тогда как в другом они этого значения не получают и сохраняются в своем «житейском» осмыслении.

Как и понятие образности, понятие точности в стиле художественной литературы должно рассматриваться строго исторически. Поясним это.

Известно, например, что П. Мериме (1803—1870) всегда ратовал за точность и лаконичность художественного повествования. В своей статье о Пушкине французский писатель особенно восхищался строгой простотой и динамичностью пушкинской прозы. И тем не менее, переводя «Пиковую даму» на французский язык, Мериме часто своеобразно «украшал» пушкинскую фразу.

У Пушкина: «Кареты одна за другой катились к освещенному подъезду». Мериме прибавляет «к великолепно освещенному фасаду» (*une facade splendiblement éclairée*). Пушкин сообщает, что Лизавета Ивановна «...глядела вокруг себя, с нетерпением ожидая избавителя», Мериме присоединяет к этому: «...который разбил бы ее оковы» (*pour briser ses chaînes*). «Ровно в половине двенадцатого, — читаем в оригинале, — Герман ступил на графинино крыльцо... Швейцара не было, Герман взбежал по лестнице». Мериме не удерживается и вставляет в пушкинский текст восклицание: «О, счастье! Швейцара не было» (*Oh, bonheur, point de suisse*)¹. Подобные примеры показывают, что точность художественной прозы Пушкин понимал иначе, чем Мериме. И это тем более интересно, что Мериме сам всю жизнь боролся за

¹ Пушкин. Временник пушкинской комиссии. Вып. 4—5. М.; Л., 1939. С. 344 и сл.

точность стиля художественного повествования и, несмотря на некоторые отступления от оригинала, в целом все же превосходно перевел «Пиковую даму».

Категория точности в художественном стиле является *объективной*, присущей этому стилю (см. выше глубокое обоснование данного положения Пушкиным). Однако разными писателями она понимается по-разному. В то время как Мериме «украшал» Пушкина, Стендаль, работая над «Пармским монастырем», писал Бальзаку, что он каждый день читает по две или три страницы из «Гражданского кодекса», чтобы проникнуть в тайны ясного, прямого и строгого стиля изложения¹.

Следовательно, такие признаки языковых стилей, как *точность* и *образность*, наполняются разным содержанием в разных стилевых системах. Дело не только в том, что точность художественного стиля не во всем совпадает с точностью стиля научного, как не совпадает образность этого последнего с образностью первого. Вопрос заключается прежде всего в том, какое *назначение* выполняет каждый из этих признаков в системе данного стиля и в какое взаимодействие он вступает с другими признаками.

Как было отмечено, признаки одного языкового стиля могут повторяться в другом, но, повторяясь, они обычно всякий раз приобретают иные функции. Так, неразвернутость, своеобразная эллиптичность предложения могут характеризовать небрежность разговорного стиля и одновременно тщательную отделанность и динамичность стиля художественного.

В примере из бытового разговора — *Вам с вареньем или без? Без* — небрежность и неразвернутость устной речи как бы опираются на ситуацию разговора. Совсем иную функцию неразвернутость предложений выполняет, например, в известных стихах Некрасова («Русские женщины»):

...Ямщик кнутом махнул:
«Эй вы!» и нет уж городка,
Последний дом исчез...
Направо — горы и река,
Налево — темный лес...

«Эй вы!», обращенное ямщиком к тройке, и все последующее: «и нет уж городка, последний дом исчез» — готовят читателя к неожиданно открывающейся перед героиней поэмы

¹ Литературные манифесты французских реалистов. Л., 1935. С. 44–45.

панораме: «Направо — горы и река, налево — темный лес...» Функции неразвернутых предложений и самые типы их в этом стиле оказываются уже совсем иными, чем в стиле разговорной речи.

Тщательно продуманы функционально неполные предложения и в стихотворении Н. Тихонова «Баллада о синем пакете»:

Лег у огня, прохрипел: «Коня!»
И стало холодно у огня.
А конь ударил, закусил мундштук.
Четыре копыта и пара рук.

Если сравнить предложение *Вам с вареньем или без?* (разговорный стиль) с тихоновским *Четыре копыта и пара рук* (художественный стиль), то станет ясно, насколько различна роль неполных предложений в этих различных стилях. Второе предложение эстетически «заряжено», тогда как первое совершенно лишено этой цели.

То же следует сказать о соотношении сочинительных и подчинительных конструкций, которые могут встречаться в самых разнообразных языковых стилях, но функции которых и в этих случаях во многом различны. В разговорной речи присоединение при помощи сочинения — это обычный прием простейшей грамматической связи последующего с предыдущим (*Пошел и сказал. Он хочет уехать. На Кавказ, по-видимому*), тогда как в стиле художественной литературы — это многообразный и очень подвижный способ компоновки частей предложения в единое целое.

В авторской речи многих современных писателей часто встречаются так называемые присоединительные конструкции типа: *На всех углах стоят фонари и горят полным накалом. И окна освещены* (К. Симонов). Или: *Напомнила взять тазик и щетку для бритья. И крем для сапог. И щетку* (В. Панова). Такие построения могут преследовать различные стилистические цели: выделение того, что поразило автора (*И окна освещены*), или того, что передает некоторую взволнованность женщины, провожающей любимого человека на фронт (*И крем для сапог. И щетку*)¹.

В авторской речи писателя присоединительные предложения типа *И окна освещены* или *И щетку* выступают в системе оп-

¹ См.: Крючков С.Е. О присоединительных связях в современном русском языке // Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950. С. 403.

ределенных литературных приемов, например, осуществляя принцип «непосредственности описания», тогда как в разговорной речи аналогичные предложения обычно лишены дополнительного специального задания и выступают в своей чисто коммуникативной функции.

Следовательно, коммуникативная функция подобных предложений в разговорной речи противостоит коммуникативной плюс специальной функции этих же предложений в художественном стиле. Тем самым *функции одинаковых лингвистических средств в разных языковых стилях оказываются неодинаковыми*.

Л. Толстой любил цитировать слова художника Брюллова о том, что в искусстве все зависит от «чуть-чуть». Эти «чуть-чуть» приобретают огромное значение и в стилистике. Сходные стилистические средства в системе разных языковых стилей «чуть-чуть» непохожи друг на друга.

Проанализированные стили, обычно распадающиеся на парные противопоставления (разговорный — письменный, научный — художественный), являются *основными стилями*, которые имеются в самых разнообразных языках. Хотя эти стили чаще всего рассматриваются в отмеченных парных противопоставлениях, однако сама классификация языковых стилей покоится на *перекрестных признаках*: стиль художественной литературы, как правило, является вместе с тем стилем письменным. В таком же виде чаще всего выступает и стиль научный.

В свою очередь, разговорный стиль может иметь прямое отношение как к стилю научному, так и стилю художественному (устное творчество, например). И все же, несмотря на эти внутренние осложнения, отмеченные стили вполне естественно разграничиваются¹.

¹ О стиле художественной литературы и стиле научного изложения см.: *Виноградов В.В.* О языке художественной литературы. М., 1959. С. 84–166; *Ефимов А.И.* Стилистика художественной речи. 2-е изд. М., 1961. С. 3–40; *Стенанов Ю.С.* Доказательство и аксиоматичность в стилистике // Вестн. Моск. ун-та. Сер. VII. 1962. № 5. С. 43–49; *Ольшки Л.* История научной литературы на новых языках. Т. 2. М.; Л., 1934. С. 71–105 (анализ стиля первых европейских научных трактатов на родных языках); *Будагов Р.А.* В защиту понятия «стиль художественной литературы» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. VII. 1962. № 4. С. 34–38; *Riesel E.* Stilistik der deutschen Sprache. М., 1959. S. 3–45; *Savory Th.* The Language of Science. L., 1953. P. 1–80 (подробное рассмотрение основных особенностей «языка науки»); *Тимофеев Л.И.* Число и чувство меры в изучении поэтики // Тимофеев Л.И. Советская литература. Метод, стиль, поэтика. М., 1964. С. 322–348; *Будагов Р.А.* Литературные языки и языковые стили. М., 1967.

3. Отношения между языковыми стилями

Более сложным является вопрос о том, сколько стилей имеется в языке и как отделяются языковые стили от стилей более дробных или даже индивидуальных. По этому вопросу нет единства мнений среди исследователей.

Представляется необходимым строго различать собственно языковые стили, которые обуславливаются самой природой языка, и такие явления, которые непосредственно не определяются природой языка, а скорее зависят от специфики других общественных факторов. Так, различия между письменной и разговорной речью, между стилем художественного повествования и стилем научного изложения — результат самих особенностей языка, обслуживающего все сферы деятельности человека, тогда как различия внутри стиля художественного повествования (например, между стилем басни и стилем поэмы) определяются уже не сущностью языка, а жанровыми особенностями самой литературы. Точно так же наличие специальных химических терминов в сочинении по химии или специальных биологических терминов в биологическом трактате детерминируется отнюдь не тем, что существуют особые «химический» или «биологический» языковые стили (таких стилей, разумеется, не существует), а тем, что каждая наука оперирует своими специфическими понятиями, обусловленными своеобразием самого объекта этой науки.

Языковой стиль основывается на определенных лингвистических признаках. Между тем язык химического трактата в лингвистическом отношении ничем не отличается от языка медицинского трактата, если не считать специальных терминов. Но специальные термины порождаются самой специальной дисциплиной. Поэтому язык трактатов, написанных на темы разных наук, будет все тем же научным языком (научным стилем языка). Поэтому и не существует особого химического или медицинского научного стиля, а имеется лишь *единый научный стиль языка*.

То же следует сказать о подразделениях внутри художественного стиля (стиля художественной литературы): существенные сами по себе, они все же не нарушают единства самого этого стиля. Поэтому подразделения внутри художественного стиля относятся уже к теории литературы, а не к теории языка.

Значительно сложнее обстоит дело с подразделениями внутри таких языковых стилей, как разговорный и письменный. Здесь

возможно выделение по лингвистическим признакам различных подгрупп, однако они не имеют такого общего характера, какой приобретает *основное противопоставление* разговорного и письменного стилей. Подразделения внутри каждого из этих стилей в одном языке могут быть совсем иными, чем в другом.

В английском языке, например, некоторые исследователи дробят письменный стиль на официально-канцелярский, торжественный и научно-профессиональный (варианты письменного стиля), а разговорный стиль — на литературно-разговорный, фамильярно-разговорный и профессионально-разговорный (варианты разговорного стиля). Однако необходимо отметить, что признаки, их различающие, оказываются менее четкими, чем признаки, отличающие «большие» языковые стили — разговорный и письменный. Официально-канцелярский стиль речи, например, характеризуется известными речевыми штампами, придающими деловому сообщению официальный оттенок. Торжественный стиль отличается широким использованием лексических и синтаксических архаизмов, многочисленными заимствованиями в лексике и некоторыми другими признаками. Фамильярно-разговорный выделяется просторечными и арготическими словами, большим количеством неологизмов при почти полном отсутствии архаизмов, своеобразными идиомами, известной «небрежностью» синтаксического построения предложения и т.д.

Хотя перечисленные признаки, характеризующие отмеченные подгруппы стилей, сами по себе заслуживают внимания, необходимо все же признать их несомненную относительность.

Торжественный стиль, например, то и дело сливается со стилем официально-канцелярским, а литературно-разговорный — с профессионально-разговорным или даже фамильярно-разговорным. И это понятно. Стоит только в литературно-разговорном стиле появиться известному количеству профессиональных слов, и он будет напоминать стиль профессионально-разговорный, а при соответствующем возникновении слов просторечных — стиль фамильярно-разговорный и т.д. Отсутствие хоть сколько-нибудь четко обозначенных границ между этими стилями обуславливает их постоянное соприкосновение друг с другом.

К тому же перечисленные подгруппы стилей неодинаковы в различных языках.

Если английский язык как-то различает официально-канцелярский и торжественный стили, то для современного русского языка это различие представляется еще более условным. Если

в японском языке некоторые исследователи устанавливают такие стили, как «изящно-простонародный», «ложноклассический», «разговорно-письменный»¹, то другие современные языки, в частности языки европейские, подобных стилей вовсе не знают.

Итак, *основными языковыми стилями*, которые присущи самым разнообразным языкам, являются: разговорный, письменный, научный и художественный (стиль языка художественной литературы). Подразделения внутри каждого из этих стилей оказываются уже менее четкими; они наблюдаются либо в одном языке в отличие от других, либо вовсе выходят за пределы языка и не являются лингвистическими понятиями.

Из перечисленных четырех основных языковых стилей особое положение занимает *стиль языка художественной литературы*. Имеются все основания для его выделения из ряда других языковых стилей.

Самое главное основание заключается в том, что для художественной литературы язык является не только формой и средством выражения мысли, но и материалом, «первоэлементом» (М. Горький) самой литературы. Тем самым место языка в художественной литературе оказывается иным, чем в других языковых стилях. В этих последних нет *двойного отношения* к языку (и как к средству выражения мысли и как к материалу, из которого создаются образы в широком смысле). Между тем язык художественной литературы всегда выступает и в той и в другой функции.

В художественной речи могут своеобразно объединяться неодинаковые языковые стили, так как писатель использует разнообразие всех языковых стилей: ему необходимы и живые интонации устной речи, и известная торжественность письменных периодов, и деловая логичность научного изложения.

В особом положении стиля художественной литературы уже была возможность убедиться и при анализе (в соответствующих местах книги) самых разнообразных языковых явлений. Неологизмы и архаизмы, например, в языке художественной литературы «ведут себя» несколько иначе, чем в других стилях. То же следует сказать о полисемии, буквальных и фигуральных значениях слов, сочинительных и подчинительных предложениях, прямой, косвенной и несобственно-прямой речи и т.д. Даже

¹ См.: Шеманаев П.И. К вопросу о стилях японского литературного языка // Тр. Военного института иностранных языков. № 5. М., 1954. С. 98–99.

звуки речи в языке художественной литературы приобретают дополнительную функцию (ср. роль звуков в поэзии).

Подчеркивая особое положение стиля художественной литературы в ряду других языковых стилей, нельзя вместе с тем не видеть многообразных форм его взаимодействия с другими стилями. Не следует забывать: стили, взятые вместе, образуют целое — язык.

Трудности разграничения языковых стилей определяются прежде всего тем, что признаки одного из них часто повторяются в признаках других стилей. Но такое повторение само по себе не может служить основанием для отрицания языковых стилей¹.

Из истории языкознания известно, что в конце XIX в. возникло такое направление в диалектологии, которое отрицало реальность существования всяких диалектов. Сторонники этой концепции утверждали, что в истории языка нет никакой возможности установить признаки диалекта, которые частично не повторялись бы в другом диалекте. Переходы одних диалектов в другие обычно настолько разнообразны, а границы между диалектами настолько нечетки, что согласно этой концепции нельзя говорить о реальном существовании отдельных диалектов. Так возникло направление, отрицавшее реальность существования диалектов в истории различных языков².

Между тем известно, что аргументация противников диалектов не уничтожила и не могла уничтожить реального существования диалектов. Точно так же аргументация против языковых стилей не может уничтожить этих последних, так как их существование является фактом, вытекающим из природы и истории языка, из особенностей его функционирования в обществе.

Еще одно сравнение. Известно, что разграничение романа, повести, новеллы и рассказа проводится в литературоведении. Известно также то, что неспециалисту это разграничение в одних случаях может показаться очень простым (например, разграничение романа и рассказа), а в других — очень сложным и условным (например, разграничение новеллы и рассказа). В действительности трудности разграничения различных литературных жанров распространяются на все случаи. Достаточно напомнить лишь такие факты: на обложке «Мертвых душ» Гоголя указано «поэма», а «Евгений Онегин» Пушкина именуется

¹ Как предполагает, например, Ю.С. Сорокин в своей статье (см.: *Сорокин Ю.С. К вопросу об основных понятиях стилистики* // ВЯ. 1954. № 2. С. 68 и сл.).

² *Millardet G. Linguistique et dealectologie romanes*. Paris, 1923. P. 55.

«романом в стихах»; свое огромное многотомное произведение «Жизнь Климса Самгина» сам Горький назвал повестью, а о «Герое нашего времени» Лермонтова Белинский говорил как о романе¹.

Основываясь на таких фактах, можно было бы предположить, что никакого разграничения в действительности между разными литературными жанрами не существует. Однако такое предположение ошибочно. Разумеется, нет абсолютных критериев разграничения литературных жанров, признаки одного жанра часто *повторяются* в признаках другого или других жанров, но между разными жанрами есть и реальные различия. Можно, например, указать, что Л. Толстой решительно возражал против применения к «Войне и миру» названия повести². Как бы ни соприкасались разнообразные литературные жанры между собой, между ними существует не только сходство, но и заметные различия.

Разным наукам и разным областям знания постоянно приходится иметь дело с явлениями, которые выступают и *как близкие друг к другу и одновременно как отличимые друг от друга*. То же следует сказать и о языкознании, которое постоянно оперирует подобного рода понятиями.

Языковые стили — категория историческая. В разных языках в разные эпохи их существования языковые стили могли и дифференцироваться и соприкасаться между собой по-разному.

В эпоху Ломоносова языковые стили были иными, чем сейчас. Различие обнаруживается здесь прежде всего в том, что языковые стили современного русского языка гораздо шире воздействуют друг на друга, чем во времена Ломоносова. И это естественно, если учесть мощное развитие письменности и литературы, всеобщую грамотность народа, огромное обогащение словарного состава языка. Однако более гибкое соотношение между языковыми стилями нашей эпохи по сравнению с системой языковых стилей XVIII в. вовсе не означает, что различия между языковыми стилями вообще сходят на нет. Принципы их дифференциации стали теперь гораздо более сложными, чем в эпоху Ломоносова.

¹ См.: Белинский В.Г. Соч. Т. V. СПб., 1901. С. 260–261. Ср. интересную заметку Д. Фурманова «О названии “Чапаеву”»: «1) Повесть... 2) Воспоминания. 3) Историческая хроника... 4) Худож.-историч. хроника... 5) Историческая баллада... 6) Картины. 7) Исторический очерк... Как назвать? Не знаю» (Фурманов Д. Работа над «Чапаевым» и «Мятежом» // О писательском труде. Сборник статей и выступлений советских писателей. М., 1953. С. 346).

² Толстой Л.Н. Соч. Т. 13. М., 1949. С. 55.

В истории разных языков соотношение между неодинаковыми языковыми стилями складывается своеобразно. Как показал в своем исследовании Л. Олышки, в истории многих западноевропейских языков стиль научного изложения некогда был ближе к стилю художественного повествования, чем теперь. Слишком «художественный» характер изложения Галилея раздражал Кеплера, и Декарт находил, что стиль научных доказательств Галилея слишком «баллетризован»¹. Это становится понятным, если учесть, что литературным языком западноевропейского средневековья была латынь, поэтому в эпоху Возрождения изложение научных сочинений на живом родном языке строилось как бы на основе опыта и традиции стиля художественной литературы. Очень существенно и то, что первые периодические специальные научные журналы появляются в Западной Европе лишь во второй половине XVII в.

Задача конкретного исследования заключается в том, чтобы выявить пути формирования и развития разных языковых стилей в самых разнообразных языках. К сожалению, работа эта едва только начата в науке.

Наличие языковых стилей в современных развитых языках особенно ощущается тогда, когда нарушаются законы их разграничения. Это отлично понимали выдающиеся писатели нового времени.

Чехов, например, великолепно раскрывал внутренний мир своих персонажей с помощью тонкой речевой характеристики. Его конторщик Епиходов (*Чехов*. Вишневый сад) постоянно смешивает различные языковые стили: «Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа. Я знаю свою фортуна...»² Здесь отсутствуют определяющие слова в словосочетании *точка зрения* (точка зрения на что?) и употребляется лишнее всякого смысла выражение *привести в состояние духа*. Речь Епиходова почти сплошь состоит из словесных клише, которые он употребляет без всякой надобности: «Вот видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим... это просто даже замечательно». Здесь наряду с бессмысленным набором книжных выражений встречается просторечное «просто даже замечательно».

¹ См.: Олышки Л. История научной литературы на новых языках / Рус. пер. Т. П. М.; Л., 1934. С. 187 и сл.

² Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем. Т. XI. М., 1948. С. 346.

Известный советский географ и натуралист Л.С. Берг справедливо отмечал, что немецкий геологический термин *jung* означает не «юный», а «молодой», «самый верхний», «самый поздний». *Юный* — это слово, прекрасное в поэзии, но совершенно неуместное в научном языковом стиле: *юные меловые отложения*, встречающееся в специальной литературе, звучит почти пародийно¹.

Еще в 1939 г. Л.В. Щерба в статье «Современный русский литературный язык» очень верно заметил: «Можно сказать — и многие лингвисты так и думают, — что все эти разновидности (языковые стили. — Р.Б.) в сущности не нужны и что лучше было бы, если бы все писалось на некотором общем языке. Особенно склонны люди это думать о канцелярском стиле — термин, который приобрел даже некоторое неодобрительное значение. Конечно, во всех этих разновидностях существуют бесполезные пережитки вроде, например, архаического *оний* канцелярского стиля, но в основном каждая разновидность вызывается к жизни *функциональной целесообразностью*»². Здесь все правильно и глубоко понято: и то, что языковые стили порождаются функциональной необходимостью, и то, что неспециалисты готовы свести своеобразие того или иного стиля к какой-нибудь случайной мелочи (канцелярское *оний*), не видя более существенных и своеобразных различий. Не менее справедлива и другая мысль Л.В. Щербы, согласно которой разнообразие стилей постоянно соприкасаются между собой; сама возможность различения разговорного и письменного стилей языка *перекрещивается* с возможностью других делений внутри языковых стилей.

После всего того, что было сказано, теперь можно, наконец, дать определение сложного понятия языкового стиля. *Языковой стиль* — это разновидность общенародного языка, сложившаяся исторически и характеризующаяся известной совокупностью языковых признаков, часть из которых своеобразно, по-своему повторяется в других языковых стилях, но определенное сочетание которых отличает один языковой стиль от другого.

Вслед за этим определением обобщим предшествующие материалы: 1) невозможно отрицать существование языковых стилей, наличие которых обусловлено коммуникативной функцией языка и его историей; 2) одни и те же стилистические категории

¹ См.: Берг Л.С. О необходимости бережного отношения к русскому научному языку // Вестник ЛГУ. 1947. № 3. С. 110.

² Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 118–119.

в разных языковых стилях приобретают разное значение (и это очень существенно); 3) языковые стили нельзя смешивать ни с жанрами художественной литературы, ни с манерой изложения отдельных авторов; целесообразно различать языковые стили и такие языковые явления, характер которых определяется спецификой самого описываемого или изучаемого объекта; 4) разграничение языковых стилей — это разграничение перекрещивающихся линий, причем в разных языках, в разные исторические эпохи, и сами эти линии и своеобразие их переплетения могут быть различными; 5) наличие языковых стилей не только не отрицает общенародности языка, но и было бы невозможно без этой последней: каждый языковой стиль выступает как своеобразная *разновидность общенародного языка*.

Не существует неизменных языковых стилей, но существуют постоянное развитие, взаимное воздействие, взаимное отталкивание и непрерывное совершенствование и обогащение внутренних ресурсов разных языковых стилей. Историю языковых стилей нельзя рассматривать независимо от истории общенародного языка, который является основой и источником языковых стилей¹.

¹ О языковых стилях (дополнительно к той литературе, которая указана в двух предшествующих разделах) см.: *Виноградов В.В.* Стилистика, теория поэтической речи, поэтика. М., 1963. С. 5–93; *Левин В.Д.* Язык художественного произведения // Вопросы литературы. 1960. № 2. С. 89–99; Русские писатели о языке (XVIII–XX вв.). Л., 1954; *Чуковский К.* Живой как жизнь. М., 1962 (особенно гл. 1 и гл. 6); *Балли Ш.* Французская стилистика. М., 1961. С. 325–343; *Гальперин И.П.* Очерки по стилистике английского языка. М., 1958; С. 342–443; *Тимофеев Л.И.* Основы теории литературы. М., 1963. С. 167–250); *Самарин Р.М.* Проблемы стиля в современной зарубежной науке // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1962. № 3. С. 17–28; *Style in Language / Ed. by Th. A. Sebeok.* Massachusetts, 1960; *Vinay J. et Darbelnet J.* Stylistique comparée du français et de l'anglais. Paris, 1958. P. 5–40; *Weithase I.* Zur Geschichte der gesprochenen deutschen Sprache. I. Tübingen, 1961. S. 3–25; *Seidler H.* Allgemeine Stilistik. Göttingen, 1963; *Galdi L.* Principes de stylistique littéraire // Beiträge zur romanischen Philologie. 1963. N 2. S. 5–31; *Чичерин А.В.* Идеи и стиль. М., 1968; *Эткинд Е.* Семинарий по французской стилистике. Ч. I. Проза. 2-е изд. М., 1964; Ч. II. Поэзия. 2-е изд. М., 1964.

ПРИЛОЖЕНИЕ



ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА*

Настоящая карта показывает расположение языковых семей, ареальных групп и изолированных языков на Земном шаре. Межъязыковые границы, взаимосвязи языков и степень их изученности меняются с течением времени; на картах, составленных в разное время и с разными целями, возникают некоторые разночтения.

Задача предлагаемой карты — дать общее представление о распространении *живых* языков к концу XX в., а также обозначить родственные и неродственные языки в определенных географических границах.

Особое внимание уделено индоевропейской семье языков как наиболее изученной и изучаемой не только теоретически, но и практически (в школах, университетах). На карте (для удобства) соблюдается порядок следования языковых групп с запада на восток.

Мертвые языки на карте в синхроническом аспекте отсутствуют, но упоминаются в описании «Генеалогической (по происхождению) классификации языков». Тем самым создается возможность представить диахронический план языкового существования, наметить тенденции в развитии языков и культур. Вымершие языки отмечаются знаком (†) или указывается время их существования. Если языковую группу составляют только мертвые языки, то этим знаком обозначается вся группа.

Составитель лингвистической карты мира канд. филол. наук *Ю.Б. Коряков* (Институт языкознания РАН).

* Эта карта дана на форзаце настоящей книги. Современный интерес к национальным языкам определил особую разработку лингвистической карты мира.

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ (по происхождению) КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ



1. Индоевропейские

а. КЕЛЬТСКИЕ

Гойдельские: древнеирландский, *ирландский* — государственный язык Ирландии, шотландский (гэльский), мэнкский (†).

Бриттские: валлийский, корнский (†), бретонский, кумбрийский (†).

Континентальные: галльский, кельтиберский, лепонтийский.

б. ГЕРМАНСКИЕ

Западногерманские: *английские:* древнеанглийский (V–XI вв.), среднеанглийский (XI–XVI вв.), новоанглийский (с XVI в.) — занимает первое место в мире по числу говорящих (более 1,2 млрд чел.), (ниже) шотландский (скотс, лалланс); *фризские:* западно-фризский, восточно-фризский, северно-фризский (лит. памятники с XIV в.); *нижненемецкие:* древненижнефранкский (†), средненидерландский (†), нидерландский (голландский) с фламандским; *немецкий* (северное наречие Niederdeutsch или Plattdeutsch); *африкаанс* (бурский) — язык переселенцев из Голландии в ЮАР; древнесаксонский (†), средненижненемецкий (†); *верхненемецкие:* древневерхненемецкий (†), средневерхненемецкий (†); *нововержненемецкий*, который делится на два ареала:

1) средненемецкий, куда входит литературный немецкий (Hochdeutsch);

идиш — новоеврейский язык, сложился из верхненемецкого диалекта, древнееврейского, славянских языков;

люксембургский;

2) южнонемецкий, где особенно выделяется *швейцарский* немецкий, *лангобардский* (†).

Скандинавские (северногерманские): *древнесеверный* — общий язык Скандинавии до начала I тыс. н. э.; *исландский* — памятники с XIII в. (саги); *фарерский;* *норвежский* (нюношк — ландсмол) — новый литературный язык, близкий к народным говорам (XX в.); *букмол* — риксмол (датско-норвежский) — книжный язык, на основе датского (XX в.); *датский;* *шведский.*

(†) **Восточногерманские:** *готский* — два диалекта: вестготский и остготский (сохранялся в Крыму до XVI в.). В средние века готский язык играл значительную роль. Существовало Готское государство (Испания и Северная Италия); бургундский, герульский, вандалский, гепидский.

(†) *Италийские*

Оскско-умбрские: *оскский, умбрский, сабельский* и другие сохранялись до начала н. э. в Италии.

Латино-фалисские: *латинский* — язык Рима и Римской империи, памятники с VI в. до н. э.; в виде разговорной *вульгарной латыни* положил начало современному *романским* языкам; в книжной форме служил литературным и литургическим языком Западной Европы; *фалисский* — сохранялся до начала н. э. в Италии.

в. РОМАНСКИЕ

Западнороманские: *иберороманские* (из вульгарной латыни римской провинции Иберия) — близкородственные языки, имеющие собственные литературные традиции: *галисийский, португальский* (восьмое место по числу говорящих, более 200 млн чел.), *астуро-леонский, испанский* (четвертое место по числу говорящих, более 450 млн чел.), (верхне) *арагонский, сефардский* (еврейско-испанский), *мосарабский* (вымер вскоре после Реконкисты); *каталанский* — занимает промежуточное положение между иберороманскими и окситанским; *окситанский* (провансальский); *гасконский; французский* (язык ойль) — литературный язык, сформировавшийся к началу XVI в. (на основе диалекта Иль-де-Франс); *франко-провансальский* (арпиганский); *ретороманский* (романшский) — один из четырех государственных языков Швейцарии; *галло-итальянский* — совокупность диалектов северной Италии с несколькими литературными традициями (раньше считались диалектами итальянского); *венетский* — близок галло-итальянским диалектам; *ладинский; фриульский; истророманский* (истриотский) — на п-ове Истрия.

Итало-романские: центрально-итальянские: *тосканский* и возникший на его основе *итальянский литературный язык, корсиканский* и близкий к нему *галлурский* (северо-восточная Сардиния); *сассарский* (северо-западная Сардиния); центрально-южные: *срединные* (центральные) диалекты и *южноитальянские* диалекты (включая *неаполитанский*); языки юга Италии: *сицилийский, калабрийский и салентинский*.

Далматинские: *далматинский* (†) — вымер к XIX в., северное побережье Адриатики.

Восточнороманские: *румынский* — Румыния и Молдавия, *истрорумынский, арумынский, мегленорумынский*.

Сардинские: *сардинский* — юг и центр Сардинии, наиболее архаичный из романских языков.

Креольские. Большое количество *пиджинов* и *креолов* возникло на основе романских языков — французского, португальского и испанского: *гаитянский, маврикийский, сейшельский* и др.

г. АЛБАНСКИЙ

Две основные группы диалектов — *гегская* и *тосская*; письменность с XV в.; возможно родствен древнему иллирийскому языку.

д. ГРЕКО-МАКЕДОНСКИЕ (ГРЕЧЕСКИЕ)

Древнемакедонский (†); *древнегреческий* (†) — совокупность большого количества диалектов, постепенно развившихся в отдельные языки (X в. до н. э. — V в. н. э.); аркадский (†).

(†) *Ахейские (эолийские)*: микенский, эолийский.

Ионийские: (древне) ионийский (†); *аттический*, из которого развилось койне (†) — общий литературный язык с IV в. до н. э., постепенно вытеснивший все другие греческие диалекты; *среднегреческий* (византийский) (†) — развился на основе койне, государственный язык Византии с начала н. э.; *церковногреческий* — на основе языка Нового завета и первых святых отцов, с последующими византийскими добавлениями; *новогреческий* — в двух вариантах: димотика и кафаревуса (с XII в.); *каппадокийский* — до начала XX в. — центральная Турция, ныне едва сохранился в отдельных местах диаспоры (Грузия и др.); *понтийский* — до начала XX в. — на северо-восточном побережье Турции (Понт), ныне в основном в диаспоре (Россия, Украина, Греция).

Дорийские: *дорийский* (†) — древнегреческий период; *цаконский* — современный язык, сохранившийся в нескольких деревнях на юге Греции.

Древнейшие памятники — с IX в. до н. э.: поэмы Гомера. С IV в. до н. э. общий литературный язык *койне* (центр — Афины, *аттический* диалект). Литературные, философские, исторические памятники. Александрийская школа грамматиков (Александрия, эллинистический Египет, с конца IV в. до н. э. до 640 г. н. э. (завоевание Александрии арабами). В то время в Александрии возникает наука филология и как ее часть грамматика. Закладывается начало международной терминологии.

С I в. н. э. до XV в. на византийском литературном языке (в Византии) созданы религиозные, апокрифические и исторические произведения.

е. СЛАВЯНСКИЕ

Восточнославянские: *русский* — пятое место по числу говорящих (более 300 млн чел.), *белорусский*, *украинский*.

Юговосточнославянские: *старославянский* — создан на основе солунских говоров святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием. Вместе с созданием славянской письменности (глаголица и кириллица) и распространением христианства среди славян сохранился в виде нескольких изводов *церковнославянского* языка у восточных славян, сербов и болгар; *македонский*; *болгарский* — сплав славянских диалектов и тюркского языка Камских булгар (ср.: болгарский — Болгария), литературные памятники X в. н. э.

Югозапднославянские: словенский, сербско-хорватский.

Запднославянские: *полабский* (†) — до XVIII в. был распространен в Германии по р. Эльбе (Лабе), *словинский* (поморский) — по Балтийскому побережью в Поморье (Померании), кашубский, польский, нижнелужицкий, верхнелужицкий, чешский, словацкий.

ж. БАЛТИЙСКИЕ

Литовский, латышский, латгальский; (†) прусский, ятвяжский, куршский, галиндский, селонский, земгальский.

з. АРМЯНСКИЕ

Грабар (древнеармянский) — письменный с V в. н. э.; сохраняется в богослужении армянской Церкви; *среднеармянский* — с XII по XVI в. В современном армянском существует большое количество диалектов, частично невзаимопонятных, которые можно объединить в два языка: *восточноармянский* — с литературным стандартом на основе араратского диалекта и *западноармянский* — с литературным стандартом на основе стамбульского диалекта; после армянского геноцида в Турции начала XX в. обслуживает в основном армян диаспору.

Арийские (индоиранские)

Эта ветвь включает иранские, нуристанские, дардские и индоарийские языки — развившиеся из языка древних ариев. Помимо этих групп к ним относятся еще несколько древних языков: *митаннийский* (арийский) — Ближний Восток и «*андроникинский*» арийский — Средняя Азия.

и. ИРАНСКИЕ (более 40 живых языков)

Юго-западные: *древнеперсидский* (†) — язык Персидской державы Ахеменидов VI—IV вв. до н. э.; *среднеперсидский* (пехлеви) (†) — III—IX вв. н. э., из него развился целый ряд современных языков: *персидский* (фарси), *дари* (фарси-кабули) — официальный язык Афганистана, *таджикский*, *хазара*, диалекты *чар-аймаков*, *татский* — Северный Кавказ и Азербайджан; лурско-бахтиярский, диалекты Фарса, ларский, башкарди, курдшули, кумзари.

Северо-западные: *мидийский* (†) — древнеиранский бесписьменный язык, *парфянский* (†) — среднеиранский язык Парфии (III в. до н. э. — III в. н. э.), *азери* (†) — среднеиранский язык, вытесненный азербайджанским языком, курдский, заза, гурани, талышский, тати диалекты, диалекты Центрального Ирана, прикаспийские, гилянский, мазандранский, семнанский, велатру, шамерзади, сивенди, белуджский, ормури, парачи.

Восточные: *скифо-сарматский* (†) — язык скифов и сарматов, живших до середины I тыс. н. э. в южнорусских и центрально-азиатских степях; сохранился в виде *аланского* языка (†) на Северном Кавказе, который развился затем в современный *осетинский* язык; *авестийский* (зендский) (†) — язык священной книги зороастрийцев «Авесты»; *хорезмийский* (†) — язык древнего Хорезма (север Узбекистана) до XIV в.; *согдийский* (†) — язык древнего Согда (Узбекистан — Таджикистан) до XI—XII вв., предок современного *ягнобского* языка; *бактрийский* (†) — язык Бактрии и Кушанского царства (Таджикистан — северный Афганистан) до XII в.; *сакский* (†) — язык кочевых племен саков Средней

Азии и в восточном Туркестане, предок некоторых из современных памирских языков; *пушту* (пашто, афганский) — государственный язык Афганистана; ванечи; *южнопамирские*: мунджанский, йидга, саргулямский, ишкашимский, сангличский и зебаки (†), ваханский; *севернопамирские*: язгулямский, старованджский (†) и шугнано-рушанская группа (шугнанский, баджувский, рушанский, хуфский, бартангский, рошорвский и сарыкольский).

Название *иранские* происходит от самоназвания племени — *арья* — *иран* и *алан*. Именем *аланы* называли себя *скифы* (степи Причерноморья и на восток до Китая, X—I вв. до н. э. и I—X вв. н. э.). Потомки аланов-скифов — осетины. Иранские и индийские языки близки, что выражено и в общем названии — индоиранские или арийские.

Мертвым языкам принадлежит культурно-историческая роль: клинописные надписи Дария, Ксеркса и др., VI—IV вв. до н. э. на древнеперсидском языке. Книга «Авеста» в среднеперсидских переводах получила название «Зенд» (на пехлеви, отсюда название авестийских языков — зендские).

«Авеста» — священная книга зороастрийцев, последователей пророка, реформатора Заратуштры (в греческом изводе Зороастра) — X в. — 1-я половина VI в. до н. э. Сохранились тексты религиозные, фольклорные, мифологические.

й. ДАРДСКИЕ

Наиболее близки индоарийским языкам, с которыми часто объединяются в одну группу.

Кашмири — официальный язык штата Джамму и Кашмир (Индия), еще около 16 малых языков в горах Гиндукуша (Индия, Пакистан и Афганистан): майян, торвали, кховар, калаша, пашаи и др.

НУРИСТАНСКИЕ

Распространены в северо-восточном Афганистане: ашкун, вайгали, земиаки, трегами, кати, прасун.

к. ИНДОАРИЙСКИЕ (около 40 языков)

Древнеиндийские: ведийский — язык священных книг индоариев — «Вед», сложившихся во II тыс. до н. э.; *санскрит* (букв. «обработанный») — классический литературный язык с III в. до н. э. по VII в. н. э., широко распространенный в Индии и в наше время. На санскрите написаны религиозные тексты, драмы, эпические произведения, первая грамматика Панини (IV в. до н. э.), обработанные Вopaдевой (XIII в. н. э.).

Среднеиндийские: пали — язык южного буддийского канона, *пракриты* — на их основе развились новоиндийские языки, *анабхранша* — позднеиндийские языки.

Северо-западно-индийские: лахнда (ленди), синдхи.

Пахари (северно-индийские): кумаони, *непали* (восточный пахари) — государственный язык Непала, гархвали, западный пахари.

Центрально-индийские: бхили, кхандеши, (восточный) панджаби, раджастан, (западный) *хинди* — пучок родственных диалектов, на основе которых сложились два варианта литературного языка: *хинди* (Индия) и *урду* (Пакистан), использующие соответственно письмо деванагари и арабский алфавит; занимает третье место по числу говорящих (более 570 млн чел.); *парья* — Таджикистан.

Хинди и *урду* — две разновидности новоиндийского языка — хиндустани, ведущие свое начало от древних наречий, называемых *пракриты*.

Цыганские. Целый ряд цыганских языков сформировался в результате миграции их носителей из Индии на запад в V–XX вв.: *думаки* — Пакистан, Индия; *домари* (карачи) — Иран, Афганистан; *боша* (армянско-цыганский) — Армения, Турция; *навар* (сирийско-цыганский) — арабские страны; (европейско-) *цыганский* — целый пучок диалектов, распространившихся по всей Европе.

Восточно-центрально-индийские: восточный хинди.

Восточно-индийские: *бенгальский* — государственный язык Бангладеш; занимает седьмое место по числу говорящих (более 210 млн чел.); ассамский, бихари, ория, тхару.

Южно-индийские: маратхи, конкани.

Юго-восточно-индийские: *сингальский* — государственный язык Шри-Ланки; *мальдивский* — государственный язык Мальдивских островов.

(†) *Анатолийские (хетто-лувийские)*

Все языки в Малой Азии (Турция): палайский — II тыс. до н. э., хеттский (лувийский) иероглифический — не расшифрован, II тыс. до н. э.

Хеттские: хеттский клинописный (неситский) — II тыс. до н. э., лидийский, карийский — античность.

Лувийские: лувийский клинописный — II тыс. до н. э., ликийский, сидетский, писидийский — античность.

(†) *Венетский*

До начала н. э. на северо-востоке Италии.

(†) *Иллирийские*

Иллирийский — Балканы, мессапский — юго-восток Италии.

(†) *Фракийский*

Балканы, до прихода славян.

(†) *Фригийский*

Малая Азия, до середины I тыс. н. э.

(†) Тохарские

Китайский Туркестан (Синьцзян), до X в. н. э.: тохарский А (*карашарский*) и тохарский Б (*кучанский*).

(†) Реликтовые индоевропейские

Вопрос об отношении следующих языков к другим индоевропейским языкам еще не решен: *пеласгский* — Греция до прихода греков; *филистимлянский* — побережье Палестины в древности; *киммерийский* — южнорусские степи, до скифов; *лигурийский* — юго-восток Франции, до романизации.

В индоевропейских языках существует целый ряд явлений (изоглосс), которые объединяют одни группы с другими. Наиболее известным является деление на языки *сатем/кентум*. Суть этого явления заключается в том, что разные языки по-разному отражают праиндоевропейские палатальные взрывные k' , g' : в одних они совпадают с велярными взрывными k , g , в других переходят в аффрикаты, а затем во фрикативные ζ , j (сохранившиеся в виде разных рефлексов: \check{s} , \check{c} , s и др.). Это явление хорошо прослеживается на примере слова *kento-m «сто», которое дало в первых языках (языки «кентум»): centum (латинский), he-katon (греческий), hundred (в германских языках с последующей спирантизацией $k > h$), а во вторых (языки «сатем»): съто (славянские), ζ atam (индоарийские), \check{s} imtas (балтийские). Однако из этого явления еще не следует, что индоевропейские языки делятся на две ветви, поскольку существует большое количество других явлений, дифференцирующих эти языки по-другому.

2. Картвельские

Эти языки распространены на Западном Кавказе: в Грузии и Турции. Картвельские и северокавказские языки часто объединяют под названием (*иберо-*)кавказских языков, хотя они не родственны между собой. *Грузинский* — собственная письменность с V в. н. э., *мегрельский*, *лазский* — северо-восточная Турция, *сванские*: верхнесванский (бальский) и нижнесванский.

3. Уральские

ФИННО-УГОРСКИЕ

Финно-волжские: саамские: западносаамский, восточносаамский; прибалтийско-финские: финский, карельский, вепсский, эстонский, водский, ижорский, ливский; марийские: лугово-марийский, горно-марийский; мордовские: эрзянский, мокшанский.

Пермские: коми-зырянский, коми-пермяцкий, удмуртский.

Угорские: венгерский, мансийский, хантыйский.

САМОДИЙСКИЕ

Ненецкий, энецкий, нганасанский, селькупский, камасинский (†), маторско-тайгийско-карагасский (†).

Юкагирские

Уральские и юкагирские языки, видимо, родственны между собой: *урало-юкагирская* (макро)семья.

4. Алтайские

Родство алтайских языков признано далеко не всеми специалистами по отдельным языкам.

а. ТЮРКСКИЕ

Гуннский (†), хазарский (†).

Булгарские: болгарский (†), *чуваший*.

Огузские: огузский (†); западно-сельджукские: *турецкий*, балкано-тюркский, гагаузский; восточно-сельджукские: *азербайджанский*, кашкайский, хорасано-тюркский, халаджский; восточно-огузские: восточно-огузский (†), *туркменский*, хивино-узбекский; кыпчако-огузские: саларский.

Кыпчакские: (средне)кыпчакский (†); ногайские: каракалпакский, *казахский*, ногайский; поволжские: *татарский*, *башкирский*, сибирско-татарский; половецкие: *половецкий* (†), кумыкский, караимский, крымско-татарский, карачаево-балкарский.

Карлукские: чагатайский (†), уйгурский, *узбекский*.

Уйгуро-сибирские: древние: орхоно-енисейский (рунический) (†), древнеуйгурский (†); тувино-тофаларские: тувинский, тофаларский; якутские (сибирские): якутский, долганский; саяно-алтайские (хакаские): древнекыргызский (†), хакасский, северно-алтайский, чулымский, сарыг-югурский, фууйско-кыргызский, шорский.

Киргизо-кыпчакские: киргизский, (южно-)алтайский.

б. МОНГОЛЬСКИЕ

Сяньбийский (†); северо-монгольские: старомонгольский (†), киданьский (†), ойратский, монгольский, бурятский, дагурский, калмыцкий; южно-монгольские: дунсянский, монгорский (ту), баоаньский, шира-югурский; западно-монгольские: могольский язык.

в. ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИЕ

Сибирские: эвенкийский (включая солонский и ороченский), негидальский, эвенский; амурские: удэгейский, орочский, нанайский, ульчский, орокский; южная: чжурчжэньский (†), маньчжурский (включая сибо).

5. Японские

Японский, рюкюский.

Корейский

Корейский и японские языки обнаруживают некоторую близость как между собой, так и к алтайским языкам, что дает основание считать их всех входящими в одну *макроалтайскую* семью.

6. Дравидийские

Ныне — юг Индии с отдельными вкраплениями к северу, ранее — большая часть Индостана и далее на запад, вплоть до Двуречья (древний *эламский* язык считают близким дравидийским языкам).

Крупные письменные языки: *тамильский, телугу, малаялам, каннада*; еще несколько десятков мелких языков по всей Индии и язык *брагуи* в Пакистане.

7. Афразийские (семито-хамитские)

а. СЕМИТСКИЕ

(†) *Восточно-семитские*: *аккадский* (позднее разделился на ассирийский и вавилонский), *эблаитский*.

Западно-семитские: *аморейский* (†); *ханаанейские*: язык глосс Эль-Амарны (†), финикийский (†), пунический (†), моавитский (†), древнееврейский (†), угаритский (†); *иврит*; *арамейские*: я'уди (†), староарамейский (†), имперский арамейский (†), библейский арамейский (†); *западно-арамейские*: набатейский (†), пальмирский (†), христианско-палестинский (†), еврейско-палестинский (†), самаритянский (†), ма'алула (западно-новоарамейский); *восточно-арамейские*: сирийский (†), туройо (средне-новоарамейский), (восточно-)новоарамейский, вавилонско-арамейский (†), мандейский; *северно-аравийские* (†): сафский, самудский, лихьянский; *арабские*: мальтийский, *классический арабский* (литературный язык для современных арабов), *разговорные языки арабов*: магрибский, машрикский, среднеазиатский арабский (джуғари); *сайхадские* (†) (южно-аравийские эпиграфические): катабанский, минейский, сабейский, хадрамаутский; *эфиосемитские*: геэз (†), тигринья, тигре, амхарский, аргобба, харари, гураге восточный, соддо, гафат, мухер, гураге (западный); *южно-семитские*: сокотри, мехри, шхери (джиббали).

б. БЕРБЕРО-ЛИВИЙСКИЕ

Около 30 живых и несколько древних языков на севере Африки: *гуанчские* (†, Канарские о-ва), мавританский (†), восточнонумидийский (†), зенага, тамазигхт (бераберский), тамашек и др.

(†) ЕГИПЕТСКИЕ

Древнеегипетский (с IV тыс. до н. э. по начало н. э.) и его продолжение — *коптский* (живой до XVII в., затем культовый язык Коптской Церкви).

в. ЧАДСКИЕ

150–195 языков в Центральной Африке южнее Сахары: *хауса*, гвандара, муби и др.

г. КУШИТСКИЕ

36–47 языков на северо-востоке Африки: сомали, оромо, бедауйе, иракв и др.

ОМОТСКИЕ

21–28 языков на юго-западе Эфиопии, ранее включались в состав кушитских языков.

8. Северокавказские**АБХАЗО-АДЫГСКИЕ**

Адыгейский, кабардинский, абхазский, садзский, абазинский, убыхский (†).

НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ

Аваро-андийские: аварский; андийские: андийский, ботлихский, годоберинский, ахвахский, каратинский, чамалинский, багвалинский, тиндинский; нахские: чеченский, галанчоожский (карабулакский), ингушский, бацбийский; цезские: цезский, хваршинский, гинухский, бежтинский, гунзибский, лакский; даргинские: северодаргинский, цудахарский, муиринский, мегебский, кадарский, кункинский, сирхинский, кайтагский, ицаринско-санжинский, кубачинский, чирагский; лезгинские: агульский, табасаранский, лезгинский, рутульский, цахурский, крызский, будухский, арчинский, удинский, агванский (†); хиналугский.

9. Изолированные и реликтовые языки Евразии

Условное объединение, включающее языки, не относящиеся ни к одной из крупных языковых семей; даются по регионам.

ПАЛЕОАЗИАТСКИЕ

Енисейские: кетский; югский (†) и другие вымершие языки; нивхский (гиляцкий); айнский — исчез в начале XX в. (Япония, Курилы, Сахалин); бурушаски (вершиковский) язык — северо-запад Индии.

(†) РЕЛИКТОВЫЕ ЯЗЫКИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Языки Пиренейского п-ова: *баскский, иберский* (†), *южнолузитанский* (†), *тартесский* (†);

(†) тирренские (возможно родственны между собой): *этрусский, ретийский, лемносский*;

(†) языки Крита и Кипра: *критский иероглифический, критский фестский, критский линейный; кипро-минойский, этеокипрский*.

(†) ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Хаттский, шумерский, эламский; хуррито-урартские: хурритский, урартский.

10. Чукотско-камчатские

Часто также включаются в ареальное объединение палеоазиатских языков.

Чукотский, корякский, керекский, ительменский.

11. Сино-тибетские

Китайские (синитские) — полтора десятка языков, традиционно объединяемых под общим названием «китайский язык»: *северокитайский* (мандаринский, второй язык в мире по числу говорящих: более 1 млрд чел.), *кантонский* (юэ), *ву, хакка, минь* и др., еще около 350 языков, распространенных в Китае, странах Индостана и Индокитая и условно объединяемых под названием «тибето-бирманские»: *бирманский, качинский, невари, тибетский, лепча, гурунг, кусанда, тангутский* (†), *куки-чин, нага* и др.

12. Тай-кадайские

Более 50 языков, объединяемых в три группы: *ли, кадайскую и камтайскую* (сиамский, лаосский, шанский, лакья, гэлао и др.).

13. Мяо-яо

Около 30 языков, объединяемых в группы: *мяо, яо* и шэ.

14. Австроазиатские (около 160 языков)

Мунда — около 20 языков.

Аслианские (семанг-сакай, малаккские) — около 20 языков.

Вьет-мыонгские — около 10 языков, в том числе *вьетнамский*.

Мон-кхмерские — около 70 языков, в том числе *кхмерский* (государственный язык Камбоджи).

Палаунг-ва — более 30 языков.

Никобарские — 6 языков.

Кхаси — 3 языка.

Нагали язык.

15. Австронезийские

Одна из наиболее обширных языковых семей (более 1200 языков), распространенных от Мадагаскара, через Малайский архипелаг (Малайзия, Индонезия, Филиппины) и Тайвань, далее на восток, включая большинство островов Тихого океана (Полинезия, Микронезия, Меланезия): яванский, малайский, тагалог, малагасийский, маори, тонга, фиджийский и др.

16. Нило-сахарские

Почти 200 языков, распространенных в Центральной Африке южнее Сахары: нубийский (†), нилотские, сонгай, кунама, берта и др.

17. Нигер-кордофанские

Самая обширная языковая семья — более 1400 языков, на которых говорят по всей Африке южнее Сахары; включает группы манде, атлантическую, кру, ква, догон, гур, иджойскую, кордофанскую, адамауа-убангийскую, бенуэ-конголезскую (включая языки банту).

18. Койсанские

Более 20 языков на юге Африки (языки бушменов и готтентотов) и востоке (языки хадза и сандаве).

19. Андаманские

Более 10 вымирающих языков на Андаманских островах (Индийский океан).

20. Австралийские

Более 250 языков аборигенов Австралии, часть из которых уже исчезла. Отдельную семью образуют вымершие тасманийские языки (о. Тасмания).

21. Эскимосско-алеутские

Алеутский и 10 эскимосских языков, распадающихся на две группы: *юпик* (Чукотка и Аляска) и *инуит* (от Аляски до Гренландии)

22. Папуасские

Условное географическое название для более чем 800 языков, часть из которых объединяется в 13 макросемей (наиболее крупная — *трансновогвинейская* — включает более 500 языков), а часть неклассифицирована; Новая Гвинея и близлежащие острова.

23. Индейские

Условное географическое название для более 1000 языков американских индейцев, которые объединяются более чем в 50 семей и большое количество изолированных языков; наиболее известные семьи: ото-мангские (172 языка), юто-ацтекские (60 языков), на-дене (42 языка), аравакские (74 языка), карибские (29 языков). Наиболее крупные языки: кечуа, аймара, майя, ацтекский, навахо, чибча и др.

ЛИТЕРАТУРА

- Атлас народов мира. М., 1964
Большой энциклопедический словарь. Языковедение. М., 1998.
Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
Народы мира: историко-этнографический справочник / Гл. ред. Ю.В. Бромлей. М., 1988
Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 2001.
Русский язык: Энциклопедия. М., 1979.
Языки и диалекты мира. Словник и проспект. М., 1982.
Dalby D. Linguasphere Register of the World's Languages and Speech Communities. Vol. 1–2. Hebron, 2000.
Ethnologue: Languages of the World. 14th ed. / Ed. by B.F. Grimes. 2000.
The Atlas of the World's Languages / Ed. by C. Moseley and R.E. Asher. London; N. Y.: Routledge, 1994.
Voegelin C.F., Voegelin F.M. Classification and Index of the World's Languages. N. Y., 1977.

УКАЗАТЕЛИ



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Аборигены* (язык аборигенов) 471, 472, 473–474, 475, 476, 478
- Абстракция* 237. Как совершается грамматическая абстракция 237–238; разные типы абстракции 237–241; грамматические абстракции в истории языка 250–251, 284–285; специфика абстракции в грамматике 236, 285; возникновение абстрактных слов 40; связь конкретного и абстрактного 40–41; специфика абстрактных и переносных значений 41–50; двустороннее движение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному 241, 271, 285
- Агглютинативные (агглютинирующие) языки* 387–388, 389–390, 394
- Адстрат* 476
- Аканье* 458–459
- Активный запас слов* 14, 109
- Активные органы речи* 183
- Актуальное членение предложения* 381
- Акцентуация* 211
- Альвеолярные звуки* 187
- «Аморфные языки»*. Неправомерность этого термина 389; см. *Формы слова, Корневые языки*
- Аналитические времена* 387; см. *Время*
- Аналитические средства* (выражения грамматических отношений) 386–387
- Аналитические языки* 386–387
- Аналогия*. Два типа аналогии, аналогия и системные отношения в грамматике 248–249; аналогия и фонетические законы 221
- Антитеза* 78, см. *Антонимы*
- Антонимы*. Определение; антонимичность слов и антонимичность отдельных значений в одном слове 75–76; антонимичные значения в межязыковом плане 74, 75, 76; антонимичные значения в синхронии и диахронии 74, 75, 76; антонимия, полисемия 76, 77 и синонимия 78; антонимы в художественной литературе 78; см. *Синонимы*
- Аорист* 356
- Арго*, см. *Жаргоны*
- Артикль* 444. Постпозитивный артикль 475
- Артикуляционная база языка* 190
- Архаизмы*. Определение 109–110; классификация архаизмов: архаизмы-слова и архаизмы-значения 110–111, 112–113; архаизмы-«историзмы» 99; архаизмы стилевые и стилистические 110, 111, 114–115; архаизмы и развитие значения слова 111, 112–113, 114; архаизмы в составе фразеологического целого 114; архаизмы в словарном составе языка 114–115; архаизмы и дифференциация синонимов 113; система архаизмов и система неологизмов 114–115; архаизмы в активном и пассивном словаре 114; см. *Неологизмы*
- Ассимиляция* 198. Ее разновидности: полная и частичная, прогрессивная, регрессивная, смежная и несмежная 198; причины ассимиляции 199–201; ассимиляция и орфография 203; ассимиляция и этимология слова 203–205
- Атонный* (лишенный ударения) 387
- Атрибут*. Атрибутивность, см. *Прилагательное*
- Аффиксы*. Значение аффиксов, историческая изменчивость аффиксов 246, 250; полифункциональность аффиксов во флективных языках, однозначность аффиксов в агглютинативных языках 389–390
- Аффрикаты* 186
- Билингвизм* 476
- Бинарные противопоставления* 371
- Ближайшее и дальнейшее значения слова*, см. *Значение слова*

- Броукен-инглиш* 466
- Буква*. Различие между буквами и звуками 224–225; чтение букв в алфавитах мира 225–226; см. *Письмо*
- Варваризмы*, см. *Заимствованные слова*
- Вариант фонемы*, см. *Фонема*
- Вариация фонемы*, см. *Фонема*
- Веляризованные звуки* 187
- Взаимодействие языков*. Разные виды взаимодействия языков в процессе их развития 470–471; необходимость различения взаимодействия языков 471–475, родства языков и языковых союзов 475–477; см. *Заимствованные слова*
- Взрывные согласные*, см. *Смычные согласные*
- Вид*. Грамматическая категория вида, определение 344; необходимость разграничения видовых значений и грамматической категории вида 346–347, 348; видовые пары глаголов: совершенный и несовершенный виды и их подзначения 348; взаимодействие вида и времени 351–352; категория вида в языке художественной литературы 352
- Внутренняя флексия*, см. *Флексия*
- Внутренняя форма слова*. Определение 79, 80–81; внутренняя форма слова в разных языках 86; внутренняя форма слова, его структура и значение 82, 83; внутренняя форма слова и понятие 83, 163; внутренняя форма слова и этимология 83, 86; разная степень «прозрачности» внутренней формы слова 95; внутренняя форма слова и идиомы 130–131; внутренняя форма слова в стиле художественной литературы 84, 87, 95–96
- Вопрос и вопросительное предложение*, см. *Интонация*
- Время*. Грамматическая категория времени 341; понятие «момента речи» 342, 343; грамматическая и логическая категория времени в их взаимоотношениях 350–351; времена абсолютные и относительные; система времен в разных языках 343–344; взаимодействие категорий времени и вида 345–349; взаимодействие категории времени и модальности (наклонения) 353–358
- Вторая сигнальная система и язык* 421
- Вторичные синтаксические функции* 310; см. *Первичные синтаксические функции*, *Части речи*
- Высота звука* 182
- Гапология* 203
- Гармония гласных (сингармонизм)* 143, 199
- Генеалогическая классификация языков* 334–336
- Гетеронимия* 270
- Гипотаксис* (синтаксическое подчинение) 366. Основание для отнесения понятий гипотаксиса и паратаксиса к грамматике 371; взаимоотношения гипотаксиса и паратаксиса 367–370; стилистика гипотаксиса и паратаксиса 373–374
- Глагол*. Определение 336; предикативность — главная (первичная) функция глагола 337; историческое разграничение глагола и имени 341; трактовка соотношения глагола и имени в научной литературе 339–341; см. *Время*, *Вид*, *Наклонение*
- Гласные звуки*, см. *Звуки речи*
- Глухие согласные* 182, 193
- Говор* 453
- Гонгоризм* 120
- Грамматика*. Предмет грамматики 233–236; категория отношения и категория значения в грамматике 236, 242, 258–261; см. *Система языка*
- Грамматика и лексика* 236–237, 253–254. Как следует понимать взаимодействие грамматики и лексики (проблема «глокой куздры») 237–239; вторичные грамматические значения (собираемость, качественность, единичность, частичность и пр.) как связующие звенья между грамматикой и лексикой 239–240; грамматика и семантика слов и словосочетаний; развитие от лексики к грамматике 240–242
- Грамматика и логика* (отличия и взаимодействие) 241, 242
- Грамматика и стилистика*. Грамматический шаблон построения в одном языке может соответствовать стилистически «свежему» построению в другом языке 320–321

Грамматические категории. Определе-ние 265–266; грамматические кате-гории и части речи 265–266, 303–304; см. *Род* 268, *Число* 278, *Падеж* 289, *Время* 336–344, 352, *Вид* 344–351, *Наклонение* 353–359

Грамматические средства 262–265

Грамматические форманты 252

Графика, см. *Орфография*

Губные звуки (согласные) 187. Губно-губные (билабиальные) 187; губно-зубные 187

Двойственное число 283–284

Двуязычие, см. *Билингвизм*

Диалект 453. Диалекты в разные исто-рические эпохи и в разных странах, процессы взаимодействия диалектов и литературных языков, необходи-мость строгого разграничения диа-лектов и жаргонов (арго) 454–456, 465

Диалектология. Ее задачи 463–464

Диалог 375

Диахрония, см. *Синхрония и диахрония*

Диссимилиация 202. Ее разновидности: прогрессивная, регрессивная, смеж-ная и несмежная 202–203; диссими-ляция и письмо; диссимилиация и сходные с ней явления 203

Дифтонги. Дифтонги нисходящие, вос-ходящие, ложные и истинные, моно-фтонгизация дифтонгов в истории некоторых языков 188–189, 191

Долгие гласные 190, 218–219

Дрожащие звуки 187

Жаргоны. Различные виды жаргонов и их функции 465, 466; жаргоны и сход-ные с ними явления в языке художе-ственной литературы 467–469; жар-гонные и профессиональные слова 465, 467, 468

Жесты, см. *Язык жестов*

Заемствованные слова. Постановка про-блемы 132–134; классификация за-имствований 142–143: а) общая — заимствования-слова 135, 142, струк-турные заимствования (кальки) 137–139, 143, смысловые заимствования 143; б) по источнику — прямые за-имствования, косвенные заимствова-ния 135, 144; в) по степени ассими-

ляции — укоренившиеся заимство-вания, неукоренившиеся заимство-вания (варваризмы), типы заим-ствований: а) заимствованные слова, история вещей и понятий 132–133; б) заимствованные слова и расшире-ние синонимических рядов 143; сти-листическая и социальная окраска заимствованных слов 144; ассимиля-ция заимствованных слов в системе языка 144–145; заимствования — их оценка 135, 143–146, 147

Закрытые гласные 218–219

Звонкие согласные 182, 188, 193

Звуки речи. Образование звуков речи 180–183; классификация гласных 184–185 и согласных 182; сложные звуки 186; звук и буква 224–225; фи-зический, физиологический и линг-вистический аспекты изучения зву-ков речи 182–185; сила, высота и тембровая окраска звуков 182; звуки речи в поэзии и их дополнительная (эстетическая) функция 200, 202–203, 206–207, 409

Звуковой закон, см. *Фонетический за-кон*

Звукоподражательная (ономатопэти-ческая) теория 406–410

Звукоподражание (в поэтическом язы-ке) 409

Знаменательные части речи. Критика этого термина 305

Значение слова. Определение 96; бли-жайшее и дальнейшее значения слова 152–154; значение слова и понятие, как следует понимать мотивирован-ность слова 79, 80; промежуточное значение 29; значение и употребле-ние слова (различие между ними) 29–33; узуальное и окказиональное зна-чение слова 30, 33, 34; буквальное значение слова 30; фигуральные (пе-реносные) значения слова 40, 42, 54; два типа переносных (фигуральных) значений: 1) в общенародном языке, 2) в языке художественной литерату-ры 40, 44–50, 54; переносные значе-ния и употребления как историческая категория 162; абстрактные значения и историческое развитие языка 79; сужение значения слова (как следует понимать сужение) 154–158, 160, 161;

- типы сужения: 1) исторический, 2) профессионально-технический; расширение значения слова (как следует понимать расширение) 154, 160; функциональный переход значений 157–158, 160; несовпадение значений слов в разных языках 43; значение слова, диахрония и синхрония 74–93; значение слова и чувственно-экспрессивные элементы в слове 46–49; прямое и переносное значение слова в разговорной речи 49; значение и звучание слова 28, 29, 32–33, 43, 79, 85; категория значения в грамматике 238, 239, разделы 7, 9 в гл. III
- Идеографическое письмо**, см. *Письмо*
- Идиоматические выражения**, см. *Идиомы*
- Идиомы** (идиоматические сочетания или фразеологические сращения) 66–67. Определение 122–123; характерные особенности идиом: 1) неразложимость, 2) невыводимость слов из значения целого, 3) образность, 4) буквальная непереводаемость 130; национальное своеобразие идиом 123–125; понятие разложимости и неразложимости идиом (сращений) 125; неразложимость идиом, синхрония и диахрония 126–127; идиомы и внутренняя форма слова 130–131; идиомы (фразеологические сращения) и фразеологические сочетания, их отличия и связи 125; идиома и словосочетание; сознательное разложение идиом 128, 129, их синонимизация 67; идиоматичность слова и его неверное словоупотребление 129; см. *Фразеологические сочетания*
- Иероглифическое письмо**, см. *Письмо*
- Изолирующие языки**, см. *Корневые языки*
- Имя**. Дифференциация имени и глагола в истории языка 336–337
- Индикатив**, см. *Наклонение*
- Индоевропейская семья языков**, см. *Языковые семьи и Приложение (Генеалогическая классификация языков)*
- Инкорпорация** 264–265
- Инкорпорирующие (полисинтетические) языки** 392–393, 394
- Иностранные слова**, см. *Интернациональные и иностранные слова*
- Интервокальное положение** 204
- Интернациональные и иностранные слова** 136. Интернационализация лексики 137; интернациональные крылатые слова 146; интернациональные слова и интернациональные термины 144; интернациональные слова, многозначность и национальное своеобразие языка 145, 146
- Интонация**. Определение 205, 211. Два основных типа интонации в разных языках 211–212; объективное и субъективное в интонации 212, 215; связь между интонацией и типом ударения в языке 214; интонация как грамматическое средство 214–215; интонация и письмо 217; стилистические функции интонации 216; интонация вопросительного предложения 213–215; интонация в прямой речи 379; интонация в разных языковых стилях 216
- Инфикс** 246
- Калька**. Кальки структурные и кальки смысловые 137–138; см. *Заимствованные слова*
- Категории определенности и неопределенности** (в грамматике) 314–317
- Качественность**. Качественность и связь грамматики с лексикой 240; качественность (как категория) в истории прилагательных 312–313, 318–319
- Качество**, см. *Количество и качество*
- Классификация языков**, см. *Генеалогическая классификация языков, Типологическая классификация языков*
- Клише** 505
- Количество и качество**. Качественное отличие языка человека от инстинктов животных 414; развитие лексики, значение и употребление, количество и качество 28–30; морфемы и слова (исторические связи между ними и качественно-функциональные различия) 247–249; качественные расхождения между словом, словосочетанием и предложением 330, 332–334; количественные и качественные различия в типах языковых контактов 254–259; качественная неотжественность отдельных признаков стиля (точность, образность и др.) в разных языковых стилях 490–496
- Конверсия** 52, 261

Контаминация 249

Контекст 22, 24–25. Типы контекста: узкий (ближайший) контекст, широкий контекст, контекст-фраза, контекст-ситуация; контекст и значение слова, употребление слова 22–25, 28–29, 32; контекст и полисемия 25–26; контекст и омонимия 26; контекст и эвфемизмы 118–119; контекст и чувственно-экспрессивные элементы в составе значения слова 148; контекст и словосочетание (индивидуально-контекстное осмысление) 32–33; контекст и стилистические неологизмы 107–108; контекст и «народная этимология» 90; грамматическая функция контекста 318–319

Конъюнктив, см. *Наклонение*

Корень 246, 249, 250, 254

Корневые (изолирующие) языки 387–389, 394, 395

Косвенная речь 374, 376, 378

Краткие гласные 190, 218, 219

Криптография 227

Крылатые слова 130

Лабializedанные (лабиальные) гласные 185

Лексика, см. *Грамматика и лексика*

Лексема, см. *Слово*

Лексикализация 365

Лексикография 12

Лексикология 11, 12, см. *Слово*, *Значение слова*

Литературный язык. Признаки литературного языка 453–455; литературный язык в его взаимоотношениях с общенародным языком, диалектами и жаргонами 456–462, 466–469; литературный язык и национальный язык 454; чужой язык в функции литературного (в отдельные эпохи) 453–454, 456–457

Маринизм 120

Междометия (их роль в происхождении языка) 411

Местоимение 325. Типы местоимений в разных языках 325–326; как следует понимать «заменяющую функцию» местоимений 326; исторический путь развития местоимений и супплетивные образования 329–331; связи с

другими частями речи 326; двучленная и трехчленная система указательных местоимений 327–328; взаимодействие личных местоимений с флексиями глагола в истории языков 330; указательные местоимения и образование полных форм прилагательных 315; стилистика местоимений 333–335

Метатеза 202

Метод сравнительно-исторический и метод сравнительно-сопоставительный 448–451

Многозначность, см. *Полисемия*

Модальность, см. *Наклонение*

Моногенезис языка 426

Монолог 375

Моносемия (однозначность), см. *Полисемия*

Морфема 246–247, 253

Морфологическая классификация языков, см. *Типологическая классификация языков*

Морфологическая структура слова, см. *Структура слова*

Морфология. Морфология и синтаксис 309–310

Мотивированность значения слова, см. *Внутренняя форма слова*, *Значение слова*, *Неологизмы*

Мышление 260–261. Разные точки зрения на происхождение мышления в связи с историей языка, см. *Язык и мышление*

Наклонение. Понятие о наклонении и модальности 353; различие между грамматическим и лексическим способами выражения модальности 353, 354–355; отношение к объективной действительности 353, 357–358; взаимодействие между модальностью в грамматике и модальностью в логике 354–355; понятие о модальности предложения и модальности наклонения — вторичной модальности 354; система наклонений и система времен 356, 357, 358; см. *Предложение*

Наречие, см. *Диалект*

«Народная этимология», см. *Этимология*

Научный стиль (стиль научного изложения) 489, 493, 494, 496, 500

- Национальный язык.** Национальный язык как высшая форма литературного языка 454
- Нейтрализация.** В фонетике 195; в грамматике (нейтрализация слабых и сильных позиций) 202–203
- Неологизмы.** Образование неологизмов 97; классификация неологизмов: неологизмы-слова, неологизмы-значения 98, 99, 101, 102, 103, 106; стилистические неологизмы 106–107; стилевые неологизмы 106, 107, 108; неологизмы общезыковые и стилистические 106, 108; неологизмы в двойном ряду соответствий 97, 106, 109; неологизмы и понятия 100; неологизмы и полисемия 109; неологизмы и дифференциация синонимов 103; датировка неологизмов 98, 103; неологизмы-термины и их датировка 103–104; неологизмы в разные исторические периоды 98–99, 105–106; неологизмы и развитие словарного состава языка 106–108, 109; см. *Архаизмы*
- Несобственно-прямая речь.** Два плана несобственно-прямой речи: общезыковой и стилистический 377–379
- Номиналисты и реалисты** (в истории языкознания) 405
- Норма и литературный язык** 453–455
- Нормы произношения** 178–179, 485–587
- Носовые гласные** 182–183
- Нулевая флексия** 290, см. *Флексия*
- Нулевой показатель в грамматике** 290–292
- Образность.** Категория образности в разных языковых стилях; два типа образности 44–50, 494–499
- Образные значения,** см. *Переносные значения*
- Одушевленность и неодушевленность,** см. *Род*
- Оканье** 458–459, 463
- Окончание,** см. *Флексия*
- Омографы,** см. *Омонимы*
- Омонимия,** см. *Омонимы*
- Омонимы.** Определение 51; источники возникновения омонимов 51, 62; типы омонимов: лексические, морфологические, лексико-грамматические 51, 52–53, 56, 58; система омонимии и система полисемии 54–58, 60; разграничение омонимии и полисемии 54; омонимы и дифференцирующие тенденции языка 54, 57, 59; критика положения «омонимы — большие слова» 59, 60; омонимы в общенародном языке 61; омонимы и контекст 59–61; несовпадение омонимов в разных языках 54, 58; двойной ряд перекрестных отношений: омонимических и синонимических 72; омонимы и термины 60, 61; омонимы и эвфемизмы 118–120; омонимы и омофоны, омографы 51, 53; омонимы в диалектах 464; омонимы и собственные имена 61
- Ономатопоэтическая теория,** см. *Звукотрагическая теория*
- Опрощение.** Опрощение и переносное (фигуральное) осмысление слова, опрощение и грамматика 254, 255; см. *Переразложение*
- Органы речи,** см. *Активные органы речи, Пассивные органы речи*
- Орфография.** Принципы орфографии (фонетической, морфологической, исторической) 225, 226; орфография и слово 225–226; орфография и графика 224, 226; орфография и грамматика 235–236; нормализующая функция орфографии 226
- Орфоэпия** 235, 236, см. *Произношение*
- Основа слова.** Изменяемость и неизменяемость основы слова в языках разных систем 247–248, 390
- Открытые гласные** 193, 218
- Отношение.** Категория отношения и категория значения в лексике и грамматике 219–224, 237–240, 259, 262–264, 366–367, 373
- Падеж.** Определение 123, 289, 303; падеж как единство формы и значения 138, 289–290; прямой и косвенные падежи (как следует понимать различие между ними в связи с разграничением категорий значения и отношения) 259, 268, 289; основное значение падежа 258, 259, 296–297; число падежей и система языка 289; падежи в разных языках 261; соотношение падежей и предлогов 243–244, 293; отличия падежей от предлогов

- 245, 293, 294, 295, 296; падежи и порядок слов; номинативная функция прямого падежа 289, 302; синтаксический аспект морфологической категории падежа 296–297; падежные и беспадёжные языки 297, 302; разновидности творительного падежа и проблема грамматических обобщений 299–301; родительный саксонский (притяжательный) падеж в системе других падежей 292–294
- Палатализация* 187
- Палатализованные звуки* 187
- Парадигма* 248, 290
- Парадигматический ряд* 247–248, 438
- Паратакис* (синтаксическое сочинение) 366. «Нанизывание» предложений в древних языках 366; сочинительно-подчинительные и подчинительно-сочинительные конструкции 371; паратакис и гипотакис в разных языковых стилях 373–374
- Пассивные органы речи* 183
- Пассивный запас слов* 14, 109
- Первая сигнальная система* 421
- Первичные синтаксические функции* 310; см. *Вторичные синтаксические функции*, *Части речи*
- Передвижение согласных* (в германских языках) 218, 438
- Переносные* (образные) значения 40, 42, 54. Два типа переносных значений — в общенародном языке и в языке художественной литературы 40, 44–50, 54, 382–383; см. *Значение слова*
- Переразложение* 254, 255
- Персонафикация* 274–277
- Пиджин-инглиш* 466
- Пиктографическое письмо*, см. *Письмо*
- Письменная речь*, см. *Письменный стиль*
- Письменный стиль*. Характерные особенности письменного стиля; варианты письменного стиля; разграничение и взаимодействие письменного и разговорного стилей 482–487; см. *Разговорный стиль*
- Письмо*. История письма 226; пиктографическое (рисуночное) письмо 226–227; идеографическое (иероглифическое), письмо 227–228; силлабическое, слоговое, письмо 228; буквенное письмо; совершенствование письма 228
- Поговорки* 130
- Подлежащее* (субъект), см. *Существительное*, *Члены предложения*
- Подчинительные конструкции*, см. *Гипотакис*
- Позиция*. Сильные и слабые позиции фонем; более широкое понимание «позиции» 195–196
- Полигенезис языка* 426
- Полисемия* (многозначность) 18–20, 50–51. Полисемия и омонимия 54, 58, 60; разграничение этих понятий; распад полисемии и возникновение омонимов, система полисемии и система омонимии 54; полисемия и природа слова 56–58; полисемия и цивилизация 26; полисемия и контекст 58–59; полисемия и история слова, полисемия и забвение первоначальной этимологии слова 91–96; полисемия и переносные (фигуральные) значения 40–54; полисемия и синонимия 72; полисемия и антонимия 76–77; полисемия и неологизмы 98–106; полисемия и эвфемизмы 118–120; полисемия, национальное своеобразие языка и интернациональные слова 145–146
- Полисинтетические языки*, см. *Инкорпорирующие языки*
- Полногласие* 143
- Понятие*. Определение 162–163; понятие видовое и понятие родовое 157; понятие, слово и вещь 16; понятие и звуковая оболочка слова 64, 86–87; понятие и его выражение в разных языках 156–157; понятие и переносные значения слова 153–157; понятие и внутренняя форма слова 83, 86–87, 163; понятия и синонимы 64–65; понятия и неологизмы 153; понятия и термины 34–35
- Порядок слов*. Его синтаксическая и стилистическая роль 263, 294
- Послелого* 245, 252, 262–263
- Пословицы* 130
- Предикат*. Предикативность 337, 338, см. *Члены предложения*, *Глагол*, *Прилагательное*
- Предлог*. Источники предлогов 262–263; предлоги в истории разных языков 245–246; отличия функции предлогов от функции падежей 245, 294, 295

- Предложение.** Определение 359; главные признаки предложения 360; предложение как историческая категория 365–366; предложение и суждение (что их сближает и что разделяет) 379–382; простое и сложное предложения 360–361; см. *Паратаксис, Гипотаксис*
- Предметность** 311–312
- Префиксы.** Значение префиксов; функции префиксов в разных языках 246–250
- Прециозная литература** 120
- Прилагательное.** Пути исторического формирования имен прилагательных, качественные и относительные прилагательные 311–315, 321, 324; основная (первичная) функция прилагательных 315; способы выражения степеней сравнения в разных языках 320–324; супплетивы 323; атрибутивные и предикативные функции прилагательных в истории языка (полные и краткие формы) 311–315; «сильное» склонение прилагательных 313
- «*Прилепы*» 244
- Примыкание.** Примыкание как способ выражения грамматических отношений в древних языках 367
- Причастие.** Разные функции причастия в истории языка 338, 339–342
- Прогресс языка** 394–395, см. *Развитие языка*
- Произношение.** Общее значение произношения; два основных типа произношения 175–176, 178–179, 483–488
- Происхождение языка.** Две проблемы: происхождение языка (как человек научился говорить) и происхождение отдельных языков 399, 401–403, 404–410, 426; качественное отличие языка человека от инстинктов животных 417–423; язык и мышление 416–417, 426; язык и труд 416–417; язык и общение 426; см. *Моногенезис, Полигенезис*; см. *Вторая сигнальная система и язык*
- Проклитики** 210
- Прономинализация** 331
- Профессиональные слова** 467
- Прямая речь.** Интонация прямой речи и условия ее транспозиции в речь косвенную 374, 375, 376; см. *Речь несобственно-прямая*
- Пти-нээр** 466
- Пуризм** («очищение» языка). Типы пуризма в разные эпохи 143–145
- Прямая речь** 374–379
- Развитие языка.** Развитие лексики 97–98, 147–152; развитие грамматики 234–235, 238–239, 246–247, 365–370; внешние и внутренние факторы в развитии языка 474–475; см. *Субстрат, Суперстрат; Адстрат; Взаимодействие языков; Синхрония и диахрония; Язык и мышление*
- Разговорная речь** 25; см. *Разговорный стиль*
- Разговорный стиль** 481. Характерные особенности разговорного стиля 484; ситуативность разговорной речи 484; варианты разговорной речи, особые конструкции разговорной речи 487–488; разграничение и взаимодействие разговорного и письменного стилей 489; конструкции разговорной речи и их функции в языке художественной литературы 481, 482–487; см. *Письменный стиль*
- Расширение значения слова,** см. *Значение слова*
- Редупликация** 321
- Реконструкция.** Понятие о реконструкции («формы под звездочкой») 448–450
- Речевая характеристика** 379
- Речевой аппарат,** см. *Органы речи*
- Речь косвенная** 374–379
- Речь несобственно-прямая** 374–379
- Речь прямая** 374–379
- Речь,** см. *Язык и речь*
- Род.** Грамматическая категория рода и род живых существ (одушевленность и неодушевленность) 268–271; генезис категории рода и именная классификация 272; морфологическое и синтаксическое значение категории рода 272–273; категория рода и национальное своеобразие языков 274; условия «оживления» категории рода в языке художественной литературы 273–275; категория рода при переводе с одного языка на другой 276–277; см. *Персонификация*

Родство языков. Языковые семьи 434–436; два типа языкового родства (непосредственное и более отдаленное) 438; родство в лексике 437–441; родство в грамматике 441–444; родство слов, сходных в тематическом отношении 435; звуковые переходы в родственных языках 446–449; проблема материальной и структурной общности 452; см. *Языковые семьи* 434–436

Самостоятельные части речи, см. Части речи

Севернорусские диалекты 458–459

Семантика 11–12, см. *Значение слова*

Семасиология 11–12, 27–28, см. *Слово, Значение слова*

«Семейное» осмысление слов 468–470

Семья языков, см. Языковые семьи

Сила звука 182

Силлабическое (слоговое) письмо, см. Письмо

Сингармонизм, см. Гармония гласных

Синонимия, см. Синонимы

Синонимы. Определение 63; основная дифференцирующая функция синонимов 63–67; как следует понимать «взаимозаменяемость» синонимов 71–72; нетождественность синонимов 65–67; отдельные случаи абсолютных синонимов 67; синонимы и варианты слов (их разграничение) 64–65; типы синонимов: общеязыковые и стилистические, понятийные (идеографические) и стилевые 66, 67–72; двойная соотнесенность стилистических синонимов 68–70; лексические синонимы (или собственно синонимы) и их отличия от грамматических синонимов 66–67; синонимы и понятия 64–65; синонимический ряд; синонимический ряд как историческая категория 70–74; синонимический ряд и многозначность 68–69; синонимический ряд и заимствование слова 70–72; опорное, или основное, слово в синонимическом ряду 67; синонимы и части речи 70–71; синонимы и термины 71–72; синонимы и антонимы 72; дифференциация синонимов и неологизмы 65; дифференциация синонимов и архаизмы 66; синонимы и полисемия 64;

двойной ряд перекрестных отношений: синонимических и омонимических 72

Синтагматический ряд 247

Синтаксис. Что изучается в синтаксисе 365–366; историческое развитие синтаксической перспективы в предложении 368–369, 373; первичные и вторичные синтаксические функции 310
Синтаксические функции (первичные и вторичные) 310, см. *Части речи, Синтаксис*

Синтетические языки, см. Флективные языки

Синхрония и диахрония 93. Синхрония 93; два «разреза» языка, вертикальный и горизонтальный, современные и исторический 74; дифференциация синхронии и диахронии (разнонаправленность и взаимодействие) 93; синхрония, диахрония и неразложимость идиом 127–129; синхрония, диахрония и проблема антонимических отношений 76–78; синхрония, диахрония, «народная этимология» 86–87; забвение этимологии (диахрония, синонимия и вертикальные и горизонтальные связи слова) 93, 94–95; синхрония и взаимодействие лексики и грамматики 96

Система языка 292. Типы склонения имен существительных и система языка 89–90; система в лексике 237–239 и система в грамматике 265; двойной ряд грамматических отношений и система языка 241; личные местоимения, глагольные окончания и система языка 330–331; образование множественного числа в разных языках и воздействие системы 282–285; система языка и логические категории 307; фонемы в системе языка 194–195; взаимосвязь структурного и смыслового в формировании слов 138–139; ассимиляция заимствованных слов в языковой системе 142; система языка и внутренние признаки идиомы 131–132

Сказуемое, см. Предикат

Склонение. Типы склонения и система языка 289–291

Скрещивание языков 472

- Слово*. Определение 14, 167; типы слов 26–27; критика понятия «знаменательные слова»; самостоятельные и служебные слова 27–28, 305; значение, употребление 28–32; обобщающая функция слова 239; слово и понятие 38, 148–149, 164–165; история слов — история вещей — история понятий 160; ближайшие и дальнейшие значения слова 151–152; историческое развитие значения слова 94–95, 254; логическое и историческое в слове 147–152, 160–162; общее и отдельное в слове 15, 16, 41; конкретные и абстрактные слова 41–43, 91–92; ббольшая или меньшая «автономность» слова в разных языках 391; слово в двойном ряду перекрестных отношений (синонимических и омонимических) 72; см. *Значение слова*, *Формы слова*, *Структура слова*, *Полисемия*
- Словообразование* 238, 257–258, 260–261
- Словосочетание* 361–362. Типы словосочетаний: свободные и несвободные словосочетания 362–365; формирование новых словосочетаний 365–366; единство смысловых и структурных тенденций в словосочетаниях 367–372
- Слог* 204. Слогораздел и слогаделение 204–205; границы между звуками в речевом потоке 198–200; см. *Ассимиляция*, *Диссимиляция*, *Галлология*
- Служебные слова*, см. *Части речи*
- Смычные (взрывные) согласные* 185–186
- Собирательное значение* 240, 247, 282–283
- Согласные звуки*, см. *Звуки речи*
- Сонорные согласные* 182, 184
- Сочетаемость и несочетаемость слов* 238–239, 323–324
- Сочинительные конструкции*, см. *Партаксис*
- Союзы* 370. Их роль в историческом развитии языка 370–371; союзные и бессоюзные предложения, сочинительные и подчинительные союзы 369
- Сравнительно-историческая грамматика*, см. *Родство языков*
- Сравнительно-исторический метод* 447. Его особенности 447–448; отношение к сравнительно-сопоставительному методу (различия между ними) 450; сходства и расхождения между родственными языками — предпосылки сравнительно-исторического метода 450; аномалии форм и метод 450; см. *Родство языков*
- Сравнительно-сопоставительный метод* 450
- Степени сравнения*. Способы выражения степеней сравнения в разных языках 319–320; см. *Прилагательное*
- Стили*, см. *Языковые стили*, *Стиль художественной литературы*
- Стиль художественной литературы*. Двойное отношение к языку у писателей (язык — средство выражения мыслей и чувств и язык — «первоэлемент» самой литературы) 502; место стиля художественной литературы среди других функциональных стилей 498–499, 500–501; как следует понимать повторяемость отдельных признаков одного стиля в системе другого стиля 502–503; стиль и система его признаков 24–25, 500
- Структура слова*. а) структура (смысловая) слова: 1) основное значение, 2) другие значения, 3) экспрессивно-эмоциональные элементы значения 28–30, 147–148; историческая изменчивость смысловой структуры слова 147–151; б) структура (морфологическая) слова 246–249; структура слова в двух рядах грамматических отношений 248–249; структура и семантика слова 250; структура слова и аффиксы 251–252; историческая подвижность структуры слова 253; структура слова и типологическая классификация языков 384–385
- Структура языка*, см. *Система языка*
- Субстантивация* 324
- Субстрат* 471–476, 478. Сильные и слабые стороны теории субстрата 473; субстрат и родство языков 475–476; субстрат и языковые союзы 475
- Субъект*, см. *Существительное*
- Суждение*, см. *Предложение*
- Сужение значения слова*, см. *Значение слова*
- Суперстрат* 476
- Супплетивы* (супплетивный способ образования) 322, 323, 328

Суффиксы 246. Функция суффиксов 250; значение суффиксов 250; переход суффиксов в слова и слов в суффиксы 251; суффиксы в инкорпорирующих языках 393

Существительное. Определение 311; значение имен существительных для языка и мышления 311–312; как следует понимать разные типы склонения имен существительных 311; взаимодействие прилагательных и существительных 311–315

Табу. Определение 115; табу, его генезис и история мышления 116–117; табу и эвфемизмы (различия в генетическом и стилистическом планах) 117–120; табу и неологизмы 121; табу и историческая лексикология 121–122

Тембр звука 182

Термин. Определение 33, 37; однозначность термина, двойная обусловленность термина (общезыковая и специально-научная) 33–39, 40; термин и понятие 35; образование терминов 35–37; международные термины, роль древних классических языков в создании терминов, термин и его использование в разных стилях речи (функции термина) 36–39; термины и полисемия 33–34; термины и синонимия 72; термины и омонимия, столкновение терминов и столкновение омонимов 60–61, 72; термины-неологизмы и их датировка 99; термины и научный стиль 500; термины в художественной литературе (функция) 493

Терминология, см. *Термин*

Типологическая классификация языков 384. Принцип, на котором она основывается 384–387; перекрещивающиеся классификации по трем типам и по двум типам, структура (морфологическая) слова и типологическая классификация 387–388; сильные и слабые стороны типологической классификации 392; типологическая классификация, синхрония и диахрония 394–395

Типы слов 26–28

Точность. Понятие точности в разных языковых стилях 490–497

Транскрипция 226

Трифтонги 189, 191

Ударение. Типы ударения: силовое (динамическое), музыкальное, смешанное 205–206; по признаку места в слове: свободное, несвободное (связанное) 206; отдельные случаи факкультативного ударения 206; связь между типами ударения и их функциями 206–207; словесное, фразовое и логическое ударение в связи с ритмическим членением текста 208–211; грамматическая функция ударения 207

Употребление слова. Отличие употребления слова от значения слова (при постоянной связи между ними) 30, 33, 34; особые случаи «семейного» и профессионального осмысления слова 466–467, 468–469; см. *Значение слова*

Устойчивые словосочетания, см. *Фразеологические сочетания, Идиомы*

Фигуральные (переносные) значения слова, см. *Значение слова, Переносные (образные) значения*

Флексия (окончание) 246–248, 262. Внутренняя флексия 177, 262; нулевая флексия 291–292; внешняя и внутренняя флексия 390–391; слово и флексия в разных языках 250–253; корень, аффиксы и флексия в их отношении к семантике слова 247–248

Флективные средства (выражения грамматических отношений) 292–294

Флективные (синтетические) языки 386–388

Фонема. Определение 191, 194–195; как следует понимать различительную (смыслоразличительную) функцию звука речи 190–191, 193; фонема и звук речи 191; разное истолкование фонемы 192; фонема и фонологическая система языка 193; материальность фонем 195; сильные и слабые позиции фонем 195; нейтрализация фонем 195; варианты и вариации фонем 196; количество фонем в разных языках 194; неразрывная связь фонологических и фонетических «рядов» языка 196–197

- Фонетика.** Общая и частная фонетика 176, 177; взаимодействие фонетических и семантических процессов 177–178; фонетика и поэзия 179, 207–209; см. *Звуки речи*, *Фонетический закон*
- Фонетическая транскрипция**, см. *Транскрипция*
- Фонетический закон** 217. Фонетические законы и родство языков 218–221; отличия фонетических законов от законов естественных наук 220–222; природа фонетических изменений 222; фонетические законы в истории языкознания 222–223; фонетические законы и действие аналогии 221; фонетический закон — нейтрализация 195, ср.: в грамматике 202–203
- Фонология** 191–192, см. *Фонема*
- Формообразование** 246–247, 258
- Формант** 252
- Формы под звездочкой** (понятие о «формах под звездочкой»), см. *Реконструкция*
- Формы слова** 246–247. Две точки зрения на проблему форм слова (морфологическая и морфо-синтактико-фразеологическая) 259–261; формы слова и формальные признаки слова 389; процессы формообразования и словообразования 258
- Фразеологические (устойчивые) сочетания** 124–125, 129. Отличия фразеологических сочетаний от идиом в связи между ними 126; см. *Идиомы*
- Фразеология**, см. *Фразеологические сочетания*
- Фрикативные согласные**, см. *Щелевые согласные*
- Функциональный переход.** Определение 158–159; различные случаи функциональных переходов 158–159; история слов в связи с историей вещей 160–161; см. *Значение слова*, *Понятие*
- Цоканье** 459, 460, 462, 464
- Части речи.** Определение 303; части речи и грамматический строй языка 303–304; части речи и логические категории 306–308; части речи и членные предложения 309; первичные и вторичные функции частей речи 310; понятие центрального признака 337–339; самостоятельные и служебные части речи 305–306; морфологическая и синтаксическая дифференциация частей речи в разных языках 304–306; объективность существования частей речи 308–309
- Частицы речи** 306
- Чередование звуков** 176–177
- Число.** Грамматическая категория числа 279; различие и взаимодействие между логическим и грамматическим числом 282–283; происхождение категории числа и практическая деятельность человека 284–286; противопоставление единичности и множественности — основа формирования категории числа; осложнения на пути этого противопоставления 287; категория числа и история числительных 281–284; абстрагирующее значение категории числа 284–285; категория числа и категория рода 283
- Число языков** 434–437; см. лингвистическую карту мира (на форзацах) и «Генеалогическую классификацию языков» 509
- Члены предложения.** Определение 309; первичные и вторичные функции членов предложения 310; члены предложения и части речи 304–305, 310
- Чоканье** 459, 462, 464
- Чужой язык.** Соотношение между литературным языком и чужим языком в определенные исторические эпохи 456–457; см. *Литературный язык*
- Штампы** (языковые) 331
- Шумные согласные** 182, 188, 204
- Щелевые (фрикативные) согласные** 186
- Щелкающие согласные** 186
- Эвфемизмы** 117. Основные типы: эвфемизмы общелитературного языка 118; эвфемизмы в художественной речи 118–119; эвфемистические жаргоны 119–120; эвфемизмы в искусственно созданных стилях речи 120; эвфемизмы, умышленно искажающие смысл речи 120–121; эвфемизмы и их функции 121; эвфемизмы и табу (различия в генетическом и стилистическом планах) 115, 121–122; эвфемизмы и полисемия 118–119; эвфемизмы и контекст 118–119; см.

Прециозная литература, Гонгоризм, Маринизм, Эвфуизм

Эвфуизм 120

Эмоциональная теория (происхождение языка) 410–412

Энклитики 210

Этимология. Определение 79, 83, 84, 90, 94; процесс забвения первоначальной этимологии слова 91–96; этимология и внутренняя форма слова, этимология и этимон 94; «народная этимология», «народная этимология» и историческое развитие языка 86–87, 88–90, 91

Этимон 94, см. *Этимология и Внутренняя форма слова*

Южнорусские диалекты 458–459

Язык. Функции языка и его определение 414; число языков мира 434–437; восприятие многообразия языков мира 431–433; язык человека и инстинкты животных 421–422; см. *Язык и общество, Язык и мышление, Система языка, Развитие языка*

Язык детей 412–413

Язык жестов 426. Жесты и язык 426–427; жесты и мышление человека 426; временные и национальные особенности жестов 427; типы жестов 427–428

Язык и литература, см. *Языковые стили, Стиль художественной литературы*

Языки мертвые (понятие о мертвых языках) 434, 435

Язык и мышление. Постановка вопроса о неразрывной связи языка и мышления 414; язык и мышление — единство, но не тождество 394–395; качественное различие между психикой человека и инстинктами животных 418–422; вторая сигнальная система, мышление и язык 420–422; части речи и логические категории мышления 303–304; субстанция и действие в грамматике и мышление 342–343; качество и отношение в грамматике и мышление 312–313; супплетивы в степенях сравнения и развитие мышления 322–323; категория числа в грамматике и число как логическая категория 284–285; трех-

членная и двучленная системы указательных местоимений и развитие мышления 327–328; категория модальности в грамматике и мышление 355–356; развитие синтаксической перспективы в предложении и мышление 367–369; мышление, паратаксис и гипотаксис; дифференциация союзов и их отношений 371–372; природа слова, его многозначность (полисемия) и природа мышления 25–26; история мышления и явления табу 121–122

Язык и общество. Развитие лексики в разные эпохи 97–108; формирование терминов и прогресс в науке и технике 35–38; заимствованные слова в различных языках и общение между народами 132–134, 139–140, 144–145; профессиональные слова, жаргоны, «семейное» истолкование слов 465–469; прямая, косвенная, несобственно-прямая речь и воздействие на слушателей и читателей 375–378; функции языка в общественном труде человека 415–419; взаимодействие языков и история человечества 470–475; восприятие многообразия языков в разные эпохи 431–433; языковые стили и формы общения людей в обществе 481–489

Язык и речь; язык, речь, синхрония и диахрония 168–169; язык, речь и речевая деятельность 169–171; см. *Языковые стили*

Язык как система, см. *Система языка*

Язык-основа 391

Языковые семьи 434–436

Языковые союзы 474–478

Языковые стили 481–507. Языковые стили и общенародный язык 506–507; необходимость функционального истолкования языковых стилей 506; строгое разграничение языковых стилей и языковых особенностей, определяемых спецификой описываемых объектов 500–501; языковые стили и литературные жанры (различие между ними); историческая и межъязыковая подвижность стилей 504–505; противопоставление языковых стилей и принцип их перекрестной ха-

рактики 499; подчинение отдельного признака стиля целостной системе признаков 506–507; объективность существования языковых стилей 505–506; основные языковые стили и их варианты 502–503; см. *Разговорный стиль*, *Письменный стиль*, *Научный стиль*, *Стиль художественной литературы*
Языковые универсалии 447, 477; см. *Взаимодействие языков*

Язычные звуки 186, переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные 187–188

Enjambement 209

Fremdwort 139

Lehnwort 139

Nomina agentis 250

Pluralia tantum 285

Singularia tantum 285

Umgangssprache 489

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ



а) НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

- Абаев В.И. 57, 96, 224, 473
Абовян Х. 235
Абрамов Н. 65
Аванесов Р.И. 184, 189, 191, 197, 204, 217, 226, 464
Августин, 407, 408
Адмони В.Г. 374
Азов В. 167
Аксаков С.Т. 55
Акуленко В.В. 147
Алексеев М.П. 432
Альмов С. 89
Амчис Э. де 483
Амосова Н.Н. 98, 132
Ампер 104
Андроников И.Л. 487
Апухтин А.Н. 277
Аристотель 235, 336, 399
Арсеньев В.К. 424
Артемов В.А. 217
Арутюнова Н.Д. 261
Асмус В.Ф. 163
Ахвледиани Г.С. 6
Ахманова О.С. 28, 59, 172, 374
Ашукин Н.С. 130
Ашукина М.Г. 130
- Бабкин А.М. 131
Байрон Дж. 89, 468
Бак К. 65
Балашша Й. 244, 252
Балли Ш. 72, 115, 132, 212, 381, 408, 507
Бальзак О. 497
Баранников А.П. 48
Баратынский Е.А. 149
Барбюс А. 468
Бархударов С.Г. 6
Баскаков Н.А. 40, 304
Батюшков К.Н. 209, 210
Бах А. 112
Бахилина Н.Б. 313
Бахтин М. 379
Безыменский А.И. 207
Белецкий А.А. 450
- Белинский В.Г. 139, 144, 234, 235, 239, 347, 504
Бельский А.В. 217
Бенвенист Э. 325, 385
Берг Л.С. 506
Берков П.Н. 61
Бернал Дж. 368
Бернс Р. 62
Бернштейн С.Б. 217, 294, 303, 450, 453
Бернштейн С.И. 294
Билински Я. 63
Биллярский П.С. 392
Бинович Л.Э. 131
Бирман С.Г. 484
Блок А.А. 70, 108, 361
Блумфилд Л. 307, 308
Боас Ф. 42
Боборькин П.Д. 102, 103
Богораз В.Г. 264, 338, 392, 393
Богородицкий В.А. 191, 254, 304
Богословский Н.В. 491
Бодуэн де Куртенэ И.А. 149, 191, 192, 220, 226, 258, 278
Бокарев Е.А. 271
Болдырев А.Н. 456
Бонфанте Дж. 450
Бопп Ф. 180, 330, 447
Борковский В.И. 344
Боровой Л.Я. 115
Брагина А.А. 5, 98, 109, 270, 470
Бреаль М. 26
Брунеллески Ф. 369
Бруннер К. 387
Брэйндж Дж. 117
Брюллов К.П. 499
Брюно Ф. 356
Брюсов В.Я. 409
Будагов Р.А. 28, 465, 499
Булаховский Л.А. 63, 96, 161, 358
Булич С.К. 330
Бунин И.А. 324, 352
Буташевич-Петрашевский М.В. (Кириллов Н.) 145, 146

- Бэкон Ф. 235
Бюффон Г. 483
Бюхер К. 416
Валимова Г.В. 306
Валлон А. 42
Вандриес Ж. 151, 450, 483
Вараручи 235
Вловин И.С. 393
Вергилий, 43
Вересаев В.В. 257, 321, 335
Веркор (Жан Брюллер) 417
Вийон Ф. 468
Вико Дж. 235
Винер Н. 422
Виноградов В.В. 28, 132, 236, 261, 306, 320, 325, 341, 348, 359, 374, 461, 499, 507
Винокур Г.О. 40, 115, 182, 188, 189, 254, 332, 507
Винчи Леонардо да 368
Вергилий 43
Войтонис Н.Ю. 420
Волконский С. 179
Волошинов В.Н. 379
Вольтер 112
Воробьев-Десятковский В.С. 329, 335
Воронцова Г.Н. 245, 349
Востоков А.Х. 180, 447
Всеволодский-Гернгросс В. 212
Вундт В. 415
Выготский Л.С. 245, 277
Гак В.Г. 167
Галилей 61, 505
Галкина-Федорук Е.М. 72
Гальперин И.Р. 470, 507
Ганзелка И. 186, 425
Гвоздев А.Н. 59, 216, 311, 413
Гегель 76, 234, 410
Гейгер Л. 415
Гейне Г. 87, 276, 277
Гельмонт Ж. ван 98
Георгиев В.И. 453
Гердер И. 235, 399, 412
Герцен А.И. 39, 40, 77, 107, 128, 171
Гёте 144, 164, 165, 382
Гладков Ф.В. 95
Глисон Г. 197, 248, 279, 307
Глинц Г. 80
Гоголь Н.В. 38, 40, 45, 53, 67, 118, 128, 129, 145, 146, 288, 378, 379, 432, 433, 503
Голицын А. 165
Головин Б.Н. 268
Голсуорси Дж. 86
Гомер 335
Гонгора Л. 120
Гончаров И.А. 45, 127, 275, 352, 378, 379, 467
Горский Д.П. 245
Горький М. 30, 49, 85, 86, 108, 118, 156, 216, 229, 235, 236, 372, 375, 502, 504
Горшкова К.В. 72
Граммон М. 409
Гранин Д.А. 52, 222
Греллинг К. 285
Греч Н.И. 348
Грибоедов А.С. 124, 130, 138, 331
Григорович Д.В. 492, 493
Григорьев Н.В. 428
Григорьева С.А. 428
Гримм Я. 218
Гринберг Дж. 396
Гринкова Н.П. 461
Грунин Т.И. 325
Гумбольдт В. 80, 392, 412
Гусева Е.К. 351
Гухман М.М. 465
Гюго В. 44, 468
Даль В.И. 14, 149
Данте 235, 431, 454, 457
Дармстетер А. 162
Дейчбейн М. 356
Декарт 235, 505
Дельбрюк Б. 330
Дельвиг А.А. 490
Дембовский Я. 420
Демокрит 401, 402, 403, 404
Державин К.Н. 112
Десницкая А.В. 453
Дешириев Ю.Д. 465
Джоунз Д. 191
Дидро Д. 235
Диккенс Ч. 25, 468
Диодор Сицилийский 404
Диринжер Д. 230
Дирр А. 338
Дмитриев Н.К. 390
Добровский И. 457
Добролюбов Н.А. 30
Достоевский Ф.М. 23, 47, 70, 105, 202, 352, 492
Драгунов А.А. 279, 305, 388, 389
Драгунова Е. 388, 389
Дульзон А.П. 164

- Дюринг Е. 447, 448
 Дюркгейм Э. 424
 Евгеньева А.В. 73
 Ельмслев Л. 383
 Есенин С.А. 216
 Есперсен О. 26, 236, 276, 278, 289
 Ефимов А.И. 499
 Жильерон Ж. 59
 Жинкин Н.И. 189, 381
 Жирмунский В.М. 172, 261, 313, 412, 465, 470
 Жлуктенко Ю.А. 261
 Жуковский В.А. 68, 69
 Захариас З. 227
 Заяицкий С. 416
 Звегинцев В.А. 28, 148, 362, 392
 Зеленин Д.К. 122, 460
 Земская Е.А. 115
 Зиверс Э. 180
 Зикмунд М. 186, 425
 Зиндер Л.Р. 14, 185, 189, 224
 Зиновьев В.Н. 261
 Золя Э. 416
 Иванов А.И. 279
 Иванов В.В. 96, 459
 Иванова И.П. 240, 351
 Илия Л.И. 374
 Ильиш Б.А. 293
 Ильф И. 468
 Иордан И. 489
 Исаев М.И. 384
 Исаковский М.В. 89
 Исаченко А.В. 268, 301, 439
 Истрин В.А. 227, 230
 Истрина Е.С. 102, 366
 Каверин В.А. 24
 Казанский Б.В. 28, 135
 Казанцев В. 95
 Кампе И. 144
 Канторович В. 334
 Караджале И. 124, 125
 Карамзин Н.М. 55, 104
 Каратыгин В.А. 17
 Карнап Р. 162, 166
 Карцевский С. 72, 290
 Касарес Х. 132
 Касаткин А.А. 458, 465
 Катаев В.П. 427
 Катков М.Н. 348
 Кауфман И.М. 40
 Кассирер, 424
 Кацнельсон С.Д. 325, 335
 Кеплер И. 505
 Ключева В.Н. 78
 Ключевский В.О. 95
 Кнорозов Ю.В. 230
 Кодухов В.И. 172, 379
 Кожин А.Н. 44
 Колпачки Е.М. 211
 Колшанский Г.В. 25, 354
 Комиссаров В.Н. 78
 Кондильяк Э. 411, 412
 Кондратьев А. 184
 Конечна Г. 205
 Кони А.Ф. 102
 Конрад Н.И. 305, 489
 Констан Б. 112
 Конт О. 104
 Корнель П. 431, 433
 Короленко В.Г. 283
 Кортаева Э.И. 370
 Корш Ф.Е. 445, 446
 Косвен М.О. 400, 425
 Косериу Э. 172
 Котошихин Г. 370
 Кочарян С.А. 489
 Кочин Г.Е. 159
 Крачковский И.Ю. 230, 453
 Крейдлин Г.Е. 428
 Крейнович Е.А. 265
 Кротевич Е.В. 360
 Крушевский Н.В. 162, 191, 386
 Крушельницкая К.Г. 381, 384
 Крылов И.А. 124, 277
 Крысин Л.П. 249
 Крючков С.Е. 498
 Кубицкий А. 336
 Кудрявский Д.Н. 411
 Кудрявцева Т. 117
 Кузнецов П.С. 197, 389
 Кузнецова А.И. 28
 Кунин А.В. 131
 Куприн А.И. 85, 334
 Курилович Е.Р. 28, 296, 303
 Кутина Л.Л. 63
 Лавров Б.В. 359
 Ларин Б.А. 470
 Лафарг П. 28, 115
 Лафонтен 277
 Лаффит Ж. 495
 Леви-Брюль Л. 42, 424
 Левин В.Д. 507

- Левковская К.А. 28, 147
Лейбниц Г. 235, 399, 407, 408
Лемке М. 178
Леонтьев А.А. 50, 428
Леонтьев А.Н. 420
Лермонтов М.Ю. 75, 78, 111, 276, 277, 283, 297, 309, 370, 382, 427, 504
Леру П. 104
Лесков Н.С. 87
Лили Дж. 120
Липин Л.А. 342
Липс Ю. 159
Лист Ф. 197
Лихачев Д.С. 346, 470
Лобачевский Н.И. 285
Лозинский М. 176
Локк Дж. 235, 399
Ломбард А. 340
Ломоносов М.В. 235, 370, 372, 374, 399, 504
Ломтев Т.П. 243
Лондон Дж. 179
Лотте Д.С. 33, 40
Луcretий, 399, 404
Лурия А.Р. 13
Любимов Н.М. 39
Лютер 457
- Мазон А. 351
Майков А.Н. 299
Макаев Э.А. 465
Макаренко А.С. 39, 40, 202, 212, 273
Маковельский А.О. 403
Маковский М.М. 147
Максимов С.В. 114
Малаховский В.А. 278
Мальмберг Б. 205
Мамин-Сибиряк Д.Н. 462
Мандзони А. 39, 118
Марино Дж. 120
Маркс К. 35, 125, 158, 159, 175, 181, 223, 414, 419, 447, 448
Марр Н.Я. 117, 158, 426
Мартине А. 197, 222, 396
Марузо Ж. 211
Маршак С.Я. 62
Маслов Ю.С. 351
Матусевич М.И. 163, 184
Маяковский В.В. 108, 115, 128, 206, 208, 409, 486, 487
Межев В.И. 61
Мейе А. 116, 117, 151, 258, 358, 367, 425, 445
- Мериме П. 58, 59, 176, 496
Мещанинов И.И. 310, 396
Мигирин В.Н. 335, 374
Микаэлян Г.Б. 172
Миклухо-Маклай Н.Н. 439
Милейковская Г.М. 344
Милых М.К. 381
Михаилэ Г. 6
Михельсон М.И. 114, 127
Модзалевский Л.Б. 285
Мольер 120
Моне К. 104
Монтень 457
Мопассан 128
Морозов М.М. 48
Мучник И.П. 351
- Навои Алишер 235
Наполеон 462
Нарежный В.Т. 145
Насилов В.М. 374
Некрасов Н.А. 497
Немировский М.Я. 270, 322
Неру Д. 435
Нетушил И.В. 303
Новиков Л.А. 63
Норейн А. 303
Нуаре Л. 415
- Овсяннико-Куликовский Д.Н. 283, 332, 335, 338
Огиенко И.И. 136
Ожегов С.И. 13, 14, 56, 101, 132, 217, 249, 365
Ожешко Э. 229
Оксеншерн А. 121
Ольдерогге Д.А. 280
Ольшки Л. 457, 499, 505
Орбели Л.А. 422, 423
Отобык К. 6
- Павлов И.П. 420, 421, 422
Панини 235
Панов М.В. 225
Панова В.Ф. 273, 377, 459, 498
Панфилов В.З. 265, 295, 384
Панфилов Е.Д. 295
Пастернак Б.Л. 108, 409
Пауль Г. 33, 162, 248
Паустовский К.Г. 37
Петерсон М.Н. 225, 362
Петров Е. 468
Петровский Н.А. 96
Пешковский А.М. 213, 217, 233, 234, 261, 287, 290, 292, 297, 325, 371

- Пиаже Ж. 413
 Пизани В. 82, 96, 220, 271
 Пиранделло Л. 458
 Писарев Д.И. 87
 Писемский А.Ф. 364
 Плавт 43
 Платон 235, 399, 403
 Плетнев П.А. 62
 Плеханов Г.В. 104, 117, 419
 Плотникова-Робинсон В.А. 277
 По Э. 227
 Погодин А.Л. 330, 428
 Покровский М.М. 26, 73, 150
 Полевой Б. 85
 Поливанов Е.Д. 191, 217, 279
 Попов П.С. 217, 355, 384
 Попова И.А. 374
 Порциг В. 453, 465
 Поспелов Н.С. 268
 Потемкина А.А. 19, 20, 50, 151, 152, 274, 278, 287, 299, 300, 301, 307, 312, 338, 340, 356, 357, 358, 359, 367, 374
 Потемкин В.П. 121
 Преображенский А.Г. 81
 Пришвин М.М. 13, 226
 Прокопович Н.Н. 374
 Прокофьев С.С. 197
 Прохорова В.Н. 78
 Прутков Козьма 62
 Пушкин А.С. 17, 53, 58, 62, 95, 105, 110, 112, 113, 124, 136, 144, 158, 208, 209, 210, 214, 215, 235, 254, 297, 373, 374, 409, 454, 483, 484, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 503
 Пушкин Л.С. 58, 490
 Радищев А.Н. 235, 399, 412
 Размусен Л.П. 344
 Раск Р. 180, 447
 Распопов И.П. 381
 Резников Л.О. 28, 148, 167
 Реклю Э. 61
 Реферовская Е.А. 351
 Реформатский А.А. 40, 59, 189
 Рецкер Я.И. 131
 Рождественский Ю.В. 261, 279
 Ронсар П. 457
 Рубинштейн С.Л. 152
 Руссо Ж.Ж. 399, 410, 411, 412
 Рыбникова М.А. 41
 Савченко А.Н. 310
 Салтыков-Щедрин М.Е. 108, 156
 Самарин Р.М. 507
 Свифт Дж. 98, 104
 Севортьян Э.В. 310
 Семушкин Т. 282, 467
 Сепир Э. 236, 257, 307, 308, 393, 396
 Сервантес М. 39, 87
 Сергеев-Ценский С.А. 61
 Сердюченко Г.П. 390
 Серебрянников Б.А. 80, 344
 Серрюс Ш. 152
 Сеченов И.М. 493, 494, 495
 Симонов К. 321, 498
 Скаличка В. 396
 Скворцов Л.И. 249, 470
 Скорик П.Я. 264, 338
 Скотт Вальтер, 142
 Слама-Казак Т. 416
 Сланский В. 236
 Слюсарева Н.А. 170
 Смирницкий А.И. 15, 166, 171, 205, 254, 449
 Смотрицкий М. 235
 Снегирев И. 129
 Соболев Л.С. 467
 Солнцев В.М. 305, 310, 389
 Соловьева А.К. 172
 Солоухин В. 372
 Sommerfeldt А. 338
 Сорокин Ю.С. 503
 Соссюр Ф. 59, 97, 169, 170, 191, 248, 408
 Спенсер Г. 424
 Сперантиа Е. 6
 Спиркин А.Г. 42, 428
 Срезневский И.И. 43
 Станиславский К.С. 216
 Станке В. 6
 Старинин В.П. 261
 Стеблин-Каменский М.И. 49
 Стендаль 243, 497
 Степанов Г.В. 490
 Степанов Ю.С. 499
 Степанова М.Д. 261
 Стойков С. 470
 Сумароков А.П. 177, 459
 Сухотин В.П. 73
 Сюлли-Прюдом 277
 Таванец П.В. 355, 384
 Талейран 120
 Тарле Е.В. 462
 Татаринов В.А. 40
 Твардовский А.В. 106, 361
 Тейлор Э. 424
 Тепляков В. 491

- Тимофеев Л.И. 499, 507
Тихонов Н.С. 498
Толстой А.К. 208, 281
Толстой А.Н. 157, 158, 207, 281, 372
Толстой Л.Н. 63, 94, 202, 275, 321, 333, 339, 360, 416, 433, 468, 493, 499, 504
Толстой Н.И. 325
Томсен В. 404
Торсуев Г.П. 218
Тосканини А. 427
Трахтеров А.Л. 204, 205
Тронский И.М. 43, 284, 366
Трубачев О.Н. 96, 122
Трубещкой Н.С. 191, 195, 197, 385
Тургенев И.С. 30, 52, 84, 85, 140, 178, 199, 331, 427, 486
Тынянов Ю. 432
Тышлер И.С. 59
Тэн И. 327
- Уемов А.И. 72
Уилсон М. 214
Уленбек Х. 338
Ульман С. 50
Ульянов Г.К. 348
Уразов И. 149
Услар П.К. 302, 342
Успенский Б.А. 396
Успенский Л.В. 237, 467
Уфимцева А.А. 28
Ушаков Д.Н. 30, 56
- Фаворин В.К. 68, 72
Фасмер М. 81, 96
Фадеев А.А. 352
Федин К.А. 318, 333, 427
Федоров А.В. 163
Фейербах Л. 81, 93
Фейхтвангер Л. 47
Фельдман Н.И. 335
Ферсман А.Е. 99, 100
Филин Ф.П. 346, 439
Филиппо Э. де 458
Флобер Г. 197
Фонвизин Д.И. 113, 314
Фортунагов Ф.Ф. 362, 374
Фосслер К. 383
Франс А. 167, 334
Фреге Г. 18
Фрей А. 489
Фридрих И. 367
Фрэзер Дж. 122
Фурманов Д.А. 504
- Хавин П.Я. 487
Хакулинен Л. 244
Ходова К.И. 441
Хокетт Ч. 422
Холодович А.А. 132, 236
Хомский Н. 236
Хохряков П. 165
- Цвейг С. 427
Цезарь Юлий 130, 281, 334
Цицерон 74
- Чаплин Чарлз 48
Чапек И. 98
Чапек К. 98
Чемоданов Н.С. 453
Черепнин Л.В. 230
Черных П.Я. 121, 156
Чернышев В.И. 55, 129
Чернышева И.И. 261
Чернышевский Н.Г. 18, 235, 352, 376, 394, 418
Чесноков П.В. 384
Чехов А.П. 31, 32, 37, 108, 117, 121, 130, 147, 273, 380, 462, 505
Чешко Е.В. 294
Чирков Н.М. 70
Чичерин А.В. 379, 507
Чудинов А. 405
Чуковский К.И. 97, 413, 507
- Шаляпин Ф.И. 463
Шампольон Ж. 230
Шанский Н.М. 72, 96, 115, 132
Шанская Т.В. 96
Шантрен П. 302, 330
Шапино А.Б. 72
Шафф А. 167
Шахматов А.А. 221, 266, 274, 325, 340, 359
Шахрай О.Б. 147
Шведова Н.Ю. 132, 359, 482, 489
Шекспир В. 26, 47, 120, 131, 142, 216
Шеманаев П.И. 502
Шенгели Г. 89
Шендцево В.В. 131
Шиллер Ф. 68, 144, 462
Широкова А.Г. 457, 489
Шифман И.Ш. 351
Шишков А.С. 144, 145, 256
Шишмарев В.Ф. 387
Шмелев Д.Н. 484
Шолохов М.А. 106, 320, 459
Шоу Б. 175, 483
Штейнталь Г. 307, 415
Штелинг Д.А. 268

- Штибер З. 192
 Штофф В.А. 167
 Шухардт Г. 160, 220, 308
Щеглов М. 48
 Щерба Л.В. 19, 20, 29, 60, 64, 65, 163, 191, 192, 197, 204, 236, 237, 277, 310, 389, 483, 485, 506
 Эдер Б. 422
 Эйкен Г. 407
 Эккерман И. 164, 165
 Энгельс Ф. 91, 93, 125, 160, 175, 222, 223, 269, 281, 401, 406, 414, 415, 416, 439, 447, 448
 Эрну А. 358
 Эткинд Е. 507
Югов А.К. 299
 Юнг Р. 121
 Юшманов Н.В. 135, 230, 342, 351
Якобсон Р. 290
 Яковлев Н.Ф. 191, 325
 Яковлева В.К. 359
 Якубинский Л.П. 134, 147, 315, 316, 328, 384, 434, 439, 483, 489
 Ярцева В.Н. 6, 72, 374, 444

б) НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

- Abel C. 78, 245
 Amicis Ed. de 483
 Andrews E. 40
 Angelo P. 230
 Assirelli O. 428
Beinhauer W. 489
 Beke O. 289
 Becker H. 478
 Blok H. 335
 Bloomfield L. 147, 236, 307, 327
 Bonfante G. 450
 Boost K. 381
 Bottiglioni G. 465
 Bréal M. 26
 Brugmann K. 359
 Brunot F. 236, 356
 Büchmann G. 130
 Buck C. 65
 Buffon G. 483
 Cohen M. 230, 359, 384
Darbelnet J. 507
 Darmesteter A. 162
 Dauzat A. 464, 470
 Derbolav J. 403
 Deroy L. 147
 Deutschbein M. 356
 Dieth E. 189
 Drăganu N. 374
Ebeling G.L. 172
 Engler R. 167
 Feuerbach L. 81
 Fiesel E. 392
 Fodor J. 278
 Forchhammar I. 205
 France A. 167, 215
 Frei H. 132, 489
 Funke E. 463
Galdi L. 507
 Gardiner A. 15
 Galsworthy J. 470
 Geiger L. 415
 Glinz H. 80
 Godel R. 63
 Götze A. 150
 Grammont M. 189, 409
 Greenberg J.H. 396, 428
 Guérios R. 122
 Guillaume G. 344
 Guiraud P. 28, 166, 470
Hàla B. 205
 Halle M. 197
 Hanford S. 359
 Havers W. 117, 122, 366
 Herczeg G. 379
 Hjelmslev L. 303
 Hofmann J. 489
 Horn P. 446
 Horn W. 221
Jordan I. 489
 Isačenko A. 344
Jakobson R. 197, 301, 303
 Jensen H. 230
 Jespersen O. 26, 478
 Jóhannesson A. 426
 Jones D. 191

- Kainz F. 416
Kluge F. 150
Knight G.H. Mc. 82
Knobloch J. 450
Krahe H. 438
Kronasser H. 28, 166
Kruisinga E. 349
Kurylowicz J. 217
- Ladefoged P. 184
Lindsay W. 327
Lippold E. 115
Lips M. 379
Lombard A. 340
- Mackenzie F. 147
Magnusson R. 310
Malkiel I. 96
Malmberg B. 189
Marchand H. 261
Martinet A. 396
Matoré G. 102, 166
Meillet A. 384, 445, 452
Mihäilă G. 147
Mikus F. 374
Milewski T. 261
Millardet G. 503
Mitterand H. 65
- Németh J. 471
Neubert A. 379
Noiré L. 415
Norden E. 366
Noreen A. 303
Nyrop K. 409
- Ogden C. 16
Osthoff H. 323
- Paris G. 464
Philbrick F. 16
Pianigiani O. 136
Pisani V. 82, 446
Poldauf J. 330
Posner R. 205
- Révész G. 428
Rheinhold H. 351
Richards J. 16
Richter E. 147
Ries J. 374
Riesel E. 499
Riffaterre M. 115
- Robins R. 405
Rohlf's G. 278
Rosetti A. 224
Rousseau J.J. 410
Ruge A. 112
- Sandfeld K. 475
Sandfeld-Jensen K. 438, 475
Sauvageot O. 406
Savory Th. 40, 499
Schogt H.G. 224
Schuchardt H. 224, 308, 464
Sebeok Th. A. 507
Seche M. 96
Seidler H. 507
Slama-Cazacu T. 25
Sommer F. 453
Sommerfelt A. 172, 252, 428
Specht F. 271
Spitzer L. 217, 489
Steinthal H. 307
Stubelius S. 467
Svennung J. 379
- Taine H.—A. 327
Thumb A. 359
Trier J. 166
Trnka B. 63
- Ullmann S. 28, 50, 166
- Vasmer M. 81, 281
Vercors (G. Bruller) 417
Vietor W. 189
Vinay J. 507
Vossler K. 245, 383
- Wackernagel J. 287, 326
Walter H. 470
Wandruszka M. 96
Wartburg W. 89
Weber H. 344
Wechsler E. 224
Weinreich U. 147, 478
Weisergerber L. 116
Weithase J. 489, 507
Williams E. 464
Wunderlich H. 489
Wundt W. 426
- Zawadowski L. 96, 245
Zlatogorski E. 59

**РУБЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ
БУДАГОВ**

Введение в науку о языке

3-е издание

Редактор
Л.Н. Левчук

Художник
А.В. Прошкина

Художественно-технический редактор
З.С. Кондрашова

Корректор
Л.И. Воробьева

Компьютерная верстка
О.А. Пелипенко, Л.В. Тарасюк



Лицензия ИД № 01829 от 22 мая 2000 г.

Подписано в печать 25.03.2003.

Формат 60×90¹/₁₆.

Офсетная печать. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 34,0. Тираж 1000 экз. Заказ

Издательство «Добросвет-2000»

Контактные телефоны: 720-21-05

430-02-96

150-69-36

факс: 459-04-53.

Отпечатано с оригинал-макета
в типографии НИИ «Геодезия».

г. Красноармейск, Московская обл.